



Журнал
Редактор Евгений Беркович

СЕМЬ ИСКУССТВ

Наука

Культура

Словесность

1/2014

Журнал
«Семь искусств»

Январь 2014

Главный редактор
Евгений Беркович

Редакционная коллегия:
Лев Бердников, Борис Болотовский, Эдуард Бормашенко,
Юлий Брук, Элла Грайфер, Лорина Дымова, Борис Дынин,
Игорь Ефимов, Александр Журбин, Виктор Каган,
Борис Кушнер, Александр Ласкин, Мина Полянская
Борис Тененбаум, Артур Штильман

Ответственный секретарь Изабелла Победина

ISBN 978-1-291-73743-1

Семь искусств
Ганновер 2014

Журнал

«Семь искусств»

Январь 2014

© Евгений Беркович (составление и редактирование)

Компьютерная вёрстка и техническое
редактирование Изабеллы Побединой

Семь искусств
Ганновер 2014

Содержание

Мир науки

Евгений Беркович	
Физики и время.....	5
Ирина Крайнева, Зоя Черкасская	
Юрий Борисович Румер 1901-1985)	36

Культура

Марина Аграновская	
"Колыбель моей души"	54
Лев Бердников	
У истоков русского сонета.....	64
Мина Полянская	
77 дней Марины Цветаевой в Берлине	93

История и современность

Игорь Юдович	
Протестантский век	148
Борис Тененбаум	
Муссолини.....	172

Психологические тетради

Александр Бадхен	
Терапевтическая устойчивость	191

Галерея

Семён Талейник	
Художник «Бродяга» – Адриан Браувер	203

Театр и кино

Элина Васильева	
Художественный мир драмы Фридриха Горенштейна	
«Бердичев»	225
Яков Каунатор	
"Каждый пишет, как он видит..."	233

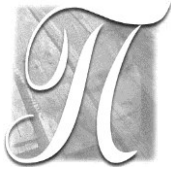
Люди

Белла Езерская	
О пользе борща в культурных связях	240
Лев Харитон	
Уроки английского	251
Людмила Суркова	
Григорий Соломонович Померанц (1918-2013)	257
Андрей Алексеев	
А.А. Ухтомский, В.Н. Муравьев и другие	287

Семен Резник	
Против течения	304
Музыка	
Александр Туманов	
Шаги времени	331
Мемуары	
Ася Лapidус	
Лето 1968, Коктебель	356
Наталья Рапопорт	
Семья от Бога нам дана	363
Дмитрий Бобышев	
Я в нетях. человекотекст, книга 3	391
Поэзия	
Борис Кушнер	
Дорога в два стихотворения	412
Генрих Тумаринсон	
«Квакающие стихи»	433
Лариса Миллер	
«Стихи гуськом»	444
Проза	
Галина Гампер	
История заблудших	459
Переводы	
Валерий Черешня	
Переводы	480
Изабелла Мизрахи	
Переводы	494
Владимир Гандельсман	
Переводы	510
Читальный зал	
Марина Мануйлова	
Пророчество или предание, или Небывалые комбинации бывалых впечатлений	528
Ян Пробштейн	
«Пространством и временем полный...»	533
Об авторах	574

Евгений Беркович Физики и время

Портреты ученых в контексте истории (продолжение. Начало в №11/2013 и сл.) «Вы никогда не будете физиком»



Первое, что должен был сделать Макс, завершив университетское образование, это пройти обязательную годовичную военную службу. Все его сверстники давно уже выполнили этот гражданский долг. Но Борна вначале не взяли в армию из-за здоровья, а потом он получал отсрочки от службы на время учебы в университете. Теперь отступить было некуда, и он снова появился перед медицинской комиссией, которая на этот раз признала его годным.

В те годы в начале двадцатого века никто в Европе серьезно о войне не думал. Армия рассматривалась как некоторое украшение монархии, ее необходимый атрибут, своими парадами и маршами придававший дополнительный блеск короне. И хотя в семье Макса царил, скорее, антимиитаристский дух, но даже мысли о том, чтобы избежать военной службы у него не возникало – это был долг перед государством, который необходимо было отдать, как бы ты к этому ни относился.

Но было одно обстоятельство, из-за которого Макс хотел бы как можно скорее разделаться с этой обязанностью и держаться в дальнейшем подальше от военных: в конце девятнадцатого, начале двадцатого веков в армии распространился невиданный прежде антисемитизм.

По рассказам отца и других родственников Макса Борна, еще помнящих Франко-Прусскую войну 1870-71 годов, никакого ограничения в правах евреев, что на гражданской службе, что в войсках тогда уже практически не отмечалось¹. Его дядя Бертольд Шефер (Berthold Schäfer), отец упомянутого Ганса, к примеру, дослужился до звания офицера резерва.

Но в конце семидесятых, начале восьмидесятых годов девятнадцатого века в Германии поднялось и захватило всю

1 [Born, 1975 S. 161].

страну новое политическое движение, название для которого подобрал в 1879 году журналист и не слишком удачный политический деятель Вильгельм Марр²: антисемитизм.

У нового движения появились яркие лидеры, такие, как придворный духовник Адольф Штёкер³ или депутат рейхстага агитатор-демагог Герман Альвардт⁴.

С самого начала антисемитское движение пользовалось поддержкой немалой части населения Германии. Под так называемой «Петицией антисемитов» («Antisemiten-Petition»), требовавшей от правительства ограничить еврейскую эмиграцию в страну и исключить евреев из числа государственных служащих и преподавателей, весной и летом 1880 года было собрано двести пятьдесят тысяч подписей. Однако большого политического веса антисемитские партии в Германии никогда не набирали. Самый значительный успех на выборах в рейхстаг они получили в июне 1893 года – 16 мандатов. Антисемитские лозунги и призывы из парламентских залов вскоре переместились в студенческие клубы и офицерские собрания. Именно там воспитывались убежденные антисемиты, ставшие потом элитой Третьего Рейха.

Конечно, никакого закона, запрещающего продвижение еврея по службе, не было. По конституции объединенной Германии, утвержденной в 1871 году, все поданные кайзера обладали равными правами, независимо от религии или происхождения. Формально политическая эмансипация евреев завершилась, но на деле все происходило не так, как прописано в основном законе государства.

В армии установился порядок, когда прием офицера в полк и присвоение очередного звания зависели от тайного решения офицерского собрания, которое принимало во внимание не только военные заслуги кандидата, но множество сопутствующих обстоятельств: его характер, семью, происхождение, материальное положение и т.д. По этой причине некоторые полки, типа королевской гвардии, принимали в свой состав только аристократов, другие – только обеспеченных

2 Вильгельм Марр (Wilhelm Marr, 1819-1904) – немецкий журналист и политик. Подробнее о нем см. мою [статью](#) Беркович Евгений. Первый антисемит. «Заметки по еврейской истории», 2007 №17.

3 Адольф Штёкер (Adolf Stoecker 1835-1909) – придворный проповедник Прусского двора, основатель христианско-социальной партии (Christlich-Sozialen Partei) и один из руководителей немецкой консервативной партии, антисемит и противник социал-демократии.

4 Герман Альвардт (Hermann Ahlwardt, 1846-1914) – немецкий педагог и политический деятель, ярый антисемит.

граждан из средних слоев населения, для остальных, главным образом, провинциальных полков особого выбора не оставалось. Но евреев не брали ни в один полк! Еврей понимался тогда не в расистском смысле, как будет при нацистах, а как исповедующий иудаизм человек. Крещеный еврей из достаточно обеспеченной семьи не встречал никаких трудностей при карьерном росте и выборе полка.

Когда эта практика скрытой дискриминации евреев сделалась повсеместной, многие евреи, офицеры-резервисты, подали в знак протеста в отставку. Среди них был и дядя Макса, Бертольд Шефер.

Поэтому Макс решил отдать армии необходимый долг, и забыть про нее на всю оставшуюся жизнь. Но недаром говорится, если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Жизнь преподнесет Максу неприятные сюрпризы, и так просто расстаться с армией не удастся, он будет служить еще несколько раз, и в мирное время, и в военное. Хотя вначале все шло к тому, что служба будет недолгой.



Макс Борн в молодости

В январе 1907 года отмечался очередной день рождения кайзера, и в Берлине был устроен грандиозный парад, в котором принимало участие несколько десятков тысяч военных. Второй драгунский полк вместе с другими подразделениями императорской армии несколько часов на морозе ждал, пока Вильгельм Второй проедет мимо и поприветствует своих верных солдат. Окоченевший от холода Борн тогда простудился и получил сильнейший приступ астмы, которая не оставляла его с детства.

После того, как он провел несколько недель в полковом госпитале, медицинская комиссия признала его не годным для прохождения дальнейшей службы, и Макс снова вернулся в гражданскую жизнь. Как оказалось, это решение комиссии не было окончательным.

В родном Бреслау Макс встретился со своим двоюродным братом Гансом, который снова уговорил его поехать вместе, на этот раз в Англию. От своего друга - Джеймса Франка - Борн слышал немало хвалебных слов о британских физиках-экспериментаторах, в их числе Дж. Дж. Томпсоне, Резерфорде. Поездка обещала быть познавательной, да и в английском языке Макс не вредно было бы поупражняться, поэтому, недолго думая, он согласился, и в апреле 1907 года Ганс и Макс оказались в Лондоне.

Через пару дней друзья расстались: Ганс поехал вглубь страны изучать британский опыт текстильного производства, а Макс отправился в Кембридж. С большим трудом ему удалось записаться на лекции Джозефа Лармора 5 по электричеству и магнетизму и Дж. Дж. Томпсона о современной экспериментальной физике.

Первого лектора Макс просто не понимал, возможно, из-за его ирландского акцента. Эксперименты Томпсона, как и предсказывал Франк, поражали воображение, но его изложение теории было выше борновского понимания. Очень мешало недостаточное знание английского языка. Записаться на практикум в лабораторию Томпсона Макс не решился, опасаясь, что не поймет заданий шефа. Вместо этого он стал посещать физический практикум для начинающих, который вел Георг Сёрлб. Но и здесь дело доходило до курьезов.

Как-то во время занятий Борн с одной симпатичной студенткой, желавшей ему помочь с языком, разбирались с приборами для очередного эксперимента. Когда мимо проходил преподаватель, Макс обратился к нему на своем несовершенном английском: «Послушайте, доктор Сёрл, здесь что-то не так, что мне делать с этим...». И тут, вместо слова «angle» (угол, угольник), Макс сказал «angel», т.е. «ангел». Доктор Сёрл посмотрел на молодых людей через свои круглые очки, покачал головой и сказал: «Поцелуйте ее!».

5 Джозеф Лармор (Sir Joseph Larmor, 1857-1942) — ирландский физик и математик, профессор Кембриджского университета.

6 Георг Сёрл (George Searle, 1864-1954) – английский физик, сотрудник Кавендишской лаборатории, преподаватель Кембриджского университета.

Через много лет Борн с сожалением вспоминал, что его робость и стеснительность не позволили ему последовать этому разумному совету, хотя девушка была довольно мила⁷.

В целом, результатами поездки в Англию Макс был не очень доволен. Хотя он и получил в Гёттингене докторскую степень по прикладной математике, становиться профессиональным математиком Борн не собирался. Но и в физике он чувствовал себя неуверенно. Знаний предмета и языка было у него еще недостаточно, чтобы понимать лекции выдающихся ученых. Но страна ему очень понравилась. Тогда еще он не мог себе представить, что проработает в Великобритании почти двадцать лет – больше, чем в каком-то ином месте.

Во время пребывания в Англии Борна неожиданно вызвали в немецкое посольство, где военный врач снова осмотрел его и счел годным к военной службе. И как только Борн вернулся в Бреслау, он опять получил повестку в армию. На этот раз служба оказалась еще короче: прослужив в одном элитном кавалерийском полку всего полтора месяца, его опять освободили от этой обязанности. К счастью для Макса полковым врачом там оказался хороший знакомый его покойного отца.

Разделавшись, наконец, с воинскими делами, Борн решил вернуться к физике. Прежде всего, ему было необходимо научиться ставить физические эксперименты и применять теорию на практике. С этой целью он поступил ассистентом в университетскую физическую лабораторию, которой руководили тогда два неразлучных друга-профессора Отто Луммер и Эрнст Прингсхайм.

Внешне это были абсолютно разные люди. Луммер – темпераментный блондин, любящий производить впечатление на людей, на его блестящие лекции, сопровождаемые поразительными экспериментами, собирались не только студенты, но и совсем посторонние люди. В отношениях с людьми Луммер был вспыльчив, несдержан, мог легко придти в ярость и устроить скандал. Напротив, Эрнст Прингсхайм – тихий брюнет с типично еврейской внешностью, с хорошими манерами, всегда скромно, но элегантно одет. В разговорах редко повышал голос, старался не делать категоричных выводов, чтобы не обидеть собеседника.

Оба прекрасно дополняли друг друга: Отто Луммер был блестящим экспериментатором, а Эрнст Прингсхайм – тонким теоретиком. Работая в Физико-техническом институте в Берлине, они поставили в 1899 году тот самый знаменитый опыт Луммера-

7 [Born, 1975 S. 172]

Прингсхайма, который послужил Макс Планку основой для введения квантов света.

Когда Луммеру в 1904 году предложили профессорскую должность в университете в Бреслау, он согласился с одним непременным условием: его друг Эрнст Прингсхайм тоже должен получить там кафедру теоретической физики. Это желание руководством университета и министерством науки и образования было исполнено.

Экспериментальная физика не стала «коньком» Макса Борна, сказывалось отсутствие элементарных навыков, которые приобретаются в студенческие годы. Учитывая его математическую подготовку, Макса прикрепили к Эрнсту Прингсхайму. Новое задание было из неизвестной Борну области физики, связанной с излучением абсолютно черного тела, и Макс пришлось перелопатить гору литературы, статей и книг, прежде он понял, что от него хотят, и найти какое-то решение задачи. Одновременно он пробовал повторить опыт своих руководителей, для чего собрал установку в выделенном для этого кабинете.

В качестве нагреваемого тела служил фарфоровый цилиндр, охлаждаемый после эксперимента специально подведенной к нему по трубкам холодной водой. Однажды вечером Макс не закрыл кран, а одна из резиновых трубок, подводящих воду, соскочила, и утром весь нижний этаж лаборатории оказался залитым водой.

Прингсхайм тихо ворчал, зато Луммер дал волю своему гневу. И хотя Борн оплатил все расходы, связанные с ремонтом, Луммер его не простил.

Была еще одна причина, почему между Отто Луммером и Максом Борном не сложились нормальные отношения. Профессор был признанным экспертом в оптике, как в теории, так и в экспериментах. Нередко он экзаменовал своих ассистентов, меняя настройки их приборов и наблюдая, как быстро они смогут восстановить исходное положение. Борн, как правило, это испытание выдерживал плохо, его теоретические знания намного превосходили практические навыки обращения с техникой. Это и дало Луммеру повод вынести страшный приговор: «Вы никогда не будете физиком».

Все это страшно угнетало Макса, делало его нервным и раздражительным, нередко его посещала мысль оставить науку и заняться тем, чем собирался в детстве – стать инженером. Но в Бреслау он познакомился с несколькими молодыми физиками, ставшими ему друзьями на всю жизнь. Они-то и поддержали Борна в это трудное для него время.

Стоит отметить троих верных товарищей Борна: Рудольфа Ладенбурга 8, Фрица Рейхе 9 и Станислава Лориа 10. По случайному или не случайному совпадению, все трое имели еврейские корни. В то время, о котором идет рассказ, этот факт не имел большого значения. Но через четверть века, когда страна окажется под нацистской властью, у всех друзей будет единственный шанс на спасение – эмиграция.

Рудольф Ладенбург приходился двоюродным племянником профессору Эрнсту Прингсхайму, так как мать Рудольфа – Маргарита Прингсхайм - была двоюродной сестрой Эрнста. Можно даже сказать, что она была дважды двоюродной, так как не только отцы Маргариты и Эрнста – соответственно, Натаниэль и Зигмунд Прингсхаймы - были родными братьями, но и матери Маргариты и Эрнста – соответственно Генриетта и Анна Гурадзе – были родными сестрами.

С Рудольфом Ладенбургом Борн был знаком с детства, так их отцы – оба профессора университета в Бреслау – были коротко знакомы и дружили семьями. Однако настоящая дружба между Максом и Рудольфом началась именно в физической лаборатории Луммера-Прингсхайма. Ладенбург защитил докторскую диссертацию в Мюнхене у профессора Рёнтгена и стал виртуозным физиком-экспериментатором. Как мог, он старался передать свои знания и Макс, не всегда, правда, с успехом.

Фриц Райхе защитил свою диссертацию под руководством самого Макса Планка в Берлине. От Райхе Макс Борн получил первые сведения о квантах и законах излучения, эта была информация из первоисточника – от создателя квантовой теории. Впоследствии Фриц Райхе написал одну из первых книг по квантовой теории и занял через несколько лет кафедру теоретической физики в Бреслау, которую до него занимал Эрнст Прингсхайм. Фриц был человеком невысокого роста, часто радовавший друзей типично берлинским юмором, смешанным с иронией и пессимизмом. Эмигрировал в США в 1941 году.

8 Рудольф Ладенбург (Rudolf Ladenburg, 1883-1952) – немецкий физик, с 1932 года жил и работал в США, руководил Палмеровской физической лабораторией Принстонского университета, сотрудничал с Джоном фон Нейманом и Альбертом Эйнштейном.

9 Фриц Рейхе (Fritz Reiche, 1883-1969) – немецкий физик, с 1941 года жил и работал в США, профессор Нью-Йоркского университета.

10 Станислав Лориа (Stanislaw Loria, 1883-1958) – польский физик, с 1951 года профессор Познанского университета. В своих воспоминаниях Борн называет Лори Станислас, что, скорее всего, ошибка памяти.

Единственный, кто не успел эмигрировать, это Станислав Лориа – поляк из Кракова, одаренный физик и страстный патриот Польши. Когда гитлеровцы заняли в 1939 году Польшу, Станислав попал в концлагерь, так как у него мать была еврейкой. Борн считал, что Лориа погиб, однако тот пережил войну и стал профессором уже польского университета во Вроцлаве, как теперь называли Бреслау, а с 1951 года – профессором Познанского университета.

В том 1908 году, о котором мы ведем рассказ, все четверо молодых ученых работали в одной Физической лаборатории Луммера-Прингсхайма, часто общались, обсуждали новости науки.

Как-то один из приятелей – по воспоминаниям Борна это был Райхе¹¹, а биограф Борна Нэнси Гринспен называет Станислава Лориа¹² - сообщил Максу о статье неизвестного до того автора, посвященной принципу относительности. Так впервые Борн услышал имя своего будущего друга и кумира Альберта Эйнштейна. Мне представляется, что имя Райхе здесь боле обоснованно, так как об Эйнштейне он мог услышать от своего учителя Макса Планка. Узнав, что содержание статьи перекликается с теми вопросами, которые изучались в Гёттингене на семинаре Гильберта и Минковского, Макс тут же выразил готовность эту статью тщательно изучить.

Недолго думая, друзья написали самому автору статьи письмо с просьбой прислать копию его публикации. Эйнштейн, который все еще работал в патентном бюро Берна, немедленно выслал три отиска статьи из журнала, поблагодарив за интерес к его работе.

Борн и Минковский

Вскоре Борн намного опередил своих товарищей в понимании теории относительности. Когда в его руки попала следующая статья Эйнштейна, где приводилась знаменитая формула о связи массы и энергии, он сам загорелся идеей, опираясь на постулаты теории относительности, вывести формулу для электромагнитной массы электрона, т.е. массы, определяемой электрическим полем заряженной частицы.

Это была пионерская работа, большинство физиков, воспитанных на классических представлениях, просто не понимало сути проблемы. Продвигаясь в одиночку по выбранному

11 [Born, 1975 S. 185]

12 [Greenspan, 2006 стр. 44]

пути, Борн сталкивался со многими трудностями и, конечно, нуждался в совете и помощи более опытного исследователя.

В Бреслау не было ученого, с которым можно было бы обсуждать подобные результаты, поэтому Макс написал профессору Минковскому большое письмо в надежде получить от своего бывшего учителя хоть какой-то совет.

Ответ из Гёттингена поразил Борна: совета в письме не было, зато профессор сообщал, что сам давно занят похожей темой и охотно взял бы юного коллегу себе в ассистенты, чтобы вместе разбираться в подобных задачах. Это могло бы стать началом настоящей научной карьеры Борна, подчеркивал Минковский. Письмо заканчивалось приглашением на ежегодное собрание «Немецкого общества естествоиспытателей и врачей», которое должно состояться в сентябре 1908 года в Кёльне, где Минковский собирался выступить с большим докладом.

Возвращаться снова в Гёттинген, где он натерпелся столько унижений от Клейна, Борну совсем не хотелось. Но и отказаться от такого предложения было бы глупо. Макс поехал в Кёльн, встретился там с Минковским и прослушал его знаменитый доклад «Пространство и время», состоявшийся 21 сентября 1908 года.



Герман Минковский

«С этого часа независимые понятия пространства и времени должны полностью уйти в прошлое, а мы должны думать лишь о том или ином виде их союза. Трехмерная геометрия

становится главой четырехмерной физики», - провозгласил с трибуны кельнского собрания гёттингенский профессор¹³.

Вклад Германа Минковского в современную теорию поля, базирующуюся на теории относительности, вне узкого круга физиков и математиков малоизвестен. А ведь именно он обосновал формальное равенство трех пространственных координат с временной переменной и развил теорию преобразований в этом четырехмерном мире. Для Минковского было шоком появление статьи Эйнштейна в 1905 году, так как многие результаты этой работы он получил сам, но не публиковал их, надеясь построить стройную математическую теорию электродинамики движущихся тел.

На приоритет Эйнштейна Минковский никогда не покушался, отдавая должное гениальной физической интуиции своего бывшего студента в Цюрихе, способности которого он тогда явно не разглядел.

Прослушав блестящий доклад Минковского, раскрывающий перед физикой и математикой новые перспективы, Борн ни минуты больше не колебался и в декабре 1908 года снова оказался в Гёттингене. Уже на следующий день состоялся содержательный разговор с Германом Минковским. Профессор терпеливо и участливо выслушал рассказ Макса о его попытках разобраться с электромагнитной массой покоящегося электрона и сам подробно и обстоятельно объяснил свое понимание связей электродинамики и относительности.

Борну второй раз в его жизни крупно повезло: он снова столкнулся с одним из ведущих мировых ученых, который раскрывал перед ним свою «творческую кухню», показывая, как делаются революционные открытия. Сначала Гильберт, а теперь Минковский словно подтягивали юношу до своего уровня, давая возможность ему войти в науку и идти в ней своим путем. Ежедневные беседы с профессором возрождали в Борне физика, о чем он уже почти не мечтал.

Макс был по-настоящему счастлив. Те вопросы, над которыми он в одиночку бился в Бреслау, становились ясными и понятными в свете общего подхода, который демонстрировал ему Минковский.

Счастью, однако, не суждено было длиться долго. Буквально через несколько недель случилась катастрофа: врачи слишком поздно определили у профессора аппендицит, запоздавшая операция не помогла, и 12 января 1909 года Герман

¹³ Там же, стр. 45.

Минковский скончался. Ему было только сорок четыре года, он ушел в самом расцвете своего таланта¹⁴. Для Борна эта потеря стала страшным ударом, от которого он долго не мог оправиться.

От безысходной депрессии спасло неожиданное задание: представитель студентов физико-математического отделения философского факультета предложил Борну от их имени сказать прощальное слово на похоронах профессора. Сначала Макс испугался публичного выступления и хотел отказаться, но потом решил хоть так отдать дань человеку, сумевшему так много ему дать в такой короткий срок. Над своей речью он работал буквально день и ночь, и она удалась. Как ему потом говорили, многие во время прощальной церемонии испытали к нему дружеские чувства, даже непримиримый Феликс Клейн.

Так как Борн считался персональным ассистентом покойного профессора, ему поручили разбор архива Минковского, в том числе, рукописей неопубликованных статей и незаконченных книг. Из большого пакета бумаг, переданных Макс, нашлась только одна работа, готовая к публикации. Она и была напечатана в следующем году как первая монография в новой серии научных трудов, которая начала выходить под редакцией первого ученика Гильберта профессора Отто Блюменталя¹⁵.

Чтение работ Минковского подтолкнуло Борна продолжить работу над той проблемой, которую он успел обсудить с профессором, и к которой он будет возвращаться еще не раз за свою долгую научную жизнь. Речь идет об электромагнитной массе движущегося электрона. То, что эта масса должна зависеть от скорости электрона, признавало большинство ученых. Но не было единства мнений, какая формула справедлива для этой зависимости: то ли формула голландца Хендрика Антона

¹⁴ В литературе о Минковском и Борне встречается рассказ о том, как Борн посетил умирающего профессора в больнице и услышал его слова: *«Смерть – это лучшее средство, которое поможет распространению моих мыслей и идей»*. Борн, якобы, расценил высказывание как свидетельство скромности и величия необыкновенного мыслителя. Этот эпизод приводит биограф Борна Ненси Гринспен в книге [Greenspan, 2006 стр. 46]. Следует признать этот эпизод легендой, так как ссылка Гринспен на автобиографию Борна - [Born, 1975 S. 187] - приводит на ту страницу, где однозначно говорится, что после Нового года, который Макс провел в Бреслау, с Минковским он больше не встречался.

¹⁵ Отто Блюменталь (Otto Blumenthal, 1876-1944) – немецкий математик, профессор Высшей технической школы в Ахене, погиб в концлагере Терезинштадт.

Лоренца¹⁶, учитывавшего релятивистские эффекты (сокращение размеров движущихся тел в направлении движения), или формула Макса Абрахама¹⁷, отрицавшего теорию относительности и опиравшегося на классические представления Максвелла.

С тезкой Максом Абрахамом Борн познакомился еще в студенческие годы, когда они собирались одной компанией в знаменитой гёттингенской пивной «Черный медведь». Абрагам своими колкими замечаниями в адрес других людей нажил себе множество врагов в научном мире, так что звание профессора ему долгое время никто не предлагал. После Гёттингена он работал в США, Италии, а когда, наконец, Высшая техническая школа в Ахене в 1921 году все же пригласила его занять профессорскую кафедру, было уже поздно: Макс Абрахам был уже тяжело болен и скончался через несколько месяцев.

Борн поставил себе задачу вывести формулу для электромагнитной массы электрона в общем случае ускоренного движения этой частицы как твердого тела. Из этой общей формулы должна следовать как частный случай либо формула Лоренца, либо формула Абрахама для равномерного движения. Тем самым будет выяснено, какая из них окажется верной.

Основная трудность, с которой столкнулся Борн, состояла в определении такого понятия, как «твердое тело», в применении к объектам, движущимся с высокими скоростями, когда релятивистскими эффектами нельзя пренебречь. В самом деле, согласно преобразованиям Лоренца, вошедшим составной частью в теорию относительности Эйнштейна, при движении размеры тела сокращаются, причем величина сокращения зависит от скорости. Но если тело движется ускоренно, например, вращается, то различные его части движутся с разными скоростями, следовательно, сокращаются по-разному. И тогда представление о «твердом теле», чья форма неизменна, оказывается неприменимым. Вот эту трудность и пытался разрешить Борн, введя особое понятие «твердого тела», отличавшееся от общепринятого тогда определения. Твердое тело по Борну не меняло своих размеров в трехмерном пространстве, но могло двигаться по оси времени.

А дальше достижение результата становилось делом техники. В результате довольно изощренных вычислений ему удалось до конца решить задачу и получить общую формулу для

¹⁶ Хендрик Антон Лоренц (Hendrik Antoon Lorentz, 1853-1928) – выдающийся голландский физик, лауреат Нобелевской премии 1902 года за объяснение эффекта Зеемана.

¹⁷ Макс Абрахам (иногда пишут Абрагам, Max Abraham, 1875-1922) – немецкий физик-теоретик.

электромагнитной массы движущегося с ускорением электрона, из которой, в частности, вытекала именно формула Лоренца для равномерного движения, а формула Абрахама, не учитывающая релятивистского сокращения, оказывалась неверной.

Над решением этой задачи Макс провел всю зиму и весну 1909 года. Полученный результат показал друзьям, прежде всего Эрнсту Хеллингеру, больше других интересовавшемуся математической физикой. Хеллингер проверил все выкладки и одобрил результат, и тогда ободренный Макс решил представить эту задачу в качестве своей второй докторской диссертации, позволявшей ему получить звание приват-доцента. Для этого необходимо было, прежде всего, выступить с докладом на заседании Математического общества, где председательствовал грозный Феликс Клейн.

Преодолев понятную робость, Макс обратился к секретарю общества, своему сверстнику доктору Антону Тимпе¹⁸ с просьбой включить доклад в план заседаний и получил положительный ответ: Клейн не возражал выслушать своего когда-то непокорного ученика.

Доклад обернулся для Борна катастрофой, в своей долгой научной жизни он испытал много неприятностей, познал и войну, и вынужденную эмиграцию. Но такого страшного удара, как в тот день на заседании гёттингенского Математического общества, он не переживал никогда.

С самого начала все складывалось неблагоприятно для докладчика, не имевшего к тому времени никакого опыта подобных выступлений. Заседания проходили в большой аудитории, где параллельно доске стоял длинный стол, покрытый зеленым сукном, за которым сидели величайшие математики, физики и астрономы Германии, а может быть, и всего мира. Это были профессора Клейн, Гильберт, Эдмунд Ландау, призванный в Гёттинген на место покойного Минковского, Рунге, Фойгт, Прандтль, Шварцшильд... За этим же столом сидели и приглашенные европейские научные светила.

Более юные ученые сидели за двумя длинными столами, образующими прямой угол с главным столом для «научных бонз». Молодые члены общества еще не были так знамениты, но отличались не меньшим критическим настроением и, стремясь себя показать, цеплялись, как правило, к малейшим неточностям докладчика. На этих скамьях сидели наши знакомые, приятели

¹⁸ Антон Тимпе (Anton Timpe, 1882-1959) – немецкий математик, ученик Феликса Клейна.

Макса Борна: Абрахам, Тёплиц, Хеллингер, а также молодые доктора, ассистенты и приват-доценты, еще не встречавшиеся на этих страницах: Герман Вейль 19, Густав Герглотц 20, Пауль Кёбе²¹ и другие. Им еще предстояло сказать свое слово в науке и занять профессорские кафедры в различных университетах.

На зеленом сукне главного стола были разложены стопками книги, и Феликс Клейн, начиная заседание, кратко рассказывал, какое впечатление на него произвели эти библиографические новинки. Книги он пускал по рядам, и к началу самого доклада у всех слушателей в руках было по книге, и каждый с увлечением ее просматривал, обращая на докладчика внимание только тогда, когда нужно было что-то покритиковать или опровергнуть. Неопытному выступающему было нелегко разбудить в слушателях интерес к теме доклада и результатам исследований. Макс сразу почувствовал себя несчастным. Но самое страшное его ожидало впереди.

Предвзятое отношение к себе «великого Феликса» Борн заметил буквально с первых слов своего доклада. Вначале, как положено, Макс привел свое определение «твердого тела», необходимое ему для дальнейших рассуждений. Клейн тут же грубо прервал его и придрался к терминологии, отличавшейся от общепринятой, посоветовав довольно бесцеремонным тоном, словно пойманному на экзамене неуспевающему студенту, сначала почитать математическую литературу, а уж потом выступать перед Математическим обществом.

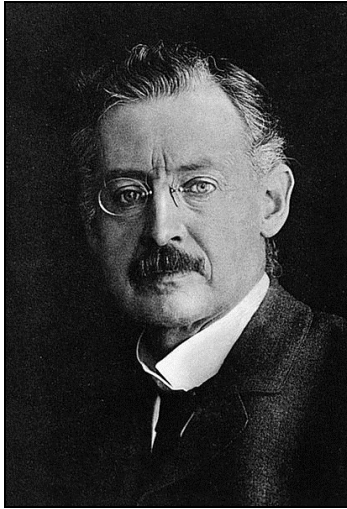
Борн начал защищать свое определение, ссылаясь на то, что оно является прямым обобщением физических построений, но тут же получил неожиданный удар с другой стороны, откуда никак не ждал предательства. В диспут на стороне Клейна вмешался Абрахам, посоветовавший докладчику читать не только математическую, но и физическую литературу, прежде чем выступать перед такой аудиторией, ибо знания Борна по физике столь же недостаточны, как и по математике.

19 Герман Вейль (Hermann Weyl, 1885-1955) – выдающийся немецкий математик, профессор Гёттингенского университета, после эмиграции в 1933 году – профессор Принстонского института перспективных исследований.

20 Густав Герглотц (Gustav Herglotz, 1881-1953) – немецкий математик, с 1925 года профессор Гёттингенского университета, сменивший Карла Рунге на посту заведующего кафедрой прикладной математики.

21 Пауль Кёбе (Paul Köbe, 1882-1945) – немецкий математик, с 1926 года профессор Лейпцигского университета.

Выступление Абрахама можно было понять: он злился, что из рассуждений Борна вытекает истинность формулы Лоренца, а не его собственной. Но все же Борна поразила позиция Абрахама: ведь в узком приятельском кругу тот первый посмеивался над странностями «великого Феликса», а здесь целиком стал на его сторону.



Карл Рунге

Полностью обескураженный, Макс стоял у доски, не находя слов для продолжения своего сообщения. Тогда Клейн объявил, что сказанного достаточно и добавил, что никогда в жизни не слышал худшего доклада, чем этот.

Морально уничтоженный, вернулся Борн на свое место, боясь поднять голову. Он ожидал, что все с презрением смотрят на него, так бездарно провалившего выступление перед высоким собранием. Однако так считали не все. Были в аудитории и те, кто внимательно слушал доклад, и они не были уверены, что Клейн в данном случае прав.

Когда после окончания заседания Математического общества Борн, стараясь ни на кого не смотреть, покинул аудиторию, он столкнулся в коридоре с Карлом Рунге, его поджидавшим. Слова профессора прозвучали ободряюще: «Меня заинтересовала Ваша работа. Похоже, что Клейн упустил нечто

существенное. Приходите завтра утром ко мне и объясните всю работу в целом»²².

Это было огромным утешением. Борн вспоминал в своей автобиографии, что без этой поддержки он не пережил бы следующую ночь.

Утром Макс был у Рунге, и тот терпеливо выслушал доклад, так и не прозвучавший до конца накануне. Когда Борн закончил выступать, руководитель его докторской работы сказал, что все, вроде, в порядке, и обещал поговорить о происшедшем с Гильбертом. Не откладывая обещание в долгий ящик, Рунге, распрощавшись с Максом, отправился к дому своего коллеги-профессора.

Там он застал такую картину. Эрнст Хеллингер, который в то время сменил Борна на посту персонального ассистента профессора Гильберта, горячо защищал работу своего друга-земляка и упрекал шефа в том, что тот не вмешался в спор с Клейном и не помог восстановить справедливость. Давид Гильберт, у которого гениальная глубина математических идей сочеталась с замедленной реакцией и небыстрой сообразительностью, только повторял: «разве это не был ужасно плохой доклад?». Рунге тут же поддержал Хеллингера, и было решено, что Гильберт тоже выслушает доклад Борна.

На этот раз выступление Макса прошло более чем успешно, так что на стороне Борна были уже два профессора, Гильберт и Рунге. При очередной встрече с Клейном они оба настаивали на том, что «великий Феликс» ошибся, был несдержан, и теперь необходимо восстановить справедливость. И Клейн сдался: он разрешил Борну повторить свой доклад перед Математическим обществом Гёттингена.

Все это Борн узнал не сразу, а спустя несколько дней, когда вопрос о его повторном выступлении был уже решен. Только тогда Хеллингер рассказал Максусу, как развивались события. Макс очень тяжело переживал случившееся. На следующий день после неудавшегося доклада он решил, что немедленно уедет из Гёттингена и навсегда бросит науку, к которой у него нет никаких способностей. Уж лучше он станет инженером и будет заниматься «настоящим делом».

Друзьям с огромным трудом удалось уговорить Макса остаться, хотя он и не понимал, зачем. Но в один прекрасный день Борн получил письмо от секретаря Математического общества Антона Тимпе, в котором сообщалось, что правление общества

22 [Born, 1975 S. 192].

решило просить Макса Борна повторить свой доклад, так как в первый раз выступление было неправильно понято. Тимпе просил сообщить, готов ли Борн к новому выступлению.

Макс не чувствовал себя готовым к этому новому испытанию, так как во всем винил себя самого: если он не смог убедить слушателей в своей правоте, значит, у него нет задатков настоящего ученого. Он готов был отказаться от представившейся возможности реабилитировать себя, но Рунге в откровенном разговоре убедил Макса в том, что виной всему его страх, который надо преодолеть. И Борн решился выступить еще раз.

Вместе с Хеллингером он еще и еще раз прошел весь доклад от начала до конца, и в назначенный день точно к началу заседания был в аудитории.



Вольдемар Фойгт

Слушателей на этот раз собралось еще больше, весь физико-математический Гёттинген обсуждал невиданный случай: Феликс Клейн признал свою ошибку и дал шанс молодому ученому восстановить свою репутацию. На этот раз книги, посланные Клейном по рядам, остались лежать на столах, все внимание слушателей было приковано к докладчику. Макса никто не перебивал, и когда он закончил выступать, увидел вокруг улыбающиеся и доброжелательные лица. Аплодисменты во время заседаний Математического общества были крайней редкостью, но в этот раз Борн их заслужил.

Это была полная победа! После доклада к Максуд подошел профессор теоретической физики Фойгт и сказал, что он слышал от покойного Минковского, что Борн хотел бы стать приват-доцентом. Только что сделанный доклад мог бы быть основой его второй диссертации, необходимой для получения этого звания, и сам профессор готов быть его научным руководителем.

Защита диссертации состоялась летом 1909 года, а в начале зимнего семестра – в октябре того же года – приват-доцент Борн выступил перед студентами с обязательной пробной лекцией. Тему для нее Макс выбрал сам: «Модель атома по Дж. Дж. Томпсону».

Борн сравнил попытки физиков разобраться со строением вещества по косвенным экспериментам с музыкантом, который слушает звуки новой симфонии у закрытых дверей концертного зала. Не видя партитуры всего произведения и не зная общей оркестровки, он все же может набросать эскиз переложения для фортепьяно какой-то части симфонии. Модель Дж. Дж. Томсона и была попыткой создать подобный эскиз для «атомной симфонии».

После пробной лекции Макс был официально принят в штат Гёттингенского университета в качестве приват-доцента.

Школа Самсона

Как и Джеймс Франк, Макс Борн начал свою автобиографию, прилагаемую к докторской диссертации, словами: «Я, Макс Борн, еврейской религии...». Макс не был религиозен, но и порвать ниточку, связывающую его с традицией предков, он тогда был не в состоянии, хотя отец, профессор Густав Борн, предупреждал сына о трудностях, встающих на пути ученого-еврея. От скромного доцента до ординарного профессора лежит «дистанция огромного размера». Пройти этот путь – нелегкая задача для любого ученого, но она усложняется во много раз для человека, пишущего в автобиографии о своей принадлежности «еврейской религии». Мы уже упоминали, что в 1909 году среди 1200 ординарных профессоров в университетах Германии насчитывалось только двадцать человек, не отказавшихся публично от иудаизма²³.

Во многих университетах существовало неписаное правило: на факультете должно быть не более одного профессора-еврея. Университет в Гёттингене представлял в этом смысле редкое исключение: усилиями Феликса Клейна и Фридриха

23 См. также [Greenspan, 2006 стр. 49].

Альтхоффа на философский факультет были приняты ординарными профессорами в 1901 году Карл Шварцшильд, а годом позже – Герман Минковский.

Весной 1913 года Макс познакомился с Хедвиг Эренберг, дочкой лейпцигского профессора права Виктора Эренберга²⁴ и его жены Хелены, урожденной фон Иеринг. Виктор происходил из еврейской семьи, но его будущая жена заставила перед свадьбой в 1882 году порвать с иудаизмом и принять лютеранство, чтобы вся их брачная церемония проходила в церкви без помех. Виктор, для которого вопросы веры не играли большой роли, не сопротивлялся, и свадьба с дочкой знаменитого профессора-юриста Рудольфа фон Иеринга²⁵ не огорчила родню невесты, гордящуюся своими родственными связями с самим Лютером: вторая жена Рудольфа фон Иеринга приходилась великому реформатору церкви прямой наследницей. Случайно или нет, но после крещения в том же 1882 году Виктор Эренберг получил кафедру профессора в Ростокском университете²⁶.

История семьи Эренбергов наглядно показывает, как одновременно с эмансипацией и продвижением евреев в гражданское общество постепенно слабеют и рвутся связи с иудаизмом, с еврейской традицией. В конце восемнадцатого века эти связи были как никогда крепки. Но именно тогда, когда эмансипация делала только первые робкие шаги, начался медленный отход от ортодоксальной традиции, которой до того свято придерживались во всех еврейских семьях.

Дед Виктора Эренберга - Самуэль Мейер Эренберг (Samuel Meyer Ehrenberg, 1773-1863) – сын раввина и получил в Брауншвейге традиционное еврейское религиозное образование. По рекомендации друга и покровителя семьи, придворного банкира и коммерции советника Герца Самсона (Herz Samson, 1738-1794) Самуэль посещал с 1789 по 1794 годы в городе Вольфенбюттель так называемую талмуд-тору – религиозную школу для мальчиков, как правило, из бедных семей. Эту школу основал и возглавил брат Герца – Филипп Самсон (Philipp Samson, 1743-1805). После окончания школы Самуэль Эренберг несколько

24 Виктор Эренберг (Victor Ehrenberg, 1851-1929) – немецкий ученый-правовед, профессор Ростокского, Гёттингенского и Лейпцигского университетов.

25 Рудольф фон Иеринг (Rudolf von Ihering, иногда пишут Ihering, 1818-1892) – немецкий юрист, профессор Гёттингенского университета, основатель теории страхового права.

26 [Born, 1975 S. 218].

лет работал домашним учителем у одного из трех сыновей Герца Самсона.

Братья Самсоны занимали видное положение в еврейской жизни герцогства Брауншвейг. Герц фактически выступал как главный раввин этой земли. Кроме того, он был банкиром герцога Брауншвейгского, исполнял придворную должность камергерента. Известно, что Моисей Мендельсон, знаменитый философ и просветитель, гостил в 1770 году у старшего Самсона. Идеи Мендельсона о веротерпимости, свободе совести и мысли подготовили почву для распространения «либерального иудаизма», в котором делалась попытка приблизить традиционные заповеди к условиям современной жизни.

Одним из пионеров либерального иудаизма в Германии стал Израиль Якобсон (Israel Jacobson, 1768-1828), тесно связанный с домом Самсонов: Якобсон женился на Минне – одной из восьми дочерей Герца Самсона. После смерти тестя в 1794 году Израиль Якобсон перенял все его дела, в том числе, исполнял функции раввина для брауншвейгского региона.

Став богатым человеком, Израиль Якобсон не жалел денег на образование юношества. В 1801 году он открыл в городке Зезен (Seesen) недалеко от Брауншвейга школу для бедных еврейских детей, где, наряду со светскими предметами, преподавались основы религии, и где служба в синагоге велась не только на иврите, но и на немецком языке.

Самуэль Мейер Эренберг на несколько лет, с 1803 по 1806 годы, был помощником Израйля Якобсона в его коммерческих делах. После смерти второго из братьев Самсонов – Филиппа – Самуэль становится директором школы в Вольфенбюттеле, называемой в честь ее основателя «школой Самсона».

Очень скоро школа Самсона была преобразована в учебное заведение либерального толка по образцу школы Израйля Якобсона в Зезене. Одним из самых известных учеников Самуэля Эренберга был Леопольд Цунц (Leopold Zunz, 1794-1866), выдающийся еврейский ученый и просветитель.

Отдавая дань памяти своему учителю и предшественнику, Самуэль Мейер Эренберг назвал своего сына Филипп (Philipp Ehrenberg, 1811-1882). Филипп женился на Юлии Фишель, не нарушив еврейской традиции избегать смешанных браков. Но их сын Виктор Эренберг, внук Самуэля Мейера, взял в жены Хелену Иеринг, чистокровную немку, ведущую свой род от Мартина Лютера. Не удивительно, что и Виктор Эренберг, и его дети стали крещеными христианами.

Своих детей – младшую дочь Хедвиг и сыновей Курта и Рудольфа, будущего профессора биологии и философии, основоположника «метабиологии», - Хелен Эренберг крестила сразу после рождения. Дети росли верующими лютеранами, но об их еврейских корнях по отцу им напомнили нацисты: по Нюрнбергским расовым законам и Хедвиг, и Рудольф, и Курт оказались еврейскими «мишлингами».

Рудольф Эренберг 27, хоть и подписавший в 1933 году клятву верности фюреру, был в 35-м досрочно отправлен на пенсию. В 1938 году его лишили права читать лекции студентам, а в 1944 году гестапо отправило его на принудительные физические работы, от которых он был освобожден только в 1945 году, когда с фронта пришло известие, что единственный сын Рудольфа погиб.

Ганс Эренберг 28 – двоюродный брат Рудольфа – стал пастором, теологом, еще до прихода нацистов к власти борющимся против антисемитизма церкви. Он стал одним из основателей «Исповедальной церкви» 29. Его тоже досрочно в 1937 году отправили на пенсию, а после Всегерманского погрома 9 ноября 1938 года и кратковременного содержания в концлагере Заксенхаузен, Гансу удалось эмигрировать в Англию.

Помолвку дочери с Максом Борном Хелен Эренберг-Иеринг встретила с радостью. Она считала, что этот брак предопределен небесами. У нее была специально сделанная колода карт с цитатами из Библии. Время от времени Хелен «гадала» по этой колоде. Как-то, желая узнать судьбу своей дочери, она вытасила карту с таким обещанием: «скоро дом Давида получит свободный и открытый источник против всяческой нечистоты» 30 То, что фамилия жениха (Born) по-немецки и означала «источник», чрезвычайно ободрило суеверную мамашу.

Невеста получила к свадьбе воистину царский подарок. Одним из благодарных учеников ее деда, профессора Рудольфа фон Иеринга, был русский князь Лев Сергеевич Голицын 31. Он

27 Рудольф Эренберг (Rudolf Ehrenberg, 1884-1969) – немецкий биолог и философ.

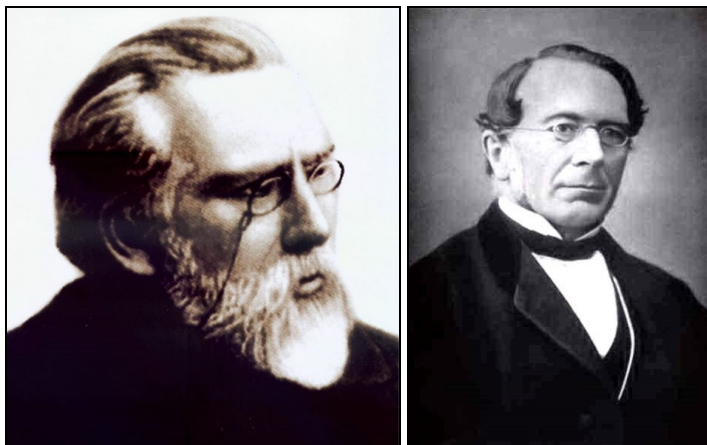
28 Ганс Эренберг (Hans Ehrenberg, 1883-1958) – немецкий пастор и теолог.

29 «Исповедальная церковь» (Bekennende Kirche) – оппозиционное движение евангелических христиан в Германии, образованное в 1934 году в знак протеста против попытки нацистских властей поставить церковь под контроль государства.

30 [Born, 1975 S. 218].

31 Лев Сергеевич Голицын (1845—1915, на Западе его имя писали Leon Galitzin) - основоположник русского виноделия в Крыму, изучал право в

прислал Хедвиг уникальный крест, с шестнадцатого века хранившийся в его семье. По мнению Голицына, именно такую вещь должна носить внучка фон Иеринга: золотой крест был украшен бриллиантами и висел на цепочке, состоящей из двадцати двух золотых пластинок с полудрагоценными камнями³².



Ученик и учитель: князь Лев Голицын и проф. Рудольф фон Иеринг

Хеди, как звали Хедвиг в семье, была в восторге от подарка, но ее жених к религиозным символам оставался равнодушным. Из-за его отношения к обрядам возникли трудности в отношениях с будущей тещей. Хелен мечтала, чтобы свадьба прошла в крупнейшей гёттингенской церкви по христианскому обряду. Но для этого жених должен был перейти в протестанство, а это он считал для себя неприемлемым. Хелен, так легко добившаяся от своего мужа крещения, не понимала упрямства своего будущего зятя. Ведь в синагогу тот не ходит, никакие обряды иудаизма не соблюдает, еврейские праздники не отмечает, священных книг не читает... Почему он так держится за традиции предков? Что он теряет, перейдя в христианство?

Через много лет, вспоминая свои чувства накануне свадьбы, Макс Борн так объяснял принципы, которыми он руководствовался: «То, что было достаточно хорошо для моего отца и для его отца, должно и для меня быть хорошо»³³. Предки

Гёттингенском университете под руководством профессора Рудольфа фон Иеринга, с которым подружился.

³² [Greenspan, 2006 стр. 62].

³³ [Born, 1975 S. 222].

Макса не переходили в христианство, хотя такой шаг мог бы избавить их от многих притеснений и ограничений. На всю жизнь запомнил Борн слова отца, который учил сына «полагаться не на откровения и заветы и еще менее на чудеса, обещания вечного блаженства или страх наказания, а на собственную совесть и понимание человеческой жизни в рамках законов природы»³⁴.

С детства у Макса было предубеждение перед церковью, еще со школьных дней, когда одноклассники смеялись над ним за то, что он не так читает молитвы, как они. И в старости Борн повторял: «Если человек не воспитан в благоговении перед христианскими символами, то в истории христианства, точнее, в истории церкви нет ничего, чем можно было бы гордиться. Возможно, - и события последних десятилетий делают это еще более вероятным, - что западный и северный человек от природы столь дик, что его история без христианства была бы существенно хуже; однако она все равно столь ужасна, и столько преследований и погромов совершались именем Христа»³⁵.

Этого «запаса прочности» Максу хватило для того, чтобы до свадьбы не поддаться уговорам будущей тещи. В отношении церемонии нашли компромисс: обряд проходил не в церкви, а в доме сестры Макса Кэте (Käthe, 1884—1953) в берлинском районе Грюнау (Grünau), где она жила с мужем, архитектором Георгом Кёнигсбергером, с 1906 года. Дом с большим садом располагался в живописном месте на берегу реки Даме (Dahme) – притоке Шпрее. Церемонию 2 августа 1913 года проводил пастор по фамилии Лютер, дальний родственник семьи невесты. Он согласился провести венчание без крещения жениха, ограничившись короткой с ним беседой. Невеста была в белом платье, ее грудь украшал золотой крест на золотой цепочке от русского князя.

В саду установили огромную палатку-павильон для многочисленных гостей. Как вспоминал потом Борн, «это была свадьба в грандиозном старом стиле»³⁶.

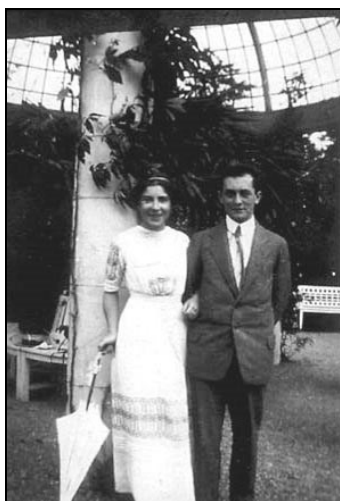
Но настойчивая Хелен не смирилась с поражением. Она постоянно напоминала зятю о необходимости крещения. Как известно, капля камень долбит, и Макс, в конце концов, надоели бессмысленные и бесконечные дискуссии. Он согласился стать христианином, уговаривая себя, что это разумный шаг и «в жизни,

34 Там же.

35 Там же, стр. 222-223.

36 Там же, стр. 218.

озаренной разумом, о которой я мечтал, религиозные исповеди и церкви должны рассматриваться как несущественные»³⁷.



Хедвиг и Макс Борн

И тот же пастор Лютер, который проводил венчание, побеседовав с Максом пару часов, нашел его готовым к крещению и провел этот обряд. Словно оправдываясь, Борн пишет в воспоминаниях, что никогда об этом не жалел. В еврейском мире он жить не хотел, а в христианском надеялся перестать быть отверженным аутсайдером. Но уже тогда он дал себе слово, никогда не скрывать своего еврейского происхождения. Надо отдать ему должное, слово свое он сдержал. Многие крестившиеся евреи тщательно скрывали свои корни, но с приходом Гитлера к власти выяснилось, что эти попытки были тщетными. И, как пишет Борн, «я снова, несмотря на пастора Лютера, почувствовал себя представителем еврейского народа, и страдал вместе с евреями. Считается сердце, а не конфессия»³⁸.

Да и до установления господства национал-социалистов антисемитизм не давал еврею возможности забыть о своем происхождении. Один эпизод из времен его еще холостой жизни запомнился Борну на всю жизнь.

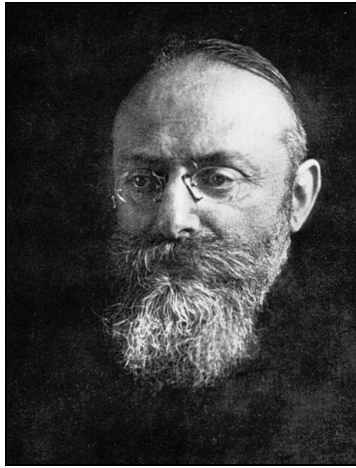
³⁷ Там же, стр. 223.

³⁸ Там же.

Вагнер и Борн

Другом отца Макса был профессор Альберт Найссер³⁹, известный ученый и врач, директор университетской клиники кожных и венерических болезней. Альберт был женат на Антонине (Тони) Кауфман, двоюродной сестре рано умершей матери Макса Маргариты. В семье Найссер не было детей, и после смерти Густава Бора Альберт и Тони заботились о Максе и его сестре Кэте как о родных.

Летом 1909 года после защиты Максом второй докторской диссертации Найссеры взяли его в поездку на машине в Байройт, где ежегодно проводились вагнеровские оперные фестивали.



Альберт Найссер

Альберт Найссер, как и Альфред Прингсхайм, был страстным почитателем музыки Рихарда Вагнера. Их преклонение перед гением автора «Парсифаля» и «Тангейзера» было столь велико, что они буквально теряли голову при малейших признаках неуважения к их кумиру. Будущий профессор математики, отец Петера Прингсхайма, в возрасте 26 лет услышал в ресторане Байройта нелестное высказывание о музыке Вагнера. Недолго думая, он разбил пивной бокал о голову обидчика, чем вызвал

³⁹ Альберт Найссер, иногда пишут Нейссер (Albert Neisser; 1855-1916) — знаменитый немецкий врач, который открыл возбудителя гонореи, профессор университета в Бреслау.

дуэльный поединок, к счастью, разрешившийся без дальнейшей крови⁴⁰.

И Альфред Прингсхайм, и Альберт Найссер пожертвовали крупные суммы на строительство оперного театра в Байройте – «фестшпильхауса», в котором проводятся ежегодные вагнеровские фестивали.

Во время поездки с Найссерами Макс Борн как-то неосмотрительно похвалил оперу Бизе «Кармен». Альберт ужасно возмутился: «Если ты этого музыканта для кофейни предпочитаешь великому Мастеру, то тебе не следовало бы с нами ехать в Байройт». Макс на целый день попал в немилость⁴¹.

Путешественники насладились всеми постановками опер Вагнера в тот сезон. Радость омрачила лишь одна деталь: вдова композитора Козима не пригласила Найсеров на торжественный прием, который она устраивала ежегодно для почетных гостей фестиваля. Ни мировая слава ученого, ни его преклонение перед вагнеровскими творениями, ни деньги, которые он пожертвовал театру, ничто не могло поколебать Козиму: на ее виллу Ванфрид (Villa Wahnfried) не приглашался ни один еврей. Чтобы избежать неловкости при встрече со знакомыми, идущими на прием к Козиме, Найсеры уезжали в этот день за город, и никто ни одним словом не должен был упоминать о собравшемся на вилле Ванфрид обществе.

Если бы путешественники, оскорбленные отказом от дома Вагнера, знали некоторые подробности биографии их кумира, они по достоинству оценили бы изощренность судьбы, сплетающей жизненные пути различных людей в немислимые, казалось бы, сюжеты. Оказывается, Рихард Вагнер и брат деда Макса, Штефан Борн, были не просто друзьями, а братьями по оружию. Макс узнал об этом много позже, разбирая стопку старых писем, которые бережно хранила всю жизнь его мачеха Берта Борн, урожденная Липштайн (Bertha Lipstein, 1866-1937).

Рихард Вагнер, королевский капельмейстер в Дрездене, принял активное участие в майском восстании 1849 года, в котором на стороне восставших сражался и его друг Михаил Бакунин. В тот же день 9 мая, когда Штефан Борн оставил Дрезден, оттуда же бежали и Вагнер с Бакуниным. К утру им удалось добраться до Фрайберга, небольшого саксонского городка между Дрезденом и Хемницем. Здесь собрались две тысячи беглецов из занятой королевскими войсками столицы Саксонии.

40 [Mann, 2000 S. 15].

41 [Born, 1975 S. 204].

Штефан Борн приехал во Фрайберг через несколько часов после Вагнера – он до последней минуты оставался на баррикаде. Борн так вспоминал их встречу во Фрайберге на квартире Отто Леонарда Хойбнера 42, одного из руководителей дрезденского восстания и члена временного правительства мятежников: «Ко мне бросился восторженный человек и разразился страстной речью: „Ничего не потеряно! Молодежь, да, молодежь, молодежь все снова сделает правильно, все спасет!“». Это был Вагнер, который таким образом приветствовал мое прибытие, и он обнял меня еще раз»⁴³.

Уговорив большинство беглецов небольшими группами возвращаться домой, руководители мятежа стали совещаться, куда им бежать дальше. Несмотря на предостережения Борна, Бакунин с Хойбнером поехали в Хемниц и остановились на постоялом дворе, где их тут же арестовали. Вагнер и Борн благополучно пробрались в Швейцарию. Дружеские отношения они сохранили на всю жизнь, о чем свидетельствуют их письма друг другу, находящиеся в семейном архиве Борнов.

По-видимому, Макс во время поездки в Байройт с семьей Альберта Найссера в 1909 году не знал об этой переписке, иначе он обязательно отметил бы этот курьезный факт: на виллу Вагнера не пускают родных его боевого товарища.

Приват-доцент в Гёттингене

Свадебное путешествие привело Макса и Хедвиг Борн в Стокгольм. Через сорок один год супружеская чета Борнов снова окажется в этом городе, где Макс вручат Нобелевскую премию по физике. А тогда, в сентябре 1913 года, из шведской столицы новобрачные отправились в Вену, где Макс рассчитывал совместить приятное с полезным. Приятное – это дворцы, музеи, Венская опера. Полезное – восемьдесят пятый съезд Общества немецких естествоиспытателей и врачей.

Программа заседаний была очень плотная, на секции физики с 21 по 28 сентября 1913 года было сделано 50 докладов. Альберт Эйнштейн выступил с сообщением о современном положении проблемы гравитации – видно, что эти вопросы его интересовали в то время больше всех других. Через два года получит свое окончательное оформление его общая теория

42 Отто Леонард Хойбнер (Otto Leonhard Heubner, 1812-1893) – немецкий юрист и политик.

43 [Вотн, 1978 S. 118].

относительности, самый грандиозный физический результат двадцатого века.

В Вене Макс Борн встретил своего друга еще с гейдельбергских времен – Джеймс Франк тоже был среди докладчиков съезда. Франк и Густав Герц докладывали о серии своих экспериментов по столкновениям ионов с электронами в газах. Эти эксперименты в следующем году приведут к знаменитому опыту Франка-Герца, сделавшему обоих исследователям мировыми знаменитостями.

Макс тоже выступил с докладом об одном из законов молекулярной физики, носящем имя венгерского ученого Лоранда Этвёша⁴⁴. Борн рассмотрел проблему с точки зрения квантовой теории.

Докладов на этом, последнем перед мировой войной, съезде Общества немецких естествоиспытателей и врачей было так много, что не все попали в итоговый сборник трудов, изданный в 1914 году в Лейпциге. Для докладов молодых физиков Франка, Герца и Борна в толстом (более восьмисот страниц!) сборнике не нашлось места⁴⁵.

Хедвиг Борн знакомилась с друзьями и коллегами своего мужа, по крайней мере, один раз была на заседании в актовом зале физического института Венского университета – сохранилась фотография, на которой она и Максом сидят рядом с Густавом Герцем, Отто Ханом и Генрихом Рубенсом⁴⁶.

Вернувшись из свадебного путешествия, Борн с молодой женой поселились в Гёттингене, где он уже четыре года читал лекции в университете.

Поначалу Макс, по его собственному признанию, был плохим лектором. Он не сразу научился чувствовать аудиторию, оценивать уровень ее подготовки. Как-то через пару лет после защиты Борном второй диссертации группа химиков, врачей и фармацевтов предложила молодому приват-доценту прочитать им короткий курс лекций по термодинамике. В эту группу входил доцент физиологии Рудольф Эренберг (Rudolf Ehrenberg, 1884-1970), родной брат Хедвиг, будущей жены Борна. Через много лет Рудольф рассказал своему зятю, что его лекции были для всей группы настоящей мукой. Никто не понимал ни слова, но ни один

44 Лоранд Этвёш (Loránd Eötvös, 1848-1919) – венгерский физик, с 1889 года президент Венгерской академии наук.

45 Доклады естественнонаучной секции съезда опубликованы во второй части . Versammlung zu Wien vom 21. Bis 28. September 1913. II. Teil. Vogel, Leipzig 1914.

46 [Lemmerich, 1982 стр. 36]

из слушателей не решался уйти с занятий, за которые они же и заплатили – все боялись обидеть своего коллегу, такого же молодого доцента, как и они.

Борн все еще не вполне ощущал себя физиком, оставаясь в душе математиком, и в отношении строгости рассуждений не готов был идти ни на какой компромисс. Более того, он считал, что его слушателям, как и ему самому, строгость математических выкладок поможет лучше понять физическую суть проблемы. Один из его немногочисленных первых слушателей рассказывал, как протекали лекции Борна: «Он говорил несколько слов, потом поворачивался, писал что-то на доске и произносил: «Это следует отсюда». Так проходили часы с длинными расчетами и редкими пояснениями». Не удивительно, что студенты ничего не понимали в его лекциях. К счастью, с годами Макс все более и более овладевал искусством преподавания, став со временем главой лучшей в мире научной школы физиков.



Макс Борн

Итак, пророчество Отто Тёплица наполовину сбылось: Макс снова оказался в Гёттингене, на этот раз приват-доцентом. Через двенадцать лет сбудется и вторая половина пророчества Тёплица: Борн вернется в Гёттинген уже полным профессором на кафедру теоретической физики, которую занимал ранее руководитель его второй диссертации Вольдемар Фойгт. Но до того Макс придется снова надеть военный мундир – мировая война и его втянула в свой водоворот.

(продолжение следует)

Список литературы

- 2005, Festschrift zum Forum. 2005.** *Max Born und Albert Einstein im Dialog.* Recklinghausen : Förderverein des Max-Born-Berufskollegs Kemnastraße, 2005.
- Barbeck, Hugo. 1878.** *Geschichte der Juden in Nürnberg und Fürth.* Nürnberg : б.н., 1878.
- Beyerchen, Alan. 1982.** *Wissenschaftler unter Hitler: Physiker im Dritten Reich.* Frankfurt a.M., Berlin, Wien : Ullstein Sachbuch, 1982.
- Born, Max. 1975.** *Mein Leben. Die Erinnerungen des Nobelpreisträgers.* München : Nymphenburger Verlagshandlung, 1975.
- Born, Stephan. 1978.** *Erinnerungen eines Achtundvierziger.* Bonn : Dietz Verlag, 1978.
- Dohm, Christian. 1781.** *Über die bürgerliche Verbesserung der Juden.* Berlin, Stettin : б.н., 1781.
- Einstein-Born. 1969.** *Albert Einstein – Hedwig und Max Born. Briefwechsel 1916-1955.* München : Nymphenburger Verlagshandlung, 1969.
- Erb, Rainer; Bergmann, Werner. 1989.** *Die Nachtseite der Judenemanzipation.* Berlin : Metropol, Friedrich Veitl-Verlag, 1989. ISBN 3-926893-77-X.
- Feuer, Lewis. 1963.** *The scientific intellectual. The Psychological & Sociological Origins of Modern Science.* New York, London : Basic Books, Inc., Publishers , 1963.
- Freud, Ernst L. (Hrsg.). 1970.** *The Letters of Sigmund Freud and Arnold Zweig.* London : Hogarth Press and the Institute of Psycho-Analysis, 1970.
- Goenner, Hubert. 2005.** *Einstein in Berlin.* München : Verlag C. H. Beck, 2005.
- Greenspan, Nancy Thorndike. 2006.** *Max Born – Baumeister der Quantenwelt. Eine Biographie.* München : Spektrum akademischer Verlag, 2006.
- Hamburger, Ernest. 1968.** *Juden im öffentlichen Leben Deutschlands.* Tübingen : J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1968.
- Katz, Jacob. 1987.** *Aus dem Ghetto in die bürgerliche Gesellschaft. Jüdische Emanzipation 1770-1870.* Frankfurt am Main : Jüdischer Verlag bei Athenäum, 1987.
- Kaznelson, Siegmund (Hrsg.). 1959.** *Juden im Deutschen Kulturbereich.* Berlin : Jüdischer Verlag, 1959.
- Lemmerich, Jost. 2007.** *Aufrecht im Sturm der Zeit. Der Physiker James Frank (1882-1964).* Diepholz, Stuttgart, Berlin : Verlag für Geschichte der Naturwissenschaften und der Technik, 2007.
- , **1982.** *Max Born, James Frank, der Luxus des Gewissens: Physiker in ihrer Zeit.* Wiesbaden : Reichert, 1982.
- Mann, Katia. 2000.** *Meine ungeschriebenen Memoiren .* Frankfurt a.M. : Fischer Taschenbuch Verlag, 2000.
- Mendelssohn, Moses. 2005.** *Jerusalem oder über religiöse Macht und Judentum.* Hamburg : Felix Meiner Verlag, 2005.
- Planck, Max. 1922.** *Physikalische Rundblicke gesammelte Reden und Aufsätze.* Leipzig : S. Hirzel Verlag, 1922.

- Rathenau, Gerhart. 1983.** *James Franck. In: James Franck und Max Born in Göttingen. Reden zur akademischen Gedenkfeier am 10.11.1982.* Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen, 1983.
- Rechenberg, Helmut. 2010.** *Werner Heisenberg – die Sprache der Atome.* Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag, 2010.
- Roggenkamp, Viola. 2005.** *Erika Mann. Eine jüdische Tochter.* Zürich, Hamburg : Arche Literatur Verlag AG, 2005.
- Thomson, Joseph John. 1903.** *Conductions of electricity through gases.* Cambridge : б.н., 1903.
- Volkov, Shulamit. 2000.** *Antisemitismus als kultureller Code.* München : Verlag C.H. Beck, 2000.
- . **2001.** *Das jüdische Projekt der Moderne.* München : Verlag C.H.Beck, 2001.
- Willstätter, Richard. 1949.** *Aus meinem Leben.* München : Verlag Chemie, 1949.
- Документы истории Великой французской революции. 1990.** *Декларация прав человека и гражданина.* Москва : МГУ, 1990. Т. 1.
- Фридман, Соломон. 2004.** *Евреи - лауреаты Нобелевской премии.* Москва : Издательство: Право и закон XXI, 2004.
- Юнг, Роберт. 1961.** *Ярче тысячи солнц.* Москва: Государственное издательство литературы в области атомной науки и техники, 1961.



Ирина Крайнева, Зоя Черкасская Юрий Борисович Румер 1901- 1985)

Биографический очерк*



изменный путь физика Юрия Борисовича Румера поражает своей насыщенностью событиями. Ровесник XX века, он в полной мере ощутил его суровый нрав, испытал взлеты и падения, любовь и вражду. В биографии отразилось время со всеми его противоречивыми тенденциями.

Сетевой альманах «Еврейская старина» уже публиковал как работы самого Ю.Б. Румера, так и воспоминания о нём. Были опубликованы его воспоминания о временах Гёттингена, о Ландау, о встречах с Эйнштейном, о своих учениках**.

По инициативе семьи к 100-летию со дня рождения Ю.Б. Румера подготовлен сайт, где о нем рассказали его ученики и коллеги, где размещены некоторые фотографии из семейного архива. В 1989 г. вышла книга М.П. Рютовой-Кемоклидзе «Квантовый возраст», в которой акцент сделан на доакадемическом периоде жизни ученого. Книга в значительной степени основана на воспоминаниях.

В 2011 г. был задуман и затем запущен проект Электронного открытого архива СО РАН, который в настоящее время находится в стадии разработки. Планируется поместить сюда документы и фотографии из семейного архива Румера,

* Статья подготовлена при финансовой поддержке Президиума СО РАН в рамках интеграционного проекта фундаментальных исследований СО РАН 2012-2014 гг. М-48 «Открытый архив СО РАН как электронная система накопления, представления и хранения научного наследия».

** В альманахе "Еврейская Старина" опубликованы следующие статьи Юрия Борисовича: Ландау. 2003 №7

<http://berkovich-zametki.com/AStarina/Nomer7/Rumer1.htm>

Учитель -- об ученике, ученик -- об учителе. 2003 №6

<http://berkovich-zametki.com/AStarina/Nomer6/Rumer1.htm>

Геттингенская школа. Встречи с Эйнштейном и работы по пятиоптике.

2003 №5 <http://berkovich-zametki.com/AStarina/Nomer5/Rumer1.htm>

которые ранее не были обнародованы. Задавшись целью проследить хронологию и логику событий, мы оказались в затруднительном положении: при кажущемся обилии публикаций и документов, мы увидели, что известное смешалось с интерпретацией, факты – с мифами, а мифы порой заняли место фактов. Подробное изучение документов показало, что они не раскрывают некоторые моменты жизни ученого. Потребовалась дополнительная поисковая работа. Тем не менее, изученные нами архивы, которых уже насчитывается больше десяти, оставляют белые пятна в биографии ученого и побуждают к продолжению поисков. Помимо семейных архивов детей Ю.Б. Румера, исследованы документы в Научном архиве СО РАН, в архивах НГУ, МГУ (дело студента и сотрудника НИИ физики МГУ), Центральном архиве ФСБ РФ, Архиве Министерства иностранных дел, в Берлинской государственной библиотеке, Архиве земли Нижняя Саксония. Изучено личное дело Ю.Б. Румера, хранящееся в Институте ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН. Привлечены к работе некоторые документы из личного архива новосибирского физика Д.Д. Саратовкина,

Работа по созданию Электронного открытого архива не помешала нам осуществить и другую масштабную идею – опубликовать избранные документы и воспоминания в книге, которая по совету чл.-корр. РАН И.Б. Хрипловича была названа «Юрий Борисович Румер. Физика, XX век». Она вышла в 2013 г. в серии СО РАН «Наука Сибири в лицах». В книге опубликованы подлинные документы, письма, фотографии, некоторые работы Ю.Б. Румера, воспоминания друзей, учеников, родных, некоторые статьи историков науки Г. Горелика, Б. Горобца, К. Кикоина. Составителями книги явились и члены семьи Ю.Б. Румера: его дети Татьяна и Михаил Михайловы, его внучки Инна Михайлова и Татьяна Гилёва, которые взяли на себя часть архивных поисков и перевод немецких писем. Инна, в частности, обратилась к сыну М. Борна Густаву и получила его согласие на копирование переписки Борна и Румера из Фонда прусского наследия Государственной библиотеки Берлина. Эти письма публикуются впервые. Михаилу Юрьевичу Михайлову выпала нелегкая задача первого прочтения архивно-уголовного дела Р-23711 из Центрального архива ФСБ России.

Несколько слов о структуре книги. Она содержит 11 глав и приложения. Главы сформированы по тематико-хронологическому принципу: они либо отражают определенный период жизни Ю.Б. Румера (пребывание в Гёттингене, арест и ссылка, дискуссия о пятиоптике, реабилитация), либо же

объединяют документальные свидетельства тематически (Гёттингенские рассказы, воспоминания, штрихи жизни, работы Ю.Б. Румера, история ИРЭ СО АН СССР и т.п.). Мы планируем выложить ее на сайте **Открытого архива СО РАН** через некоторое время. Поскольку все имеющиеся у нас документы не вошли в книгу, они также будут доступны в Открытом архиве.



Юра Румер – учащийся Частного реального училища Общества преподавателей. Москва, 1915-1917 гг.

Герой нашей книги Юрий Борисович Румер родился 28 апреля 1901 года в Москве в состоятельной купеческой еврейской семье. До революции жили в доме на Маросейке, в Козмодемьянском переулке. Круг знакомств и родственных связей включал главного раввина Москвы Я.И. Мазе, который составил и подписал метрическое свидетельство о рождении Юрия Румера. Дочь раввина – Альгута, Аля – была подругой детства, любовью Ю. Румера, но стала женой его друга гимназических времен, литератора О.Г. Савича. Осип Брик – двоюродный брат Юрия, их матери – родные сестры. В том же доме жила семья адвоката Ю. Кагана, отца Лили и Эльзы, впоследствии Лили Брик и Эльзы Триоле. Цепочка тянется к В. Маяковскому, И. Эренбургу... Этот потрясающий воображение круг пополнился позже другими значительными именами великих ученых и инженеров.

Юрий был младшим. Воспитанный няней немкой, получил немецкий в качестве второго родного языка. Способности к языкам были в семье Румеров обычным явлением. Блистал талантами старший брат Осип, известный лингвист, знаток многих языков, в том числе древних, восточных, он переводил Платона, Горация, Шекспира и Омара Хайяма. Не менее талантлив был и

средний брат Исидор, глубокий философ, филолог, семейное предание говорит о его работе в качестве референта Льва Троцкого. После административной ссылки в 1935 г., за которой последовал арест, судьба его неизвестна. Сестра Елизавета в юности увлекалась системой Далькроза, более 20 лет прослужила в библиотеке Московской консерватории, занималась систематизацией фондов, снискала уважение сослуживцев.

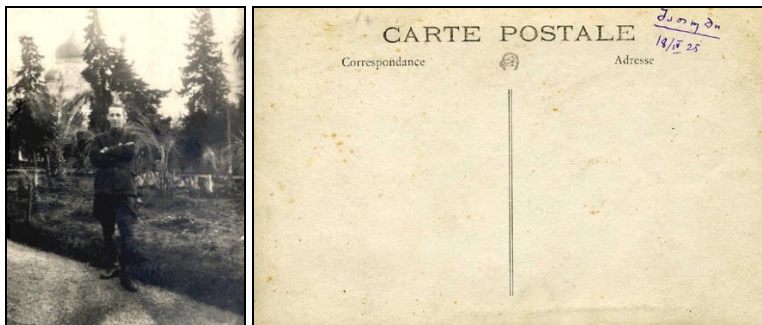
В 1917 году, окончив реальное училище, Юрий Румер поступил на математический факультет Петроградского университета. В 1918 году перешел в Московский университет. В зачетной книжке практически нет отметок за этот год. Видимо, занятия проводились бессистемно. По воспоминаниям первой жены Юрия Борисовича, Людмилы Залкинд, они познакомились в 1918 г.: *«Он мечтатель, фантазер, чрезвычайно увлекающийся разными вещами, был тогда секретарем организуемого в Москве Института ритмического воспитания. Организацию этого института благословил Луначарский. Идея и русские преподаватели пришли из Швейцарии, где Далькроз провозгласил идею, что музыке надо пропустить сквозь тело».*

Далее следуют два «туманных» года в биографии Юрия Румера: 1919 и 1920-й. Из архивной справки Министерства иностранных дел Российской Федерации мы узнали, что с октября 1920 по июль 1921 г. Ю.Б. Румер служил в системе Народного комиссариата внутренних дел, одновременно являясь слушателем Восточного отделения Академии Генерального штаба (лето 1921 г.). Есть его рассказ Маргарите Рютовой, что в 1921 г. он в качестве переводчика находился в организованном в это же время персидском посольстве (г. Решт, провинции Гилян). Об этом есть упоминание в прошении, направленном Юрием в комиссию по взиманию платы за обучение в МГУ в марте 1922 г. Он просит отсрочки по болезни, ввиду чего в состоянии заниматься только переводами, а заработки малы. Летом 1922 г. Ю.Б. Румер уволен из армии в бессрочный отпуск на основе приказа РВСР № 1653 от 10 июля 1922 г. Приказ предписывал увольнять независимо от должностей всех военнослужащих, откомандированных в гражданские учреждения и учебные заведения.¹

По версии другого документа, сохранившегося в Архиве МГУ, Румер был призван в армию в 1921 г., он участник Гражданской войны, курсант военно-инженерных курсов. Демобилизован в 1922 г., состоит на учете комсостава в качестве переводчика с иностранных языков.

¹ Абинякин Роман Михайлович <http://eugend.livejournal.com/126275.html>

Он получил диплом об окончании МГУ в 1924. Запись студента (аналог зачетной книжки), в которой проставлены отметки о сдаче зачетов и экзаменов профессорами МГУ, свидетельствуют, что весной-летом 1922 г. Румер сдавал их за период 1918-1921 гг., последние зачеты по общественным наукам получены в ноябре 1923 г. В зачетке автографы Н.Н. Лузина, Л.К. Лахтина, Н.Н. Бухгольца, С.А. Чаплыгина, Д.Ф. Егорова, А.Н. Реформатского и других профессоров.



Ю.Б. Румер – советский госслужащий. Батуми, апрель 1925 г.

После университета все, что смог найти дипломированный математик, это место статистика Госстраха. В 1927 г., перед отъездом за границу, Юрий и Людмила оформили брак: *«У Юры возникла идея, что раз он завел семью, то ему надо прочно встать на ноги, зарабатывать на жизнь, то есть приобрести практическую инженерную профессию, а значит, бросить математику и всякие воздушные замки. Устроить поездку ему помог высокопоставленный коминтерновец Мартынов. Мой отец дал деньги на первое время»*. В середине декабря 1927 г. они поселились в Ольденбурге. Юрий обучался строительной профессии в Высшей политехнической школе (статика сооружений и железобетон). По свидетельству жены, ему наскучило обучение, поскольку оно не выходило за пределы известного, и он отправился в Геттинген. Что повлияло на столь неожиданное решение, и было ли оно неожиданным? Возможно, сказался непосредливый характер Румера, его склонность к теоретическим изысканиям, а атмосфера Гёттингена послышала свои флюиды... Он не остался в стороне от научных веяний времени.

Математическая и физическая научные школы Гёттингена находились тогда в зените мировой славы. По словам Румера, *«этот город притягивал к себе романтически настроенных*

молодых людей...». Ему было 28 лет. С работой о некотором обобщении общей теории относительности, где он пытался придать динамический смысл известным в дифференциальной геометрии уравнениям Гаусса-Кодацци, Румер «со всей самонадеянностью молодости» явился к Макс Борну, главе гёттингенской школы теоретической физики. Борн выслушал соискателя, оценил его фундаментальную математическую подготовку, через некоторое время Юрий и Людмила окончательно перебрались в Гёттинген. Атмосфера города и университета поражали, чувствовалось, что вокруг происходит нечто значимое, и в центре этих событий находится Макс Борн – замечательный ученый и педагог.

В начале XX века закладывалась новая парадигма науки, не только содержательная, которая последовала за открытием Эйнштейна, но и институциональная. Время гениальных одиночек уходило в историю, наступало время коллегальной науки. Эту особенность ее организации отмечал и Ю.Б. Румер. Он понял, что Макс Борн был тем человеком, *«который, очевидно, нутром или исторически понял, что физика переходит в новую фазу. Раньше физика создавалась в маленьких лабораториях маленьким количеством людей. Если посмотреть, сколько было создателей теоретической физики в прошлом столетии, то это – Максвелл, Лоренц, Кирхгоф, ещё несколько, ну, скажем, пять человек. Они и создали теоретическую физику девятнадцатого столетия. А здесь пошло такое бурное развитие, что её один, два, три, десять человек уже не могли продвигать. Здесь шла речь о сотне, о двухстах, о пятистах человеках, и нужно было этих людей создавать».* Одним из таких «создателей физиков» и стал Макс Борн, который собирал вокруг себя талантливую молодежь, поддерживал условия академической свободы, когда обучая друг друга и всех, кто желал обучаться, рождалось новое поколение ученых. Это был новый интернациональный круг, в краткий период накануне Второй мировой войны определивший пути дальнейшего развития физики.

В ту пору Гёттинген был одним из центров *«новой квантовой веры»*, притягивающим к себе талантливую молодежь со всех концов света. В числе сотрудников Борна в Институте теоретической физики были В. Гейзенберг, В. Паули, П. Дирак, Э. Ферми, Э. Теллер и Р. Оппенгеймер, В. Гайтлер и Л. Нордгейм. Через некоторое время после знакомства с Румером Макс Борн написал Эйнштейну в Берлин: *«Недавно здесь появилась молодой русский с шестимерной теорией относительности... Копию этой работы я посылаю тебе и убедительно прошу прочесть и оценить»*

ее. Молодого человека зовут Румером... Он знает всю литературу по математике, начиная с Римановой геометрии до самых последних публикаций, и мог бы быть идеальным ассистентом для тебя. У него приятная внешность и он производит впечатление весьма образованного человека». Они встретились вскоре. После первой встречи с Румером Эйнштейн писал Борну: *«Господин Румер мне очень понравился. Его идея привлечения многомерных множеств оригинальна и формально хорошо осуществлена».* Он был готов взять Румера в качестве *«рук, в которых так нуждался».* Но это сотрудничество не состоялось. В свой следующий приезд к Эйнштейну Румер был уже полным адептом квантовой веры и не скрывал своего скептицизма относительно создания единой теории поля, которой полностью был поглощен величайший из физиков. Румер остался у Борна. К этому времени относятся его работы по квантовой химии, в том числе в соавторстве с Эдвардом Тейлером, а также с Германом Вейлем, в ту пору преемником великого Гильберта. Работы Румера по квантовой химии были пионерскими и способствовали становлению этой области науки.

Румер провел в Гёттингене три года. Полтора десятка работ опубликовано им в немецких физических журналах, что позднее сыграло роль в получении им места сотрудника НИИ физики Московского университета, а также позволило получить докторскую степень и профессорское звание. Ему пришлось покинуть Германию в 1932 г., когда фашизм стал реальностью. Ксенофобия новых властей по отношению к евреям положила конец академической идиллии Гёттингена. Юрий Борисович писал: *«Развитие Гёттингена в мировой центр науки шло медленно и нуждалось в открытии квантовой механики, гибель Гёттингена произошла необычайно просто и быстро. Гитлеровский министр просвещения Руст, четыре буквы, подписал приказ о том, чтобы все профессора Германии еврейской национальности были освобождены от работы в соответствующих университетах. Вот тогда в Гёттингене и появилось: для того, чтобы Гёттинген стал Гёттингеном, понадобилось четыре столетия, а чтобы его уничтожить – четыре буквы».*

В январе 1932 г. Ю.Б. Румер подает прошение в дирекцию Научно-исследовательского института физики МГУ с просьбой предоставить работу согласно его квалификации в области теоретической физики и квантовой химии. Он подкрепляет свои претензии ссылкой на возможность получить положительные отзывы физиков М. Борна, Э. Шредингера и А. Эйнштейна, а

также математиков Л.Г. Шнирельмана, И.М. Гельфанда, В.В. Степанова и Г.К. Хворостина. В середине февраля приходит положительный ответ из Москвы. После прочтения лекций по квантовой химии в Ганновере, в начале мая 1932 г. Румер возвратился на родину.

В СССР в 1930-е гг. происходит дальнейшее укрепление тоталитарного режима. Политика унификации и подчинения всех групповых и личностных устремлений общественным интересам, усугубляется атмосферой поиска врагов и чуждых элементов. Но поскольку Советскому государству требовалось техническое и военное развитие, оно придерживалось патерналистской политики в отношении науки: последняя стала одним из факторов т.н. социалистического строительства. Поддерживалась и развивалась квалификация ученых внутри страны, кроме того, научные коммуникации призваны были улучшать имидж СССР на международной арене. Ярким выражением проявления новой научной политики в физике стала мартовская сессия АН СССР 1936 г., на которой прошло обсуждение состояния теоретических и прикладных разработок, и с особой силой прозвучала формула академика А.Ф. Иоффе о физике, как научной базе социалистической техники. Развитие науки как коллегиальной сущности, нуждающейся в материальной поддержке государства, стало очевидным.

Физика в СССР в 1930-е гг. формировалась и институализировалась как самостоятельная и успешная. Она получила признание коллег из европейских стран, где существовало несколько сильных физических школ, группировавшихся вокруг таких лидеров, как Н. Бор, М. Борн, Э. Резерфорд. Многие советские физики получили образование или стажировались за рубежом: Д.С. Рождественский, Н.Д. Папалекси, А.Ф. Иоффе, И.В. Обреимов, П.Л. Капица, И.Е. Тамм, Б.М. Гессен, Л.В. Шубников, А.И. Лейпунский, Г.А. Гамов и др. Признание важности физических исследований выразилось в материальном подкреплении этой отрасли науки: во второй половине 1930-х гг. создается Физический институт им. П.Н. Лебедева АН СССР (ФИАН) под руководством С.И. Вавилова, в мае 1935 года началось строительство лабораторного корпуса для Института физических проблем, директором которого стал П.Л. Капица, происходит укрупнение физических институтов в Ленинграде. Физико-технический институт А.Ф. Иоффе стал прародителем физико-технических институтов в Томске, Свердловске и Харькове. Харьковский физико-технический институт становится одним из центров

теоретической физики мирового уровня благодаря работам Л.В. Шубникова и Л.Д. Ландау. Здесь в мае 1934 г. состоялась Всесоюзная конференция по теоретической физике, в которой принимал участие Н. Бор. В Москве Румер, чья научная карьера поначалу складывалась успешно, вел активную исследовательскую и преподавательскую деятельность. Помимо НИИ физики МГУ, он служил в Физическом институте им. П.Н. Лебедева АН СССР, заведовал кафедрой теоретической физики в Институте кожевенной промышленности им. Л.М. Кагановича. В это время он опубликовал получившие известность книги: «Введение в волновую механику» (1935 г.) и «Спинорный анализ» (1936 г.). Дружба и тесное сотрудничество с Л.Д. Ландау, знакомство с которым произошло в Германии, привели к одному из значимых результатов: классической теории космических ливней (теория Ландау–Румера). Позднее, в 50-е годы, была издана популярная книга «Что такое теория относительности?», написанная Ландау и Румером в год 30-летия теории относительности. Невозможно подсчитать, сколько изданий она выдержала и в России, и за рубежом, весь мир, похоже, читал Ландау и Румера на английском, немецком, японском, арабском, иврите, маратхи...

Но наряду с конструктивными изменениями в отечественной науке, существенное влияние на положение ученых оказывала репрессивная политика Советского государства предвоенного периода. Еще до начала «Большого террора», когда был арестован и Ю.Б. Румер, подверглись преследованию и были уничтожены многие советские ученые. В целом в 1930-е гг. было проведено несколько, специально направленных против ученых кампаний, таких, как «Академическое дело» начала 1930-х гг., «Дело Лузина» 1936 г., «Дело Украинского физико-технического университета (УФТИ)» 1937 г. против физиков-теоретиков и «Пулковское дело» 1936-1937, которое захватило ученых различных специальностей в нескольких научных центрах. В 1935 г. был подвергнут административной ссылке, а затем арестован Исидор Румер². В августе 1936 г. по обвинению в террористической деятельности арестовали директора НИИФ МГУ и заместителя директора ФИАна чл.-корр. АН СССР Б.М. Гессена. За ним последовало (в апреле 1937 г.) заседание актива Физического института АН СССР, на котором многим сотрудникам пришлось доказывать свою политическую

² К сожалению, на данный момент документальные свидетельства о судьбе И.Б. Румера не найдены.

благонадежность³. На заседании актива выступал и Ю.Б. Румер. Он говорил: *«В январе месяце я был командирован в город Харьков, где работал Ландау. Товарищ Дивильковский 4 тоже был там. Он знает, какое там было острое положение. Ландау взяли тогда в подозрение, и я считал своим долгом открыто выступить в защиту своего друга Ландау. И сейчас заявляю: «Если Ландау окажется вредителем – я, несомненно, буду привлечен к ответственности; но и теперь, когда это мое заявление запротоколировано, я все же ручаюсь за него, как за своего лучшего друга. Больше ни за кого я не поручусь – ни за Гессена, ни за Г.С. Ландсберга, ни за И.Е. Тамма, потому что я с ними мало знаком, но за Ландау я готов всегда поручиться»*. Поскольку на заседании говорили и об арестованном брате Румера, Юрий Борисович парировал претензии тем, что может выбирать друзей, но не братьев. Тем не менее, рассказал, как ему предложили уволиться из НИИФ МГУ, что в итоге и пришлось сделать осенью 1937 г. Тогда он и перешел в Институт кожевенной промышленности им. Л.М. Кагановича. Румер чувствовал себя «политически чистым», но установленное за ним негласное наблюдение и доносы зафиксировали его критические высказывания в адрес советской действительности. Затем последовал арест.

Л.Д. Ландау, М.А. Корец и Ю.Б. Румер были арестованы в конце апреля 1938 г. В перечне обвинений – составление антисоветской листовки, шпионская деятельность в пользу фашистской Германии. Под поручительство П.Л. Капицы Л.Д. Ландау был освобожден через год. Румер, с приговором, что он *«являлся участником антисоветской группы и проводил подрывную работу в области советской физики, ... с 1932 г. являлся агентом германской разведки»*, был осужден приговором от 27 мая 1940 г. по статьям 58 п.6 (шпионаж) и 58 п.11 (всякого рода организационная деятельность, направленная к подготовке или совершению предусмотренных в настоящей главе преступлений) УК РСФСР. Юрию Борисовичу повезло: он избежал лесоповала и рудников. После объявления приговора он был, по-видимому, направлен в Болшево, пересыльный пункт НКВД для инженерно-технических работников – будущих

³ Г.Е. Горелик пишет: «Источником волны активов, прокатившейся по стране и достигшей института, стал мартовский пленум ЦК ВКП(б), на котором Бухарин и Рыков были исключены из партии и в качестве японо-немецких агентов переданы органам НКВД» [Горелик, 1995. С. 54].

⁴ Дивильковский М.А. – в 1936-1938 гг. ученый секретарь Физической группы Академии наук СССР.

специалистов «шараг». Затем отправлен на моторостроительный завод НКВД № 82 в Тушино. В начале 1940 г. Румер работал в «Туполевской шараге» – ЦКБ-29 – в Москве на улице Радио, 24. С началом войны ЦКБ-29 эвакуируют в Омск, откуда в 1946 г. Ю.Б. Румера переводят в Таганрог в ОКБ-4 Роберта Бартини. Поскольку тюремно-лагерная документация пока не изучена, этот «маршрут» восстановлен по косвенным свидетельствам.



Фото из архивно-уголовного дела № 23711. Апрель 1938 г.

Обширные физико-математические знания Румера нашли применение к решению практических вопросов авиапромышленности: проблем антивибратора изгибных колебаний, крутильных колебаний сложных систем коленчатых валов и колебаний колеса при его качении (шимми). А «свободное» от работы время он посвящал преподаванию теоретической физики молодым своим сокамерникам, а накануне освобождения писал работу по единой теории поля, которую назвал пятиоптикой. Несколько тетрадок с записями статей тайно вывезла в Москву его невеста Ольга Михайлова. Они познакомились в Таганроге, где Ольга Кузьминична была вольнонаемной в КБ. Л.Д. Ландау вместе с Е.М. Лифшицем помогали организовать публикации. Первая статья вышла в 1949 г. в журнале «Успехи физических наук».

По истечении срока заключения из Таганрога Ю.Б. Румер был направлен на поселение в Енисейск. Здесь он принят профессором на кафедру физики и математики в Учительский институт, где продолжил серию статей о пятиоптике, вовлек в научную работу преподавателей института. Все на первый взгляд,

складывалось благополучно: он любим, его Ольга последовала за ним, родился сын, восстанавливается переписка с московскими физиками Ландау, Лифшицем, Леонтовичем, Марковым. В конце 1940-х гг. набирает обороты кампания по борьбе с космополитизмом, которая носит в т.ч. и антисемитский характер. На данный момент исследования не удалось установить подлинной причины, которая привела к потере работы Ю.Б. Румером, но мы знаем, что в начале 1950 г. он был уволен из Учительского института, и формальной причиной увольнения стала его судимость.

С помощью московских друзей Румер добивается перевода в Новосибирск. Президент Академии наук С.И. Вавилов принял участие в судьбе ученого и всячески помогал ему в поисках достойного его квалификации места работы. Смерть Вавилова не позволила завершить переезд в Новосибирск трудоустройством. Не помогли отзывы крупнейших ученых – Келдыша, Ландау, Стечкина, Тамма. Ни в Новосибирске, ни в других крупных городах Сибири и Казахстана шансов найти работу не было. Прочитируем один характерный документ из УМГБ г. Томска: *«В связи с тем, что ЦК ВКП(б) своим постановлением от 30 января 1950 года «О работе Томского Обкома ВКП(б)» отметило значительную засоренность профессорско-преподавательского состава Томских ВУЗ-ов политически сомнительными элементами, приезжавшей в Томск бригадой Министерства Высшего Образования были намечены мероприятия по очищению ВУЗ-ов от этих лиц. Устройство на научно-исследовательскую работу в городе Томске Румера Ю.Б. считаю нецелесообразным, так как это может вызвать нежелательную реакцию со стороны общественности и партийных организаций ВУЗ-ов. Верно: СТ. ОПЕРУПОЛ. 19 отд. Отдела «А» МГБ СССР Капитан Волков 6 апреля 1950 г.»*

Румер остался без работы, и как следствие, без средств к существованию. Помогала поддержка московских физиков и семьи. Сохранились письма Ландау, где он приглашает Румера к написанию учебников по теоретической физике, из переписки с Леонтовичем мы узнаем о сборе денег среди физиков, сам Юрий Борисович имел случайные заработки в виде репетиторства и переводов. Это время было, тем не менее, занято завершением цикла работ, посвященного построению пятимерной теории, которую Румер считал своим гениальным открытием. Но его московские коллеги, называя пятиоптику *«изящным математическим построением, не имеющим прямого отношения к физике»* (Леонтович, Лифшиц, Тамм), всячески удерживали

Румера от *«развязывания широкой публичной дискуссии»* (Фейнберг). Новосибирские же друзья придерживались иной точки зрения. При поддержке физика Д.Д. Саратовкина и геолога Г.Л. Пospelова было составлено письмо в адрес И. Сталина, в результате чего 11 декабря 1952 г. в Москве была организована дискуссия по пятиоптике с участием многих ведущих физиков. Она показала скептическое отношение большинства. Тем не менее, было рекомендовано продолжать исследования и в заключительном слове председателя дискуссии Н.А. Добротина прозвучало, *«что при том положении, которое сейчас имеется в теоретической физике, существенно полезно и нужно продолжать разрабатывать это направление, хотя сейчас еще было бы преждевременно утверждать, что на этом пути можно найти решение тех трудностей, которые стоят перед теоретической физикой»*.



Директор и заведующий Отделом теоретической физики
ИРЭ СО АН СССР Ю.Б. Румер и его сотрудник В.Л. Покровский

Румер если не впал в депрессию, то, как он выразился в одном из писем, его *«волевой напор ослабел»*. По результатам дискуссии Румеру было предложено выбрать место работы в одном из научных центров Свердловска, Томска или Новосибирска. Он вернулся в Новосибирск. Юрия Борисовича приняли в Западно-Сибирский филиал АН СССР старшим научным сотрудником Отдела технической физики СССР, вскоре он его возглавил. В 1954 г. Ю.Б. Румер был полностью реабилитирован. Ему восстановлен академический трудовой стаж и научные звания. Появилась возможность свободного передвижения по стране, он стал часто бывать в Москве, активно включился в научную жизнь. Его приглашают на семинары и

конференции, он читает лекции студентам МГУ, выходит его монография «Исследования по 5-оптике».

В 1955 г. на базе Отдела технической физики ЗСФ АН СССР был создан Институт радиофизики и электроники. В 1957 году, при создании Сибирского отделения АН СССР, ИРЭ был передан в Отделение. В ИРЭ проводились экспериментальные и теоретические исследования в области электромагнитных колебаний миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов, электроники СВЧ, широкополосных волноводных линий связи, новейших антенн и элементов волноводного тракта с применением ферритов, катодной электроники, физики газового разряда. Создание газовых лазеров в 1960 г. в ИРЭ повлекло переход от молекулярных СВЧ генераторов к оптическим квантовым генераторам (ОКГ). В дальнейшем это открытие и создание лазеров стало одним из ведущих направлений теории и практики СО АН. Полупроводниковая тематика также была заложена в научные направления ИРЭ.



Н.С. Хрущев знакомится с результатами работы ученых Новосибирского Академгородка. Март, 1961 г.

Документы и воспоминания свидетельствуют, что под влиянием и опекой Ю.Б. Румера вырос сильный коллектив физиков–теоретиков мирового уровня: В. Покровский, Ф. Улинич, М. Минц, А. Дыхне, А. Казанцев, Б. Конопельченко, Г. Сурдутович, С. Савиных, А. Чаплик, Э. Батыев, М. Энтин, И. Гилинский, Л. Магарилл, А. Паташинский и др. Важные результаты были получены самим Ю.Б. Румером. Так, ему, к примеру, удалось представить уникальные результаты Онзагера в новой математической форме, доступной широкому кругу исследователей. Эта работа стимулировала интерес к теории

фазовых переходов и способствовала построению общей теории критических явлений. Но признание его научных заслуг не пошло дальше академической премии. Выборы в Академию наук 1958 и 1962 гг. не принесли Ю.Б. Румеру академического звания. Причина не вполне ясна. На выборах в состав Академии наук СССР в 1958 г. были выделены специальные «сибирские» вакансии. В списки кандидатур внесены имена только тех ученых, которые либо работали в Сибири, либо собирались переехать туда в формирующееся отделение. Было избрано 8 действительных членов и 27 членов-корреспондентов, в числе которых было 6 сибиряков. Пять вакансий членов-корреспондентов оказались незаполненными. Скорее всего, сыграл роль комплекс причин: отчасти непонимание, отчасти негативное отношение к пятиоптической теории некоторых крупных физиков, сложное положение ИРЭ в составе Сибирского отделения, непростые отношения с председателем СО АН академиком М.А. Лаврентьевым.

Первые годы существования ИРЭ – годы становления и развития. Сложилась структура института, сформировались основные направления исследований и экспериментов, окрепла материальная база. Ю.Б. Румер и его ближайшие помощники, такие как Г.В. Кривошеков, Ю.А. Старикин, Ю.В. Троицкий, Г.Ф. Поляков, Н.И. Макрушин, А.У. Трубецкой, И.И. Капралов, Г.Ф. Оленичев и др., работали как одна команда, относились друг к другу с доверием и уважением. Проблемы появились вначале 1960-х гг., когда Институт значительно расширился, пришли люди, которые отчасти сыграли в его судьбе роль катализаторов разрушения. С появлением заведующих лабораториями Р.В. Гострема и В.А. Смирнова, рекомендованных М.А. Лаврентьевым, институт начинает лихорадить, возникают конфликты внутри этих лабораторий, руководство СО АН настороженно отнеслось к бурной деятельности В.А. Смирнова, который работал по закрытой тематике и получал мощную финансовую поддержку военных. К этому времени и сам Ю.Б. Румер понял, что его согласие на директорство было ошибочным решением. Он пытался найти выход из создавшегося положения. Реорганизация института казалась ему оптимальным решением. Еще при создании института планировалось развивать полупроводниковую тематику, Румер искал для руководства этим направлением подходящую кандидатуру. Но инициативу перехватил М.А. Лаврентьев, он принял решение привлечь д.ф.-м.н. А.В. Ржанова, который вскоре был избран членом-корреспондентом АН, и согласился организовать новый институт.

После реорганизации ИРЭ в Институт физики полупроводников, Ю.Б. Румер еще некоторое время работал здесь заведующим отделом теоретической физики. В 1966 г. он перешел в Институт математики. Академическая свобода ИМ СО АН казалась вполне комфортной, но националистические настроения в среде математиков вынудили его перейти в Институт ядерной физики. В это время научные интересы Румера сосредоточены на методах теории групп в современной физике элементарных частиц. Им были получены важные результаты в теории унитарной симметрии и релятивистской теории квантовых полей. Блестящее владение математическим аппаратом теоретической физики нашло отражение в двух монографиях в соавторстве с А.И. Фетом: «Теория унитарной симметрии» (1970 г.) и «Теория групп и квантованные поля» (1977 г.). Ими были обнаружены также новые свойства и связи в классической таблице Менделеева.



Юрий Борисович с Алей Савич и Григорием Сурдутовичем.
Новосибирск, 1981 г.

Научные интересы Ю.Б. Румера не ограничивались только теоретической физикой. Его широкий кругозор ученого охватил такие области, как молекулярная биология и лингвистика. Он получил неожиданные и интересные результаты при групповом анализе генетического кода, важнейшего объекта современной биологии. Эта работа вызвала живейший интерес и поток писем широкого круга биологов – от первооткрывателя структуры ДНК Нобелевского лауреата Френсиса Крика до молодых африканских генетиков. Написанный им совместно с М.С. Рывкиным учебник «Термодинамика, статистическая физика и кинетика» выдержал ряд изданий и до сих пор остается актуальным.

Педагогическая деятельность Ю.Б. Румера была не менее плодотворна. Блестящий талант лектора и глубокие знания современной физики позволили ему привлечь к любимой науке многих талантливых молодых людей. Преподавательская деятельность Ю.Б. Румера в Новосибирске началась в Новосибирском педагогическом институте: в сентябре 1955 г. он избран по конкурсу на вакантную должность заведующего кафедрой теоретической физики и астрономии. С 1962 г. Юрий Борисович – профессор Новосибирского университета. Как лектор общества «Знание» Румер выступал перед разными аудиториями и в печати, популяризируя современную науку, он был желанным гостем дискуссионного клуба «Под интегралом», сохранились записи его воспоминаний.

Юрия Борисовича не стало 1 февраля 1985 г. Ольга Кузминична, его любящая жена, была моложе его на 20 лет, на 26 лет она его пережила. Сын Румера – Михаил, кандидат геолого-минералогических наук, живет со своей семьей в Москве. Дочь Татьяна – кандидат физико-математических наук, доцент Новосибирского университета, читает лекции по математике на физфаке. Они носят фамилию матери – Михайловы.

Литература

Александров А. Д. Почему советские ученые перестали печататься за рубежом: становление самодостаточности и изолированности отечественной науки, 1914–1940 // Вопр. истории, естествозн. и техники. 1996. № 3. С. 3-24.

Блохинцев Д. И. Леонтович М. А., Румер Ю. Б. и др. О статье Н.П.

Кастерина «Обобщение основных уравнений аэродинамики и электродинамики» // Извест. Акад. наук СССР: Серия физич. 1937. № 3. С.425–436.

Визгин В. П. «Явные и скрытые измерения пространства» советской физики 1930-х гг. (по материалам мартовской сессии АН СССР 1936 г.) // URL: <http://www.ihst.ru/projects/sohist/papers/viz2001.htm> (дата обращения 04.06.2013).

Горелик Г. Е. Москва, физика, 1937 год (собрание в ФИАНе в апреле 1937) // Трагические судьбы: репрессированные ученые Академии наук СССР. М.: Наука, 1995. С. 54–75.

Горелик Г. Е. Советская жизнь Льва Ландау. М. : Вагриус, 2008. 463 с.

Жуков В.Ю. «Пулковское дело» URL:

<http://ihst.ru/projects/sohist/material/dela/pulkovo.htm>

(дата обращения 07.10.2013).

Капица П. Л. Эксперимент. Теория. Практика. М. : Наука, 1981. 495 с.

Кемоклидзе М.П. Квантовый возраст. М. : Наука, 1989. 272 с.

Крайнева И.А. Электронные архивы по истории науки // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2013. Т.12. Вып. 1: История. С. 76-83.

Колчинский Э. И. Наука и консолидация советской системы в предвоенные годы // Наука и кризисы. Историко-сравнительные очерки: Колл. моногр. СПб. : Дмитрий Буланин, 2003. С.728-782.

Курилов И., Михайлов Н. Тайны специального хранения: о чем рассказали секретные архивы 1930-50-х гг. М. : ДЭМ, 1992. 262 с.

Месяц Г. А. Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН: прошлое, настоящее, будущее // Успехи физ. наук. 2009. Т. 179. №11. С. 1146-1160.

Огурцов А. П. Наука и власть // Тез. Второй конференции по социальной истории советской науки. Препр. ИИЕТ АН СССР. М., 1990. № 35. С. 39-40.

Охотин Н. Г., Рогинский А.Б. «Большой террор»: 1937–1938. Краткая хроника // URL:

http://www.memo.ru/history/y1937/hronika1936_1939/xronika.html (дата обращения 04.06.2013).

Российская академия наук. Сибирское отделение: Исторический очерк / Е.Г. Водичев, С.А. Красильников, В.А. Ламин, др. Новосибирск : Наука. 2007. С. 151-152.

Румер Ю. Б. Теория относительности // Известия ЦИК. 1935. № 247. С.2.

Шпольский Э. В. Физика в СССР (1917-1937) // Успехи физ. наук. 1937. Т. XVIII. Вып. 3. С. 295–322.

Юрий Борисович Румер. Физика, XX век. Ред. А.Г. Марчук. Новосибирск : Издательство «АРТА», 2013. 592 с



Марина Аграновская

"Колыбель моей души"

Германия Марины Цветаевой

*Нет ни волшебней, ни премудрей
Тебя, благоуханный край,
Где чешет золотые кудри
Над вечным Рейном — Лореляй.*
Марина Цветаева. Германии. 1914

"Шварцвальда золотые дали"



История отношения Марины Цветаевой к Германии – это история любви, которая началась едва ли не с рождения поэтессы и закончилась незадолго до ее смерти. Германию, еще до того как Марина оказалась на немецкой земле, подарила ей мать Мария Александровна - немка по отцу, урожденная Мейн. «От матери я унаследовала Музыка, Романтизм и Германию. Просто — Музыка. Всю себя», - писала Марина в 1919 году в дневнике, который мы не раз будем цитировать. Немецкий был языком ее детства.



Марина (справа) и Анастасия Цветаевы. 1905 г.

"Первые языки: немецкий и русский, к семи годам – французский. Материнское чтение вслух и музыка", – это из автобиографии 1940 года, заметьте – немецкий язык на первом месте!

Счастливая встреча с Германией произошла в 1904 году: двенадцатилетняя Марина и ее младшая сестра Ася уже два года

переезжали вместе с больной чахоткой матерью с курорта на курорт, проводили зимы в европейских пансионах. Они уже многое повидали в Европе: и австрийский Тироль, и средиземноморские скалы в Нерви, близ Генуи, и Лозанну, и Женевское озеро, и Альпы... Везде у девочек появлялись новые друзья, каждый раз им было больно расставаться с морем, озером, горами, городами. «Страсть к каждой стране как к единственной» была у Марины с детства.



Мать Марины Цветаевой Мария Александровна Мейн

И вот очередное расставание - с Лозанной – ради Шварцвальда. Его целебный воздух должен вылечить больную Марию Александровну.



"Привет из Лангаккерн!"

Старая открытка с видом пансиона "Цум Энгель"

В деревушке Лангаккерн (Langackern) близ Фрайбурга семья, наконец, собралась вместе. Даже отец, Иван Владимирович

Цветаев, погруженный в заботы о будущем Музее изящных искусств в Москве, смог провести это лето с женой и дочками. Счастье длилось почти два месяца - с 19 июля по 13 сентября. Не могу не напомнить, что за 2 недели до того, как Цветаевы поселились в Лангаккерне, неподалеку, на шварцвальдском курорте Баденвайлер, умер от той же болезни, которой страдала Мария Александровна, Антон Павлович Чехов.

В отличие от Баденвайлера, известного в ту пору многим соотечественникам, Лангаккерн вовсе не был курортом – просто живописная деревня среди холмов и лесов. Несмотря на близость к Фрайбургу, это была настоящая шварцвальдская глубинка. Картины старого Лангаккерна сохранила великолепная память младшей сестры Анастасии: "Шварцвальдские дома – коричневые, как белый гриб и подберезовик, с крутой, низко спускающейся крышей, такого же цвета галерея обходила стены дома. Они были похожи на резные игрушки, рассыпанные по бокам дорог и холмам, у перекрестков, где возвышалось распятие. Шварцвальдские долины! Это была ожившая сказка Гримма!"



"Привет из Лангаккерна!"

Старая открытка с видом пансиона "Цум Энгель"

Сестрам сразу полюбилось все: сказочный лес, деревня, приветливое пристанище - пансион "Цум Энгель" с позолоченной фигурой ангела над входом. Дети хозяев пансиона, Марилэ и Карл, с первого дня стали друзьями Марины и Аси: "Марилэ, Карл. Дружба вспыхнула сразу. Карл всё время с нами, и Марилэ, как только не надо ей помочь матери, бежит к нам. Марилэ с Марусю или чуть выше, плотная, с тяжёлым, упрямым лбом, глаза серо-синие, пристальные. Лет ей тринадцать, старше Маруси. Карлу десять, как мне. Светлоголовый, весёлый." (Анастасия Цветаева. "Воспоминания")

О страстной – иначе не скажешь - любви Марины к Шварцвальду мы узнаем из ее ранних стихов, дневников, прозы.



"Шварцвальда золотые дали"

"Ты, кто муку видишь в каждом миге,
Приходи сюда, усталый брат!
Всё, что снилось, сбудется, как в книге -
Тёмный Шварцвальд сказками богат!"



"...еловые холмы, встающие вдали, идущие вблизи...
Шварцвальдские холмы..."

Любимая книга этого лета – исторический роман Вильгельма Гауфа «Лихтенштейн. Романтическая сага из истории Вюртемберга» (1826). Ныне подзабытый, этот рыцарский роман в стиле Вальтера Скотта был в начале 20 века на пике популярности, к тому же действие его происходило в Шварцвальде! Мария Александровна читала дочерям роман вслух на немецком языке. Детское стихотворение Марины так и называется: **"Как мы читали Lichtenstein"**:

Тишь и зной, везде синеют сливы,
Усыпительно жужжанье мух,
Мы в траве уселись, молчаливы,

Мама Lichtenstein читает вслух.

В пятнах губы, фартучек и платье,
Сливу руки нехотя берут.
Ярким золотом горит распятые
Там, внизу, где склон дороги крут.

Ульрих — мой герой, а Георг — Асин,
Каждый доблестью пленить сумел:
Герцог Ульрих так светло-несчастен,
Рыцарь Георг так влюбленно-смел!

Словно песня — милый голос мамы,
Волшебство творят её уста.
Ввысь уходят ели, стройно-прямые,
Там, на солнце, нежен лик Христа...

Мы лежим, от счастья молчаливы,
Замирает сладко детский дух.
Мы в траве, вокруг синеют сливы,
Мама Lichtenstein читает вслух".



Дорога к пансиону "Цум Энгель":
"Ярким золотом горит распятые там, внизу, где склон дороги крут"

В автобиографии 1940 года это незабвенное лето уместилось в две строчки, но и в сухом, с налетом казенности тексте Цветаева не удержалась – вспомнила Лихтенштейн! «Летом 1904 года еду с матерью в Германию, в Шварцвальд /.../ Пишу немецкие стихи. Самая любимая книга тех времен – «Лихтенштейн» В. Гауфа».

Осенняя разлука со Шварцвальдом, с "Ангелом", с Марилэ и Карлом стала для сестер настоящим горем. В

стихотворении двенадцатилетней Марины "Отъезд" уже узнаются характерные цветаевские интонации.



"Золотистые долины, гулкие, грозно-уютные леса..."

Отъезд

Повсюду листья желтые, вода
Прозрачно-синяя. Повсюду осень, осень!
Мы уезжаем. Боже, как всегда
Отъезд сердцам желанен и несносен!

Чуть вдалеке раздастся стук колес, -
Четыре вздрогнут детские фигуры.
Глаза Марилэ не глядят от слез,
Вздыхает Карл, как заговорщик, хмурый.

Мы к маме жмемся: «Ну зачем отъезд?
Здесь хорошо!» — «Ах, дети, вздохи лишни».
Прощайте, луг и придорожный крест,
Дорога в Хорбен... Вы, прощайте, вишни,

Что рвали мы в саду, и сеновал,
Где мы, от всех укрывшись, их съедали...
(Какой-то крик... Кто звал? Никто не звал!)
И вы, Шварцвальда золотые дали!

Марилэ пишет мне стишок в альбом,
Глаза в слезах, а буквы кривы-кривы!
Хлопочет мама; в платье голубом
Мелькает Ася с Карлом там, у ивы.

О, на крыльце последний шепот наш!
О, этот плач о промелькнувшем лете!
Какой-то шум. Приехал экипаж.

- «Скорей, скорей! Мы опоздаем, дети!»
- «Марилэ, друг, пиши мне!» Ах, не то!
Не это я сказать хочу! Но что же?
- «Надень берет!» — «Не раскрывай пальто!»
- «Садитесь, ну?» и папин голос строже.

Букет сует нам Асин кавалер,
Сует Марилэ плитку шоколада...
Последний миг... — «Nun, kann es losgehen, Herr?»
Погибло все. Нет, больше жить не надо!

Мы ехали. Осенний вечер блек.
Мы, как во сне, о чем-то говорили...
Прощай, наш Карл, шварцвальдский паренек!
Прощай, мой друг, шварцвальдская Марилэ!

Nun, kann es losgehen, Herr? - Ну, господин, можно отправляться?



"Дорога в Хорбен", которая упоминается в стихотворении "Отъезд"



"Луг и придорожный крест" близ пансиона "Цум Энгель"

Шварцвальд - детский потерянный рай - не единожды возникает в цветаевской прозе и высказываниях зрелых лет. Это признание в любви: "Как я любила — с тоской любила! до безумия любила! — Шварцвальд. Золотистые долины, гулкие, грозно-уютные леса — не говорю уже о деревне ..." (Дневник, 1919). Это воспоминание: "Распяты на повороте, а дальше с шоссе влево, а дальше — уже совсем близко! — из-за сливовой и яблонной зелени, сначала гостхауз, а потом и сам Ангел, толстый, с крыльями, говорят — очень старый, но по виду совсем молодой, куда моложе нас! — совсем трехлетний, круглый любимый ангел над входом в дом, из которого нам навстречу фрау Виртин, а главное — Марилэ и Карл, главное, для меня, — Марилэ, для Аси — Карл" ("Башня из плюща", 1933). Это сожаление о невозвратном: в 1938 году в Париже на вопрос Ирины Одоевцевой, действительно ли она рада будет возвратиться в Россию, Марина ответила: «Ах, нет, совсем нет. Вот если бы я могла вернуться в Германию, в детство... В России теперь все чужое. И враждебное мне. Даже люди. Я всем там чужая».



Современный Лангаккерн

Прежде чем покинуть вместе с семьей Цветаевых Шварцвальд, кинем взгляд на современный Лангаккерн – что изменилось за прошедшие сто с лишним лет? Из центра Фрайбурга до Лангаккерна можно сегодня доехать за полчаса, но он так и остался глубинкой. С удивительной быстротой город сменяется первозданными идиллическими пейзажами. Луга, леса, холмы, пасущиеся лошади, коровы с колокольчиками на шеях – все, как в воспоминаниях Марины: "Сначала старые дома, потом счастливые дома, глядящие в поля. Счастливые поля... Потом

еловые холмы, встающие вдаль, идущие вблизи... Шварцвальдские холмы..." ("Башня из плота", 1933).



"Шварцвальдские дома – коричневые, как белый гриб и подберезовик, с крутой, низко спускающейся крышей..."

Правда, старинные усадьбы - с колодцами, распятиями, домами, опоясанными галереями, амбарами со свисающими до земли кровлями – соседствуют сегодня с новыми белыми домиками под красной черепицей. Гастхауз "Цум Энгель", увы, снесен в 2004 году. На его месте стоит прозаический гараж, украшенный яркой росписью с изображением снесенного гастхауза и рафаэлевских ангелочков. Судя по старинным открыткам, роспись выполнена весьма достоверно.



Лангаккерн. Современная роспись с изображением пансиона "Цум Энгель" на доме, построенном на месте пансиона

А вот и придорожный крест на противоположной стороне шоссе, похоже, тот самый, из стихотворений и воспоминаний Марины: " Ярким золотом горит распятие/ Там, внизу, где склон дороги крут". Мимо этого распятия Цветаевы проехали 13

сентября 1904 года, направляясь во Фрайбург, где сестрам предстояло провести зиму в пансионе.



Фрайбург, дом на улице Вальштрассе 10, где находился пансион сестер
Бринк. мемориальная доска на улице Вальштрассе 10

Фото автора

Полная версия статьи находится на сайте журнала:

<http://7iskusstv.com/2014/Nomer1/Agranovskaja1.php>



Лев Бердников

У истоков русского сонета

Этюды

И. Великому граду Москве

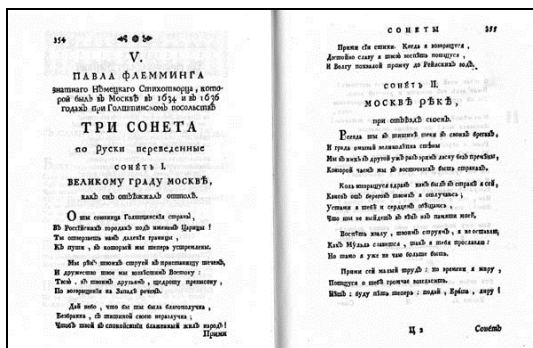


то профессор элоквенции Василий Тредиаковский относился к сонету с пиететом и вслед за законодателем французского Парнаса Николя Буало-Депрео сравнивал его с нетленным Фениксом. А Александр Сумароков этот жанр не жаловал, называл не иначе, как “шуткой”, и в своей программной “Эпистоле о стихотворстве” (1747) определил сонет как “игранье стихотворно”. Он по существу объявил сонет необязательным для русской поэзии, да и для него самого нисколько не интересным:

Но пусть их [сонеты – Л.Б.] пишет тот, кому они угодны,
Иль дозволят ему часы к тому свободны.
Состав их – хитрая в безделках суета.
Мне стихотворная приятна простота.

Может статься, Сумароков никогда и не стал бы писать “безделки”, если бы издатель академического журнала “Ежемесячные сочинения к пользе и увеселению служащие” Герард Миллер не познакомил его с материалами о сношениях России с Голштинией в XVII веке, скрупулезно им собранными (они и поныне хранятся в портфелях Миллера в РГАДА). То были подробные сведения о пребывании в России в 1634 и 1636 годах посольства герцога Шлезвиг-Гольштейн-Готторпского Фридриха III “для испрошения свободного в Персию для торгового пути, во дни царствования государя царя Михаила Федоровича” под водительством секретаря и драгомана Адама Олеария (1603-1671). Важным историческим источником послужила Сумарокову и книга самого А. Олеария “Подробное описание путешествия Голштинского посольства в Московию и Персию” (Offt Beggehrte Beschreibung der Newen Orientelischen Reise..., 1647), выдержавшая множество переизданий, переведенная на французский, голландский, английский и итальянский языки.

Особенно же Сумарокова впечатлила личность и творчество гоф-юнкера посольства, “знатного немецкого стихотворца Павла Флеминга” (1609-1640), получившего прозвание “Орфей немецких аргонавтов”. Надо сказать, что Олеарий привел в своем “Путешествии...” 13 поэтических текстов Флеминга (одну александрийскую оду, 9 сонетов, 3 стихотворных отрывка), что придало суховатой прозе этого ученого-хрониста (“Голштинского Плиния”, как его аттестовали) оттенок личной заинтересованности.



Публикация сонетов в журнале "Ежемесячные сочинения..."

Эти опубликованные Олеарием “дорожные” сонеты, написанные Флемингом во время волжского путешествия посольства (в конце лета - осенью 1636 года), содержали этнографические мотивы и получили название “самарский цикл”. Это были стихи на слияние Волги и Камы; о Дивьей горе; о Царевом кургане; о Казачьей горе и др. Интересно, что здесь, едва ли не впервые, звучала тема интернациональной, русско-немецкой дружбы:

Голштинияны сыны, мы здесь – не на чужбине:
Незыблем наш союз и до скончанья лет!
(Пер. Л. Гинзбурга)

Патриоту России Сумарокову льстило то, что еще в XVII веке именитый иноземец воспел в стихах красоты его страны. И русский поэт внимательно проштудировал сборник Флеминга “Geist- und Weltliche Poemata” (Jena, 1660) (1) и, обнаружив в нем сонеты, посвященные Москве (с. 581, 589, 616-617), и тоже сочиненные во время того путешествия, но почему-то в текст Олеария не вошедшие, тут же вознамерился их перевести. А ведь сонеты эти, как утверждают историки литературы, были первыми

(!) в немецкой поэзии стихами о России! Ведал ли о том Сумароков? Думается, что главным стимулом к переводу текстов послужил его глубокий и стойкий интерес к истории Первопрестольного града. (Известно, что Сумароков всерьез занимался далеким прошлым столицы и широко пользовался старинными летописями для написания очерка “О первоначалии и созидании Москвы”, да и других сочинений). Вот как объяснил он свои побудительные мотивы для переложения сонетов поэта-голландца: “Всякие древности, хотя несколько касающиеся до Российского Государства, кажутся мне быть достойны чтения любопытными нашего народа людей; ибо мы тем гораздо не богаты. Древние монеты и тому подобные малости всегда от охотников за нечто великое приемлются”.



Титульный лист "Путешествия..." Адама Олеария

Надо также иметь в виду, что и сама голштинская тема в России середины XVIII века была весьма злободневной. Ведь в 1742 году голштинский принц Петер Ульрих (Петр Федорович), сын Карла-Фридриха, женатого на великой княгине Анне Петровне, был крещен по православному обряду и объявлен наследником русского престола. А в 1745 году, в день его совершеннолетия, он был провозглашен и правящим герцогом голштинским. Он всячески подчеркивал тождественность интересов Голштинии и России, полагая, что герцогский трон в Киле и императорский в Петербурге объединятся в одном лице, о

чем неоднократно писал “тетушке”, императрице Елизавете Петровне. И о монетах Сумароков упомянул не случайно, ибо в 1753 году была отчеканена монета, как раз символизирующая эту двуединость: с лицевой стороны на ней изображен Петр Федорович с распущенными волосами; на оборотной же стороне – российский и голштейн-готторпский гербы с русским орденом Андрея Первозванного внизу по центру. В 1754 году в окрестностях Петербурга наследник престола занимался эзерцициями с прибывшими из Киля солдатами (а в доме помянутого Миллера жил “студент из Голштинии”, некто Н.-Р., ставший потом аудитором этого воинства)(2).

Как следует из авторской рукописи Сумарокова, он задался целью ввести в российский культурный обиход фигуру неизвестного здесь доселе поэта Пауля Флеминга, специально приурочив журнальную публикацию к 115-летию с года его кончины! Он переводит три его сонета, объединяющим началом и лирическим субъектом которых явился сам “знатный немецкий стихотворец Павел Флеминг”.



Фронтиспис книги П. Флеминга: Teutschte Poemata. Lubeck, 1642

Вот как напечатаны тексты в апрельском номере “Ежемесячных сочинений...” за 1755 год:

Сонет I. Великому граду Москве, как он отъезжал оттоле

О ты, союзница Голштинские страны,
 В российских городах под именем царицы.
 Ты отвергаешь нам высокие границы
 К пути, в который мы теперь устремлены.
 Мы рек твоих струей к пристанищу течем,

И дружество твое мы возвестим Востоку;
Твою к твоим друзьям щедроту превысоку
По возвращении на Западе речем.
Дай небо, чтобы ты была благополучна,
Безбранна, с тишиной своею неразлучна,
Чтоб твой в спокойствии блаженный жил народ!
Прими сии стихи. Когда я возвращуся,
Достоиню славу я твою воспеть потщуся
И Волгу похвалой помчу до Рейнских вод.



Портрет Адама Олеария

Сонет II. Москве-реке при отъезде своем

Всегда ты в тишине теки в своих брегах
И града омывая великолепны стены;
Мы в них в другой уж раз зрим ласку без премены,
Которой чаем мы в восточных быть странах.
Коль возвращуся здрав, как был в стране я сей,
Каков от берегов твоих я отлучаюсь,
Устами я тебе и сердцем обещаюсь,
Что ты не выйдешь ввек из памяти моей.
Воспеть хвалу твоим струям я не оставлю.
Как Мульда славится, так я тебя прославлю,
Но тамо я уже не чаю больше быть.

Прими сей малый труд. По времени я миру
Потщуся я тебе громчае возгласить.
Нет, буду петь теперь! подай, Эрато, лиру!

**Сонет III. Москва, когда отправлялся в Персию,
по выезде своем из Москвы увидел
издалека позлащенные ее башни**

Град, русских городов владычица прехвальна
Великолепием, богатством, широтой!
Я башен злато зрю, но злато предо мной
Дешевле, нежелъ то, чем мысль моя печальна.
Мной зришься ты еще в своем прекрасном свете;
В тебе оставил я, что мне миляй всего,
Кто мне любезнее и сердца моего,
В тебе осталася прекраснейшая в свете.
Избранные места России главных чад,
Достойно я хвалю тебя, великий град,
Тебе примера нет в премногом сем народе!
Но хвален больше ты еще причиной сей,
Что ты жилище, град возлюбленной моей,
В которой все то есть, что лучшее в природе.

Сонеты были написаны Флемингом в Москве, где он находился вместе с посольством с марта до конца июня 1636 года. Однако сонет III, названный в оригинале “К граду Москве, когда он издалека увидел ее золотые главы”, на самом деле, связан не с выездом, а с приездом голштинцев в российскую столицу. И в основе его лежат впечатления от панорамы Москвы открывшейся путешественникам с высокого холма. Вот как описывает картину Адам Олеарий: “Церковные главы покрыты гладкою крепко золоченою жестью, которая при солнечном свете ярко блестит и тем придает всему городу снаружи великолепный вид, так что некоторые из нас, когда въезжали в город, говорили: “Снаружи город кажется Иерусалимом, внутри же он Вифлеем”. Написан этот текст 26 марта, в то время как прочие стихотворения – прощальные, и датируются июнем 1636 года, так что хронологически он должен был бы предвять другие произведения. Но ведь именно сонет о Москве “златоголовой” включался в сборники любовной поэзии Флеминга, поскольку, в отличие от прочих текстов, имел ярко выраженный интимный характер.

Почему же стихотворения напечатаны Сумароковым именно в такой последовательности? Обращает на себя внимание,

что в каждом из сонетов выдвигается на первый план одна ведущая черта личности немецкого стихотворца. Перед нами цикл, который выстроен по принципу нарастающего лиризма: в I сонете Флеминг предстает дипломатом, стремящимся “дружество свое возвестить Востоку”; во II – это стихотворец, который “тщится” громко возгласить о славе Москвы; в III – влюбленный, оставивший в граде “прекраснейшую в свете”. Да и “владычица прехвальна”, Москва, дается здесь сначала в торжественном (“в российских городах под именем царицы, “союзница Голштинские страны”), а затем в интимном ракурсах (“жилище, град возлюбленной”, сравнение “башен злата” с любимой). Нелишне при этом отметить, что в сборнике Флеминга, которым пользовался Сумароков, стихотворения эти напечатаны даже в разных книгах сонетов, и таким образом, такая композиция текстов – результат творчества русского поэта.



Вид Москвы (из книги Адама Олеария)

Интересна в этом отношении остроумная художественно-выразительная тематическая скрепа, которую использует Сумароков для достижения композиционного единства текстов. Его сонет II венчает концовка:

По времени я миру потщуся о тебе громчае
возгласить!
Нет, буду петь теперь! подай, Эрато, лиру!

Если мы обратимся к материалам литературной полемики середины XVIII века, станет очевидным упорное противопоставление “нежного” Сумарокова “громкому” Ломоносову. При этом Эрато осознавалась тогда как Муза “нежной” поэзии. Тот же Сумароков писал:

Эрато перва мне воспламенила кровь,
Я пел заразы глаз и *нежную любовь*.

“*Нежную любовь*” как раз и заключает в себе сонет III, по существу он являет собой выполнение обещания лирического субъекта (сонет II) сложить “*нежную*” песнь о Москве.

Видно, что представление о “знатном немецком стихотворце” складывается только по прочтении всех текстов, объединенных в “Ежемесячных сочинениях” одной тематической подборкой и общими комментариями.

Немецкий литературовед Рейнхард Лауэр говорит о “диаметральной противоположности” художественных систем “поэта барокко” Флеминга и “поэта-классициста” Сумарокова и о якобы сопряженных с этим трудностях перевода. Но, на наш взгляд, не все так однозначно и прямолинейно. Ведь XVII столетие в германской культуре называют “веком Опица”, а литературную теорию и все творчество Мартина Опица характеризуют как “ранний этап немецкого бюргерского классицизма, еще довольно тесно связанного с поэзией ренессансного гуманизма и в то же время подчас склоняющегося к барокко”. Кодификатор тонического стихосложения, поэтического языка, новой жанровой системы (а он культивировал героическую эпопею, трагедию, оду и, конечно же, сонет, следуя за Петраркой и Ронсаром), Опиц оказал огромное влияние и на поэзию Флеминга. “Классицистическая ясность, которую придал Опиц немецкому сонету, - отмечает американский филолог Роберт Броунинг, - явлена в творчестве Флеминга. Этот жанр привлекает его своей интеллектуальной структурой (стихотворный силлогизм с выводом в виде заключительного пуанте) и становится господствующим в его творчестве. Но если у Петрарки и в лирике Возрождения сонет строился на остром внутреннем конфликте героя, то здесь он обращается в риторическую фигуру, средство убеждения, демонстрацию поэтом собственной изобретательности”.

Характерно, что и в российском литературоведении программная “Книга о немецкой поэзии” (1624) Мартина Опица, так повлиявшая на творчество Флеминга, рассматривается как манифест классицизма; утверждается, что Опиц “опирается здесь на узловые моменты классицистической доктрины”. Нелишне отметить, что и в XVIII веке русские поэты-классицисты не усматривали в сочинениях М. Опица (а, соответственно, и Флеминга) ничего “вопиюще противоречивого”, на чем так настаивает Р. Лауэр. Вот что говорит, к примеру, Василий

Тредиаковский в своей “Эпистоле от Российския Поэзии к Аполлину” (1735):

Нову в Опице мою все сестру признали,
Обновителем тоя называть все стали;
Опицу, придав стихов имя отца, перву,
Чтоб в них строен тот и хитр вольно чрез Минерву.

Исследователь Ганс Пыритц отмечал, что если под “барокко” разуметь антитетический гиперболический стиль, то Флеминга трудно отнести к адептам этого литературного направления. А иные литературоведы утверждают, что Флеминг и вовсе не поэт барокко (даже в своих поздних сонетах, где он пытается отчаянно “петраркизировать”). Причем к такому выводу приходят и современные российские исследователи: филолог Сергей Дубровин, проанализировав сонеты Флеминга “самарского цикла”, говорит о “прорыве Флеминга в новый поэтический мир, недоступный фантазии традиционного барокко”; о его “отходе от риторической барочной традиции, от мифологических штампов и образов”; о естественном и живописно-конкретном, ассоциативном восприятии Флемингом живой природы. По мнению, С. Дубровина, этот немецкий стихотворец “выходит за рамки барочной традиции, приближаясь к поэтике романтизма”.

Проводить подробное сопоставление немецких оригиналов и их переводов, которые, как подчеркнул исследователь Николай Травушкин, “воспроизводятся не вполне правильно”, мы не будем. Отметим лишь, что, по словам корифея сравнительного литературоведения академика Михаила Алексева, русский поэт “удачно передает звонкую архаичность немецкого стиха”. Очевидна также ориентация Сумарокова на художественный арсенал отечественной поэзии, на российский книголюб. Показательна в этом отношении метаморфоза, которую претерпевает у него сонет “Великому граду Москве”. Все злободневное, привязанное у Флеминга к конкретному событию (сонет на случай), в русском переводе приобретает оттенок “неизменности” и “вечности”. Так, Сумароков отказывается от славословий по поводу торгового договора между Голштинским посольством и москвитями (у Флеминга: “Das Bundus ist gemacht das keine Zeit zertrenn” – “Заключен союз, не подвластный времени”). И российская “к друзьям щедрота превысока” здесь уже становится неизменным свойством России во все времена и, конечно, не только по отношению к Голштинии. В сонете “Москве-реке” муза Эрато несет стихотворцу, пораженному красотами Первопрестольной, не ведомую русскому читателю

цитру, а именно лиру, так часто упоминаемую в произведениях отечественной словесности XVIII века. Вместе с тем, как справедливо отмечал известный литературовед Павел Берков, Сумароков “ослабляет все то, что имело у Флеминга более личный характер”. Голштинская река Мульда в его переводе не смеется над своим потерянным сыном, а его герой не просит прощения у Москвы за то, что не может подарить ей букет фиалок. Имя возлюбленной в русских сонетах опускается (у Флеминга она названа *Basilena*), равно как и упоминание о ее пышных кудрях (“*das hohe Haar*”), с которыми в оригинале сравнивается злато московских соборов.

Сумарокову чужда высокопарность. Он отказывается от патетических штампов и высоких риторических фигур, характерных для Флеминга (“*Des frommen Himmels Gunst!*” – “Дар благочестивых небес!”; “*Wie sehr dein freindlich Hers in unser Liebe brennt!*” – “Как твое дружественное сердце пламенеет в нашей любви!”). Скуп русский поэт и при использовании мифологических образов (3) У Флеминга: “*Kein Mars und kein Vulkan dir uberlastig sehn*” – “Да минует тебя Марс и Вулкан!”. У Сумарокова же читаем:

Дай небо, чтобы ты была благополучна,
Безбранна, с тишиной своею неразлучна.

Исследователями уже отмечалась невосприимчивость поэта к мифологизмам даже в таких “высоких” жанрах, как торжественная ода. Мифологическое имя для Сумарокова – “витийство лишнее”, несовместимое с “ясностью” и “естественностью”, поскольку создавало искусственный слог и двуплановость речи. Поэтому отказ от мифологизмов, противоречащих “приятной” поэту “стихотворной простоте”, следует воспринимать как попытку Сумарокова избежать той “хитрой суесть”, которая, по его мнению, была вообще специфична для сонета.

Впрочем, Сумароков, обратившись к текстам Флеминга, вовсе не притязает на то, чтобы называть свои переводы сонетами. Характерна одна его неточность при переводе немецкого оригинала: слова Флеминга: “*Nun itzo dies Sonnet!*” он воспроизводит как “Прими сии *стихи!*”. Да и в авторской рукописи каждый стихотворный текст озаглавлен Сумароковым не “Сонет”, а “Из Сонета”. Такое название было менее ответственным, ибо оправдывало вольность переводчика. А он и не ставил перед собой задачу воссоздать прихотливую рифмовку оригинального сонета, посчитав это делом излишним и “суетным”.

В отличие от двух рифм, выдержанных в катренах немецких текстов, Сумароков дает четыре рифмы!

Именно эта рукопись, где стихотворения Сумарокова названы “с трех сонетов переведенные *стихи*”, поступила на рассмотрение Конференции Петербургской Академии наук и среди лиц, одоббивших их публикацию в “Ежемесячных сочинениях”, был и Василий Тредиаковский. Однако волевым решением издателя Герарда Миллера окончательный текст, напечатанный в журнале, был дерзко озаглавлен “Три *сонета*, по-русски переведенные”. Так, Сумароков, крупнейший русский поэт XVIII века, сам того не желая, становился насадителем сонета “неправильного”, “облегченного” типа (*sonnet licencieux*). Это не могло не рассердить ревнителя жанра Тредиаковского, который понял, что его провели. “Чем можете защитить, - настойчиво вопрошал он Сумарокова, - что переводные с Павла Флеминга сонеты и у вас точно ж сонеты...? Сонеты должны быть таковыми, как их описывает Буало-Депрео во II песни; говоря стих в стих моим переводом:

Указал в двух четвернях, равных меж собою,
Осью слухи поражать рифмою двойною.

Но у вас в них осью слухи поражают рифмою четверною”.

Характерно, что в начале XIX века на ту же вольность Сумарокова в отношении сонетной рифмовки обратила внимание поэтесса Анна Бунина. Разбирая один из его переводов из Флеминга, она указала: “Сей сонет легче для составления; он отступил уже несколько от *принадлежащей себе формы*, следовательно, потерял часть своего достоинства”. “*Принадлежащая себе форма*”, о которой говорит поэтесса, – это сонет в его идеальной романской традиции с катренами на две рифмы, на чем настаивали Н. Буало-Депрео, а за ним и Тредиаковский. Но Бунина напоминает об этом не случайно, ибо именно благодаря Сумарокову, ставшему поэтом-образцом для сочинителей сонетов, катрены с 4 рифмами в русской поэзии XVIII – начала XIX века получили широкое распространение. Подобные сонеты писали А.А. Ржевский, А.Г. Карин, М.И. Попов, С.С. Бобров, П.И. Голенищев-Кутузов, А.Е. Измайлов и многие другие стихотворцы. Впрочем, и во Франции и в Германии *sonnet licencieux* – явление достаточно частое. Если говорить о Франции XVII века, то среди “нарушителей” канонической формы можно указать таких мастеров, как Ф. де Малерб, Ж.-Б. Руссо, А. де Сент-Аман, Ф. Менар и др.

Неоспорима заслуга Сумарокова и в выборе метра для русского сонета XVIII века. Александрийский стих оригинала - стихотворный размер, введенный и узаконенный для немецких сонетов Мартином Опицем, он репродуцировал шестистопным ямбом. Конечно, то был наиболее “универсальный” размер русской силлабо-тоники XVIII века, но именно ему сужено было стать общепринятым и общеупотребительным сонетным метром вплоть до первой четверти XIX века. Достоинно внимания, что и Третьяковский стал вслед Сумароковым писать сонеты шестистопником, признав тем самым заслуги своего бывшего литературного противника. Показательно и следующее замечание о сонете Николая Остолопова, сделанное им в “Словаре древней и новой поэзии” (1821): “Приличнейшими на нашем языке могут быть почтены шестистопные ямбические”.

Сумароковские переводы заложили основы тематического репертуара русского сонета (сонет на случай, панегирический и любовный сонеты) и вызвали множество подражаний. Характерно, что уже в ноябре 1756 года в “Ежемесячных сочинениях” появляется анонимный сонет “Красуйся, о! Нева, град славный протекая”. Само обращение автора к реке как символу мощи российского государства навеяно “московскими” сонетами. Однако если течение Москвы-реки у Флеминга-Сумарокова размеренно и плавно (“Всегда ты в тишине теки в своих брегах”), то волны Невы уподоблены грому, призванному “умягчить врагов кичливый нрав”. Мощь грозной реки усиливается тем, что волны ее отражают “зрак” (образ) императрицы Елизаветы – Богини, как ее называет автор:

Промчи с своей волной, колико гром ужасен,
 Который вышний ей вручил на них ТВОРЕЦ,
 И возвести, что весь их [врагов – Л.Б.] умысел напрасен.
 Воспомни им, кто был БОГИНИ сей ОТЕЦ [Имеется в виду
 Петр Великий – Л.Б.]

Надо сказать еще об одном художественном открытии Сумарокова, еще не вполне оцененном историко-литературной наукой. Перед ним стояла поистине новаторская творческая задача - сделать стихотворную подборку для первого в России ежемесячного журнала, издатели которого “за правило себе прияли писать таким образом, чтоб всякий, какого бы кто звания или понятия не был, мог разуметь предлагаемую материя”. И Сумароков впервые в русской поэзии создает сонетный цикл. Конечно, он вовсе не задавался такой специальной целью. Сонет как таковой порицался им за “неестественность” (“хитрая суета”),

и Сумароков всячески стремился эту “неестественность” преодолеть. Объединение нескольких поэтических текстов в цикл давало возможность разработать тему, для которой одиночный сонет казался ему слишком узким. Так в “игранье стихотворном” отыскивались новые содержательные возможности. Впрочем, для этого поэта главным критерием ценности текстов была не столько их самооценка, сколько понимание и признание читающей публики. Он говорил, что автор “сам узаконению разумного читателя подвержен”, и делал акцент на результате собственного труда: “Читатель... вкушает не то, что было в моем предприятии, но то, что было на бумагу положено”.

И важно то, что сонеты-переводы Сумарокова и воспринимались книжечьями XVIII века как нечто цельное и неделимое. Об этом свидетельствуют все дошедшие до нас читательские списки, где сохранены и последовательность текстов, и их нумерация. Как и всякий цикл, три сонета-перевода при всех перепечатках сохранили свой состав и внутреннее расположение.

Интересно, что сонеты о Москве прочел в журнале лубочный издатель Матвей Комаров – тот самый, которого Лев Толстой называл “самым знаменитым русским писателем”, имея в виду широчайшее распространение его сочинений в самой гуще народа. В портфелях Г.Ф. Миллера мною обнаружено письмо М. Комарова издателю “Ежемесячных сочинений” от 6 мая 1757 года (РГАДА, Ф.414, Д.23, Л.1). Признавшись, что он “элоквиции и другим никаким науками, кроме российского языка не обучен, да и грамматики не читал”, Комаров пишет, что прочитанные в журнале стихотворения “нечаянно возбудили” в нем “охоту к сочинению виршей” (и прилагает свое произведение “Великолепная Россия сетующую Полшу утешает”). Интерес Комарова к стихам о Белокаменной тем очевиднее, что этот популярнейший издатель всегда называл себя “Жителем царствующего града Москвы” (это значится и на титульных листах его книг). В своем сборнике “Разные письменные материи, собранные для удовольствия любопытных читателей” (1791) Комаров слово в слово воспроизвел журнальную подборку Сумарокова. Так сонеты о Москве дошли до тех, которые “не имели способа читать многие книги”.

Таков художественный результат обращения Сумарокова к творчеству “знатного немецкого стихотворца Павла Флеминга”. И для отечественной культуры эти стихотворения были не “переведенные стихи”, а именно “три сонета” о Великом граде Москве, оказавшие заметное влияние на развитие этого жанра в России.

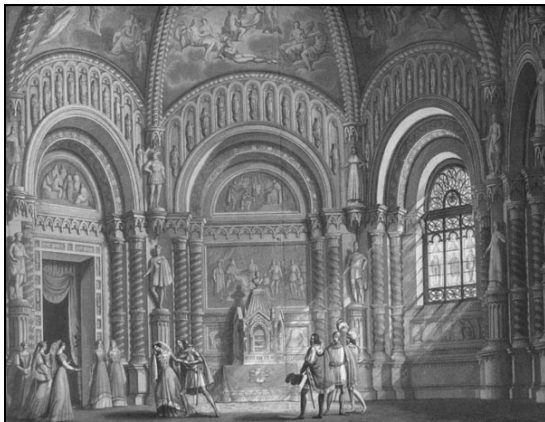
1. О том, что Сумароков пользовался именно этим изданием, свидетельствует нумерация оригинальных сонетов в его авторской рукописи. См.: Модзалевский Л.Б. М.В. Ломоносов и его литературные отношения в Академии наук (Из истории русской литературы и Просвещения середины XVIII века). Дис. д-ра филол. наук. Л., 1947, С.122. Не исключено, что с этим поэтическим сборником Сумарокова познакомил Г.Ф. Миллер.

2. Символично, что герцог Шлезвиг-Гольштейн-Готторпский Фридрих III (1597-1659) приходился – о, теснота истории! - прадедом Петру Федоровичу (будущему императору Петру III).

3. Исключение составляет отмеченный выше пример с музой Эрато во II-м сонете, однако, как мы показали, введение этого мифологизма в текст способствовало циклизации сонетов.

II. Дерзость Алексея Ржевского

В России в середине XVIII века произошло чрезвычайное происшествие. Безобидное, казалось бы, стихотворение в честь одной театральной актрисы вызвало бурную реакцию в самых высоких сферах.



Сцена из итальянского балета

13 марта 1759 года советник Канцелярии Академии наук Иван Тауберт был спешно вызван во Дворец, где получил суровый выговор за публикацию в февральском номере академического журнала “Ежемесячные сочинения к пользе и увеселению служащие” “неприличных” анонимных стихов:

**Сонет, или Мадригал Либере Саке,
актрисе Италианского вольного театра**

Когда ты, Либера, что в драме представляешь,
В часы те, что к тебе приходит плеск во уши,
От зрителей себе ты знаком принимаешь,
Что в них ты красотой зажгла сердца и души.
Довольное число талантов истожила
Натура для тебя, как ты на свет рождалась,
Она тебя, она, о Сако! наградила,
Чтобы на все глаза приятно казалась.
Небесным пламенем глаза твои блистают,
Тень нежную лица черты нам представляют,
Прелестный взор очей, осанка несравненна.
Хоть неких дам язык клеветет тя хулою,
Но служит зависть их тебе лишь похвалою:
Ты истинно пленять сердца на свет рожденна.

В тот же день Тауберт потребовал от редактора ежемесячника Герарда Миллера дать на сей счет надлежащие объяснения и назвать имя автора “возмутительного” сонета. “Так как я вечно сидевший за рабочим столом, - оправдывался испуганный издатель, - не посещаю здешнего придворного театра, и не слыхивал имени Сакко, то предполагал, что эта госпожа принадлежит к итальянскому театру в Париже, и что стихи, следовательно, не оригинальные, а переведены с французского”. Мало того, увертливый Миллер попытался свалить вину на профессора Никиту Попова (тот как раз с 1759 года занимался “поправками штиля” рукописей, присланных в журнал), который якобы и упросил его опубликовать сей опус. Сообщил он также, что сонет “по слуху” принадлежит перу унтер-офицера Ржевского, и здесь Миллер наводит тень на плетень, ибо со стихами Алексея Андреевича Ржевского (1737-1804), тогда сержанта Семеновского полка, он был знаком вовсе не понаслышке. Бравый гвардеец неоднократно посылал свои поэтические опыты в “Ежемесячные сочинения”, и в портфелях Миллера (ныне хранятся в РГАДА РФ) находится именно эта присланная Ржевским (и его рукой писанная) стихотворная подборка, “Сонетом и Мадригалом Либере Саке” завершающаяся.

Крамольные стихи попали под нож и были вырезаны из нераспроданной части тиража издания. Вместо подборки стихов Алексея Ржевского, в журнал были вклеены безобидные “Мысли и примечания, переведенные из Грейвальдских ученых сочинений к пользе и увеселению служащих”. А Канцелярия Академии наук

распорядилась: “Понеже в академических сочинениях февраля месяца 1759 года внесены некоторые стихи неприличные, почему и лист перепечатан, того ради указали: прежде отдачи в станы, какая бы ни о чем материя ни была, первые листы или последние корректуры для введения господ присутствующих вносить в Канцелярию”. Иными словами, злополучный сонет положил начало тому, что ежемесячник стал проходить строгую цензуру и в Канцелярии Академии.

Современному читателю совершенно непонятно, что “неприличного” можно было узреть в панегирике итальянской актрисе, отчего загорелся весь этот сыр-бор, вызвавший отчаянный гнев при Дворе, жалкий лепет оправдания издателя, цензурные изъятия. Литературовед и писатель Лев Лосев в книге “On the Beneficence of Censorship” (1984) пояснил, что слова сонета Ржевского о “неких дамах”, завидующих красоте пленительной итальянки и на нее клеветующих, - это образчик эзопова языка середины XVIII века, вполне понятный современникам. Ибо таковой дамой была самодержавная модница императрица Елизавета Петровна, не терпевшая похвал чужой красоте.

Обладательница пятнадцати тысяч платьев, нескольких тысяч пар обуви, сотен отрезков самых дорогих тканей, сия монархиня и сама переодевалась по семь раз на дню, и своим придворным наказала являться на бал или куртаг каждый раз в новом платье (по ее приказу гвардейцы даже метили специальными чернильными печатями одеяния гостей – чтобы впредь в старых костюмах показываться не смели!). А поисками самых модных вещиц для государыни были озабочены не только в России, но и за границей. Все парижские новинки сперва доставлялись во Дворец; монархиня отбирала понравившееся, расплачивалась с поставщиками весьма скупно (вопреки укоренившейся за ней славы транжирки), и только после этого они получали право продавать оставшееся простым смертным. И не дай Бог нарушить сие правило: одна ослушница, некая госпожа Тардье, была за это арестована - в гнев императрица была страшна!

Необыкновенная красавица в молодости, она страдала стойким комплексом нарциссизма; как сказал о ней историк Василий Ключевский, Елизавета “не спускала с себя глаз”. Впрочем, ее обаянием были покорены все: “Хотелось бы смотреть, не сводя с нее глаз, - восторгалась своей порфириносной “тетушкой” Екатерина II, - и только с сожалением их можно было

оторвать от нее, так как не находилось ни одного предмета, который бы с ней сравнялся”.

Уморительны были навязываемые императрицей “метаморфозы”, на которых мужчины облекались в женские платья с огромными фижмами, а женщины – в мужское. И хотя на таких маскарадах большинство участников выглядели забавно (если не сказать, безобразно), зато выигрывала Елизавета Петровна – мужской костюм ей чудесно шел, подчеркивая ее великолепные формы.

Однажды она повелела всем придворным дамам обрить головы и надеть черные, плохо расчесанные парики. И все потому, что белокурая Елизавета, покрасив волосы в черный цвет, не смогла избавиться от вьешейся в них краски и вынуждена была их остричь – дамы повиновались ей с плачем. Или вдруг она “приказала всем дамам надеть на полу-юбки из китового уса короткие юбки розового цвета, с еще более короткими казакинами из белой тафты, и белые шляпы, подбитые розовой тафтой, поднятые с двух сторон и спускающиеся на глаза”. Екатерина II резюмирует: “Окутанные таким образом, мы походили на сумасшедших, но это было из послушания”.

Со временем императрица из зависти начала преследовать всех мало-мальски смазливых молодых женщин. Стоило несчастной одеться красиво и броско, она тут же становилась жертвой монаршего произвола. Сколько дамских платьев, лент, причесок искромсала императрица ножницами! “Однажды, - вспоминала Екатерина II, - при всем дворе, она подозвала к себе Нарышкину, жену обер-егермейстера, которая, благодаря своей красоте, прекрасному сложению и величественному виду, какой у нея был, и исключительной изысканности, какую она вносила в свой наряд, стала предметом ненависти императрицы, и в присутствии всех срезала ножницами у нея на голове прелестное украшение из лент, которое она надела в тот день. В другой раз она сама обстригла половину завитых спереди волос у своих двух фрейлин, под тем предлогом, что не любила фасон прически, какой у них был..., и обе девицы уверяли, что Ея Величество с волосами содрала и немножко кожи”. И уж, конечно, неслыханной дерзостью было явиться ко двору в таком же, как у нее, украшении или платье: посмевавшая сделать это статс-дама Наталья Лопухина была прилюдно исхлестана по щекам, а позднее была подвергнута жестокой экзекуции с урезанием языка...

Императрица страстно любила оперу и балет. В бытность цесаревной, она принимала живое участие в придворных увеселениях, танцую чрезвычайно изысканно и грациозно.

Особенно жаловала Елизавета итальянскую оперу и распорядилась “принять в здешнюю императорскую службу” антрепренера и сценариста Джованни Баттиста Локаттели (1713-1785), который и прибыл в Петербург в 1757 году вместе с труппой из 32 итальянских актеров и актрис. 3 декабря итальянская труппа начала свои выступления в Императорском театре у Летнего сада. Им сопутствовал оглушительный успех. Академик Леонид Майков отмечает: “Прекрасное исполнение [опер и балетов] и роскошная их постановка, достойная, по словам иноземных очевидцев, лучших театров Парижа и Италии, произвели чрезвычайное впечатление на Петербургское общество. Императрица в первый год подарила театральному импресарию 5000 рублей; он устроил годовой абонемент, причем брал за ложу 300 рублей; сверх того, богатые люди обивали ложи свои шелковыми материями и убирали зеркалами”. Двор абонировал три первые ложи за 1000 рублей в год. Елизавета Петровна часто бывала на спектаклях, обыкновенно инкогнито. Интересно, что “после представления оперы в оперном же доме сожигали фейерверк”. Объявления о представлениях печатались в столичных газетах, а либретто с итальянским текстом и его переводом на французский язык продавались в академических книжных лавках.

В труппу Локаттели входили многие европейские знаменитости, однако, по словам историка, “главную приманкою театра были две хорошенькие актрисы” – Либера Сакко и Анна Белюцци. Особенно яркое впечатление на публику произвела представленная в августе 1758 года пантомима “Отец соллобовник сыну своему, или Завороженная табакерка”, где Анна была бойкой деревенской дурехой Коломбиной, а Либера – обворожительной, юной, влюбленной Изабеллой. Современник Якоб Штелин свидетельствует: “Равенство в приятности, вкусе и танцеваньи госпож Сакки и Белюцци делило на две партии зрителей, из которых некоторые имели две деревянные, связанные лентою дощечки, на коих написано было имя той из сих двух танцовщиц, которая больше кому нравилась, и коей они аплодировать хотели – сии дощечки заменяли часто их ладони, кои от беспрестанного хлопанья у многих пухли”.

Сохранившиеся сведения об этих прекрасных соперницах крайне скудны и отрывочны. Анна Белюцци (1730-), прозванная “Ля Бастончина”, выступала в труппе вместе со своим мужем, хореографом и композитором Джузеппе (Карло) Белюцци. Танцовщица широкого диапазона, она исполняла и серьезные (Прозерпина в “Похищении Прозерпины”, Клеопатра в “Празднике Клеопатры”), так и комедийные роли. А вот перед ее

женскими чарами не устоял и такой искушенный сердцеда, как Джованни Казанова, состоявший с ней в любовной связи. Казанова был без ума от Анны, и, когда станцевала ему фанданго, он вскричал в сердцах: “Что за чудо-танец! Он обжигает, возносит, мчит вдаль!”

Либеры Сакко, уроженка Венеции, приехала в Петербург вместе с сестрой, балериной Андреаной (1715-1776), и знаменитым братом, Джованни Антонио Сакко (1708-1788), выдающимся педагогом, актером-импровизатором, эквилибристом и акробатом, главенствовавшим над балетной труппой итальянцев. Им было поставлено большинство балетов, а поскольку основной репертуар антрепризы Локателли составляли оперы-буфф, балетный репертуар тяготел к комедии. Впрочем, ставились и балеты на серьезные сюжеты. Либеры представляла то нежной нимфой Дафной (балет “Аполлон и Дафна”), то участвовала в спектакле “Убежище богов, действие драматическое, представленное перед балетом Богов Морских”. Современник Якоб Штелин аттестует как “лукавая Либеры”, и такое определение вполне объяснимо. Дело в том, что “актриса” преуспела не только в служении Терпсихоре – натура наградила Сакко и недюжинными вокальными данными. Она выступала с неизменным успехом и в операх, и исполняла преимущественно партии героинь сметливых и лукавых. Это и задорная юная крестьянка Лена в опере “Сельский философ”, и остроумная веселая сплетница Чекка (“Учительница школы”), и другая Чекка, практичная домовитая крестьянка (“Мыза, или Сельская жизнь”).

Особенно блистала Сакко в главной роли в “Героическом балете Психей”. Сила обаяния примы, безукоризненная пластика каждого шага и жеста, удивительная гармония и завершенность поз возбуждали у русской театральной публики “плеск во уши” (слово “аплодисменты” тогда еще в русский язык не вошло). По сюжету, ослепительной красоте возлюбленной Эроса Психей завидовала сама Афродита. Так и Психей-Сакко, по словам Ржевского, “красотой зажгла сердца и души” зрителей и возбудила острую зависть “неких дам”. Возможно, о злословии императрицы в адрес балерины и прознал двадцатидвухлетний гвардейский сержант Ржевский, что и это стало поводом его выступления в печати.

Что же одушевляло его действия? Мнения исследователей на сей счет разнятся: Леонид Майков полагает, что Ржевский был поклонником таланта примы, а историк Николай Энгельгардт, убежден, что сержант был страстно влюблен в нее. Думается, что одно другого никак не исключает.

Обращает на себя внимание, что мадригал в поэзии Ржевского становится жанром исключительно любовным:

Скажи мне тайну ту, чем ты меня пленила, -
И я бы сделал то ж, чтоб ты меня любила.

Дар сердца своего недешево купил:
Своим тебе за то я сердцем заплатил.

То сердце, что взяла, опять мне возврати,
Или за то своим мне сердцем заплати.

Свои панегирики профессиональному искусству актрис поэт облакал исключительно в форму “Стихов”. Чтобы понять эту тонкую разницу, достаточно сопоставить “Сонет и мадригал” и его же, Ржевского, “Стихи девице Нелидовой...” и “Стихи девице Борщовой...”. В “Стихах” Нелидова “естественной игрой всех привела в забвенье”, а Борщова “зрителей сердца... *пением* зажгла”, то есть внимание акцентируется исключительно на театральном мастерстве, а отнюдь не на внешних данных исполнительниц. Не то о Сакко, где ярко живописуется именно ее красота и притягательность:

Небесным пламенем глаза твои блистают,
Тень нежную лица черты нам представляют,
Прелестен взор очей, осанка несравненна...

Обращает на себя внимание еще один любопытный факт. Ржевский, как известно, отдал немало сил шаржированию и пародированию щегольства. Он оппонировал своим культурным противникам – “гадким петиметрам” в самых различных жанрах (включая ложный панегирик и письмо), подвергая беспощадному сатирическому осмеянию их взгляды, мировосприятие, систему ценностей. За два года до написания “Сонета и мадригала” он послал в “Ежемесячные сочинения” два стихотворения “Сонет I К красавцу” и “Сонет II К красавице” (РГАДА, Ф.199, Оп.2, П.414, Д.20, Л.5об.-6). Оба текста писаны от лица вертопраха, который “родился, как мнит он, для амуру, чтоб где-нибудь склонить к себе такую ж дуру”. Но вот, что примечательно: в мадригале, посвященном Сакко, повторены комплиментарные формулы одного из этих пародийных сонетов:

Тебя натура в свет когда производила,
То образ красота дала тебе сполна,
Я мню, что все в тебя таланты истощила,

Коль щедрою к тебе явилася она
(Сонет I К красавцу).

Довольное число талантов истожила
Натура для тебя, как ты свет рождалась
(Сонет и мадригал).

Чем можешь обладать, того не упускай,
Покуда есть краса, любовь в сердцах сжигай.
(Сонет I К красавцу).

Что ты в них красотой зажгла сердца и души.
(Сонет и мадригал).

Между прочим, позднее в журнале “Свободные часы” (1763) Ржевский будет говорить о том, что “петиметры ходят в театральные позорищи, чтобы... поддерживать славу той актрисы, которая им не по искусству театральному нравится”.

Увы! – завеса веков скрыла от нас, насколько близки были гвардейский сержант и пленительная итальянка, но нет сомнений - Ржевский посмел защитить Сакко от злоязычия и хулы самой монархини. При этом уязвил стареющую нимфоманку Елизавету – громогласно объявил о ее зависти к чужой красоте. То была неслыханная дерзость, и она могла стоить ему и Фортуны и карьеры. Ведал ли он, что творил, какую бурю вызовет мадригал при Дворе? Конечно, ведал, потому-то не подписал его (хотя под другими стихотворениями подборки стоят его инициалы). При этом понимал, конечно, не мог не понимать, что анонимность здесь – не более чем секрет полишинеля, и авторство его тут же выплывет наружу...

Впрочем, итальянская актриса продолжала благополучно выступать на русской театральной сцене и покинула Россию вместе с труппой Локателли только в 1761 году. А что Алексей Ржевский? Театральный критик Александр Плещеев писал, что за свой мадригал гвардеец “будто бы пострадал”. По счастью, свидетельств этому нет. А потому можно утверждать, что на его судьбе и творчестве эпизод этот никак не отразился. Он продолжал служить в лейб-гвардии Семеновском полку вплоть до дня кончины “некой дамы” – Елизаветы, 25 декабря 1761 года, и вышел в отставку в чине подпоручика. При этом он активно печатался в журнале “Полезное увеселение” (1760-1762), издаваемом при Московском университете. Что до его дальнейшей служебной деятельности, то трудно отыскать в русском XVIII веке человека, чья карьера сложилась бы столь успешно. В 1767 году

Ржевский назначается камер-юнкером; в 1773 году он уже камергер; с 1771-1773 годах – вице-президент Академии наук; с 1775 года – президент Медицинской коллегии; в 1783 году пожалован сенатором и тайным советником; наконец, в 1797 году получает высший чин действительного тайного советника.

Минула пора легкомысленной, щегольской молодости. Под 30 лет Алексей Андреевич становится женатым человеком. Но особенно был он счастлив во втором браке, с Глафирой Алымовой (рожденной, по совпадению, в год публикации “Сонета и мадригала”). Гаврило Державин посвятил Ржевскому стихотворение “Счастлирое семейство” (1780), в коем живописал его чадолюбивым, “благочестивым добрым мужем”.

Но Державин отметил и постигшую Ржевского досадную метаморфозу – он стал “человеком, удобопреклоненным на сторону сильных”. Так дерзкий стихотворец, готовый бросить вызов самой императрице, стал покорным и репильным исполнителем воли начальства.

Жизнь и судьба Ржевского не пример ли той российской “обыкновенной истории”, что приключилась позднее с Александром Адуевым – младшим? Правда, протагонист Ивана Гончарова, в отличие от Алексея Андреевича Ржевского, не публиковал свои юношеские сочинения. А наш герой предал их тиснению, оскандалился и... вошел в историю русской культуры.

III. Первые русские буриме



Ж. Вивьен. Портрет В.Л. Пушкина

Сохранился забавный литературный анекдот, который поведал литератор Михаил Дмитриев: “Однажды Василий Львович Пушкин (1770-1830), бывший тогда еще молодым

автором, привез вечером к Хераскову новые свои стихи. – “Какие?” – спросил Херасков. – “Рассуждение о жизни, смерти и любви”, - отвечал автор, Херасков приготовился слушать со всем вниманием и с большой важностию. Вдруг начинает Пушкин:

Чем я начну теперь! – Я вижу, что баран
Нейдет тут ни к чему, где рифма барабан!
Вы лучше дайте мне зальцвасеру стакан
Для подкрепленья сил! Вранье не алкоран...

Херасков чрезвычайно насупился и не мог понять, что это такое! – Это были *bouts rimés* [буриме – Л.Б.], стихи на заданные рифмы... Важный хозяин дома и важный поэт был не совсем доволен этим сюрпризом; а Пушкин очень оробел”.



И.К. Майр Портрет М.М. Хераскова

Недовольство патриарха отечественной словесности, творца знаменитой поэмы “Россияда” Михаила Матвеевича Хераскова (1733-1807) понять можно: настроившись на сочинение важное, философическое, он принужден был слушать какую-то зарифмованную галиматью. И едва ли Херасков оправился от шока, когда узнал, что перед ним - буриме на самые экстравагантные рифмы “баран” - “барабан” - “стакан” - “алкоран”, подсказанные Пушкину Василием Жуковским. Василий Львович был собой доволен, мнил, что так счастливо соединил здесь столь “далековатые” идеи (рифмованные слова) в одно игривое целое, и этой-то “побежденной трудностью” хотел удивить престарелого метра. Но Хераскову не угодишь – ему гладкость стиха подавай, а

тут все искусственно и натужно! Так что изящной стихотворной игрушки не получилось, и сюрприз обернулся конфузом.

Хераскову не довелось дожить до времени, когда Василий Пушкин станет образцовым “буремистом” и, по словам того же Михаила Дмитриева, никто не сможет с ним сравниться “в мастерстве и проворстве писать буриме”. А в романе Льва Толстого “Война и мир” рассказывается о том, что накануне Наполеоновского нашествия, буриме Василия Пушкина будут столь же популярны в Москве, как и знаменитые патриотические афиши князя Федора Ростопчина. Сомнительно, однако, что и более поздние буриме Василия Львовича пришлось бы взыскательному Хераскову по вкусу, ибо Михаил Матвеевич был реликтом уже отошедшей эпохи. Но парадоксально, что именно литературный старовер Херасков стоял у истоков первых русских стихотворений “на рифмы, заданные наперед”. И в том, что ныне игра буриме прочно вошла в российский культурный обиход, есть и толика его заслуги.

Откуда же наши стихотворцы – современники Хераскова смогли почерпнуть сведения об игре буриме? Откроем популярнейший журнал Ричарда Стила и Джозефа Аддисона “The Spectator”, который был широко известен в России (преимущественно во французских переизданиях). В одном из номеров этого издания (№ 60, Wednesday, May 9, 1711) помещено пространное письмо (авторство его приписывается Джозефу Аддисону), в коем как раз рассказывается о буриме - “дурацком виде остроумия”. Будто бы возникла сия литературная игра в результате курьеза. Некто ничтожный (настолько ничтожный, что даже имя его не сохранилось) французский рифмач Дюкло вдруг пожаловался друзьям, что его обокрали и умыкнули при этом триста (!) сонетов. Такая астрономическая цифра вызвала удивление и недоверие (хотя на дворе стоял весьма урожайный для сонетов XVII век!). Тогда “обворованный” стихослагатель признался, что это были не сами сонеты, а лишь рифмы к ним. Почин писать стихи на заранее сочиненные рифмы был горячо поддержан. Вскоре во Франции появилась четырехтомная антология подобных стихов (*Elite des Bouts Rimes de ce Temps*, 1649). Но особенное распространение они получили с 1654 года, когда суперинтендант Людовика XIV Николя Фуке сочинил знаменитый сонет-буриме на смерть попугая.

Напрасно колкий Жан-Франсуа Саразин в своей сатире “Разгром буриме” (*La Defaite des Bouts Rimes*, 1654) пытался отвратить публику от сего “вредного” поветрия. Своими искрометными буриме прославилась салонная поэтесса

Антуанетта Дезульер, Тулузская Академия ежегодно проводила турниры с участием четырнадцати поэтов, каждый из которых сочинял буриме во славу “короля-солнце” - Людовика XIV, причем победитель получал золотую медаль и миртовую ветвь. “Дошло до того, что французские дамы навязывают писать буриме своим обожателям, - негодует Джозеф Аддисон и патетически восклицает: - что может быть смешнее и нелепее, когда такими безделками занимается *серьезный* автор!”. Но тут же сообщает, что поэт Этьен Маллеман опубликовал книгу вполне *серьезных* сонетов (*Le défi des Muses en trente Sonnets Moraux*, 1701), сочиненных на рифмы герцогини Майнской. Да и позднее, уже во времена Михаила Хераскова, игры в буриме не гнушались такие почтенные сочинители, как Алексис Пирон, Антуан Удар де Ламотт, Жан Франсуа Мармонтель и другие.

И, видимо, поэтому, когда в редактируемый Херасковым журнал Московского университета “Полезное увеселение” прислали свои “Два сонета, сочиненные на рифмы, набранные наперед” отпрыск старинного рода Алексей Нарышкин и лейб-гвардии Семеновского полка подпоручик Алексей Ржевский, они тут же были преданы тиснению (1761, Ч. 4, № 12). Первыми в этой стихотворной подборке помещено буриме Алексея Нарышкина:

За то, что нежностью любовь мою *встречали*,
Прелестные глаза! вовеки мне *страдать*,
Вовеки вами мне покоя не *видать*,
Вы мне причиною несносных *печали*.
Надеждой льстя, вы мне притворно *отвечали*,
Что время счастливо могу я *провождать*,
Что должен за любовь награды себе *ждать*.
Надежда сладкая! Те дни тебя *промчали*.
Любезная! тебя напрасно я *люблю*,
Напрасно музами спокойствие *гублю*,
Суровости твои то кажут мне *всечасно*;
Но пусть я не любим, хоть буду век *тужить*,
Хоть буду о тебе вздыхати я *несчастно*, -
Ты будешь мне мила, доколе буду *жить*.

Далее следует текст Алексея Ржевского:

На толь глаза твои везде меня *встречали*,
Чтобы, смертельно мне любя тебя, *страдать*,
Чтоб в горести моей отрады не *видать*
И чтобы мне сносить жестокие *печали*?
Прелестные глаза хотя не *отвечали*,

Что буду жизнь, любя, в утехах *проводать*,
Я тщился радостей себе от время *ждать*,
Чтобы несклонности часы с собой *промчали*;
Но временем узнал, что тщетно я *люблю*,
Что тщетно для тебя утехи я *гублю*
И страстью суетной терзаюся *всечасно*;
Однако я о том не буду век *тужить*
Любить прекрасную приятно и *несчастно*,
Приятно зреть ее и для нее мне *жить*.

Обращает на себя внимание, что рифмы в русских сонетах “точные” и весьма традиционные, тогда как во французских буриме преобладают неожиданные, эффектные рифмы, причем искусное манипулирование ими приобрело во Франции самодовлеющий характер и стало критерием ценности текста. Надо сказать, что русский XVIII век вообще замысловатыми рифмами небогат. В отличие от французских буремистов, в помощь которым уже с начала XVII века издавались спасительные словари рифм, в России ничего подобного не было (первый “Рифмальный лексикон...” Ивана Тодорского вышел в свет только в 1800 году).

Важно понять историко-культурный смысл и ту литературную задачу, которую решала русская словесность, осваивая сию стихотворную игру. Надо иметь в виду, что классицистическое мышление XVIII века было жанровым. А поскольку эти буриме являются одновременно и сонетами, они органически связаны с трансформацией жанра сонета на русской почве. Во Франции же сонет, переживавший бурный расцвет в XVI-XVII веках, был вполне разработанным жанром. Более того, как отмечает филолог Юрий Виппер, его поэтическая структура, заложенные в нем возможности художественной выразительности, оказались глубоко созвучными коренным чертам эстетических пристрастий и влечений, свойственных творцам французской литературы. Именно это побудило Луи Арагона назвать сонет формой “национальной речи французов”. А в России середины XVIII века тематический репертуар сонета еще только складывался. Влиятельнейший поэт Александр Сумароков, ссылаясь преимущественно на французский опыт, корил сонет за “неестественность” и определил его “состав” как “хитрую в безделках суету”. И русским стихотворцам надлежало непременно эту “неестественность” преодолеть, актуализировав сам “состав” (тему) сонета. Велся поиск содержательных возможностей жанра. Предстояло выявить место сонета в русской любовной поэзии, тем более что в отличие от таких ее жанров, как элегия, эклога,

идиллия, песня, анакреонтическая ода и др., за сонетом не было изначально закреплено строго определенного содержания.

Впрочем, тему поэтического турнира задали сами рифмы (“встречали” – “страдать” – “видать” – “печали”... “люблю” – “гублю” и т.д.). Вполне объяснимы и одинаковые в обоих текстах формулы любовной поэзии, превратившиеся с легкой руки Александра Сумарокова и его поэтической школы в ходячие словесные клише. Так, рифма “встречали” – “отвечали” вызвала у обоих стихотворцев появление слов “прелестные глаза”; слово “промчали” соотнесено с близкими по значению “дни” (Нарышкин), “часы” (Ржевский); “печали” – с синонимичными определениями “жестокие” (Нарышкин), “несносные” (Ржевский).

В то же время ситуация соревнования способствовала активизации поэтической мысли. Казалось бы, оба текста являют собой монолог отвергнутого влюбленного, но тематические решения, к которым приходят Нарышкин и Ржевский, совершенно разнятся, и вот почему.

Первым в стихотворной подборке журнала помещен сонет-буриме Нарышкина. Влюбленный субъект вспоминает здесь о прошедшем счастье, хотя и тогда “любезная” лишь притворно будила его надежды и лишь делала вид, что отвечает его чувству. Ныне же она открыто кажет суровости, и несчастье его стало вполне очевидным. Несчастному “любовнику” суждено “век тужить” и “вздыхати несчастно”. Таким образом, для Нарышкина тема сонета в сущности ничем не отличается от темы канонической элегии. Элегия с ее чистой формой любовной речи становится тем “старшим” жанром, который не только лексически, но и содержательно насыщает жанр “младший” – сонет.

Далее следует текст Ржевского. Его поэтическое решение поражает своей нетривиальностью, оригинальностью трактовки. “Прекрасная” в его сонете вообще бездейтельна: ее “прелестные глаза” с самого начала “не отвечали” страсти говорящего лица. Но отвергнутый влюбленный элегической скорби не предаётся:

Однако я о том *не буду век тужить*:
Любить прекрасную *приятно* и несчастно,
Приятно зреть ее и для нее мне жить.

Самоценным становится *состояние* влюбленного героя: бывшая постоянным атрибутом элегий “горесть люта” трансформируется здесь в “*приятности*” несчастной любви! Причем в буриме Ржевского это слово “*приятно*” (а в поэзии того времени оно соотносилось с “утехами”, которые как раз не мог

сыскать элегический герой) настойчиво повторяется, становясь тем самым действенным риторическим приемом.

Представляется неслучайным порядок следования текстов. Первым здесь напечатан традиционный “элегический” сонет-буриме Нарышкина, а затем нетривиальный по своему поэтическому решению сонет-буриме Ржевского. Таким образом, литературная игра в буриме Нарышкина и Ржевского выявляла содержательные возможности русского сонета, и в этом было ее главное значение.

Автор “Словаря древней и новой поэзии” (1821) Николай Остолопов наставлял сочинителей буриме: “Чем рифмы будут страннее и слова менее иметь между собой связи, тем труднее писать по оным стихи: следовательно, стихи, написанные удачно по таким рифмам, доставят более приятности”. В качестве образца, достойного подражания, он привел стихи, написанные “издателю журнала “Вестник Европы” (1808, Ч. XXXVII, № 1):

Да будет твой Журнал у нас в Москве - *комета!*
 Да сладок будет он, как мед или *каймак!*
 Ты не был сотворен носить два *эполета,*
 Зато твой к Пинду путь не скроет *буерак!*
 Для грешных души спасенье - *литургия!*
 Для скаредных писцов журналы - *помело!*
 Беда им - критики суровой *энергия,*
 Иль строгого ума подозрное *стекло!*
 Их бред для глупых - *песнь,* для умных - *скорговорка!*
 В стихах их Феб - Сатир, с горбами - *Адонис!*
 Им рифма для стихов, бредущих врозь, *затворка!*
 Всех в петлю за вранье! (Глупон, и ты б *повис*).
 Без дара страсть писать - *пятно,* иль лучше - *сажа!*
 Подобны ль сим врялям - Гомер, *Анакреон?*
 И громкостью стихов - стихов в два-три *этажа*
 Заслужишь ли, поэт, на Пинде *эспонтон?*

Конечно, буриме Нарышкина и Ржевского с их обыкновенными (но не “бредущими врозь”) рифмами блекнут на фоне столь изощренного версификаторства. Но было бы несправедливо аттестовать этих стихотворцев XVIII века “врялями” и “глупонами”. Их “два сонета, на рифмы, набранные наперед” отмечены и даром, и “страстью писать”. Не знаем, читали ли их буриме обитатели Парнаса и Пинда, но в истории русской культуры они, безусловно, не затерялись. Впоследствии появятся русские классики буриме - Дмитрий Минаев и Арсений Голенищев-Кутузов, будут проводиться и массовые конкурсы

буриме, а в советское время эта литературная игра традиционно войдет в одно из заданий КВН. И в наши дни буриме продолжает жить в интернете как сетевая интерактивная игра, причем на каждом из сайтов существуют свои правила, свое оформление, ведутся рейтинги, награждаются победители и т.д. И все же нельзя забывать, что родоначальниками русского буриме были Алексей Нарышкин и Алексей Ржевский. Они были первооткрывателями, стремившимися приохотить россиян к забавной литературной игре. И за это надо воздать им должное.



Мина Полянская 77 дней Марины Цветаевой в Берлине¹

Цветаева, Вишняк, Гейне...

*Женщина, не забывающая о Генрихе Гейне в ту минуту,
когда входит её возлюбленный, любит только Генриха Гейне.*

Марина Цветаева. О любви

1



ерлин начала двадцатых годов, толпы инвалидов в больших чёрных очках, прикрывающих обожженные огнеметами лица, и множество лиц, одурманенных кокаином, и обилие пивных и ресторанов с посетителями, - бледными худыми строгими юношами с гладко прилизанными проборами, и с такими же бледными, истощёнными, коротко стриженными спутницами, ничего не заказывающими, с голодным блеском в глазах, непрерывно танцующими фокстрот, а также чарльстон, бостон и шимми.

Мелькнуло в немецкой танцующей толпе знакомое до боли утончённое, утомленное лицо. Андрей Белый – танцует - в длинном чёрном пиджаке, вместо галстука - чёрный шёлковый бант, сбился набок - отныне колоколам Персиваля он предпочитает фокстрот и простой «джаз-банд». «Русский профессор», как его называют, ставший берлинской легендой, в знак протеста условностям пляшет свой, придуманный им фокстрот, устроив «маленький балаган на маленькой планете Земля»².

Эти пляски, названные Цветаевой «христоплясками», не помешали ему увидеть истинное лицо Берлина начала 20-х годов. Более того: именно Андрей Белый живописал в берлинских

1 Очерк создан в частности и по материалам, собранным автором для книги: Флорентийские ночи в Берлине. Цветаева, лето 1922. Берлин: Геликон; М.: Голос-пресс, 2009.

2 «Маленький балаган на маленькой планете Земля» - так называется стихотворение, которое Андрей Белый написал в Берлине в 1922 году и поместил в свой сборник «После разлуки».

очерках 3 гнетущую атмосферу страны, проигравшей войну, опытный писательский глаз отметил в деталях кошмарный образ берлинского инвалида Первой мировой – безногого и безрукого, однако же украшенного высшими наградами.

В западном центре города - повсюду русские заведения, как будто бы обособленные, отгороженные от остального мира. Вот под палящим солнцем шествует в горных башмаках на толстой подошве Марина Цветаева в синем пастушьем платье. Она в Берлине купила это платье немецкого крестьянского стиля «бауэрнклийд». «Крестьянский этот, ситцевый фасон с обтянутым лифом и сборчатой юбкой она любила и носила всю жизнь, каждое лето этой жизни»⁴ По тихой Траутенауштрассе, где поселилась Марина, изредка проезжают машины, которых она боится, слышен их удаляющийся гул, но чаще слышен лошадиный топот копыт, он ей кажется *рукоплесканием* копыт – ещё одна дань нежности Цветаевой - лошадям, впрочем, как и всем остальным животным.

И не забыть бы очень важное: цветаевский «список драгоценностей» - всё богатство, которое она привезла в Берлин 15 мая 1922 года. В одной из её тетрадей сохранился список вещей, которые необходимо было забрать с собой в Берлин, завораживающий список, начиная от карандашницы из папье-маше с портретом Тучкова IV в мундире и плаще на алой подкладке, купленном в Москве на толкучке (Марина никогда с ней не расставалась) и кончая валенками – их тоже привезли. Впрочем, вот этот список:

«Список (драгоценностей за границу):

Карандашницу с портретом Тучкова IV
Чабровская чернильница с барабанщиком
Тарелка со львом
Серёжин подстаканник
Алин портрет
Швейная коробка
Янтарное ожерелье

(Алиной рукой):

Мои валенки
Маринины сапоги
Красный кофейник

3 Андрей Белый. Одна из обителей царства теней. Л.: Государственное издательство, 1924, (книга вышла в январе 1925 г.),

4А. Эфрон. Страницы воспоминаний. // Воспоминания о Марине Цветаевой / Сост. Л. Мнухин, Л. Турчинский. М.: Советский писатель, 1992. С.143.

Синюю кружку новую
Примус, иголки для примуса
Бархатного льва»5

Карандашница всегда красовалась на столе, когда Марина писала стихи – в Берлине, Чехии, Париже, Москве, она также принадлежала к почётному «списку» источников её вдохновения: «Ах, на гравюре полустёртой,/ В один великолепный миг,/Я видела, Тучков-четвёртый,/Ваш нежный лик. // И вашу хрупкую фигуру, //И золотые ордена...//И я, поцеловав гравюру, // Не знала сна...».

С собой в Берлин везли ещё плюшевый плед, подарок отца Марины, первые советские книжки и букварь, в котором был стишок: «Ильич с железною метлой сметает нечисть с мостовой»6

Цветаева призывала: «Не презирайте «внешнего!». Цвет ваших глаз так же важен, как их выражение; обивка дивана – не менее слов, на нём сказанных. Записывайте точнее! Нет ничего не важного! Говорите о своей комнате: высока она, или низка, и сколько в ней окон, и какие на них занавески, и есть ли ковёр, и какие на нём цветы?.. Всё это будет телом вашей оставленной в огромном мире бедной, бедной души»7.

Да, в этом мире нет ничего более романтического, чем то, что мы называем обыкновенно нашей жизнью. А записанное трансформирует текущий и исчезающий мир в метафизический. Ибо жесты, речь, стиль, мода, способ движения и передвижения – печать эпохи. Однако как трудно заметить обыкновенное, выделить ту самую маленькую подробность, которая может открыть нам суть (сущность) человека и его времени, унести воображением из современности в былое, добиваться эффекта присутствия, тщательно выписывать требуемые строгими романтиками подробности: детали одежды, прическу, выражение лица, а также глухие заштукатуренные балконы, подъезды, обветшалые деревянные лестницы и окна с витражами на лестничных площадках.

5 А. Эфрон. Страницы воспоминаний. // Воспоминания о Марине Цветаевой (сост. Л.А. Мнухин, Л.М. Турчинский.). М.: Сов. пис. 1992. С. 190.

6 А. Эфрон. Страницы воспоминаний. // Воспоминания о Марине Цветаевой (сост. Л.А. Мнухин, Л.М. Турчинский.) М.: Сов. пис. 1992. С. 190.

7 Марина Цветаева. Собр. соч. в 7 т. М. 1994, Т. 5. С. 229.

Я старалась по возможности следовать Цветаевой, а заодно и заветам романтиков, справедливо полагавшим, что филология - любовь к подробностям.

Пражская площадь по праву считалась одной из красивейших площадей Берлина. На рубеже веков, в эпоху лидерства Германии в развитии европейской архитектуры, она была застроена великолепными зданиями, увенчанными островерхими черепичными крышами, с мансардами и башенками. Затеяливые фасады сочетали в себе элементы классицизма и готики, но победа стекла и металла над камнем, ажурные чугунные балконы и решетки, рельефные украшения из литого и кованого железа и витражи на ризалитах свидетельствовали о наступлении нового, двадцатого века.

На фотографии 1913 года площадь выглядит одновременно уютно и торжественно. Днём она немногочудна. Лишь несколько прохожих рассматривают театральную афишу, в ожидании неторопливого трамвая, который движется вдоль округлого сквера.

Очень скоро этот размеренно безмятежный ритм Европы накануне Мировой войны и российской революции безвозвратно уйдёт в прошлое. Изменится и облик Пражской площади: в двадцатых годах ей суждено было стать своего рода символом нового времени, знаком переломной эпохи в жизни многих эмигрантов из России. Здесь и на прилегающих к ней улицах возник целый город «на смене вех», именовавший себя «русским Берлином». Эмигранты селились в пансионах, сидели в облюбованных ими кафе «по чужим местам», как говорил Андрей Белый, – «ничьи – с утра до вечера и даже ночью, потому что в Берлине ночи нет».

Особую роль в среде эмигрантов приобрело кафе «Прагердиле» на Пражской площади, которое стало своеобразным центром русской литературной и издательской жизни. «Берлин. «Pragerdiele» на Pragerplatz, – вспоминала Марина Цветаева. – Столик Эренбурга, обрастающий знакомыми и незнакомыми. Оживление издателей, окрыление писателей. Обмен гонорарами и рукописями. (Страх, что и то, и другое скоро падёт в цене.) Сижучастью круга, окружающего»⁸.

В «Прагердиле» у Ильи Эренбурга был постоянный столик («штамм тиш»), за которым он на машинке печатал свои произведения (он опубликует несколько своих книг, в том числе и

⁸ Марина Цветаева. Собр. соч. в 7-ми т. М.: Эллис Лак, 1994, Т. 4 С. 241.

роман Хулио Хуренито), Андрей Белый здесь *проводил время* или, как он говорил, «прагердильствовал», а Владислав Ходасевич написал стихотворение «Берлинское».

...За окном кафе – осенний дождливый вечер, в неожиданном для ненастной погоды многообразии цветовых эффектов он претерпевает фантастические метаморфозы. Берлинские сумерки по ту сторону стекла обступают ярко освещённый аквариум кафе, в который с любопытством заглядывают прохожие. Эмигранты, как экзотические рыбы, взирают на чужой им мир, среди них лирический герой, он же автор. Однако в стихотворении Ходасевича кафе – мир внутренний, и Берлин – мир внешний, меняются местами. Замкнутое пространство кафе как бы вырастает и разворачивается, заключая немецкую реальность в диковинный стеклянный сосуд, по которому движутся золотые рыбки трамваев, карет и пешеходов.

А там, за толстым и огромным
Отполированным стеклом,
Как бы в аквариуме тёмном,
В аквариуме голубом –

Многоочитые трамваи
Плывут между подводных лип,
Как электрические стаи
Свящихся ленивых рыб⁹.

В кафе «Прагердиле», за стеклами его, мир ненадолго становился витриной, живой декорацией. Дочь Цветаевой Ариадна Эфрон вспоминала: «А кафе "Прагердиле" – перекрёсток, на котором встречались все, – являлось неким скромным провозвестником всех будущих Монпарнасов эмиграций»¹⁰.

В июне 1921 года Цветаева узнала от Ильи Эренбурга, что Эфрон жив и находится в Чехии. Первого июля вечером Марина получила от Сергея письмо, при виде которого она, по её собственным словам, «закаменела». Сергей жив!

9 В. Ходасевич. Берлинское // Стихотворения. Л. О. изд-ва «Советский писатель». 1989. С.161, 162.

10 А. Эфрон. Страницы воспоминаний. // Воспоминания о Марине Цветаевой. Сост. Л. Мнухин, Л. Турчинский. М.: Советский писатель, 1992, С. 200.

Ему удалось в Крыму сесть на корабль и добраться до галлиполийского лагеря под Константинополем, где нашли приют многие русские беженцы. Он писал ей: «Мой милый друг, Мариночка, сегодня получил письмо от Ильи Григорьевича, что вы живы и здоровы. Прочитав письмо, я пробродил весь день по городу, обезумев от радости...»¹¹.

Когда началась гражданская война, Эфрон, завершив учёбу в Первой Петергофской школе прапорщиков, стал офицером Добровольческой белой армии и – пропал без вести.

Кажется, появлялась возможность после четырёх лет разлуки встретиться с мужем в Берлине и соединиться с ним, жить единой семьёй. Отъезд приближался. Всего за неделю (в связи с началом НЭПа процедура выезда из России упростилась) Цветаева оформила для себя и дочери разрешение на выезд за границу. Багаж состоял из сундучка с рукописями, одного чемодана и портплекда, последнего подарка отца Марины. Одежды и обуви у них почти не осталось – всё было сношено. Остались только Алины валенки, которые взяли с собой, и Маринины узорные разноцветные казанские сапожки.

Многие из перечисленных Цветаевой «драгоценных вещей» сопровождали её и в Германии, и в Чехии, и во Франции, и были вновь привезены ею в Россию в 1939 году. Ариадна Эфрон в своих мемуарах сообщила, что многие реликвии матери бесследно исчезли во время войны.

11 мая 1922 года погрузили скудный багаж в повозку, и Марина с дочерью отправились на Виндавский (ныне – Рижский) вокзал. До Берлина Марина и Ариадна добирались в общей сложности четверо суток – целый день провели в Риге в ожидании берлинского поезда, который привёз их к вокзалу Берлин-Шарлоттенбург солнечным утром 15 мая 1922 года, и носильщик в зелёной униформе донёс их вещи до извозчика.

После разорённой Москвы Берлин показался благоустроенным, даже нарядным с его широкими улицами с домами и балконами, увитыми плющом, тогда как на самом деле за этой ухоженностью притаился хаос, предвестник будущих катаклизмов. «Маршруты трамваев были неизменными, но никто не знал маршрута истории»¹², - писал Эренбург. Берлин, в отличие от Москвы, умел скрывать свои уязвимые места - холод в давно неотапливаемых квартирах, нищету и голод - за внешней

11 А. Саакянц. Марина Цветаева. Страницы жизни и творчества (1910-1922). М. : Сов. пис., 1986, С. 302.

12 И. Эренбург. Люди годы, жизнь. Избранные фрагменты. М.: Вагриус, 2006, С. 185.

благопристойностью. То были отчаянные, не лишённые благородства, усилия города, пытающегося прикрыть свои раны видимостью налаженной жизни, ибо проигранная война не забывала о камуфляже. «Меня поразили в витринах магазинов розовые и голубые манишки, - вспоминал Эренбург, - которые заменяли слишком дорогие рубашки; манишки были вывеской, доказательством если не благоденствия, то благопристойности»¹³.

Спустя некоторое время на Пражской площади, у одного из многочисленных пансионов, где селились русские эмигранты, остановилась пролётка, и извозчик вынес на мостовую скромные пожитки двух пассажиров. Из пролётки вышла молодая женщина с серебристо-пепельными коротко стриженными волосами и прямой чёлкой, с офицерской сумкой через плечо для полевого бинокля, за нею вслед – большеглазая худенькая девочка лет десяти.

Марина с Алей (так в детстве называли дочь Цветаевой-Эфрон) стояли на мостовой и неуверенно смотрели на двери пансиона, не решаясь войти. Вдруг дверь распахнулась, и на пороге объявился именно тот, к кому они направлялись, – известный в литературных кругах писатель Илья Эренбург в круглой шляпе и с трубкой в зубах. Он сразу же узнал Марину: страдания и лишения никак не отразились на «цветаевской» осанке и на особой одухотворённости её лица, которое напоминало, по выражению одного из современников, «лицо пажы на ватиканской фреске «La Messa di Bolsena».

Они обнялись и расцеловались.

«Ну, здравствуйте, Илья Григорьевич! Вот и мы...» – «Как же вы доехали? Всё в порядке? Впрочем, расспросы будут потом, а теперь надо будет взять вещи»¹⁴.

Поднялись на лифте, и Эренбург отвел Марину и Алю в большую тёмную комнату, заваленную книгами, служившую ему кабинетом, где им предстояло жить некоторое время до приезда Сергея Эфрона. Наконец, после четырёх суток пути, можно было отдохнуть – всю дорогу до Берлина Цветаева почти не спала. «Как ни проснёшься ночью, – вспоминала впоследствии Ариадна Эфрон, – всё видишь её бессонный профиль на фоне чёрного окна, за которым, не отставая, катилась большая белая луна»¹⁵.

¹³ Там же. С. 185.

¹⁴ Там же. С. 195.

¹⁵ Ариадна Эфрон. Страницы воспоминаний // Воспоминания о Марине Цветаевой / Сост. Л. Мнухин, Л. Турчинский. М.: Советский писатель, 1992. С. 194.

Перспектива жить среди чужих вещей не смущала Цветаеву – она давно привыкла к трудностям бытия и быта. После революции 1917 года она брошена была в стихию хаоса тогдашней Москвы, военного коммунизма, голода и террора, осталась в Москве одна с 5-летней Алей и 6-месячной Ириной, которая умерла спустя 2 года в приюте. Из письма Цветаевой 20 февраля 1920 года:

«Друзья мои!

У меня большое горе: умерла в приюте Ирина – 3-го февраля 16, четыре дня назад, и в этом виновата я. Я так была занята Алиной болезнью (малярия, – возвращающиеся приступы) – и так боялась ехать в приют (боялась того, что случилось), что понадеялась на судьбу... И теперь это совершилось, и ничего не исправить!» 17. Москва – позади, быть может, навсегда, – она не намередалась туда возвращаться.

Книгоиздательство „ГЕЛИКОНЪ“
 Редакция и главная контора:
 Berlin W, Hamburger Str. 7 * Tel.: Kurfürst 60-13
 Orlakanie: Alte Jakobstr. 129/III. Tel.: Moritzplatz 71-73

ПОСТУПИЛИ ВЪ ПРОДАЖУ

<p>И. Фрейдбург. А история или легенда. (О жизни еврей в пустыне). С иллюстрациями автора. Обл. руб. 50. Лам. II. 70 м.</p> <p>И. Фрейдбург. Немецкая поэзия Художественная и ее развитие. (Мюнхенский). II. 70 м.</p> <p>Легенды. Обзор легенд древнего Востока на Персидском языке. Статьи Г. Лурьева, Рю и др. 24 иллюстраций на языке. Лам. Обл. руб. 50. Лам. II. 100 м.</p> <p>А. Толстой. Повесть о многих временах: эпохи царей. (Повесть). Обл. В. Матюшкин. II. 50 м.</p> <p>И. С. Трунов. Повесть о приключениях любви. С иллюстр. В. П. Матюшкин. II. 50 м.</p> <p>И. Гринь. Повесть. С рис. В. П. Матюшкин. II. 50 м.</p> <p>И. Фрейдбург. Золотые легенды Востока. Повесть на немецком.</p> <p>И. Фрейдбург. Шесть легенд. А. С. Соловьев. С иллюстр. А. С. Соловьева.</p> <p>На пути. Второй сборник рассказов. С иллюстр. авторскими.</p>	<p>М. Цветаева. Рассказы. Книга первая. (На фоне еврейской философии). Обл. руб. 50. Лам. II. 50 м. в переплет.</p> <p>И. С. Трунов. Книга Гетто. С рис. М. Соловьева. II. 25 м.</p> <p>П. П. Муромов. Три романа. С рис. Ф. П. Баженова. II. 30 м.</p> <p>А. Ремизов. Рассказ о писателе. Ч. I. Обл. руб. В. Матюшкин. II. 80 м.</p> <p style="text-align: center;">Н О В Ы Е К Н И Г И</p> <p>А. Белый. Повесть о любви. Ч. I. (См. также в Третьей). Обл. руб. В. Матюшкин. II. 90 м.</p> <p style="text-align: center;">№ 1</p> <p>О. А. Александров. II. 50 м.</p> <p style="text-align: center;">П Е Ч А Т А Ю Т С Я</p> <p>В. Пилляк. Повесть о приключениях. С иллюстр. В. Матюшкин.</p> <p>И. Кривошеина. Огнь ада. Книга первая.</p> <p>В. Маслов. Рассказы и повести. С иллюстр. авторскими.</p>
--	--

Цены указаны только на книги, не на переводы.
 Пусто: описанные иллюстрации на обложке книги.
 Государственный издательский Восточный отдел, М. В. М.
 Berlin W 30, Martin-Lutherstr. 96 * Tel.: Am Hofplatz 21-93.

Рекламная страничка с адресом издательства «Геликон»

За окнами – многолюдная площадь, беспокойный город «падает на душу», как сказал бы Андрей Белый, и русскому поэту здесь достаточно места для творчества, поскольку незримый мир наполнял и этот город образами прошлого, и он, город, – «заколдованное место» не только для героев Гофмана, Клейста и

16 Марина Цветаева указывает дату по старому стилю.

17 Цит. по изданию: А. Саакянц. Марина Цветаева. Страницы жизни и творчества (1910-1922). М.: Сов. пис. 1986. С. 218-219.

Гейне, но и для поэта-изгнанника двадцатых годов двадцатого века.

Цветаева ещё не знала, что, оказавшись в «Прагерпансион», она тем самым получила существенное для поэта, неожиданное преимущество, поскольку это и был центр, «фокус» русского поэтического Берлина: как уже говорилось, кафе «Прагердиле», находившееся в нижнем этаже пансиона, притягивало по вечерам, словно магнитом, соотечественников-литераторов. И в это же вечер – 15 мая, произойдет встреча с Андреем Белым.

И знакомство с издателем «Геликона» Абрамом Григорьевичем Вишняком также состоялось в тот же вечер. Издательство «Геликон» находилось недалеко от Прагерплац и от дома, куда Цветаева через некоторое время переселилась (по адресу Траутенауштрассе 9) – примерно в десяти минутах ходьбы. Абрам Григорьевич Вишняк, двадцатисемилетний кареглазый молодой человек, был поклонником поэзии Цветаевой, не подозревая, что войдет в историю литературы не только как издатель, но и как литературный персонаж, герой эпистолярной истории любви. По приезду Цветаевой в немецкую столицу между ней и Вишняком завязался настоящий роман, завершившийся «романом в письмах». Впрочем, обмен письмами трудно назвать перепиской: Цветаева написала Вишняку девять писем между 17 июня и 9 июля 1922 года, а в ответ получила одно лишь письмо.



Экслибрис издательства "Геликон"

Вишняку не суждено будет узнать о том, что его переписка с Цветаевой станет литературным фактом, ибо переписка будет впервые опубликована на французском и итальянском языках в 1981, а на русском (в Новом мире № 5) – в 1985 года, то есть спустя 43 года после гибели обоих участников драмы.

Уникальным явлением в истории русской литературы, феноменом её является литературный Берлин двух лет (с 1922 по 1924 год), когда чуть ли не все русские писатели оказались в немецкой столице, пристанище русской эмиграции. Берлин 20-х годов был одурманен идеей предстоящих катастроф. Голодный город, измождённый войной, веселился, словно то был «пир во время чумы». «Веселье» выражалось в бесконечных танцах в ресторанах и кафе. Такой фантазмагорический Берлин накануне прихода к власти нацизма, великолепно показал Ингмар Бергман в фильме 1977 года «Змеиное яйцо». Режиссер представил зрителю танцевальный зал ресторана, заснятый сверху. В зале отсутствует мебель, ибо она мешает танцам, составляющим суть бытия. Сверху зал как будто бы усыпан цветами, головами женщин в вечерних платьях, волосы которых разукрашены во все цвета радуги – от фиолетового до зелёного. И все – пляшут фокстрот. И вот эта голодная Германия оказалась первой страной, признавшей Советскую Россию, заключив Рапальский договор, означавший конец международной дипломатической изоляции РСФР. Германия, выплачивавшая огромные репарации союзникам после поражения в Первой мировой войне, стала мостом, соединяющим эмигрантский мир с Россией. Жизнь эмигрантов подчинялась простейшим законам существования: следовало обосноваться там, где можно было выжить. А выжить можно было в Берлине по причине небывалой инфляции марки.

В сентябре 1921 года за один доллар можно было получить 101 марку, в октябре 1922 года – 4475 марок, в ноябре 1923 года – 4,2 миллиарда марок. Таким образом, эмигрант, обладавший, допустим, одним долларом, мог прожить (продержаться) несколько дней в Берлине, не голодая. Некоторые историки полагают, что к 1923 году в городе было около 300000 беженцев, но бывали моменты, когда количество достигало и 600000. Эмигранты селились в основном между Прагерплац и Ноллендорфплац. Прошедшие долгий путь через Турцию, Болгарию, Хорватию, Словению, они поначалу оказывались в Берлине в одних и тех же пансионах. Повсюду, где собиралось сколько-нибудь значительное число русских эмигрантов, возникали русские газеты и журналы, печатались альманахи и книги (количество русских издательств в Берлине достигло немислимой цифры – 87), которые тут же, на прилавках магазинов (не только книжных) и продавались.

В 1923 году Владислав Ходасевич настолько удачно назвал Берлин «мачехой российских городов», что это

определение в сознании современников и последующих поколений навсегда осталось символом Берлина 20-х годов и Цветаева, которая не любила города как такового, Берлину оказала честь и посвятила стихотворение с названием «Берлину»: «Над сказочнейшими из сиротств вы смилостивились, казармы».



Прагерплац 1910 г

Начавшийся в 1923 году экономический кризис разрушил культурную жизнь города: русские издательства и книжные магазины, возникшие с невероятной быстротой, словно из воздуха, закрывались одно за другим. Получилось совсем по Тютчеву: «Кончен пир, умолкли хоры». Дух разрушения ощущался во всём, и невозможно его было остановить. И литераторы поспешно покидали Берлин, как правило, отправляясь в Париж.

Однако два года наличия такого высокого уровня культуры, такой мощной энергии на «берлинском пяточке» остаются особым явлением не только русской литературы, но и для всеобщей истории литературы.

В середине сентября 1921 года в Берлин из Москвы переехало издательство «Геликон». Появление нового русского издательства в Берлине никого не удивило – образовалось уже 40 книгоиздательств, готовых поставлять продукцию на советский и эмигрантский рынок. В 1922 году в Германии был установлен своеобразный рекорд: русских книг опубликовалось больше, чем немецких. Berliner Tageblatt в конце 1921 года сообщала: «Профессиональная деятельность русских, живущих в Германии, достигла вершины в издательском деле и в книжной торговле – им по самой их природе свойственны очень сильные идейные побуждения... Число издательств столь велико, что его

невозможно назвать точно. Приблизительно его оценивают в пределах от 50 до 100. Большинство из них имели стартовый капитал около 230 000 марок»¹⁸.

Библиографический справочник 1924 год насчитывал 711 названий только классиков, изданных за рубежом. Вот небольшой перечень русских издательств в Берлине: «Мысль», «Грани», «Кооперативное издательство», «Русское универсальное издательство», «Литература», «Манфред», «Возрождение», «Аргонавты» (издательство А. Девриена), «Детинец», «Век культуры», «Книгоиздательство писателей», «Политическое издательство», «Нева», «Пироговское издательство», «Русское творчество» и др.

Издательство «Геликон» указывало двойное место издания: «Москва – Берлин», что означало лояльность издателей к Советской России, также указывало и на то, что Россия (при предварительной цензуре) в тот момент намеревалась пока *не мешать* ввозу книжной продукции этих издательств на территорию большевистского государства.

15 сентября 1921 года А.Г. Вишняк сообщил профессору А.С. Щенко, редактору одного из авторитетных и наиболее информативных журналов «Новая русская книга», об открытии издательства «Геликон»:

«Берлин. 15.9. 21.

Многоуважаемый Александр Семенович!

Московское литературное и художественное книгоиздательство «Геликон» честь имеет сообщить Вам о возобновлении своей деятельности в Берлине. Редактором и Управляющим Делами книгоиздательства состоит Абрам Григорьевич Вишняк.

Вслед за сим оповещением позвольте выразить Вам мою надежду повстречаться как-нибудь в ближайшем будущем на предмет лирических и других разговоров.

Я, ежели предупредите меня накануне, в любой вечер к Вашим услугам.

Искренне Вас уважающий

А. Вишняк»¹⁹

¹⁸ Шлэгель К. Берлин, восточный вокзал. Русская эмиграция в Германии между двумя войнами (1919-1945) / Пер. с нем. Л. Лисюткиной. М.: НЛЮ, 2004. С. 172.

¹⁹ Флейшман Л., Хьюз Р., Раевская-Хьюз О. Русский Берлин 1921-1923. По материалам архива Б. И. Николаевского в Гуверовском институте. Paris: YMCA-Press; М.: Русский путь, 2003. С. 146, 147.

Эренбург в романе «Люди, годы, жизнь» (1961) указывает адрес на Альте Якобштрассе, а остальные современники, включая Цветаеву, называют другой адрес: Бамбергерштрассе 7. В журнале «Эпопея» за 1922 год, издаваемом Андреем Белым (всего было издано 4 номера), я нашла рекламу редакции, всё разъясняющую:

Книгоиздательство «Геликон»

Редакция и главная контора:

Berlin W, Bamberger Str. 7 Tel.: Kurfürst 60-13

Отделение: Alte Jakobstr. 129 Tel.: Moritzplatz 71-73²⁰

Стало быть, основной адрес издательства: Bamberger Str. 7.

Абрам Григорьевич Вишняк родился в Киеве в 1895 году в семье состоятельных родителей и получил образование в Московском университете на филологическом факультете. Он знал немецкий язык, увлекался античностью и современной литературой. Жена Вишняка Вера Лазаревна родилась в Нью-Йорке в семье состоятельных родителей (петербуржцев). В 1927 году Вишняк с женой уехал в Париж, где издательство ещё существовало 10 лет – до 1937 года.



Вишняк с сыном

Илья Эренбург вспомнил Вишняка в романе «Люди, годы, жизнь»: «Издательство, выпустившее «Хулио Хуренито», называлось поэтично – «Геликон». Горы, где обитали тогда музы,

²⁰ Цит. по: Мина Полянская. Foxtrot белого рыцаря. Андрей Белый в Берлине. СПб: Деметра, 2009, С. 128.

не оказалось; была маленькая контора на Альт-Якобштрассе, и там сидел молодой человек поэтического облика – А. Вишняк. Он сразу подкупил меня своей любовью к искусству. Он издавал советских авторов и рассорился с эмиграцией. Я подружился с ним и с его женой Верой Лазаревной; были они моими близкими друзьями, добрыми, хорошими людьми и погибли в Освенциме»²¹ А на самом деле Вишняк погиб, разлученный с женой и сыном, в концентрационном лагере «Гросс Розен» в Германии на границе с Чехословакией. Сына Женю вовремя отправили к бабушке в Бельгию, благодаря чему он остался жив.



Берлин, Виктория Луизаплац 9. Здесь, в пансионе Крампе в 1922-23 годах жили Нина Берберова, Владислав Ходасевич, и Андрей Белый.
Фото Бориса Антипова, 2008

Ещё в Москве издававшиеся «Геликоном» книги привлекли внимание критики высококачественным полиграфическим и художественным исполнением. Эту репутацию издательство старалось сохранить в Берлине. Вишняк для оформления книг пригласил лучших художников: Натана Альтмана, Василия Масютина, Эля Лисицкого, Александра Арнштама и др. Книги печатались в небольших и недорогих берлинских типографиях, а в 1922 год – в период расцвета издательской деятельности «Геликона» – Вишняку удалось на

²¹ Эренбург И. Люди, годы, жизнь. М.: Вагриус, 2006. С. 188.

какое-то время стать владельцем собственной типографии. Вишняк часто называли «запросто»: Геликоном.

Вишняк издал сборники стихов Пастернака «Сестра моя – жизнь» и «Темы вариации», «Tristia» Мандельштама, «Стихи к Блоку», «Разлуку», «Ремесло» Цветаевой. За два года в Геликоне были изданы «Записки чудака» и «Путевые Заметки» Андрея Белого, «Хулио Хуренито», «Жизнь и гибель Николая Курбова», «Ветер», «Тринадцать трубок» Эренбурга. А, кроме того, Вишняк издавал Наталью Крандиевскую (жену Алексея Толстого) и самого Алексея Толстого. В 1923 году в издательстве была опубликована первая книга молодого Виктора Шкловского «ZOO. Письма не о любви, или Третья Элоиза», а затем, в том же году, его «Сентиментальное путешествие» и книга статей «Ход коня».

Александр Бахрах, писатель, критик, мемуарист, литературный секретарь Ивана Бунина, один из адресатов Цветаевой, ему посвящено стихотворение «Письмо», также засвидетельствовал месторасположение «Геликона».



Берлин, Бамбергерштрассе 7. В нижнем этаже дома находилось издательство «Геликон». Фото Бориса Антипова, 2008

Он рассказал, как однажды Белый, Ходасевич, Берберова и он сам, Бахрах, сидели допоздна в «Прагердиле», затем почему-то направились к «Геликону» и по инициативе Белого стали кружиться в хороводе и «веселились, как дети», а затем прикололи к дверям издательства сочиненный коллективно экспромпт:

Абрам Григорьевич Вишняк,
Танцуйте чаще козловак,
Его на Регенбургерштрассе
Протанцевали мы вчера...

Цветаева (чаще всего с Алей) приходила в контору издательства на Бамбергерштрассе 7, которое, как уже говорилось, находилось недалеко от Прагерплац и от дома, где жила Цветаева. Дом на Бамбергерштрассе сохранился с незначительными изменениями, как, впрочем, многие дома на этой улице, тогда как совсем рядом, на Прагерплац, не осталось ни одного довоенного строения – площадь была уничтожена во время массированных налётов авиации союзников в 1944 году, поскольку неподалёку располагались многочисленные административные учреждения национал-социалистов.

«Кантона его – для него – весь мир», – записала свои впечатления об издательстве десятилетняя Аля. – «Стол, который стоит у окна с толстым стеклом и на котором разложены все издания Геликона – чужих изданий на своем столе он не терпит; три шкафа с книгами; над ними – китайский божок. За стеной, в маленькой комнатке, стучат на машинках сквозная барышня-секретарь и иногда молодой человек разбойного вида – сам себя печатающий Эренбург.

Посещают Геликона самые разнообразные личности: какой-то старый господин с часами на обрывке собачьей цепи (золотая цепочка продана), худые унылые вдовы писателей, приходящие в надежде на то, что Геликон будет выдавать им пособие за мужей; судорожно пляшущие на стуле литераторы, надеющиеся облагодетельствовать Геликона переводом своей же книги на испанский язык... Всё, что никому понадобится не может, приходит (на двух ногах) и притаскивается (в портфелях) к Геликону, он старается не обидеть, но все ругаются, что он мало платит.

Геликон всегда разрываем на две части - бытом и душой. Быт – это та гирька, которая держит его на земле и без которой, ему кажется, он бы сразу оторвался ввысь, как Андрей Белый...

Когда Марина заходит в его контору, (здесь КонтоРа!) она – как та Душа, которая тревожит и отнимает покой *и поднимает человека до себя, не опускаясь к нему...* Марина с Геликоном говорит, как Титан, и она ему непонятна, как жителю Востока – Северный полюс, и так же заманчива. От её слов он чувствует, что посреди его бытовых и тяжёлых дел есть просвет и что-то неповседневное. Я видела, что он к Марине тянется, как к солнцу, всем своим помятым стебельком. А между тем солнце далеко,

потому что всё Маринино существо – это сдержанность и сжатые зубы, а сам он гибкий и мягкий, как росток горошка»²².

Должно показаться неправдоподобным, что эта запись сделана 10-летней девочкой, поскольку *так* могла писать Марина Цветаева. Впрочем, для нас в данном случае важно само содержание записи, передающее атмосферу «Геликона». Что же касается гениальности дочери Цветаевой в детстве, то о ней ходили легенды. Цветаева записывала необыкновенные суждения Али в специальный дневник.

Ариадна Сергеевна Эфрон – дочь Марины Цветаевой, автор воспоминаний о ней²³. Она была прекрасной писательницей, блистательной переводчицей французской поэзии XIX и XX вв. Лучший портрет Марины Цветаевой был создан ею самой и посвящён дочери в голодные московские годы. Марина в прекрасном этом стихотворении предположила, что станет для дочери «воспомянем, затерянным так далеко-далеко»:

Когда-нибудь, прелестное создание,
Я стану для тебя воспомянем,

Там в памяти твоей голубоокой,
Затерянным так далеко-далёко.

Забудешь ты мой профиль горбоносый
И лоб в апофеозе папиросы,

И вечный смех мой, коим всем морочу,
И сотню – на руке моей рабочей –

Серебряных перстней, - чердак-каюту,
Моих бумаг божественную смуту...

Как в странный год, возвышены Бедою,
Ты – маленькой была, я – молодою²⁴.

²² Ариадна Эфрон. Страницы воспоминаний.// Воспоминания о Марине Цветаевой / Сост. Л. Мнухин, Л. Турчинский. М.: Советский писатель, 1992. С. 201.

²³ Впервые воспоминания Ариадны Сергеевны о матери при активном содействии исследовательницы творчества Цветаевой Ирмы Кудровой были опубликованы в 1973 г.: Эфрон А. Страницы воспоминаний // Звезда. 1973. № 3. С. 154–180.

²⁴ М. Цветаева. Когда-нибудь, прелестное создание...// Цветаева М. Соч. в 2 т. М.: Худ. лит 1984, С. 126.

Но забвения не произошло, наоборот - мать станет для Ариадны воспоминаньем настойчивым и неотступным. Возвращение поэзии Марины делается её высоким долгом, и после 16 лет тюрем и поселений, остальную свою жизнь Ариадна посвятит изучению и публикации божественной смуты Марининых бумаг.



Сборник стихов М. Цветаевой "Разлука", изданный в "Геликоне" Берлин

Вернемся к Геликону, как часто называли Вишняка. В творческой биографии Цветаевой этот издатель занимает особое место, поскольку благодаря Вишняку произошел её первый настоящий литературный дебют в эмиграции. Ещё *до её приезда*, весной 1922 г., в «Геликоне», благодаря хлопотам Эренбурга, был напечатан её поэтический сборник «Разлука» (стихи 1921 г., обращенные к мужу, и поэма «На красном коне»). В том же году «Геликон» выпустил сборник «Ремесло». «Разлука», один из лучших поэтических сборников Цветаевой, сразу же после появления получил восторженные отклики и левых, и правых эмигрантских кругов.

3

Бурный роман, возникший между Цветаевой и Вишняком, завершился глубоким разочарованием Марины, оставившим глубокий след в душе, и спустя 11 лет в письме к А. Тесковой в 1933 году она сообщила, что перевела свои 9 писем Вишняку на французский язык и единственно ответное Вишняка, написала послесловие о последней встрече 5 лет спустя и получилась «цельная вещь, написанная жизнью»²⁵.

²⁵ Цветаева М. Указ. соч. Т. 5. С. 710.

А спустя еще почти полвека итальянская переводчица и исследовательница Серене Витале побывала в Москве у дочери Цветаевой Ариадны Сергеевны Эфрон, которая доверила ей переписку Цветаевой с Вишняком. Исследовательница опубликовала её во Франции и Италии под названием «Le notti fiorentine». Это – подчеркиваю, поскольку российские издательства, как правило, публикуют эту переписку именно как переписку, не называя ее «Флорентийские ночи», как это сделала Сирена Витале. Между тем, такое название предложила Ариадна Эфрон. Из воспоминаний современника, записанных Вероникой Лосской в книге «Марина Цветаева в жизни», следует, что «с Алей она (Цветаева – М.П.) говорила обо всём, рассказывала ей про своих любовников и про всю свою жизнь»²⁶. Стало быть, Ариадна совершенно точно знала, зачем и почему предложила Серене Витале именно такое название, и ниже я попытаюсь по-цветаевски изощренную «флорентийскую» мысль в истории берлинской любви с Вишняком, отраженную в письмах, по возможности, объяснить.

Несмотря на то, что русская литературная традиция женских писем в XIX веке не сложилась, русские девушки – читательницы французских романов в письмах – испытывая страх оказаться осмеянными, уже пишут – и становятся персонажами художественных произведений: «Я к вам пишу – чего же боле?» Пушкинская Татьяна не решалась письмо своё к Онегину *запечатать*, «своей печатью вырезной», а французская писательница Жюли де Леспинас задолго до этого, в середине века восемнадцатого, свои письма к Аламберу, ошеломляющие откровенностью в описании её страстной любви, не только запечатывала, но и *печатала*.

Именно ее, Жюли де Леспинас Марина Цветаева считала своей предшественницей и в письме к А. Тесковой 9 сентября 1928 года писала: «Читали ли Вы, дорогая Анна Антоновна, когда-нибудь письма M-lle de Lespinasse (XVIII век)? Если нет – позвольте мне Вам их подарить. Что я перед этой Liebende (Если бы не писала стихов, была бы ею – и пуще! И, может быть, я все-таки – Geliebte, только *не-людей!*)»²⁷.

В своих «эпистолиях» Марина Цветаева следовала, по её признанию, европейской литературной традиции, где женские письма с «обнажением души», «тайным жаром», страстным

²⁶ Лосская В. Марина Цветаева в жизни. Незданные воспоминания современников. – Tenaflu (N.J.,USA): Эрмитаж, 1989. С. 140.

²⁷ Цветаева М. Письма к Тесковой. Прага: Академия, 1969. С. 66.

желанием самовыражения, неоднократно публиковались ещё в XVIII в.

Не меньший интерес представляла для Цветаевой переписка Беттины фон Арним и в частности её «Переписка Гёте с ребёнком», изданная писательницей в 1835 году. По мнению Цветаевой, Беттина фон Арним, опубликовавшая переписку, безусловно права была «по тому жестокому закону *исключительности*, в которую, родясь, вышагнула...» Беттина, по мнению Цветаевой, поставила памятник Гёте, старцу, который снизошёл к ребёнку, то есть к Беттине, и таким образом Беттина создала образ Гёте, которого знала только она.



Александр Бахрах

Беттина фон Арним, урожденная Brentano, писательница-романтик, сестра Клеменса Brentano. При жизни она издала четыре «переписки», как их назвала Цветаева «знаменитые Briefwechsel». В 1840 году Беттина ещё издала переписку с подругой юности поэтессой Каролиной фон Гюндероде, покончившей с собой из-за неразделённой любви – в 26 лет она бросилась в Рейн. После смерти брата Клеменса Brentano в 1844 году Беттина издала переписку с ним: «Весенний венок Клеменсу Brentano». В домашней библиотеке Цветаевой некогда хранилась книга в роскошном переплете с названием «Весенний венок Клеменсу Brentano», а также книга «Гюндероде», на которой она сделала надпись «Marina Zwetaeff, Gourzuff, 1911». Беттина фон Арним в 1848 году издала переписку с поэтом и публицистом Филиппом

Натузиусом с названием «Илиус Памфилиус и Амброзия». Цветаева эти книги внимательно прочитала, и на полях каждой оставила пометы и на русском, и на немецком языках.

Впоследствии эти «переписки» «участвовали» в её переписке с Рильке, который заметил сходство между Беттиной фон Арним и Мариной Цветаевой и в особенности тот факт, что для любви этих женщин-романтиков важен был не столько «объект», сколько любовь сам по себе, ни на кого не направленная, по выражению Рильке, «интранзитивная» любовь. Можно смело заявить, что Марина Цветаева – первая русская «эпистолярная» писательница. И, более того, осмелюсь добавить: как «эпистолярная» писательница Цветаева сложилась в Берлине, а роман с Вишняком, сопровождаемый письмами, этому способствовал. К тому же, не забудем: легендарный эпистолярный, почтовый роман Цветаевой с Пастернаком также стартовал в Берлине.

О том, какое значение Цветаева придавала письмам, весьма красноречиво говорит ее стихотворение «Письмо», посвященное Александру Бахраху, с которым Марина одно время находилась в переписке, меж тем, как отношения с ним были исключительно «теоретическими». Надо сказать, что поток писем и невероятное по своей драматичности и энергии стихотворение, написанное 11 августа 1923 г., ошеломили его:

Так писем не ждут,
Так ждут – письма.
Тряпичный лоскут,
Вокруг тесьма
Из клея. Внутри – словцо.
И счастье. – И это – всё.

Так счастья не ждут,
Так ждут – конца:
Солдатский салют
И в грудь – свинца
Три дольки. В глазах красно.
И только. – И это – всё.

Не счастья – стара!
Цвет – ветер сдул!
Квадрата двора
И чёрных дул.

(Квадрата письма:

Чернил и чар!)
Для смертного сна
Никто не стар!

Квадрата письма.²⁸

Интересно, что многие переписки Цветаевой не сопровождалась реальной жизнью и остались только фактом литературы. Среди них: переписка с Рильке, Пастернаком и Бахрахом.

Тогда как переписка с Вишняком осуществлялась параллельно с «реальной жизнью. Таким образом, Цветаева (в который раз!) становилась главным действующим лицом – романтической легенды, жертвой самообмана, поскольку исчезал «зазор» между идеальным и реальным. Таков удел многих романтиков, а показательным в этом смысле является «случай» Генриха фон Клейста, превратившего «финал» своей жизни в заключительный акт драмы, постановка которой возможна лишь один раз. Ибо легенда (а также сказка и миф) создаёт почву мировосприятия Марины, ибо легенда неразрушима. В «Пушкине и Пугачеве», написанном в 1937 году, Цветаева вывела «формулу» вечности легенды:

Ибо чара – старше опыта,
Ибо сказка – старше были²⁹.

Письма Вишняку чередовались со стихами. Одно из них стало хрестоматийным:

Ищи себе доверчивых подруг,
Не выправивших чуда на число.
Я знаю, что Венера – дело рук,
Ремесленник, – и знаю ремесло:

От высокаторжественных немот
До полного попрапия души:
Всю лестницу божественную – от:
Дыхание мое – до: не дыши!³⁰

²⁸ Цветаева М. Письмо. // Цветаева М. Сочинения: 2 т. М.: Худ. лит., 1984. Т. 1. С. 256-257.

²⁹ Цветаева М. Пушкин и Пугачев // Цветаева М. Поэзия. Проза. Драматургия. М.: Слово/Slovo, 2008. С. 384.

³⁰ Цветаева М. Ищи себе доверчивых подруг. // Цветаева М. Сочинения: В 2 т. М.: Худ. лит., 1984. Т. 1. С. 190-191.

Цветаева, сопровождая дружбу письмами, придавала им художественный облик, заранее готовила им литературную судьбу, оставаясь верной принципу – литература – прежде всего. Письма записывались ею вначале в тетрадь, а затем отправлялись адресату. Характерна «лирическая» датировка писем к Вишняку. Например, дата второго письма обозначена так: «19 июня, ночь», а в конце третьего читаем: «Рассвет июньского дня, суббота». Лирическая,вольная датировка была присуща и письмам Беттины фон Арним.

Да, но почему же у Ариадны Эфрон возникла идея гейневского названия - «Флорентийские ночи»?

Предлагая Сирене Витале переписку Цветаевой с Вишняком назвать «Флорентийские ночи», Ариадна Сергеевна, вероятно, исходила из некоего судьбоносного для Цветаевой события: *однажды Вишняк принёс Цветаевой для перевода новеллу Генриха Гейне «Флорентийские ночи», написанную им в 1833 году. И – стало быть – догадался о её самой большой любви – к Генриху Гейне.*

4

В 1919 году Цветаева записала в тетрадь: «Гейне! Книгу, которую я бы написала. И без архивов, вне роскоши личного проникновения, просто – с глазу на глаз с шестью томами ужаснейшего немецкого издания конца восьмидесятых годов... Гейне всегда покроет всякое событие моей жизни и не потому, что я (событие, жизнь) слаба – он силен»³¹. Цветаева в 1924 году посвятила Гейне поэму «Крысолов» с любовью, одновременно нежной и насмешливой. Она опиралась на стихотворение Гейне «Бродячие крысы»³² с его сатирой, предчувствием социальной катастрофы и сознанием, что единственным прибежищем для поэта в этом мире является искусство. Именно у Гейне Цветаева нашла, по мнению Инессы Малинкович, «особый иронический тон в отношении крыс и обрела саму мифологему «голодных крыс-революционеров, вооруженных коммунистическим учением»³³.

Гейне один из тех поэтов (к этому вымирающему племени принадлежит и она), которые опьяняли себя песнями, подобно тому, как ночь опьянялась песней соловья.

В 1925 году в стихотворении «Променивши на стремя...» Цветаева обращается к Гейне:

³¹ Цветаева М. Указ. соч., Т. 4. С. 547.

³² «Бродячие крысы» написаны Генрихом Гейне приблизительно в 40-х - 50- годах 19-го века (точная дата не установлена).

³³ Малинкович И. Судьба старинной легенды. М.: Восточная литература РАН, 1994. С. 95.

Весен... собственным пеньем
Опьяняясь как ночь – соловьем,
Невозвратна как племя
Вымирающее (о нём

Гейне пел, – брак мой тайный:
Слаще гостя и ближе, чем брат...)
Невозвратна как Рейна
Сновиденный убийственный клад³⁴.

Цветаева и в самом деле «сражена» интуицией и прозорливостью Вишняка, который так точно «угадал» её любимого автора. Она видит в этом чуть ли не проявление сверхъестественного дара. Вот как начинается Цветаева свой рассказ (вернее, так начинается первое письмо Цветаевой к Вишняку, датированное 17 июня 19...): «Мой родной! Книга, которая сейчас – Вашей рукой – врезалась в мою жизнь – НЕ случайна. Прочтя на обложке его имя – обмерла. Вы сами не знаете – Вы ничего не знаете! – до чего всё ПРАВИЛЬНО. Но Вы ничего не знаете, Вы только очень чутки (не сочувственно, чувствуя не душой – как волк: всем востромордием – это не сердце: ощупь – в какие-то минуты Вы безошибочны)³⁵.

Кажется, Цветаева говорит о присутствии в их с Вишняком отношениях некоей третьей силы, точно угадывающей её – Цветаевой – сущность. Вишняк, по её убеждению, на самом деле обладает звериным чутьем, «инстинктом зверя», он «учуял» её «тайный брак», предложив ей именно *этого* автора для перевода: «Подле Вас я бедная, чувствую себя оглушенной»³⁶.

«Я знаю Вас, знаю Вашу породу, – продолжает она. – Вы больше в глубину, чем ввысь, всегда будет погружение в Вас, не подъём – говорю лишь об ощущении направленности.

Погружение в ночь (точно по лестнице – со ступеньки на ступеньку, которым нет конца.

Погружение в самое ночь. Поэтому мне с Вами так хорошо без света»³⁷.

³⁴ Цветаева М. Променивши на стремя// Цветаева М. Осыпались листья над вашей могилой: Стихотворения, поэмы. Казань: Татарское книжное издательство, 1990. С. 357.

³⁵ Цветаева М. Девять писем с десятым, невернувшимся, и одиннадцатым, полученным, - и Послесловием. М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 1999. С. 9.

³⁶ Там же.

³⁷ Там же.

Цветаева читает у письменного стола в маленькой комнатке на Траутенауштрассе «Флорентийские ночи» Гейне и, наверное, пытается переводить новеллу. Из письма ко мне Вероники Лосской, специалиста по творчеству Цветаевой, доктора наук, профессора Сорбонны, 25 марта 2002 года: «Да, мне кажется, Цветаева Гейне не переводила, ведь перечень всех дошедших до нас цветаевских переводов известен. По-моему это желание осталось как план на будущее, который потом не был осуществлен». Вероника Лосская, прочитав «Брак мой тайный...», согласилась с моими предположениями о влиянии «Флорентийских ночей» Гейне на письма Цветаевой Вишняку: «Особенно удачно в главной части книги об отношениях с Вишняком то, что Вы подчеркнули мрак, темноту, ночь и некое возвращение Цв. к нечистой силе юности. Эта тема меня по разным причинам интересует. В общем, книга интересная и удачная, несмотря на свою краткость. Спасибо большое. Сердечно Ваша. Вероника Лосская».

Марина вспоминает, возможно, и стихи, которые Мандельштам посвятил ей в Москве в феврале 1916 года («В разноголосице девического хора...»):

Не диво ль дивное, что вертоград нам снится,
Где голуби в горячей синеве,
Что православные крюки поёт черница:
Успенье нежное – Флоренция в Москве.

И пятиглавые московские соборы
С их итальянскою и русскою душой
Напоминают мне явление Авроры,
Но с русским именем и в шубке меховой³⁸.

Очарованный и влюбленный мечтает о Флоренции. В том же 1916 году Флоренция ворвалась и в московские стихи Цветаевой («После бессонной ночи слабеет тело»):

Целая радуга - в каждом случайном звуке,
И на морозе Флоренцией пахнет вдруг³⁹.

Может быть, в пахнущей Флоренцией московской тёмной ночи 1916 года следует искать истоки «Флорентийских ночей»? За

³⁸ Мандельштам О. В разноголосице девического хора... // Мандельштам М. Избранное. Таллин: Ээсти раамат, 1989. С. 95.

³⁹ Цветаева М. После бессонной ночи слабеет тело... // Цветаева М. Сочинения: В 2 т. М.: Худ. лит., 1984. Т. 1. С. 66.

окном – берлинская ночь или, может быть, наступает вечер. Гейне всколыхнул воспоминания не только о «московской Флоренции», но и о матери, и об ушедшем «немцеком» детстве, кажущемся сейчас рождественской сказкой. И о других далеких дорогих тенях.

5

Новелла Генриха Гейне «Флорентийские ночи» – один из последних ярких всплесков немецкой романтической прозы. Разумеется, сюжетного сходства между произведением Гейне и Цветаевой нет (в новелле Гейне главный герой по просьбе врача, «дабы успокоить её ум», рассказывает умирающей героине страшные, некрофильские истории). И все же доминантой обоих произведений становится идея демонического начала, погружения в ночь. Подобно умирающей слушательнице героя новеллы Гейне Максимилиана, адресат Цветаевой – таков созданный ею образ – «спящий красавец», изваяние, пребывающее на грани жизни и смерти. У слов Гейне долгое эхо – с нарастающим восторгом погружаешься в детальные подробности страсти героя новеллы, к неведомому тому, что находится за пределами жизни. Цветаева – профессиональный литератор, мастер, и «ночные» метафоры Гейне не могли не послужить для неё «упоминательной клавиатурой», согласно выражению Мандельштама.

В «Письме седьмом», написанном ночью 28 июня, Цветаева и обращается к Вишняку как к существу, пребывающему в состоянии полутени и просит его взять её с собой в своё сонное полусуществование. Драму со своим персонажем (и прототипом его!) она нарекла даже и «недовеском» земной любви, а цикл для последнего сборника, состоящий из восьми стихотворений, посвященных Вишняку, она озаглавила «Земные приметы». Последнее, восьмое стихотворение цикла, написанное ею 31 июля 1922 года, – надгробная эпитафия и «недовеску» земной любви, и самому Вишняку, которого она (а заодно и себя) отправляет в Лету, реку «забвения», «слепотекущую» в царстве мёртвых. Направляющиеся в это царство должны были испить из этой реки ради забвения:

Леты слепотекущий всхлип.
 Долг твой тебе отпущен: слит
 С Летою, – еле-еле жив
 В лепете сребротекущих ив.⁴⁰

По выражению исследовательницы творчества Цветаевой Лили Фейлер, Цветаеву с самого детства мучили демоны в

⁴⁰ Цветаева М. Сочинения: В 2 т. М.: Худ. лит., 1984. Т. 1. С. 194.

собственной душе. Книга её называется в русском варианте: «Марина Цветаева», а в английском двусмысленно и даже грозно – «Двойной удар небес и ада»⁴¹.

Думается, нет нужды всерьёз вступать в полемику с психоаналитическими изысканиями Фейлер. Психологический подход в интерпретации литературных текстов не всегда правомерен. И антропософам, «переманивающим» Цветаеву к себе, и психологам, анализирующим её «инфернальность» с точностью диагноза, хотелось бы ещё раз напомнить, что Цветаева следовала романтической традиции, что истоки её безудержного воображения прежде всего – в Германии, «волшебной, премудрой», и в самом романтизме, ознаменовавшем себя в «страшных» жанрах, в метаморфозах, пантеизме и, как определил Фридрих Шлегель, в «чутье к хаосу».

После разрыва с Вишняком Цветаева настаивала на том, чтобы он вернул ей стихи, посвященные ему, письма, книги. Вишняк в конце концов выслал ей рукописи, книги и девять писем, адресованных ему, и написал ей письмо – оно, собственно говоря, было его первым и последним письмом к Цветаевой. Роман был завершён, берлинское наваждение кончилось с тем, чтобы возродиться в творчестве:

Дабы ты меня не видел –
В жизнь – пронзительной, незримой
Изгородью окружусь.

Жимолостью опояшусь,
Изморозью опушусь.

Дабы ты меня не слушал
В ночь – в премудрости старушней:
Скрытничестве – укреплюсь.

Шорохами опояшусь,
Шелестами опушусь.

Дабы ты во мне не слишком
Цвёл – по зарослям: по книжкам
Заживо запропащу:

Вымыслами опояшу,
Мнимостями опушу⁴².

⁴¹ Фейлер Л. Марина Цветаева. Ростов-на-Дону: Феникс, 1998.

Вишняк, кажется, прекрасно понимал натуру Цветаевой, как очевидно из его письма 29 октября, и, возможно, пытался уклониться от роли участника переписки и литературного героя – «спящего красавца», навязанной ему. Он «бежал» в свою обычную семейную жизнь от цветаевских «ночных шепотов» и той «демонической» тени, которую она привнесла в их берлинский роман. В единственном ответном письме Вишняка прозвучала фраза, обращенная к ней лично, где он также употребил эпитет «черный», столь часто используемый ею в письмах к нему: «Я помню Вас на балконе, с лицом, поднятым к черному небу, равно неумолимому ко всем»⁴³.

Вишняк проявил свойственную ему пронизательность, полюбопытствовал: «Продолжаете ли Вы переводить «Флорентийские ночи»?»⁴⁴

И всё же – не демонические тени (вернее, не только демонические тени) были *главной причиной* полного отречения Вишняка от Цветаевой. Неожиданным оказался подстрочник этой истории. Да, у этой «флорентийской» истории – некрасивая изнанка, нежелательный так называемый «реализм»: в самом начале романа с Цветаевой Вишняк переживал домашнюю драму из-за измены его собственной жены Веры Лазаревны, ставшей любовницей Эренбурга, и Цветаева (Вишняком и Эренбургом) оказалась втянутой в чужие и чуждые семейные интриги.

За 9 месяцев до встречи с Вишняком 28 августа 1921 года Цветаева в Москве написала стихотворение «Простоволосая Агарь, которое изначально так же, как и 3 других стихотворения из цикла «Отрок», были посвящены молодому 20-летнему поэту Эмилию Львовичу Миндлину. В Берлине Цветаеву озарило вдруг, что стихи как будто бы специально для Вишняка написаны, и переадресовала их ему, что впоследствии Миндлина опечалило чуть ли не до слез, и он в Москве успокаивал себя мыслью, что Марина так поступила не только с ним.

Согласно преданию, бездетная 80-летняя жена библейского праотца Авраама Сарра, привела Аврааму красивую служанку Агарь, родом из Египта, чтобы та зачала от него, а матерью стала бы Сарра. А, зачавши, изгнана была Саррой Агарь, «временная помощница», и ушла бедная вздорная красавица в

⁴² Цветаева М. Дабы ты меня не видел... // Цветаева М. Сочинения: В 2 т. М.: Худ. лит., 1984. Т. 1. С. 192-193.

⁴³ Цветаева М. Девять писем с десятым, не вернувшимся, и одиннадцатым, полученным, - и Послесловием. М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 1999. С. 67.

⁴⁴ Там же. С. 68.

сторону Египта и долго блуждала в пустыне, и долго сидела у источника, пока не явился ей Ангел. Ситуация с распадавшейся семьей Вишняка и Цветаевой, корыстно использованной, а затем, за ненужностью, изгнанной кареглазым хозяином, хранителем дома-семьи, по совпадению, оказавшимся тезкой праотца, только без удвоенного гласного «а», откровенно похожа. (Еврейский праотец Аврам приобрел почетное имя Авраам – согласно транскрипции, Abraham – после рождения ребенка от Сары, ставшей тогда же Саррой).

Простоволосая Агарь – сию,
В широкооую печаль – гляжу.

В печное зарево раскрыв глаза –
Пустыни карие – твои глаза, –

Забывши: «Верую», купель, потир, –
Справа налево в них читаю – мир!

Орлы и гады в них, и лунный год, –
Весь грустноглазый твой, чужой народ.

Пески и зори в них, и плащ вождя...
Как ты в огонь глядишь – я на тебя.

Пески не кончатся... Сынок, ударь!
Простой подёнщицей была Агарь.

Босая, тёмная бреду, в тряпье...
– И уж не помню я, что там – в котле!..⁴⁵

Цветаева обладала редким свойством вживаться в библейскую историю без осуждения Закона, на что осмеливался, покушался Достоевский – причём на всю Библию целиком (вспомним его сетования по поводу страданий жестоко наказанного Господом Иова, вспомним его Великого инквизитора). Такое перевоплощение образа в библейском тексте – особый дар Цветаевой.

Между тем, у Вишняка были, несмотря на всё нелицеприятное выше сказанное, все шансы (если бы Цветаева осталась жива), подняться до уровня античного героя. Вряд ли кто ответит на вопрос, вымышлен ли наш мир фантастом, или же он –

⁴⁵ Цветаева М. Простоволосая Агарь. // Цветаева М. Сочинения: В 2 т. М.: Худ. лит., 1984. Т. 1. С. 172-173.

детище реализма, и прав ли был Маларме, утверждавший, что мир существует, чтобы войти в книгу.

Вот и в этом «флорентийском» романе – жизнь оказалась гениальным автором, логически завершив ее, увы, трагическим концом: Цветаева, «гордая королева», нищая, отверженная, покончила с собой в 1941 году в далекой русской провинции, и неизвестно, где находится её могила, а Вишняк спустя 2 года погиб в концлагере и, само собой, остался без могилы. О чём Цветаева никогда не узнала.

А если бы знала, если бы пережила Абрама Вишняка, униженного, оскорбленного, уничтоженного нацистами? Тогда, возможно, наш мир обогатился бы гневными стихами погубителям Вишняка – фашизму, нацизму и жестокому веку. Не думаю, что преувеличиваю потенциал энергии Марины Цветаевой к стремлению восстановления справедливости, к её «wiedergutmachen» (исправить, сделать опять хорошо). Ибо таков стиль её великодушной творческой натуры.

7

Сергей Эфрон приехал в Берлин через месяц, в середине июня. Цветаева почему-то не получила от него телеграммы, и они с Алей примчались на вокзал, когда он был, «безлюден и бесполезно-гулок, как собор по окончании мессы. Серёжин поезд ушёл – и ушёл давно; и духу не осталось от пассажиров и встречающих. Остывая от бега и цепenea от ужаса, мы тщетно и тщательно обследовали перроны и залы ожидания, камеру хранения и ресторан – Марина в новом синем платье, я – в новой матроске – такие нарядные! И такие несчастные, потерянные и растерянные, как только во сне бывает...»⁴⁶. Они долго бродили по белой от солнца, палящей от зноя привокзальной площади в надежде увидеть Серёжу. Затем они услышали его голос: «Мариночка! Мариночка!» Откуда-то с другого конца площади бежал, маша нам рукой, высокий, худой человек, и я, не зная, что это – папа, еще не узнавала его, потому что была ещё совсем маленькой, когда мы расстались, и помнила его другим, вернее, иным, и пока *тот* образ – моего младенческого восприятия – пытался совпасть с образом этого, движущегося к нам человека, Серёжа уже добежал до нас с искаженным от счастья лицом и обнял Марину, медленно раскрывшую перед ним руки, словно оцепеневшие.

⁴⁶ Ариадна Эфрон. Страницы воспоминаний. // Воспоминания о Марине Цветаевой / Сост. Л. Мнухин, Л. Турчинский. М.: Советский писатель, 1992. С. 204.

Долго, долго стояли они, намертво обнявшись, и только потом стали медленно вытирать друг другу ладонями щеки, мокрые от слёз»⁴⁷.



Центр Берлина десятых годов двадцатого века

Семья, как уже говорилось, поселилась в пансионе Элизабет Шмидт на Траутенауштрассе 9, одной из пяти улиц-лучей, отходящих от Прагерплац. Пансион, который в 20-х годах облюбовали русские эмигранты, сохранился с прежним адресом и нумерацией: Траутенауштрассе 9. Марина Цветаева жила там с дочерью Ариадной и с приехавшим из Праги на две недели Сергеем Эфроном летом 1922 года. До неё в том же 1922 году в «русском доме в Вильмерсдорфе» (так его ещё называли) жил Илья Эренбург, а в 1924 году незадолго до женитьбы на Вере Слоним в пансионе поселился 25-летний Владимир Набоков.

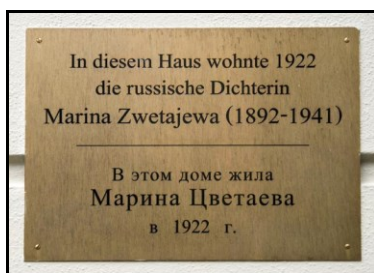
6 ноября 1996 года по инициативе докторантки Свободного университета Берлина Сильке Вабер на фасаде дома была открыта мемориальная доска на русском и немецком языках со следующим текстом:

In diesem Haus wohnte 1922
die russische Dichterin
Marina Zwetaewa (1892-1941)

В этом доме жила
Марина Цветаева
в 1922 г.

⁴⁷ Там же. С.204.

(В книге «Флорентийские ночи в Берлине. Цветаева, лето 1922»⁴⁸ я уделила достаточно внимания приключениям этой латунной доски, которая потом открывалась вторично одним из руководителей берлинской фракции ХДС, поселившимся в этом доме, Фридбертом Флюгером)



Мемориальная доска на доме где жила М.Цветаева в 1922 г
Берлин, Траутенауштрассе 9

Поселились в двух крохотных комнатах с балконом. Ариадна Эфрон не указывает, на каком этаже, но по некоторым деталям её воспоминаний можно предположить, что комнаты находились на третьем этаже (по-русски это четвёртый этаж, т. к. первый этаж называется эрдгешос, а за ним идёт первый второй и т. д.). Цветаева упоминает балкон в письмах Вишняку. Она признаётся, что лежала на холодном полу балкона и ждала его, прислушиваясь к шагам на улице. А 30 июня о её желании выбраться с балкона было написано стихотворение «Балкон»:

Ах, с откровенного отвеса –
Вниз – чтобы в прах и смоль!
Земной любви недовесок
Слезой солить – доколь?
Балкон. Сквозь соляные ливни
Смоль поцелуев злых.
И ненависти неизбывной
Вздых: выдышаться в стих!

Стиснутое в руке комочком –
Что: сердце или рвань
Батистовая? Сим примочкам
Есть имя – Иордань.

⁴⁸ Мина Полянская. Флорентийские ночи в Берлине. Цветаева, лето 1922. Берлин: Геликон; М.: Голос-пресс, 2009.

Да ибо этот бой с любовью
Дик и жестокосерд.
Дабы с гранитного надбровья
Взмыв – выдышаться в смерть!⁴⁹

На «новоселье» Сергей Эфрон подарил Але горшочек с розовыми бегониями, которые девочка по утрам поливала на балконе, боясь пролить воду на мостовую. «Из данного кусочка жизни в «Траутенау-хауз», – вспоминала она, – ярче всего запомнился пустык – этот вот ежеутренний взгляд вниз и потом вокруг, на чистенькую и безликую солнечную улицу с ранними неторопливыми прохожими, и вот это ощущение приостановившейся мимолетности, *транзитности* окружающего и той неподвластности ему, которая и позволяла рассматривать его отвлеченно и независимо, без боли любования и отрицания.

Ощущение это, по-видимому, укреплялось рождавшимися там, в двух комнатках за моей спиной, и постепенно определявшимися родительскими планами на ближайшее будущее, их разговорами, исподволь доносившимися до меня»⁵⁰. Родители обсуждали непростой вопрос, оставаться ли дальше в Берлине, где уже ощущалось приближение экономического кризиса, или же отправляться в Чехию. Правительство первого президента Чехословакии Томаша Гаррига Масарика назначило широкому кругу русских писателей и ученых ежемесячное пособие – чешское иждивение – и Эфрону удалось выхлопотать его себе.

За время 4-летней разлуки Цветаева очень изменилась, она, сумевшая выжить в большевистской России, приобрела самостоятельность. Ариадна Сергеевна заметила тогда, что отец по-прежнему выглядел мальчиком, тогда как мать действительно выглядела взрослей. Приезд Эфрона, судя по всему, не погасил вспыхнувшего увлечения Вишняком. Эфрон узнал о романе с Вишняком, и, вероятно, эта история (наряду с другими причинами) также послужила причиной его скорого отъезда.

Из воспоминаний Ариадны Сергеевны следует, что серьёзные и неожиданные для Цветаевой политические разногласия с мужем обнаружились с самого начала их встречи в Берлине. Эфрон, оказывается, собирался в будущем вернуться в Россию: «Обратно, Мариночка, можно, только пешком – по

⁴⁹ М. Цветаева. Балкон. // Цветаева М. Сочинения: В 2 т. М.: Худ. лит., 1984. Т. 1. С. 195.

⁵⁰ Ариадна Эфрон. Страницы воспоминаний // Воспоминания о Марине Цветаевой / // Воспоминания о Марине Цветаевой / Сост. Л. Мнухин, Л. Турчинский. М.: Советский писатель, 1992. С. 205.

шпалам – всю жизнь». Стало быть, именно из дома на Траутенауштрассе, возможно, и началось столь долгое возвращение Цветаевой в Россию, и отсюда – ростки её пронзительного, провидческого «Рассвета на рельсах», написанного в Чехии, в октябре этого же, 1922 года:

Покамест день не встал
С его страстями стравленными –
Во всю горизонталь
Россию восстанавливаю!

Без низости, без лжи:
Даль – да две рельсы синие...
Эй, вот она! – Держи!
По линиям, по линиям...⁵¹

Стало быть, здесь, в этом доме – начало конца и краха семьи Цветаевых-Эфрон. Известный цветаевед Ирма Кудрова считает, что в Берлине Эфрон был одержим ещё «белой идеей». Она об этом и писала и мне лично говорила, когда была у меня в гостях в Берлине. О «белой идее» свидетельствовал и Роман Гуль. Как бы то ни было, отход от «добровольческого» пафоса произойдёт очень скоро.

Цветаева ещё в середине 1920-х предугадала будущую трагедию Германии и в 1924 году написала поэму «Крысолов» на основе знаменитой немецкой легенды, повествующей о чрезвычайном происшествии: «уводе» детей из города Гамельна таинственным Крысоловом в 1284 году. В этом предании, мифе (или гриммовской версии немецкой легенды) ей удалось увидеть «архетип надвигающегося фашизма». Это – выражение Инессы Захаровны Малинкович в её книге, написанной в Иерусалиме, «Судьба старинной легенды», вышедшей посмертно в Москве в 1994 году.

Я была у Инессы Захаровны в гостях в Иерусалиме в 1990 году за два года до её смерти, когда она, жившая в ортодоксальном квартале в нужде, одиночестве, тяжело больная (как выяснилось, ортодоксальные евреи помогали ей, приносили, одежду, еду) писала книгу «об истории одной немецкой сказки», как она мне тогда сказала. Малинкович ещё выразила сомнение по поводу того,

⁵¹ Цветаева М. Рассвет на рельсах// Цветаева М. Осыпались листья над вашей могилой... Казань: Татарское книжное издательство, 1990. С. 279-280.

будет ли мне ЭТО ВСЁ интересно (что именно Инесса имела в виду – легенду – предание о гамельнском крысолове, или её собственную интерпретацию интерпретаций легенды – Гёте⁵², Зимроком⁵³, Браунингом⁵⁴, Гейне и Цветаевой – предположить не берусь). И роковым образом ошиблась: мне её книга не просто интересна, она – одна из тех редких книг, которая даёт мне жизненную энергию (я получила в подарок экземпляр книги, изданной друзьями крошечным тиражом – 450 экземпляров⁵⁵).

«Может быть, – пишет Малинкович в конце своей книги, – в XXI веке миф о Крысолове уйдет – за ненужностью – из жизни, социологии, психологии и политологии, как он уже ушел из поэзии. Тогда Крысолов окончательно переселится в детскую литературу вместе с переселившимся туда Робинзоном, Гулливером и даже Дон Кихотом. А может быть, вечная тема взаимоотношений «поэзии и правды» вернется в образе нового мифа, наследника крысоловского. По-видимому Цветаева последняя произнесла «как свою «песнь чужую»⁵⁶.

В поэме Цветаевой Гамельн – это не только просто «плохой город», «Веймар без Гёте», это целое тоталитарное государство со своей системой подавления личности. В таком государстве необходима тотальная унификация мышления. Малинкович заметила, что в поэме «Крысолов» Цветаева показала романтический порыв большевиков (крысобольшевиков) – идеалистов, к которым впоследствии отнесла и Сергея Эфрона.

Малинкович пишет: «В конце XX века психологически трудно представить, как обольстительно пела большевистская флейта в 20-е – начале 30-х годов, особенно для тех, кто не жил в России. Ею заслушивались далеко не худшие головы и сердца Европы. Среди последователей Красного Крысолова была не только кембриджская пятерка будущих агентов-«кротов» КГБ во главе с Филби и не один эмигрант С. Я. Эфрон, мучимый чувством вины перед Родиной. Западная левая интеллигенция и среди них

52 Вольфганг Гете написал стихотворение «Крысолов» между 1802 и 1803 годами.

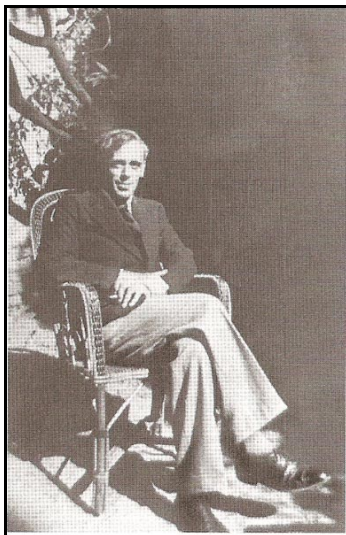
53 Карл Зимрок создал балладу «Крысолов» в 1831 году.

54 Роберт Браунинг написал «Детскую сказку о Пёстром Дудочнике из Гамельна» в 1842 году. В конце 1940-х годов поэму Браунинга перевел на русский язык Самуил Маршак с названием «Флейтист из Гамельна».

⁵⁵ Книга Инессы Малинкович «Судьба старинной легенды» была опубликована повторно тиражом в 1000 экземпляров в 1999 году московским изд-вом «Синее яблоко».

⁵⁶ Малинкович И. Судьба старинной легенды. М.: Восточная литература РАН, 1994. С. 126.

такие недюжинные умы, как Орвелл и Кестлер, тоже долгие годы оставались в плену русского мифа. «Увод» предсказал в символической форме жуткую судьбу мужа Цветаевой, мученическую жизнь их дочери и гибель, физическую и духовную, сотен тысяч доверчивых идеалистов, поверивших Красному Крысолову»⁵⁷.



Сергей Эфрон на даче НКВД, 1937

Таков путь пленника русского мифа, убийцы Троцкого, Героя Советского Союза Рамиро Меркадера, отсидевшего в мексиканской тюрьме 20 лет за «правое дело» (а в справедливости пролитой им крови у него не было, разумеется, никаких сомнений) и прибывшего в самом начале шестидесятых в Москву, в эпоху хрущевской оттепели. Он ещё тогда наивно полагал, что прибыл на белом коне. Но вместо того, чтобы пожинать плоды своего неслыханного геройства – совершенного им убийства века – вынужден был жить инкогнито, под другой фамилией (под чужой фамилией он был впоследствии и похоронен). Меркадер был уверен, что в сталинские времена воздались бы ему заслуженные почести; тогда как на самом деле он, вероятно, окончил бы в сороковых дни свои так же, как другой участник борьбы с международным троцкизмом – Сергей Яковлевич Эфрон.

⁵⁷ Малинкович И. Судьба старинной легенды. М.: Восточная литература РАН, 1994. С. 117.

Ангажированный в 1932 году сталинским Иностранным отделом НКВД, Эфрон по возвращении в Россию был в 1939 году арестован и расстрелян. Пути двух легковверных романтиков, служителей ложной идеи – Рамона Рамиро и Сергея Яковлевича – не знавших друг друга (впрочем, так ли это?), странным образом переплетаются и связываются с одним именем: Лев Давыдович Троцкий. Эфрон, как теперь известно (опять же не абсолютно), принимал участие в похищении архивов Троцкого в Париже, привезённых сыном Троцкого Львом Седовым. А с конца 1936 года Эфрону было поручено организовать слежку и за самим Седовым, управлявшим в Париже делами отца. Сергей Яковлевич пришёл даже однажды в типографию, где набирался «Бюллетень оппозиции», издаваемый Троцким, чтобы увидеть его сына в лицо. И увидел. Впрочем, подозревают Эфрона в другом кровавом деле: убийстве бывшего работника НКВД, невозвращенца Игнатия Рейсса (наст. имя: Натан Маркович Порецкий). Именно после убийства Рейсса Эфрон вернулся в Россию. Сергей Эфрон на даче НКВД, 1937.

Из книги Инессы Малинкович: «Марина Цветаева с её «глубочайшим отвращением» к политике, с её героическим противостоянием «яду» и «вреду» века, была взрослая. Она не предала свой героический идеализм ради идолов времени. Она «поняла» революцию» ещё в 1925 году»⁵⁸. И ещё: «И прямым пророчеством своего собственного страшного конца звучат пронзительные слова, навеянные смертью Моцарта, но, увы, столь актуальные для судьбы русских поэтов XX века:

Общий ров.
Гроб в обрез.
Ни венков,
Ни словес.
Помер – преи.
Unbekannt.
- Кто был сей?
- Му – зы – кант»⁵⁹.

16 марта 1937 года уехала в Россию Ариадна. Ей разрешено было вернуться в Россию за заслуги отца, после чего из Москвы в Париж приходили её полные восторга письма о

⁵⁸ Там же. С. 118.

⁵⁹ Там же. С. 121.

советской действительности. Сергей Эфрон отбыл из Гавра на пароходе «Андрей Жданов» 10 октября 1937 года.

Накануне Цветаевой исполнилось 45 лет. Потрясение Цветаевой, узнавшей, в чём обвиняют её мужа (похищение генерала Кутепова в 1930 году, похищение генерала Миллера в 1937 году, убийство Игнатия Рейсса, вербовка людей и в Россию, и в Испанию и т. д.), было настолько ошеломляющим, что надломило её. Она как-то сразу постарела и, как свидетельствовал Марк Слоним, «ссохлась».

Французская полиция, по счастью, поверила неосведомленности Цветаевой. В противном случае её могла ожидать участь знаменитой исполнительницы русских народных песен Надежды Плевицкой, жены белого генерала Николая Владимировича Скоблина, участника похищения генерала Евгения Карловича Миллера советскими чекистами (бежавшего в Россию и канувшего в небытие), которая была заключена за соучастие в каторжную тюрьму в Ренне, где и умерла.

15 июня 1939 года Цветаева с сыном вслед за мужем и дочерью из Парижа отправилась в Москву. Сын Цветаевой Георгий (Мур) родился 1 февраля 1925 года. Никто не провожал их. Ехали поездом до Гавра, а дальше пароходом, который увозил в Советскую Россию испанских беженцев. Поселились у Сергея, на даче Болшево, принадлежавшей НКВД. Трагедия, переходящая в кошмар: очутиться на даче, принадлежавшей НКВД.

В августе 1939 года была арестована Ариадна (она провела в лагерях и ссылках 16 лет), через полтора месяца – Сергей Эфрон. Казнён 16 октября 1941 года. Реабилитирован Военной Коллегией в 1956 году. Дорога неотвратимо вела Марину Ивановну к катастрофе. И моё повествование сюжетно затягивается морским узлом, который не развязать. Увы, когда повествуешь о Пушкине, нужно помнить о неотвратимости Чёрной речки, а когда пишешь о Цветаевой – о неотвратимости Елабуги. Захваченная волной судьбы, Марина Ивановна выброшена на дикий берег. Безденежье, одиночество, невозможность публиковаться, война, которую Цветаева восприняла как гибель России и победу мирового зла.

В начале войны Цветаева с Муром оказались в глухой провинции – городе Елабуге, в маленькой комнате, отгороженной занавесочкой от хозяев. Исследователи и мемуаристы предложили множество версий по поводу её самоубийства 31 августа 1941 г., но всё же истины о страшном мгновении никто не знает. Одну из версий в изложении Романа Гуля в его книге «Я унёс Россию», я всё же предлагаю читателю:

«Теперь мы знаем истинную причину её самоубийства. Ею вовсе не было предложение стать судомойкой в столовке в Елабуге (эта столовая находилась в Чистополе – М. П.). Всю свою жизнь Цветаева делила меж творчеством и чёрным (домашним) трудом. Но весьма сведущий в сих делах старый энкаведист Кирилл Хенкин в книге «Охотник вверх ногами» сообщает истинную причину её «петли». Оказывается, елабужский уполномоченный НКВД предложил Цветаевой «ему помогать», т. е. попросту стать «стукачкой». Тут для Цветаевой выхода не было. Она предпочла крепкий гвоздь и верёвку»⁶⁰.

Марина Цветаева похоронена на Петропавловском кладбище в Елабуге, точное место захоронения, несмотря на многолетние поиски, выяснить не удалось. В 1960 году на участке, где находятся безымянные могилы 1941 года, сестра Марины Ивановны Анастасия Ивановна Цветаева⁶¹ установила крест с надписью: «В этой стороне кладбища похоронена Марина Ивановна Цветаева...», в 1971 году, после 7-летних хлопот, было наконец установлено каменное надгробие. Сын Цветаевой Георгий Эфрон погиб на фронте в 1944 году в возрасте 19 лет. Безымянная могила его находится у деревни Друйка – там в самый разгар знаменитой операции «Багратион» он принял последний бой. Таков конец семьи Цветаевых.

Слушала с горечью телевизионную передачу, посвященную Цветаевой, проводимую Игорем Волгиным за круглым столом. Некто из редакции «Нового мира» глубокомысленно заявил, что Цветаевой в тяжёлые времена (вероятно, подразумевались война, диктатура и пр.) было не хуже и не лучше, чем другим. Интересно, что две дамы (типичные «цветаевки», от которых Марина могла бы устать даже на небесах, как правило, идентифицирующиеся с ней), не возразили. Согласились. Меж тем, как писатель Фридрих Горенштейн, который в 1942 году стал детдомовским сиротой, потеряв в одночасье всё, справедливо полагал, что Марине Ивановне было хуже, чем другим писателям в Елабуге и Чистополе, куда её не хотели допускать, но в конце концов допустили, разрешили быть посудомойкой - в писательской столовой. Уместно повторить именно в этом контексте, что заявил писатель в предисловии к

⁶⁰ Гуль Р. Я унёс Россию. Апология эмиграции: В 3 т. М.: Б.С. Г.- ПРЕСС, 2001. Т. 1. С. 89-90.

⁶¹ Анастасия Ивановна Цветаева (1894-1993) – младшая сестра Марины Цветаевой. Ее «Воспоминания» впервые опубликованы были в сокращенном виде: Цветаева А. Из прошлого // Новый мир. 1966. № 1. С. 79–133; № 2. С. 98–128.

первому изданию моей книги о Цветаевой в Берлине: «Думаю, что, устраиваясь в столовую, Цветаева рассчитывала на остатки продуктов – каши и других, которые, по военным меркам, щедро получали известные писатели. Но ситуация действительно эпатажная: писатели разных сортов и калибров ели бы, а Марина Цветаева мыла бы за ними тарелки. Может быть, из тарелок в свой котелок остатки каши и прочие продукты складывала бы для своего сына. Эпатажная и страшная картина. Гордая женщина, королева!

Андрей Платонов, кстати, попал в тяжёлую ситуацию: где-то в начале пятидесятых просился дворником в Литинститут. Тоже явный эпатаж. Писатели разных сортов и калибров заседали бы, а Андрей Платонов подметал бы двор, чтобы не запачкались писательские ноги. Вот и Мандельштам мог бы работать швейцаром в Доме литераторов в его знаменитом ресторане – тоже эпатаж – подавать шубы и пальто их величествам, их сиятельствам или просто рядовым, но вхожим и признанным сочинителям.

Чувство униженной королевской гордости, давно зревшее в Марине Цветаевой, завершилось самоубийством»⁶².

Берлинским летом 1922 года до гибели ещё далеко – 19 лет, и Цветаева пытается воссоединить семью, подвести итоги тяжёлым испытаниям, которым семья подвергалась. В сентябре 1922 года, в Чехии, она напишет о взаимной привязанности людей, связанных общей судьбой:

Золото моих волос
Тихо переходит в седость.
– Не жалейте! всё сбылось
Всё в груди слилось и спелось⁶³.

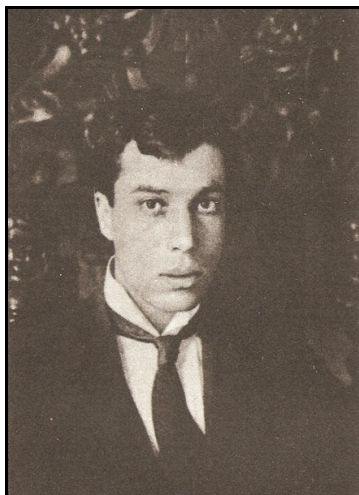
Спустя две недели после прибытия в Берлин Сергей Эфрон уехал в Чехию, согласно воспоминаниям Ариадны Сергеевны, для того, чтобы готовиться к новому учебному году в Карловом университете, и Марина с Алей остались ещё на некоторое время на Траутенауштрассе в двух комнатках с балконом с тем, чтобы потом отправиться вслед за ним.

8

⁶² Горенштейн Ф. Читая книгу Мины Полянской «Брак мой тайный...» // Полянская М. «Брак

⁶³ Цветаева М. Золото моих волос... // Цветаева М. Сочинения: В 2 т. М.: Художественная литература, 1984. Т. 1. С. 209.

Здание бывшего пансиона Элизабет Шмидт – с двумя эркерами и черепичной крышей – было построено в начале века с претензией на «югендстиль», о чем ещё напоминают сохранившиеся на лестничных площадках витражи на окнах, и остатки растительного орнамента на стенах внутри подъезда.



Борис Пастернак

Сохранились и заштукатуренные балконы, характерная (и неизбежная) деталь берлинского городского пейзажа. Один из этих балконов летом 1922 года, как уже говорилось, принадлежал Цветаевой, и она его в письмах называла «своим». Ирма Кудрова также не обладала уникальными архивными сведениями об этаже (и о стороне фасада тоже). Помню, мы стояли на Траутенауштрассе (это было в начале мая 2005 года.) и рассматривали серый 4-этажный фасад с большим количеством одинаковых балконов и дедуктивным методом пытались *угадать тот самый* балкон, который Цветаева назвала «своим».

Немногочисленные друзья, появившиеся у Цветаевой в Берлине, вероятно, посещали её в этом доме. Что же касается Андрея Белого, то его иногда (он несколько раз опаздывал на последний поезд в Цоссен), оставляли здесь ночевать (о дружбе Цветаевой с Белым я рассказала в книге об Андрее Белом.64). В

64 Мина Полянская. Foxtrot белого рыцаря. Андрей Белый в Берлине, Спб, Деметра, 2009.

этом же очерке главная моя тема и задача – «эпистолярные» взаимоотношения и дружбы Цветаевой, возникшие в Берлине

27 июня 1922 года почтальон принес на Траутенауштрассе 9 письмо от Эренбурга, которое было заметно тяжелее предыдущих. Марина вскрыла его ножом для резки бумаги (он был в виде миниатюрной шпаги – его когда-то подарил ей Эфрон) и вынула оттуда несколько листов бумаги, исписанных незнакомым почерком. Это было письмо от Бориса Пастернака, положившее начало новой переписке, длившейся с 1922 по 1936 год. Пастернак писал:

«Дорогая Марина Ивановна!

Сейчас с дрожью в голосе стал читать брату Ваше – «Знаю, умру на заре! На которой из двух» – и был, как чужим, перебит волною подкатывавшего к горлу рыдания, наконец, прорвавшегося, и когда я перевёл свои попытки с этого стихотворения на «Расскажу тебе про великий обман», я был так же точно Вами отброшен, и когда я перенёс их на «Вёрсты и вёрсты и вёрсты чёрствый хлеб», – случилось то же самое. <...>

Простите, простите, простите!



Райнер Мария Рильке

Как могло случиться, что плетясь вместе с Вами следом за гробом Татьяны Федоровны (Скрябиной), я не знал, с кем рядом иду? <...> Месяц назад я мог достать Вас со ста шагов, и

существовали уже «Вёрсты», и была на свете та книжная лавка, куда сдала меня ленивая волна тёплого плавившегося асфальта!»⁶⁵

Так начался новый страстный роман в письмах «Цветаева и Пастернак». К переписке присоединился Райнер Мария Рильке, которого Цветаева боготворила, считала Духом поэзии (Geist der Dichtung), причем, по инициативе Пастернака, знавшего уже давно немецкого поэта и порекомендовавшего ему Цветаеву как неповторимого поэта. Тогда возникнет эпистолярный роман «Цветаева и Рильке». Собственно, переписка с Пастернаком не прекратится, поскольку он для Цветаевой первый поэт России.



Илья Эренбург

Цветаева заявила Пастернаку, что только она одна будет переписываться с Рильке, которого она считала «германским Орфеем», что она не будет «делить» Рильке с Пастернаком. На какое-то время (до скоростижной смерти Рильке) имели место два параллельных романа в письмах.

Переписка Марины Цветаевой с Райнером Мария Рильке была опубликована после того, как была обнаружена в архивах в 1977 году, вначале на немецком языке (то есть в подлиннике), а затем на многих других языках⁶⁶. Переписка Цветаевой с Рильке, длившаяся около 8 месяцев 1926 года вплоть до смерти Рильке,

⁶⁵ Цветаева М., Пастернак Б. Души начинают видеть. Письма 1922-1936 годов. М.: Вагриус, 2004. С. 11-12.

⁶⁶ Переписка Цветаевой с Рильке на русском языке была впервые опубликована в журнале «Дружба народов». 1987. №№ 6-9.

станет уникальным эпизодом в истории русской и немецкой литературы и культуры. Ей посвящена книга «Небесная арка», вышедшая в 1992 году в Петербурге. Издание её великолепно подготовил Константин Азадовский⁶⁷.

Рильке был покорён «удивительной» Мариной. Поэт умер накануне Нового года – 29 декабря 1926 года. Трагическим образом завершился этот возвышенный эпистолярный роман.

Но вернемся к первому письму Пастернака Цветаевой. Она была настолько им оглушена, что не решилась сразу на него ответить, и ответное письмо не соответствовало чувствам, которые её переполняли. Она сдержанно сообщила Пастернаку, что только раз слышала его в Москве с эстрады и что прочла всего лишь несколько его стихотворений.

Пастернак прислал ей сборник стихов «Сестра моя – жизнь»⁶⁸, который она получила в первых числах июля с дарственной надписью: «Марине Цветаевой. Б. Пастернак. 14/VI 22. Москва». Сборник произвёл на неё такое же впечатление, как и письмо. Она не расставалась с ним даже ложась спать, брала с собой, по её собственному выражению, по «классическим Линдам, Магическим Унтергрундам» и даже в зоопарк. А 19 ноября 1922 года Цветаева, находясь уже в чешской деревне Мокропсы, написала: «Тогда было лето, и у и меня был свой балкон в Берлине. Камень, жара, Ваша зелёная книга на коленях. (Сидела на полу.) – Я тогда десять дней жила ею, – как на высоком гребне волны: поддавалась (послушалась) и не захлебнулась»⁶⁹.

В очень короткий срок она написала очерк «Световой ливень» о творчестве Пастернака для журнала «Новая русская книга». Однако Эренбург опередил Цветаеву, предложив написать рецензию о книге Пастернака, и «Световой ливень» опубликован был в журнале «Эпопея» Андреем Белым⁷⁰.

Цветаева назвала Пастернака большим поэтом, поэтом, которому принадлежит будущее. Пастернак у Цветаевой наделен светом. После «вечной» ночи с Вишняком это была награда. Цветаева отправила «Разлуку» в Москву с надписью: «Борису Пастернаку – навстречу!» В конце книги записала первое стихотворение, посвященное Пастернаку, называвшееся вначале «Слова на сон»:

⁶⁷ Небесная арка. Марина Цветаева и Райнер Мария Рильке. СПб.: Акрополь, 1992.

⁶⁸ М.: Гржебин, 1922.

⁶⁹ Цветаева М., Пастернак Б. Души начинают видеть. М.: Вагриус, 2004. С. 25.

⁷⁰ Цветаева М. Световой ливень // Эпопея. 1922, № 3 С. 10-33.

Неподражаемо лжёт жизнь:
Сверх ожидания, сверх лжи...
Но по дрожанию всех жил
Можешь узнать: жизнь!

Словно во ржи лежишь: звон, синь...
(Что ж, что во лжи лежишь!) – жар, вал...
Бормот – сквозь жимолость – ста жал...
Радуйся же! – Звал!

И не кори меня, друг, столь
Заворожимы у нас, тел,
Души – что вот уже: лбом в сон,
Ибо – зачем пел?

В белую книгу твоих тишизн,
В дикую глину твоих «да» -
Тихо склоняю облом лба:
Ибо ладонь – жизнь.

Берлин, 8-го нов<ого> июля 1922 год – после Сестры моей Жизни. Марина Цветаева⁷¹.

Добывая визу в Германию, Пастернак был уверен, что встретится с Цветаевой, поскольку 29 июня 1922 года она написала ему, что останется в Берлине надолго и дала в письме примечательную характеристику Берлину как города нереального, поскольку всё, что произошло с миллионами изгнанников после большевистского переворота казалось фантазмагорией:

«Здесь очень хорошо жить: *не* город (тот или иной) – *безымянность* – просторы! Можно совсем без людей. Немножко как на том свете»⁷². Цветаева и Пастернак роковым образом разминулись с тем, чтобы встретиться в Париже через четырнадцать лет, когда их эпистолярный роман изжил себя, причём, окончательно.

Попытаемся сосчитать, на сколько дней – всего лишь дней - разминулись Цветаева и Пастернак в Берлине. Пастернак отбыл на пароходе в Штеттин 17 августа, приехал в Берлин примерно в 20-х числах августа и поселился чуть ли не в 15 минутах ходьбы (!) от дома, где 10 дней (почти) тому назад жила Цветаева. В

⁷¹ Цветаева М. Неподражаемо лжёт жизнь...// Цветаева М. Сочинения: В 2 т. М.: Худ. лит., 1984. Т. 1. С. 197.

⁷² Цветаева М., Пастернак Б. Души начинают видеть. М.: Вагриус, 2004. С. 16.

письме Цветаевой 12 ноября 1922 года он назвал ей свой адрес: «Berlin W. 15, Fasanenstr. 41 Bei u Versen» (дом не сохранился). Однако именно с берлинского письма 27 июня 1922 года Пастернак будет присутствовать в судьбе Цветаевой.

Спустя 7 месяцев, незадолго до отъезда в Россию, Пастернак пришлет Цветаевой в Чехию поэтический сборник «Темы и вариации» (1923).

Стихи Пастернака обрушились на Марину с не меньшей силой, чем «Сестра моя – жизнь». Она написала ему со свойственной ей открытостью, «обнаженностью» души (не случайно Рильке назвал её «Психеей»):

«Ваша книга – ожог. Та ливень, а это ожог: мне было больно, и я не дула. <...> – Ну, вот, обожглась и загорелась, – сна нет, и дня нет. Только Вы. Вы один»⁷³.

Пастернак сообщил Цветаевой, что возвращается в Москву и попросил её приехать в Германию – для прощальной встречи. Ответное её письмо представляет интерес ещё и потому, что свидетельствует и о Быте, и о Бытии Цветаевой – о её социальном положении, о заграничном шатком статусе, не дающем ей возможность пересекать границы, а также и о душевных переживаниях: «Я не приеду, – у меня советский паспорт и нет свидетельства об умирающем родственнике в Берлине, и нет связей, чтобы это осилить <...> Всё равно, это чудовищно Ваш отъезд, с берлинского ли дебаркадера, с моей ли богемской горы, с которой 18-го целый день (ибо не знаю часа) буду провожать Вас – пока души хватит.

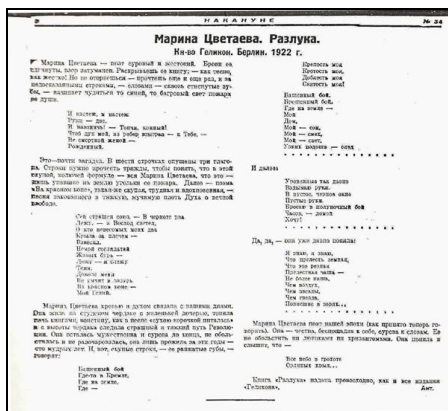
Не приеду, потому что поздно, потому что беспомощна <...> потому что это моя судьба – потеря»⁷⁴.

11 недель явились «световым ливнем» и для неё. В Париже, по-настоящему осознав сущность своего берлинского пребывания, она скажет, что ей, оказывается, в немецкой столице было хорошо – встретили как поэта. А потом наступят времена, когда её не будут публиковать в Париже, а что касается предвоенной Москвы, куда Цветаева вернётся, то об этом трагическом (страшном!) периоде убедительно рассказано в одной из лучших книг о Цветаевой «Скрепление судеб» Марией Белкиной, свидетельницей событий (поисков следов пропавших

⁷³ Там же. С. 39.

⁷⁴ Там же. 49-50.

мужа и дочери, а также поисков жилья и хлеба)⁷⁵. В Москве надо было выжить физически, и было – не до стихов.



«Неполюбленный Берлин», как называет его Ариадна Сергеевна, в этот «транзитный» период оказался для Марины плодотворной «болдинской осенью».

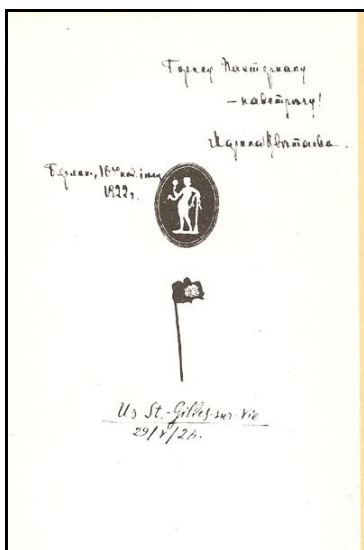
Итак, подведем итоги опубликованного Цветаевой в Берлине: подготовила к изданию сборники «Психея» и «Ремесло» и второе издание поэмы «Царь-девица», которые были напечатаны в Берлине в 1922-1923 годах. (Напомним, что сборники «Разлука» и «Стихи к Блоку» были опубликованы в Берлине весной 1922 года). Кроме того, написано около 30 стихотворений (среди них цикл «Земные приметы», посвященные её роману с Вишняком), рассказ в эпистолярной форме «Флорентийские ночи», посвященный отношениям с Вишняком, а также эссе «Световой ливень».

Цветаева посвятила Берлину стихотворение с названием «Берлину»:

Дождь убаюкивает боль.
 Под ливни опускающихся ставень.
 Сплю. Взрагивающих асфальтов вдоль
 Копыта – как рукоплесканье.
 Поздравствовалось – и слилось
 В оставленности златозарной,
 Над сказочнейшими из сиротств
 Вы смилостивились, казармы⁷⁶.

⁷⁵ Белкина М. Скращение судеб. М.: Эллис Лак, 2008.

Берлинский дождь, казалось, убаюкивал боль пережитых лишений, однако город-казарма предоставил приют сказочнейшим сиротам.



Надпись Цветаевой на книге стихов «Разлука», посланной Борису Пастернаку из Берлина 10 июня 1922 года

Сироты, золотоголовые сироты, сопровождаемые, как правило, злыми мачехами, чаще всего в немецких сказках братьев Гримм и других сказочников, - жертвы мачех, замышляющих нечто коварное, страшное. Тогда как Берлин ничего не замышлял – это было очевидно. И Цветаева, так же как и Ходасевич, была благодарна мачехе, пригревшей бездомных сирот. Марина, конечно, учуяла – казармы. С одной стороны, а с другой стороны, казармы, которые смилостивились. «Смилостивились ли, - вопрошает Ариадна Эфрон. – Да, пожалуй; спасибо казармам, когда, не снизойдя до того, чтобы заметить тебя, они тем самым предоставляют тебе возможность *пройти мимо*. Город – всегда взаимность. Первая стихотворная строка в Берлине была:

Под булыжниками, под колёсами.

Последнее берлинское четверостишие:

⁷⁶ Цветаева М. Берлину // Цветаева М. Сочинения: В 2 т. М.: Худ. лит., 1984. Т. 1. С. 197.

До убедительности, до
Убийственности - просто
Две птицы вили мне гнездо:
Истина – и Сиротство⁷⁷.

Июльскими вечерами Марина возвращалась домой на Траутенауштрассе в своём «берлинском» синем платье – она купила себе платье синего цвета немецкого крестьянского стиля «бауэрнкляйд», которое очень ей шло. Образ Марины в синем платье записан в «Пленном духе». Именно так, по свидетельству Цветаевой, воспринимал её Андрей Белый: «Мне так хочется завидеть вас издали синей точкой на белом шоссе – так хорошо, что вы носите синее, какая в этом благодать! – сначала точкой синей, потом тенью синей, такой же синей, как ваша собственная, вашей тенью, длинной утренней тенью, вставшей с земли и на меня идущей... Знаете, синяя тень, наполненная небесной лазурью»⁷⁸.

Из воспоминаний опять же Ариадны, ибо она – десятилетняя девочка – всё же главный наш свидетель - художественное пространство бурной фантазии Цветаевой оказалось весьма ограниченным, поскольку она почти не покидала пределов района Вильмерсдорфа.

С Алей посетили зоопарк и луна-парк, а деревенское синее платье купили в KaDeWe 79, причём по настоянию жены Эренбурга Любови Михайловны, ибо Марина не решалась потратить на себя необходимую сумму. Марина отправлялась пешком, как правило, по направлению к Прагерплац «прагердильствовать» и в редакцию «Геликона» на Бамбергерштрассе 7, согласно свидетельству Ильи Эренбурга, посещала Дом искусств, заседания которого обычно состоялись в кафе «Ландграф» на Курфюрстенштрассе 75.

Эренбург в книге «Люди, годы, жизнь» называет «Дом искусств» «Ноевым ковчегом», однако не указывает по какому именно адресу собирались ковчеговцы во дни Цветаевой в Берлине. А берлинский листок «Летопись» поместил тогда объявление следующего содержания: «19 мая 1922 года. Берлин,

77 Ариадна Эфрон. Страницы воспоминаний // Воспоминания о Марине Цветаевой / Сост. Л. Мнухин, Л. Турчинский. М.: Советский писатель, 1992. С. 208.

78 Цветаева М. Сочинения: В 2 т. М.: Худ. лит., 1984. Т. 2. С. 267.

79 Здание крупнейшего универсама Европы KaDeWe (Kaufhaus des Westens), построенного в начале века на Таунцинштрассе, сохранилось до наших дней.

Кляйстштрассе 41, Ноллендорфказино. Дом искусств. Пятничное собрание. Вступительный доклад – Илья Эренбург. Есенин и Кусиков читают свои произведения. Марина Цветаева читает свои собственные стихи и стихи Маяковского». Если учесть, что Марина приехала в Берлин 15 мая, то, стало быть, уже на четвёртый день пребывания в немецкой столице она читала стихи на Кляйстштрассе 41.



Марина Цветаева (с дочерью Ариадной) в деревенском платье, купленном в Берлине в универсаме К D W.

Не исключено, что Цветаева посетила и редакцию газеты «Накануне», где была напечатана рецензия на её сборник «Ремесло» и на страницах которой приняла активное участие, особенно в дискуссиях с Алексеем Толстым, о чём я рассказала в своих двух книгах о берлинской Цветаевой.

Почти все современники отмечают серебряные украшения Цветаевой. В мемуарах Ариадны Эфрон также упоминаются руки в кольцах: «руки были крепкие, трудовые. Два серебряных перстня (перстень-печатка с изображением кораблика, агатовая гемма с Гермесом в гладкой оправе (подарок её отца), и обручальное кольцо, никогда не снимавшиеся, не привлекали к рукам внимания, не украшали и не связывали их, а естественно составляли с ними единое целое»⁸⁰.

80 А. Эфрон. Страницы воспоминаний. // Воспоминания о Марине Цветаевой / Сост. Л. Мнухин, Л. Турчинский. М.: Советский писатель, 1992. 143.

У Марины Ивановны было девять серебряных колец, десятое обручальное. И ещё: офицерские часы-браслет, кованая цепь с лорнетом, старинная брошь со львами, два браслета (один курганный, другой китайский). Перечень впечатляющий, в особенности, если учесть, что Цветаева могла всем этим себя украсить одновременно.

Так что редкий зазевавшийся нелюбопытный берлинский прохожий мог удивиться при виде молодой женщины в серебряных украшениях, синем платье пастушки, и увесистых ботинках.

Отметим, что женщины, согласно моде двадцатых годов, щеголяли в ажурных чулках и в туфельках на тонких каблучках и носили лёгкие платья из вуали и кисеи.

Пешеходные прогулки Марина любила, подобно отцу, страстному пешеходу Ивану Владимировичу Цветаеву. Летающей своей «поступи» она в 1918 году посвятила стихи:

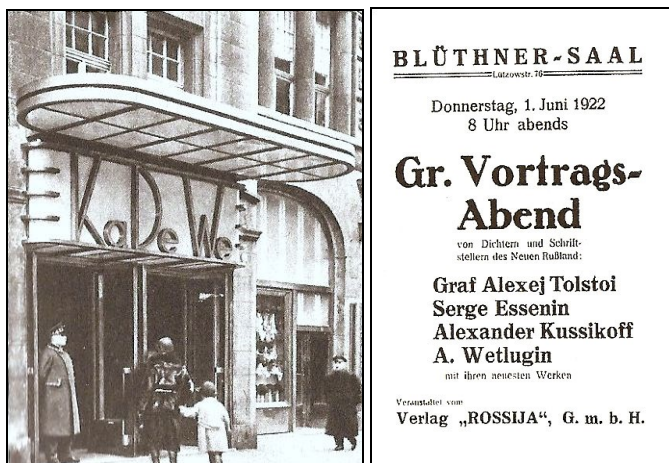
Поступь лёгкая моя,
Чистой совести примета –
Поступь лёгкая моя,
Песня звонкая моя⁸¹.

Молодой критик и писатель, один из четырёх редакторов еженедельного пражского журнала «Воля России», Марк Львович Слоним познакомился с Цветаевой в Берлине в кафе «Прагердиле» и оставил нам замечательное по своей доброжелательности и пониманию свидетельство о том, как выглядела Марина: «Она говорила не громко, но отчётливо, опустив глаза, не глядя на собеседника. Порою она вскидывала голову, и при этом разлетались её лёгкие золотистые волосы, остриженные в скобку, с чёлкой на лбу. При каждом движении звенели серебряные запястья её сильных рук, несколько толстые пальцы в кольцах, тоже серебряных, сжимали длинный деревянный мундштук: она непрерывно курила. Крупная голова на высокой шее, широкие плечи, какая-то подобранность тонкого стройного тела и вся её повадка производили впечатление силы и лёгкости, стремительности и сдержанности. Рукопожатие её было крепкое, мужское.

В кафе мы просидели долго. М. И. рассказывала о своей голодной жизни 1918-1920-х годов на московском чердаке с двумя дочерьми». Слоним и впоследствии не изменил своего

81 М. Цветаева. Поступь лёгкая моя. // Цветаева М. Осыпались листья над вашей могилой... Казань: Казанское книжное издательство, 1990, С. 203..

доброжелательного отношения к Цветаевой – всегда любил её и высоко ценил как поэта. Веронике Лосской он рассказывал о Цветаевой: «О красоте её? Это было больше, чем красота! Она была лёгкая, стройная, у неё были замечательные глаза, сжатый, довольно большой рот, сильный овал лица, лёгкая походка, чудная улыбка»⁸².



Вход в Ка Де Ве Объявление о поэтическом вечере

Подъезд, украшенный зеркалами венецианского стекла, подъём по деревянной крутой лестнице с резными перилами. Белый берлинский свет, уже тускнеющий, наполняется цветами – оживают орнаменты витражей на окнах лестничных площадок. На стекле, отделяющем «флорентийскую ночь» от берлинского дня, становятся зримыми обнаженная купальщица, и бирюзовая ваза с золотыми цветами, и фантастические львы, и диковинные растения.

Может быть, жизненный путь поэта и есть нескончаемый подъём по лестнице витражей, когда театр цветных романтических полутеней – гётевские, гельдерлиновские, клейстовские образы – завораживающие «schwankende Gestalten» – вытесняют явь. Последней ступеньки никогда не будет.

82 М. Слоним. О Марине Цветаевой. // // Воспоминания о Марине Цветаевой / Сост. Л. Мнухин, Л. Турчинский. М.: Советский писатель, 1992. С. 306.

Чувство покинутости в земной жизни, которую Марина в одном из писем Вишняку назвала «убогой», останется с ней навсегда в силу того самого «душевного строя поэта», который, по словам Мандельштама, ведёт к катастрофе.



Абрам Григорьевич Вишняк

Однако одна из самых любимых (неизменных и верных!) милых теней – Генрих Гейне – по-прежнему зовёт в свой романтический мир, дабы вырвать из удушливой обстановки города с его густым воздухом, клубящимися дымами фабричных труб и трамвайными звонками. Марина, по её собственному признанию, не любит дневную суету, не любит города, боится городского транспорта, особенно автомобилей. Для неё ходьба пешком (желательно под дождем!) на край совета – поэзия.

В 1823 году студент Берлинского университета Генрих Гейне снимал маленькую комнату с красными шелковыми гардинами, «rotseidenen Gardinnen», на Беренштрассе 71. Здесь он в 1827 году издал «Книгу песен», но без сожаления покинул город своих первых творческих успехов, город ясных перспектив, город объяснённый, расколдованный Гегелем – таков удел романтика – он стремится в «новые миры». Гейне зовет: «Verlaß Berlin, mit seinem dicken Sande...»

Оставь Берлин, где воздух густ и пылен
И жидок чай: где над умом людским
Один лишь Гегель царствует, всесилен,
И жизни смысл для всех указан им.

Умчимся в край, где аромат обилен,
В край солнечный, который мной любим.
Там льется Ганг, и вдоль его извилин
Идёт в одежде белой пилигрим⁸³.



Подъезд (Вход на лестничную площадку) дома 9 по Траутенауштрассе

Гейне обещает странствия, туда, в мир, не ведающий кантовского категорического императива, где сохранились ещё белые пятна романтической свободы, ибо строгий порядок и догмат не совместим с принципом свободы, поскольку на личность возлагается задача стать собственным стражем. А Марине настолько нужна свобода, безмерная, запредельная, что тесно и душно в телесной оболочке. Вон – хочу! – кричит душа

Древняя тщета течёт по жилам,
Древняя мечта: уехать с мылом!

К Нилу! (Не на грудь хотим, а в грудь!)
К Нилу – иль ещё куда-нибудь

Дальше! За предельные пределы
Станций! Понимаешь, что из тела

⁸³ Гейне Генрих. Оставь Берлин, где воздух густ и пылен.../Пер. с нем. О. Чюминой // Гейне Генрих. Избр. соч. М.: Худ. лит. 1989. С. 148.

Вон – хочу! (В час тупящихся вежд
Разве выступаем – из одежд?)

...За потустороннюю границу:
К Стиксу!..

Траутенауштрассе по-прежнему тихая, невозмутимая улица. «И ни морщины на челе», как сказал бы Фёдор Тютчев, и почему-то, когда увидишь – в который раз - улицу испытываешь и сейчас, в наши дни то, о чём написала Ариадна: мимолетность *транзитности* окружающего, которая и позволяет рассматривать улицу отвлеченно и независимо, без боли любования и отрицания. Будто бы она не моя, чужая улица, что собственно соответствует истине.

Дверь плотно закрыта, не войти, как бывало раньше, в начале 90-х, когда в подъезд еще можно было входить без препятствий, и мне посчастливилось видеть подлинные старые, потертые перила и пилястры, венецианские зеркала, а также витражи со львами, которыми любовалась Цветаева и в особенности Аля.

И всё же, несмотря на то, что убранство дома после ремонта приобрело нарядность и блеск, которых не могло быть в послевоенном Берлине двадцатых годов, можно ещё и ещё раз внимательно взглядеться в балконы, пытаясь угадать, который из них принадлежал Цветаевой, заглянуть в дверное стекло в надежде окунуться в мир обыкновенного и необыкновенного, увидеть вновь витражи на первом этаже со сказочными цветами, ибо, как утверждал Новалис, придумавший голубую розу, мы живём внутри колоссального романа и нет более романтического, нежели называемое обыкновенно миром и судьбой.



Игорь Юдович
Протестантский век
Послесловие Бориса Дынина
От автора



продолжение двух статей, объединенных названием «Берберские войны», я хочу рассказать о дальнейшем развитии интереса американцев к ближневосточному региону. В 19 веке после окончания Берберских войн этот интерес был однозначно выражен в миссионерской деятельности различных христианских общин в странах Ближнего Востока, прежде всего в «большой» Сирии.

Как только я начал собирать материал о миссионерах, стало ясно, что не обойтись без объяснения и изучения их религиозных корней, что привело меня к истории протестантизма в Америке. И здесь я был буквально поражен не только наличием огромного количества информации, но и ее - как бы сказать помягче – неопределенностью. Оказалось, что понятие протестантизма и тем более взгляд на его роль в истории Америки настолько зависят от описываемого конкретного времени в истории и от времени публикации источников, что создается впечатление о совершенно различных феноменах. Собственно говоря, с одной стороны, это нормальное эволюционное явление для любого общественного движения, переживающего свое развитие, пик популярности и последующий уход с арены. Но в США, где на протестантизме в 17-19 веках была завязана буквально вся как социально-политическая, так и экономическая жизнь, само эволюционное изменение движения и отношения общества к нему стало очень важным фактором для *революционного* обновления самого движения. Америка и американское общество пережило две внутренние протестантские революции, во многом изменившие характер самой страны. С некоторым пафосом они названы Первым (1730-40-е) и Вторым (1800-е) Великими Пробуждениями. Кстати, именно ВВП стало исходным пунктом миссионерской деятельности. Таким образом, само существование двух протестантских революций косвенно говорит о наличии *различного* протестантизма в американской

истории, об его существенной эволюции. После выяснения этого, наверно, общеизвестного для американцев вопроса, появилась следующая проблема: как ограничить рассказ о протестантизме рамками заявленной темы, миссионерским движением и его последующим влиянием на политику США на Ближнем Востоке?

Предлагаемые несколько главок есть моя попытка соблюсти некоторый баланс между совершенно необходимой информацией, без которой трудно понять подноготную миссионерства, и огромным количеством информации, которая дает возможность узнать американское протестантское движение гораздо глубже и многосторонне, что, на мой взгляд, выходит за рамки основной темы.

Целью этой публикации является услышать критику. Как можно больше критики, информации и различных мнений. Мне самому не все ясно во влиянии протестантизма на общественно-политическую историю США. Мне еще меньше понятна причина и конкретное время перехода совершенно очевидного филосемитизма протестантов 17 века к совершенно очевидному антисемитизму протестантов конца 19 века. Если такое время – в общем, для всей территории США – вообще можно определить.¹

При чтении прошу учесть, что этим главам предшествует, а за ними последует довольно большой текст, то есть, еще раз – это вырванный текст из большой главы, которая на сегодня называется «Протестантский век».

Протестантский век

*«По приезде в Соединенные Штаты я больше всего
был поражен религиозностью этой страны»
Алексис Токвиль «Демократия в Америке» (1835 год)*

-1-

...Американская революция во многом была событием беспрецедентным: возможно, единственный раз в истории не подтвердился постулат Дантона о «революции, пожирающей своих детей». Чем дальше мы уходим от революционного времени конца 18 века, тем больше нам свойственно ее причины и успех объяснять уникальными политическими и социально-экономическими обстоятельствами, существованием аномально большого количества достойных людей, известных под именем

¹ Возможно, это легче сделать для определенного региона, например, Новой Англии.

«отцы-основатели», военным везением, ошибками англичан и прочими безусловно значительными факторами. При этом забывать о, возможно, самом главном факторе – религиозном.

Дело в том, что религиозность американского предреволюционного общества была тоже беспрецедентной.

По причинам, которые я объясню ниже, объяснение этого религиозного феномена лежит в истории Новой Англии, северо-восточного региона Соединенных Штатов, который включает сегодня шесть штатов: Массачусетс, Мен, Коннектикут, Вермонт, Род-Айленд и Нью-Гемпшир. Общеизвестно, что первые европейские переселенцы в колонии Новой Англии, эмигранты поколения «Mayflower» (1620-40-е), были религиозными изгоями – пуританами. Возможно, многие помнят ключевую фразу Токвиля в его до сих пор непревзойденной «Демократии в Америке» (1830-40-е): «Каждая религия связана с определенными политическими убеждениями в силу своего сходства с ними». Так кто же такие пуритане и какие у них были религиозные и политические убеждения?

По этому поводу, как ни странно, нет раз и навсегда принятого мнения. Объясняется это, с одной стороны, расплывчатостью термина «пуритане»² и, с другой – изменением религиозных и политических убеждений «условных» пуритан во времени. Попробуем для начала вспомнить основные факты.

В счастливые для Англии елизаветинские времена середины 16 века в Европе происходила гигантская религиозная революция. Одновременно как минимум в трех странах возникло народное движение протеста³ против засилья папизма, движение за реформу католической Церкви, сегодня для простоты олицетворяемое именами Лютера, Цвингли и Кальвина. В Англии, где антикатолическое движение предшествовало Германии, Франции и Швейцарии как минимум на пару веков, после всех пертурбаций возникла протестантская англиканская церковь, чисто английская, *компромиссная* смесь реформистского и католического христианства⁴. Но почти сразу, еще в Англии 16 века англиканская церковь в результате внутренней эволюции распалась на два фланга и центр.

2 Особенно в русскоязычной исторической литературе.

3 Отсюда и пошел термин «протестантство».

4 Теология Англиканской церкви сочетала протестантский догмат спасения личной верой и католический догмат о спасающей силе Церкви. Формально англиканская церковь не подчинялась Риму: архиепископа назначал король Англии. Все англикане присягали на верность королю.

На правом фланге ⁵ были пресвитериане, которые признавали право власти на определенное вмешательство в дела церкви, признавали и пользовались очевидным фактом того, что англиканская церковь являлась государственной структурой, регулируемой законодательством и финансированием государства.

В центре были так называемые конгрегационалисты, считавшие, что в каждой общине конгрегации должна быть независимая от государства религиозная жизнь, но признававшие роль архиепископа, епископов и теологического подчинения руководству церкви.

На левом фланге были религиозные революционеры, радикалы, по существу исповедующие чистый кальвинизм, сторонники полного очищения христианской теологии и практики от любых католических элементов, включая «руководящую и направляющую» роль церковной номенклатуры – в Англии их называли «сепаратистами», но в истории они более известны под именем «пуритане» ⁶. Пуритане на дух не переносили любое официальное церковное и государственное вмешательство как в частную, так и в общинную религиозную жизнь. В дальнейшем англиканская церковь распалась на еще несколько крупных конфессий, но в интересующее нас время возникновения первых американских колоний начала 17 века только пуритане совершенно ясно заявляли о несогласии с половинчатостью, незаконченностью английского христианского реформистского движения и, в свою очередь, совершенно ясно отвергались властью, церковью и обществом.

Пуританизм как отдельное движение возник еще во времена религиозных притеснений королевы Марии Католички (1553-58) ⁷. Английские пуритане прошли через относительно хорошие времена Елизаветы I и плохие времена Якова I и Карла I; в плохие времена в больших количествах они эмигрировали в Голландию, потом, с учреждением американских колоний, массово двинулись в Северную Америку. Протестанты всех трех направлений были в числе первых американских колонистов, но именно радикальная ветвь англиканской церкви, заселившая территорию нынешней Новой Англии, приобрела в колониях свою

⁵ В последнее время существует все больше исторических работ, где принято противоположное разделение ветвей, то есть, пресвитериан относят к левому лагерю.

⁶ От латинского слова, означающего «чистота».

⁷ Возможно, еще раньше, во времена Генриха VIII, жестоко боровшегося с римской католической церковью

полную независимость⁸ и сыграла решающую роль в нравственном и гражданском воспитании сначала населения Новой Англии, а затем, с определенными оговорками, и всего американского общества.

Пуритане, как и другие протестанты, верили в спасение личной верой, что предполагало индивидуальное (обычно – семейное) изучение Библии, но считали, что только абсолютная моральная чистота человека и общины является условием церковной чистоты. Основным доктринальным теологическим отличием пуритан от остальных протестантов было то, что соглашаясь с изначальной греховностью *всех*, они считали возможным бесконечную милость Бога – спасение в *этой* жизни немногих, *избранных*. Люди по-прежнему не могли знать, будут ли они спасены в этой жизни, только всезнающий Бог знал конкретные имена, но пуритане считали, что то, как конкретный человек проживал свою жизнь, насколько постоянно соответствовал в своем поведении и мыслях высшим нравственным идеалам и служению Богу, прославлению Бога, могло служить *индикатором* возможного спасения.

В отличие от католиков и большинства других протестантов для пуритан жизнь человека «в этом мире» имела смысл только при условии обретения *личного* счастья, что, кроме общепринятого «бытового» представления, в религиозном смысле означало прославление Бога, следование Его указаниям и распространение Его слова среди других. Из такого подхода выходило четыре важные следствия. Во-первых, для персонального отношения со словом божьим – Библией, интимного отношения с ее текстом, совершенно необходимой была всеобщая грамотность⁹. Это было причиной пристального и постоянного внимания к образованию¹⁰. Во-вторых, Его указания

8 Сыграли роль и удаленность и нежелание англиканского религиозного истеблишмента «связываться», так например, англиканская церковь никогда даже не пробовала назначать епископов в колонии, хотя какое-то время через институт «уполномоченных» пыталась влиять на пресвитериан и конгрегационалистов, впрочем без особого успеха.

9 Многие священники англиканской церкви даже в конце 16 века были безграмотными и очень бедными, прихожане обычно были и грамотнее и богаче. Это создавало определенный интеллектуальный разрыв между духовными желаниями религиозной общины и возможностями священников поддержать и направить такие желания.

10 В 1647 году в Массачусетсе был принят закон, обязывающий все населенные пункты иметь городского учителя. В 1648 году массачусетский закон постановил, что, «кроме Библии, все дети должны уметь читать, чтобы понимать основные законы страны... дети, не

на обретение счастья ставили в центр жизни и в центр общины семью. Счастливая семейная жизнь была *обязанностью* перед Богом. Отсюда совершенно естественно определялась роль женщины как духовно равной мужу перед Богом и попутно равной в изучении Библии, что автоматически предполагало образование девочек в семье. Пожалуй, одним из немногих формальных отличий пуритан от других протестантов было освящение брака как особого – высшего - отношения между супругами и Богом. При определенном принятом в 17-18 веках неравенстве роли мужчин и роли женщин в пуританском обществе (женщины не занимались общественной деятельностью) замужняя женщина, кроме решающей роли в воспитании и образовании детей¹¹, наравне с мужем участвовала в деловой и коммерческой семейной деятельности. В-третьих, как отметил Токвиль, говоря о сравнении католицизма и протестантизма: «Протестантизм [пуританство] же, напротив, обычно направляет людей не к равенству, а к независимости». Можно сказать (и этому есть огромное количество доказательств), что исторически сложившаяся в колониях форма религии создала и свою собственную гражданственность общества, которая отличалась прежде всего – духом свободы. Этот дух влиял на всю совокупность общественных отношений: религиозные, экономические и политические. О четвертом, важнейшем для этой статьи следствии мы поговорим немного позже.

Поскольку больше всего пуритане ценили независимость, не терпели какого-либо вмешательства «сверху» в свои личные и общинные дела, такое отношение работало и в другую сторону: пуритане как религиозное сообщество не вмешивались в дела государства и государственных учреждений. Независимость индивидуума-протестанта уважалась настолько, что абсолютно нормальным считались любой политический взгляд, любое участие в политической жизни, не противоречащее законам страны. И одновременно уважались все другие формы религиозности. Конечно, христианским конфессиям отдавалось значительное предпочтение, и, конечно, бывало всякое, но главным была «не столько истинность религии, которую исповедуют граждане, сколько сам факт исповедания какой-либо

обученные грамотности, вырастут варварами». К 1670 году все колонии Новой Англии приняли законы об обязательном школьном образовании. Пуританский Гарвардский колледж был основан в 1736 году, всего через 16 лет после высадки пилигримов.

11 Обязанностью матери было научить всех своих детей читать и писать, только после чего начиналась роль школы.

религии»¹². При том совершенно очевидном факте, что некоторые священники любой конфессии могли не признавать свободу совести, в колониях с самого начала их существования трудно было найти священника, который бы не признавал гражданской свободы¹³. Ставшее знаменитым в конце 18 века официальное – по Конституции - разделение религии и государства, было фактически нормой американских колоний уже в середине 17 века. Церковь не вмешивалась в партийную борьбу и не поддерживала какой-либо политической системы¹⁴, ограничивая свою деятельность, как я уже говорил, только воспитанием нравственности. В частности, священники никогда не избирались в какие-либо органы управления в общинах. Поскольку не существовало организованного давления на выбор массами того или иного политического устройства, то нормой гражданского общества стали дискуссия и эксперимент. Соседние города, не говоря уже о колониях-штатах, могли удивительно отличаться формой местного самоуправления. Но поскольку нравственность людей в этих городах и штатах не могла существенно отличаться, то рамки дискуссий и эксперимента были все же ограничены неким пределом, за которым наступало неуважение к тому самому «духу свободы» других людей. Это приводило к компромиссам, как стилю политической жизни, к невозможности переступить через общепринятые законы морали и нравственности.

Такое устройство сравнительно малонаселенной страны, где различные формы самоуправления становились широко известными и достаточно быстро проявляли свои хорошие и плохие стороны, сочеталось с отсутствием любой «обязаловки» и серьезными раздумьями грамотного и образованного населения о форме существования гражданского общества. В свою очередь, глубокая (я бы сказал – семейная) религиозность общества совершенно естественно исключала чрезмерную революционность политических радикалов, у которых практически не было возможности массово переубедить, “сломать” нравственность своих сторонников. Нравственное чувство большинства оказалось

12 Эта фраза Токвиля больше характеризует пуритан 19 века, в предыдущие века пуритане гораздо строже относились к противникам «истинной религии».

13 Что было справедливо и для пресвитериан и конгрегационистов.

14 Понятно, что в 17 веке не было политических партий в нашем понимании, но всегда существовали различные политические фракции, участвовавшие в муниципальной, судебной и штатной политической борьбе за власть, разрешенную в рамках особого английского законодательства для колоний.

органичным ограничителем радикализма меньшинства. Само представление о существовании пределов, которые не вольны переступать лидеры общин, а в недалеком будущем – законодатели, стало основой конституционализма будущего федерального государства. Как сказал Токвиль: “До сих пор никто в Соединенных Штатах не осмелился высказать мысль о том, что все дозволено для блага общества. Эта кощунственная идея родилась в век свободы, по-видимому, для того, чтобы оправдать всех будущих тиранов... Если закон позволяет американскому народу делать все, что ему заблагорассудится, то религия ставит заслон многим его замыслам и дерзаниям... Поэтому религию, которая в Соединенных Штатах никогда не вмешивалась непосредственно в управление обществом, следует считать первым политическим институтом этой страны”.

В определенной степени «первый политический институт», базирующийся на пуританской религиозной нравственности и морали, возник в результате навигационной ошибки капитана «Mayflower».

-2-

Первоначальное заселение колоний на американском континенте, естественно, не происходило хаотически.

В самом начале 17 века в Англии была образована частная «Вирджинская компания», состоящая из двух дочерних – «Плимутской» и «Лондонской». Примерно 600 человек и около 50 коммерческих фирм вложили свои средства в совместное предприятие и в 1606 году обратились к королю Якову I за дарственной на землю в Новом Свете. Лондонская компания получила дарственную на территорию примерно от нынешней Северной Каролины до Нью-Йорка, Плимутская – на территорию нынешней Новой Англии. На Лондонскую компанию сразу перекинулось и первоначальное общее название – Вирджинская, данное в честь королевы-девственницы Елизаветы. После этого последовало несколько экспедиций, первая из которых, основавшая колонию в Джеймстауне¹⁵ (король Яков в английском звучании – Джеймс), почти вся погибла в первые два года из-за

15 На самом деле – вторая. Первая экспедиция 1587 года в районе нынешнего острова Роанок в Северной Каролине погибла вся. Их было 118 человек. Эта была так называемая «Потерянная колония», следы гибели которой, возможно, нашли только в 21 веке на одном из соседних островов.

невозможности прокормить себя¹⁶ и от малярии¹⁷. Последующие экспедиции в район нынешнего штата Вирджиния были только слегка более успешными, но к 1620 году жизнь в Вирджинии понемногу наладилась. Экономически колонии спас табак, сельскохозяйственный продукт огромной ценности в начале 17 века. Но плантации табака требовали большого количества рабочей силы, которой в Вирджинии совершенно не было. Поэтому вторым экономическим фактором, позволившим колонистам выжить, были черные рабы, впервые завезенные голландскими кораблями в 1619 году. Социальный статус негров в первые десятилетия был весьма неопределенным: хотя большинство были рабами¹⁸, некоторые из них считались просто наемными работниками, другие служили свободными слугами в белых семьях, третьи сами были в статусе управляющих небольшими плантациями на подряде у более богатых плантаторов. Но еще более удивительным было то, что именно в 1619 году белые граждане Вирджинии «сбросили с себя авторитарное иго» первых руководителей колонии и провозгласили республиканскую форму правления, избрав себе губернатора и совет представителей при губернаторе. Таким образом рабство и республиканизм в английских колониях возникли практически одновременно.

Я не буду рассказывать о дальнейшей судьбе южных колоний и ограничусь только следующими замечаниями:

Южные колонии были чисто коммерческими предприятиями. Люди южных колоний переселились в Америку с простой целью заработать деньги. Среди них было сравнительно мало семей, их религиозность была важным, но не главным фактором переселения в Америку. Республиканская форма управления южными штатами в 17 веке была смешанной – республиканско-аристократической, на посты губернаторов и другие важные позиции внутри местного самоуправления попадали в основном бывшие английские аристократы – богатые

16 Руководитель колонии Джон Смит был авторитарным правителем, сторонником военной организации колонии и военной дисциплины. Он же провозгласил принцип существования колонии, основанный на библейском тексте: «Кто не работает, тот не ест». Тем не менее во вторую зиму в колонии съели всех собак и кошек.

17 Место для колонии было выбрано крайне неудачно: удаление от океана вглубь болотистого устья реки (Джеймсривер) объяснялась необходимостью оставаться незамеченными для проплывающих мимо испанских кораблей.

18 Рабство не было наследственным до 1664 года.

плантаторы. Форма участия граждан в самоуправлении определялась цветом кожи, временем жизни в колониях и, главное, размером земельной собственности. В общем и целом, жизнь в южных колониях была продолжением традиционной жизни в Англии при наличии нескольких существенных отличий. Главными были организация демократического самоуправления, почти полное отсутствие религиозного контроля и ощущение безграничных коммерческих возможностей из-за доступности и дешевизны земли¹⁹.

Именно в Вирджинию должны были в 1620 году приплыть те люди, которых мы сегодня называем пуританами. Это была совсем другая община, имеющая очень мало общего с общинами в Вирджинии²⁰. Ее история началась в 1608 году, когда 125 пуритан (сепаратистов) из городка Скруби на восточном побережье Англии темной ночью удрали из Англии в Голландию. Среди них был шестнадцатилетний Уильям Брэдфорд, будущий лидер американской общины. В Голландии не было религиозных притеснений, но не было и будущего. К ним относились как ко всем чужим, с неохотой давали работу, смеялись над детьми, говорящими с акцентом, не разрешали участия в общественной жизни. В конце десятих годов лидеры общины начали переговоры о возможном переселении в Америку с одним из главных владельцев «Вирджинской компании» сэром Эдвином Сандисом. Поскольку основной проблемой американской колонии было отсутствие рабочей силы, сэр Эдвин не очень интересовался религиозными убеждениями желающих переселиться. Тем более что он был впечатлен жестокостью общины: именно такие люди, по его мнению, были нужны в Америке. С помощью сэра Эдвина английская пуританская община в Голландии, к которой к тому времени присоединились некоторые пуритане-голландцы, получила дарственную на землю на самой северной границе Вирджинской территории, чуть южнее устья Гудзона, куда в сентябре 1620 года и направился «Mayflower». Капитан корабля умудрился промахнуться от места предполагаемой высадки на целых 200 с лишним миль (в северном направлении), и в ноябре бросил якорь в бухте Кэйп Кода, в месте, которое называли Плимут.

19 Надо уточнить, что речь идет о времени до Гражданской войны 1642-51, в результате которой был казнен король Карл I и было официально покончено с монополией англиканской церкви. Другое название Гражданской войны – протестантская революция.

20 Вирджинская колония была основана пресвитерианами.

Ситуация для пассажиров складывалась весьма неприятная. Пассажиры «Mayflower» оказались не в Вирджинии, где даже в ее северной части уже было несколько мелких временных поселений-постов, у них не было разрешения на землю в окрестностях Плимута и на носу была зима. Даже простой факт высадки на берег означал нарушение английского закона, что явно не входило в планы общины и вызвало протест у некоторых людей из экспедиции. Чтобы как-то определиться, руководитель общины Уильям Брэдфорд собрал на совещание всех взрослых мужчин, всего вместе с ним 42 человека. В результате на свет появился легендарный документ - «Мэйфлаурское соглашение»:

«Во имя Господа Бога, аминь. Мы, нижеподписавшиеся, верноподданные нашего великодержавного повелителя — короля Джеймса, Божьей волей короля Великобритании, Франции и Ирландии, защитника веры, etc. Предприняв во славу Божью и во имя распространения христианской веры и в честь нашего короля и страны путешествствие с целью основания первой колонии в северных частях Вирджинии, настоящим торжественно и со взаимного согласия, перед Господом Богом и перед друг другом обязуемся объединиться в гражданское политическое сообщество для установления более совершенного порядка и сохранения и осуществления вышеуказанных целей; и на основании этого составлять, учреждать и создавать по мере необходимости такие справедливые и основанные на всеобщем равенстве законы, ордонансы, постановления, конституции и обязанности, которые будут сочтены наиболее соответствующими и отвечающими интересам всеобщего блага колоний, и которые мы обязуемся должным образом соблюдать, и которым мы обязуемся подчиняться. В подтверждение чего мы поставили свои подписи под настоящим в Кейп-Коде одиннадцатого ноября восемнадцатого года правления Англией, Францией и Ирландией и пятьдесят четвертого года правления Шотландией нашей повелителя короля Джеймса»²¹.

Только после того, как все 42 человека поставили свои подписи, экспедиция высадилась на берег. Этих людей в американской истории знают под именем «пилигримы».

Такая в большой степени случайная географическая удаленность не только от английского короля и англиканской церкви, но и от устоявшейся Вирджинской колонии с ее уже

21 Перевод взят с сайта <http://www.grinchevskiy.ru/17-18/meyflaurskoe-soglashenie.php>

определившимся политическим и религиозным устройством, сыграла огромную роль в истории страны.

-3-

Пилигримы по разным причинам, прежде всего экономическим, не хотели полного разрыва с Англией и меньше всего хотели объявлять себя революционерами, о чем они ясно сказали в Соглашении. Возможно, они могли уговорить капитана проплыть еще 200 миль на юг. Возможно, они могли переселиться в предназначенное для них место в следующем году – сейчас об этом можно только гадать. Они явно выбрали не самое легкое и не самое очевидное решение; в общем и целом, высадившись в диком месте в начале зимы, они серьезно рисковали жизнью. Формально они нарушили английский закон. Практически разорвав связи с начальством в Вирджинии, они лишились реальной экономической поддержки. Причины такого решения тоже ясно видны в Соглашении: религиозная вера в Провидение, опора на общину, уверенность друг в друге, желание религиозной и общинной независимости. Тем не менее даже с помощью индейцев и бедных индюшек²² община вряд ли смогла выжить. Но новость о полной независимости пуританской колонии (тогда еще безымянной) стала широко известна в Англии, Голландии и Швеции, и практически сразу возникло широкое пуританское движение в этих странах в поддержку колонии и в организации новых экспедиций. Откуда, однако, взялась реальная возможность экономической и финансовой помощи? И почему вдруг в 1620-х нашлось так много желающих переселиться в Америку?

Дело в том, что начало 17 столетия было не только продолжением религиозной революции в Западной Европе, но и началом еще одной великой революции, изменившей мир – революции индустриальной. В Англии с середины предыдущего века, но особенно в начале 17-го, начала создаваться рыночная экономика, потребовавшая возникновения нового класса людей, независимых профессионалов «рынка» - юристов, торговцев, маклеров, промышленников. Одновременно с этим новая и очень прибыльная промышленность по производству шерсти изменила столетиями существовавшие условия жизни фермеров, вытеснив многих из них в бурно растущие города, где они чувствовали себя одинокими и брошенными. По понятным причинам официальная религиозная и государственная власть феодального государства не

22 Именно отсюда пошел праздник «Дня благодарения» с традиционной индюшкой на столе.

любила независимых и безземельных людей и вытесняла их на периферию жизни. Профессионалы, люди не бедные, обычно с кембриджским или оксфордским образованием, видели в церкви и государстве рычаг, ограничивающий их возможности в бизнесе. Новые люмпены, в свою очередь, видели общую враждебность власти. И то и другое способствовало к 1620-м годам резкому увеличению количества протестантов-пуритан и одновременно увеличению их влияния в обществе²³. И, конечно, желанию многих из них переселиться в Америку.

В 1629 году пуритане-колонисты в Плимуте получили королевскую дарственную на нынешний Массачусетс; к 1640 количество пуритан только в районе Массачусетского залива выросло до 10 тысяч. К концу века пуритане распространились далеко за пределы Массачусетса, стали ведущими общинами новых штатов Новой Англии, везде и всюду привнеся с собой не только свои религиозность и нравственность, но и тот «дух свободы», из которого, собственно говоря, и произросла знаменитая американская предприимчивость, та «рациональная основа, которая дала мощный толчок развитию капитализма»²⁴. Если суммировать, то благодаря именно пуританам образовался тот отличительный от других вид общества, который позже назвали «американской цивилизацией».

Но была еще одна особенность пуритан, о которой совершенно необходимо сказать и которая, возможно, была решающей в создании «революционной ситуации» в колониях, совершенно необходимой для практических свершений революции. В своей религиозной истовости, в своем религиозно-нравственном рвении они совершенно отчетливо и осознанно видели в себе новый избранный Богом народ, видели в себе евреев нового времени. И подобно евреям в Египте не хотели жить под властью фараона – короля Англии.

23 Что очень скоро приведет к «пуританской революции», см. сноску 20. В свою очередь, поражение революции и восстановление на троне Карла II, как и страшная общеевропейская резня Тридцатилетней войны, привели к массовой иммиграции как английских, так и европейских протестантов в Америку. Переселение французов-гугенотов, голландцев-меннонитов, «моравских братьев» из Чехии и отдельных протестантских ответвлений из Германии не смогло создать какие-либо устойчивые «национальные» регионы в Северной Америке: все они были быстро поглощены более организованными и многочисленными английскими пуританскими общинами.

24 www.textreferat.com/referat-7107-7.html page 5

В этом нет никакой натяжки. Вспомним, что полуторатысячелетнее владычество католической церкви практически уничтожило в массах религиозное знание и даже саму память о Ветхом Завете. Протестантизм фактически открыл для миллионов христиан совершенно неведомые им кладези религиозных основ, первоисточник их собственной религии. Реакция была неоднозначной. Лютер и его последователи увидели в Ветхом Завете, в существовании евреев первооснову своих бед, свою личную трагедию, свою невозможность Спасения. У английских протестантов в целом, а у пуритан в особенности Ветхий Завет и история евреев вызвали совершенно противоположное отношение - чувство сродства, общности цели, надежды на Спасение. Рациональное мышление английских протестантов искало рациональное объяснение существованию евреев. В конце концов, если евреи прошли через все и не потеряли уверенности в своей правоте, в правильности своего взгляда на жизнь, в истинности своего Бога, просто сохранились благодаря своей вере несмотря на все попытки эту веру уничтожить, то, скорее всего, они были правы. Значит, их пророки, их цари и судьи, их сама история должны быть внимательно изучены, значит из истории евреев надо взять рациональное зерно, в конце концов, сами евреи достойны уважения.

Из такого подхода последовало одно интересное следствие: древнееврейский язык и изучение Ветхого Завета были включены в программу всех средних и высших английских и, особенно, американских учебных заведений для мальчиков и юношей. Неудивительно, что большинство отцов-основателей могли читать на иврите и постоянно пользовались ссылками из Ветхого Завета в своих речах и письмах. Летучие фразы из «еврейской Библии», аллюзии, аллегории, еврейские истории стали быстро проникать в английский язык, стали общепринятыми и общепонятными во всех слоях общества. В определенной степени Ветхий Завет стал модой. Детям в протестантских семьях сплошь и рядом давали ветхозаветные имена – Израиль, Иошуа, Даниэль, Сарра, Ребекка. Новые поселения стали называть именами, ассоциируемыми с Ветхим заветом. Так в Новой Англии появились многочисленные Бетлехемы, Иерусалимы, Салемы, Сионы и Синаи.

Фактически английские протестанты отказались от *важнейшего* постулата католической церкви, утверждавшего, что Новый Завет отменил Ветхий; они заменили его своим собственным постулатом, согласно которому евреи остаются избранным народом и сохраняют Завет с Богом, но они -

протестанты - являются прямыми наследниками евреев в своем времени и в своем пространстве. Еще конкретнее – преследуемые церковью и государством протестанты считали, что они найдут спасение в исходе в Америку, в новую обетованную землю, в Новый Израиль, где Богом им поручено построить «Град на Холме», который станет образцом для народов и предметом зависти непосвященных в таинство их слияния с божественной волей. И, если все удастся как задумано, станет стартовой площадкой для личного Спасения.

Такой подход оказался крайне плодотворным и следующие примерно сто лет - продолжение 17-го века и начало 18-го – происходило развитие и в определенной степени объединение различных протестантских конфессий и различных схем местного самоуправления в более-менее однородное американское гражданское и религиозное сообщество, объединенное, без всякого сомнения, великой протестантской идеей. Это сообщество по-прежнему оставалось очень религиозным, по-прежнему в нем преобладала пуританская идея первичности независимости и личной свободы, которая постепенно распространялась на остальное население страны. Результатом такого движения были объявление Независимости, победа в войне с Англией и создание федерального конституционного государства.

Интересно, что во время Войны за независимость аллюзии к Ветхому Завету стали политическим жаргоном. Английский король Георг III был «фараоном». Атлантический океан превратился в Красное море, Джордж Вашингтон и Джон Адамс – соответственно в Моисея и Иошуа, ведущих народ к свободе. Все старались найти какие-то общие моменты в историях двух народов. Например, ректор Йельского университета Эзра Стайлс писал, что численность евреев у горы Синай была точно такой же, как население Америки во время провозглашения независимости: теологи того времени определили количество евреев исхода в три миллиона человек. Количество еврейских колен постоянно сравнивали с количеством штатов, разницу в одну единицу предпочитали не замечать²⁵. Даже на первом проекте официальной печати США, предложенной Франклином и Джефферсоном, были изображены евреи, идущие к Хаанану²⁶.

25 Впрочем, это давний спор – как считать колена: вместе с Леви или отдельно; считать детей Иосифа самостоятельными двумя коленами или нет.

26 PPF, стр. 85

Пуритане – в первую очередь, а остальные протестанты Америки – во вторую, оказались первым в истории христианства массовым и длительным по времени движением, которое с полным основанием можно назвать филосемитским²⁷. Из этого тоже следуют интересные следствия, о которых мы поговорим в свое время.

К середине 1810-х годов первая задача американских протестантов была решена. «Град на Холме» - американская государственная независимость, основанная на протестантской религиозной нравственности и морали - был официально возведен и защищен в трех войнах: войне за независимость, Англо-Американской и Берберских. Внешне аморфные, разделенные своими экономическими, политическими и географическими предпочтениями части страны превратились в единую страну, в которой к большому удивлению Токвиля религия, по закону отделенная от государства, обрела силу и влияние большее, чем в любом другом западном государстве. Но американская религиозная теория и практика, как вскоре стало понятно, смотрела не назад, а далеко вперед.

Начиналось то, что со временем назовут «протестантским веком» Америки...

Послесловие Бориса Дынина

По прочтении статьи Игоря Юдовича

Автор предупредил: *“Целью этой публикации является услышать критику. Как можно больше критики, информации и различных мнений”*.

Прежде всякой критики хочу сказать, что чтение статьи Игоря Ю. доставило мне интеллектуальное и эстетическое удовольствие. Не только благодаря прозрачному и ясному рассказу о духовных началах истории США, но также благодаря содержательности и многогранности изложения без предвзятой идеологической установки.

Игорю и мне уже приходилось в Гостевой информировать некоторых выпускников советской школы, что отцы Америки были верующими людьми от теистов разных направлений до деистов, включая и антиклерикальных христиан, как Томас Джефферсон и Бенджамин Франклин. И теперь Игорь

²⁷ Кальвинисты Голландии были, скорее, нейтральны. Потомки пуритан Новой Англии в конце 19 века и дальше, особенно богатые семьи Бостона, забудут об этой филосемитской традиции, возможно, под влиянием ирландцев-католиков, ставших важной демографической составляющей Новой Англии в конце 19 века.

замечательно обрисовал, *«возможно, самый главный фактор – религиозный»* в американской революции, не уменьшая значения политического и экономического факторов.

«В своей религиозной истовости, в своем религиозно-нравственном рвении они [пуритане] совершенно отчетливо и осознано видели в себе новый избранный Богом народ, видели в себе евреев нового времени». Так начался процесс по направлению к революции и новой республике (и, замечу мимоходом, к признанию важности «иудео-христианской» традиции для западной демократической цивилизации).

Между пилигримами и творцами Американской конституции пролегли 100 с лишним лет. За это время религиозная неистовость трансформировалась в новые формы организации общественной жизни и в религиозную терпимость, о чем так хорошо рассказал Игорь. Для меня нет сомнения, что это случилось благодаря, духу протестантизма, который даже при крайностях кальвинизма помнил свое начало в борьбе с авторитаризмом католической церкви, и особенно благодаря духу пуритан, восставших против авторитета англиканской церкви. Игорь имел основания специально остановиться именно на роли пуритан в становлении Нового Мира. Однако интересно заметить следующее. Среди 55 делегатов Филадельфийского (конституционного) конвента (1787) 49 были протестантами, но среди них 28 принадлежали к англиканской церкви (иначе, епископальной). Восемь пресвитериан, семь конгрегационалистов, два лютеранина, двое принадлежали нидерландской реформатской церкви кальвинистского направления и два методиста. В каком смысле протестантизм есть нечто монолитное в свете часто радикальных в глазах самих протестантов различий между собой (как, например, между англиканцами и пуританами)? Были среди делегатов и два католика. Уже это указывает на сложность духовных корней Америки, и я пытаюсь углубиться в них, зная, что Игорь не будет отрицать их сложности. Я должен заметить, что он обратился, прежде всего, к формированию духовных основ Америки в период до конца 18 века, но постановка вопроса побуждает меня пойти дальше во времени.

«Религию, которая в Соединенных Штатах никогда не вмешивалась непосредственно в управление обществом, следует считать первым политическим институтом этой страны». (Токвиль). Соглашаясь вместе с Игорем со словами Токвиля, я задаюсь вопросом о фундаментальности именно пуританской морали и заодно об исторической однозначности протестантской морали в целом в итоговом развитии американского общества в

последующие 200 лет. Вопрос вызван ощущением далеко не монолитности этой морали в рамках самого протестантизма, что открыло дорогу влиянию на становление американского общества других мировоззрений, религиозных и секулярных. Гений отцов Америки проявился в создании секулярного контрапункта религии в Конституции, причем таким образом, что религиозность (пуританская или нет) не выдавливалась из жизни народа, могла сохранять свой динамизм в разнообразии и, со своей стороны, оказываться поддержкой Конституции. **Обе составляющие стали основой морали и образа жизни народа.**

Учтем, дух протестантизма (если и был он чем-то единым в глазах, скажем, католиков) тоже не чуждался авторитаризма, что и вызвало Первое Великое Пробуждение уже в 1730-40-е годы. Америка не теряла религиозность, но ее протестантские основы обнаруживали тенденцию к кризисам, что опять проявилось во Втором Великом Пробуждении начала 19 столетия и далее на протяжении всей истории Америки.

Мне довелось привести в Гостевой статистику эмигрантов в Америку по странам происхождения на 1790 г. Я привел ее в ответ на замечание, что WASP «заложили все моральные основы страны». Статистка показывает, что в самом начале возникновения США белое англо-саксонское население, если и составляло большинство, то только 54%. Я возразил на «ВСЕ». Конечно, среди 46% были и протестанты, хотя и не WASP, но и не только протестанты. Вопрос: были ли последние пассивным меньшинством? Как они участвовали в мозаике общественной жизни, которая к началу 19 века довольно далеко ушла от сравнительно однородной жизни пилигримов? Среди отцов Конституции, как уже было сказано, большинство не было пуританами. Мировоззрение протестантов (в том числе, пуритан), сформировавшееся в Европе, не могло оставаться неизменным в совершенно новых географических, экономических и социальных условиях. К примеру, Игорь отмечает: *”Южные колонии были чисто коммерческими предприятиями. Люди южных колоний переселились в Америку с простой целью заработать деньги. Среди них было сравнительно мало семей, их религиозность была важным, но не главным фактором переселения в Америку“*

Насколько мораль оставалась единой среди протестантов Юга и Севера, городов и фермеров, торговцев-мореплавателей к Востоку и пионеров-землепроходцев к Западу, рабовладельцев и индустриалистов. Игорь отметил: *«В отличие от католиков и большинства других протестантов, для пуритан жизнь человека «в этом мире» имела смысл только при условии обретения*

личного счастья, что, кроме общепринятого «бытового» представления, в религиозном смысле означало прославление Бога, следование Его указаниям и распространение Его слова среди других». Но есть разница между стремлением к успеху, к счастью, к положению в обществе ради Бога и признанию Бога ради достижения успеха, счастья и положения в обществе. В том и другом случае усердная работа, семья, участие в общественной жизни имеют первостепенное значение, но моральные приоритеты сдвинуты. Не случайно, уже начиная с начала 19 века, политическая жизнь в Америке начала обнаруживать признаки коррупции, партийности (вполне оформившейся при Эндью Джексоном), популизма и прочего, в чем так часто упрекали Америку, и что имеет место по сей день.

Можно только согласиться с Игорем: *«Оказалось, что понятие протестантизма и, тем более, взгляд на его роль в истории Америки настолько зависят от описываемого конкретного времени в истории и от времени публикации источников, что создается впечатление о совершенно различных феноменах... В США, где на протестантизме в 17-19 веках была завязана буквально вся как социально-политическая, так и экономическая жизнь, само эволюционное изменение движения и отношения общества к нему стало очень важным фактором для революционного обновления самого движения»*. Но есть разница между завязкой и плодом, между дрожжами и выпеченным хлебом. Сколь много завязки в плоде, как сильно чувствуются дрожжи в хлебе?

За 60 лет с 1790 г. по 1850 г. население Америки выросло с 4 до 23 миллионов. Протестанты продолжали быть большинством (включая рабов). Однако эмиграция из Европы постоянно увеличивала процент не протестантского населения Америки, а также разделения внутри последнего. Интересно отметить что оценка (правда, задним числом) числа американцев, признававших свою принадлежность к определенной конфессии, в конце 18 века дает только 17%, но постоянно увеличивалась: в 1850 г. – 34%, в 1890 г. – 45% ... (http://en.wikipedia.org/wiki/Historical_religious_demographics_of_the_United_States).

Эти цифры согласуются с замечанием Токвиля, процитированным Игорем, о важности в Америке *«не столько истинности религии, которую исповедуют граждане, сколько сам факт исповедания какой-либо религии»*. В 1850 г. в стране было уже 18 главных конфессий. Эмиграция ирландцев-католиков после картофельного голода привела к тому, что католики стали самой

многочисленной конфессией в Америке, 1,6 миллиона, составляя тогда меньше 10% населения (в 2008 г. 23,9% населения идентифицировали себя как католики - http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Roman_Catholicism_in_the_United_States). Католики стали играть значительную роль в жизни Америки, даже сталкиваясь с взрывами антикатолических настроений, что повторится в истории евреев и антисемитизма в Америке (к слову, 22 президента имели ирландские корни, включая Обаму, хотя только Кеннеди был католиком).

Протестанты оставались в большинстве вплоть до начала 21 века, но можно ли говорить о некой единой протестантской этике и образе жизни на протяжении истории Америки, и о том, что пуританские мораль и образ оставались фундаментом этой истории? Если можно, то с какими уточнениями? А без уточнений история превращается в схему. В этом мой вопрос.

Я думаю, что история протестантизма в Америке в силу того, что его мораль и образ жизни не были монолитными и вынуждены были взаимодействовать с другими конфессиями, а также либерализмом, вплоть до атеистического, и привело к тому, о чем хорошо сказал Игорь: *”Нравственное чувство большинства оказалось органичным ограничителем радикализма меньшинства. Само представление о существовании пределов, которые не вольны переступить лидеры общин, а в недалеком будущем – законодатели, стало основой конституционализма будущего федерального государства”*. Вопрос: «Как формировалось это нравственное чувство, заключены ли его истоки только в пуританской морали?» Уверен, Игорь согласится, что не следует их заключать только туда, и тогда вопрос об уточнениях в постановке вопроса приобретает значимость.

К середине 18 века, и тем более к концу его, эмигрантов уже больше двигала *«простая цель заработать деньги»* (не только в южные штаты). И хотя большинство из них все еще были протестанты, мораль и идеалы пуритан отходили на периферию и вглубь общественного сознания. Но Игорь справедливо заметил: *в «продолжении 17-го века и начало 18-го – происходило развитие и в определенной степени объединение различных протестантских конфессий и различных схем местного самоуправления в более-менее однородное американское гражданское и религиозное сообщество, объединенное, без всякого сомнения, великой протестантской идеей»*. И в итоге эта идея, как я понимаю, отходя на периферию семейной жизни, общественной памяти (окрашивающейся мифами о пилигримах, как потом об отцах республики) и оставаясь завязкой, дала рождению невиданному

раньше плоду – американской республике с ее конституцией и устройством политической жизни. И в результате дух протестантизма соединился с духом республиканизма, демократизма, плюрализма, поддерживаемого именно политическим устройством республики, а также уникальными обстоятельствами географии и волнами эмиграции сильно различающихся этнически, культурно, религиозно людей. Многие из них были далеки от пуританской морали, идеалов, образа жизни, но все они вливались в республику, возникшую благодаря пуританской (шире, протестантской) завязи, хотя вряд ли сами пуритане узнали бы себя в расцветшем плоде и вряд ли вкусили бы его с удовольствием. Попросту (и грубо) говоря, пуританские мораль и идеал общественного устройства соединились с Конституцией и идеалом демократии во имя народа и от имени народа (с неопределимым понятием «народ», кроме «населения и власти, сохраняющих верность Конституции»). **Это противоречие (напряжение) стало одним из благословений Америки.**

Это важно понять не только с точки зрения более-менее адекватного взгляда в прошлое страны, но и для оценки ее настоящего и будущего. Стало расхожим местом говорить об упадке духовности и морали в Америке (не только в Америке, но мы говорим о ней) Этот упадок как раз видится в свете представлений о роли пуританской (протестантской) морали как базы существования Америки. Но если она уже как почти 200 лет не является единственно таковой, хотя и лежала в основании появления нового исторического феномена, каким является Америка, надо ближе присматриваться в ткань уже не завязи, а плода и смотреть, полна ли еще жизненной энергии ткань развившегося плода. Полны ли еще жизненной энергии политическое устройство, а вместе с ним и идеалы свободы, просвещения, богоподобия (пусть не в церковном смысле), которые принесли в Новый мир пилигримы, посмотревшие в Завет Бога с Израилем?

«Соединенные Штаты, с самых ранних колониальных времен своей истории добились права на свое существование в полном свете документов этой истории, и темные пятна на ней открыты всем для рассмотрения и порицания: лишение земли коренных жителей, создание своего богатства потом и болью рабов. На суде истории такие прегрешения должны быть сбалансированы созданием общества, верно правосудию и справедливости. Сделали ли Соединенные Штаты это? Искусшили ли они свои первородные грехи? Второй вопрос дает ключ к первому. В процессе создания нации могут ли идеалы и альтруизм

— *стремление построить совершенное общество – успешно соединиться со стремлениями к наживе и успеху, без которых невозможно создать динамическое общество вообще? Сумели ли американцы приготовить смесь правильно? Сумели ли они стать нацией, для которой справедливость имеет преимущество перед безграничным личным интересом? Американцы первоначально стремились построить «Город на Холме», подобный небесному, но оказались вынужденными строить земную республику – моделью для всей планеты. Сумели ли они оправдать свои дерзкие претензии? Действительно ли они стали моделью для человечества? И будут ли они продолжать быть ею в новом тысячелетии?»* (Пол Джонсон, «История американского народа»).

Эти вопросы звучат в истории Америки сегодняшнего дня, создавая напряжение в ее политической жизни, которую мы столь часто понимаем примитивно, не изучив или забывая ее истоки и динамику. Я думаю, пилигримы поняли бы вопросы историка. Можно быть уверенным, они многое отвергли бы в современной Америке, и как раз потому, что их мораль и образ жизни перестали быть основой жизни общества. Но его существование, действительно, завязано на них. Публикация Игоря Юдовича открывает смысл вопросов историка русским читателям, столь часто смотрящих на текущий момент истории Америки вне ее духовной истории.

P.S. Игорь: "Мне еще меньше понятна причина и конкретное время перехода совершенно очевидного филосемитизма протестантов 17 века к совершенно очевидному антисемитизму протестантов конца 19 века. Если такое время – в общем, для всей территории США – вообще можно определить".

Я думаю, пока евреев было мало, они оставались представителями библейских образов, пророчеств и т.д. Они были «идеями». Когда их число возросло, и появились этнографически, экономически, политически действенные религиозные общины, они стали «чужими», тем более в свете их успехов. Поскольку образы и пророчества не отвергнуты, то воплощение их в «чужих» стало восприниматься как вызов, неизбежно ведущий к мысли об особой «природе» евреев, от которой и секулярные евреи не избавлены. И именно потому, что евреи в начале истории Америки были «идеями», то при ее земном воплощении в еврейских общинах, реакция оказалась сильнее, чем реакция на иные группы «чужих», не бывших «идеями». Но изменения в общественной жизни, как еврейской, так и христианской, при еще не исчезнувшей атмосфере индивидуализма и толерантности, унаследованной от

первых протестантов в Америке сегодня смягчает антисемитизм. Я отдаю должное этим первым протестантам!

P.P.S. Вопрос о роли протестантской этики в формировании уникальной истории Америки, естественно, вызывает ассоциации с «Протестантской этикой и духом капитализма» Макса Вебера. По прошествии ста лет после ее публикации теперь многие не только оппоненты, но и наследники Вебера признают, что это была идеализация исторического процесса. Идеализация оказалась очень содержательной для постановки вопроса о происхождении капитализма и его осмысления. Но дальнейшие исследования вели к выявлению ее ограниченности. Сам Вебер заметил в конце своих заметок о «Религиозной основе мирского аскетизма»: *”Ибо несмотря на то, что современный человек при всем желании обычно неспособен представить себе всю степень того влияния, которое религиозные идеи оказывали на образ жизни людей, их культуру и национальный характер, это, конечно, отнюдь не означает, что мы намерены заменить одностороннюю «материалистическую» интерпретацию каузальных связей в области культуры и истории столь же односторонней спиритуалистической каузальной интерпретацией. Та и другая допустимы в равной степени, но обе они одинаково мало помогают установлению исторической истины, если они служат не предварительным, а заключительным этапом исследования“.*

Выделенные мною слова позволяют мне признать незаконченность моих заметок без чувства неудовлетворенности. Они были написаны не только от желания отдать должное работе Игоря Юдовича, но и от желания присмотреться к духовной истории Америки без предвзятых концепций. Иной раз кажется, что протестантские дрожжи теряют силу вызывать брожение в разросшейся массе общественного теста с многочисленными примесями, что брожение в обществе все больше вызывается сиюминутными интересами и страстями «мирской невоздержанности» (или эпикурейства в обиходном смысле). Сможет ли Конституция сохранять свою действенность без религиозной основы отношения американцев к себе, к стране, к миру? У меня нет ясных ответов на этот вопрос, и мне остается только поблагодарить Игоря Юдовича за побуждение еще раз, задумавшись над ними, углубиться в детали американской истории. Именно в детали. А такие социологические исследования как *American Grace: How Religion Divides and Unites Us* by Robert D. Putnam and David E. Campbell (2010) позволяют сохранять оптимизм.

P.P.P.S.

”Фактически, английские протестанты отказались от важнейшего постулата католической церкви, утверждавшего, что Новый Завет отменил Ветхий”.

Это единственное место в статье, которое я нахожу фактически неверным. Католицизм не есть ересь Маркиона и признает Ветхий (по христианской терминологии) Завет частью Божественного плана спасения человека, кульминирующего в Новом Завете - См. *Catechism of the Catholic Church* (CCC 121-123) Дело другое, что его не требовалось верующим изучать, и скорее даже избегать в течение долгих столетий, во имя предупреждения ересей.



Борис Тененбаум Муссолини

Главы из новой книги

Стратегия прямого действия

I



1918 году Бенито Муссолини исполнилось 35 лет. К середине четвертого десятка жизнь человека приобретает какие-то определенные черты - и он исключением из правил не оказался. Газета "Народ Италии", пришедшая было в упадок, с возвращением ее владельца стала подниматься в тиражах. В поправлении дел Муссолини помогали сами разные люди - кто по идейным соображениям, а кто и по чисто деловым. В эту последнюю категорию входил британский джентльмен, по имени Сэмюэл Хоар.

Человек он был неординарный.

Всего на три года старше, чем Муссолини, он в жизни преуспел куда больше. Муссолини, "...*трибун итальянского национализма ...*", в политике был всего лишь частным лицом.

А Сэмюэл Хоар попал в Парламент Великобритании еще в 1910, когда ему было всего 30 лет.

Но у Хоара был и другой, поистине уникальный опыт - он был разведчиком, сотрудником организации, известной в Англии как "MI-6" – "*Military Intelligence, section 6*", или, в переводе на русский - "*Военная Разведка, секция 6*".

В Англии она известна еще и как "*Secret Intelligence Service (SIS)*" - "*Секретная Разведывательная Служба*". Это была новая структура, ее в глубокой тайне создали только в 1909, в рамках преобразования всей военной и разведывательной системы Великобритании.

Тайна была настолько глубокой, что официально организация вообще не существовала.

Сэмюэл Хоар привлек внимание SIS в 1916 году - он с самого начала первой мировой войны служил в английской армии, прошел офицерские курсы, но на фронт по состоянию здоровья не попал и остался в Англии на штабной должности.

Штабистов вообще-то немало - но Хоар был выпускником Оксфорда, обладал блестящим интеллектом, как член парламента, прекрасно разбирался в политике, и вдобавок еще и говорил по-русски.

Это последнее обстоятельство решило дело - Сэмюэл Хоар в 1916 году был отправлен в Петербург, в качестве представителя Британии по связям с российской разведкой. Это была очень непростая работа - особенно потому, что в ней имелась и неофициальная часть. Под бременем военных неудач престиж династии Романовых пошатнулся, думская оппозиция становилась все смелее и смелее - и в интересах Великобритании было установление конфиденциальных связей и в этих кругах. Сэмюэл Хоар преуспел в своей миссии в обеих ее частях - и официальной, и неофициальной.

Он знал очень многое, что не попадало на страницы газет, и смог, например, сообщить на родину такие детали убийства Распутина, что даже извинился перед своим начальством за их сенсационность, прибавив в конце донесения:

"Я, право же, не имел в виду писать в стиле "Дэйли Мэйл".

Ну, что касается "Дэйли Мэйл" - Ежедневной Почты " - то так называлась в ту пору довольно скандальная газета бульварного толка, а что касается стиля, то руководство не поставило своему сотруднику в вину сенсационные подробности, а уж скорее оценило точность и оперативность доставленной информации.

Во всяком случае, Сэмюэл Хоар был с повышением переведен из Петербурга в Италию, с задачей - сделать все возможное для того, чтобы *"...удержать разваливающийся после Капоретто итальянский фронт..."*.

Италия в 1917 и в самом деле разваливалась на части.

В такой отчаянной ситуации надо было принимать меры самые что ни на есть экстраординарные - и Сэмюэл Хоар усмотрел некие возможности в финансировании итальянской прессы. В частности, он обнаружил Бенито Муссолини - пламенного публициста, горячие слова которого были обращены к народу Италии с призывом:

"...перенести все, но выполнить свой долг...".

Как показало в высшей степени объективное исследование, этот голос находил путь к сердцам итальянцев - и Сэмюэл Хоар взял на себя финансирование газеты "Il Popolo di Italia", в размере 9 с половиной тысяч фунтов в неделю. Немалая сумма, на теперешние деньги примерно 600 тысяч долларов.

И это действительно помогло.

II

Получив такой солидный толчок, дела газеты пошли на лад. К концу 1918 Муссолини стал прилично зарабатывать. Разрыв с социализмом пошел на пользу его внешнему облику - теперь он регулярно брился, хорошо одевался и даже носил рубашки с крахмальным воротником. Как правило, ему их покупала синьора Маргарита Царфати - в свои сорок лет ей нравилось баловать любовника, даже если он в этом и не нуждался. В каком-то смысле это создавало еще одно звено в сложной цепочке отношений, которые их связывали.

Цепочка и вправду была сложной.

Если Маргарита Царфати состояла в законном браке, то семейное положение Бенито Муссолини выглядело довольно запутанным. Ида Дальзер в ноябре 1915 года родила ему ребенка, названного Бенито Альберто Муссолини. Считалось, что родители ребенка поженились в 1914, хотя документы, связанные с браком, так и не были найдены.

Однако в декабре 1915 Бенито Муссолини, счастливый отец новорожденного, посредством гражданской церемонии вступил в другой брак, на этот раз с Ракеле Гуиди, от связи с которой у него уже была дочь Эда - а к 1918 она родила ему еще двух сыновей, Витторио и Бруно. Все это очень походило на двоеженство, и понять, какая из этих двух женщин была законной женой Бенито Муссолини, очень нелегко.

Может быть, этого не знал точно и он сам?

Во всяком случае, итальянская военная администрация рассудила дело в пользу Иды Дальзер, и пока он был в армии, регулярно выплачивала ей положенную военную пенсию.

А когда Муссолини был ранен, извещение об этом тоже послали именно ей.

В 1918-1919 личная жизнь Бенито Муссолини вертелась в некоей неопределенности - его два почти одновременных брака сочетались с деловым, идейным и любовным союзом с Маргаритой Царфати, да еще и с неким количеством случайно подвертывающихся связей.

Может быть, эта неопределенность вообще отражала нечто в его личности? Что-нибудь, связанное с отвержением всех и всяческих формальностей во имя прямого действия?

Будь это действие актом любви или актом политики - все равно?

Такая мысль приходит в голову, когда считаешь текст выступлений Муссолини в марте 1919 года, на учредительном

съезде в Милане новой организации, под названием *“Итальянский союз борьбы”* (итал. *«Fasci italiani di combattimento»*):

“...Мы позволим себе роскошь быть одновременно аристократами и демократами, революционерами и реакционерами, сторонниками легальной борьбы и нелегальной, и всё это в зависимости от места и обстоятельств, в которых нам придётся находиться и действовать...”.

Кстати, он отказывался признать свой союз фашистов партией, и считал его *“...движением фронтовиков...”*. Вообще фронтовиков - любых, правых или левых, католиков или антиклерикалов, вроде него самого. Муссолини, по-видимому, считал, что такая неопределенность даст "фашистам" дополнительные шансы. Целевой аудиторией для него были солдаты штурмовых отрядов, "ардитти" - они сами были склонны к стратегии прямого действия.

А действие это проявилось почти немедленно после съезда - 15 апреля 1919 года редакция и типография газеты *"Аванти !"* были разгромлены фашистами.

К выборам, намеченным на ноябрь 1919, Муссолини надеялся обеспечить им множество голосов.

III

Кто знает - может быть, у него это и получилось бы. Но в сентябре 1919 Габриэле д'Аннунцио провел свой рейд на Фиуме, и тем надолго приковал к себе внимание *“...пламенных патриотов, готовых сражаться за величие Италии ...”* - тех самых людей, на которых рассчитывал Муссолини.

Он оказался в сложном положении.

С одной стороны, конкурировать с д'Аннунцио напрямую он не мог - они были людьми разного политического веса. С другой - отдавать без спора первое место в движении, которое он сам собирался возглавить, Муссолини тоже не хотел. И ему пришлось вести тонкую редакторскую линию: *"Il Popolo di Italia"* всячески воспевал отважных борцов Фиуме. А в частном письме Муссолини и вовсе провозглашал д'Аннунцио почетным президентом будущей Республики Италия.

С другой стороны, тот факт, что д'Аннунцио назвал Муссолини трусом за его отказ принять участие в экспедиции на Фиуме, был проигнорирован - обижаться в данный момент было не с руки.

Уж больно неудачно сложились для него ноябрьские выборы 1919.

Фашисты собрали в сорок раз меньше голосов, чем социалисты, в родном Предаппио не нашлось даже одного

человека, который подал бы голос за фашистов, а вдобавок ко всему сразу выборов полиция предъявила им обвинения в создании тайных запасов оружия. Муссолини был арестован, вместе с еще целым рядом людей, собравшихся под знамя его движения - и все они были выпущены на свободу уже на следующий день.

Правительство решило *"...не ссориться с фронтовиками..."*.

Бенито Муссолини из всего происшедшего сделал определенные выводы. Во-первых, он решил, что выборы - штука ненадежная. Во-вторых - что насильственные действия не будут встречены применением серьезной полицейской силы. В-третьих, ему стало понятно, что надо использовать козырь, который есть у него в руках - газету "Народ Италии".

Муссолини был прекрасным журналистом.

Он мог написать статью за 20 минут - и она выходила у него уже в форме, готовой для печати. За логикой аргументов автор не гнался, главный упор делался на полемический напор и воздействие на чувства читателя, а вовсе не на его разум.

Что до чувств, то их хватало по обе стороны раздела на "левые" и "правые", и аргументы имелись у обеих сторон. Стоимость жизни в Италии по сравнению с 1913 взлетела вчетверо. В июне 1920 пало правительство, премьер-министром в пятый раз стал Джолитти - и первым делом он начал тушить социальный пожар.

В индустриальных центрах Италии, в Турине и в Милане, левые профсоюзы начали захваты фабрик. Делалось это с участием полумиллиона рабочих - и даже владелец ФИАТа (Fabbrica Italiana Automobili Torino), Джованни Аньелли, был вынужден принять некую форму рабочего контроля на своих предприятиях.

Правительство в целом встало на сторону рабочих.

Префект Милана получил инструкции, в которых ему предписывалось объяснить владельцам предприятий, что государство не прибегнет к силе только для того, чтобы спасти их деньги - с профсоюзами надо договариваться. Уроки того, что случилось в России в 1917-1918, заключались в том, что революции начинаются с конфронтации бастующих с полицией - следовательно, такого рода вещи надо предотвращать. Такая тактика увенчалась успехом - к концу сентября 1920 захваты заводов прекратились. Премьер имел все основания быть довольным - революцию слева он остановил. Но "люди

собственности", оставленные им без защиты, решили, что если государство их не защищает, они должны сделать это сами.

Революция пришла справа.

Взлет

I

Классическая ленинская формула о революциях, которые случаются, когда "*...верхи не могут, а низы не хотят ...*", все-таки слишком проста. Жизнь совершенно не обязательно укладывается в такую простую бинарную форму, ибо и "верхи", и "низы" вовсе не монолитны.

"Революция справа" началась в Италии как реакция на "революцию слева", и ход ее можно рассмотреть на конкретном примере - жизни и карьере одного человека, по имени Итало Балбо.

Он родился в 1896 году, вырос очень патриотичным юношей, буквально бредил подвигами Гарибальди, и на войну в 1915 ушел добровольцем - ему было тогда всего 19. Итало Балбо служил в части альпийских стрелков в качестве кандидата в офицеры. Он был быстро произведен в лейтенанты, а в 1917 - опять добровольцем - переведен на курсы летчиков.

Балбо отправился к новому месту назначения 16 октября.

А через несколько дней после этого германско-австрийское наступление прорвало итальянский фронт под Капоретто. Тогда без всякого приказа Итало Балбо кинулся назад, в гущу сражения. Своего батальона он не нашел - тот был буквально уничтожен - но Балбо примкнул к другой части, в качестве лейтенанта возглавил ударный взвод, и сражался так, что к концу кампании получил три медали за доблесть и чин капитана.

В 1918 Балбо демобилизовался, вернулся в университет, и окончил его с двумя степенями сразу - в юриспруденции, и в так называемых "социальных науках". Предметом его изучения было взаимодействие индивидуального человека с обществом на примере борьбы за объединение Италии.

И это изучение очень скоро ему пришлось продолжить на практике.

Еще в университете Итало Балбо очень удачно женился. Он оказался избранником девушки из богатой аристократической семьи, у которой были земельные владения вокруг Феррары. И когда в этом регионе начались "*... аграрные беспорядки ...*", они не приняли форму поджога поместий в основном благодаря ему. У такого человека, как Итало Балбо, размышление переходит в действие просто моментально - а уж начав действовать, он действует до конца.

Сообразив, что на полицию полагаться нечего, Балбо организовал собственные "... команды поддержания порядка...". Команда на итальянском называется "Squadra" - "сквадра" - и "сквадристы" Балбо оказались чем-то вроде местной полицейской службы, да еще и не стесненной законом.

Что интересно - кадрами ему служили вовсе не обязательно люди вроде него самого, выходца из более или менее богатой семьи. К "сквадристам" часто присоединялись владельцы небольших участков земли, типа Алессандро Муссолини, отца Бенито. Подъем сельских профсоюзов поденщиков им очень не понравился - а на руку они были скоры, и, так сказать, инстинктивно склонялись к "...стратегии прямого действия...". Таких умных слов, они, конечно, не знали - но все, что было нужно - это вождь и организация. 25-летний Итало Балбо предоставил им и то, и другое.

Оставалось понять, на кого будет ориентироваться он сам.

II

Политическая ситуация в Италии того времени была запутана так, что дальше некуда. Правительство Джолитти пыталось не только погасить пожары, возникающие внутри страны, но и как-то уладить международные кризисы вокруг нее - и первым из них оказался скандальный случай с Фиуме.

В конце концов в городке Рапалло, под Генуей, была достигнута договоренность между Италией и новым "славянским королевством" - Королевством Сербов, Хорватов и Словенцев, сокращенно КСХС). Стороны определились с границей, условились, что Триест останется итальянским, основная часть восточное побережья Адриатики будет славянской - а Фиуме признается вольным городом, как бы государством, соединенным с собственно Италией узкой полоской суши.

Габриэле д'Аннунцио это соглашение не признал.

Он заявил, что будет отстаивать Фиуме до конца, с лозунгом "*Фиуме или смерть*" - а когда правительство Джилотти попыталось его урезонить, объявил Италии войну.

Трудно сказать, на что он рассчитывал.

Скорее всего, на отказ армии и полиции выполнить приказ об очищении Фиуме - но приказ был выполнен. В ходе так называемого "Кровавого Рождества" 1920 года в городе было убито 3-4 дюжины людей, в основном из числа сторонников д'Аннунцио, почему-то решивших, что их вождь и вправду готов сражаться - и затянувшееся представление оперетты "Фиуме" закончилось.

Д'Аннунцио остался жив - правда, заявил, что никогда не утешится.

Его не бросили в темницу, как он предрекал, и вообще особо не преследовали - но бесславный конец его предприятия вычеркнул имя д'Аннунцио из числа серьезных кандидатов на роль объединителя фашистского движения.

Почти немедленно оказалось очевидным, что есть другой кандидат, посерьезнее, и зовут его Бенито Муссолини. На предстоящих в мае 1921 года выборах Джолитти предполагал сколотить так называемый "национальный блок" - предстояло соперничать с социалистами, расколовшимися на коммунистов под водительством Антонио Грамши, и социалистов умеренных, но все равно опасных. У Национального Блока не хватало голосов для образования парламентского большинства.

Джолитти, многоопытный политик, уже в пятый раз исполнявший обязанности премьер-министра, решил добавить в этот блок новую фракцию.

С этой целью он обратился к Муссолини.

III

В итальянский язык где-то в самом конце 19-го века попало слово "рас" - высший военно-феодальный титул в Эфиопии. Дело тут было в том, что с 1890 года Италия сформировала свою первую колонию в Африке, Эритрею, а в 1895-м попыталась ее расширить за счет соседней Абиссинии.

И получилось нехорошо...

В 1896, как раз в том году, когда родился Итало Балбо, итальянская армия была разбита в сражении при Адуа. Это был своего рода рекорд - никогда еще европейская армия не терпела поражение в регулярном сражении с африканцами. И пришлось Италии признать независимость Абиссинии, и уплатить выкуп за возвращение нескольких тысяч пленных - в общем, унижения тогда итальянцы наелись досыта.

Но экзотическое словечко "рас" в итальянский язык все-таки попало.

Нечто похожее, собственно было и в русском - после кавказских походов Ермолова слова вроде "кунак" или "джигит" оседали в русском, в несколько ироничном значении "закадычный друг" и "лихой удалец". Так вот и "рас" осел в итальянском, и на русский с долей приближения его можно было перевести как "бугор", или "самая главная шишка".

Это определение хорошо подходило к Итало Балбо - в Ферраре он был "рас".

Но были и другие - например, в Кремоне. Его звали Роберто Фариначчи. и признавать главенство Балбо он совершенно не собирался. Имелись, наконец, и способные, энергичные люди, которые думали в том же направлении, что и "расы", но собственными "частными армиями" пока не обзавелись - и все они смотрели теперь на Милан, и на миланскую газету "Народ Италии", и на издателя этой газеты, Бенито Муссолини - и видели в нем лидера.

Он очень изменился за последние пару лет. Усилиями Маргариты Царфати он стал одеваться как джентльмен - а еще стал брать уроки фехтования и верховой езды. И даже сфотографировался разок на коне.

И объявил, что "...*учится летать*...".

Это, по-видимому, была сознательная калька с Габриэле д'Аннунцио - летом 1920, еще до ликвидации "лирической диктатуры" в Фиуме, Муссолини написал ему, что полеты захватили его целиком, что необходимо уничтожить тиранию пространства, и что с этой целью он собирается принять участие в авиаперелете Рим-Токио.

Это - интересное заявление.

Тут как в малой капле воды видна смесь того, что потом станет фирменным рецептом Муссолини: и самореклама, и "облик героя", и подражание кому-то или чему-то, чем он искренне восхищается - скажем, полетом над Веной в 1918, проделанным Габриэле д'Аннунцио - ну, и объяснение того, почему он не может приехать к великому герою лично и появиться у него в Фиуме.

Занят - готовится лететь в Японию...

Русскоязычному читателю тут может послышаться и еще одна нота, совсем уж комическая – чем, собственно, авиаперелет "Рим-Токио" так уж отличается от автопробега "Москва-Васюки"?

Но роман Ильфа и Петрова еще не был написан, и по-русски Бенито Муссолини в любом случае не читал, и вообще, в 1921 году ему было не до литературы.

У него появились совсем другие перспективы...

IV

В мае 1921 года Муссолини стал членом парламента Италии, и не просто членом парламента, а главой целой фракции из 35 депутатов. Одним из депутатов, пришедших в парламента вместе с Муссолини, был его земляк, юрист из Имолы, городка примерно того же размера и значения, что Форли. Звали его Дино Гранди, он был еще очень молод, всего 26-и лет, и про текущую в Италии "... *вооруженную классовую борьбу* ..." знал не понаслышке. В 1920-м в Болонье были волнения по поводу

избрания мэра - на выборах победил социалист, но патриоты итоговых результатов не признали, провели шествие по городу.

Дело дошло до стрельбы.

Дино Гранди попал в засаду, чудом остался жив - и теперь в парламенте стоял по правую руку от Муссолини, уверенный в том, что парламентскими спорами проблемы не решить.

Бенито Муссолини думал точно так же.

После волнений в Болонье, когда фашисты хоронили погибших там мучеников, он в ноябре 1920 высказался в том смысле, что *"...партия социалистов - это русская армия, стоящая лагерем посередине Италии ..."*, и призвал всех благомыслящих итальянцев сплотиться вокруг фашистов - патриотических союзов фронтовиков.

В общем-то, нечто в этом духе и делалось без всяких призывов.

Фашистские "сквадры" в Тоскане снабжались оружием посредством местной полиции. А в Милане явившийся туда из провинции за инструкциями поклонник был в редакции "Народа Италии" встречен следующим образом: Бенито Муссолини времени на беседу с ним не нашел, но после двухминутного излияния преданности вручил посетителю записку с адресом, по которому и велел обратиться. Там тот получил два узелка с револьверами, и отбыл домой - под огромным впечатлением от *"...чуда решимости и прямого действия..."*.

В соответствии с предвыборными расчетами партий, входивших в Национальный Блок, фашисты стали действовать как *"...вспомогательная полиция, не связанная законом..."*. Но сплошь и рядом они взяли на себя полномочия и пошлере, и встали не столько *"вместе с полицией"*, сколько вместо полиции.

Национальный Блок, придуманный Джолитти, оказался столь хрупким, что развалился буквально накануне выборов. Партии, входившие в него, передрались между собой. Джолитти усидел в кресле премьера только до июля 1921, а премьером оказался И.Бономи, бывший социалист, позднее - министр в правительстве Джилотти. Он рассматривался как "промежуточный лидер", человек без особого личного авторитета. Одним из факторов падения Джолитти было то, что Муссолини здраво поглядел на положение - он отказался голосовать вместе с правительством.

Его "фракция фашистов" перешла в оппозицию.

Марш на Рим, 1922

I

По результатам выборов от 15 мая 1921 года в парламенте Италии оказалось 275 депутатов от Национального Блока. Поскольку социалисты получили 122 мандата, а коммунисты и вовсе всего лишь 16, то получалось, что "националисты" получали твердое большинство - если б только они не передрались между собой. В этом смысле фракция фашистов не была исключением из правил - разве что шла впереди прочих по интенсивности. Когда новый парламент собрался на свое первое заседание, фашисты выкинули из зала депутата-социалиста, обвинив его в дезертирстве во время войны.

Но что действительно ставило ее в особое положение, так это полная неопределенность самого термина - фашизм. Понятие было очень уж расплывчатым.

Фашизм - что это, собственно, такое?

Ну, в самых общих выражениях - фашизмом в то время именовалось всякое проявление бурного национального патриотизма - но в каждой провинции имелась своя собственная версия того, к чему же этот патриотизм следует приложить.

Скажем, в Тренто или в Триесте фашизмом называлось активное искоренение всего, что напоминало о недавнем правлении Австрии. Что, как ни странно, включало в себя подавление не только немецких, но и славянских союзов, и даже библиотек. Австрийские власти, как-никак, отличались терпимостью, и ко всем этническим "лоскутам" своей "лоскутной Империи" относились одинаково.

Однако Австро-Венгрия больше не существовала, а итальянские фашисты настаивали на введении полной итальянской идентичности.

Являлась ли требование такой идентичности фашизмом?

В какой-то степени ответить следовало положительно, но в долине реки По - скажем, в Ферраре, где действовал Итало Балбо - под фашизмом понималось вовсе не "...подавление славян..." - которым в Ферраре неоткуда было и взяться - а разгром левых профсоюзных организаций.

То же самое происходило и в Арrezzo, и в Умбрии, и в Тоскане.

Тут дела напоминали скорее вялотекущую гражданскую войну - если с января по апрель 1921 в "беспорядках" было убито больше сотни человек, то с апреля по май, всего лишь за один

месяц, к ним добавилось еще столько же - а счет раненых и покалеченных превышал эти цифры вчетверо.

В индустриальный городок Эмполи, неподалеку от Флоренции, 1-го марта 1921 было устроено вторжение фашистов. Ядром их отрядов стали суперпатриотически настроенные студенты, пополнившиеся множеством фронтовиков - и они разгромили в Эмполи все учреждения социалистической партии Италии, под лозунгом: *“Убирайтесь, или вас похоронят!”*.

И вот на фоне всего этого Бенито Муссолини выступал в своей газете как человек, который может быть *“...всем для всех ...”*, и говорил - с огромной энергией и решительностью - на дюжину ладов сразу.

Больше всего он упирал на то, что *“...следует восстановить порядок на основе общенационального согласия...”*. И говорил, что государственное регулирование экономики перешло все границы. Рычаги государства должны быть усилены в политике, но безусловно ослаблены в экономике - это не его компетенция.

То, что Муссолини говорил по поводу экономики, было буквально списано с программы либеральной партии, но не заботился о целостности мировоззрения - только о практике:

“...Италия - бедная страна, ей незачем тягиваться в войну классов. Она должна производить...”.

Социальные проблемы следует решать расширением производства. Земля действительно должна принадлежать тем, кто ее обрабатывает - но движение в эту сторону должно быть достигнуто увеличением доступной крестьянам земли, и *“...непрерывно в рамках закона ...”*. Это требование звучало несколько странно в устах лидера столь боевого движения, как фашизм - но, как уже и было сказано, Муссолини не смущали противоречия.

Антонио Грамши, глава итальянских коммунистов, говорил, что *“...фашисты - обезьяны, и производят они не Историю, а поток новостей...”*. Интересно, что примерно такой же точки зрения придерживался и мудрый старый Джолитти. Он говорил, что фашисты - как фейерверк. Они делают много шума, но позади себя не оставляют ничего, кроме легкого дыма.

Ну, он ошибался.

II

И Грамши, и Джилотти недооценили лидера нового движения. Муссолини не смущало то, что его фракция составляет всего лишь около 7% от депутатов парламента. Он считал, что это неважно. Главное - массовая поддержка фашизма. Его депутаты - *“...аристократия действия...”*, и это они понесут знамя

итальянского национализма, и станут организующим началом нового, истинно народного итальянского государства.

Ловкость движений при этом он проявлял такую, что ему позавидовал бы любой танцор.

21 июля в своей газете он вдруг заговорил о желательности национального примирения на базе перемирия с социалистами, а 24-го сообщил своим читателям, что присоединение к движению слишком многими используется как легкий путь к насилию и сведению личных счетов.

Такое заявление, конечно, совершенно поразило людей вроде Итало Балбо - но Муссолини принял во внимание факт вооруженного столкновения фашистов с полицией в городке Сарзано, и решил, что градус насилия надо бы поуменьшить.

Последователи Муссолини за ним не всегда поспевали, и именно потому, что пыл их был велик, а намерения - искренними и идущими от сердца.

В газете "Итальянская Жизнь" некто Маффео Пантелеоне выразил мысль, что Бенито Муссолини предал идеалы движения, отказался от священного крестового похода против большевизма, и, скорее всего, *"...нал жертвой тлетворного еврейского влияния..."*.

В свое время считалось, что это была персональная шпилька в адрес Муссолини - роль в его жизни Маргариты Царфати, богатой и образованной дамы из еврейской семьи, была более или менее известна. Но на выступление *"... искренне фашиста Пантелеоне ..."* можно посмотреть и по-другому - это превосходная иллюстрация к тезису о том, что само по себе это движение не было оформлено как что-то определенное.

В его рядах видное место занимала Элиза Майер Риццоли, еще в 1911 году, во время войны в Ливии награжденная как руководитель итальянских медсестер, получившая еще одну правительственную награду после Великой Войны за организацию полевых госпиталей, и вступившая в ряды фашистов в январе 1920 года - это было отмечено в газете "Народ Италии" как успех движения.

Еще бы - лучшие люди страны вливались в его ряды.

А Элиза Майер Риццоли, дочь еврейского финансиста и венецианки из знатной патрицианской семьи, самим д'Аннунцио признававшаяся настоящим патриотом, истинным *"...легионером новой Италии ..."* - куда поважнее какого-то там Пантелеоне.

Но Бенито Муссолини, право же, было не до мелких споров.

Он гремел на страницах "Народа Италии", требуя единства. Всякое деление на буржуазию и пролетариат есть ложный путь, уводящий страну в нескончаемые дебри классовой войны. Выбор между монархией и республикой следует оставить на будущее, сейчас он несвоевремен.

Преуменьшение роли Церкви - часть программы так называемых "левых фашистов" - следует ограничить, ибо "тело Церкви", католики, составляют 400 миллионов человек, живущих во всем мире, и этот факт следует принимать во внимание.

Да, Фиуме следует аннексировать, не обращая внимания на бывших союзников - их полезность для дела Италии уже истекла. Разгром старых Империй - Германской, Австрийской, Российской - открывает перед итальянской дипломатией хорошие перспективы, на их обломках можно поискать новых друзей.

Муссолини говорил, что фашизм в настоящий момент имеет короткую историю - он начинал ее отсчет с 1915, момента вступления Италии в войну - но еще не имеет твердой доктрины.

Ему подходит незашоренная широта взгляда на вещи.

Слово с делом в данном случае у Муссолини не разошлось - 2 августа 1921 года было подписано соглашение с *"Confederazione Generale del Lavoro"* - *"Генеральной Конфедерацией Труда"*, главным социалистическим профсоюзом Италии. На следующий день в "Народе Италии" появилась статья Муссолини, в которой он назвал это соглашение историческим:

"...Нация должна быть поставлена выше фракций...".

III

Соглашение с социалистами вызвало бунт. На Муссолини напали люди повлиятельнее, чем Пантелеоне - в их числе оказался даже Дино Гранди. Собственно, уязвленным чувствовал себя всякий "рас" - важное решение оказалось принято их лидером единолично, без всяких консультаций с вождями фашистских групп на местах.

Гранди в итоге организовал их встречу в Болонье, и дело явно шло к осуждению Муссолини, когда тот *"...хлопнул дверью..."* - сложил с себя полномочия члена исполнительного комитета *"Fascio Combattimento"* - *Союза Борьбы"* - как официально называлось его движение.

Муссолини заявил, что не хочет больше терпеть возмутительное нарушение дисциплины и непослушание на местах, и отныне считает себя рядовым бойцом фашистского движения. Ход этот, хоть и был вынужденным, оказался очень удачным.

Есть такое понятие - харизма.

Согласно энциклопедии, определяется так:

”...Харизма (от др.-греч. — «милость, дар») — приписывание или признание за личностью набора таких свойств, черт и качеств, которые обеспечивают преклонение перед ней её последователей, их безоговорочное доверие и безусловную веру в её неограниченные возможности...”

Так вот, в отношении харизмы в фашистской среде Муссолини в 1921 году не имел себе равных.

"Расы", объединившиеся, было, против него, выделить из своей среды другого лидера не сумели, начали ссориться друг с другом - и уже в ноябре 1921 он с триумфом вернулся назад.

В результате был достигнут широкий компромисс - движение фашистов становилось партией, с введением партийной дисциплины и определенного организационного аппарата. Муссолини признавался главой партии - но в обмен отменял свое решение о сближении с социалистами. На подиуме Бенито Муссолини и Итало Балбо публично обнялись - и единство было восстановлено.

Считалось, что это устранило разницу между "сельским" фашизмом - Балбо с его сквадристами, вливающими по литру касторки в глотки своим оппонентам - и "городским" фашизмом, практикуемым "миланской фракцией". Муссолини, ее бесспорный лидер, больше упирал на *"... государственные вопросы высокого национального значения..."*.

В январе 1922 был запущен новый журнал "Gerarchia" - "Иерархия" - как раз с целью создать *"... дискуссионную платформу для мыслящих фашистов ..."*. Его основателем и главным редактором числился Бенито Муссолини - но на самом деле все дела журнала вела Маргарита Царфати[**Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**].

Как-никак, фашизм все-таки нуждался хоть в какой-то платформе, и Муссолини решил, что платформой станет *"... жизненная сила нации ..."*. Это тоже было не очень-то ясно - но зато можно было порассуждать о том, что народное сознание единой Италии, пробудившееся в бедах и крови Великой Войны, должно обрести себе материальное воплощение, и воплощением станет патриотическое движение - фашизм.

И это настолько важно, что сейчас можно отвлечься от вопросов вроде того, чем будет Италия - монархией или республикой - а вот зато надо бы учредить *"Consiglio Tecnico Nazionale"* - *"Национальный Технический Совет"*, который будет заседать наравне с парламентом, и решать все практические вопросы.

А еще надо дать право голоса всем итальянцам, которые уехали было из страны искать лучшей доли. Ибо родина должна быть домом для всех ее сыновей, где бы они ни жили.

Весь этот возвышающий душу вздор шел параллельно с работой по укреплению организационного начала партии. Муссолини создал её национальный директорат, и ввел в него Джованни Маринелли, своего верного сторонника, которому он доверял даже свои личные финансовые дела.

Секретарем же был сделан Микеле Бьянки, на которого тоже можно было положиться. А впридачу к этому Муссолини назначил трех заместителей секретаря - что в сумме давало некий противовес и "расам" вроде Балбо, и самому Бьянки.

Так, на всякий случай.

В конце концов, человеку, который одновременно готовит себе и крупную роль в существующей системе, и государственный переворот, следует быть осторожным. Возможности, что называется, возникали сами по себе. Правительство Бономи пало в начале 1922-го года.

26 февраля его заменил новый кабинет, сформированный Луиджи Факта.

IV

Уже в марте 1922-го Муссолини уехал за границу, в свой первый в жизни "политический вояж" - ему надо было срочно ковать себе репутацию государственного деятеля с международным опытом. Он встретился с Вальтером Ратенау, новым министром иностранных дел Веймарской Республики. Это должно было продемонстрировать наличие у Муссолини некоей внешнеполитической программы:

"...Италии следует продемонстрировать миру, что она способна на многое...".

На самом деле шла демонстрация способностей самого Муссолини к тому, чтобы оказаться приемлемой компромиссной фигурой для как можно большего числа политических групп Италии - и для этой цели годилось решительно все. Скажем, Бенито Муссолини без всяких колебаний мог обратиться к Оливетти, влиятельнейшему промышленнику в области итальянских "высоких технологий", поблагодарить за поддержку фашистского движения и за искренний патриотизм - и назвать его при этом "дуче".

Как говорит русская пословица - "... от слова не станется ...", да и слово-то еще не приобрело своего сакрального значения, это дело будущего.

С другой стороны, в июле 1922-го был сделан намек в сторону социалистов - косвенно признавалось, что и они при случае могут оказаться хорошими патриотами, и даже предполагалось, что акции сельского фашизма в духе неконтролируемых погромов редакций и библиотек хорошо бы поумерить.

Но, конечно, главные усилия сосредоточились на консервативной части политического спектра Италии. Муссолини говорил, что либерализм как система устарел, и отстывает везде, даже в Англии.

А когда в начале августа 1922-го социалисты начали подготовку к всеобщей национальной забастовке, Муссолини сразу позабыл об их возможном патриотизме и провозгласил фашистов истинными защитниками закона и порядка. Ибо они *“...не связывают себе руки формальностями и процедурами ...”*, и уже одним этим эффективнее, чем полиция.

Такого рода заявления должны были насторожить власти, что, собственно, и случилось. Правительство Луиджи Факта знало о подготовке переворота, но его министры так и не смогли решить, что же следует делать. Уже потом, когда все случилось, говорили, что состояние власти в Италии напоминало то, которое было в военном командовании Италии накануне Капоретто - какой-то полный паралич.

Все вроде бы было известно заранее, но ничего не предпринималось.

Как ни странно, на настроения сильно влияло то, что произошло в России в конце 1917 - забастовки вышедших из-под контроля профсоюзов. Как считалось в Италии, это и привело к падению всей системы и дикой резне Гражданской Войны. Ну, в Италии, в отличие от России образца 1917 года, армия не рассыпалась и сохранила дисциплину - но как-то она выглядела слабой гарантией установления порядка.

В общем, фашистов можно было рассматривать как *“...необходимое меньшее зло...”*.

24-го октября 1922 года партия собралась на национальный съезд, созванный в Неаполе. План переворота был сформулирован неделю назад, 16-ого октября. Балбо изо всех сил двигал его вперед, и говорил впоследствии, что это он подтолкнул Муссолини к решающему шагу. Трудно сказать - дела решались в разговорах наедине, и протоколы, конечно же, не велись.

Но, как бы то ни было, с речью перед собравшимися выступил именно Муссолини.

И сказал он следующее:

"...или нам передадут правление, или мы пойдём на Рим и сами возьмем власть. Мы возьмем за горло жалкий правящий класс...".

Речь была опубликована во всех газетах - но Луиджи Факта чрезвычайного положения все-таки не объявил.

В известной степени - как бы расписался в правильности диагноза.

V

Настоящая суматоха началась только 28 октября, когда сквадристы начали занимать телефонные станции и правительственные учреждения в Милане, Кремоне и Ферраре. Было объявлено, что они идут на Рим. Короля известили о мятеже, попросили объявить чрезвычайное положение...

Он немедленно согласился.

Итальянская политическая система еще при Кавуре была создана с оглядкой на самый лучший образец успешного правления - на Англию. Как и в Великобритании, в Италии имелась конституционная монархия, со всемогущим парламентом и королем, который не правил, а только царствовал.

Имелось, правда, и важное отличие - войска присягали королю, и не в формальном смысле.

Королем Италии в 1922 году был Виктор Эммануил III. Человек он был маленький, причем во всех смыслах - маленький и ростом, и характером, и силой суждения. На роль конституционного монарха подходил как нельзя лучше.

Путч в тот момент, 28 октября 1922, висел на волоске - войска в Милане получили приказ действовать, Муссолини со своими сторонниками заперся в редакции "Народа Италии" - но осада не состоялась.

Король отменил свой приказ.

Вообще говоря, он пошел против мнения своего премьер-министра и всего его кабинета, и тем самым нарушил конституцию. Но не было у Виктора Эммануила уверенности в том, что Луиджи Факта совладает с ситуацией.

Королю шепнули, что сотни тысяч бойцов фашистских отрядов готовы к вооруженному восстанию. Это было неправдой - у лидеров мятежа было от силы 30 тысяч человек, слабо вооруженных и разбросанных по провинциям севера страны - но Виктор Эммануил не хотел никакого кровопролития, ни большого, ни малого.

Он предложил пост премьер-министра Антонио Саландре, но тот не смог сформировать кабинет - не нашел достаточной поддержки. Тогда Саландра посоветовал королю назначить премьер-

министром Муссолини. Утверждалось, что это был хитрый трюк с целью не допустить возвращения Джолитти. Трудно сказать, потому проверить это невозможно - дальше события пошли уже необратимо.

Король принял совет.

29 октября 1922-го года Бенито Муссолини стал 37-м по счету премьер-министром Италии.

Ему было тогда всего 39 лет.



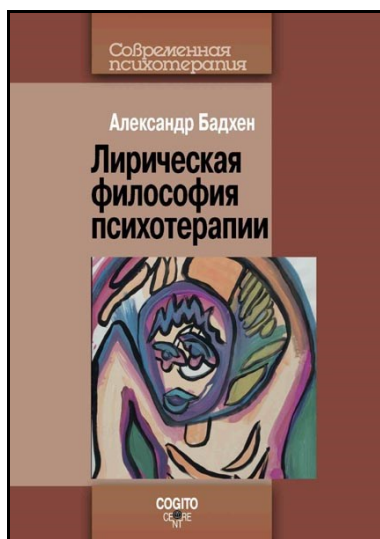
Александр Бадхен

Терапевтическая устойчивость

С предисловием Виктора Кагана



Для меня радость и честь предварить несколькими словами эту небольшую главку из только что вышедшей книги моего друга и коллеги Александра Бадхена¹



Александр со-основатель Института психотерапии и консультирования «Гармония»² – одного из самых первых и по праву самых авторитетных негосударственных учреждений такого рода в России, которому в минувшем году исполнилось 25 лет. Описание его истории и деятельности – отдельная большая

1 Бадхен А. Лирическая философия психотерапии. М.: Когито-Центр, 2014 – 270 с. (Современная психотерапия). ISBN: 978-5-89353-414-6
Искренняя признательность директору ООО Когито-Центр Виктору Белопольскому за разрешение воспроизведения главы.

2 <http://www.inharmony.ru/>

тема, для которой рамки предисловия тесны и я просто отошло интересующегося читателя к первой части книги и вебсайту «Гармония». Для меня «Гармония» в течение четверти века – важная и счастливая часть моей профессиональной и человеческой жизни.

Психотерапии – их сейчас уже более полутысячи – различаются по своим теоретическим подходам, методологиям и модальностям. Ту психотерапию, о которой идет речь в книге, называют гуманистической или экзистенциально-гуманистической. Ей – ее осмыслению и понимаю – посвящена вторая часть книги. Это не теоретизирование на профессиональном «птичьем языке», но живое переживание психотерапевтического процесса как совместного бытия двух неповторимых личностей, для каждой из которых и их взаимодействия научные рамки тесны. Мы сами – великая тайна, заметил Анатолий Ким. В психотерапии встречаются не мозгонрав с починаемым объектом, а две тайны. Встречаются в терапевтических отношениях, не существующих больше ни в какой другой сфере жизни.

Третья часть – записи реальных терапевтических сессий с комментариями, так что читатель может виртуально присутствовать терапии, наблюдая и ее, и внутреннюю работу терапевта по ходу терапии.

Название книги «Лирическая философия психотерапии» точно определяет ее жанр. В принципе адресованная психотерапевтам, она открыта любому, кому психотерапия интересна. Рад за тех, кто ее откроет³, чтобы разделить с автором путь размышлений и переживания этой уникальной области человеческих жизни и отношений.

Теперь мне остается отойти в сторонку и оставить читателя наедине с Александром Бадхеном.

Виктор Каган

*«И отвечал Иов и сказал: выслушайте внимательно речь мою, и это будет мне утешением от вас. Потерпите меня, и я буду говорить.
<...> Разве к человеку речь моя?»*

Книга Иова, 21 (2-4)

Мне кажется, что знаменитое ницшевское: «То, что меня не убивает, делает меня сильнее» звучит не по-человечески оптимистично. Разве это обязательно делает меня сильнее? А если делает, то сильнее в чем?»

ЗКупить бумажную или электронную версию можно здесь:
<http://www.cogito-centre.com/page.php?id=231007>

Почти тридцать лет назад мне довелось работать с женщиной, потерявшей в железнодорожной катастрофе своего шестилетнего сына. Он погиб у нее на глазах и она не могла его спасти. Мы с ней работали несколько лет. У меня тогда было совсем немного опыта и очень много сомнений в своей способности помочь ей. Она была безутешна в своей скорби. Во время наших встреч она большую часть времени молчала, как каменная, и не выражала своих чувств. Ее внутренне напряжение было чрезвычайно высоким, но не находило выхода. Периодически она набирала в грудь воздух, словно собиралась нырнуть в глубину, но продолжала молчать. А если говорила, то очень тихо и немногосложно, словно выдавливала слова этим самым воздухом, что удерживала в себе. Она боялась, что если что-то нарушит хрупкое равновесие, она потеряет контроль над собой. Она боялась наплывов воспоминаний жутких сцен катастрофы. Вновь и вновь она видела, как ее сын протягивает к ней свои руки и зовет на помощь, и душа ее начинала кричать и разрываться, но не было слов, чтобы выразить всю охватывающую ее боль, весь накалывающий ужас. Ее психика заставляла ее вновь и вновь переживать психологическую травму. Наплывы воспоминаний то и дело отбрасывали ее в прошлое, туда, где она уже не могла ничего изменить. Ночью ей снились кошмары. Днем в ее сознание вновь и вновь вторгались жуткие картины. Ее мучило сознание собственной вины, сам факт, что она жива, а он нет.

– Я умираю вместе с ним много раз в день. Как вернуться туда, как исправить все? Я просыпаюсь, и как удар: «Его нет!», и тут же начинается фильм, который крутится во мне сам, и все время разная степень моих переживаний, цвет, звук – все время меняется, как стекла в калейдоскопе, и многообразии узоров бесконечно... Я живу в каком-то полумраке, в сумерках души. Утром просыпаюсь – сразу мысль – его нет. И никак мне к ней не привыкнуть. Я не могу поверить. А может быть, ничего не было? Его не было, он никогда не умирал, никогда не был мертвый, он просто был в моем воображении, мне все почудилось, просто очень хотелось иметь сына, вот и почудилось, просто такая фантазия. Я придумала его, он никогда не рождался, просто мне приснился очень страшный навязчивый сон, он все время повторяется, и я принимаю его за реальность. Никогда этого не было....

Она смутно помнила момент, когда ее мальчика положили на траву, и он сколько-то время лежал рядом с ней. Он был какой-то очень бледный. Потом она держала сына на руках. Все было как

в тумане. Во время катастрофы она сама получила тяжелые травмы. Она то и дело теряла сознание. В приемном покое больницы, куда доставили пострадавших, врач сказал ей: «Ваш сын умер». Она помнит, как ответила: «Я знаю». Потом она снова потеряла сознание...

– Он просил меня помочь ему. Он говорил мне, что умирает. Когда такой маленький ребенок сознает, что он умирает, а помочь ему ничем нельзя – это такой ужас, который не поддается ни описанию, ни объяснению. Это какое-то глубокое, животное чувство, которое не поддается контролю разума. И все это бесчеловечно. Его больше никогда не будет. Так жутко, будто я провалилась в полынью. Хочу выбраться, а лед под руками обламывается, руки кровоточат, и чем ближе берег, тем сил и желания бороться все меньше и меньше...

Отчаяние – отсутствие надежды. У отчаяния будущего нет и выхода нет. Как дальше жить? Зачем жить дальше? И стоит ли вообще жить? Это предельная ситуация. Выстоять в ней крайне сложно, поскольку внутри себя не на что опереться, все, за что ни ухватишься, обламывается и превращается в ледяную крошку ужаса небытия.

Первые месяцы я чувствовал себя рядом с ней беспомощным. Мне казалось, что, вероятно, должен быть способ облегчить ее страдания, где-то он должен быть, а я его просто не знаю. Я читал свои записи о наших встречах и не видел в них себя. Что-то во мне самом препятствовало принятию безвозвратности потери. Я рассказал своему супервизору о своих переживаниях, о том, что происходит со мной во время сессий. И супервизор сказала мне что-то вроде: «Может быть, ты должен плакать вместе с ней». Я не совсем понял это тогда, но вскоре, в один из дней, зайдя в «Дом книги», по каким-то непонятным для себя причинам я направился в отдел, в который до этого практически не заглядывал – в отдел, где были книги о театре, кино, балете. Помню, как подошел к прилавку и машинально взял в руки первую попавшуюся на глаза книгу. Ею оказалась книга Мориса Бежара, знаменитого французского балетмейстера, который тогда приезжал в Советский Союз. Я наугад открыл ее и прочел: «Есть такая притча: у Бога Отца спросили: «Господи, отчего случаются крушения поездов?» Тот помолчал и ответил: «Крушения поездов не объясняют, их переживают». Помню, я вышел из магазина потрясенный. Мог ли я рассчитывать на *такую* супервизию?! Эта синхроничность помогла мне увидеть, что в работе с клиенткой мне мешает мое собственное непережитое горе утраты, меня сдерживают собственные невыраженные переживания, я понял,

что, если я хочу заниматься терапией, мне нужно над этим работать.

Ничего нового. Каждый раз, когда я летал на самолетах на дальних рейсах, я слышал, как стюардесса, объясняя правила безопасности, сообщает, что в случае разгерметизации салона над пассажирскими креслами появятся кислородные маски, и каждому нужно надеть маску. И если рядом находится ребенок или беспомощный пассажир, *сначала нужно надеть маску на себя, а потом на него*. Потому что если вы попытаетесь сначала помочь ребенку, или беспомощному пассажиру, у вас самих может наступить кислородное голодание, и вы тогда никому не успеете помочь. Это справедливо и для терапии: чтобы помогать другому, нужно сначала помочь самому себе. Звучит до банальности просто. Но все это из какой-то другой жизни, где летают на самолетах в отпуск, пристегиваются ремнями безопасности. А в ее ситуации все маски были сорваны. Мир под ней обломился. Мир, казавшийся прочным, сложенным раз и навсегда. А теперь он был расчленен, утратил свою целостность. Планы, виды, перспективы – сам рельеф жизни до неузнаваемости поменялся, изменился внезапно, без ведома, без предупреждения, без подготовки. И с этим теперь нужно как-то соотноситься, как-то соизмеряться. Сживаться. Смиряться. А пока что в ткани жизни зияет пустота.

Шли недели. Мы продолжали работать. Она начала делать заметки, вести что-то вроде дневника в тетради, первые страницы которой были изрисованы детскими рисунками – рукой ее погибшего сына. Она пишет в нем своем состоянии, о событиях своей текущей жизни: «Вчера была на выставке Вадима Сидура – вся выставка сплошной крик боли. Скульптуры лаконичны и просты – от того сильнее бьют по разуму, сердцу, душе. Их скорее воспринимаешь интуитивно, а потом приходит смысл».

Возможно, такая аллегория описывает ее понимание терапии. Все начинается со вчувствования, а смысл приходит потом. Она переписывает стихотворение Сидура:

Я раздавлен
Непомерной тяжестью
Ответственности
Никем на меня не возложенной
Ничего не могу предложить
Человечеству
Для спасения.
Остается застыть
Превратиться в бронзовую
Скульптуру

И статью навсегда
Безмолвным
Взывающим.

Возможно, так с ней и произошло. Она застыла, стала безмолвной и взывающей. В форме скрыто содержание. Она продолжает свои записи: «И читатель и зритель всегда соавторы того произведения, которое их трогает, хватая за душу». Может быть, она говорит о совместности в процессе терапии. И здесь она права – я тоже чувствую скованность, отсутствие слов. Я ей говорю об этом. И получаю ответ: «Мне без вас страшно и с вами страшно. Я иду к вам и остаюсь наедине с собой, я вас рядом не чувствую. Как бег на месте. Сидим рядом и цепенею. Потом я ухожу, а за дверью пропасть. Не сплю всю ночь, разговаривая с вами, потом понемногу отхожу до следующего раза. Как разорвать этот круг? Отзовитесь». Ее отношения двойственны. Это как в гештальт-упражнении, когда вам предлагают сцепить пальцы рук, а потом тянуть руки в разные стороны изо всех сил. Уходит уйма энергии, а результата никакого. Только обессиленность, истощение.

– О чем бы я ни говорила все не то, все мимо. Я сжата в комок, сгруппирована, не разберешь где руки, где ноги, где голова, хоть кати меня по дороге, только куда?

Куда? Кто же будет выбирать направление? Когда я говорю ей об этом, она воспринимает это как мой отказ от сотрудничества и вновь замолкает... Слова к ней не проникали. Только образы проникали. В словах не было правды. В образах правда была.

Она записывает сон: «А.А. открывает мою черепную коробку, как будто она откидывается на петлях, и запускает в мои извилины свои руки, а пальцы у него изгибаются как змеи, и взгляд такой хищный, ищущий. А.А. похож на Медузу Горгону. Это неправильный сон, так не бывает, так не должно быть, так не будет».

В этом сне вновь проявляется ее амбивалентность в отношении ко мне. Но есть нечто большее. Каждый помнит из мифов древней Греции: образ Медузы Горгоны необычайно энергетически заряжен. Медуза была одновременно красавицей и чудовищем, олицетворяющим страх, ужас. Взглянуть на нее – значит окаменеть, застыть от ужаса. Персею удалось победить ее благодаря подсказке Афины: смотреть непосредственно на Медузу Горгону нельзя, но можно смотреть на ее отражение. Афина дала Персею щит – переходный объект, который позволил ему одолеть чудовище.

Двойственность Медузы сохраняется и после ее смерти. Ее кровь обладает и живительными и губительными свойствами, Афина собрала кровь Медузы Горгоны в два сосуда и подарила Асклепию, древнему врачу. Кровь, которая текла из левой части Горгоны, несла смерть, а из правой части – использовалась для спасения людей.

Кроме того, из крови Медузы появился Пегас, конь муз, дарующий вдохновение.

Сдвиг накапливается, он не происходит в одночасье.

«Для этого художник и создает свои произведения, чтобы тронуть струны души человеческой. Художнику, если он честен в себе, всегда есть что сказать людям. А что я могу сказать им, вряд ли мои переживания заинтересуют кого-то». Она словно ищет способ выражения себя. «Как выразить душу, как выразить то, что я чувствую, ведь слов таких нет, а что-то приблизительное здесь не подходит». Она осознает, что проецировала свою боль на произведения Сидура. Ей проще обращаться к внешнему? Хорошо. Это мы можем обсуждать, к этому безопаснее обращаться. На внешнее, тем более на скульптуру, можно опираться. Внутреннее и внешнее не разделено и не противопоставлено, но является продолжением одно другого. В скульптуре есть устойчивость и некая надежность. Она не требует слов, в ней может быть выражена немота боли. В скульптуре немота становится видимой, осязаемой. С ней можно соотноситься. Сидур становится своего рода переходным объектом или внешним центром, объединяющим, поддерживающим, разделяющим ее переживания. Позволяющим ей быть. Были ли у нее мысли о самоубийстве? Конечно, были. Смерть все время была рядом. В ближней перспективе. Но даже ее смерть теперь ничего не могла решить. Небытие уже вторглось в ее жизнь, от него ей некуда было скрыться.

Она словно собирает себя по осколкам, отраженным в зеркале мира. Она идет на концерт, слышит строчку песни: «Если им грустно не плачут они, а смеются», и записывает: «Это про меня. Я ведь совсем не плачу, а в сердце постоянно стоит нож, и стоит чуть потерять контроль над собой, как всплывают жуткие картины ... Невыносимо». Словно приведен в исполнение нравственный приговор, судьба карает ее, радикально отвергает, отрицает саму сущность ее существования. Она наполнена отчаянием вины и осуждения. Она отмечает, что улыбается во время наших встреч, причем, чем ей хуже, тем больше она улыбается. Она называет эту улыбку «идиотской». При этом не смотрит на меня, опускает взгляд. Она допускает, что это может

быть связано с ее сопротивлением. Я словно становлюсь для нее одним из обвинителей.

– Я вас побаиваюсь, хотя сейчас меньше, чем раньше, так как в моем, пусть не совсем осознанном представлении, вы выступаете в роли судьи.

Она проецирует на меня роль судьи. Но ее судья – она сама, и в этом она противостоит сама себе. Я могу говорить с ней об этом. Она это отчасти сознает:

– Вы часть меня, но та часть, осуждающая себя. Я чувствую себя виноватой перед вами, даже когда мне невыносимо больно, плохо. Может, я проецирую на вас свою совесть, поэтому мне трудно взглянуть вам в глаза, а иногда просто невозможно, страшно. Я боюсь там увидеть себя. Страх сидит во мне, затаившись, я с ним борюсь и ощущаю чувство вины.

Память одновременно и терзает ее и позволяет сохранить отношения с утраченной целостностью. Она боится увидеть себя, страшится встретиться с собой настоящей. Как правило, она не отвечает на мои комментарии, или отвечает односложно. Если я обращаю ее внимание на это, она в ответ замыкается, и тогда в кабинете снова расплывается гнетущее напряжение.

– У меня два мира – здесь с вами и там без вас и я не знаю, где хуже.

Так происходит от сессии к сессии. Ей проще молчать, замыкаться в боли и чувстве вины, не поднимать глаз, чтобы не видеть, не встречаться с чем-то еще более страшным. Кажется, куда уж больше? Я учусь обращению с полутонами, с недосказанностью, непроявленностью, ждущей своего часа. С этим сложно быть. Ведь суть отчаяния как раз в том и заключается, что ничто не поможет. От отчаяния не уйти, не отстраниться. От него можно ненадолго отвлечься, но это лишь ослабит на время его хватку, которая через короткий промежуток вновь покажет свою нечеловеческую силу. Мои попытки упорядочения и рационализации происходящего воспринимаются ею как мошенничество и увеличивают дистанцию между нами, а, следовательно, усугубляют ее переживание одиночества и отчаяния; приводят к ее дистанцированию.

Я всматриваюсь в себя, пытаюсь разобраться, что происходит со мной. Первое, что проступает – чувство скованности и бессилия. Парализующую скованность я ощущаю почти физически. Я переживаю себя затопленным душевной болью, страданием, которое не находит выражение в словах. Я не могу ей сказать, что сопереживаю ей, поскольку, когда представляю себе ее физический ужас и боль, не могу найти слов,

которые бы чувствовал себя вправе выразить вслух. Мне помогает осознание и разотождествление с реакциями, возникающими во мне. Я начинаю понимать, что бессознательно удерживаю внутреннее напряжение, поскольку не верю в свою способность выразить его и не разорваться при этом на куски. Я опасюсь, что высвобождение пружины страдания может вызвать утрату контроля над ним, как небольшая брешь в плотине может привести к ее полному разрушению, и затоплению прилегающей территории. Хэйвенс[1] обратил внимание на парадокс, состоящий в том, что результатом успешного разделения терапевтом депрессивных переживаний клиента будет переживание терапевтом неудачи. Успешный эмпатический отклик терапевта клиенту с суицидальными переживаниями делает терапевта печальным, и вместе с печалью возникает соответствующее психическое содержание: идеи о безнадежности и беспомощности. В той же мере, в какой ему удалось быть эмпатичным, он будет чувствовать себя плохо. Следствием этого, является необходимость увеличения дистанции, позволяющей защитить их обоих от прекращения работы из-за возникающего у терапевта чувства собственной несостоятельности и беспомощности. Шварц-Салант[2] отмечает, что главная трудность, с которой сталкивается терапевт перед лицом отчаяния, состоит в том, что вход в эту область угрожает потерей терапевтом собственной идентичности. В этом случае зеркала не работают и ведут к слиянию с вампироподобной силой, к жизни в депрессии. В подобных случаях терапевтическая позиция должна быть более сложной. Необходимо сгруппироваться таким образом, чтобы сохраняя устойчивость, удерживать в себе точку опоры.

Ей стоит большого труда признаться в том, что она ото всех закрывается. И тут же, подозрительно:

– А вам, наверно, это было ясно с самого начала. Энергия тратилась на противодействие вам. Я думала, что борюсь с собой, а оказалась с вами. Зачем я это делала, и не буду ли делать дальше?

Так постепенно появляется новая тема, которую я сначала воспринял как ее поиск инструмента контроля над собственной жизнью: «Какой же поступок я совершила тогда, в начале жизни, который потянул за собой цепочку предательств или сделок с совестью». Она читает Борхеса, Сартра, Ясперса, Леонгарда. Она продельывает большую внутреннюю работу. Ее дневник заполняется рассуждениями и цитатами. Она размышляет над высказыванием Клаузевица о том, что хотя маленький прыжок сделать легче, чем большой, желая перепрыгнуть через широкую

канаву, мы не можем начать с того, что маленьким прыжком спрыгнем на ее дно. Мне представляется, что она готовится к «большому прыжку», в ней происходит напряженная внутренняя подготовка к следующему движению. А может, к прыжку. Однажды, она вспоминает Ингмара Бергмана: «Я всегда держу открытыми двери в мое детство». Так она подошла к важному моменту, повлиявшему на дальнейшее развитие работы. На этот, во многом подготовительный этап ушло больше года.

Дальнейшая работа, занявшая несколько лет, была посвящена проработке ее раннего детского опыта, когда ей пришлось перенести сексуальные надругательства и череду травм, подавивших ее психически, растоптавших морально, пропитавших презрением к себе и чувством боли, стыда и вины. Тогда, в раннем детстве, ее раненая душа захлопнулась, словно онемела, ибо не было слов, чтобы рассказать, и не было тогда никого рядом, чтобы услышать и защитить. С того времени на ее лице в трудные моменты стала появляться гримаса, напоминающая улыбку – так было безопаснее, надежнее.

Прожитый жизненный опыт не остается где-то позади и в любой момент может заявить о себе. Повзрослеть – не значит перерасти свое детство. Время нашей жизни нелинейно, оно может ждать, но всегда живо. Оно говорит с нами разными голосами, разными интонациями. Поэты всегда знали это лучше других. Т.С.Элиот заметил, что различие между настоящим и прошлым состоит в том, что настоящее осознает прошлое в таком ракурсе и в такой степени, какие недоступны для прошлого в осознании самого себя. «Есть три эпохи у воспоминаний», – писала Анна Ахматова.

Душевные раны, нанесенные ей в далеком прошлом, требовали внимания и заботы. Не переработанные, они тяжким камнем лежали на душе, сковывали сердце. Чудовищная трагедия потери сына разрушила бессознательно выстроенную плотину, отделявшую детские раны от ее сознательного Я, и она больше не была в состоянии заглушать боль собственных детских страданий. Лишь теперь они оказались доступными и могли быть выражены. Может быть, за этим стоит глубинное стремление человеческой души к возможно более полному выражению себя, к преодолению преград, блокирующих естественный процесс реализации человеческой сущности.

Однажды, через несколько лет после начала работы, она принесла мне фотографию. Черно белая фотография: залитый туманом двор, в центре фотографии голое дерево и пенек рядом с ним, на газоне местами лежит снег. Это осень, а может быть, весна.

Все голое, холодное, мутное. Людей нет. Есть ощущение какой-то заброшенности. Справа, на переднем плане, хорошо виден угол кирпичного дома с фрагментом чугунной витой конструкции, вероятно, поддерживающей козырек у входа. Ни самого козырька, ни входа на фотографии нет. «Это произошло в этом доме». Это происходило в этом доме. Много раз. Это оставило в ее душе незаживающую рану. Вновь и вновь она рисует себя, рисует раненную маленькую девочку. Она рисует много и много читает. Ведет дневник, записывает свои сны. Это отражает интенсивную глубокую внутреннюю работу. На одном из ее автопортретов спустя шесть лет после начала нашей работы, ее лицо разделено надвое: одна половина – светлая, а другая – темная. Светлая немного больше темной. Ее рисунки, практика самонаблюдения, являются свидетельством того, что она находится в процессе.

Когда сейчас, спустя десятилетия, я спрашиваю себя, что самое главное в том, чему я учился тогда в работе с этой женщиной, первыми на ум приходят две вещи: умение сохранять устойчивость и быть открытым другому человеку. Эти навыки взаимосвязаны. Устойчивость без открытости превращается в ригидность, а открытость без устойчивости грозит обернуться реактивностью. Думаю, сейчас мне эти навыки даются лучше, чем тогда. Но я все еще продолжаю им учиться. Их прекрасно выразил мой старый друг Виктор Каган в своем стихотворении:

И тянется к тебе, и в руки не дается,
И волочит крыло, и рвется улететь,
И замирает, и о воздух бьется,
И горлом кровь, и пробует запеть.

В тебе тоскливой болью отзовется
Неслышный крик растерянной души.
Но прикуси губу – пусть слово не сорвется.
Но руку протяни и не дыши.

Лишь руку протяни. Не слушай птицелова
И не плети тенет из света и теней.
Лишь руку протяни. Не говори ни слова.
Лишь отвори ладонь, протянутую к ней[3].

Учитель дзена и гештальт-терапевт Берни Глассман использует понятие “bearing witness”, что предполагает сразу несколько вещей: удержание фокуса внимания, направленность, открытость тому, что происходит на самом деле, не отрицающее принятие, свидетельствование. С точки зрения Глассмана каждый

аспект повседневной жизни можно воспринимать как возможность развития этих навыков: нам лишь следует учиться не отрицать то, что в обществе обычно отрицается, удерживать внимание на том, от чего хочется отвести взгляд, быть с тем, что есть.

«Ключ к медитации наблюдения в том, что наблюдающий субъект и наблюдаемый объект не являются двумя отдельными сущностями. Ученый может попытаться отделить себя от объекта своего наблюдения или измерения, но изучающий медитацию должен отбросить разделение между субъектом и объектом. Когда мы наблюдаем что-либо, мы уже есть этот объект. Недвойственность – вот ключевое слово»[4].

Как нам научиться недвойственному восприятию, видению единства мира? «Это – вопрос, – отвечает Берни Глассман, – это – коан».

Литература

1. Havens L. Explorations in the Uses of Language in Psychotherapy: Complex Empatic Statement // The American Journal of Psychiatry, Vol. 42, February 1979.
2. Шварц-Салант, Н. Пограничная личность. Видение и исцеление. Москва. Когито-Центр. 2010. Стр. 95.
- 3 Каган В. Молитвы безбожника. Рязань: Поверенный, 2006. С. 141-142.
- 4 Сутра полного осознания дыхания (с комментариями Тхить Нят Ханя) // Буддизм в переводах. Альманах. Выпуск 1, Андреев и сыновья: СПб, 1992 с. 219.



Семён Талейсник Художник «Бродяга» – Адриан Браувер



«Бродяга», завсегда́тай веселых полутёмных кабачков, и крупнейший мастер фламандского бытового жанра, автор портретов и пейзажист - это один и тот же человек, воплотивший на своих великолепных реалистических картинах именно ту жизнь, те привычки, манеры, изъяны, пороки людей, которых он видел вокруг себя и к которым сам был причастен. Брауверу приписывают чрезвычайно беспутный и безнравственный образ жизни, якобы, проводившему все свое время в грязных кабаках. Все это повторялось и позднейшими историками искусства, хотя достоверность этих фактов жизни далеко не несомненна.



Рис 1 Антонис ван Дейк. Портрет Адриана Браувера

Возможно, на каждом полотне, среди выпивающих посетителей таверн, курящих разное зелье, а не только табак, играющих и, порой мошенничая, в карты, кости и трик-трак, дерущихся по малейшему поводу на изрядном подпитии, присутствует и сам автор. Но ни на одной картине не обозначен его автопортрет. Ни одно из произведений Брауэра не подписано.

Лишь на некоторых стоят его монограммы. Исследователи его творчества приписывают ему всего около 80 картин и несколько рисунков. Большинство картин невелики по размерам и написаны на дубовых панелях.

Он родился в 1605 или 1606 году в небольшом фламандском городке Ауденарде (Oudenaarde) в семье скромного ремесленника, занимавшегося изготовлением эскизов для шпалер. По-видимому, первые уроки живописи мальчик получил у своего отца. В 16-летнем возрасте сбежал из дома и поселился в Антверпене, где попал под влияние Питера Брейгеля Младшего и писал картины в духе старой фламандской живописи.

После переезда в Голландию около 1621 года палитра художника изменилась под сильным влиянием живописи Франса Халса, в мастерской которого он какое-то время и работал, живя в то время преимущественно в Харлеме. Заметив необыкновенные успехи в живописи своего ученика, мастер, якобы, запер его на чердаке, заставляя писать маленькие жанровые картинки, которые после продавал за немалую цену. Парень вначале мирился с такой жизнью, но Хальс обращался с ним довольно дурно, мог и побить, порой лишал пищи, которая была не бог весть какая, а то и прескверная. Все это заставило молодого художника расстаться с своим учителем и сбежать в Амстердам, где жил почти в нищете, принимаясь за живопись только тогда, когда в кармане у него не было ни копейки. При таких обстоятельствах он отправлялся в кабаки и таверны и писал с натуры своих товарищей-гуляк, крестьян навеселе, пьяниц-меломанов, раздраженных игроков и драки по малейшему поводу. Ему было тогда восемнадцать лет. Но уже в 1630 г. его принимают в антверпенскую гильдию художников св. Луки. В 1631 г. Брауэр вернулся во Фландрию и поселился в Антверпене.

В 1633 году он попал в тюрьму, возможно за долги, хотя не исключено, что и по политическим причинам, как подозреваемый в шпионаже испанцами во время войны. Ради развлечения в однообразии тюремных дней, он и занялся там живописью и впервые, но весьма правдоподобно и талантливо, изобразил на доске группу игроков. Герцог Ауренбергский, комендант крепости, показал картину Рубенсу, находившемуся тогда в Антверпене, а тот, окинув её взглядом и моментально распознав талант, выхлопотал освобождение Брауверу. Мало того, он поселил его у себя в доме, дал ему одежду, еду, но неуёмному весельчаку и бродяге в душе вовсе не нравилась жизнь вельможи, которую вел Рубенс. Он оставил его и поселился у какого-то

Иосифа Кресбеке, булочника, с которым бражничал и которого в то же время учил живописи.

В последние годы Браувэр много работал, но жил в крайней бедности, хотя на портрете Ван Дейка художник изобразил его одетым как гранд. 1 февраля 1638 г. Браувэр умер (предположительно от чумы) и был похоронен по последнему разряду - в общей могиле. Рубенс, скупой на похвалы, но покупавший, как, кстати, и Рембрант, картины некогда сбежавшего квартиранта, узнав о его смерти, приказал перенести тело на другое кладбище и устроил пышные похороны. Он хотел поставить Броуверу памятник и сделал даже рисунок его, но умер прежде, чем осуществил задуманное.

Ни в одном музее мира не сосредоточено большинство его картин, они оказались разбросанными в небольшом числе по разным галереям и частным коллекциям. Поэтому мне представляется заманчивым, собрав их копии с помощью выручающего нас Интернета, представить читателям своеобразный вернисаж, выставку его основных полотен и по мере своих сил и возможностей прокомментировать их. Все мои комментарии - результат собственных рассуждений и впечатлений от представленных картин и не претендуют на истину в последней инстанции. Возможно, у некоторых возникнет иное прочтение изображенного художником на его полотнах. И это вполне естественно. Но, если читатель согласится поддержать мой взгляд или моё понимание картин, то это доставит мне некоторое удовлетворение в том, что я не зря написал этот очерк, будучи врачом, а не художником или искусствоведем.

Несмотря на фламандское происхождение, Браувэр испытывал большое влияние голландской живописи и был далек от пышной барочной фламандской школы. Он один из самых замечательных юмористов в живописи. Его картины отличаются редким талантом композиции, гармонией в колорите, удивительной оригинальностью, ибо в них несколько контрастирует мягкая манера живописи с агрессивными сюжетами. В Голландии гораздо более широкое распространение, чем во Фландрии, получил бытовой жанр, и здесь художники чаще обращались к изображению представителей "низших" сословий, прежде всего крестьян

Картины Браувера проникнуты такою наивностью замысла, таким забавным комизмом и неиссякаемой веселостью, какие не встречаются ни у кого другого. Техника его отличалась некоторой размашистой бойкостью, но она более скромна в подборе красок, вполне соответствуя особенностям его таланта.

Браувер обнаруживает необыкновенно тонкую наблюдательность, юмор и типичность. Некоторые его картины напоминают карикатуру, но в них нет ничего искусственного или фальшивого, а видна только высшая степень веселости и юмора, возбужденного состояния или физического страдания под руками сельского бродяги или заезжего лекаря.

Наблюдая посетителей, завсегдатаев питейных и игровых заведений, где люди накурившись и напившись, становились глупыми, смешными, жалкими, уродливыми, Браувер изображал, сопереживал и одновременно высмеивал их пороки, характеры и поведение, их позы и лица. На одной из картин - портретов художник показывает юношу, который корчит гримасу, демонстрируя и передразнивая кого-либо из загулявших посетителей кабака или таверны.



Рис 2 Youth Making a Face. (Юноша, делающий гримасу).
Adriaen Brouwer. 1632-1635. National Gallery, Washington

Грубости изображаемой жизни противостоит, облагораживает ее удивительно красивый и глубокий колорит, построенный на сочетаниях серых, зеленоватых, золотисто-коричневых и красных тонов, что можно увидеть на первой же из представленных читателю картин:

Двое дерущихся посетителей кабака в ярких одеждах в экстазе, с экспрессивным злобным выражением на лицах, самозабвенно предаются рукоприкладству. Один из драчунов угрожающе поднял кувшин, зажав в кулаке, по-видимому, сломанную ручку. Вот-вот он нанесёт удар, но ему мешает рука

третьего в тёмно-серой одежде, лица которого не видно; лишь черная шапка на голове.



Рис 3 Fight of the Peasants while Playing Dice art
(Драка крестьян во время игры в кости)

Кулак сидящего драчуна уже достиг зубов угрожающе нависшего над ним. Рот открыт в крике ругани или боли от укушенного пальца, попавшего, возможно, случайно в рот напавшего. Оставленные кости ожидают конца поединка и продолжения игры.



Рис 4 Драка крестьян. 1631-35 г. Старая Пинакотекa. Мюнхен.
Peasants Fighting (1631-35) Alte Pinakothek, Munich



Рис 5 Драка. 1630.
Музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина. Москва



Рис 6 Драка крестьян при игре в карты. 1635-1636

Три следующие картины художника о драках выглядят более тёмными и скупо окрашенными. Это, по сути, три высокохудожественных рисунка с натуры сцен драки крестьян. Можно предположить, что сам художник примостился где-нибудь в уголке этих кабачков и делает наброски, наблюдая за дерущимися. Убогая нищенская обстановка, полуподвальные тёмные помещения без окон, свет в которые проникает сквозь раскрытые настежь двери. Во всяком случае, ни на одной из картин никаких ламп или лучин не видно. Утопанный земляной пол, каменные ступеньки без перил. Захламленные тёмные углы. Деревянная вешалка на стене в пятнах с висящей на ней грязной тряпкой, возможно используемой как полотенце для вытирания рук. Посудины на гвоздях, там и сям прибитые к опорному столбу,

либо сложенные на полках предметы кухонной утвари. Некоторые кувшины разбиты, другие валяются вокруг и стоят по углам...

«Изысканная» мебель дополняет эту мрачную обстановку: перекинутые дном кверху бочки, приспособленные вместо стола, неожиданный столик на тонких ножках, бог весть из чего составленные низкие сидения. Тряпки на «тумбочке», на бочке-столе, подложенная для куска сыра, мяса или хлеба. Другая тряпица наброшена на миску, висящую на столбе. Ухваты, лопата, метла, либо просто палки для запираания дверей местами прислонены к стенам. Все эти, как будто, случайные предметы и обрывки материи усиливают впечатление дисгармонии и неустойчивости; вносят динамику, порождая у зрителя чувство беспокойства.

Среди преобладающих тёмных цветов обстановки, преимущественно коричневатого, фиолетового, грязно жёлтого и серовато-чёрного оттенков, художник, как бы, выделил для контраста цвет одежды, лица и руки драчунов. Если штаны остаются в той же гамме темных оттенков, то верхняя одежда - куртки, жилеты, сорочки показаны более ярко: от грязно-серого и грязно-жёлтого до синего, бурачного и кофейно-терракотового. На одном из драчунов надет красный колпак.

Позы и движения рук во время нанесения ударов не всегда кажутся анатомически выверенными и динамичными, возможно, что такая их динамика скрыта тёмным фоном картин и не всегда кажутся прорисованными конечности. Приходится всматриваться, чтобы различить, где, чей кулак. Трудно вначале заметить предательский удар сзади по голове на первой картине каким-то большим чёрным предметом.

На второй картине удар со спины вот-вот будет нанесен палкой, хотя замахнувшегося не совсем чётко видно. На второй картине видим, как драчун в чёрной шапке схватил за волосы другого, а третий пытается эту руку оторвать, хотя бы не вместе с волосами. Конечно, нет уверенности, что участники драки не на приличном подпитии, о чём косвенно свидетельствуют кувшины и бутылки на полу вокруг «столов». Но, в общем, драка вполне достоверна и веришь в ту ситуацию, которую художник пытается выстроить на своём реалистичном полотне.

Если повод для драки на первых двух картинах нам не известен, то на третьей явная причина указана автором, мол, драка при игре в карты. Да и одна чья-то взятка разложена на бочке позади тряпки с едой. Не все игры в карты проходили так мирно, как на следующей картине Браувера, когда вокруг той же бочки,

что на предыдущих двух картинах, чинно восседают три игрока, а позади старая седая женщина (или старик) наблюдает за игрой.

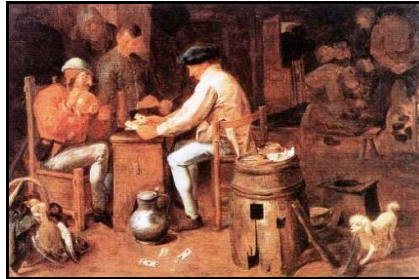


Рис 7 The Card Players. Картёжники. Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen. Королевский музей изящных искусств, Антверпен

Судя по кувшину в руке левого игрока с двумя головными уборами, возможно, надетыми один на другой (либо это один головной убор по голландской моде того времени), возлияния продолжаются. Об этом свидетельствует и кувшин рядом на полу, да и закуска на бочке позади игрока в светло-голубых штанах, отражающем свет розоватом камзоле и чёрном берете. Очевидно, его ход и он выбирает карту. В тёмном коричневом углу картины можно заметить фигуры завсегдаев этого кабачка, но в чём они там копошатся и что делают не ясно. Белый стриженный беспородный пудель поглядывает из-за бочки на птиц рядом с корзиной.



Рис 8 Peasants Play Cards in a Tavern. «Крестьяне, играющие в карты в таверне»

Полными внимания к ходу игры выглядят на следующей картине игроки в трик-трак (бэжгаммон, нарды, старинная игра в шашки).

Они склонились над круглым столом. Стоящий игрок в подпоясанном жилете доказывает свою правоту в оценке числа на выпавшей кости, а его визави разочарованно смотрит, хотя и вынужден согласиться. Видны весёлые лица болельщиков.



Рис 9 Vauern beim Tricktrackspiel (1635). Игра в триктрак

Обращает на себя внимание разнообразие головных уборов по их покрою и цветам, буквально индивидуального пошива: от беретов и капюшонов, до колпаков и шляп.



Рис 10 Clio Team. 1618-1638. Adriaen Brouwer Deux paysans se disputant auprès d'un tonneau. «Дискутирующие крестьяне»

Несмотря на преобладающие тёмные цвета, в основном коричневого и черного по бокам и на заднем плане картины,

художник высвечивает лица и детали одежды персонажей, а также их занятия, включая драки и пьянство. Все штаны, сорочки, жилеты, камзолы, накидки, пояса, манжеты и головные уборы он разнообразит красками и формой. В итоге мы получаем о них ясное представление. Второстепенные фигуры не на переднем плане не отвлекают нашего внимания, так как их краски почти сливаются с цветом окружающих стен и предметов.

Несколько картин Адриан Браувер посвятил изображению курильщиков и самому процессу курения в тех же кабаках, а также выпивке, обычно сочетавшихся с выкуривание трубок, проходящих на длинные самокрутки, хотя это только моё предположение, порой сопровождается возлияниями, по-видимому, пивом, судя по форме и величине кружек.

Если весёлые добродушные люди, понимающие бокалы с вином или солидно держащие кружку в согнутой руке, на первой картине ещё вполне трезвы, то на второй можно увидеть настоящую бурную попойку, гульбу, с сидящими выпивохами в разной степени опьянения вокруг стола. Женщина с ребёнком за сбоку стоящим столиком, либо бочкой в правом углу картины, тоже выглядит нетрезвой, а её пацан уже навалился на стол и опрокинул посуду то ли попробовавший напиток, то ли опьяневший. Огромный кувшин, стоящий под столом обещает обеспеченное продолжение «банкета». Женщина позади пьющей братии непрерывно наполняет кружки. Здесь то же разнообразие одежды, её фасонов и расцветок.



Рис 11 Adriaen Brouwer was a Flemish genre painter active in Flanders in the seventeenth century

На фрагменте одной из картин видна трубка курящего посетителя таверны. Очевидно, так эти трубки, которые лепились из глины, выглядели в то время в Голландии. Не зря же

существует голландская поговорка: «Если голландца оставить без курительной трубки и табака, то ему и рай будет не в радость».



Рис 12 Курильщик в корчме. Народный музей в Варшаве



Рис 13 In the Tavern. Alte Pinakothek, Munich
«В кабачке» Старая пинакотека, Мюнхен

А так, очевидно, выглядела штрафная доза, которую с лукавой улыбкой отмеривает пришедшему гостю в серовато-палевой куртке с ножом позади за поясом.

Читатель – зритель невольно задумывается: А кто же среди этих посетителей, прощельг, пропойц и прохиндеев, сам художник? Ведь такой образ здесь нигде и ни чем не выделен, как, например, молодой художник с палитрой в руках на картине Брюллова «Последний день Помпеи» », или мрачный молодой человек со скрещёнными на груди руками, стоящий позади

новобрачной на картине В. Пукирева «Неравный брак», которого иногда также отождествляют с автором картины. Нет типажа, повторяющегося среди персонажей, нет похожего облика или такой фигуры. Но он там, среди них, или в сторонке, в непоказанном на картине углу, если не физически, то душой, метафизическим образом присутствует на этих картинах.



Рис 14 Smoking Men. 1637. Metropolitan Museum of Art, New York

На картине - позирующие ценители табакокурения. Судя по одежде - не бедный франтоватый субъект, уже не крестьянского сословия. Да и его сосед с кружевным белым воротником ближе к дворянскому роду, аристократ. Но он не дурак погулять и выпить в тёплой компании. Обстановка примерно такая же, как и на прежних картинах, но в этом притоне уже имеется окно, либо открытая настежь дверь.

Но не все напитки всем потребителям подходили и нравились. Новое зелье с трудом пробивало себе дорогу, особенно появляющиеся всё новые крепкие и горькие напитки (ром, джин).

Вот этот симпатичный, аккуратно «причёсанный», но давно не стриженный молодой человек, с нахлобученной на голову шапкой, отдалённо напоминающей будущую фуражку - бескозырку, либо берет, попробовал хлебнуть горький напиток. Выражение его лица Брауверу удалось передать очень и очень выразительно и умело. Глянешь, и самому горько во рту становится, настолько точно и экспрессивно показана гримаса от выпитого зелья.

Картина, написанная около 1635 года, так и выставлена под названием «Горький напиток» в Штеделевском художественном институте во Франкфурте-на-Майне.



Рис 15 «Горький напиток» Брауэр Адриан. Около 1635.
Штеделевский художественный институт, Франкфурт-на-Майне

Некоторые пили в сопровождении музыки, в частности, игры на скрипке, как на этой картине Браувера. Под музыку можно напоить и нежелающего пить, что видно на заднем плане на картине, хранящейся в Munich



Рис 16 Bayerische Staatsgemaldehysammlungen (Pinakothek)

С вином и любовные отношения легче наладить, как видно по лицу молодого человека, уговаривающего подружку

быть сговорчивее и нежнее, и по сомневающейся рожнице милой девушки, решительность которой тает с каждым глотком вина....



Рис 17 Giclee Print Drinkers

В старой Пинакотеке в Мюнхене выставлено ещё одно полотно Браувера «Пьющие и курящие крестьяне» (около 1635 г.). На нём все три весёлых персонажа просто дурачатся или же наслаждаются курением, демонстрируя манеру затягиваться дымком, как верхний, либо выпуская его из себя, как его визави. Сидящий внизу и одетый как скоморох или клоун, с интересом наблюдает эту «дуэль». Котёнок, не отвлекаясь, лижет своё молочко.



Рис 18 Брауэр Адриан (1605/1606-1638) «Пьющие и курящие крестьяне». Около 1635. Старая пинакотека, Мюнхен

«Спящий курильщик» из Лувра, по мнению редких комментаторов картин Браувера, - это сам автор, вышедший из

кабака после изрядного подпития, выкурив не одну трубку, присел отдохнуть, вдохнул свежего воздуха и невзначай заснул.



Рис 19 «Спящий курильщик», Лувр, Париж
(Предполагаемый автопортрет художника Адриана Браувера, правда, никаких аргументов к этому предположению не приводится).



Рис 20 и 21 А. Brouwer: Pannkoogiküpsetajad Interior of a Room with Figures

Одна его рука засунута за обшлаг куртки, подпоясанной ремнём, а вторая упёрлась в рядом стоящий стол, что придало уснувшему устойчивости, вернее усидчивости, и он остался сидеть, не свалившись на землю, либо не проснувшись от перемещения тела.

Блаженное и нагловатое, как мне кажется, выражение лица говорит и о благодушном настроении выпивохи, покутившего в кругу оставшихся в кабаке друзей и об охватившей его неги отдохновения.



Рис 22 Крестьянская еда

А хозяин снова наполняет кувшин вином из огромной бочки, которую удаётся рассмотреть за забором. Возможно, что наше предположение о местонахождении уснувшего посетителя кабака, и неверно, ибо освещённость его фигуры и места пребывания свидетельствуют, скорее, что это всё происходит внутри помещения, так как уже поздний вечер и за забором темно.



Рис 23 Праздник забоя скота. 1640

Не исключено, что там просто хозяйственная пристройка, где и находится видимая бочка и человек рядом с ней. Быть может, у входа в кабак в ту пору уже были фонари...

На этих двух небольших полотнах и на нижеследующей картине художник отразил быт крестьян в будничной семейной обстановке. Здесь больше цветов, нежели в тавернах, они более яркие, лучше просматриваются детали разнообразной одежды, мебели, посуды. Чёрная как смоль кошка тоже ест свою порцию пищи, распрямив от удовольствия хвост. Если кто-нибудь предположит, что это чёрная собачонка, оспоривать не стану.

Это уже последствие, забой завершён, свежatina приготовлена, обмывание повода проходит по обычному ритуалу. Некоторые ещё в состоянии пить и есть, другие сидят осоловевшие, как женщина справа в терракотовой одежде и вязанном серовато-белом колпаке с опущенными наушниками. Такой же колпак или капор виден и на голове женщины в глубине комнаты слева. Мужик в белых брюках и красной шапке уже заснул сидя, положив руки на бочку и уютно пристроив голову на их скрещении. У его ног грязно-белая собачка (тут уж вне всяких сомнений), тоже прикорнула у его ноги в чёрном ботинке. На столе баранья и свиная головы, что видно при увеличении картины. Бутылка в руке у женщины в чёрном готова к разливу вина.



Рис 24

Мне понравился своей выразительностью сюжет следующей картины, когда отец с несколько брезгливой гримасой вытирает тряпкой попку своему оскандалившемуся малышу, зажатому у него подмышкой. Мама или бабушка, чем-то недовольная, даёт наставления по гигиене или более правильные с

её точки зрения рекомендации. Действительно оправдано название картины: «Неприятные отцовские обязанности»...



Рис 25 1618-1638. Adriaen Brouwer Chez le dentiste. Помощь зубного врача

А сейчас, уважаемые читатели и зрители, разрешите представить вашему вниманию несколько картин Адриана Браувера на медицинскую тему. Как вы понимаете, в далёкие времена даже в благословенной Голландии с врачами была напряжёнка и народные целители были весьма востребованы и их ремесло помогало простому люду лечиться и даже выздоравливать. Помощь, в том числе и хирургическая, оказывалась нередко на улице, на дому и в тех местах и условиях, где встречались врач и его пациенты.



Рис 26 1618-1638. Adriaen Brouwer Opération au bras

Думаю, что об асептике или обезболивании здесь никто не думал, хотя, возможно, что стакан водки (джина, виски), а возможно и чего-нибудь сугубо местного голландского, всё же

пациент получил. Очень красноречив операционный стол с «разложенным на нём инструментарием» в виде ржавого подобия ножа и каких-то скляночек со снадобьями. Аморфный коричневый кусок чего-то непонятного, но крошащегося, очевидно также лежит на столе...Возможно это вид корпия или глины для остановки кровотечения после успешного, надеюсь, выдирания зуба? Эскулап сосредоточен и внимателен. Помощник сострадает, но придерживает беднягу, остальные персонажи отвернулись либо смотрят из-под шляп. Пейзаж показывает, что действие совершается на площади, как спектакль заезжего дантиста.

Следующая операция на спине, как следует из названия картины, уже проходит в тёмном помещении и без лишних свидетелей, кроме седой старухи с тряпкой в руке, сосредоточено глядящей в операционное поле. Лицо эскулапа в чёрной шапочке, весьма серьёзно. Для удобства и устойчивости нога, согнутая в колене, стоит на возвышении. В руке хирурга (?), очевидно, скальпель или стилет, которым он вырезает что-то на спине, возможно, фурункул, у довольно бледного пациента со страдальческой миной на лице. Всё вокруг нечисто и мрачно, а на операционном столе примерно тот же набор, что и у дантиста, плюс бутылочка и комок белой ваты.



Рис 27 Операция ноги. The Operation. Старая пинакотеха, Мюнхен

А этот доктор, возможно, шарлатан, без диплома, разрешения на врачевание, либо скрывающийся от уплаты налогов, работает в артели или бригаде таких же нелегалов. Вы спросите, почему у меня такие мысли? Вглядитесь в детали: Женщина, акушерка или помощница, либо хозяйка квартиры, снятой для проведения операций, смотрит в окно, как бы следит за возможной облавой или приходом стражей. Доктор спешит выполнить операцию, будучи в полном облачении. Пациент внешне спокоен, но старается не стонать, преодолевая боль. Второй эскулап, по-

видимому, дантист, у окна в глубине осматривает пациента, запрокинувшего голову. У него полотенце накинуто на верхнюю часть груди и шею. А, возможно, что и операция на шее и второй тоже хирург. Я ведь могу во всех своих предположениях о содержании картин, ошибаться, так как мне доступны репродукции и в довольно уменьшенных размерах. Но я пытаюсь быть ближе к истине, насколько мне это удаётся.

В Брюссельском королевском музее выставлена картина Адриана Браувера «Сидящие и пьющие» крестьяне на лоне природы - холма, находящегося впереди забора, а позади - стол, за которым они пьют.



Рис 28 Сидящие и пьющие. Seated Drinkers. Musées Royaux des Beaux-Arts, Brussels

Основной персонаж, одетый в подобие армяка или короткого тулупа, подпоясанного ремнём, в широкополой шляпе такого же желтовато - коричневого оттенка, сидит спиной. Другой - боком к нему рядом со стоящим, третьим, в тёмно-красном колпаке. Четвёртый – визави, просматривается благодаря чёрной шапке (типа папахи), пятый - едва заметен рядом с ним, вроде, тоже в колпаке. Отдельно стоящий спиной субъект то ли застёгивает, то ли расстегивает (развязывает?) куртку, или ширинку, стоя перед дверьми грубо сколоченного из старых досок, скорее всего, туалета. На земле рядом вмонтировано кольцо, рядом лежат два шара, и стоит прислонённая к бочке палка, возможно, бита для игры в ...крокет или аналогичную, незнакомую

нам по причине прошедших более 500 лет со времени написания этой картины, игру.



Рис 29 Dune Landscape by Moonlight. 1635-37. Staatliche Museen, Berlin.
Пейзаж дюн в лунном свете

Пейзаж очень напоминает офорты Рембрандта, но, конечно, примитивнее. Видимые горизонтальные мазки низводят картину до уровня ещё незавершённой, либо к обычному рисунку.



Рис 30 Портрет Яна де Дода

На портрете персонаж, с рыхлым лицом, написанном одним цветом и приёмом с одеждой. Нет той страсти в лице, как мы видели на лицах крестьян или у выпившего горький напиток.

Этими двумя картинами - одним из немногочисленных его портретов и столь же редких пейзажей, мне хочется завершить

свою виртуальную экскурсию в качестве «самозваного гида» с сугубо личным взглядом и таким же личным мнением на собрание некоторых картин голландского художника Адриана Броувера. Впрочем, эта ремарка повторяет уже сказанное мною в начале очерка. Спасибо за внимание и будьте снисходительны, помня, что я врач, а не искусствовед...



Элина Васильева

Художественный мир драмы Фридриха Горенштейна «Бердичев»*



1975 году Ф. Горенштейн создает, казалось бы, два непохожих друг на друга текста: роман «Псалом» и драму в трех действиях, восьми картинах, 92 скандалах «Бердичев». При всей несхожести тем не менее эти два текста органически связаны и в рамках разных жанровых структур (роман – драма), на разном материале, но демонстрируют единую концепцию автора о судьбах еврейства, о судьбах еврейства в России и, следовательно, о России вообще. Необъятные эпические просторы России в «Псалме»¹ сменяются замкнутым миром квартиры сестер Луцких в «Бердичеве», мифологического Дана-Антихриста, несущего горькое прозрение всем, кто встречается ему на пути, сменяет скандальная Рахиль Луцкая, по мужу Капцан. Во многом драма не соответствует заявленному жанру. «Бердичев», подобно «Псалму» тяготеет к эпическому повествованию. Драма сложна, если не сказать невозможна для театральной постановки. Это история семьи, история рода, развернутая во времени, за которой стоит история всего народа. Если следовать сюжетной линии, то драма «Бердичев» восходит к традиции романа начала XX века – семейной эпопее, примером которой являются «Будденброки» Манна, «Семья Тибо» Гро, «Сага о Форсайтах» Голсуорси и многие другие. Кризис одной семьи становится моделью культурных и исторических преобразований целой нации.

* Впервые статья о драме «Бердичев» Фридриха Горенштейна была опубликована в сборнике «Материалы одиннадцатой международной конференции по иудаике». Москва 2004.

¹ Горенштейн Ф. Псалом. – Москва, 2001.

В списке действующих лиц драмы «Бердичев» заявлено 32 персонажа, при этом по ходу действия появляются и другие. Тем не менее основная событийная линия связана с миром сестер Луцких и людей их окружающих (именно они являют собой модель бердичевского мира, а через него модель всего еврейского мира России). Центром действия является Рахиль. Ее стержневая роль подчеркивается и в списке действующих лиц, который она открывает. Все остальные персонажи появляются в связи с ней: ее дочери, ее внуки, ее племянник, ее старшая сестра. От окружающих ее женщин Рахиль отличается тем, что ошутимо изменяется во времени – стареет. Время не меняет Злоту, хотя она и старше Рахили. Рахиль же наоборот толстеет, тяжелеет, надевает очки. При этом в отличие от Были и Овечкис, не старается выглядеть моложе. Время проходит через нее и она движется во времени. Если 80-тилетняя Злота обижается на мальчика назвавшего ее бабушкой, то Рахиль готова быть и бабушкой, и мамой, и тещей. Кроме того Рахиль готова взять на себя обязанности мужчины: «Я сама себя буду защищать!». Мир драмы – это подчеркнуто женский мир. Неслучайно три картины начинаются примеркой платья, сопровождающейся повторяющейся фразой Злоты: «Тут будет встречная складка». Мужчины в этом мире являются величиной непостоянной: на фронте погиб муж Рахили, на положении иждивенца (причем явно временного) находится Виля, умирает Сумер, приходит - уходит Миля. Преобладание женского начала наделяет мир амбивалентностью. С одной стороны, женское начало связано со слабостью, с другой – с жизненностью. В этой связи сестры неслучайно повторяют одни и те же фразы. Злота: «Я такая больная, еле живу». Рахиль: «Я имею от нее отрезанные годы». Эти два жизненных состояния сестер и есть состояние еврейского мира в рамках советского строя – в любых условиях и не взирая ни на что – жить, а точнее выжить, по определению Вили.

Приоритетом женского характеризуется и продолжение рода, праматерью которого по праву можно назвать Рахиль. Подобно библейской модели в тексте Горенштейна появляются две сестры, одна из которых носит имя праматери Рахили. Но заявленный миф тут же снимается: история рода Луцких существенно отличается от истории праотца Иакова и двенадцати колен Израилевых. Возобладало женское начало, род не прекратил своего существования, но это уже другая история. Две сестры Луцкие, две дочери Рахили, у любимой младшей дочери Люси тоже две дочери, но внучка Алла уже не хочет быть Пейсаховна, а хочет отчество – Петровна.

Лишенная мужской поддержки, Рахиль, по сути дела, защищает себя только словом. При этом ее рот, по выражению Злоты, «как помойная яма». Но вечно повторяющаяся угроза «От так, как я держу руку, я тебе войду в лицо» в жизни ни разу не воплощается. Тем не менее у слова Рахили есть сила. Проклятия, которыми она щедро осыпает своих врагов, сбываются: На Бронфенмахеров действительно наедет машина, Бебу разрежет на кусочки, а Бронфенмахер долгое время будет ходить на костылях. Большинство предсказаний проклятий касаются темы смерти, при этом Рахиль, утверждающая свое желание жить, уверена в своей вечности:

Миля Не обращай внимания на этих старух, они уже отжили свое.

Рахиль (*из соседней комнаты*) Я еще тебя переживу.

Утверждая свою жизнестойкость, Рахиль воспринимает смерть своих врагов-оппонентов как факт абсолютно логичный: «Отец умер... Григорий Хаймович... Ничего... Умер, так на здорovie» (347) 2, над этим можно иронизировать. Смерть же близких воспринимается как нелогичная, тем не менее для Рахили она это данность.

Являясь основой рода, Рахиль прежде всего печется о благе своей семьи. Ее образ тесно связан с оппозицией свое-чужое. Не смотря на свою гордость коммуниста, Рахиль не отличается чувством коллективизма. И радость и горе – это прежде всего свое (над чужим горем можно шутить). Партийность Рахили носит на себе явный признак принадлежности еврейству: гои как чужие постоянно фигурируют в ее речи. В рамках оппозиции свой-чужой вариант еврейский-нееврейский занимает одно из первостепенных мест. Два мира не сталкиваются в основе конфликта, погромы возникают только в воспоминаниях. Тем не менее обособленность еврейства подчеркнута. В восприятии неевреев евреи фигурируют как жидаы. Вне своего дома (вне квартиры Луцких) евреи оказываются в положении изгоев (случай у братской могилы, когда Маматюк произносит взбесившую Рахиль фразу: «Здесь лежат похоронены все нации, защищавшие родину. Все нации, кроме жидов»). В связи с этим большинство героев драмы выбирают для себя исход из еврейского (т. е. бердичевского) мира. Возникает ситуация мифа наоборот.

2 Горенштейн Ф. Бердичев. / Горенштейн Ф. Бердичев. Избранное в 3-х томах – Далее указание страниц данного издания приводится в тексте непосредственно за цитатой.

Два персонажа совершают исход в Москву: Виля и Бронфенмахер. Их исход демонстрирует два полюса в оценке бердичевского мира. Бронфенмахер, связывая свою судьбу с московскими евреями Овечкис, отрекается от еврейского мира (даже скандальность Рахили кажется ему чужой, хотя первый скандал драмы разгорается между Рахилью и ним. Виля же наоборот издалека начинает понимать сущность бердичевского мира и подобно Рахили («Мы таки с Вилей похожи»), предсказывает его будущее. Если в детстве Виля доказывал соседям, что он «хуский еврей» («Я ведь на еврея не похож»), то повзрослевший Виля приходит к заключению: «Можно отречься от своих идеологических убеждений, но нельзя отречься от собственного носа» (389).

В связи с оппозицией свой-чужой актуализируется тема воровства. «Вор-воровка» наиболее частое ругательство, которое персонажи бросают в лицо друг другу. Первое появление Рахили связано с обвинением Вили в том, что он пробует варенье и наливки, Виля же в ответ обвиняет в воровстве Рахиль. Сумер будет сидеть в тюрьме за халатность. При этом воровства как такового никто не совершает. Есть только стремление оградить и упрочить свое. И в связи с этим возникает еще одна категория – категория ума. В драме ум – это прежде всего ум практический, ум, который должен приносить пользу. Неслучайно бездарного поэта Макзаника все считают идиотом. Рахиль старается во всем быть практичной, это доставляет ей удовольствие:

Виля Когда она тебе покупает, как и раньше, берет лишнее?

Злота Сколько она там берет?.. Пятнадцать – двадцать копеек... (Смеется). Она иначе не может... Иногда она мне одалживает деньги и хочет заработать на своих собственных деньгах... Колбаса стоит два пятьдесят, а она говорит: два шестьдесят. Она должна выгадать, это ей нравится... Но это же моя единственная сестра, пусть она получит удовольствие, на здоровье» (398).

Характерно, что в восприятии бердичевского мира ум не обязательно связан с образованностью. Тип еврея - интеллигента в драме - это прежде всего Овечкис, но и он поставлен на один уровень с Борисом Макзаником:

Злота Он таки умный человек?

Виля Он идиот.

Злота Идиот? Как это идиот, когда здесь написано: доцент?.. (390)

Оппозиция свой-чужой вскрывает суть проблемы обособления нации. Мир Луцких, пытающийся сохранить свою самостоятельность, это мир замкнутый, мир модельный. Замкнутость и целокупность этого мира неоспоримы, невзирая на вечные скандалы и конфликты. В этом мире слабы внутренние связи. Трещит по швам мир Рахилиной семьи. В виде своеобразной цепочки Рузина семья рвет на Рахили одежду, причем домашнюю одежду. Сначала Руза – ночную рубашку, потом Гарик при помощи вцепившейся в него Рузи – халат. Но вновь из развалин и обломков мир в семье каждый раз восстанавливается. Восстанавливается именно на уровне еврейства, в котором личное обособление невозможно: «Величайшее благо человека – это возможность личного обособления от того, что ему неприятно. А не иметь такой возможности – величайшая беда. Но личное обособление возможно только тогда, когда нация скреплена внутренними связями, а не внешними загородками. Русский может обособиться от неприятных ему русских, англичанин – от неприятных ему англичан, турок – от неприятных ему турок. Но для евреев – это вопрос будущего» (388).

Мир еврейства, мир Бердичева – это мир, лишенный внутренних связей. И дом сестер Луцких – модель этого мира, который утратил подлинную библейскую основу, но не утратил своей принадлежности еврейству.

Для временной модели драмы, как и в целом для мира Горенштейна характерно движение во времени. Время как данность автора интересует минимально, время важно в его движении. При этом движение времени зачастую подчеркивает неизменность отдельных вещей и явлений. В связи с этим имеет смысл говорить об актуализации прошлого. Первая же ремарка свидетельствует об активном подключении прошлого, и это прошлое связано с историей дома, где живут сестры Луцкие. У прошлого дома есть несколько уровней. Это период, когда дом принадлежал другим людям. Этот период интересует автора менее всего. До поселения сестер дом находился как бы в состоянии доисторического периода. Далее – это годы, проведенные Рахилью и Злотой. При чем с каждой картиной предыдущий период уже оказывается прошлым, в первой картине подчеркнутой характеристикой мебели является старая, а знаковой в квартире становится грязь – все это отпечатки времени. Имеет смысл говорить о наличии бытового и надисторического прошлого. Вернувшийся через 15 лет Виля, пытаясь объяснить Овечкису, что такое Бердичев, говорит о том, что город сложен из прекрасных

мраморных плит прошлого. Есть органическая связь с вечностным надвременным пластом. Но связь эта скрывается за прошлым бытом, грязью и пылью легшим на эти плиты. На бытовом уровне возникает постоянное сопоставление тогда и теперь. Коммунистическое сознание Рахили побуждает ее постоянно делать сравнение в пользу советского настоящего: «Вот Пынчик при советской власти сделался большой человек, майор. Он живет в Риге. А кем был его отец до революции? Бедняк» (309). Для Злоты прошлое – это прежде всего ее молодость и здоровье. Но есть вещи, не меняющиеся с течением времени. Одно из таких явлений – отношение к евреям. Сумер проводит только одну параллель – между случившимся у Вечного огня и временем, когда в город вошли петлюровцы и послали евреев выкапывать убитых: «Так что тогда говорили, что в братской могиле закопаны все, кроме евреев, и теперь так говорят» (365).

Течение исторического времени неоспоримо. Действие драмы начинается в 1945, а заканчивается в середине 70-х. Но героев интересуют не только годы. С точки зрения Рахили каждый день имеет свою историю: «Каждый день имеет свою историю... Я тебе скажу, Виля, что год для меня прожить нетрудно. Год пролетает, и его нет... А день прожить очень тяжело. День тянется, ой как тянется...» (399). Принимающая всецело жизнь, Рахиль принимает течение лет (годы неслучайно наложили отпечаток на ее внешность – Рахиль с годами заметно стареет). День же наполнен конкретными событиями, в том числе и скандалами. День свидетельствует о том, что идет борьба за выживание, чем и подчеркивается специфика бердичевского мира. Более того дом сестер проходит испытание всеми временами года. Но действие заканчивается весной, в мае. И хоть время действия последней картины – поздний вечер, верх одерживает свет, идущий из кухни, на которой слышны голоса сестер.

Дом, в котором живут Луцкие, выстроен до революции местным богачом доктором Шренцисом, и он впитал в себя все особенности дореволюционного быта. Но на протяжении пьесы дом-квартира Луцких проходит все возможные испытания: огонь (пожар от упавшей свечки и загоревшейся ваты), вода (постоянные слезы Злоты), медные трубы (скандальная слава дома). В самом Бердичиве перестают существовать постоянные топоры. На Лысой горе расположена воинская часть, Рузе дают квартиру в доме, который построен на месте бывшего роддома, наконец, сносят знаменитую водонапорную башню. Но то, что утрачивает Бердичев, пытаются сохранить в своей квартире сестры. Если Бердичев постепенно отказывается от своего (перестает быть

домом и становится меблированной квартирой), то квартира Луцких наполняется своим: смена чужой мебели на свою (исчезает ободранный просиженный кожаный диван, явно неуютный для дома). Зато остается кровать Рахили и дубовый стол. Время вносит свои коррективы в интерьер квартиры (появляется телевизор, исчезает портрет Сталина), но жители этой квартиры производят свой сознательный отбор - остается коврик базарной живописи «Утро в сосновом бору». Наконец, не смотря на свое недовольство и астму, Рахиль по-прежнему таскает на второй этаж ведра с водой.

В статье «Читая Фридриха Горенштейна» Татьяна Чернова, обращаясь к анализу темы искупления в прозе Ф. Горенштейна, говорит о специфике авторской позиции: «Фридрих Горенштейн работает в манере зощенковского анекдота, но не обнаруживает характерного для Зощенко сочувствия своим героям, Он отстраненно, сухо, брезгливо и сурово судит своих персонажей и страну, в которой они возможны. Этот отстраненный взгляд делает естественной насмешку над очень серьезными вещами»³. Думается такой взгляд на поэтику Горенштейна не вполне верный. Позиция отстранения, взгляда свысока Горенштейну абсолютно чужда. Автор находится рядом со своими героями, исключая позицию судьи. Особенно следуют это отметить в отношении еврейской темы. Драма «Бердичев» менее всего насмешка, хотя комическому отводится определяющая роль. Но в «комической странности» героев их жизненность. Несуразный мир стремится выжить в предлагаемых исторических условиях. И автор демонстрирует это иногда сочувственно, а иногда с нескрываемой симпатией.

Квартира сестер – это мини-модель Бердичева, это своеобразная модель ветхозаветного пространства, через которое протягивается лента времени. Квартира остается островком, сохранившим знаки старого бердичевского мира. Это подтверждается отношением людей к этой квартире. «Высвобождение» квартиры означает и ее освобождение от лишних, чужих людей. Постоянными в ней оказываются только Рахиль и Злота. Все остальные приходят сюда временно, как в музей: посмотреть на приехавшего из Москвы (опять-таки временно) Вилю - Быля (прикрываясь примеркой платья), Макзаник, Овечкис, Рузя и Миля. И все они покидают ее как чужие. Вечными здесь оказываются только сестры, о чем и

³ Чернова Т. Читая Фридриха Горенштейна. – Октябрь, 2000, Nr. 11. С. 147.

свидетельствует заключительная ремарка: «Большая комната – темная и пустая. Свет падает только из кухни, откуда доносятся голоса сестер» (401).



Яков Каунатор

"Каждый пишет, как он видит..."

*Каждый пишет, как он слышит,
Каждый слышит, как он дышит,
Как он дышит, так и пишет,
Не стараясь угодить.*
Булат Окуджава



авно для себя решил, что фильмы Александра Прошкина надо обязательно смотреть. Вот с того самого, с "Холодного лета пятьдесят третьего года". Режиссёр Александр Прошкин никогда не старался никому угодить своими фильмами. Ладно бы ещё он не угождал чиновникам из Госкино, коллегам по Союзу кинематографистов. Но ведь он и мне, рядовому зрителю-обывателю не способен угодить простотой картины мироздания, или сердечностью-чуткостью человеческих отношений. Помнится, фильм "Холодное лето пятьдесят третьего года" погрузил меня в тяжкие раздумья о том, так ли далека от нас история? И кто мы в этой самой истории: пыль ли лагерная, или мы люди? Где же прячется у человека достоинство и есть ли оно у каждого? Ох, недаром, вовсе недаром преподнёс нам режиссёр этот фильм... Словно предчувствовал, запоют скоро нестройным хором: «Сталин жил, Сталин жив, Сталин будет жить!» И вспоминается сейчас этот фильм в обнимку со стихотворением Бориса Чичибабина: "Клянусь на знамени весёлом!"

А фильм "Живи и помни"? Как же назвать этот фильм, как не злостным издевательством над психикой и здоровьем рядового зрителя, которому хочется после горького и солёного в повседневной жизни сладкого на десерт? А ему говорят: "Думай, Федя, думай!" И думаешь тяжело и мучительно: а ты - сам - смелый? А не подался бы ты сам в подпол? И вспоминается вновь классик советской поэзии Владимир Маяковский: "А вы ноктюрн сыграть могли бы? На флейте водосточных труб?"

Изуверская сущность режиссёра Александра Прошкина не изменила ему и в последнем его фильме - "Искушение".

Странное ощущение от фильма, когда не хочется ни о чём говорить, когда хочется помолчать хотя бы пару часов и

отрешиться от суеты, побыть один на один с самим собой и переварить увиденное и услышанное. Читаю немногочисленные рецензии на фильм и ловлю себя на мысли: какие мы все разные! Посади в зрительный зал лишь одних кареглазых, у всех одинаковый абсолютный музыкальный слух, но каждый увидит только своё, каждый услышит в одной и той же фразе лишь своё.

Вот и я попытался своим подслеповатым взглядом и "хромым" на ухо увидеть и услышать.

Фильм "Искупление" обязательно надо посмотреть, как и любой другой фильм Прошкина, его трудно пересказать.

Бывает так, что принимаешь фильм с самого первого кадра. Так и произошло со мной. И можете упрекать меня в предвзятости, говорить о "запрограммированности", но... В этой "натуре", в послевоенных развалинах провинциального городка, я увидел своё детство. Это был мой город, и это - я, сопливый пацан сию около костерка. И в этом - почерк художника. Так окунуться в эпоху, чтобы зритель поверил.

В одной из рецензий на фильм (на сайте "Рускино", рецензент Светлана Степнова), читаю: «... в "Искуплении" (как и в прошлой работе Прошкина картине "Чудо") с нескрываемым осуждением показаны вечеринки и праздники молодёжи».

Наверное, надо обладать особым даром видения, чтобы увидеть в этих сценах "осуждение". Мне же показалось, в сцене первого бала Сашеньки автор позволил себе грустную ностальгическую иронию. И вспоминается другой первый бал, бал Наташи Ростовой. Сверкающий, ослепительный, озарённый улыбками и тайным ожиданием загадочного чувства любви... Так ведь всё то же самое присутствует и в первом бале Сашеньки. Облиться холодной ледяной водой, натянуть на себя рубашонку, поверх - платье - единственное нарядное, заячью шубейку, валенки - и... Клуб, случайно уцелевший после бомбёжек и артобстрелов, оркестрик из нескольких отставных военных, Батюня, сын генерала, уговаривавший - "Пойдём на балкон!" Балкон, уставленный мебельной рухлядью, шампанское из горлышка бутылки, жадные руки Батюни, лапающие тело, что каждый день омывалось специальным трофейным раствором, а к нему вдобавок втираемый в тело одеколон... "Это - любовь?" И - скорее - вниз, к музыке, к танцам! "Вошь! Вошь на платье!" - крик, как удар плетью, и злорадный смех. Вон из клуба! Домой! К маме! А мама тоже встречает Новый год, и как же сладко! В поцелуе с "культурником", искалеченным войной танкистом. Домой! В свою комнату! А в доме - Вася Бобров, с женщиной своей Ольгой бесстыдно и срамно занимаются "любовью". Как волной горячей

окатило обидой... "Как много в мире зла! Мама - воровка! Воровка и предательница! С "культурником" целовалась, позабыв отца, лётчика героического, крылья сложившего под Варшавой... Васька Бобров, которого мать приютила - бывший полицейский... Где справедливость!?" А справедливость - вот она, рядом.

"Сашенька подошла к трехэтажному зданию, верхний этаж которого был закован в цинковые листы, а окна нижнего полуподвального забраны решеткой. Как раз подъехала мохнатая, вся в инее, лошадка, запряженная в сани, на которых стоял укутанный рогожей большой котел. Двое арестантов в телогрейках вышли из ворот в сопровождении милиционера, также в телогрейке, кубанке и с немецкой винтовкой, надетой через плечо дулом вниз, по-партизански. Арестанты взяли котел за металлические ушки и понесли. Из котла шел пар и вкусно пахло вареной брюквой, ржаной мукой и постным маслом. Сашенька слотнула слюну, прижала локоть к заурчавшему животу, переждала, пока урчанье прекратится, и подошла к часовому.

– Мне к начальнику, – сказала Сашенька.

– Обратись к дежурному, – с привычной скукой сказал часовой, – слева крыльцо... где народ дожидается..."

Сашенька... Ах, Сашенька, главная ли героиня? Но коль сюжет закручивается вокруг неё, с неё и начнём. Сашенька - это то, что выросло на стихах "Нас водила молодость в сабельный поход! Нас бросала молодость на кронштадский лёд!" Сашенька - это то, что из неё вылепила советская власть: искренняя, бескомпромиссная, для которой чёрное - это чёрное, в борьбе "за чистоту рядов" не пожалеет и мать родную. И не пожалела, написала донос на маму, работающую посудомойкой в милицейской столовой и вынесшей после работы в стёганных штанинах несколько варёных картофелин.

Всего лишь четыре минуты из двухчасового фильма занимает эпизод в милиции, где Сашенька исполняет свой "комсомольский долг", пишет донос на маму-воровку. Это самый важный эпизод, ключ ко всему фильму.

Из-за полуоткрытой двери слышит она допрос Шостака, врача санэпидемстанции при городской управе в оккупированном немцами городе:

" – Это ваша подпись? – повторил майор.

– Разрешите, – сказал Шостак и взял бумагу. – Да... Я обязан был как санитарный врач сигнализировать... Майор взял бумагу и, подняв очки на лоб, прочел: «В канализационных коллекторах, сточных канавах, а также в ряде случаев в дворовых местах общественного пользования обнаруживаются трупы лиц

еврейской национальности, которых отдельные граждане из местного населения самовольно уничтожают в черте города, используя металлические прутья, ножи, камни и прочие средства. Подобные действия, в нарушение инструкции о сборе этих лиц в строго установленных пунктах для дальнейшего препровождения, угрожают городу эпидемией, что особенно опасно, учитывая большое количество госпиталей немецкой армии, размещенных у нас. Гниющие трупы привлекают бродячих собак и кошек, а также способствуют размножению мух и слепней, и что усиливает опасность распространения эпидемии как среди населения, так и среди армии. Санэпидемстанция городской управы не располагает ни транспортом, ни рабочей силой для вывоза трупов в места, заранее предусмотренные. Посему прошу обратиться к военным властям с ходатайством о запрещении впредь подобного нарушения инструкции".

Как буднично, как цинично, и оттого, словно из Апокалипсиса, звучат эти слова страшно и жутко.

И здесь же дворник Франя, выступающий свидетелем тех недавних страшных событий. В его рассказе о семье молодого лётчика, сидящего здесь же, рядом, и которого Сашенька недавно видела на вокзале (перефразируя известную поэтическую строчку - "Нам не дано предугадать, как встречи наши отзовутся..."), семье врача Леопольда Львовича, меня поразила одна фраза:

"– Шума-ассириец их кончил, – сказал Франя, выдохнув, – чистильщик сапог... В газету завернул кирпич, среди бела дня головы разбил и за ноги повытаскивал в помойку... Дочку шестнадцати лет, и мать, и Леопольда Львовича, и младенчика пятилетнего..."

Фраза проскальзывает, а внимание цепляется за "в газету завернул кирпич..."

А Сашенькина рука медленно выводит: "Мая мать является расхитительницей..." И невдомёк ей, что это - "кирпич", облечённый в бумагу... ещё "невпонятку" ей, что этим доносом она сей момент свою маму "кирпичом в бумагу завернутым"... И пророческие слова Франя: "а за младенчика, я ему говорю, вечное адское искупление терпеть будешь..."

И слёзы, вдруг полившиеся из Сашенькиных глаз, (она только думает, будто плачет об утерянных "лодочках") - это - оттуда, СВЕРХУ, это - начало ИСКУПЛЕНИЯ.

Три дня горячки, что после милиции Сашенька провела в доме подруги Майи, вовсе не болезнь, это - исцеление.

Ещё ершистая, ещё упрямая, но в сцене прощания с мамой, в глазах Сашеньки мама предстаёт не воровкой, не предательницей, а несчастным человеком, и...

По лицу матери текли слезы, оно сразу поблекло, стало старым и больным.

– Мама, – вдруг неожиданно для себя крикнула Сашенька и начала рваться вперед с таким ожесточением, что мгновенно уперлась в казенно пахнущую спину милиционера, стоя в распахнутой, с оторванными пуговицами шубке.

– Сашенька, – отчаянно крикнула мать, – Сашенька...

– Я здесь, – испуганно лепетала Сашенька, уговаривая, успокаивая мать будто маленькую, – я здесь, мне хорошо... Ты вернешься... Искупишь вину... Я буду работать... Я на перчаточную фабрику устроюсь...

– Сашенька, – продолжала кричать мать, – Сашенька..."

Из рецензии Светланы Степновой:

«Стилистически и сюжетно "Искупление" распадается на две части. История любви Саши и Августа снята в узнаваемом с первых же кадров и невообразимо прекрасном стиле советского "оттепельного" кино (самый яркий его пример – наверное, легендарная картина "Летят журавли").

История о жертвах советской системы создана в иной манере. Она по определению не столь красива и не столь узнаваема, поскольку еще не успела полностью сложиться».

Как объяснить рецензенту, что "Искупление" - это не история любви Саши и Августа. Август - это всего лишь соломинка, брошенная Сашеньке СВЕРХУ во искупление её греха, того самого "кирпича, в бумагу завёрнутого". Да ведь в конце фильма Август исчезает бесследно... Две разных картины: Сашенька в начале фильма - с обострённым чувством обиды на весь мир, озлобленностью, и Саша - в конце фильма - сострадание, милосердие, любовь. Для неё близость физическая с Августом - не физиология, а, скорее, психология: постижение женской мудрости. И она, шестнадцатилетняя, ему, Августу, лётчику, опалённому войной: "– Миленький мой, – говорила Сашенька, сильно уже обеспокоенная хриплой торопливой речью возлюбленного своего, похожей скорее на бред. – Миленький мой, – говорила Сашенька, прижимая его голову к своей груди".

И опять, опять я сталкиваюсь, как совсем недавно в эссе о Феликсе Лаубе, с темой женской жалости... Да ведь тут - ребёнок, шестнадцать лет... Верно, это и есть генетический код.

"История о жертвах советской системы создана в иной манере". Соглашусь. Для меня эта "история" обозначилась одним

кадром. В том эпизоде, где профессорша рассказывает "дежурному" Кайгородцеву о несправедливости ареста мужа, читает его переводы с испанского, Кайгородцев выхватывает из её рук тонюсенькую книжицу, швыряет в снег, и лишь она пытается подобрать книжку, со злобой придавливает эту книгу сапогом. Да ведь не книга придавлена, придавлено властным сапогом СЛОВО, придавлена МЫСЛЬ.

В этом кадре - символ, символ той власти. В фильме много символов, как - "завёрнутый в газету кирпич". Символ символу - рознь. Помнится, супермаститый режиссёр жаловался, мол, "зритель не дорос до понимания символов", которыми напичкана была его великая картина. Да ведь кот, намалёванный на клеёнке, тоже символ, символ уюта и благополучия. У Прошкина символы органичны и естественны.

Попробуйте штыковой лопатой вскрыть слой земли. Перед вами откроется: 1) увлажняющий слой; 2) гумусный слой - основа плодородия; 3) подпочвенный слой, характеризующийся пониженной активностью биологической жизни; 4) материнские горные породы.

Александр Прошкин в своём фильме, как и писатель Горенштейн в своей повести, словно штыковой лопатой вскрыли социальный слой той эпохи и перед нами явились по сути все социальные типы. Власть - да вот же она, в лице "дежурного" Кайгородцева. Гумусный слой - это и "культурник", и Сашенькина мама, и Август, и сама Сашенька; этот социальный слой многочисленен и разнообразен. "Подпочвенный слой" - Шостак, Франя, Вася Бобров с Ольгой, Профессор со своей женой. Да-да, Профессор - это живая иллюстрация, описанная Грибоедовым - "Горе от ума";

Материнские горные породы - да ведь это опять Сашенькина мама, Саша, да Ольга, смотрите финал фильма.

Повесть "Искупление" писатель Фридрих Горенштейн написал в 1967 году. Имел ли режиссёр Александр Прошкин основания экранизировать эту повесть спустя 45 лет?

В 1967 году страна слыхом не слыхивала о враче-эпидемиологе Онищенко, однако, спустя 40 лет "во избежание массового отравления и в интересах защиты здоровья граждан России запретить ввоз в страну: "Боржоми"; грузинских и молдавских вин; рижских шпрот; (декабрь 2012 года) - мяса из США.

Декабрь 2012 года: Государственная Дума принимает "антимагнитский закон". Вспомните слова Франи: "я ему говорю, вечное адское искупление терпеть будешь..."

Вот и решайте, имел ли Прошкин основания снимать сегодня фильм по повести 1967 года.

Для меня - это фильм-надежда. Сострадание, милосердие, любовь - вот основа Искупления. И финал фильма - это устремление в будущее.

В одной из рецензий вычитал: "Это - самый провальный фильм Прошкина".

"Каждый пишет, как он видит..."

"Думай, Федя, думай!"



Белла Езерская

О пользе борца в культурных связях

Памяти Виталия Вульфа



аше знакомство случилось (именно *случилось*) в Одессе, в 1972 году, за четверть века до «Серебряного шара», который сделал его телезвездой, узнаваемой на улицах, объектом всеобщего поклонения и обожания. В ту далекую пору он был всего лишь молодым кандидатом юридических наук, широко известным в узких театральных кругах, автором небольшой книжки - «От Бродвея немного в сторону» - об американском театре.



Он написал ее, ни разу не побывав в Америке - силой воображения. Облегчило работу то, что он имел доступ к иностранной прессе, поскольку служил в Институте международного рабочего движения, а языками - английским и французским - владел с детства. Один из советских парадоксов: к

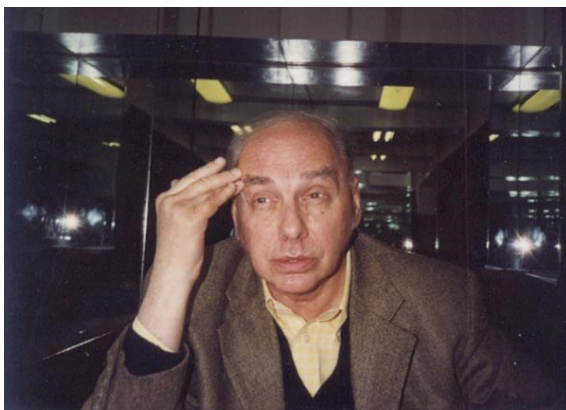
этому времени он, уже объездил 42 страны под эгидой этого Института, но в Америку его, американиста, до 1993 года не выпускали. Наверное, боялись, что он не вернется. Время-то было какое! Но уж за кого, а за Вульфа они могли быть спокойны. Конечно, он мог бы поехать по туристической путевке, но принципиально не хотел. К тому же для младшего научного сотрудника, получавшего 175 рублей в месяц, эта поездка была бы слишком накладной.

В Одессе он появился в 1972 году по приглашению... обкома партии(?) с циклом лекций по американскому театру. Сама эта тема в эпоху холодной войны была крамольной, неудивительно, что на эти лекции устремилась вся интеллектуальная Одесса. У него был плотный график, по две-три лекции день. Первый день я пропустила, пришлось брать больничный на три дня – испытанный способ. Впечатление, он и вправду производил необычное. Лекции он не читал по бумажке, а свободно рассказывал. У него был красивый бархатный голос, он слегка грассировал. О чем бы он ни говорил - об американском, французском, или о русском театре – это было захватывающе интересно. Он цитировал по памяти целые куски. Он погружал нас в мир, о котором мы, к стыду своему, не знали совсем или, знали очень мало. Одет он был с иголки, манерами немного напоминал Вертинского. Что-то изящное, артистическое, от серебряного века было во всем его облике. Мы диву давались, каким чудом эта экзотическая птица залетела в наш одесский курятник.

Здесь я вынуждена сделать отступление, которого требует дальнейшее повествование.

За год до описываемых событий театр Маяковского привез в Одессу пьесу «Дядюшкин сон» по повести Достоевского. Я и не помышляла писать об этом спектакле: гастролеры такого ранга были «хлебом» моего шефа А.А. Щербакова. А тут он заматался и попросил его выручить: написать - в номер- рецензию, но не обо всем спектакле, а только, о роли Москалевой: таково было условие Бабановой. Условие несправедливое по отношению к коллегам. Просидев над образом Москалевой до 3-х часов ночи, я завалилась спать. Утром, перед работой я забросила статью в редакцию. Она вышла на следующий день. Мне говорили, что Бабанова лично приехала в редакцию, и забрала все имеющиеся в наличии газеты со статьей. В редакции недоумевали: зачем ей столько? Она хотела поблагодарить автора, но ей объяснили, что автор - внештатник, работает в библиотеке. Она позвонила и сказала много хороших слов. Это было тем более приятно, что

неожиданно. В моей практике это случалось не так уж часто. Но жизнь шла своим чередом, и я вскоре забыла об этом эпизоде.



Вернемся к нашему герою. На второй день этого безумного марафона я вдруг почувствовала на себе его пристальный взгляд. Я инстинктивно оглянулась, но не нашла никого, кому этот взгляд мог быть адресован. Он заметил мое замешательство - Это вы написали статью о Бабановой?- спросил он, когда я подошла. У меня замерло сердце: обычно такие вопросы не предвещали ничего хорошего.- Она у вас с собой?- Вы думаете, я ее носила в сумочке целый год?- Вы могли бы принести ее завтра в театральное училище к 9 часам? У меня там лекция. Разумеется, я могла. Свои опубликованные статьи я хранила в отдельной папке, откуда и извлекла статью о Бабановой.

Но на следующий день вход в театральное училище для меня был наглухо заблокирован персонально завучем Баренбоймом. Оказалось, лекция Вульфа предназначена исключительно для преподавательского состава. Посторонним вход запрещен. Мои объяснения завуч игнорировал. Вульф выглянул, услышав перепалку. Ситуация мгновенно изменилась, меня тут же пропустили. В аудитории я обнаружила множество людей, которые имели отношение к преподавательскому составу еще меньшее, чем я.

Преодолеть тупой провинциальный снобизм одесской театральной «элиты» мне так и не удалось. Я давно уже была членом Союза журналистов и Театрального общества, широко печаталась в республиканской и центральной прессе, но для одесского «бомонда» так и осталась «библиотекаршей», без специального образования, прихотью Щербакова, на которую ему не раз указывали.

Вульф залпом прочитал статью, (всего 120 строк) - с любопытством взглянул на меня и произнес загадочную фразу: «Теперь я понимаю Бабанову».

В этот день я узнала о Бабановой больше, чем за всю предыдущую жизнь. Вульф мог говорить о ней бесконечно: он был ее другом и доверенным лицом, и входил в узкий круг бабановских фанов. Он был влюблен в Бабанову еще со студенчества, видел все ее спектакли, знал привычки и капризы великой актрисы. Тот факт, что она позвонила мне, он счел высшим знаком признательности, ей не свойственным. У нее не складывались отношения с Завадским, она подолгу не играла и перестала приезжать в театр вообще. Зарплату ей привозили на дом. Ради роли Москалевой она сделала подтяжку. Она опасалась показывать «Дядюшкин сон» в Москве: после долгого простоя она была не в форме. Поэтому решено было сначала прокатить спектакль в Одессе. Все получилось как нельзя лучше. Гастроли театра Маяковского прошли с большим успехом. Бабанова вернулась в Москву победительницей, окрыленная, помолодевшая, и поведала городу и миру, что в Одессе у нее была замечательная пресса. - Вы только подумайте! - какая-то библиотекарша напечатала лучшую в ее жизни статью в газете с каким-то ужасным коммунистическим заголовком («Знамя коммунизма» - Б.Е.). Заинтриговав театральную общественность, Бабанова не только не показала газету (непонятно для чего везла ее с собой в товарном количестве) но даже не сказала, где она была напечатана, как фамилия автора. Вульф перерыл все одесские русские газеты за 1971 год, но статью так и не нашел. Тут бы этой истории и закончиться, но его одолело любопытство, и он решил приехать в Одессу - найти там эту злополучную статью. Оформить командировку труда не доставляло. Остальное известно. Мою фамилию он узнал уже в Одессе. Воистину, «нам не дано предугадать, как наше слово отзовется».

Сработал Его Величество Случай: покажи Бабанова эту рецензию своим фанатам в Москве, удовлетвори она их любопытство, Вульфу не было бы необходимости лететь в Одессу, мы бы не познакомились, и у меня не было бы повода писать эту статью.

С тех пор Вульф приезжал в Одессу почти каждое лето. В аэропорту его встречал Ошеровский, главреж мюзкомедии, кто-то из театрального общества или чиновников, и увозил. На его внимание и время в Одессе претендовало множество разных людей. Мы встречались урывками, он звонил и обязательно приезжал на обед. Он обожал баклажанную икру и украинский

борщ в моем исполнении. Однажды привез знаменитого критика Александра Свободина, которому поручено было отобрать кандидатуру на семинар молодых театральных критиков. Вульф рекомендовал ему меня. Мой борщ Свободину понравился, но моя кандидатура, естественно, не прошла. Ему предложили другую кандидатуру с фамилией на - ко.

На дворе стояли беспокойные 70-е. Социалистическое хозяйствование загнало страну в экономический тупик. Украина, кормившая хлебом полмира, оказалась не в состоянии прокормить собственное население. Советских евреев меняли на американскую пшеницу. Каждая еврейская семья задавалась мучительным вопросом: ехать-не-ехать. Одесса бурлила. Я спросила мнение Вульфа. Он был решительно против эмиграции. Сам он эмиграцию для себя исключал совершенно. Когда наш отъезд уже был решен, он нашел способ увидеться: привез в Одессу «Сладкоголосую птицу юности» Теннесси Уильямса со Степановой и Васильевым. Этот сокращенный вариант спектакля шел в Доме офицеров. Вульф рассказывал, о чем шла речь в пропущенных кусках. В антракте он шепнул мне несколько одобряющих и ободряющих слов. Мы простились, не думая, что придется когда-нибудь увидеться.

Хотя биография Вульфа подробно описана, мне хотелось бы добавить несколько деталей, услышанных от него самого. Он родился в Баку в 1930 году в семье известного адвоката. Отец детей не хотел. У ребенка была няня, отец не подходил к его кровати до четырех лет. Но однажды случилось так, что никого из взрослых не было рядом, ребенок плакал, и отец впервые взял его на руки. И что-то в нем перевернулось. Он стал сумасшедшим еврейским папой. Он приезжал из адвокатуры чтоб лично накормить сына - Виталик плохо ел и был очень худеньким. Отец хотел, чтобы сын поступил на юрфак и получил «солидную специальность» а сын мечтал о ГИТИСе. Последнее слово, разумеется, осталось за родителями: они привезли ребенка в Москву, поручили его родственникам, сняли ему комнату неподалеку, и отбыли в Баку. Виталик горько плакал, расставаясь. У него была серебряная медаль, он без экзаменов поступил на юридический факультет и закончил его с одной четверкой. Хотя юриспруденция, как и прежде, его не интересовала. Но его очень интересовал театр, которому он отдавал все свободное время. Свободного времени было много: в течение четырех лет он нигде не мог найти работу. Эти годы он считал счастливейшими в своей жизни: он запоем читал, заводил знакомства в артистическом мире и не пропускал ни одной московской премьеры. Поскольку найти

работу так и не удалось, он решил поступить в аспирантуру. Но и тут ему не пофартило: он четыре года поступал и четыре раза ему отказывали в приеме. В 55-м году ему выдали справку о том, что *В.Я Вульф сдал все вступительные экзамены на отлично, однако дирекция института не считает возможным принять его в аспирантуру*. Этот «исторический» документ в январе 1956 года насмерть сразил его отца. Виталий вернулся в Баку - он не мог оставить мать одну. Один год он проработал в бакинской адвокатуре, и окончательно убедился, что профессия адвоката - не для него. Однако, он все-таки поступил в заочную юридическую аспирантуру, и в 1962 году защитил кандидатскую диссертацию в Москве. В Баку он больше не вернулся. Но и после окончания аспирантуры, уже «остепененный», он пять лет нигде не мог найти работу, и едва сводил концы с концами. «Солидная профессия» обернулась хронической безработицей. Бесправовому государству не нужны были адвокаты. Спас его случай. Он увидел объявление: Институт международного рабочего движения при Академии наук СССР (см. выше) объявляет о вакансии младшего научного сотрудника. Он подал документы и был принят. Он понятия не имел, что он будет делать в этом Институте, но вскоре понял, что под его крышей можно беспрепятственно и даже с пользой для дела заниматься театром. Он являлся «в присутствии» два раза в неделю, по-прежнему много читал, начал заниматься переводами Теннесси Уильямса. Так понемногу, в процессе работы совершенствуя свой английский, он перевел пьесы Моэма, Юджина О'Нила. Но Уильямс был его любимым автором. Ему удалось скопить немного денег, и купить однокомнатную квартиру в Волковом переулке. Его забавляло это совпадение: Вульф (Волк, на идиш) живет в Волковом переулке. Мы с мужем были у него в этой маленькой квартирке, уставленной мебелью красного дерева. Особенно запомнился резной книжный шкаф, забитый книгами и бумагами. Настоящий «дорогой многоуважаемый шкаф». В этой квартирке он собирал своих друзей, там они с мамой счастливо прожили семь лет. В канун нового 1974 года Елена Львовна, украшая новогоднюю ёлку, упала. Виталий был в шоке. Он не открывал дверь и не отвечал на телефонные звонки. Ефремов забрался в квартиру, открыв окно через форточку, благо квартира была на первом этаже, и привел его в чувство. Он очень любил мать, и эта рана долго не заживала. Она занималась только его делами, хозяйство вела домработница. Оставаться в квартире, где все напоминало о матери, он не мог. Ефремов помог ему купить кооперативную квартиру, куда он вскоре и переехал.

Я тогда его спросила его, как же он будет теперь один? Может быть женится? Он ответил, что *один он не будет*. Говорили, что он молодости был женат. Предполагают, что это был фиктивный брак - он помог приятельнице выехать в Израиль. Его сексуальную жизнь связывают с известным режиссером Борисом Львом-Анохиным. В Нью-Йорке он увидел по телевизору «парад гордости» гомосексуалистов. Он презрительно поморщился и сказал: «ну зачем они так». Он предпочитал не афишировать свою сексуальную ориентацию, этому его научили в России.

Жизнь брала свое. Виталий защитил докторскую диссертацию по американскому театру и получил степень доктора исторических наук. Купил иномарку и научился водить, но яичницу себе пожарить не мог. В своем Институте он поднялся до должности заведующего секцией. Материальное положение его улучшилось, хотя богатым он не стал. Впрочем, он к этому и не стремился. Его звезда взошла 29 сентября 1994 года, когда, по инициативе Влада Листьева в эфир вышла его передача «Серебряный шар». В феврале 1995 года они вдвоем с Листьевым съездили в Париж, а 1 марта Листьева убили. Для Вульфа (и не только для него) это была огромная потеря. Он был человеком Влада и его откровенно эксплуатировали. Он сделал то, чего от него никто не ожидал: порвал с ВИДом и перешел на телеканал «Россия». С вдовой Листьева он сохранил самые теплые отношения. «Серебряный шар» шел 15 лет, всего Вульф сделал 240 передач. Уже тяжело больной он ездил на съемки, и возвращался в больницу. Он записывал свои передачи с одного дубля.

В 2006 году Вульф был награжден орденом «За заслуги перед отечеством 4-й степени. Путин сказал, что по дороге на работу он смотрит «Серебряный шар», и он ему нравится. Вульф был совершенно счастлив.

С «Серебряным шаром» он оказался в нужное время в нужном месте. На убогом казенном фоне советского телевидения, и пришедшей ему на смену массовой культуры с ее пошлостью, вседозволенностью, сексуальной распушенностью рассказы Вульфа о людях, чье служение искусству выдвинуло их из окружающей среды, не могло не привлекать. Людям хотелось больше узнать об этих небожителях. И как же отличались, талантливые, тактичные рассказы Вульфа от нынешних желтопрессных публикаций, в которых есть последние сведения, кто с кем спит и кто от кого сделал аборт, но нет ничего о творчестве. Вульф рассказывал о личной жизни звезд с любовью и тактом. Он создавал идолов - в этом было его призвание.

Советская действительность явно проигрывали в этом отношении Голливуду. На роль идола в советском кино могла претендовать только Любовь Орлова. Валентина Серова, Лидия Сухаревская, Марина Неёлова были талантливыми актрисами, не более, но под пером Вульфа они становились идолами. Он сам верил в это, и заставил поверить телезрителей.

По мотивам своих передач он написал книгу «Идолы, Звезды, Люди», где поместил под одной обложкой Грету Гарбо и Марину Неелову, Элвиса Пресли и Юла Бриннера, Рудольфа Нуриева и Анатолия Кторову, Марину Ладынину и Франсуазу Саган. Можно поспорить с выбором, посотевать об отсутствии тех или иных имен, но нельзя сомневаться, что объемнее и полнее об этих актерах рассказать было трудно. Вульфа было лучше слушать, чем читать. Его эссе теряют в сравнении с прочитанными перед телекамерой. Потому что перед микрофоном вступал в силу его артистизм. «Говорящая голова» Вульфа была самодостаточной и могла обходиться без видеоряда. Он полностью успел реализовать себя в качестве телеведущего. Он поднял целый пласт русской театральной культуры, именуемый Индивидуальным Портретом.



Как критик он был достаточно жестким. Находясь в центре московской театральной тусовки, в окружении друзей-актеров и режиссеров, он то и дело задевал кого-то своим острым пером. Театральные люди - народ ранимый. Получить щелчок, или даже просто «фигуру умолчания» от Вульфа было больно и, порой, означало разрыв отношений. На Вульфа обижались многие: великая Майя Плисецкая; Галина Волчек, с которой его связывала дружба длиною в жизнь. И другие.

Впервые Вульф приехал в США в 1991 году по приглашению ТИШ-скул (театральной школы) Нью-йоркского Университета. Тогда-то мы встретились в Западном полушарии – впервые. У меня уже было 2 книги, у него - 12. И он уже был знаменитым у себя на родине. Он звонил мне каждый вечер - делился впечатлениями о просмотренном спектакле. Он никогда не заказывал один билет, и никогда сам не платил. Когда однажды ему предложили выкупить билет - он отказался. В один вечер у него бывало несколько приглашений, и он должен был выбирать. Однажды он не мог пойти на спектакль «Голубая комната» с Николь Кидман и «перебросил» мне билеты. Когда я обратилась в кассу, мне любезно ответили, что билеты будут вручены лично мистеру Вульфу. Узнав об этом, он очень огорчился. Однажды его визит случайно пришелся на мой день рождения. Он мне устроил праздник, мои друзья были им очарованы. Как-то он привел Галину Волчек, («Современник» гастролировал в Нью-Йорке). К счастью, у меня был борщ, и мы славно посидели. Он заочно познакомил меня с Аллой Демидовой, и мы с ней сделали интересное интервью. Моя беседа с ним самим вышла в «Новом русском слове».



Америку Вульф не любил, и не скрывал этого. Францию – любил, а Америку – нет. Что не мешало ему весьма интенсивно отовариваться в нью-йоркских магазинах мужского платья: он был, по собственному определению, «ужасный шмоточник». Тут в Нью-Йорке впервые возникла едва заметная трещина в наших отношениях. Она была связана с его «квасным патриотизмом». Он

взял за правило, о чем бы ни шла речь: о спектакле или стиральной машине, об авто или костюме к слову и не к слову говорить: а у нас это тоже есть; или - подумаешь, у нас это лучше. Это очень напоминало детское стихотворение: «А у нас в квартире газ. А у нас водопровод, вот!» Он был патриотом. Его интересовали исключительно персонажи. Первой волны. Третью волну он в упор не видел и считал ее «колбасной». Исключения можно было сосчитать по пальцам одной руки. Как-то я устроила ему лекцию в Бней-Ционе. Он чувствовал себя непривычно скованно и делал резкие замечания, если кто-то из слушателей позволял себе шевельнуться или кашлянуть. А ведь это были пожилые люди. Дело было в том, что это была *не его* публика. Она была ему неинтересна. И с ней он был совсем другим Вульфом. Я видела запись его последнего выступления за год до смерти. Это был вечер вопросов и ответов. Он сидел на сцене в кресле. Память ему не отказала, но прежнего блеска уже не было: он заметно сдал. Но как внимала ему аудитория! Как ловила каждое его слово, как смеялась его не всегда удачным шуткам. Потерять свою аудиторию - вот чего он боялся.

Вот его ответы на вопросы.

К какой конфессии вы себя относите?

Я атеист.

Что вы больше всего любите?

Я люблю талантливых людей.

Где бы вы хотели жить?

В Москве.

Вы ощущаете свое еврейство?

Только в присутствии антисемита.

Он подарил мне три книги: «Степанова», «Идолы, звезды, люди» и «Письма» - переписка Степановой и Эрдмана со своими комментариями. Это была история любви. Я Степанову не любила - находила ее холодной и рассудочной. Но «Письма» полностью перевернули мое представление о ней как о человеке и женщине.

Такую Степанову: влюбленную, самоотверженную, страдающую, готовую на любые жертвы ради того, чтобы быть вместе с любимым я не знала и даже не могла себе представить. Дарственная датирована 1997 годом. Значит, он еще раз приезжал в Америку. Я и забыла. Он жил в гостинице на Юнион Вест, я всегда вспоминаю о нем, когда прохожу мимо. Может быть, он не любил Америку, потому что там не было драматического театра? Великие драматурги были, а театра не было. А театр был его жизнью. Или потому что он видел - не мог не видеть - разницу

между уровнем жизни россиян и американцев? Если бы он вел свой «Серебряный шар» 15 лет в Штатах, он был бы мультимиллионером. Он не мог не понимать этого.

Дорогой родственник
Вячеслав Езерский,
с юности добрый друг
и уважаемый человек
и в Арктике добрый
друг и в любви
от автора
Вячеслав Вульф
Мно. Борщ
XI 96

Дорогой Вячеслав
Езерский - Арктик
на добрую память
о нашей дружбе - чашка
другой с кофеинкой,
для Вас и гостей
Ваша особая
и искренняя - дружеская
Вячеслав Вульф
Мно. Борщ, 27/11.97

Он умер 29 сентября 2011 года. Ему был 81 год.

Виталия Яковлевича Вульфа провожала в последний путь огромная толпа друзей и поклонников. Такого большого наплыва знаменитостей не наблюдалось со времени похорон Вячеслава Тихонова.

Его похоронили на Троекуровском кладбище недалеко от могилы Львова-Анохина, умершего в 2000 году.

26 декабря 2013



Лев Харитон

Уроки английского



лучилось так, что я знакомился с Ботвинником дважды. Первый раз это было осенью 1961 года, когда я, в числе восьми «подававших» надежды московских юношей, играл в сеансе с часами против прославленного чемпиона. Ботвинник довольно быстро «расправился» со своими противниками, но в партии со мной у него долго была весьма трудная позиция, и лишь «под занавес», после почти четырехчасовой борьбы, чемпион мира нашел неочевидное спасение.

Л. Харитон – М. Ботвинник

Белые (Л.Харитон):Крг2, Фа4, Cf1, Кс5, пп. b5, d4, g3, h3

Черные (М.Ботвинник): Крг8, Фb6, Сb7, Сg7

пп. d5, e6, f7, g5.

В этом положении Ботвинник сыграл

35...e5

и после

36. К:b7	Ф:b7
37. Ф:a6	Ф:b8
38. b6	ed
39. Ф:a7	С:e5
40. Ф:b8+	С:b8

И в знак ничьей протянул мне руку.

Никогда не забуду того момента, когда я остался один на один за доской с Ботвинником. В тот давний ноябрьский вечер в Центральном шахматном клубе на Гоголевском бульваре собралось много зрителей. У меня от пиетета перед чемпионом невольно дрожали колени; к тому же партия заканчивалась в обоюдном цейтноте. Характерный штрих: Ботвинник все время следил за тем, правильно ли я веду запись ходов, очевидно, опасаясь "надувательства" со стороны юного противника и просрочки времени. Вряд ли эта партия была важной для него, но если он был так подозрителен даже в столь малозначительном поединке, то можно представить себе, как было нелегко играть против него его постоянным соперникам.

Эта подозрительность и недоверие, с которыми выросло подавляющее большинство людей его поколения, остались у него на протяжении всей его долгой шахматной карьеры. Известно, например, что, играя в **1951 году матч с Д.Бронштейном**, Ботвинник после откладывания партии зачастую опасался сообщить своему секунданту записанный им секретный ход, так что секунданту приходилось работать над отложенной позицией по существу «в потемках».

Да, «ботвинниковская» эпоха была нелегкой для его соперников: ведь он практически на протяжении тридцати лет царил в советских шахматах. Можно вспомнить, что в годы сталинского культа существовали маленькие культки почти во всех областях человеческой деятельности (литература – Горький, театр – Станиславский, биология – Лысенко и т.д.) Поэтому и культ Ботвинника в шахматах был вполне закономерным явлением. Например, все матчи на мировое первенство проводились в соответствии с требованиями Ботвинника. **М. Таль в 1960 году и Т. Петросян в 1963 году** обращались даже с просьбой в ФИДЕ перенести их матчи против Ботвинника на более поздние сроки (обоим предстояло серьезное лечение), но в обоих случаях учитывались пожелания многолетнего чемпиона. Когда несколько лет назад в беседе с Д.Бронштейном я неосторожно заметил, что Ботвинник "слома"л его в матче на первенство мира, всегда спокойный Давид Ионович вспылал: "Как это он меня сломал?! Это я его сломал!" И действительно, именно от Бронштейна получил Ботвинник первый "прокол", именно он развеял миф о непобедимости Ботвинника, а потом уже победу над ними праздновали В.Смыслов, М.Таль, Т.Петросян.

Сейчас, когда бывшие советские шахматисты ездят по миру и играют в турнирах, вспоминается, что в 30-40-е годы Ботвинник был, пожалуй, единственным шахматистом и вообще одним из немногих, кто выезжал на Запад: иначе говоря, в годы "железного занавеса" он пользовался неограниченным доверием власть предержащих. Поделив первое место **на турнире в Ноттингеме в 1936 году**, Ботвинник написал письмо Сталину, в котором благодарил "отца и учителя" за свои успехи на шахматной доске. Такие письма в те времена писали доярки и физики, рабочие и академики, и много лет спустя Ботвинник признался, что письмо это было написано, как он сказал, "безопасниками", но сути это не меняет: его верноподданничество ни на минуту не подвергалось сомнению.

Правда, нужно сказать, что "обратной связи" никогда не существовало: будучи по сути шахматным профессионалом,

Ботвинник не прекращал занятий наукой, защитил кандидатскую и докторскую диссертации, ибо никогда не знал, что может произойти завтра. Ведь в государстве, где спорт и шахматы служат целям политики и идеологии, чемпион – лишь марионетка в руках бюрократов, и, человек железного характера, Ботвинник не хотел жить по принципу "сегодня ты, а завтра я", понимая, что более или менее устойчивый академический заработок обеспечит ему спокойное существование.

Было бы, однако, неправильно, рассказывая о Ботвиннике, впадать в мрачный тон и пользоваться только темными красками. Как и почти всякая личность в СССР, он существовал как бы в двух измерениях. С одной стороны, обычная повседневная жизнь, где ему, как говорится, ничто человеческое не чуждо, а с другой - шахматы и мир шахматистов, в котором он твердо придерживался своих принципов, я бы даже сказал - своей морали. И самое главное, он хотел, чтобы этим принципам следовали и другие шахматисты.

Может быть, именно поэтому Карпов и Каспаров, бывшие в юные годы учениками Ботвинника, впоследствии нашли других учителей и тренеров, которые в шахматном отношении, несомненно, уступали Михаилу Моисеевичу, но зато были несравненно терпимее. На эту двойственность природы Ботвинника я обратил внимание во время моей второй встречи с ним, которая состоялась через тринадцать лет после первой.

В июне 1974 года мне позвонили из шахматной федерации СССР и спросили, не могу ли я дать несколько уроков английского языка Ботвиннику, которому предстояла поездка в США и Канаду на встречу со специалистами в области компьютерной техники. Ботвинник к тому времени уже долго работал над созданием шахматного компьютера, и в СССР он был пионером идеи "искусственного шахматиста" еще в те годы, когда отношение к ней было более чем скептическим.

Конечно, я с радостью согласился быть "учителем" Ботвинника (в это трудно было даже поверить!), и, конечно, я очень волновался перед тем, как впервые переступить порог его квартиры, где должны были проходить наши занятия. Я испытал то же чувство, что и Юрий Разуваев, когда он впервые попал в шахматную школу Ботвинника; подумалось, что ведь этот человек играл с легендарными Ласкером, Капабланкой, Алехиным, и что он сам – легенда. Я смотрел на Михаила Моисеевича, а у самого в голове, как и у Юры за много лет до этого, вертелись диаграммы с позициями его знаменитых партий, запомнившимися наизусть и навсегда с детства.

Ботвинник встретил меня просто и радушно. Мы сразу же приступили к занятиям. Я сказал ему, что всегда думал, что он знает английский и немецкий языки. Ботвинник усмехнулся: "Знаете ли, я – типичное дитя "бригадного метода". В 20-30-е годы мы обучались таким образом, что один, лучший студент, "бригадир", отвечал сразу за несколько человек, и все вместе сдавали экзамены и получали дипломы. Сталин любил цифры, и ему нужно было "испечь" возможно больше людей с высшим образованием". А я-то, как тысячи шахматистов и нешахматистов, считал, что Ботвинник знает всё, что он самый образованный и т.д. Такой образ был создан многолетней советской пропагандой, прославлявшей чемпиона, его эрудицию и комсомольский характер.

Интересно, что в обыденной жизни, в простой беседе Ботвинник сам развенчивал это представление о нем, но когда он выступал перед публикой, то он, может быть, уже по инерции, носил маску недоступного человека. А ведь он любил соленую шутку, всегда умел к месту рассказать хороший анекдот, был неравнодушен к красивым женщинам. С удовольствием вспоминал давние встречи. Кого он только ни знал: Д.Ойстрах, Г.Уланова, И.Козловский... На его письменном столе я заметил старую фотографию: маршал Василий Блюхер и Михаил Ботвинник, 1936 год... Не знаю уж, какими судьбами сохранился этот снимок. Но можно легко вообразить, как дорого могло обойтись его хранение советскому чемпиону в сталинскую эпоху.

Как проходили наши занятия? Ботвинника всегда отличала особая организованность, каждая минута была у него на счету. Мы занимались три раза в неделю по два часа, и после первого часа занятий он всегда приглашал меня выпить чаю и отведать вкусно приготовленные им сэндвичи. Больше всего, пожалуй, мне и запомнились эти "переменки", когда за кухонным столом первый советский чемпион мира "раскрывался", рассказывая немало интересного о себе, соперниках, современниках.

Как-то Ботвинник попросил меня сделать на несколько дней перерыв в наших занятиях, так как он должен был ехать в Таллинн. "О, Михаил Моисеевич, – сказал я, – Вы встретитесь с Кересом!" – "Керес не должен об этом ни в коем случае знать!" – отпарировал Ботвинник. Откровенно говоря, я опешил от такой реакции – ведь соперничество с Кересом давно закончилось, но позднее я понял, что даже шахматный мир поделен для Ботвинника на две части. В одной – его бывшие соперники, а в другой – все остальные шахматисты, которые никогда не

угрожали его гегемонии и для которых у него всегда находилось доброе слово. Как-то разговор зашел о Лилиентале, и Ботвинник сказал: "Он играл очень сильно, и у меня против него всегда были трудные позиции". Он только не добавил, что Лилиенталю он почти всегда побеждал!

Я уже отмечал, что за долгие годы сложился образ Ботвинника – человека холодного и рассудочного. Должен сказать, что из своего общения с Ботвинником, из бесед с людьми, хорошо его знавшими я вынес совершенно иное суждение. Его видимая холодность и надменность были всегда его защитой в борьбе с сильными соперниками. Да и не только за шахматной доской ему приходилось игрой (и не только игрой!) доказывать свое превосходство. Но в повседневной жизни Ботвинник всегда был готов помочь словом и делом тем, кому он симпатизировал. Известно, как много он помогал в своей шахматной школе ученикам, многие из которых стали сильными гроссмейстерами. Его советами неоднократно пользовались лучшие тренеры: М.Дворецкий, А.Никитин, А.Быховский и др.

Привлекала в Ботвиннике и особая, ненаигранная скромность. Скромность, не только подчеркнутая в строгом стиле обстановки его квартиры, но и в каждом дне его жизни (он сам стирал, сам делал покупки, и этому я был свидетелем). Моему первому шахматному учителю Юрию Абрамовичу Бразильскому, работавшему редактором шахматной литературы в издательстве "Физкультура и спорт", довелось сотрудничать с Ботвинником при редактировании его шахматных книг. Бразильский рассказывал мне, с каким трепетом наблюдал он Ботвинника за анализом шахматных позиций. Особенно же его поражало, что, если Ботвинник допускал какой-либо промах в анализе, он всегда с готовностью признавал свою ошибку. Мужество и скромность, на которые способны только немногие большие шахматисты.

Когда в 1976 году **Виктор Корчной** остался на Западе, почти все без исключения советские шахматисты подписали письмо против "изменника". Ботвинника попросили "наверху" также подписать это письмо. И тут Ботвинник, на мой взгляд, совершил воистину "ход конем", ход, который мог совершить только неординарный человек и действительно гениальный шахматист. Он сказал, что хочет написать свое собственное письмо, отдельно от письма советских гроссмейстеров. Этим он, очевидно, хотел подчеркнуть, что он занимает свое, особое место в истории шахмат. Но был в этой просьбе-отказе и свой хитрый маневр: Ботвинник прекрасно понимал, что для бюрократов 70-х годов он уже фигура прошлого и никто, к счастью, не предоставит

ему такую привилегию. Так оно и случилось, и в результате его имени нет под этим позорным документом.

Удивительное дело: Ботвинник часто выступал с пророчествами, и почти никогда они не сбывались. Вспоминаю, как в свое время он говорил, что у Тайманова есть шанс победить Фишера в матче. Долгие годы он утверждал, что вот-вот сила Карпова пойдет на убыль, но кажется это происходит только сегодня... Во всех этих пророчествах, однако, не было и тени попытки приспособиться к "текущему моменту", никакого лицемерия. Ботвинник говорил то, что думал – он был искренним человеком.

Некоторое время спустя после наших занятий я встретил Михаила Моисеевича, прогуливающегося около своего дома на Фрунзенской набережной. Ботвинник вспомнил наши занятия, сказал, что английский ему очень пригодился в общении с американскими учеными. Я поинтересовался успехами его лучшего ученика Гарика Каспарова. "Его от меня недавно забрали, – сказал он с горечью. – Боюсь, что из него ничего не выйдет!" Но и на этот раз "патриарх" ошибся.



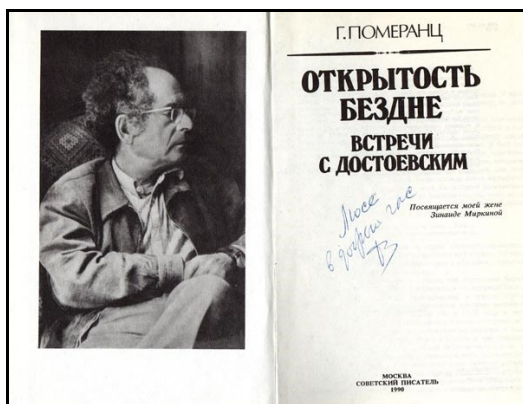
**Людмила Суркова
Григорий Соломонович
Померанц (1918-2013)
Воспоминания и переписка**



Г.С. Померанцем я познакомилась в 1957 году. С той поры мы дружили семьями, в течение пятидесяти шести лет, вплоть до его смерти.

Пока я жила в подмосковном посёлке Правда, мы часто встречались – у общих друзей в Москве, в их совместной крохотной комнатухе в московской коммуналке и у меня на Правде.

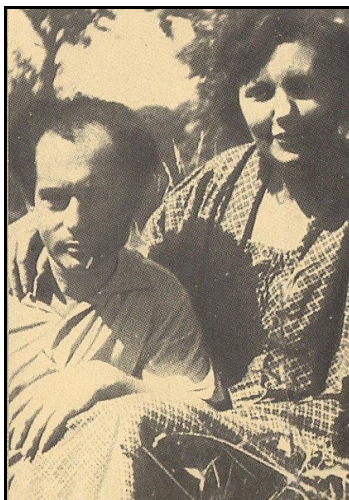
В 2008 году я переехала в Краснодар, и мы общались только письменно. Григорий Соломонович присылал нам в подарок свои избранные книги с автографами и фотографиями. Приведу их ниже.



Ира Муравьёва

Моё знакомство с Григорием Соломоновичем состоялось вследствие его женитьбы на моей школьной подруге, Ире Муравьёвой (Ирине Игнатьевне).

Ира Муравьёва так повлияла и на мою судьбу, и на всю последующую жизнь Григория Соломоновича, что я начну своё повествование со своего знакомства с ней, начиная с ранних детских лет.



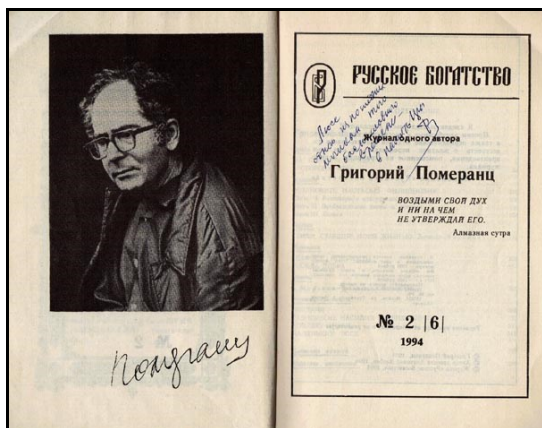
В 1926 году я училась в Смоленске, в школе-десятилетке № 3, в первом классе «А».



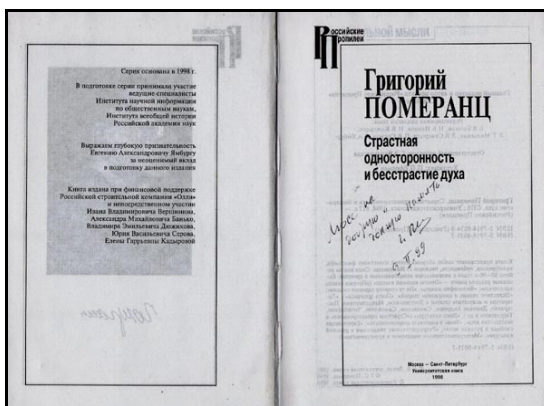
В 1927 году в школе появилась незнакомая мне девочка, Ира Муравьёва. Привела её мама, Людмила Степановна, прямо в учебную часть. После этого Иру приняли во второй класс «Б», хотя ей было всего шесть лет.

Она сразу завела себе друзей, записалась в литературный кружок, в школьную газету, играла Земфиру в школьном спектакле «Цыгане».

Виделись мы с ней в школе почти ежедневно, но в разговор не вступали – у меня были свои друзья, с которыми я сблизилась с четырех лет. Они тоже учились в нашей школе.



Но после девятого класса я заболела туберкулёзом и осталась на второй год, и оказалась в одном классе с Ирой Муравьёвой. Оказалось, что у нас есть общие интересы, и мы подружились.

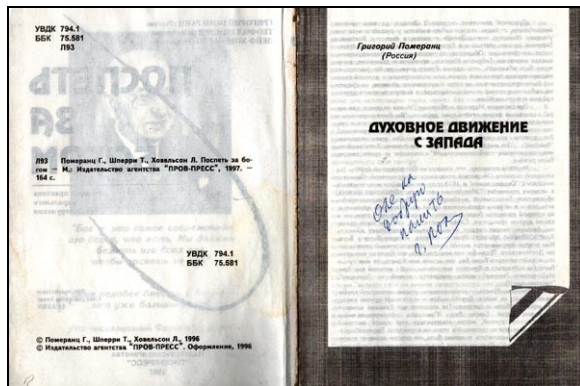


Она показалась мне ещё привлекательней, чем в детстве – высокая, тонкая, лёгкие движения, лёгкая походка, короткие светлые волосы врзлёт, блестящие ярко-голубые глаза,

вздёрнутый нос. И негромкий, но проникающий в душу голос. Она по-прежнему легко заводила знакомства, но оставались с ней только те, кто был ей интересен.

Ира много читала, изучала, кроме школьного немецкого, английский язык, чтобы читать английскую литературу в оригинале.

Эта дружба меня перевоспитала. Много зависело от её родителей. Дома у них сочинения Кнута Гамсуна, Анатоля Франса («Боги жаждут»), Олдоса Хаксли. Ей нравились его краткость и точность стиля.



Отец Иры, Игнатий Фадеевич, преподавал математику в пединституте. Когда я с ним познакомилась, он был болен тяжелой формой туберкулёза лёгких, и вынужден был уйти с работы по инвалидности, как бациллоноситель.

Мать, Людмила Степановна, урождённая Владимирская, бывшая учительница, ушла с работы, вела хозяйство, воспитывала детей – готовила их к школе и отдавала с шести лет во второй класс.

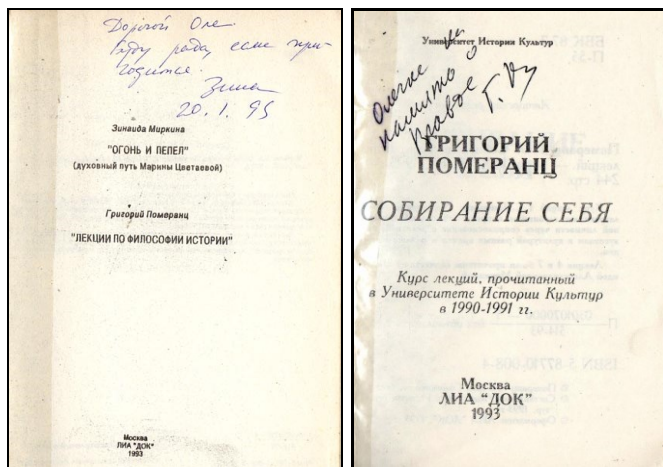
В доме бывали интересные люди – смоленская интеллектуальная элита – литераторы, художники, музыканты, композиторы, учёные. В 1917 году они сочувствовали революции, но увидев, к чему она привела, горько разочаровались. Гости, дети и хозяева сидели за общим столом, все разговоры велись при них. Поэтому Ира знала о политике в Советском Союзе гораздо больше, чем я.

В классе она была единственной, не вступившей в комсомол, и удивлялась, как я могла туда добровольно записаться. Однако позже ей тоже пришлось вступить в комсомол, иначе и в

институт бы не приняли, и обвинили бы противником советской власти.

Тем более что старшего брата Иры, Владимира Игнатьевича, в 1937 году, в разгар сталинского террора, арестовали и сослали в Сибирь. Он был поэтом, литератором, и состоял в литературном объединении, которым руководил А.Т. Твардовский.

Арестовали нескольких литераторов – в то время власти, на всякий случай, собирали компромат на всех выдающихся литераторов, в данном случае на Твардовского.



Арестанты под пытками оговорили друг друга – пусть их не осуждают те, которых не пытали. Они друг друга простили.

Насколько талантлив был Владимир Игнатьевич, можно судить даже по одному стихотворению «Гамлет»:

Под звуки траурной трубы
Плывёшь вперёд, забыв про старость,
И ветер яростной судьбы
Тревожит вышитый твой парус.

Что тени прошлого сулят,
Ты знаешь сам, не зная страха –
Пустых глазниц недвижный взгляд,
Да горсточка сухого праха.

Тебе не страшен смерти сон –
Что жалкая земная раса –

Опять безумной девы стон,
Опять победа Фортинбраса.

Так лёгкая плывет ладья
Который час и день который,
Погибла родина твоя,
И пали стены Эльсинора.

Слепые боги не спешат,
Но всё погибнет, и тогда-то
Твоя бессмертная душа
Как феникс явится крылатый.

Она уже горит во мне,
Ты в смерти жив и в смерти вечен.
В далёкой, пасмурной стране
Придёт и мой последний вечер.

И ветер яростной судьбы
Порвёт мой парус, как бумагу
И станет ясно, что НЕ ЖИТЬ,
И датский принц ломает шпагу.

Черноглазая красавица Зина, жена опального поэта, преподавала у нас в школе математику и воспитывала сына. Но вскоре вышла замуж, не дождавись мужа – мужчины ухаживали за ней наперебой.

Владимир Игнатьевич откликнулся письмом из лагеря:

Любимая там, у чужого окна,
И сын дорогой у чужого порога,
Так спи же в тумане, родная страна,
Со мной одиночество, ночь, и дорога.

После ареста сына Людмила Степановна стала осторожней, и мнения своего о происходящем в стране открыто не высказывала. Но Ира, которая прежде считала, что она из тех Муравьёвых, которых вешают, перешла в категорию Муравьёвых, которых не вешают, и разразилась по этому поводу гневными стихами.

Впрочем, неизвестно, были ли смоленские Муравьёвы декабристами и дворянами.

Ира была прирожденным писателем. Все её книги и стихи основаны на собственных наблюдениях, переживаниях,

впечатлениях и чувствах, но своих персонажей она всегда возвышала и облагораживала.

У меня дома, на антресолях, хранились все её рукописи, но дом сгорел в начале войны 1941 года.

Думаю, что Григорий Соломонович их сохранил, но судьба их мне неизвестна.

Теперь придётся сделать некоторое отступление от повествования.

Перед началом войны по приказу Сталина были расстреляны почти все руководители армии, хозяйства, искусства и науки. Руководить оказалось некому. Решили использовать специалистов, уцелевших от репрессий.

Для этого в Смоленске в 1944 году построили два кооперативных «Дома специалистов», и выделили для этого беспроцентный кредит.



На фотографии слева направо: сверху - Зина и Ира
внизу - Люся и Сарочка

В одном из них, предназначенном для работников культуры, науки и искусства, получили квартиру Муравьёвы. Расположен он был между базарной площадью и городской тюрьмой, напротив клуба милиции. Построили его в стиле советского конструктивизма, в форме цифры «5». Видеть эту пятёрку можно было разве только с самолёта.

Внутри он был комфортабельным: дубовые двустворчатые двери, паркетный пол, паровое отопление.

Но двор, окружённый четырёхэтажным домом, представлял собой кривой каменный колодец, пустой, без единой травинки. Четыре этажа намекали, что «по желанию трудящихся», пятилетку нужно выполнить за четыре года.

Людмила Степановна самолично устроила во дворе прелестный цветник, и сидела на садовой скамье, среди роз, гладиолусов, ирисов и душистого табака. Самые красивые цветы, как ранее своих детей, она зарисовывала в альбом.

В роду Владимирских было много художников, и эту способность, так же как легкость усвоения иностранных языков, унаследовали все потомки Иры.

Туберкулёзным больным необходим чистый воздух, но у Муравьёвых было душно и пыльно – боялись простудить отца. Из-за этого и окна не открывали. Спали они на диванах, покрытых пыльными коврами, в этих диванах хранились не менее пыльные книги. Я спросила Иру, почему у отца нет отдельной посуды. Она объяснила, что нельзя огорчать отца, он будет чувствовать себя, как прокажённый. Меня это ошеломило – когда я заболела туберкулёзом, меня держали в изоляции, выделили отдельную посуду, открывали форточку и вынесли все вещи, в которых скапливалась пыль.

Однако Игнатий Фадеевич дожил до рождения внука Володи, очень его любил, возмущался, что ребёнка кормят по часам, и он плачет от голода.

После смерти отца Иру поставили на учёт в тубдиспансер. Но она, в отличие от меня, ни разу туда не явилась. Позже из-за этого она умерла в 39 лет.

В то время у нас была большая школьная компания, слегка инфантильная. Например, у нас с Ирой был свой ритуал – после занятий мы шли к ней домой, она обедала, потом провожала меня, и по дороге мы распевали:

«Расцветал ковыль в степи, блеск озёр глаза слепил,

И до самых гор лёг степной простор, лёг простор до самых синих гор,

Лёг простор до самых гор».

На повороте к нашему дому стоял фонарный столб, мы пинали его ногами и расходились.

Время проходило беспечно и весело. Собирались то у меня, то у Иры, то у губастой, рыжей Зинки Герсон, то в маленьком домике синеглазой красавицы Сарочки Затицкой, пленявшей мальчиков пышными волнами золотисто-каштановых кудрей и безупречным телосложением.

Время проходило беспечно и весело. У Зинки дома был тёмный чулан, в котором мы проявляли фотографии, снятые днём. Это было волшебное действие. Сидели при смутном огне красного фонаря, и пристально вглядывались, как появляются контуры

снимка. Каждый сам колдовал над своей фотографией, перебирая пальцами, чтоб придать нужную автору выразительность.

У меня пили чай, ходили через пролом в крепостной стене городской парк, декламировали стихи.

С обрыва над крепостным валом любовались видом на ночной подол, где под звёздным небом внизу проступали цепочками, вдоль улиц, огоньки уличных фонарей.

У Сарочки готовили костюмы для карнавалов, маскарадов и уличных демонстраций. Её мама на Первомайскую демонстрацию срезала нам по розе с комнатного куста, и прикалывала к волосам. У Иры чаще всего устраивали литературные игры, с вином и чаепитием. Иногда возникала моя бывшая одноклассница, Ленка Буренкова, моя подруга с первого класса. Мы с ней в детстве прогуливались вдоль крепостных стен, и она сочиняла сказки про обитателей стен и башен. В то тяжелое время там действительно ютились воры и беспризорники.



Слева направо сверху – Коля, Кеша, Гена,
внизу – Люся, Ира, Сарочка, Зина

К восемнадцати годам у неё уже накопилась биография: уходила в другую школу, возвращалась, кончила театральное училище, вышла замуж, родила дочку, развелась, и осталась фантазёркой и авантюристкой, в смысле неожиданных и непредсказуемых поступков.

Иногда устраивали розыгрыши. Например, когда в нашу школу прислали нового директора, Алексея Константиновича Горшкова, по прозвищу «Алёша Горшок», Ира и Зина сочинила фальшивый дневник – директор обожал, чтоб старшеклассницы делились с ним своими переживаниями. Дневник написали от

имени Иры, там содержались прямые намёки на влюблённость Иры в А.К.

Он поверил в это чувство, и утешал Иру, говоря, что детское увлечение пройдёт, и впереди её ждёт настоящая любовь.

Позже, когда они преподавали в пединституте, Ира призналась в розыгрыше, и Горшков очень огорчился.

После окончания школы в нашей компании осталось пятеро мальчиков. Без особых оснований мы разделились на пары: Кеша Успенский и Сарочка Затицкая, Олег Шайтанов и Зина Герсон, Сергей Моисеенко и Ира Муравьёва, Коля Жегалов и Люся Шевелёва.

Но Ира, в отличие от других, влюбилась всерьёз. Сергей учился в Москве, в артиллерийской военной академии, «душка-военный», красивый, отличник, душа компании, отличник, по-немецки говорил, и отвечал ей взаимностью.



На каникулах в Смоленске

Летом, когда родители были в отъезде, договорились пожениться. Свадьбы были не в моде, ЗАГС тоже, важна любовь, которая не связывает свободу. Но Сергей настоял на регистрации – военные подчиняются приказам и часто переезжают с места на место, регистрация необходима.

На другой день ехидная Зинка спросила Иру:

- Тебе не стыдно было оставаться в одной рубашке перед посторонним мужчиной? Или совсем голову от любви потеряла?

Ира отпарировала:

- Во-первых, рубашка здесь не причём. Во-вторых, никакой он не посторонний.

В-третьих, в самый неподходящий момент я смогла вспомнить формулу квадратного уравнения.

Когда Сергей сдавал в Москве сессию, Ира вела себя, с моей точки зрения, слишком свободно: пила, курила, сидела у мальчиков на коленях. Когда я высказала ей своё мнение, он ответил, что лучше её легкомыслие, чем моё тугодумие.

И почему не развлечься немного в своё удовольствие – никому это не повредит.

Но Коля Жегалов написал Сергею в Москву:

«Твоя жена ведет себя, как настоящая гетера».

После такого доноса я окончательно потеряла к Коле всякий интерес, и наш недолгий роман оборвался.

Сергей на это письмо не откликнулся.



В Москве Кеша, Гена, и Сергей каждый выходной приезжали ко мне в общежитие, которое называлось «Дом-Коммуна», и был построен, так же, как смоленский дом Иры, в стиле советского конструктивизма, но не в виде пятёрки, а как самолёт, в семиэтажных крыльях которого размещались жилые комнаты - кабины. В обширном фюзеляже были общие помещения – огромные вестибюль, столовая, физкультурный зал, спортбаза, где под залог бесплатно выдавали спортивный инвентарь, своё почтовое отделение.

В подвале – кинозал и комнаты для работы кружков. Это был целый город, с магазином, прачечной, крышей длиной 250 метров, где делали зарядку, танцевали под патефон, летом спали под навесами и отдыхали. В вестибюле по субботам устраивали танцы под звуки автоматической радиолы.

Сергей, Кеша и Гена каждый выходной утром приезжали ко мне. Мы завтракали в столовой – питание было скудное, но дешёвое. К тому же, можно было заказать бутылку пива, за которым в Москве стояли очереди.

Днём мы гуляли по улицам, мостам, задворкам; ходили в музей, чаще всего в цветаевский «Музей изящных искусств». В Третьяковку, где можно было заодно дёшево пообедать. А чаще всего – в музей западной живописи. Там было мало посетителей. Никто не торопил. Можно было познакомиться с картинами, которых не было ни в одном другом музее. А большие полотна висели каждое отдельно, напротив каждой – мягкий кожаный диван, и любуйся сколько угодно времени.

Сергей получал большую стипендию – больше, чем мы все вместе. Иногда он доставал билеты в театр и возил нас туда на такси. Вечерами мы гуляли в соседнем Нескучном саду, или бродили по стенам и аллеям Донского монастыря, который превратили в склад скульптур, якобы мешавших уличному движению и поэтому сброшенных со своих пьедесталов. Могилы знаменитых людей тоже были заброшены и заросли травой.

Изредка мальчики собирались в кафе при ресторане «Арагат», где можно было заказать фирменные чебуреки, бутылку вина, и сидеть хоть целый день на отдельном диване, за отдельным столом. Там они придумывали, как бы меня разыграть.

Рядом с нашим общежитием находился протезный завод. Однажды от директора этого завода на мой адрес пришло письмо, в котором директор завода приглашал меня на примерку почечного протеза. Оказалось, мои друзья написали директору письмо от моего имени: «Бедная, одинокая, больная, брошенная женщина умоляет вас изготовить ей почечный протез, без которого она не может передвигаться»!

На этот раз мне было не смешно, я возмутилась.

Сергей был счастлив, что женился на Ире. Говорил, что у него характер скверный, он часто впадал в депрессию, а с Ирой всё легко и радостно. И рассказал случай из своего детства. Однажды мать его побила за то, что он в огороде играл с мячом и затоптал грядки с овощами. Они жили бедно, и огород кормил всю семью. Мать там костями ложилась, чтоб всё уродилось.

После этого Сергей всю зиму разводил кроликов, и когда созрел урожай, выпустил в огород кроликов. Меня этот рассказ напугал, я стала бояться за Иру; моё отношение к Сергею изменилось. Позже оказалось, что я испугалась не зря.

Девятого мая 1941 года я приехала в Смоленск попрощаться с родителями перед отъездом на преддипломную практику. Зашла к Муравьёвым. Людмила Степановна после смерти мужа жила одиноко. Ира с Сергеем жили в Чугуеве, недалеко от Харькова.

Людмила Степановна воспитывала внука.

Володя, крепкий увесистый бутуз, исполнял распоряжения бабушки, но втихомолку действовал быстро и разрушительно. Больше довоенный Смоленск я не видела – войну встретила на практике, на Урале.

С практики я вернулась в конце сентября. Первым делом зашла на почту. Там меня ждали два письма.

Одно письмо от родителей. Смоленск разбомбили в самом начале войны. Наш дом сгорел, они едва успели убежать, без денег, без тёплой одежды, с одним фланелевым одеялом на троих. Бедствуют, мёрзнут, голодают, просят прислать денег.

Деньги у меня были, заработала на практике, я тотчас послала на станцию, с которой пришла доплата открытка. Со следующей станции они сообщили, что ничего не получили. Такие открытки я получала с каждой станции, безрезультатно. Обратное мне деньги тоже не вернули.

Второе письмо было из Ташкента, от Иры. Она с детьми и Сергеем прибыла туда из Чугуева, вместе с академией, где Сергей работал. Он очень изменился, стал настоящим солдафоном, недоволен тем, как Ира воспитывает детей. Иру ревнует к каждому встречному, а сам встречается с какой-то спортсменкой, утверждая, будто только, чтоб вызвать ревность Иры. Угрожал застрелиться, если она уйдёт, даже выстрелил в висок из пистолета, но получила осечка.

Ира учится в университете, лекции по литературе там замечательно читает очень интересный человек, бывший узник ГУЛАГА, почти её ровесник, но уже пережил тяжелые испытания, при этом успел получить блестящее образование.

Он влюбился в Иру, предложил выйти за него замуж. Она с радостью согласилась, переехала к нему вместе с детьми, и они счастливы.

Я ответила, что очень за неё рада, но теперь со мной ей скучно будет общаться, я сильно отстала от нее, даже читать было некогда.

На это я получила ответ, что для нашей дружбы это не имеет никакого значения.

После этого я потеряла с ней связь.

Встретились мы с ней через 17 лет, в 1956 году. Её московский адрес дал мне друг детства, Нёмка Рабинович, женившийся во время войны на Ленке Буренковой.

Ира рассказала, что когда они жили в Петрозаводске, ее мужа, во время антисемитской кампании, снова арестовали.

Иру каждую ночь допрашивал следователь. Глаза ослепляла яркая лампа – была такая пытка. Но она не сдавалась, ничего не отвечала. Утомившись её молчанием, следователь пошел на уловку:

- Вот вы его защищаете, а он вам изменял. Прочитайте письмо к любовнице.

Ира и глазом не моргнула:

- Ну и что? Я это знала!

Ничего она не знала, сразу в сердце ударило.

Пока следователь перелистывал страницы, разыскивая письмо, Ира заметила знакомый почерк – донос написал Сергей!

Наконец, следователь отпустил Иру:

- Скажите спасибо, что вы Муравьёва. Нас люди с такой фамилией не интересуют.

Ира с детьми, как декабристка, поехала за мужем в Сибирь. Учительствовала в сельской школе. Было холодно и голодно.

Дети сразу повзрослели, помогали матери, чем могли – заготавливали дрова, готовили еду. В ожидании реабилитации Ира работала в эстонском городе Тапа, опять в школе. Дали ей комнату; как всегда, образовалась интересная компания. Но приехал муж, и уговорил Иру переехать в Москву, где жила его мать в просторной трёхкомнатной квартире.

Для матери брак её единственного сына, талантливого и знаменитого, и болезненной женщины с двумя беспокойными подростками, была трагедией. Отношения испортились.

За время длительной разлуки оба изменились, их удерживала только взаимная жалость. Муж с любовницей (о которой рассказывал следователь) уехал на юг и попросил своего друга, Григория Померанца, тоже филолога-востоковеда и товарища по лагерю, присматривать за женой.

От изнурительных переживаний у Иры обострился туберкулез, она слегла в больницу.

Гриша навещал её почти ежедневно. С первой же встречи любовь нахлынула на них, как лавина, объединившая их взаимной

нежностью, духовной близостью и обоюдным счастьем. Это был щедрый подарок судьбы. Они оба даже помолодели на вид. Ира стала прихорашиваться, приделась, красила губы, чтоб скрыть проступающую от болезни синеву. Больше они не расставались. Ей было 36 лет, ему 38. Но так хорошо им ещё никогда не было.

Свою долю в квартире Ира выменяла на комнату, в которой жили дети, а Ира переехала к Грише.

Его узенькая семиметровая комнатка была похожа на пенал в общежитии имени Бертольда Шварца в известной повести Ильфа и Петрова. Вокруг шумела коммуналка, внизу дышала душным жаром пекарня. В этой комнате они ухитрились принимать гостей. Это были, главным образом друзья и преподаватели Гриши по ИФЛИ (Институт философии литературы истории). За столом кипели споры, рассказы, в воздухе клубился папиросный дым.



Дом со стороны улицы, где мы собирались в посёлке Правда

Поэтому по выходным они обычно всей семьей, и с друзьями, приезжали ко мне, в небольшой рабочий посёлок на станции «Правда». Мы ходили в лес, катались на лыжах, варили туристскую кашу – все наличные консервы в одном котле. Летом все окна открывали настежь, и мы сидели в саду под берёзой среди цветов.

За столом спорили – что делать, кто виноват, зачем всё, отчего всё?

Гриша охотно выпивал две – три рюмки коньяка, после чего тихо, но оживлённо рассказывал что-нибудь интересное.

Пели песни Галича, Окуджавы, Заболоцкого, и лагерные – «Магадан», «Цыганка с картами» и другие. Большинство

Гришиных знакомых прошли лагеря и ссылку. Они привозили самиздат, потрясающую литературу. Я читала это по ночам и прятала в сарае.

Только тогда я осознала, какое количество лучших людей перемолол ГУЛАГ.

Сама я никакого участия в диссидентском движении не принимала. Считала, что режим неистребим.

Часто мы ходили на загородные прогулки – поселок был маленький, и природа была рядом, чистая и нетронутая. Зимой катались на лыжах, тяжёлых, как дрова, с креплениями под валенки. Однажды, зимним вечером, я предложила поехать на лыжную прогулку. Было тихо, только лыжи поскрипывали.

Мы въехали на холм, остановились на обрыве.

Над речкой сгустился молочный туман, на безоблачном чёрном небе ярко сверкали звёзды. Гриша что-то сочинял – губы у него шевелились. Я мысленно повторяла стихотворение Тютчева «Сны»

«Как океан объёмлет шар земной, земная жизнь кругом объята снами;

Настанет ночь, и звучными волнами стихия бьёт о берег свой.

То глас её, он нудит нас и просит, уж в пристани волшебный ожил чёлн,

Прибой растёт, и быстро нас уносит в неизмеримость тёмных волн.

Небесный свод, объятый славой звездной, таинственно глядит из глубины

И мы плывём, пылающею бездной со всех сторон окружены».

Но похолодало, мы по накатанной лыжне быстро добрались домой, и как раз успели к ужину.

Самым частым гостем у нас был Анатолий Бахтырев (Толя), по прозвищу Кузьма.

Это был одарённый писатель и замечательный собеседник. Ира и Кузьма в чем-то были похожи: оба рано определились как личности, медлили расставаться с молодостью; оба не изменяли себе, оба были талантливыми писателями.

Но Ира, по словам Гриши, умела подчинять себе маленький кусочек жизни, в котором жила.

А Кузьма плыл по течению, спился, и в возрасте 39 лет был найден мёртвым в своей московской комнате, запертой изнутри.

Ира тоже умерла в 39 лет. Я думаю, от того что они тратили слишком много энергии, щедро одаривая собеседников и читателей при общении с ними.

Кузьма перед смертью написал самиздатскую книгу: «Эпоха позднего реабилитанса», и передал её за рубеж для издания. Книгу напечатали там уже после его смерти.

Однажды на наши посиделки заглянул известный литовский поэт, литератор и учёный Томас Венцлова.

Для нас это было краткое, но значительное событие.

И вот вчера, четвёртого августа 2013 года, в шестом номере журнала «Знание-сила», на стр. 125, я прочла статью Ольги Балла о новой работе Томаса Венцловы, «Собеседники на пиру». (Новое литературное обозрение, 2012 г.). Это оказался сборник научных работ о разных писателях – знаковая книга Томаса Венцлова: «Восемь русских писателей». В 1986 году она была защищена автором как докторская диссертация в Йельском университете, в основном о русской литературе. Книга принята в нескольких университетах США как учебник поэтики.

Участники этого пира, незнакомые друг с другом, как бы вступают в сложное диалогическое взаимодействие. Этот «Пир» изымает из чумы своих участников, и помещает в высокий, разреженный воздух вечности.

После прочтения статьи Ольги Балла я ощутила большое смысловое сходство работ Томаса Венцлова с трудами Григория Померанца.

Безусловно, знакомство с трудами столь значительных личностей невольно повышала уровень моего развития.

Между тем, моя семейная жизнь дала трещину, которая постепенно расплзлась.

Ира по этому поводу высказалась:

- С мужьями надо уметь обращаться – их надо вовремя менять. Я возразила:

- Детей тоже менять? Они отца любят, он их тоже.

Больше мы на эту тему не говорили. Но Ира пыталась меня отвлечь, покупала билеты в театр, предлагала поехать в Ленинград, где у нас было много друзей, и заодно можно было увидеть Смоктуновского в роли Гамлета.

Несмотря на постоянный труд и занятость, денег у Гриши и Иры постоянно не хватало, а книги оставались неизданными.

Наконец, ей удалось получить заказ - написать в серии ЖЗЛ книгу об Андерсене. За эту книгу ей заплатили 30 000 рублей. За эти деньги можно было поехать в Крым, подлечиться. Но Ира предпочла купить костюмы своим повзрослевшим мальчикам.

В конце июля мы уезжали в отпуск, квартира оставалась свободной, и я предложила Ире пожить у нас всей семьёй, подышать свежим воздухом. Она отказалась – Грише надо рано приходиться на работу, он не выспится.

Беспокоило её и то, что сыновья пристрастились к алкоголю. Это не повлияло на их работоспособность, но отразилось на здоровье. Особенно она боялась на Лёдика – он был слабее, и такой ласковый, что его, уже взрослого, хотелось взять на руки и приласкать.

Однако болезнь у Иры прогрессировала, и врачи сообщили, что жизненно необходима срочная операция на лёгком.

В это время Ира как раз забеременела, Они так мечтали завести ребёнка – врачи запретили, это грозило смертью. Снова горе. Чувствовала она себя так плохо, что сразу согласились лечь в больницу.



Ира с младшим сыном Лёдиком

О том, что случились дальше, написал Григорий Соломонович:

«30 октября 1959 года Ира умерла, не встав с операционного стола. Светило яркое солнце, и по дороге в больницу мне казалось, что всё будет хорошо. Оперировали 28-го, кризис прошёл, теперь она выздоровеет. Но меня ждало остывшее тело. Пузырилась кровавая пена (видимо, сбежало с губ, но набежало снова). Плохо державшийся зуб выпал во время агонии. В русых волосах часто замелькала седина. За неполных двое суток Ира постарела лет на десять.

Я рухнул на колени и прижался к ней лбом. Зачем-то меня подняли - видимо, надо было, чтобы внешне я не выражал горя. И с этой минуты я делал всё, что надо было: поблагодарил врача,

ассистировавшую при операции и не уходившую от Иры эти дни и ночи, пытаюсь вернуть её к жизни (её глаза, встретившись с моими, блеснули от ужаса), потом пошёл звонить мальчикам.

Ради мальчиков я встречал Новый год и после двух или трёх недель тренировки сумел сказать, не заплакав: с Новым Годом, с новым счастьем!

В последние месяцы 1959 года и первые месяцы 1960-го я написал несколько страничек, которые не могу здесь поместить - невозможно показать это чужим глазам, пока я жив. Приведу всего несколько строк:

Однажды она сказала мне, рассказывая о том, как потеряла здоровье: «Но я не жалею, что заболела – иначе бы я не встретила тебя». Я ответил: «Может быть, мы и так бы сблизились» - «Нет» - «Тогда лучше бы ты была здорова и никогда не видела меня».

Она тихо покачала головой и сказала: «Нет, так лучше».

За один счастливо прожитый год Ира готова была заплатить жизнью. Она хотела бы прожить 80 лет, у неё была запись об этом».

У меня сохранились черновики писем Григория к Ире, но опубликовать я их не стану – это интимные откровения, прекрасные, но не для чужих глаз.

После трагической гибели своей старшей дочери, Наташи, я впала в беспамятство. Моя младшая дочь, Олечка, увезла меня к себе в Краснодар. С тех пор я общалась с Григорием Соломоновичем только письменно.

Судьбе было угодно, чтоб он нашел себе новую подругу жизни, Зинаиду Александровну Миркину, так же полностью разделявшую все его мысли и действия.

Переписка с Гришей и Зиной

Первое совместное письмо от Гриши и Зины, из Москвы в Хотьково (поздравительная открытка).

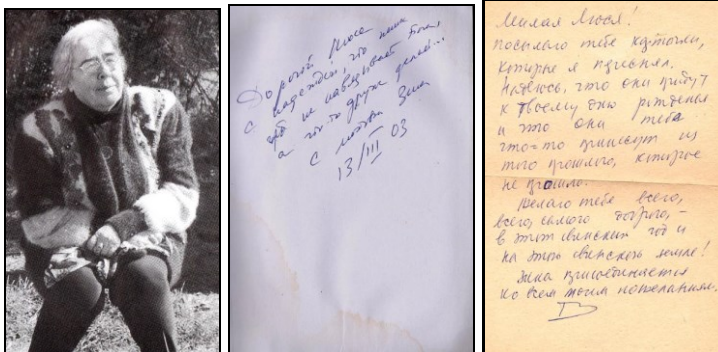
Милая Люся! Спасибо за поэтичное поздравление. Мы желаем тебе того же водопада радости, смывающую горечь и грязь жизни (без которой тоже не обойтись) Гриша.

Люсенка! Спасибо за прекрасные слова и истинную душу, которой так не хватает многим религиозным людям. Целую тебя, Наташу. Зина.

*

3 октября 2010 года. Милая Люся! До сих пор не могу опомниться от последнего поворота в твоей жизни. Вроде бы всё утряслось, и вдруг – очередная телефонограмма от Фани. Словно

дух, выковывающий тебя, не может успокоиться, и всё требует – что ты ещё можешь вынести с прежней силой; проверяет, не иссякла ли она, ну вот попробуем что-нибудь сломать! Мы с тобой погодки, одного большого возраста. И как раз недавно был у нас разговор с Зиной – нужно ли готовиться к очередному удару, и пусть он свалится, как метеорит с неба. Нет, я почему то верю в нашу живучесть, как бы её получше назвать?



Есть ведь суп бульон, капли датского короля, и мясо, поджаренное мелкими кусочками по-строгановски. Наша судьба ещё ждёт своего имени, и мы что-нибудь сделаем в своей жизни. По этому поводу обещаю послать тебе новое создание нашей музыки (общего, для экономии мы с Зиной обходимся одной музой) – об огне, горящем и не гаснущем. Сколько бы не лилось с облаков (не с неба, а именно с облаков) холодного и мокрого. Я думаю, что ты не поддашься льду, принесённому ветром, а будешь жить теплом, которое изнутри.

Дай тебе сил источник, который у тебя есть. Сердечный привет от Зины. Гриша.

*

Дорогие Гриша и Зиночка! Спасибо за письмо, очень ему рада. Но в предчувствии близкого конца тороплюсь наглядеться на всё, что нам в последний улыбнётся раз, наслаждаюсь природой. На днях вышла на балкон – с высоты 15 метров над землёй видны маленькие домики с крышами, укрытыми пушистым снегом; деревья заиндевели, как в сказке.

Но пригрело солнце, снег покрылся корочкой блестящего наста. Крыша напротив балкона стала оттаивать пятнами, пока на ней не осталась щётка вертикальных сосулек. Но остриями вверх, как сталагмиты. Они засверкали на солнце радужными переливами, стали таять, уменьшаться, и растеклись по крыше.

Может быть, не будь я инвалидом, не заметила бы такой красоты – в этом преимущество старости и немощности.

Вечером мы сидели всей семьёй в саду на больших чурбанах, разожгли огонь в кирпичном очаге, как огнепоклонники, жарили на вертелах овощи и мясо, а в пепле запекли картошку.

Мой правнук, Янчик, тоже пытался поджарить хлеб, и радостно вопил:

«Агинь, агинь!» (на его языке – огонь, огонь!). Угли догорели, похолодало, горячую картошку доели дома.

Утром потеплело, на балконе припекает солнце, трава зеленеет. Проклюнулись посевы, даже цветы пробиваются. Моя правнучка, Аллочка, приходит из школы, и приносит мне крохотнее букетики синих подснежников, золотистых калужниц, и других весенних цветов. Под крышей у нас живут ласточки, они так выразительно щебечут, что даже мне понятно.

Вечером сажусь за компьютер, напечатала пока три работы: воспоминания об Ире, «Война в тылу», и «Записки советского обывателя». На очереди главная книга – «История человечества для детей и подростков». Кроме того, в рукописи есть «Список впечатлений», о поездках по стране.

Желаю вам удачи и радости в нашем бушующем мире. Целую, Люся.

*

Милая Люся! Я с интересом прочёл твой библиографический перечень, и, как ты понимаешь, вернулся к первому пункту – «Воспоминания об Ире».

Мой правый глаз безнадежно вышел из строя, а левый ослаб, и разбирает увеличенные буквы только при усиленном свете. Так что мои возможности невелики. Но всё, что касается Иры, я хоть с трудом, но прочту. И в знак благодарности пришлю мои записки, сделанные в ноябре 1959 года, немного отредактированные в 1961-1962 году, и затем отложенные до последних дней жизни. Так они пролежали до пятидесяти лет. В прошлом году они выйдут, наверное, приложением к «Запискам гадкого утёнка», а пока один экземпляр отошлю тебе вместе с моим текстом, прочитанным на днях. Эти 16 страниц я обдумывал, писал и переписывал три месяца, после нескольких черновиков. Так медленно я теперь работаю.

Сейчас много говорят о конце света. Первый раз версия светопреставления была преподана нам в 1974 году. Потом была другая. Земля этих предвидений не заметила.

Наверное, в других местах бродили другие слухи.

Если говорить серьезно, то в истории человечества уже были оледенения, а в нынешней Сахаре зеленели леса. Нет ничего невероятного в новом переодевании поверхности нашей планеты. Для того, кто созерцает эти спектакли, смена декораций ничего не меняет.

Население земли за время твоей и моей жизни увеличилось с двух миллиардов человек до семи. Допустим, оно уменьшится до 500 000. Или до 50 000.

Начнется новый круг. Уцелеет ли «Возвращение блудного сына»? Если уцелеет, то всё в порядке. И пока я есть, остаётся моя воля, уцелеет ещё чья-то творческая воля – если не на земле, то в другой туманности ¹. Не всё ли равно, погибнет только один человек, или только одно человечество?

Не торопись создать полное собрание сочинений.

А потому будь здорова и пришли мне Ирины мемуары. Обнимаю, целую. Гриша.

*

Дорогие Гриша и Зина! Смотрела сейчас по каналу «Культура» передачу про антирелигиозную пропаганду в России. С радостью узрела на экране, крупным планом лицо Гриши.

Раньше мне часто приходилось видеть на экране телевизора лица друзей, с которыми мы некогда встречались в Москве. Кроме вас с Зиной, то Алёша Муравьев рассказывал о коптах, то Коля Котрелёв (ныне Николай Всеволодович), обсуждал проблемы православия в современном обществе. Увы, не знаю, где они сейчас.

Тем радостней было видеть вас в хорошей форме. Думаю, что вы получаете удовлетворение от своей деятельности. Дальнейших вам успехов, Люся.

*

Милая Люся! Ты относишься к тому большинству людей, о которых Далай-лама сказал удивительную в его устах фразу: «Религия им не нужна». Я думаю, что он имел в виду религию, как поиски таинственных глубин. Но в отличие отнюдь не счастливого большинства, ты их не ищешь. У тебя есть эстетическая и нравственная харизма, ты чувствуешь известную часть того, что люди называют Богом, в красоте природы, и отдаёшь энергию, полученную от этого созерцания, близким своим. Дай Бог тебе подольше жить, и по мере сил радовать людей своим физическим

¹ Туманностями называются газопылевые облака. В них могут существовать только микробы и их споры. Недавно в них обнаружили незаменимую аминокислоту – глицин.

и нравственным здоровьем. При этом не смущать их какими-то вещами, которые мистики знают, но не могут в доступной форме рассказать. Дай Бог тебе здоровья и долгих лет в маленьком мире, окружающим тебя. Ты делаешь то, что мы с Зиной пытаемся сделать в большом мире – увы, не всегда с успехом. Гриша.

*

Дорогой Гриша! Сейчас получила твоё письмо, хочу ответить под свежим впечатлением. Мой ум действительно устроен не так, как у тебя и Зины. Он рационален, и не нуждается в мистике – такова половина человечества.

Конечно, когда человека переполняет счастье или боль, появляется потребность обратиться к какой-то высшей силе, и невольно восклицаешь: «О. Боже!». Не станешь же молиться закону всемирного тяготения!

Но природа подарила мне способность глубоко и остро ощущать красоту мира, чувствовать и любить. Чувства ненависти я лишена, но и любить всех не могу, хотя пожалеть можно всех. Приведу цитату из Эйнштейна: «Я не пытаюсь изобразить Бога, как личность, мне достаточно изумительной структуры мироздания, насколько наши несовершенные чувства способны её воспринять».

С любовью, Люся.

Воспоминания об Ире я отредактировала, они у Муравьёвых.

О том, как свои труды печатать: перед отъездом из Москвы я была у Иры Буниной.

Из-за паркинсонизма сама она печатать не может. Но голова работает отлично, и она получает заказы на новые книги, и тексты диктует внукам. Нет ли у тебя знакомых, которые могут записать твою и Зинину речь на диктофон?

*

Письмо от Зины.

Люсенка! Я бесконечно рада письму от Вас (я, наверное, буду путать и говорить то «Ты», то «Вы», как про себя). В ответ стала разговаривать мысленно, а потом стала свои мысли записывать. Слово «Мистика» очень часто употребляется неправильно. Ту мистику, которую вы не любите, я тоже не люблю.

Это воображение, эти всяческие «свидетельства», выраженные явлениями из других миров – это совершенно не то.

Слово «мистика» означает Тайну, и больше ничего. Есть в жизни какая-то тайна, недоступная нам, какая-то тайна для нашего разума. Или разум может всё до конца понять, и никакой тайны

нет? Таинственна ли природа, красота, любовь, или всё это можно постичь разумом, и ни о какой тайне речи нет? Я приведу два рассказа из жизни.

Один – о нашей Юльке, когда ей было семь лет.

Она позвонила мне очень взволнованно, и попросила срочно к ней приехать – «папа сказал, что никаких Богов нет, а я же не могу проверить».

(Кстати, я никогда не говорила ей, что Бог есть, считала кощунством навязанные понятия; только рассказывала сказки, и учила, как могла, видеть и слышать этот мир глубоко).

Так вот, когда я приехала, она сказала, что папа велел ей забыть сказки про Богов – их нет. «Тогда есть волшебники?» - спросила девочка.

- И волшебников нет.

- А что же есть?

- Учёные.

Тогда я замолчала – сказала Юля. И решила, что самый большой учёный – это ты! (этот семейный анекдот теперь тянется у нас через все годы).

- Да, ты, потому что у тебя всё таинственно, а у него нет ничего таинственного!

Долго потом мне пришлось улаживать её отношения с отцом.

Ну, а теперь хочу рассказать бывшего любимого нами автора, собиравшего притчи разных религиозных традиций. Его зовут Энтони-де-Мелм. А притча такая:

Один человек пришёл к Мастеру (в данном случае – наставник, учитель). И спросил, есть ли Бог?

Мастер отказался отвечать на этот вопрос. Ученик его спросил:

- Почему ты так ответил? Ты что, атеист?

- Ничего нет – ответил Мастер. Атеист совершает ошибку, отрицая то, что нельзя выразить словами.

Выдержав паузу, чтобы смысл сказанного дошёл до ученика, он добавил:

- Теист, напротив, утверждая то, что нельзя выразить словами.

Собственно, к этому мне прибавить нечего, или надо говорить слишком много.

Прибавлю только, что говоря о вере или атеизме, люди всё время не про то говорят.

Да, если говорить о некоем управителе мира, которого мы можем представить себе разумом, то я в него не верю абсолютно.

Знаешь, своё первое религиозное стихотворение я написала в 18 лет, и оно звучит, как совершенно антирелигиозное. Называлось оно: «После органного концерта». Помню только последние слова:

- Бог, человеческий орган органа,
И будь ты подателем силы для битвы,
Клянусь тем аккордом, бескрайным и пьяным,
Ты больше моей не услышишь молитвы.

Это было полное отрицание Бога, существующего вовне, внешнего Бога, управителя мира. Это был поворот извне вовнутрь, на этом этапе, длинном и трудном. И пришло понимание слов «Царствие Божие внутри нас». На этом я прервусь.

Я очень хочу, чтобы ты была здорова, вместе со своей замечательной дочкой и её дочерью. Обнимаю, Зина.

*

Дорогие Гриша и Зина! Посмотрела все ваши четыре фильма, и порадовалась за вас. На одном кадре вы выглядите, как единое целое, окруженные общим серебряным ореолом.

Вечные проблемы стали одолевать меня после семи лет, в 1926 году. В то время мы снимали под дачу половину дома у зажиточного хуторянина. Хутор этот купил его отец ещё при Столыпине.

На высоком холме стоял просторный бревенчатый дом-пятистенка. Перед террасой цвела и благоухала липовая роща; каждое дерево плотно окружали жужжащие пчёлы, оттуда исходил густой, насыщенный аромат.

Внизу, под горой, на заливном лугу, плыла речка Серебрянка, цвели жёлтые и синие ирисы; за рекой виднелись покосы и пашни.

Хозяева брали нас на покос, вместе со своими детьми. Мы сгребали сено маленькими граблями, утоляли жажду ледяной родниковой водой. Домой возвращались на свежем сене, уложенном в объёмистую плетёную фуру. Везла её пугливая лошадь Маруська, в наглазниках и конической соломенной шляпе, с дырками для ушей.

Однажды хозяева пригласили нас на обед – у них свиноматка принесла двенадцать поросят; слишком много, поэтому часть использовали для обеда.

Большая столовая была обставлена самодельной плетёной мебелью, хозяин изготавливал её на продажу из прибрежного вняка. На столе, на длинных блюдах, лежали бледные маленькие поросятки, каждый с пучком зелёного лука, торчащим изо рта.

Они были в точности похожи на убитых младенцев! От ужаса у меня закружилась голова. Я выбежала на террасу,

споткнулась об соломенное кресло-качалку, и нечаянно наступила на жука; он хрустнул, и оборотился в белую пену с чёрными крапинками.

Ужасно – всюду смерть!

В это мгновение я впервые окончательно осознала жестокость и несправедливость мира, в котором должна был выжить, потому, что другого не дано. И смирилась с этим, да так и живу до сих пор.

Ныне я узнала, что даже растения обладают органами чувств, не менее совершенными, чем животные, и общаются между собой при помощи химической и электромагнитных сигналов.

У животных, как и у людей, существует любовь, они чувствуют красоту мира, а возможно, и размышляют об этом.

Любопытно, что если самке кролика, пожирающей своих детей, дать понюхать гормон окситоцин, она мгновенно становится примерной матерью.

И всё это не лишает мир таинственности.

Из философов я предпочитаю Канта, его категорический императив в сердце и звёздное небо над головой.

Бога я тоже, по Канту, воспринимаю как понятие, и имею право на своё понятие. Но согласна с Эйнштейном, что наука без религии хрома, а религия без науки слепа.

О том, что такое хорошо и что такое плохо, поведал нам Эрих Фромм:

«Добродетель человека выражается в ответственности, соответствующей его жизни и раскрывающей его сущность. А порок – в безответственности».

Единственная свобода, данная человеку – свобода мысли и совести. Человек сам выбирает, нужна ли ему совесть, причём это не имеет никакого отношения к религии.

При этом нельзя забывать, что люди не ангелы, безгрешных людей не бывает, зачастую они не ведают, что творят. Надо стараться, чтоб ошибки не повторялись.

Человечество может гордиться тем, что так много узнало о вселенной. Но чем больше он узнаёт, тем больше остаётся непонятого. Это похоже на анекдот о фотографе, который бежал за линией горизонта, чтоб узнать, что за ним скрывается.

Человек мал и конечен, а вселенная велика, бесконечна, и всё время изменяется.

В ней царствуют законы сохранения энергии, импульса, энтропия, и вероятность.

Будьте здоровы и дорожите мгновеньями. Люся.

Семейные фотографии



Владимир Сергеевич Муравьев с сыном Алёшей и Григорий Померанц



Муравьевы. Татьяна Фёдоровна Муравьева с младшей дочкой Анечкой и Владимир Сергеевич Муравьев (сын Иры) с дочкой Надей и сыном Алёшей



У Фани на дне рождения. Слева направо: Ася, Григорий Соломонович, муж Ани Муравьевой, я и Зинаида Миркина



Зинаида Александровна Миркина на Правде



У меня на дне рождения (2005). Слева направо: Я, Таня Муравьёва,
Ася (жена Лёдика), Нина Ионова, Аллочка (моя правнучка),
Лада (жена Алёши Муравьёва), Алёша, Фаня



Григорий Соломонович Померанц.
Последняя фотография, подаренная мне



Зинаида Александровна Миркина

Послесловие

Краткую, но содержательную характеристику жизни и деятельности Григория Соломоновича дал Андрей Дмитриевич Сахаров, при первой с ним встрече.

«В 1970 году, на квартире у Турчина, проходил неофициальный семинар, который я иногда посещал. Наиболее интересными и глубокими были доклады Григория Померанца – я впервые его тогда узнал, и был глубоко потрясён его эрудицией, широтой взглядов, и «академичностью», в лучшем смысле этого слова.

Докладов Померанца было три или четыре. Я не помню их точных тем. Но они нашли отражение в последующих книгах - сборников стихов и эссе, к которым я и отсылаю сейчас читателей. Основные концепции Померанца, как я их тогда понял (может, и не полно): исключительная ценность культуры, соединённой взаимодействием усилий всех наций Востока и Запада на протяжении тысячелетий. Необходимость терпимости, компромисса, и широты мысли. Нищета и убогость диктатуры и тоталитаризма, бесплодность узкого национализма и «почвенничества».

Эти мысли, выраженные Померанцем с большим блеском и тактом, иногда с горьковатым юмором, были мне близки. Мне кажется, что вклад Померанца в духовную жизнь нашего времени недостаточно пока оценён.

И уж совсем несправедливы нападки на него, которые иногда приходится читать.

Я не знаю обстоятельств его личной жизни, но весь его облик свидетельствует о полной самоотверженности и стеснённой материальной сферы независимого и честного интеллигента».

Кратко о Померанце лучше не скажешь.

Но мне известны обстоятельства его личной жизни, и особенности его деятельности.

Это был человек редкой доброты и обаяния, что привлекало к нему несчётное количество друзей, слушателей его лекций, читателей его книг – они становились его соратниками. Одним из них был талантливый учёный – физик и математик Валентин Турчин, у которого и проходили семинары, упомянутые А.Д. Сахаровым.

В 1976 году Гриша собрался побеседовать с Турчиным, и взял меня с собой.

Таня, жена Турчина, устроила уютное чаепитие.

Валентин рассказал, что за правозащитную деятельность его последовательно уволили из всех престижных учреждений, где он работал. Для заработка он даёт частные уроки, но в основном семья живёт на заработки жены.

Больше я его не видела – после ареста их общего друга Юрия Орлова Турчину неоднократно угрожали арестом, и в 1977 году он эмигрировал.

Таковы были друзья Григория Соломоновича Померанца и он сам.

Полная версия статьи находится на сайте журнала:
<http://7iskusstv.com/2014/Nomer1/Surkova1.php>



Андрей Алексеев А.А. Ухтомский, В.Н. Муравьев и другие*

**Монах в миру и естествоиспытатель,
советский академик и потаенный епископ(?)**

Алексей Алексеевич Ухтомский

Несколько вступительных слов



б Алексее Алексеевиче Ухтомском (1875–1942) мне в начале 1980-х гг. было известно едва ли больше того, что академик Ухтомский сделал «какие-то» открытия в области нейрофизиологии...

Помнится, я тогда (февраль 1982), сразу по получении письма от Романа Ленчовского с его выписками из писем А.А. Ухтомского к Е.И. Бронштейн-Шур (1920-1930-е гг.), отправился в Публичную библиотеку. Обратился к 5-томному собранию сочинений (1940–50-е гг.) [1] и к первым, опубликованным к тому времени, очеркам жизни и творчества Ухтомского.

Оказалось, что профессионально-научные труды академика Ухтомского удивительно гуманитарны, а сам он, также и в этих трудах, вовсе не только естествоиспытатель. В частности, его учение о доминанте (см. ниже) несет в себе глубокий социально-философский смысл...

Лишь теперь тот факт, что Ухтомский является не только физиологом с мировым именем, но и ярким гуманистом, одним из пронзительнейших русских мыслителей XX века, становится, пожалуй, общепризнанным. Этому способствовали новые (последнего пятилетия) публикации, приоткрывшие ранее неизвестные страницы его творческого наследия:

* Из книги: Алексеев А.Н. Драматическая социология и социологическая ауторефлексия. Из неопубликованных глав. Том 1. СПб.: 2012. Электронное издание (<http://www.socioprognoz.ru/publ.html?id=216>).

- Ухтомский А. Интуиция совести. Письма. Записные книжки. Заметки на полях. СПб.: Петербургский писатель, 1996. - 528 с.;

- Ухтомский А. Заслуженный собеседник. Этика. Религия. Наука. Рыбинск: Рыбинское подворье, 1997. - 576 с.;

- Ухтомский А. Доминанта души. Из гуманитарного наследия. Рыбинск: Рыбинское подворье, 2000. - 608 с. [2]

См. также:

- А. А. Ухтомский в воспоминаниях и письмах. СПб.: Издательство СПб университета, 1992;

- Ярошевский М. Г. Наука о поведении: русский путь. М.-Воронеж, 1996; Хализев В. Нравственная философия Ухтомского // Новый мир, 1998, 2;

- "Ну, так о странниках и об Эйнштейне..." Письма А.А. Ухтомского к Ф.Г. Гинзбург // Звезда, 1998, № 2;

- Кузьмичев И; А. А. Ухтомский и В. А. Платонова. Эпистолярная хроника. СПб.: журнал «Звезда», 2000. [3]

...Но в ту пору (80-е гг.) ничего из гуманитарно-философского наследия Ухтомского, кроме упомянутой публикации Е. Бронштейн-Шур (сначала в «Новом мире», а потом в «Путь в неизвестное»), нам известно не было. (Май-декабрь 2000).

...Внутреннее существо человека не может быть названо этическим в противоположность религиозному или религиозным в противоположность этическому. Это единение этики и религии, т.е. почитание, уважение к жизни...

А. Ухтомский. Из "Записных книжек". 1901 (Цит. по: Ухтомский А. Интуиция совести. Письма. Записные книжки. Заметки на полях. СПб: 1996, с. 337)

...Мы не наблюдатели, а участники бытия. Наше поведение – труд...

А.Ухтомский ("Доминанта как фактор поведения")

Уникальное явление в русской культуре

Ремарка: биография А.А. Ухтомского - общность и конфликт интерпретаций

В настоящем разделе приведены композиции извлечений из трех разных публикаций о гуманитарном наследии А.А. Ухтомского: 1973, 1996 и 2002 гг., а также «Автобиография А. А. Ухтомского, датированная 1938 годом.

В этих публикациях разных авторов разного времени, естественно, повторяются некоторые факты биографии (что, пожалуй, бесполезно для лучшего освоения нового для читателя материала). Но и, что более важно и интересно, различаются: отбор фактов, интерпретация, авторские акценты и умолчания,

существенные для более полного освещения как многосложной и целостной личности великого ученого и мыслителя (к чему только сегодня мы начинаем приближаться), так и для понимания эволюции общественного восприятия этой личности.

Наше собственное представление о «драме и загадке жизни академика Ухтомского» см. ниже: раздел 7.2.3.

...Итак, первая публикация из гуманитарного наследия академика Ухтомского была предпринята одной из его учениц 1920-х гг., кандидатом биологических наук Е.И. Бронштейн-Шур в журнале «Новый мир» (1973, № 1). В сборнике «Пути в неизвестное» 1973г. эти же письма были представлены несколько полнее. Позднее - перепечатаны в: Ухтомский А.А.. Интуиция совести. Письма. Записные книжки. Заметки на полях. СПб, 1996. (Июль 2012).

= Из вводной статьи Е.И. Бронштейн-Шур к публикации писем академика Ухтомского (1973)

[В скобках указаны номера страниц по изданию: Пути в неизвестное. Писатели рассказывают о науке, сб. 10. М., 1973. - А. А.]

<...> Алексей Алексеевич переписывался со своими учениками, и у меня хранятся его письма, адресованные мне с 1927 по 1941 год.

Круг интересов Алексея Алексеевича был очень широк. В письмах он высказывал свои мысли о науке, философии, морали, литературе, искусстве, он писал о жизни людей и их отношениях друг к другу. Поскольку в письмах отразились многие личные черты Алексея Алексеевича, связанные с его биографией, считаю необходимым хотя бы кратко рассказать о его жизненном пути. (371).

Вкратце

О жизненном пути А.А.Ухтомского см. подробнее ниже.

Здесь пока ограничимся той информацией, что Ухтомский в молодости не однажды круто менял свою судьбу, и, еще до того как стать студентом Петербургского университета, окончил Московскую духовную академию (1899).

Магистерская диссертация по физиологии, под руководством проф. Н.Е. Введенского, была защищена А.А.Ухтомским в 1911 г. После этого он всю жизнь преподавал в Петербургском-Петроградском-Ленинградском университете.

<...> В 1923 г., после многих лет проверки и обдумывания, Ухтомский впервые выступил с докладом о доминанте в Петроградском обществе естествоиспытателей и опубликовал статью «Доминанта как рабочий принцип нервных центров».

Термин «доминанта» Ухтомский производил от латинского слова *dominare* - господствовать. По Ухтомскому, доминанта - это временно господствующий рефлекс, который в текущий момент трансформирует и направляет другие рефлексы и работу рефлекторного аппарата в целом. При этом раздражения из самых различных источников уже не вызывают обычных для них реакций, а лишь усиливают деятельность главенствующего, доминирующего в данный момент центра. (373).

<...> По Ухтомскому, на принципе доминанты основаны процессы, протекающие у высокоорганизованных животных и человека в высших этажах центральной нервной системы и в коре больших полушарий головного мозга. Доминанты лежат в основе всей психической жизни человека, они определяются социальными условиями и этическими мотивами; доминанты могут толкать человека на героические подвиги; в случае патологии они служат источником болезненных состояний. (373-374).

<...> Ухтомский считал, что у человека доминанта является физиологической основой внимания и предметного мышления. Он различал три фазы развития доминантного процесса в предметном мышлении человека и иллюстрировал их примерами из романа Л.Н. Толстого «Война и мир». (374).

<...> С теорией доминанты тесно связано представление Алексея Алексеевича об интегральном образе мира. По Ухтомскому, для каждого человека реальностью опыта обладают не отдельные ощущения, как это считалось раньше, а сложные интегральные образы, а всякий интегральный образ является продуктом прожитых доминант.

Исходя из принципа доминанты, Ухтомский подошел к изучению вопроса о значении времени как самостоятельного фактора. Он объединил два греческих слова: *хронос* - время - и *топос* - место - в понятии ХРОНОТОП [*выделено мною. - А. А.*], то есть временно-пространственный комплекс, и считал, что этот комплекс нами воспринимается как единое целое: только путем абстракции мы выделяем пространство с тремя измерениями и одномерное время.

Доминанте Алексей Алексеевич придавал и социальное значение.

«Доминанта как фактор поведения» - так озаглавил он доклад, который прочитал 2 апреля 1927 года на заседании научного студенческого кружка. В этом докладе после характеристики доминантных процессов, разыгрывающихся в различных этажах центральной нервной системы, он перешел к

объяснению с точки зрения теории доминанты психической жизни человека. (374-375).

<...> А.А.Ухтомский отмечал связь между созданной им теорией доминанты и учением И.П. Павлова об условных рефлексах. Он образно сравнивал исследования школы Павлова и школы Введенского, к которой сам принадлежал, с работой проходчиков во встречных шахтах, когда через разделяющую породу в одной шахте становится слышно, что делается в другой.

По Ухтомскому, доминанта играет роль ключа для объяснения механизма временных связей, открытых Павловым. При этом доминанта сначала способствует возникновению условного рефлекса, а потом сама становится результатом достаточно укрепившихся условных связей. (375).

Вкратце

Е.И. Бронштейн-Шур рассказывает, далее, об Ухтомском как педагоге, о том, как его собственная доминанта «на Лицо другого» реализовалась в его повседневном поведении, в частности, в общении с сотрудниками, студентами: «...тяга к другому человеку, «собеседнику», красной нитью проходит через всю жизнь Ухтомского...» (378).

<...> В 1932 г. А.А.Ухтомский организовал и возглавил Физиологический научно-исследовательский институт при Ленинградском университете, который после смерти Алексея Алексеевича стал носить его имя.

За работы по физиологии нервной системы он получил премию имени В.И.Ленина.

В 1933 году А.А.Ухтомский был избран членом-корреспондентом, а с 1935 года он становится действительным членом Академии наук СССР. (376-377).

<...> А.А.Ухтомский остался в осажденном Ленинграде. Он упорно отказывался покинуть город. <...> Он был неизлечимо болен раком пищевода и спонтанной гангреной ноги. Но несмотря на тяжесть блокады и физические страдания, Алексей Алексеевич жил интенсивной умственной жизнью, много работал, заканчивал обработку своих лекций по физиологии нервной системы. (380)

<...> В июле 1942 года он написал 15 тезисов к докладу, который должен был делать в сентябре на сессии, посвященной 93-й годовщине со дня рождения И.П. Павлова. Доклад он озаглавил «Система рефлексов в восходящем ряду». В тезисах он по-новому раскрыл понятия условного и безусловного рефлексов, их эволюцию и значение. <...>

Сделать доклад он не смог. 31 августа 1942 года А.А. Ухтомский умер.

В феврале 1944 года Совет Народных Комиссаров СССР вынес постановление о публикации научных трудов Алексея Алексеевича.

Собрание сочинений А.А.Ухтомского в шести томах вышло в свет в 1945-1965 годах. (380).

<...> Сложными и противоречивыми путями шла жизнь Алексея Алексеевича. Отсюда богатство его духовного мира, широта его умственных интересов. Отсюда же и противоречивость его мировоззрения: с одной стороны, строгий, точный и глубокий анализ научных фактов и данных, полученных в эксперименте, с другой - «убежденность, что жизнь общества можно изменить, если люди перестроят свои доминанты, направив их не на себя, а на своих «собеседников» и на любые «человеческие лица».

Мысли о «собеседнике» и «человеческом лице» исходили как из научных взглядов, так и из этических и моральных установок Алексея Алексеевича. Возможно, что их питали и восприняты им с детских лет религиозные традиции. (380-381)

(Ухтомский А.А. Письма / Пути в незнаемое. Писатели рассказывают о науке. Сб. 10. М.: Советский писатель, 1973)

= Из предисловия Г.М. Цуриковой и И.С. Кузьмичева к книге: Ухтомский А. Интуиция совести. Письма. Записные книжки. Заметки на полях. (СПб: Петербургский писатель, 1996)

[В скобках указаны страницы по названному изданию. – А. А.]

<...> Алексей Алексеевич Ухтомский – явление в русской культуре уникальное.

Физиолог с мировым именем, он отличался удивительным разнообразием гуманитарных интересов, энциклопедической начитанностью в области философии и литературы, свободным творческим взглядом на многосложность социальных, нравственных, эстетических и религиозных проблем. Его эпистолярное и мемуарное наследие – настоящее откровение. Оно долго было спрятано от глаз, сохранилось далеко не полностью, да и то, что лежит в архивах, по сей день не все разобрано.

“Странное писательство” Ухтомского началось рано, с юношеских записных книжек, и продолжалось до последних дней жизни. Он поистине не мог не писать, к тому побуждал напряженный процесс духовного самопознания, причем тяга к самовыражению воплощалась у него в нетрадиционных формах. В литературном наследии Ухтомского нет завершенных канонических произведений, но его письма, например, можно рассматривать как страницы эпистолярного романа, и как фрагменты философских трактатов, и как лирическую исповедь. В

его наследии – отрывки из дневников; вроде бы случайные записи в рабочих тетрадях рядом с набросками научных статей – регулярные в двадцатых годах и все более редкие к середине тридцатых; совсем миниатюрный жанр – пометки на полях прочитанных книг.

В сущности, оставленное Ухтомским писательское наследие – это самобытная интеллектуальная проза: ей присущи мощь и ясность авторской мысли, талант живописания, искренность чувства, народный ум, психологическая пронзительность и плюс ко всему живое ощущение грозной поступи истории. (3).

<...> Биография Алексея Алексеевича Ухтомского (1875-1942) внешне незамысловата, хотя внутренне трагична, при видимом благополучии. В глазах учеников, учениц особенно, он выглядел чудаковатым профессором – носил вызывающее для университетских аудиторий одеяние наподобие толстовки, студенты болтали, что под суконной рубахой он прячет вериги. (3-4).

<...> Он тяготился “отдельностью” в профессорской среде, но попросту не в силах был жить “прилично”. Признавался, что смолodu “бежал от обстановки и комфорта”, инстинктивно пугаясь мирских благ и удовольствий. Людей он любил вне “обстановки”, подозревая в ней “цепи и кандалы для этих самых людей”. И в житейском обиходе он повиновался не обстоятельствам, а внятому внутреннему голосу, навсегда отдавая предпочтение никому не подвластной духовной свободе. (4).

<...> По характеру Ухтомский был человек замкнутый, с детства приученный к душевной сосредоточенности – рано ощутив прямую и потаенную связь с Богом ли, с Космосом или Вечностью, как это ни назови, и еще – силу Разума, его неуправляемый зов и невозможность этому зову противиться. (4).

<...> Родился Ухтомский в пошехонской глубинке, детство провел в славном городе Рыбинске, хранившем корни допетровской, старообрядческой культуры, а происхождения был княжеского, от Рюриковичей. (4).

<...> Жития святых, древние благочестивые книги были его первым чтением. Таинство молитвы, эстетика церковного песнопения изначально творили восприимчивую и чуткую душу. (5).

<...> По окончании [кадетского. – А. А.] корпуса Ухтомский поступил на словесное отделение Московской духовной академии, где его прежде всего заинтересовала

философия, знаменем которой в то время в России был Владимир Соловьев, – русская идеалистическая философия, неотделимая от религиозного сознания.

Обращение к философии, к науке и вместе с тем – к Богу для Ухтомского показательно. В Духовную академию он пришел “уже искушенный, уже вкусивший прелести мысли” и, обозначая свои цели, записывал в дневнике в 1897 году: “...мое истинное место – монастырь. Но я не могу себе представить, что придется жить без математики, без науки. Итак, мне надо создать собственную келью – с математикой, с свободой духа и миром. Я думаю, что тут-то и есть истинное место для меня”. (5). [4]

<...> Лицам с духовным образованием сфера наук естественных была официально заказана, поэтому Ухтомский в 1899 году поступает сперва на восточный факультет по еврейско-арабскому разряду – с тем, чтобы год спустя перевестись на естественное отделение. [5]

В двадцать пять лет он снова попал в студенты и через два года уже работал лаборантом на кафедре физиологии животных у профессора Николая Евгеньевича Введенского, бесконечно почитаемого им учителя. Университету, кафедре Ухтомский отдал сорок лет жизни. Здесь, студентом, опубликовал первую научную статью, позже вел занятия и читал лекции, а в 1922 году, со смертью Н.Е.Введенского, принял заведование его кафедрой. (6).

<...> Он жил одиноко, затворником, не создавая семьи, решив раз и навсегда, что “подлинное, на всю жизнь незабываемое счастье” человек испытывает лишь в вершинные моменты “подъема и труда”, когда он, пусть мимолетно прозревает “то, что выше его”.

И словно поощряя такую целеустремленность и аскетизм, судьба временами по-царски одаривала Ухтомского эпизодами “удавшегося человеческого общежития”. Среди них, пожалуй, самый яркий – лето 1922 года, проведенное им со студентами и помощниками в Университетской физиологической лаборатории возле Петергофа, в “прекрасной нашей Александрии” – так они ее называли.

Тем летом Ухтомский приступил вплотную к итоговому формулированию своего главного открытия – закона **ДОМИНАНТЫ**, несказанно радуясь, что вокруг него сплотился маленький дружный коллектив, объединенный чрезвычайным единодушием и взаимной любовью. (7).

<...> В 1922 году он наконец обнаружил закон **ДОМИНАНТЫ** – развивая идею, подсказанную нечаянным

наблюдением при опыте над животным почти два десятилетия назад.

Недаром еще в молодости интересовался он психологией религиозного подвижничества и задавался вопросом: откуда черпают люди решимость и силу, ступая, казалось бы, за барьер опущенных им возможностей? Почему они, подчас забывая о страхе, в состоянии, похожем на восторг, восходят на плаху? Попытки найти физиологические мотивации явлениям такого рода – и множеству им подобных – привели ученого к закону о доминанте. (7-8).

<...> Доминанта, утверждает Ухтомский, “есть не теория и даже не гипотеза, но преподносимый из опыта принцип очень широкого применения, эмпирический закон, вроде закона тяготения, который, может быть, сам по себе и не интересен, но который достаточно назойлив, чтобы было возможно с ним не считаться”. (8).

<...> Доминанта – это принципиально нарушенное равновесие в нервной системе, когда господствующий очаг возбуждения разгорается, привлекая к себе волны возбуждения из самых различных источников. Одновременно доминанта тормозит все прочие, в том числе и постоянные раздражители. (8)

<...> Доминанта и устойчива, и подвижна. Угасая, она не исчезает, а погружается в глубину сознания. Наши понятия и представления – все индивидуальное психическое содержание, каким мы располагаем, – есть следы пережитых нами доминант. (8). [6].

<...> “Суровая истина о нашей природе, что в ней ничего не проходит бесследно и что **природа наша делаема**, как выразился один древний мудрый человек. Из следов прошлого вырастают доминанты и побуждения настоящего для того, чтобы предопределить будущее. Если не овладеть вовремя зачатками своих доминант, они завладеют нами. Поэтому, если нужно выработать в человеке продуктивное поведение с определенной направленностью действий, это достигается ежеминутным, неусыпным культивированием требующихся доминант. Если у отдельного человека не хватает для этого сил, это достигается строго построенным бытом”. (9).

<...> Какую же из доминант, организующих наше сознание, выделяет Ухтомский как важнейшую?

Он ее называет “доминантой на лицо другого”. И суть ее в том, чтобы “уметь конкретно подойти к каждому конкретному человеку, уметь войти в его скорлупу, зажить его жизнью”, рассмотреть в другом не просто равноценное тебе, но и ценить

другого выше собственных интересов, отвлекаясь от предвзятостей, предубеждений и теорий... (9)

<...> Изучая природное “устройство” душевной жизни, Ухтомский не оставлял в стороне личный опыт. Тем ценнее его дневниковые заметки и письма, где он зачастую “обкатывал” научные формулировки и старался привить своим адресатам убеждения, которые вынашивал годами”. (12-13)

<...> Круг проблем, обозначенный в этих письмах, содержит и проблему “двойника”, и концепцию “заслуженного собеседника”. (13) [7]

<...> Не умаляя значения разума, Ухтомский отдавал приоритет в познании чувству, эмоции, возникающей в подсознании. “Интуиция, – писал он, – раньше, принципиальнее и первоосновнее, чем буква”. Если чувство не затрунуто, знание – мертвый груз. И там, где нет собеседования с Бытием, сочувствия и сопереживания, нет и ответственности человека – и человечества! – перед Бытием”. (15).

<...> “Сердце, интуиция и совесть – самое дальнзоркое, что есть у нас, – писал Ухтомский, – это уже не наш личный опыт, но опыт поколений, донесенный до нас, во-первых, соматической наследственностью от наших предков и, во-вторых, преданием слова и быта, передававшимся из веков в века, как копящийся опыт жизни, художества и совести народа и общества, в котором мы родились, живем и умрем”. (15-16).

<...> Никаких иллюзий по поводу новой власти Ухтомский не ведал и в январе 1918 года предостерегал свою адресатку [В.А. Платонову. – А.А.] : “...Вы очевидно не отдаете себе отчета в том, что такое большевики! Они именно вполне последовательны, уничтожая христианское богослужение; логическая последовательность приведет их к прямым, принципиальным и, стало быть, жесточайшим гонениям на христианство и христиан! Вы это имейте в виду, чтобы представить себе вещи, как они есть в действительности!”.

Наблюдая события 1917-1918 гг., Ухтомский ставил их в ряд всемирно-исторический, рассматривал как “узел мировой истории”, отсюда его поразительная зоркость и способность дать этим событиям объективную оценку.

“То, что кажется таким **новым и небывалым** для самих “творцов” всех этих новейших дел, оказывается для нас, – писал он В.А. Платоновой в январе 1918 года, – древнейшим, **давно предсказанным типом событий**, свойственным всем тем эпохам,

в которые особенно ярко сказывается нравственное падение и растрепанность общества, но, вместе с тем, подымается гордыня древней злобы, все пытающейся быть “ако бози”...”. (20).

<...> Слепая стихия революции цинично обесценивала человеческую жизнь, и Ухтомский быстро испытал это на себе. Вспоминая в письме к Платоновой, как впервые попал в ЧК – в 1920 году в Рыбинске, он рассказывал, что только счастливое стечение обстоятельств, “маленькая бумажка от Петроградского совета, бывшая в кармане”, спасло его от смерти, когда “какой-то весь серый человек голосом привычного бойца со скотобойни уже спрашивал, все ли готово для расправы”. (21).

<...> С той поры зловещий “серый человек”, в разных обстоятельствах и в разном обличии, не однажды напоминал Ухтомскому о себе – и в 1922-м, и в 1934-м, и в 1937-м, и в другие приснопамятные годы.

Унизительный гнет этих лет не мог, конечно, не влиять на моральные состояния Ухтомского и не отражаться на его переписке. Неспроста в 1934 году он писал Платоновой, что “нужно оградить себя молчанием”, по крайней мере, быть осторожным в словах и, подобно египетским пустынноикам, “бывать друг у друга самым главным – сознанием общности делания”, а в 1937-м жаловался ей: мол, все чаще, чего раньше с ним не случалось, обнаруживает в себе “подозрительность, нездоровую мнительность в отношении людей”, и настаивал, что “трагедии в человеческой жизни преобладают”, что излагать истину о мире следует “языком трагедии”.

“Через кровь и дым событий”, – так подвигалась История в той своей фазе, и Ухтомский, не переставая чувствовать себя “всплеском волны” во всемирном океане, не терял высочайшего, можно сказать, библейского критерия во взгляде на происходящее вокруг.

В сентябре 1940 года, сокрушаясь, как “трудно идут теперь наши дни”, придется ли еще увидиться, он писал Платоновой: “Да и все человечество в целом вошло в какую-то новую, очень тяжелую полосу своего бытия, когда мир вступает в новые муки рождения своего будущего”. (21).

<...> Алексей Алексеевич Ухтомский скончался 31 августа 1942 года в блокадном Ленинграде. Ему неоднократно предлагали выехать из осажденного города, но он догадывался, что болен безнадежно, и считал неразумным тратить остатки сил на далекое переселение. Насколько позволяло здоровье, он продолжал привычную работу, вел переписку с учениками, с

эвакуированными коллегами по Физиологическому институту (который теперь носит его имя), посещал Университет, участвовал в семинарах и диспутах, в защите диссертаций, – он и умер, готовясь к очередному докладу на традиционной сентябрьской конференции, посвященной памяти И.П. Павлова, с которым у него было достаточно поводов для споров.

Вклад академика Ухтомского в физиологическую науку всемирно известен и неоспорим. И почти неизвестно его гуманитарное, иначе – литературное наследие. Познавая как ученый тайны дарованной человеку жизни, он сполна извещал “странную” потребность писательства. Завещанное им слово учителя и проповедника, подобно великим книгам, зовет людей к духовному братству. (21-22).

(Цурикова Г., Кузьмичев И. Странная профессия – писательство / А.Ухтомский. Интуиция совести. Письма. Записные книжки. Заметки на полях. СПб, 1996)

= Из предисловия Л. Соколовой к книге: Ухтомский А.А. Доминанта (СПб.: Питер, 2002)

<...> В творчестве А.А. Ухтомского произошло плодотворное слияние традиций русской религиозной философской мысли, которую по праву можно было бы назвать этикой жизни, поскольку проблемы нравственной освященности жизни, наполненности ее духовным смыслом всегда составляли основной лейтмотив исканий многих русских ученых, и традиций русской физиологической школы, впервые во всей полноте поставившей проблему единства организма и среды и поиска основных факторов организации поведения и психики человека. Этот удивительный сплав, отражающий уникальность и неповторимость жизненного и научного пути самого А. А. Ухтомского, позволил ему органически связать естественнонаучные представления о поведении и психике человека с выработанными им законами нравственного поведения человека в мире, выводящими содержание и смысл жизни человека за ее чисто физиологические, природные пределы.

В учении Ухтомского о природе человека прослеживается яркая этическая направленность. Человек мыслится им в постоянном процессе становления, и прежде всего становления духовного. Нравственность, как считал ученый, является одним из естественнейших, биологически оправданных законов жизни человека. По его мысли, исходная система элементов нравственности, по которым живет человеческое общество, написанные законы его морального общежития - это «предание отцов», освященное традицией духовное наследие прошлого. Но

эти моральные регулятивы отношений возрождаются к жизни лишь через индивидуальное осознание каждым конкретным человеком смысла собственного существования, лишь будучи пропущены, преломлены через его собственные доминанты жизни и поведения. Значение подобных невидимых и неделимых нравственных «эталонов жизни», в которых сконцентрированы искомые человечеством высшие идеалы «должного, жданного, предвидимого», огромно - они являются двигателями его духовной эволюции.

А.А. Ухтомский делает поистине новаторский скачок в рассмотрении природы человека: он органически примиряет вещи, долгое время казавшиеся непримиримыми, - знание и веру, науку и религию. Концепция Ухтомского впервые раскрывает роль идей и идеалов как естественных законов бытия человека, как высших социальных и духовных ориентиров человеческого общежития, обеспечивающих его духовное здоровье. Идеалы - это ведущие образы «предвкушаемой, предвидимой» человеком реальности. Строительство идеалов всегда связано с верой человека в возможность существования или осуществления чего-либо. Но чтобы не быть авторитарной и монологичной, чтобы нести истинно продуцирующий импульс для жизни человека, вера всегда должна быть построена на творческом начале, должна служить не консерватизму человека, а его духовному прогрессу. В этой связи А.А. Ухтомский говорил о необходимости «творческой идеализации», связанной с постоянным поиском и позитивным прогнозом развития всего лучшего, что есть в мире и в людях.

<...> Сегодня наступает новое время - многие теоретические предвидения А. А. Ухтомского находят свое экспериментальное подтверждение как в области физиологии и психологии, так и в биологии, медицине, социологии, педагогике, теории управления.

Раздумывая о путях и перспективах развития современного знания о природе человека, известный ученый-психолог В.П. Зинченко отметил: «Общепризнанно, что учение И.П. Павлова определяло развитие психологии в первой половине XX века. Оно определило ее естественнонаучную, материалистическую и детерминистическую парадигму... Мне кажется, что психологию XXI века в большей степени будет определять учение А.А. Ухтомского, на основе которого уже создается подлинная психологическая физиология».

Отношение к истории - один из показателей нашей культуры. История науки, изучение корней, на которых произрастает листва нашего сегодняшнего знания, - это неотъемлемая часть

нашей общей культуры. Хочется отметить, что тема исторической духовной преемственности - одна из главных в творческом наследии А.А. Ухтомского. Человек во всех своих конкретных проявлениях участвует в непрекращающемся процессе «живого предания от отцов к детям», связывающем все поколения в живую цепь Истории. Пути истории проходят через каждого из нас, и история развивается и обогащается через индивидуальный опыт каждого человека, через глубинное, личностное переживание и познание им Истины, Добра и Красоты. Отсюда и среда для человека - это не просто объективная реальность; будучи пронизанной субъективным видением, она всегда предстает в контексте культуры, объединяющей как индивидуальный, внутренний мир человека - это «Зазеркалье», так и коллективное бессознательное, которое А. А. Ухтомский называл «опытом отцов». Другими словами, каждый конкретный момент несет на себе отпечаток многовекового опыта взаимоотношений человека с миром. И в этом глубокий историзм Бытия: сегодня данное - это лишь плод, результат тех или иных событий и преобразований, причины которых формировались задолго до настоящего проявления.

(Соколова Л.. Предисловие / Ухтомский А.А. 'Доминанта. Статьи разных лет. 1887-1939': Ухтомский А.А. Доминанта. - СПб.: Питер, 2002) [8]

= Автобиография А.А. Ухтомского

Алексей Алексеевич Ухтомский родился 13 июня 1875 г. в селце Вослома Арефинской волости Рыбинского уезда Ярославской губернии в семье землевладельца Алексея Николаевича Ухтомского и его жены Антонины Федоровны, рожденной Анфимовой.

В сентябре 1876 г. взят на воспитание теткою (сестрою отца) Анною Николаевною Ухтомскою, которая и была главною воспитательницею и спутницею вплоть до ее кончины в 1898 г.

Среднее образование окончил в Нижнем Новгороде, в кадетском корпусе, который закончил в 1894 г. Очень глубокое воспитывающее влияние испытал здесь со стороны превосходного преподавателя и даровитого математика Ивана Петровича Долбни, впоследствии известного профессора Горного института.

В 1894 г. поступил в Московскую дух [овную] академию, в которой занимался теорией познания и историческими дисциплинами.

Кандидатская диссертация поставила настоятельно на очередь ближайшее изучение физиологии головного мозга, нервной деятельности вообще, а также физиологии поведения.

В 1899 г. поступил в Ленинградский университет (*так!* – А. А.) на физико-математический факультет для изучения физиологии и подготовительных к ней дисциплин. Ленинград избрал потому, что в это время туда переехал И.П. Долбня, избранный в профессора. В течение года не удавалось зачислиться нормальным студентом, был вольнослушателем, затем с 1900 г. вошел в число студентов.

В 1902 г. начало специализации при профессоре Н.Е. Введенском.

В 1903 г. первая печатная работа по физиологии (Труды IX Пироговского съезда врачей). В том же году напечатал по-немецки «Ueber den Einfluss der Anämie auf den Nerven-Muskel Apparat» (Pflüger's Archiv, Bd. 100).

В 1909 г. совместная работа с проф. Н.Е. Введенским над рефлексами антагонистов (Работы Физиол. [огической] лаборатории университета, III, 1909).

С 1906 г. зачислен на службу в Физиологической лаборатории Ленинградского университета в качестве сверхштатного лаборанта, потом ассистента при кафедре физиологии.

В 1910 г. главная работа «О зависимости кортикальных двигательных эффектов от побочных центральных реакций» (диссертация 1911 г.). Изучались кортикальные реакции в четырех мышцах одновременно — в двух парах антагонистических мышц (сгибателях и разгибателях) коленных сочленений. Затем те же кортикальные реакции при наличии рефлекторных возбуждений в действующих мышечных парах. Наконец, те же кортикальные реакции при условии возникновения вегетативных возбуждений в организме.

В этой работе изучалось явление, остановившее на себе внимание автора еще в 1904 г., а именно — торможение кортикальных эффектов локомоции в моменты подготовки и развертывания вегетативных актов, например дефекации.

Плодом изучения этих явлений в свете учения Шеррингтона, об общем пути и теории торможения по Н.Е. Введенскому были первые зачатки учения о доминанте, развитого потом в 1921 г. и в последующие годы. Эту концепцию стал излагать на лекциях и в практических занятиях приблизительно с 1920-1921 гг., выступил с официальным докладом о доминанте впервые в Ленинградском обществе естествоиспытателей весной 1923 г. по поводу работ, выполненных со студентами летом 1922 г.

На переломе 1923-1924 гг. доклад на II Всесоюзном съезде психоневрологов и физиологов нервной системы, поддержанный В.М. Бехтеревым и его учениками, выдвинул принцип доминанты как один из основных факторов центральной иннервации. В 1927 г. написана монография «Парабиоз и доминанта» (издание Комакадемии). Все более стала выясняться органическая связь доминанты с основными установками Н.Е. Введенского в его учении о парабиозе.

С 1922 г. стал заведующим Физиологической лабораторией Ленинградского университета, приняв ее по кончине Введенского.

В последующие годы разработка механизма доминанты привела к пониманию того, какую роль играет в ней фактор переменной лабильности физиологического субстрата. Это привело к тому порядку понимания, который вылился в докладе 1934 г. «Возбуждение, торможение, утомление» (Физиологический] журнал СССР, т. XVIII, 1934).

С тех пор и до сих пор выяснение факторов лабильности и значения физиологического интервала составляет главный предмет работы.

С 1933 г. избран членом-корреспондентом, с 1935 г. — действительным членом Академии наук СССР.

Был заведующим Биологическим отделением Ленинградского госуниверситета. Состою Президентом Ленинградского общества естествоиспытателей.

Кроме Университета, преподавал физиологию в Институте Лесгафта, в Психоневрологическом институте и на Рабфаке Ленинградского] университета.

В свое время состоял членом Петросвета VI созыва от рабочих и служащих Ленинградского университета.

23 января 1938 г. Профессор А. Ухтомский.

(Цит. по: Академик Алексей Алексеевич Ухтомский. Доминанта. М.-Л. АН СССР, 1966. Электронная версия http://anastasiya-shulgina.narod.ru/ID_010_91_09_01_444_444.htm).

Ремарка: автобиография – необходимая и достаточная.

Существенно, кем, когда и для кого писалась эта автобиография. Кто – академик Ухтомский. Когда – январь 1938 г. Для кого – ну, скажем, для отдела кадров Академии наук СССР. Эти три обстоятельства определяют не только жанр, но и его исполнение: смысл, стиль, отбор информации.

В настоящем тексте нет ничего «лишнего» - ни с психологической, ни с профессиональной, ни с политической точки

зрения. Читатель, ознакомившийся хотя бы с тем конспектом биографии, который был приведен ранее (фрагменты предисловия к «Интуиции совести»; 1996) сам заметит, чего тут НЕТ.

Вместе с тем, есть такие «подробности», как любимая тетка Анна Николаевна Ухтомская, «главная воспитательница и спутница» [9], и «превосходный преподаватель и даровитый математик» И.П. Долбня, со стороны которого автобиограф испытал «очень глубокое воспитывающее влияние». И еще одно имя названо – покойный научный учитель Н.Е. Введенский.

Ну, есть и «изъяны» в биографии, которые подлежат быть отраженными: социальное происхождение (отец – землевладелец, т. е. помещик); первое образование (Московская духовная академия), за которым последовало второе (естественно-научное в Санкт-Петербургском университете [10]). И еще масса примет как эпохи, так и личности, эпохи – зловещей, личности – достойной.

Сдержанность (лаконизм и строгость) автобиографического документа, можно сказать, акцентированная. Профессиональная карьера за 35 лет отражена скупно, но не формально (А. У. вполне осознавал значение своего учения о доминанте для физиологии и наук о человеке). В описании этой карьеры – ничего лишнего. Даже Ленинская премия (1932) не упомянута. Только ключевые публикации и «обязательные» статусные моменты (заведующий лабораторией, президент общества естествоиспытателей, академик...)

Но и не забыто: «В свое время состоял членом Петросовета VI созыва от рабочих и служащих Ленинградского университета».

Скажем так: автобиография – необходимая и достаточная

Ниже – в разделе, который называется «Драма и загадка жизни академика Ухтомского», - будет подробно рассмотрен весь неявный драматизм 15 лет жизни «при» советской власти одного из величайших ученых XX века. (Июль 2012).

(продолжение следует)

Полная версия статьи находится на сайте журнала:
<http://7iskusstv.com/2014/Nomer1/Alekseev1.php>



Семен Резник
Против течения
Академик Ухтомский и его биограф
Историко-документальная сага с
мемуарным уклоном.

(продолжение. Начало в №12/2013)

Глава четвертая

В.Л. Меркулов: первое знакомство

1.



Василием Лаврентьевичем Меркуловым я впервые встретился в апреле 1972 года – на симпозиуме по проблемам биографии творческой личности, организованном под эгидой Института истории естествознания и техники (ИИЕиТ). Не могу вспомнить, где он проходил. Почему-то кажется, что в Доме ученых на Пречистенке, рядом со станцией метро Кропоткинская, но не могу поручиться. Помню просторный светлый зал с высоким лепным потолком и большими сводчатыми окнами.

К началу я сильно опоздал и вошел посреди чьего-то доклада. Задержался в дверях, бегло оглядел зал. Глаз тотчас выхватил худощавую фигуру Юрия Ивановича Миленушкина, заведующего кабинетом истории в Институте микробиологии и эпидемиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Он скромно сидел в одном из задних рядов и с напряженным вниманием слушал докладчика. Рядом с ним сидела смуглолицая Нина Георгиевна Григорян – ее специальностью была история физиологии. С ней я едва был знаком, но мне приходилось читать ее статьи – содержательные, но пресноватые, всегда идеологически «правильные».

Ю.И. Миленушкина я знал в связи с работой над книгой о Мечникове, тогда еще не завершенной. Историей микробиологии он занимался давно, был автором нескольких биографических очерков об ученике Мечникова Н.Ф. Гамалее, были у него публикации и о Мечникове. Я пару раз был у него в институте, беседы с ним были полезны, но протекали формально, хотя внешне доброжелательно. У меня было ощущение, что Миленушкин воспринимал меня настороженно, как чужака,

вторгшегося в его вотчину. Опыт учил держаться от таких доброжелателей на расстоянии и стараться, чтобы рукопись не попала к ним на рецензию. После выхода книги пусть говорят и пишут, что угодно, а до выхода давать им свой текст на суд и расправу рискованно!

Пригнувшись, чтобы никому не мешать, я тихо прошел по проходу и сел на свободное место во втором или третьем ряду.

За столом президиума, покрытого, как полагается, зеленым сукном, председательствовал директор ИИЕиТ академик Б.М.Кедров. Он выглядел еще более обрюзгшим и постаревшим с тех пор, как я его видел. Рядом – его заместитель и верный Санчо Панса, членкор С.Р. Микулинский, совершенно не меняющийся. (Через два года, когда Кедров уйдет с поста директора, его место займет Микулинский).

С Микулинским я был знаком уже без малого десять лет. Впервые я пришел к нему, когда стал работать в редакции серии ЖЗЛ, где мне был поручен раздел книг об ученых. Заведующим редакцией тогда был Юрий Николаевич Коротков. У него возникла идея придать отбору героев для наших книг некую систему, чтобы за обозримый период времени, допустим, за пять лет, дать круг чтения по всей мировой истории и культуре. Из моря имен выдающихся личностей следовало отобрать 120-150 с таким расчетом, чтобы охватывались основные исторические эпохи, все крупные страны мира или хотя бы регионы, основные области культуры. Ученых-естествоиспытателей в этом списке должно было быть примерно 30-40, они должны были представлять развитие основных разделов науки: физики, математики, химии, биологии, наук о Земле и т.д.

Сразу скажу, что из этой затеи ничего не вышло и, по-видимому, не могло выйти. Написание полноценной научно-художественной биографии – задача слишком сложная, чтобы производство таких книг можно было поставить на поток. На некоторые темы найти подходящего автора было вообще невозможно, другой автор затянет работу на десять лет. Когда я пришел в редакцию, работа по составлению перспективного плана уже велась, и я должен был в нее включиться. Списки наиболее крупных ученых по разным разделам науки уже были подготовлены, но это было самое простое. Главное состояло в том, чтобы по каждому разделу из десятков имен выбрать пять-шесть наиболее, как сейчас говорят, *знаковых*. Произвол требовалось свести к минимуму, поэтому приходилось консультироваться с видными специалистами по каждому разделу науки.

Семен Романович Микулинский, доктор наук, специалист по истории биологии, тогда только что стал заместителем директора ИИЕиТ. Институт располагался в старинном здании в центре Москвы, недалеко от Лубянки. Микулинский принял меня в своем кабинете. Ему тогда едва перевалило за сорок, но по виду трудно было определить его возраст. Черноглазый и черноволосый, с волнистой, аккуратно уложенной шевелюрой на косой пробор, подтянутый и хорошо сложенный, он выглядел бы молодым и энергичным, если бы не вялое рукопожатие и усталое, какое-то помятое лицо с темными набрякшими подглазьями. Одетый с безукоризненной аккуратностью, он скорее походил на добросовестного службиста, чем на ученого. Таким я увидел его при первом знакомстве и таким он оставался потом на протяжении многих лет.

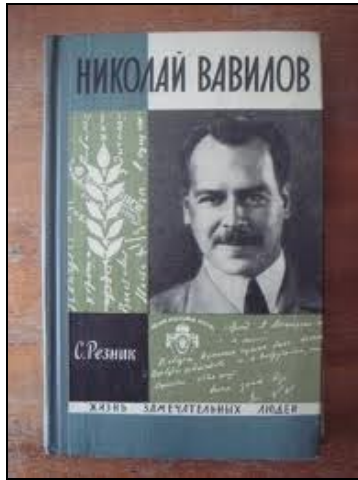


С.Р. Микулинский

Не помню, чтобы он предложил коррективы к наметкам нашего плана. Но он заметно оживился, увидев в списке биологов имя Николая Ивановича Вавилова.

В научных и околонаучных кругах это имя было своего рода паролем. На сакраментальный вопрос: «С кем вы, мастера культуры?» – оно давало однозначный ответ. Великий растениевод и генетик был затравлен «колхозным ученым» Т.Д. Лысенко, арестован и погиб в заключении. Труды его были изъяты из библиотек, имя нигде не позволялось упоминать. После смерти Сталина он был реабилитирован (потому и мог быть в нашем списке), но генетика оставалась «буржуазной лженаукой»,

поганым «мендлизмом-вейсманизмом», «служанкой ведомства Геббельса». Широкой публике имя Николая Вавилова было почти неизвестно – в отличие от его брата Сергея Вавилова, крупного физика, президента АН СССР.



Книга С. Резника «Николай Вавилов»

Микулинский сказал, что книгу о Николае Ивановиче Вавилове надо издать в первую очередь, и подчеркнул, что это очень важно. О том, что вскоре я сам приступлю к книге о Вавилове, я не подозревал и ответил, что найти автора для этой темы не просто: большинство писателей, писавших о биологах и селекционерах, пели осанну Лысенко, привлекать их для написания книги о Вавилове было бы кощунством. При этих моих словах Микулинский как-то сник; мне стало ясно, что я сболтнул лишнее: ведь Лысенко был еще в полной силе. После паузы, глядя куда-то в сторону, Микулинский совсем другим тоном сказал:

– Это не так просто, у академика Лысенко есть заслуги...

Я понял, что имею дело с очень осторожным дипломатом.

После падения Хрущева (октябрь 1964-го) Лысенко перестал быть неприкасаемым, и в считанные недели от всего «мичуринского» учения, лидером которого считался Лысенко, не осталось мокрого места. Микулинскому уже не надо было дипломатничать. Но вкрадчивая осторожность проявлялась во всем его облике.

27 декабря 1968 года был подписан «в свет» сигнал моей сильно урезанной из-за цензуры книги о Вавилове. Я запомнил дату, потому что это был день рождения моей мамы. По

производственным условиям стотысячный тираж книги был уже отпечатан. Пользуясь тем, что я в издательстве *свой*, я спустился в типографию и выпросил экземпляр, чтобы показать его дома, не подозревая, каким драгоценным он вдруг окажется.

Сразу после новогодних праздников из ЦК партии пришла команда: книга идеологически вредная, не выпускать! На мое счастье, десятая часть тиража к тому времени уже была отправлена в книготорг, но директор издательства В.Н. Ганичев настолько перетрусил, что отказался выдать мне положенные по договору авторские экземпляры. Пытаясь найти защиту со стороны влиятельных ученых, я побывал в нескольких высоких кабинетах и, конечно, приехал к Микулинскому. Молча выслушав меня, он вызвал к подъезду черную институтскую «Волгу». Вырулив на Ленинский проспект, мы покатали к директору института академику Б.М. Кедрову домой: он в это время «болел».



Б.М. Кедров

Кедров жил на улице Губкина, в большом академическом доме, который боковой стороной выходил на улицу Вавилова [С.И.], а фасадом смотрел на Институт общей генетики имени Вавилова Н.И.¹

¹ Институт генетики АН СССР был создан в 1930 году, под руководством Н.И.Вавилова. После его ареста в августе 1940 году директором института стал Т.Д. Лысенко, который перевел его на рельсы «мичуринского учения». После падения Хрущева в 1964-м лысенковский институт был ликвидирован, вместо него был создан Институт общей генетики имени Н.И.Вавилова; директором института стал Н.П. Дубинин.

Бонифатий Михайлович Кедров сам открыл дверь и провел нас в свой кабинет. Я тогда его увидел впервые. Он был в распахнутой домашней тужурке и мягких шлепанцах, с двух или трехдневной серебристой щетиной. Он был много старше Микулинского, но значительно живее и энергичнее, несмотря на избыточную полноту. Он вовсе не выглядел больным.

Быстро оценив ситуацию, он попросил оставить ему книгу на одну ночь и утром вернул мне ее с подробным защитительным отзывом на четырех страницах на своем официальном бланке. Правда, отзыв был адресован не в ЦК партии, откуда пришла гроза и где у него были прочные связи, а директору издательства «Молодая гвардия» В.Н. Ганичеву, которому мне и пришлось его вручить. Сыграл ли этот отзыв какую-то роль в спасении книги, мне осталось неизвестным, но готовность, с какою академик бросился спасать «идеологически вредную» книгу, многого стоила.

Я подумал, что в перерыве надо будет подойти к Кедрову и еще раз поблагодарить за ту, уже давнюю, поддержку, но он посмотрел на часы, шепнул что-то Микулинскому, тихо поднялся и вышел. Видимо, спешил на другое совещание. Следующих докладчиков объявлял Микулинский. Он и назвал имя Василия Лаврентьевича Меркулова, доктора биологических наук, старшего научного сотрудника Физиологического института им. академика А.А.Ухтомского при Ленинградском университете.

2.

К трибуне докладчик двигался медленно, тяжело, опираясь на костыли, рывками перебрасывая грузное тело. На трибуне он долго прилаживал костыль, продолжая опираться на другой; неловко перебирал бумаги свободной рукой. Это был пожилой человек, с большой головой, увенчанной редкой сединой, с простецким почти крестьянским лицом и неожиданно яркими живыми глазами. Заговорил он тоже неожиданно бодрым, густым баритоном.

Текст его доклада «О трактовке мотивации творчества отечественных натуралистов» опубликован в изданной по следам симпозиума книге «Человек науки» 2. Я его внимательно перечитал и убедился, что напечатанная версия значительно приглажена. Автору пришлось кое-что притушить и кое-что вписать «для порядка», чтобы не дразнить гусей, на чем, надо полагать, настоял научный редактор сборника М.Г. Ярошевский, с которым, как я потом узнал, Меркулова связывали многолетние

2 «Человек науки», под ред. М.Г. Ярошевского, М., «Наука», 1974, стр. 160-172.

сложные отношения. Ядро первой половины доклада состояло в том, что «мотивацией» исследований Ивана Петровича Павлова служили в основном труды французского физиолога XIX века Клода Бернара. В подтверждение Меркулов сопоставлял работы двух ученых и приводил высказывания самого Павлова о Бернаре. Тут где-то сзади послышался шумок, затем раздалось негодующее восклицание в два голоса:

– А Сеченов!

– А Сеченов!..

Я обернулся и увидел гневное худощавое лицо с трясущимися губами Ю.И. Миленушкина. Так же сердито посверкивала углистыми глазами сидевшая рядом с ним Н.Г. Григорян. Оба были полны негодования, словно им нанесено личное оскорбление.

Докладчик оторвался от текста, с удивлением посмотрел в зал, пожал плечом, не опирающимся на костыль, и сделал недоуменный жест свободной рукой:

– Я же привожу факты.

Для непосвященных этот обмен любезностями выглядел бы вполне невинно, но в зале непосвященных не было!

В эпоху позднего сталинизма, когда Россия сделалась родиной слонов, а также всех важнейших достижений науки и техники, утвердилась жесткая схема: отечественная физиология создана великим ученым-материалистом Иваном Михайловичем Сеченовым, а академик Павлов – великий продолжатель Сеченова. Это стало такой же непреложной истиной, как то, что Сталин – продолжатель дела Ленина. Любое отклонение от этой схемы представлялось низкопоклонством перед буржуазной наукой. К 1970-м годам догмы сталинизма, казалось бы, были давно похоронены, но многие из тех, кто их насаждал, были живы, влиятельны и не собирались уступать своих позиций. С рудиментами этих догм то и дело приходилось сталкиваться. Видны они и в книге «Человек науки». Чего стоит хотя бы такая сентенция из редакционного предисловия:

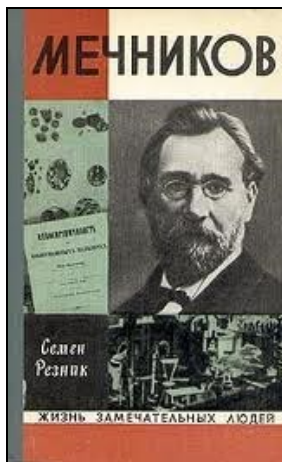
«Полемика, ведущаяся <...> в капиталистических странах, отражает антагонистический характер противоречий между достижениями современной научно-технической революции и социальными условиями, препятствующими развитию сущностных сил целостной человеческой личности, возможностей ее познания и самопознания»³.

³ Там же, стр. 5.

Полная бессмыслица, но какова аранжировка! Чтобы нельзя было заподозрить редактора в том, что ему недостает «классового подхода» к загнивающему капитализму, который вот-вот должен рухнуть под тяжестью своих антагонистических противоречий!

После доклада Меркулова был объявлен перерыв. Захлопали кресла, притомившаяся публика потянулась из зала, но сам докладчик остался сидеть на своем месте в первом ряду: видать, не просто было ему подняться и ковылять на костылях. Я подошел к нему и представился. Он отозвался с каким-то удивительным радушием, усадил меня рядом с собой, и у нас завязался оживленный разговор, словно мы были добрыми знакомыми много лет. Я иронично отозвался о реплике Миленушкина. В выразительных глазах Василия Лаврентьевича, забегали веселые искорки. Громко, на весь еще не совсем опустевший зал, он сказал:

– Юрий?! Да он же сталинист!



Книга С. Резника «Мечников»

3.

В нашей переписке с Василием Лаврентьевичем Ю.И. Миленушкин упоминается многократно. Они были знакомы аж с 1926 года: вместе учились в ЛГУ. Как сообщал мне Василий Лаврентьевич, Миленушкин еще студентом начал печататься, а в годы войны работал в редакционном бюро научных радиопередач при ВОКС (Всесоюзном обществе культурных связей с заграницей). Он готовил радиопрограммы о достижениях советской науки, которые шли на зарубежные страны. «Тут он

познакомился с большими тузами науки и искусства!», писал мне Меркулов, и эта работа, по его словам, сильно испортила Миленушкина: «окунула [его] в пучину страстей», «связанных с погоней за популярностью»⁴.

Когда вышла моя книга о Мечникове, я подарил ее Миленушкину. А через некоторое время почта принесла подписанное им письмо на официальном бланке Общества историков медицины, в котором он возглавлял секцию микробиологии. В письме сообщалось, что очередное заседание секции посвящается обсуждению моей книги.



Ю.И. Миленушкин (справа) с профессором С.С. Туровым

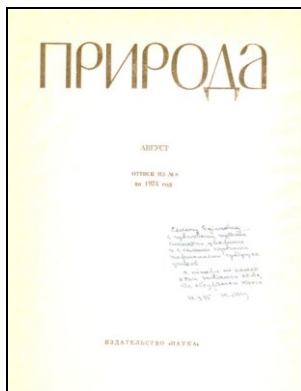
Как это было понять?

Публичное обсуждение книги – для автора всегда событие. Тем более в обществе знатоков, за плечами каждого много печатных работ, защищенные диссертации, научные доклады в той самой области, в которую я дерзнул вторгнуться. Они могут дать книге зеленый свет, а могут вынести смертный приговор. Что день грядущий мне готовит? Уж не собирается ли Юрий Иванович учинить экзекуцию?!

Специалисты всегда ревниво относятся к вторжениям со стороны, а в данном случае повод для недовольства был особенно ясным, можно сказать, вызывающим. В центре моего повествования не научные заслуги Мечникова в микробиологии

⁴ Архив автора. Письмо В.Л. Меркулова от 17 января 1976 г.

(хотя, по моему мнению, о них рассказано достаточно подробно), а его философские, мировоззренческие искания. Сюжет выстроен не по шаблону: родился, учился, женился, защитился – он концентрируется вокруг одного дня жизни Мечникова, 30 мая 1909 года, когда он приехал в Ясную Поляну, к Льву Николаевичу Толстому, носителю противоположного мировоззрения. Столкновение двух противостоящих философий – таков был стержень повествования. Опасения, что это могло сильно не понравиться спецам по истории микробиологии, были более чем резонными.



Оттиск статьи Ю.И. Миленушкина с дарственной надписью

Я позвонил Миленушкину, чтобы прощупать ситуацию, но вместо долгого разговора по телефону он пригласил меня к себе домой. А когда я приехал, он... вылил на меня ушат похвал, так что я потом долго не мог опомниться. На обсуждении книги он председательствовал, выступил первым и – повел аудиторию за собой. Раздавались и недовольные голоса: почему так много о встрече с Толстым, не за это Мечникову присудили Нобелевскую премию! Но не такие голоса превалировали.

Свое выступление Миленушкин затем превратил в обстоятельную рецензию и опубликовал ее в журнале «Природа» (задолго до того, как я стал в нем работать). В рецензии было несколько дельных замечаний, причем легко устранимых, так что за излишнюю опасливость я был наказан: показал бы ему рукопись заранее, неточности были бы выправлены. Но общая его оценка была такова, что мне и сейчас неловко ее цитировать. Моя книга противопоставлялась всей предшествовавшей литературе о Мечникове как «новое и интересное явление». Особо подчеркивались ее преимущества перед классическим

международным бестселлером «Охотники за микробами» Поля де Крайфа (де Крюи)⁵. Лучшего отзыва просто не могло быть!

У меня сохранился оттиск этой рецензии с дарственной надписью Юрия Ивановича:

«Семену Ефимовичу с чувством глубокой симпатии, уважения и с самыми горячими пожеланиями грядущих успехов, а также на память о том заседании об[щест]ва, где обсуждалась книга. 17.4.75 (Подпись)».

После этого я не раз бывал в небольшой квадратной комнатке Миленушкина, затянутой сизым табачным дымом. Он почти непрерывно курил, причем не сигареты с фильтром, как было принято, а, по-старомодному, папиросы «Беломор».

Среди прочего, он показал мне оригинальную фотографию на стекле (позитив) – выступление Мечникова в Институте экспериментальной медицины, 1909 год. Это был подарок В.Л. Меркулова.

Отношения дружбы-вражды у них были давние. Меркулов вспоминал с долей ядовитого сарказма, что еще в 1965 году, когда он посетил Миленушкина, у них был «жестокий спор», в котором его, Меркулова, поддерживала 16-летняя Таня Миленушкина, оказавшаяся «более политически зрелой», чем ее отец.

«В Риге летом 1969 г. – мы пару дней были с Юрием вместе – он проявил такие “комические” суждения, что я был изумлен его упорной склонностью оправдывать злодеяния некоего грузина [Сталина] соображениями: “не знал и не ведал”», – писал мне Меркулов в том же письме⁶.

Страстный охотник, Миленушкин был очень активен в обществе охотников, публиковал обзорные статьи, очерки, рассказы, рецензии в сборниках «Охотничьи просторы» и других подобных изданиях. Его «другом по охоте» был президент академии Медицинских наук В.Д. Тимаков, микробиолог. Юрий Иванович считал, что имеет влиятельного покровителя, и чувствовал себя уверенно, но когда директор института имени Гамалеи О.В. Бароян решил выгнать его на пенсию, Тимаков пальцем не пошевелил. Сбылось пророчество В.Л. Меркулова:

«Когда в Л[енингра]де отмечалось 100 лет со дня рождения Д.К. Заболотного⁷, я, как один из докладчиков (Д.К. в ИЭМ), попал в президиум и познакомился с Тимаковым и

5 Ю.И. Миленушкин. Свежее слово о Мечникове. «Природа», 1974, № 8, стр. 122-124.

6 Архив автора. Письмо В.Л. Меркулова от 17 января 1976 г.

7 Даниил Кириллович Заболотный (1866-1929), выдающийся бактериолог и эпидемиолог.

Барояном. И тогда же я предсказал Юрию – *тебе скоро труба*. Твой Володя – черствый дипломат, за тебя он не захочет хлопотать, и защиты от него не жди! <...> И потом, когда его выжил Бароян на пенсию, он стал умнее»⁸.

Последний раз они виделись в октябре 1975 года, когда Василий Лаврентьевич остановился на несколько дней в Москве, возвращаясь из Тбилиси со съезда историков науки.

«О многом мы вспоминали и говорили, – писал мне Меркулов. – Он давно имел язву кишки и желудка + много курил + его страшно деморализовало: 1) выход на пенсию, 2) разочаровался в “друге по охоте” лауреате Лен[инской] премии, президенте АМН и академике “Володе Тимакове” и 3) что музей И.И. Мечникова, собиранию коего он отдал почти 30 лет работы, по приказу Барояна передан в Ригу в Музей ист[ории] медицины!»⁹.

С близкими Миленушкина я знаком не был и о его кончине (2 января 1976 г.) узнал с опозданием, из Ленинграда, от Меркулова.

На его подробное письмо я отвечал:

«Все, что Вы пишете о Юрии Ивановиче, мне очень интересно. Я знал его только в последние годы и был очень тронут его добрым отношением ко мне и к моей книге о Мечникове. Он казался мне очень добрым и несколько наивным человеком, чрезвычайно простым и открытым (этаким пожилым ребенком). Но оказывается, это не совсем так. Например, на мои вопросы о здоровье он неизменно отвечал, что все хорошо. Я даже не знал, что у него язва. О его переживаниях, связанных с уходом со службы, я тоже узнавал стороной, сам он мне об этом ни разу не говорил»¹⁰.

Таким оказался этот необычный сталинист, вставший горой на защиту *единственно правильного учения* об академике Павлове – великом продолжателе своего, отечественного, Сеченова, а не какого-то подозрительного «космополита» Клода Бернара!

4.

Заново знакомясь с докладом Меркулова по печатному варианту, я вижу, что вторая его половина была посвящена «мотивации» научной деятельности А.А. Ухтомского. Ухтомский как раз *был* продолжателем Сеченова. Он принадлежал к школе

⁸ Там же.

⁹ Там же.

¹⁰ Архив автора. Копия моего письма В.Л. Меркулову от 31 января 1976 г.

Н.Е. Введенского, наиболее одаренного ученика Сеченова в Петербургском университете. Введенский унаследовал кафедру физиологии от Сеченова, Ухтомский – от Введенского: преемственная связь очевидна. Но, вероятно, именно поэтому не она занимала Меркулова. В его докладе говорится о влиянии на Ухтомского крупнейших философов – от Платона и Аристотеля до Шопенгауэра и Гегеля, и особенно – произведений Ф.М. Достоевского. Для меня, только что познакомившегося с письмами А.А.Ухтомского к Е.И. Бронштейн-Шур, это было наиболее интересно, но разговор наш до второй половины его доклада не дошел, – во всяком случае, в моей памяти ничего на этот счет не сохранилось. Перерыв кончился, мы обменялись адресами и, пока люди рассаживались, я поспешил уйти: на вторую половину заседания я не мог остаться.

Глава пятая. Любви все возрасты покорны

1.

Лена Бронштейн была не единственной и не первой любовью Алексея Алексеевича Ухтомского. За двадцать лет до встречи с нею он, тогда еще студент университета, был приглашен в многочисленное семейство Платоновых, жившее на углу 13-й линии Васильевского острова и Большого проспекта.

Был конец октября 1905 года. Всего несколько дней назад был обнародован царский манифест: народу даровались основные гражданские свободы. Революционная стихия пошла на спад, но в городе еще было неспокойно. На улицах и площадях вспыхивали митинги, демонстрации, шныряли усиленные наряды полиции, хлопали выстрелы. Ухтомского предупредили, что дверь с улицы будет заперта, ему следует пройти через двор в кухню, но постараться не попасть на глаза дворнику, который берет на заметку всех «студентов в синих околышках».

Ухтомский только что вернулся из путешествия по Волге и Уралу: ездил в качестве представителя питерской старообрядческой общины. У старообрядцев были давние счеты с властью и с официальной церковью, им требовалось скоординировать свои действия. Ухтомский встречался с «подозрительными» людьми и сам попал под подозрение, несколько раз ускользал от ареста¹¹. Учитывая накопленный опыт конспирации, он пришел к Платоновым в желтой верблюжьей куртке и черном картузе, какие носили приказчики.

¹¹ В архиве Ухтомского сохранились краткие записи, дающие представление об этой длительной поездке.
<http://rudocs.exdat.com/docs/index-380470.html?page=2>

Отец семейства недавно умер, мать с одной из дочерей еще не вернулась с Кавказа, куда выезжала на лето; в доме главенствовал их единственный сын Юрий Александрович, студент горного института. Он стал горячо говорить о революционных событиях, о царском манифесте и о том, что на этом нельзя успокаиваться. Надо требовать твердых гарантий, что обещанные преобразования будут осуществлены. На слово властей полагаться не следует, совести у них нет. Так считает не только он сам и другие студенты Горного института, но и профессора, такие как математик И.П. Долбня, которого студенты особенно любят и почитают.

Ивана Петровича Долбню Ухтомский хорошо знал: когда он был курсантом Кадетского корпуса в Нижнем Новгороде, математику преподавал И.П. Долбня. Для Алексея он стал Учителем с большой буквы. Юноша поверял Ивану Петровичу свои сомнения, переживания, делился планами и всегда встречал в нем участие. Он потому и избрал Петербургский университет, что в Питере жил Долбня. Их контакты возобновились и стали почти такими же тесными, как когда-то в Нижнем Новгороде. Он многое мог рассказать об этом умном и чутком наставнике своим новым знакомым.

Они сидели за чайным столом, под большой картиной, изображавшей сцену прощания Наполеона с ветеранами-гренадерами. Ухтомский запомнил, что на другой стене тоже висела картина на сюжет наполеоновских войн: солдат в траншее извлекает из подсумка убитого товарища оставшиеся патроны, тогда как вдали уже видны цепи наступающего врага. Картина называлась «Последний патрон».

Беседа была оживленной, в нее включились сестры Юрия Александровича – Женя, Клаша, Машенька. Одна лишь Варенька молчала, внимательно слушала, но чувствовала себя скованно; когда гость поворачивался к ней, вспыхивала и отводила глаза.

Он зачастил в дом Платоновых, и вскоре все заметили, что между ним и Варенькой возникли особые отношения.

Варенька служила в бухгалтерии правления Рязанско-Уральской железной дороги, но душа ее витала далеко от приходно-расходных книг. Она увлекалась поэзией, философией, была набожна, отзывчива на чужое горе. И при всем том чувствовала себя одинокой, не такой как все. Ее *особость* тотчас почувствовал Ухтомский – и потянулся к ней.

Человек деятельный и активный, он общался со многими людьми самых разных слоев общества – от царского дворца до крестьян и мастеровых из заволжской глуши, где вырос. От

прихожан своей старообрядческой (единоверческой¹²) церкви до товарищей по университету. С бывшими однокашниками по кадетскому корпусу и духовной академии. Но близости ни с кем не возникало, он оставался *ото всех отдельно*, и это его мучило. Тут в его жизни и появилась Варенька.

Были ли у 30-летнего Ухтомского романы или хотя бы мимолетные увлечения до встречи с ней? Похоже, что были, но о них ничего неизвестно, если не считать нескольких не вполне ясных дневниковых записей. Так, в декабре 1896 года, между философско-религиозными размышлениями, вдруг возникает П.Ф., Пелагея Федоровна – «редкая девушка», пробудившая в нем «так много жизни, так много жажды жизни»¹³. Впервые она появляется в дневнике 4 декабря. А последняя запись, похожая на прощальную, сделана уже 22 декабря, всего через 18 дней:

«Пелагея Федоровна – редкая девушка <...> Я не встречал такого сочетания детской простоты и доверчивости с несомненно мужественным сердцем; я, наконец, не встречал сочетания всего этого с любовью ко мне. Это потеря жизни... Господи, дай ей счастья, да вспомнит она меня добрым словом в минуты своего счастья!»¹⁴

Вспоминала ли потом о нем Пелагея Федоровна, неизвестно, но он о ней, похоже, забыл навсегда.

Двумя годами позже в дневниках начинает мелькать Настенька и ее мать, обозначенная только инициалами: А.Л. Не без труда можно догадаться, что их фамилия Половцевы, возможно, родственницы известного государственного деятеля А.А. Половцева.

1 августа 1899 года Ухтомский делает запись, из которой явствует, что он влюблен в Настеньку, а еще через три дня констатирует: «Божья жизнь стала для меня немислимой без Насти»¹⁵.

¹² Единовѣрие – ветвь старообрядчества, которая пошла на примирение с официальной церковью на условиях сохранения древних богослужебных чинов, что и было узаконено при императоре Павле I по инициативе московского митрополита Платона (Левшина). По свидетельству А.А. Золотарева, переход Ухтомского в единоверие был совершен под «плодотворным и животворным воздействием» учебы в Духовной Академии, но об этом ниже.

¹³ А.А. Ухтомский. Лицо другого человека, СПб., изд-во Ивана Лимбаха, 2008, стр. 74_

¹⁴ Там же, стр. 77.

¹⁵ Там же, стр. 106. Дневниковая запись от 4 августа 1899 г.

Но мать хотела не *Божьей жизни* для своей дочери, а простого земного счастья. Торопя события, она пыталась воздействовать на него через его близких. Так, во всяком случае, я понимаю следующую дневниковую запись:

«А.Л., у Вас все есть и всего много; а у меня Вы хотите отнять последнее, что есть у меня, “единственную мою овцу” – нравственную и физическую свободу, которая создавалась для меня с таким трудом и так *дорого*. И для этого Вы вооружаетесь на меня всеми моими врагами, всеми врагами моей жизни и нравственной свободы, – кончая моими рыбинскими родными!»¹⁶.

Имя Насти в дневнике больше не появляется...

Не то было с Варенькой Платоновой, вошедшей в его жизнь прочно и навсегда. Уже через месяц после знакомства, побывав очередной раз у Платоновых, он записал:

«Варвары Александровны не было, не было ее; и уже шевельнулась злая змея в душе против религии жизни. <...> А Варвара Александровна свет и правда, ясность и благо! Дай ей Бог всего этого, ибо без того тяжело будет ей в грядущей обиденщине, которой, кажется, все равно не минуешь»¹⁷.

Они становились все ближе, все нужнее друг другу, вместе им легче было противостоять ненавистной *обиденщине*. Их отношения почти неизбежно вели к естественной кульминации: «Я всегда был против женитьбы, ибо чувствовал, что не могу этого сделать свободно. Могу сказать, что относительно В.А. я впервые почувствовал, что могу жениться на ней вполне свободно, *даже во имя моей свободы*»¹⁸.

С каждой встречей у них обнаруживалось все больше общего: глубокая религиозность, трепетная любовь к старине, к народным преданиям, к красоте церковного богослужения, готовность придти на помощь каждому страждущему и обездоленному.

Варенька по воскресеньям посещала ближайшую к дому церковь Морского корпуса, но в ней царили формализм и *обиденщина*; казалось, что люди приходят только чтобы отбыть номер. Ухтомский привел ее в свою Никольскую единоверческую церковь на Николаевской улице, вблизи Невского проспекта. Прихожане здесь были душевнее, ближе друг другу, чувствовалось, что совместные молитвы очищают их от мирской скверны, возносят к горним высям. Под влиянием Алексея

16 Там же, стр. 148. Дневниковая запись от 23 мая 1900 г.

17 Там же, стр. 165. Дневниковая запись от 27 ноября 1905 г.

18 Там же, дневниковая запись от 30 декабря 1905 г., стр. 167.

Варенька стала приобщаться к исконному, не испорченному, как они оба верили, православию, традиции коего восходили к допетровской и дониконовской Руси.

Каждая встреча приносила им много радости, а если свидание почему-либо срывалось, – немалое огорчение. Казалось бы, никаких препятствий к тому, чтобы соединиться, не было. Близкие Вареньки не могли желать для нее лучшей партии; что касается Алексея, то что-то, а возможное неодобрение родичей его остановить не могло.

Но... Дни шли за днями, складывались в недели, месяцы, годы. Варенька ждала, недоумевала, терзалась, негодовала – то на него, то на себя. Смирив девичью гордость, прямо спрашивала: когда же?.. Он мялся, путался, уверял, что их *соединение во Христе* давно уже состоялось, а что до *соединения перед людьми*, то этого еще нельзя, не время, надо упрочить свое положение, и вообще не следует привлекать к себе излишнего внимания... Бывало и так, что все, казалось бы, было между ними решено, и она записывала в дневнике:

«Я не радуюсь, а радость помимо меня получается оттого, что мне легко, а легко потому, что на Духу сказала то, что мучило, угнетало мое самолюбие, мою гордость, что не давало покоя. Я отцу Виктору сказала, что выхожу замуж, что люблю моего жениха больше, чем он меня»¹⁹.

Увы, она снова желаемое приняла за действительное.

Между ними возникало напряжение, жизнь разлучала надолго, порой на годы. Переписка тоже шла неровно: обрывалась на месяцы и годы, потом возобновлялась, становилась то более, то менее доверительной и интимной. Но мысленно они всегда были вместе. Обойтись друг без друга они не могли, а к совместной жизни были неспособны. То есть Варенька очень даже была способна, только и мечтала о том, чтобы соединиться со своим Алексеюшкой. Но он, много раз вплотную приближавшийся к последней разделявшей их черте, переступить ее так и не смог. Может быть, вправду любил ее меньше, чем она его? Или любил как сестру и друга, но не как женщину? Или...

«Часто – чаще, чем мы думаем, – бывает, что лишь издали порываясь к человеку, домогаясь его, пока он до нас недоступная святыня, мы любим и идеализируем его, и тогда обладаем этим великим талисманом творческой идеализирующей любви, которая прекрасна для всех: и для любимого, – ибо незаметно влияет на

¹⁹ Цит. по: Игорь Кузьмичев. А.А. Ухтомский и В.А. Платонова. Эпистолярная хроника, стр. 46.

него, и для тебя самого, – ибо ради нее ты сам делаешься лучше, деятельнее, добрее, талантливее, чем ты есть!

Но вот идеализируемый человек делается для тебя доступным и обыденным. И просто потому, что ты сам плох, обладание любимым, ставшее теперь простым и обыденным делом, роняет для тебя твою святыню, – незаметным образом огонь на жертвеннике гаснет. Идеализация кончается; секрет ее творческого влияния уходит с нею. И ты оказываешься на земле, *бескрылым, потерявшим свою святыню – оттого что приблизился слишком близко к ней!* <...> Иерусалим делается всего лишь грязным восточным городом! И из-за его восточной грязи ты больше не способен усмотреть в нем вечной святыни! Прекрасная невеста прекрасного ради нее жениха стала затрапезной женою отупевшего мужа!...»²⁰

Такая «философия любви и брака» была им изложена в письме к *другой* возлюбленной, о ней речь впереди. Боязнь *обыденщины, которой все равно не минуешь*, оказывалась сильнее самой горячей любви. Та, *другая*, его не поняла и попросила «больше ее не трогать». Варенька понимала, а если не всегда *понимала*, то все и всегда *принимала*. Их притяжение-отталкивание длилось до последних дней его жизни. Даже в блокадный Ленинград, где он медленно умирал летом 1942-го, стали прорываться ее письма; преодолевая физическую немощ и боль, он исправно на них отвечал. Последнее его письмо датировано 22 июля 1942 года:

«Закат мой еще и еще раз посылает Вам горячее пожелание сил, здоровья, крепости и терпения <...> Как мне хотелось бы представить себе, что делается сейчас на Жиздре у Козельска²¹, – какие памятки там еще остались? Сохранились ли леса на жиздринском правом берегу? На моей памяти они были молчаливые и прекрасные, отличаясь от наших северных лесов тем, что посреди хвои в них вкраплен дуб. Так бы и побродил опять в этих пустынях. Но я забываю, что сейчас и по комнате я брожу через силу от больной ноги и слабости, нажитой болезнью пищевода. Первое, как я сообщал, есть некротический процесс, пока продолжающийся; а второе, как я надеюсь, не связано с чем-нибудь злокачественным, а является скорее нервно-мышечным

²⁰ Лицо другого человека, стр. 509. Письмо Ухтомского к И.И.Каплан от 25 ноября 1922 г.

²¹ Имеется в виду Оптина Пустынь – знаменитый монастырь, закрытый большевиками. Монастырь расположен на берегу реки Жиздры, напротив города Козельска. В.А.Платонова тогда жила в Калуге, но наезжала в Козельск (в 70-ти километрах от Калуги), о чем сообщала Ухтомскому.

расстройством пищеводной трубки и привратника к желудку. Иногда я ем, и тогда немного подкрепляюсь; а иногда ничего не могу съесть за день, тогда очень слабею»²².

Второе *было* связано со злокачественным процессом. Он это предчувствовал, а, возможно, и знал. Письмо заканчивалось словами:

«Простите и помните Вашего преданного А.У.»

31 августа, то есть через месяц и девять дней его не стало.

В том, что она *простила* и *помнила* до конца своих дней, можно не сомневаться, хотя дата *ее* смерти неизвестна.

2.

Вторая любовь его жизни (если считать Вареньку первой) была недолгой, но куда более романтической. О начальной, наиболее счастливой ее поре известно мало. Пора эта приходится на весенне-летние месяцы 1922 года, когда профессор Петроградского университета Ухтомский со своими сотрудниками и студентами-практикантами жил и работал в Александрии (Новом Петергофе).

Это был самый знаменательный год в его жизни. В этом году, после кончины профессора Н.Е. Введенского, он был утвержден заведующим кафедрой физиологии животных. В этом же году он впервые публично выступил с докладом о доминанте, благодаря которой его имя навсегда вошло в историю науки. И на этот же год приходится «наша прекрасная Александрия», как он назвал те полугодные, но счастливые месяцы.

Когда-то эти земли на берегу Финского залива Петр I пожаловал некоторым своим приближенным. Они переходили из рук в руки, пока ими не завладел государь Николай I, подаривший имение своей жене Александре Федоровне. В ее честь оно и стало называться Александрией. Для нее был построен летний дворец, возникли вспомогательные постройки. При Александре II – еще дворец, потом еще и еще. Появилась небольшая, очень изящная церковь в готическом стиле. Был разбит «англицкий» парк с деревьями разных пород, цветниками, лужайками, клумбами, беседками; причудливо извивающиеся дорожки вели к морскому берегу, где были оборудованы купальни. Тишину нарушали соловьиные трели, в ясную погоду на горизонте вычерчивался силуэт Кронштадта.

В 1920 году часть построек была передана биологическому отделению Петроградского университета.

²² Там же, стр. 500.

Кафедре физиологии животных достался двухэтажный корпус, построенный когда-то для челяди Николая I.

В больших и самых светлых комнатах разместились лаборатории, комнаты поменьше отвели под жилье сотрудников кафедры. Для жилья студентов был выделен второй этаж другого корпуса, в глубине парка.



Въезд в Александрию (Петергоф)

Студентов-физиологов, выехавших летом 1922 года на практику, было восемь человек: семь девушек и один парень, Николай Владимирский. Имена девушек тоже известны благодаря воспоминаниям одной из них, А.В. Казанской (в девичестве Копериной). Кроме нее самой это были Роза Кацнельсон, Ида Каплан, Надя Сергиевская, Миля Шторх, Инна Вольфсон и Ася (ее фамилию мемуаристка не запомнила).

Алексей Алексеевич раздал всем темы для экспериментальных работ и сам ими руководил. По вечерам беззаботная компания собиралась в гостиной. Было много смеха, шумных веселых игр, песен, стихов. Профессор Ухтомский охотно участвовал в развлечениях молодежи, было видно, как он, в свои 47 лет, был еще молод.

О том, какое настроение царило в их веселом кружке, говорит стихотворная пародия, заставившая Алексея Алексеевича смеяться до слез:

Но, Боже мой, какая скука
Сидеть с лягушкой день и ночь,
Не отходя ни шагу прочь!
Какое низкое коварство

Полуживую раздражать,
Ее в растворы погружать,
Вздыхать и думать про себя:
Когда же черт возьмет тебя!

Сочинила этот нехитрый стишок Миля Шторх. Она же играла на фортепиано, под собственный аккомпанемент пела песенки Вертинского, которыми молодежь особенно увлекалась, а для Алексея Алексеевича они были внове. К современной поэзии девушек и профессора приобщала Ида Каплан. Она была в курсе литературной жизни Питера, была знакома с «Серапионовыми братьями», посещала собрания их кружка.

Хотя Алексей Алексеевич был добр и внимателен ко всем студенткам, вскоре было замечено, что Иде Каплан он отдает предпочтение. (С Колей Владимирским отношения, наоборот, стали портиться).



Один из коттеджей в Александрии

Динамику отношений Ухтомского с Идой Каплан в те летние месяцы, проследить невозможно: общаясь ежедневно по много часов, писем друг другу они не писали, дневниковых записей Алексей Алексеевич тем летом не вел или они не сохранились, А.В. Казанская в своих воспоминаниях эту деликатную тему целомудренно обошла.

С уверенностью можно сказать только одно: за эти счастливые месяцы 19-летняя Ида стала для 47-летнего профессора центром вселенной. Вокруг нее вращались, на ней были сосредоточены его самые светлые помыслы и самые благородные чувства. Чем она его обворожила? Об этом ничего не известно. Вероятно, она была очень красива, но это лишь

предположение: фотографий ее я нигде не нашел, как и описания ее внешности. Моя просьба, обращенная к ее сыну, сообщить подробности о матери, осталась безответной. Но имеются письма Ухтомского, которые посыпались на нее после возвращения из Александрии. В одном из них приводятся выписки из несохранившегося дневника, но они относятся ко времени, когда лучшая пора их отношений была уже на исходе. В дневнике он обращается к ней на «ты», чего никогда не позволял в письмах. Она для него – Солнце, обогревающее Землю; с приближением осени «Земля» стала чувствовать, что Солнышко греет все неохотнее, все чаще его обволакивают тучи.



Службное здание в Александрии

21 августа (3 сентября по новому стилю), еще в Александрии он записал, а потом процитировал в письме:

«Дорогое Солнышко, будем ли мы видеться зимою?» «Но ведь я не знаю, когда можно прийти к тебе с уверенностью, что ты в своей зачерствелой суровости не вздумаешь отвернуться от меня. Один день ты можешь быть мне рада, а в другой я окажусь тебе в тягость»²³.

После возвращения в Петроград он стал писать ей длинные послания, несмотря на то, что они постоянно виделись в университете. Письма пронизаны трогательной заботливостью, нежностью, теплотой и – печалью. «Дорогая Ида», она же «дорогой мой человек», она же «моя родная труженица», «мой

²³ Здесь и далее письма Ухтомского к И.И. Каплан цитируются по: А.А. Ухтомский. Лицо другого человека, стр. 504-542.

прекрасный друг», «мое сокровище», она же – «моя нечаянная радость и великая печаль».

Он в постоянной тревоге за нее. Он пытается быть ей нужным, полезным, но боится оказаться навязчивым.

Он просит ее быть «такой сердечной» и не отказаться «покушать нашей стряпни» – ее приготовила их общая приятельница по Александрии, работавшая в соседней лаборатории биохимии, Вера Федоровна Григорьева.

Профессорам в то голодное время уже полагался усиленный паек, не доступный простым смертным, и он упрасивает ее согласиться на то, чтобы он брал для нее с фермы молоко.

Он глубоко встревожился, когда она пришла в университет не совсем здоровой, с побледневшим лицом и побледневшими губами, и просил ее остаться дома, не ходить на занятия: «Ну, укрепляйтесь же и отдыхайте!» «Я буду рад знать, что Вы отдыхаете, крепнете, читаете, лежите, думаете в свое удовольствие».

Он сильно скучает без нее, хочет, чтобы она приходила к нему почаще, но тут же одергивает себя и просит ни в коем случае не приходиться «через силу», а только когда она сама чувствует в этом потребность.

Пришла весть о кончине его учителя профессора Н.Е. Введенского, Алексей Алексеевич должен был выступить с докладом о его научной деятельности. Он тотчас шлет просьбу своему «сердечному другу»: не найдет ли она возможным присутствовать на докладе – «это тяжелое для меня испытание было бы облегчено для меня чувством, что Вы тут».

Он просит показать фотографии ее родителей, и когда она приносит несколько семейных фотоснимков, рассматривает их с трепетным умилением, а потом шлет слова благодарности:

«Спасибо Вам, мое сокровище, что показали карточки Ваших папы, мамы и себя, – такой маленькой и беззащитной посреди своего садика, между папой и братом».

Однако Ида приходит все реже, в университете встречается с ним только по делу, и так, чтобы не оставаться наедине. Он это чувствует и изливает свои чувства в нескончаемых письмах, которые пишет с перерывами, по нескольку дней, стараясь раскрыть перед нею свои душевные порывы и духовные искания.

В большом письме от 30 ноября он признается:

«Я начинаю и бояться, что надоем Вам этими длинными речами посреди Ваших новых интересов. Но уж простите меня за

назойливое желание побыть с Вашей душой хотя бы лишь через письмо!»

Но, увы! Отношения становятся все более отдаленными, и то, что еще вчера было настоящим, неумолимо уходит в прошлое:

«Я счастлив уже тем, что знаю Вас, – пишет он ей 20 января следующего года. – Вы были для меня вполне незаслуженным собеседником, незаслуженным счастьем, Божиим даром. Нынешнее отчуждение Ваше от меня я признаю вполне заслуженным, хоть и больно оно для меня».

Итак, в январе 1923 года «незаслуженное счастье» было уже позади. Переписка приостанавливается. Следующее письмо датировано 15 апреля, но является чисто деловым, хотя пронизано прежней нежностью:

«Дорогая Ида, на случай если Вы пожелали бы быть на докладе о Вашей летней работе²⁴, сообщаю, что доклад будет сделан в отделении зоологии и физиологии Петроградского Общества естествоиспытателей в этот четверг 19 апреля в 7 час[ов] вечера. Повестку прилагаю. Примите мое приветствие с днем Вашего двадцатилетия, которое исполнилось или исполнится в эти пасхальные дни. Дай Бог Вам света, счастья и необманной радости. Буду счастлив, зная, что Вы счастливы. Проходя по университетскому коридору, случайно прочел в одном объявлении, что Вы освобождены от платы за учение в 22/23 академическом году. Если Вы еще этого не знаете, я рад сообщить Вам эту весть. Ваш преданный А. Ухтомский».

Ида, конечно, пришла на заседание, на котором докладывалась их совместная работа. После выступления Алексей Алексеевич ревниво расспрашивал ее, понравился ли ей доклад. Он передал ей текст и предложил сделать к нему краткое резюме на английском языке для совместной публикации в научном журнале. В следующем письме, от 3 мая, тоже в основном деловом, он ей писал:

«Ко мне пристают павловцы, чтобы я доложил им на физиологических Беседах 25 о Доминанте и связанных с нею работах. Я пока чувствую себя слишком скверно и слабо [после перенесенной болезни], чтобы взять на себя какие-нибудь обязательства и обещания. Я ответил пока лишь принципиальной готовностью сделать им доклад и повторить доклад Вашей работы. При этом мне хотелось бы, чтобы доклад Вашей работы был

24 Речь идет о докладе по материалам экспериментальной работы, выполненной И.И. Каплан в Александрии под руководством Ухтомского.

25 Речь идет о знаменитых «Павловских средах» – семинарах, на которых обсуждались новейшие работы по физиологии.

сделан Вами. Дело, конечно, не в перечитывании вновь того, что читано мною в Обществе Естествоиспытателей. Вы, я надеюсь, взяли бы на себя не без удовольствия самостоятельную переработку материала. А после работы сокращения и конденсирования доклада для иностранного резюме это было бы и нетрудно».

Выступить на семинаре у Павлова! Любой студентке такое предложение вскружило бы голову.

Ида с готовностью согласилась и также изъявила готовность летом снова поработать в Александрии, дабы продолжить свои исследования. Но тут вмешались «высшие силы», все планы рухнули – об этом речь впереди.

Продолжая заниматься на кафедре Ухтомского, Ида все яснее понимала, что физиология – не ее стезя. Вне университета они больше не виделись. Но он продолжал ей писать, испытывая неиссякаемую потребность выговориться.

«Пробежали прекрасные, горячие, солнечные дни прошлогодней Александрии, и их нет. Слава Богу за них! Для меня это был подарок на всю жизнь, такой незаслуженный, такой необыкновенный».

Дистанция между ними неумолимо удлинялась, он принимал это со смиренной горечью, зная по опыту, «что прекрасное бывает редко, ненадолго, и дается людям скупой!»

Он снова и снова исписывал страницу за страницей, не в силах остановиться.

«Какое наказание я Вам доставляю! Все пишу и пишу, – продолжал он в письме от 14 октября. – Это за то, что Вы мне не показываетесь, отучили говорить с Вами, а потребность говорить Вам во мне неиссякающая! <...>. Я чувствую, мое сокровище, что я для Вас источник недоумения, – оттого Вы и перестали говорить со мной. Недоумение мучительно. Но у меня-то живая потребность говорить с Вами о том, чем я живу, – передать Вам то хорошее, что еще осталось у меня. Когда заглохнет во мне жизнь, тогда я сам заглохну, перестану говорить с Вами».

Неизвестно, что ответила Ида на эти излияния, но из ответа на этот ответ видно, что Алексей Алексеевич продолжал ее боготворить:

«Вы правы почти во всем. Прекрасная совесть дает Вам прекрасную чуткость и чутье. Я помню, – Вы говорили, что я Вас не знаю. Я Вас знаю и люблю именно такую, какую Вы раскрываетесь в этом письме. Мимо меня прошло что-то удивительно прекрасное, прекрасное человеческое лицо, которое будет для меня навсегда светлым огоньком в дали уходящей

жизни. Хочу одного: чтобы этот огонек был счастлив, и не призрачно, а серьезно и полно. Ваше слово “не трогать Вас больше” я свято исполню. Вы пишете о тех или иных Ваших сторонах, за которые я мог Вас ценить. Уверяю Вас, что ценны и нужны мне были только ВЫ, а не ВАШЕ. Искал я в Вашем обществе не удовольствия, не счастья, не успокоения, а только Вас <...> Да будет благословен и светел Ваш жизненный путь. Прощайте, мой ненаглядный друг, не поминайте лихом и простите».

Так завершился этот недолгий роман.

Последний привет от нее он получил через год и тотчас на него отозвался:

«Дорогая Ида, спасибо Вам за милое письмо. Я не сумею передать Вам, какую радость доставило мне неожиданное чтение Ваших строчек. Как будто пришла весточка с того света, через пустынные пространства мира, от давно умершего для меня друга, из давно ушедшего от меня мира! Я привык, освоился с тем, что для меня невозможно конкретное общение с тем, что там, и ушедший друг отделен все растущим непроницаемым расстоянием. И вдруг оттуда приходят живые строки, написанные живою рукой! <...> Если у Вас есть мысль, что от нашей встречи возникло что-то в самом деле ценное для Вас, то пусть оно не умрет, пусть поможет Вам в жизни. Я живу этой верой и хочу, чтобы Ваша жизнь была хороша для Вас и для людей. Ужасно счастлив от мысли, что мог дать Вам хоть каплю доброго».

Ида Каплан вышла замуж за писателя Михаила Слонимского, одного из Серапионовых братьев. Она прожила долгую и, по-видимому, счастливую жизнь. Выростила сына, ставшего известным композитором. Алексей Алексеевич Ухтомский остался для нее воспоминанием далекой молодости, которое она свято хранила. Умерла в 1998 году, в возрасте 95 лет.

Осенью того же 1924 года ученицей Ухтомского стала Елена Бронштейн.

«Впервые я разговаривала с А.А. Ухтомским на экзамене по курсу общей физиологии в 1924 г. Эту встречу я запомнила на всю жизнь. Спрашивал он меня не по билетам, и при ответе на каждый вопрос приходилось напряженно думать. Иногда я ловила на себе, как мне тогда казалось, его насмешливый взгляд и при этом чувствовала, что отвечаю очень плохо. После экзамена Алексей Алексеевич поставил мне в зачетную книжку высшую в

то время оценку “весьма удовлетворительно” и предложил работать у него в лаборатории»²⁶.

(продолжение следует)



²⁶ А.А.Ухтомский в воспоминаниях и письмах, стр. 71.

Александр Туманов

Шаги времени

(продолжение. Начало в "Заметках" №8/2012
и в альманахе "Еврейская Старина" №1/2012), а также в
"Семи искусствах" №12/2013)

Глава VIII

Будни Мадригала



Слово "будни" в этой части моих воспоминаний о Мадригале не очень точно соответствует ее содержанию. Да, это были будни, в том смысле, что шла повседневная жизнь группы людей, собиравшихся каждый день на репетиции, ездивших на гастроли и дававших концерты в Москве и других крупных и некрупных городах. Но почти все эти будни были праздниками. Для меня праздники длились 9 лет: с 1965 до 1974, до нашей эмиграции. Хотя, конечно, если говорить честно, было и много, очень много сложностей. Но из этого состоит жизнь. И обо всем этом пойдет речь ниже.

Мы практически объездили весь Советский Союз с его столицами, большими и малыми городами: от Золотого Московского кольца, центральной России, Балтики, Украины, Кавказа, Средней Азии, Дальнего востока — до Камчатки. Описать все наши поездки в рамках этих страниц, конечно, невозможно, хотя много интересного происходило в каждой из них и в творческом отношении, и в понимании огромной страны, по которой мы ездили. Было немало и смешного.

Кавказские гастроли

Запомнилась навсегда поездка по Кавказу, где мы бывали несколько раз: Грузия, Армения Азербайджан. Первой была Грузия, где у Андрея было много друзей. Тбилиси явился нам в сиянии солнца, в поразительном движении уличной жизни, необычной архитектуре и с какой-то общей позитивной атмосферой. Грузинская, восточная, по нашему восприятию, столица была освещена необыкновенным кавказским светом. Тени домов и деревьев падали на быструю горную шумящую реку. Современные и красивейшие старинные здания и церкви, театры и

концертные залы. Соединение старины и современности и острое чувство экзотики. На улицах была масса людей, казалось, что город живет не в домах, а на открытом воздухе. Все, несомненно, спешили по делам, но было что-то южное и ленивое даже в этой спешке. По улицам сновали такси, их, не как в Москве, можно было с легкостью поймать, в магазинах и на рынках было все, что угодно, но цены были безумными. Как грузины могут это осилить?! Было ощущение, что мы – не в Советском Союзе, а в какой-то стране из сказок Аладдина. Доброжелательность, юмор и легендарное гостеприимство освещали наше пребывание.



Концерт у Гелатского монастыря

Первый концерт прошел с большим успехом. В Тбилиси был внушительный слой интеллигенции, и публика восприняла музыку Возрождения и Средних веков, как свою — в ней немало оборотов и мотивов, близких к восточной идиоматике народной грузинской музыки.

После концерта кто-то из друзей Волконского пригласил нас на банкет. И мы увидели, что такое грузинское гостеприимство. Стол ломился от невероятного количества закусок, еды и вина, и пиром руководил сладкоречивый тамада, цветистые тосты которого начинались сегодня, а кончались завтра. В какой-то момент ужина тамада вдруг объявил, что теперь за каждым тостом нужно выпивать не один, а два бокала вина. Вино было совсем молодое и пилось, как вода, так что мы не волновались о последствиях. Наступило время прощания, и мы стали вставать из-за стола. И тут оказалось, что наши ноги забыли, что человек должен делать, чтобы стоять... Верные своему гостеприимству, хозяева проводили каждого из нас, индивидуально, до гостиницы.

Совсем не выспавшись, утром мы отправились на концерт в Гелатском монастыре, расположенном высоко в горах недалеко от Тбилиси. Было обидно, что публики было маловато: потрясающая акустика как бы пропадала зря. Но принимали нас с большим энтузиазмом. Концерт кончился, и выйдя на огромную площадку, ведущую к монастырю, мы вдруг увидели переполненный автобус, который медленно двигался в нашем направлении. Это были опоздавшие, человек сорок, которых нам так не хватало в зале. Узнав, что концерт кончился, они завопили: "Как же так!? Мы встали, все сделали (при этих словах начался гомерический хохот), и вот тебе, концерт кончился!" Их жалобные вопли, с сильным грузинским акцентом, были комично трогательными, и мы... решили повторить для них всю программу, но уже не внутри, а снаружи, на свежем воздухе. Оказалось, что горная акустика была не хуже монастырской. Горы звучали музыкой Мадригала.

Кавказская поездка продолжалась дальше по Армении и была знаменательна тем, что к нам присоединились старшие Лисицианы: Павел Герасимович и Дагмара Александровна, кажется, со старшим сыном Гариком. Ереван это второй Иерусалим, весь построенный из розового армянского песчаника на фоне ясно видимого Арарата. Город залит горным солнцем, и тени деревьев и горные тени приглашают к прогулке.



Ереван

Гостеприимство и радушие публики, которая отвечала на все нюансы музыки наших концертов (Ереван это город высокой музыкальной культуры и традиции) сопровождали нас по всей Армении. Присутствие Лисицианов-старших было подарком с неба. Мы все жили в Ереване в одной гостинице, неподалеку от памятника Ленину, и в номере Павла Герасимовича стоял рояль. В общей сложности мы должны были провести в Армении 5-6 дней,

и в первый же день П.Г. предложил нам, что он будет распевать утром каждого певца. Для нас распеваться с ним значило — брать уроки. И что это были за уроки! Я уверен, что если бы наши “распевки” продолжались дольше, я стал бы лучшим певцом.

Поездка в Эчмиадзин это путешествие в город, овеянный дыханием веков. Мы провели там один день, но впечатлений увезли на всю жизнь. В Эчмиадзине находится резиденция Патриарха армянских христиан всего мира, Католикоса Апостолической армянской церкви. В небольшом городе огромное количество церковных сооружений и монастырь. Но центром всего является главный собор, построенный в 301 г. н.э. и резиденция Католикоса.



Кафедральный собор Эчмиадзина

Древность Эчмиадзина означает, что более поздняя архитектура строилась на останках древних, теперь подземных сооружений, языческих храмов, церквей и пещер. Мы побывали в нескольких таких пещерах и были потрясены тем, какие удивительные акустические эффекты возможны в их огромных, причудливых глубинах. Войдя в первую пещеру, я решил испытать акустику и спел вполголоса медленную фразу из средневекового произведения (не помню сейчас, что именно). В ответ я услышал мужской хор, повторивший ее несколько раз намного громче меня. Чем глубже внутрь, тем больше чудес происходило со звуком: шепотом слезанное слово звучало громогласно и грозно. Мы спели что-то в унисон, мужские и женские голоса, и пещера ответила... многоголосием, в стиле армянских церковных песнопений. Ошеломленные, мы поднялись наверх и продолжили нашу прогулку по волшебному городу. Побывали мы и на Севане, втором самом большом озере в мире, где угощались, конечно, всемирно известной севанской форелью, и в древнем Гарни, бывшим когда-то одной из столиц Армении, с

ныне восстановленным храмом. Кавказ всегда покорял своим гостеприимством и горячим приемом публики.

Поездка по Украине

Среди воспоминаний о наших гастрольных поездках (я упоминаю только о некоторых, обо всех написать невозможно) поездка во Львов была в каком-то смысле знаменательной. Мы прилетели довольно поздно, в день концерта в зале Львовской филармонии и приехали в зал за час до начала. У Андрея ушло полчаса на настройку клавесина. Теперь нам надо что-нибудь спеть, чтобы испробовать акустику. Но не тут-то было: ровно за полчаса до начала администрация пустила в зал публику. Между нами и директором зала начался скандал. Сколько слов было сказано, сколько адреналина выделено! К началу концерта мы были совершенно разъярены, и в таком состоянии вышли на сцену. Казалось, что концерт обречен на провал. Но вышло наоборот — мы пели лучше, чем когда-либо, лучше, чем за всю историю Мадригала. Конечно, это не значит, что на сцену нужно выходить в таком состоянии. Но немножко адреналина не помешает.



Репетиция в Харькове

В один из свободных дней во Львове мы пошли на эстрадный концерт. Среди разных исполнителей был грузинский певец, не помню его фамилии, довольно внушительных размеров. Пел он с сильным грузинским акцентом. Каждый куплет его любовной песни кончался припевом, во время которого он широко разводил руки и затем пытался их соединить на груди, но ему отчаянно мешал это сделать его объемистый живот:

Ты такая красы--вая! Из какой ты сказки?

Мелодия была исключительно навязчивая, примитивная и тут же завязла в ушах. Приехав гостиницу, мы все вместе, умирая

от смеха, попытались восстановить всю песню: слова и мелодию. Это нам удалось, но потом мы заплатили большую цену: песня не отставала от нас ни на секунду. Каждый все время напевал разные отрывки, особенно припев. Вечером мы уехали в Харьков.

Из-за проклятой мелодии почти никто не мог спать в поезде. Наконец смех успокоился, в вагоне стало тихо, и мы услышали спокойный шум дыхания спящего Андрея. И тогда я совершил роковую ошибку. Разбудил его, и когда он, сонный, посмотрел на меня, я пропел:

Ты такая красы-вая! Из какой ты сказки?

"Ну, Саша", — сказал он. — "Я вам отомщу!" Ну что ж, разбудит меня таким же образом, подумал я, и уснул. Но ночью ничего такого не случилось.

Харьков был моим городом. Здесь я прожил мою юность и кончил университет. Здесь было полгорода знакомых и, конечно, все пришли на концерт. Зал Филармонии был переполнен. В первом отделении музыка Англии XV-XVI веков. В конце отделения были два моих сольных мадригала: медленный и трагический Майкла Кэмпбена, *С разбитым сердцем я умираю* и очень подвижный и радостный Томаса Кэвендиша, *Каждый куст расцветает*. Я вышел вперед и начал слушать обычную импровизацию Андрея в стиле той музыки, которую я сейчас буду петь, и для того, чтобы создать определенное настроение и ввести меня в тональность. И вдруг я услышал знакомые обороты и мелодию припева *Ты такая красивая*, стилизованные как английский мадригал, со всеми украшениями и орнаментацией, но безусловно *Ты такая красивая*. Во время этого клавишного вступления за кулисами раздался оглушительный стук, потом я узнал, что это упал на пол от смеха Марик Пекарский. Все они, черти, были в заговоре! Вот она месть, подумал я, и напряг все свои силы, чтобы игнорировать этот кошмар. Ведь Мадригал был впервые в Харькове, мои друзья слушали меня впервые в качестве солиста Мадригала! И я превозмог и спел мой номер, как подобает профессионалу. Второй мадригал, с его быстрым темпом, оказался для меня значительно более трудным после того напряжения, которое я испытал, и я начал путаться в тексте, однако, взяв себя в руки, кончил петь вместе с Андреем. Не знаю, что заметила публика, но в антракте весь ансамбль, вместе с Андреем, просил у меня прощения и стал передо мной на колени. Так кончилась эта трагикомическая история.

Дальний Восток

Эта поездка происходила во время самого серьезного конфликта между Советским Союзом и Китаем. Из Москвы выслали всех китайских студентов, а их была масса в разных учебных заведениях, и вообще всех китайских граждан, работавших в Союзе. "Русский с китайцем" перестали быть "братьями навек". Первым городом, в который мы прибыли, был Благовещенск, расположенный на берегу Амура на границе с Китаем. Здесь жили только выходцы из России, Украины и Белоруссии. Китайцев изгнали давно, с 1900 года. Но сам Китай находился в угрожающей близости: прямо напротив, на другом берегу, на расстоянии 800 метров, был город Хэйхэ. Мы могли видеть здания и даже людей.

После концертов, как всегда успешных, мы возвращались в гостиницу, и прямо перед нами красным, зловещим светом светился враждебный, таинственный город. Благовещенск рано ложился спать, и наступала тяжкая тишина, подсвеченная красными углями угасающего костра напротив.

Днем город был оживлен и наполнен шумом. Мы познакомились с несколькими симпатичными интеллигентными людьми. Я запомнил Благовещенск и потому, что здесь мне удалось купить *Иосифа и его братьев* Томаса Манна, редчайшая удача. Нам предстояла долгая поездка, и я отправил драгоценную покупку в Москву почтой. Алла была потрясена, получив посылку.

Владивосток был очень красив, с его бухтой и замечательным видом на океан. Концерты прошли хорошо, но город как-то не запомнился. Однако нам предстояла еще поездка на Сахалин, и вот она была очень памятной. Мы прилетели в Южно-Сахалинск, решили пройти по старому парку и вдруг оказались в... Японии.



Южно-Сахалинский краеведческий музей

Пагоды, маленькие деревья и старая запущенная железная дорога, не действующая с 1945 года. История русского Сахалина и Южно-Сахалинска началась в 18882 г., когда появилась деревня Владимировка. Ко времени русско-японской войны 1904-05 гг. Южно-Сахалинск уже существовал как город, но был в руках японцев. После победы России в 1905 г. он стал русским, но в виде уступки побежденным его южная часть оставалась во власти японцев. И только после конца Второй мировой войны южный Южно-Сахалинск был возвращен России. К концу 60-х, когда Мадригал приехал туда на гастроли, японской архитектуры почти не осталось, и только парк напоминал о японском прошлом.



Старинный японский храм.
Одна из оставшихся редкостей от старой Японии

В один из солнечных теплых дней ранней осени Лида Давыдова и я отправились на прогулку по старому парку. Вся земля была покрыта золотом опавших сухих листьев, так что каждый наш шаг звучал, как шорох чего-то прошлого, уже отжившего свой век. Мы шли по рельсам никому не нужной железной дороги. Почему-то было грустно, и это чувство навсегда у меня связалось с памятью о Сахалине.

В городе, кроме русских, была, как нам показалось, масса маленьких людей и детей с азиатскими лицами. Это были корейцы, попавшие на остров после 1945 года, и, как оказалось, самая трудолюбивая, плодотворная земледельческая часть населения. Когда мы пришли на рынок, то увидели такое богатство свежих овощей и фруктов, какого в Москве в сезон не встретишь. А ведь

климат на Сахалине не из милосердных, и лето короткое. Корейские дети нас совершенно покорили: всегда веселые, чистые, нарядно одетые и всегда помогающие родителям.

Поволжье

Летом 1963 г. мы совершили большую поездку по Волжским городам. Первым пунктом нашего маршрута был Нижний Новгород, оставивший мрачайшее впечатление. Закрытый теперь город, бывший до революции крупным центром Российской металлообрабатывающей промышленности, производил какое-то важное секретное оружие. Попастъ туда можно было только по специальному разрешению, и выезд был тоже ограничен. Это определяло атмосферу, в которую мы попали, наши зрители были, наверно, в большинстве засекречены, и, может быть, в какой-то степени от этого зависел прием наших концертов. Публика я бы сказал, вела себя осторожно.

Следующая за Нижним Казань это культурный центр, с большой прослойкой интеллигенции, и каждая программа Мадригала вызывала энтузиазм. За Казанью последовал Саратов со своими чудными белыми хлебами и замечательным гостеприимством, а за ним — огромный Волгоград, который оказался полностью восстановленным после разрушений войны, но восстановлен в геометрически скучном и монотонном стиле. Концерты проходили в замечательном новом концертном зале.



Концерт в Волгограде

Поездка из Волгограда в Астрахань ознаменовалась замечательным видом транспорта: мы ехали по Волге на пароходе, в котором, не знаю каким образом, если мне не изменяет память, не было никого, кроме Мадригала. У каждого из нас (невероятно!) была своя каюта, и в салоне на палубе стоял белый рояль. Пароход был немецкий, трофейный, весь отделанный замечательным деревом, с золотого цвета надраенными ручками дверей и кошмарно скрипучим полом (видимо, признаком советского владения кораблем).

Не помню, сколько времени длилась наша роскошная поездка, но достаточно долго для того, чтобы начать готовить новую программу. Каждый день мы собирались вокруг рояля, за которым сидел Андрей и играл сочинения, выбранные им. Многие из них мы пели с листа, обстановка была свободная. И однажды, во время такой репетиции, я вдруг почувствовал, что мне жутко надоела моя борода. Я покинул салон и отправился в свою каюту и через несколько минут вернулся чисто выбритым. Этого никто не заметил, все были заняты музыкой. Внезапно я почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд, на меня смотрела Карина Лисициан. "Саша, что с тобой, ты жутко выглядишь, ты что, болен?" – сказала она, и все глаза повернулись в мою сторону. Начался хохот, все долго смеялись. Наконец пароход пришел в Астрахань.

Мы попали в чудный город, полный старинных церквей, старых, хорошо сохранившихся домов, и вокруг старого города шла широкая стена астраханского Кремля. После Волгограда это ощущалось, как свежая струя воздуха. Концерты были встречены очень тепло, и директор филармонии познакомил нас с московским кинорежиссером-документалистом, который предложил нам начать в Астрахани съемки для документального фильма о Мадригале. Что не кончим здесь, закончим в Москве, сказал он.

"Начнем с какого-нибудь номера Мадригала, исполненного на кремлевской стене". После долгих дискуссий был выбран самый, я бы сказал, идиотский вариант: испанская рождественская песня *E la don don*. Обычно мы пели ее на бис. В зале гасили свет и издалека, за сценой, под звон колокольчика начиналась песня-шествие: *E la don don...*, постепенно звук усиливался, мы шли по всей сцене, свеча у каждого в руке; где-то посередине звучание достигало *forte*, после чего мы поворачивали обратно, сменяли тон на *diminuendo* и исчезали со сцены. Песня еще звучала некоторое время, потом последний звон колокольчика, и в зале зажигали свет. Успех этого театрализованного шествия

был гарантирован. Но как мы будем выглядеть, во фраках и стилизованных концертных платьях, шествуя по стене старинного, очень русского Астраханского Кремля?

Так эти кадры и остались в небольшом фильме о Мадригале, которого, по-моему, никто и не видел.



E la don don

Пражская весна 1969 г.

Вторжение советских войск в Чехословакию в августе 1968 г (500 тысяч войск, 5 тысяч танков) наложило печать на коллективное самосознание всего Союза, разделив страну, как все судьбоносные, большие события, на несколько лагерей.



Жители Праги встречают советские танки

По крайней мере, на три: крошечный лагерь либеральной интеллигенции и диссидентов, который в стыде, негодовании и ужасе видел случившееся, как мрачный знак усиливающегося советского террора; довольно большой круг негодовавших, но по другому поводу: "Неблагодарные чехи! Мы же их освободили от

фашизма!" и огромное большинство, которому было наплевать: "Так им и надо". Нетрудно понять, с кем были мы.

Скупые известия из Праги (чтение между строк советских газет, Голос Америки, BBC сквозь грохот глушилок, слухи) говорили, что, несмотря на подавление, Дубчек все еще был главой правительства, что движение к "социализму с человеческим лицом" не полностью обезглавлено и уничтожено.



Но жизнь шла вперед, и мысли о том, что случилось, хоть и были с нами всегда, но как бы отгонялись — как неприятности в семье, о которых лучше не думать. О Чехословакии говорили шёпотом, кое-что оттуда доходило. В январе 1969 из Голоса Америки узнали о самоожжении пражского студента Яна Палаха. (Эта история получит свое продолжение позже в Канаде, когда в Торонто я буду петь на концерте, посвященном Яну Палаху).

И вдруг почти год спустя сообщение из Министерства культуры: Мадригал едет в составе советской делегации на Пражскую весну 1969 года. Выезд через два или три дня. Немыслимо! На оформление поездки за границу уходят не дни или недели, а многие месяцы, а тут три дня. Никогда в жизни! Но тут мы узнали, что оказывается, советское Министерство культуры уже давно послало чехам полный список всех коллективов и исполнителей, которые выделены (читай: которых было приказано чехам принять) в качестве советской делегации. Так было всегда — Советы посылали, Чехи принимали. Но теперь — не как всегда:

в Праге у власти, хоть и ограниченной, хоть и после вторжения, еще есть люди Дубчека. И Чехословакия *отказалась* принять советских артистов, которые были предложены. Оттуда в Москву идет телеграмма: примем только Давида Ойстраха и Мадригал.

Это была ситуация, в которой советская сторона себя еще никогда не находила, по сути, ультиматум: или Ойстрах и Мадригал, или никто. Тогда Советский Союз просто не будет представлен на Пражской весне. Силе пришлось уступить, и Мадригал, невыездной коллектив во главе с трижды невыездным Волконским, был оформлен за оставшийся немыслимый срок, программы посланы, билеты куплены, и вот мы находим себя в поезде Москва-Прага. Мы едем на фестиваль, мы едем за границу, и нас услышит мир!

Мы никогда не ездили за границу и знали, что, наверное, никогда и не поедем. Понятие заграница было сложным: "соцстраны – капстраны", "ближние соцстраны" (Польша, Болгария) – "дальние соцстраны" (Венгрия, Чехословакия). Ближние хуже, дальние лучше: более настоящая заграница. Мы ехали в Прагу, и для нас это был Запад, дальше вообще не было для Мадригала пути. Особенно остро почувствовался перевод нашего, советского, поезда на более узкие европейские рельсы, как принято в западной Европе!

Прибыли в Прагу во второй половине дня, толком ничего не видели, разместились в очень хорошей гостинице и вечером были приглашены на прием в чехословацкое Министерство культуры в честь открытия фестиваля, который начинался на другой день. Все это происходило в каком-то роскошном огромном зале, заполненном толпой гостей, участников фестиваля и хозяев. Мы сразу почувствовали в атмосфере приема какое-то напряжение, происхождение которого вначале было непонятно, хотя ярко горели люстры и по залу разносили не виданные нами закуски и напитки.

Дубчека давно изгнали с поста главы правительства, его идея "социализма с человеческим лицом" была похоронена советскими танками, но в разных министерствах, в том числе и в министерстве культуры, оставалось еще много его людей. Вот отношения между ними и их новыми господами и были источником напряженности, витавшей в воздухе. Разговоры между гостями приема и хозяевами шли вполголоса, на многие вопросы следовали уклончивые ответы. Несмотря на яркий свет, вина и закуски, обстановка была скорее мрачной, чем оживленной.

Наш концерт был назначен через день, и таким образом появилась необыкновенная возможность довольно подробно

осмотреть красавицу-Прагу и почувствовать дух и настроение города. И очень скоро нам стало ясно, что это были страх, гнев и ненависть.



Протест Праги против советской оккупации

Фашизм равен социализму. Каждый день эти меловые рисунки-символы уничтожались полицией и вновь возникали если не на тех же, то на других памятниках, которых в Праге было великое множество. Мы видели на улицах здания, изрешеченные пулями. Мимо шли люди с невидящими глазами и подавленными лицами. Картина была ужасная.

Утром я с одним из моих товарищей пошел знакомиться с городом. Мы сразу были поражены витринами продовольственных магазинов и пивных заведений, которых было множество. Витрины ломались от колбас, шпикачек, подвешенных на крюках окороков и кур. Вспомнились наши магазины "Мясо", в которых иногда можно было "достать" маленьких кур синего цвета, о которых покупатели говорили, что "они знали Ленина". По улицам во время обеденного перерыва сновали официанты в белой форме, доставляющие в офисы на подносах бокалы пенистого пива.

Было много народу, но выглядели люди так, как будто они сегодня кого-то похоронили. Мы понимали, как они относятся к советскому режиму, но неужели так же и к отдельным людям из России? Ответ на этот вопрос был получен почти немедленно. Завернув за угол, мы увидели большое здание универмага с названием «Bílá Labud», 'Белый лебедь'. Решили войти и опять удивились обилию и разнообразию товаров. В отделе перчаток и сумочек у прилавка стояла... Лариса Пятигорская. Возбужденная, она нервно искала что-то в своем кошельке. Деньги! Их явно не хватало! Вдруг раздался ее голос, по-русски: "Черт возьми! Ну что за проклятие, всего нескольких крон!" То, что последовало, было

ответом на наш вопрос. Очередь, состоявшая из мирных чехов, услышав русский язык, разъярилась и с криками "russka, russka" выгнала бедную Ларису из магазина. Мы поспешили за ней.

У выхода была трамвайная остановка, и по ту сторону рельс стоял Рубик Лисициан в ожидании трамвая. Лариса вылетела из Белой Лебеди и Рубик, увидев ее испуганное лицо, сделал движение к ней. И тогда в ответ она закричала: "Parla italiano! Parla italiano!" (Говори по-итальянски!) Это Parla italiano мы потом много раз вспоминали в Москве.



Злата улочка

Но не всегда было так. Некоторые пражане узнавали в нас выходцев из Союза и не проявляли ненависти. По нашему нетуристскому, растерянному виду, а может быть, услышав русскую речь, которой мы осторожно, вполголоса перебрисывались, можно было сделать вывод, откуда мы. На улице, ведущей в центр, мы остановились, раздумывая о нашем маршруте (план был посмотреть район, где расположена Старая-Новая синагога, Злата улочка и могила Кафки). У нас в руках была карта, и какая-то проходившая мимо женщина поняла, что мы не знаем, куда идти. Я видел, как она остановилась, раздумывая, очевидно, кто мы и на каком языке к нам обратиться, и, наконец, заговорила по-немецки. Мы собрали все наши жалкие знания немецкого, чтобы объяснить, но сразу было ясно, что понять мы ничего не сможем. Тогда, показав жестом идти вперед, она двинулась с нами. Мы шли в полном молчании, путь был не близкий. Дойдя до нужного места, мы попрощались с нашей проводницей и вдруг увидели, что она пошла... в обратном направлении. Вот такая самаритянка.

Мы дошли до Пражского Града, старого центра Праги и перед нами открылась Злата улочка.

Она оказалась коротким, узким переулком, мощенным гладкой, мелкой брусчаткой, по обе стороны которого стояли крошечные дома. В них были маленькие магазины: сувениры, травы, кружева, книги. Пахло далекой стариной. Злата улочка, основанная в средние века, называлась так, потому что в ней жили алхимики и чеканщики золота; в №22 когда-то жил Кафка.



В еврейском квартале Праги мы были потрясены посещением Старого еврейского кладбища, насчитывающего столетия и восходящего к средневековью. Сейчас в нем сохранилось 12 тысяч памятников, а первый был воздвигнут в 1439 г. Передо мной была трагическая история моего народа.



Рудольфинум, Зал Дома Дворжака, после реставрации в 70-х гг.
Орган был закрыт занавесом, так что мы выступали на меньшей эстраде

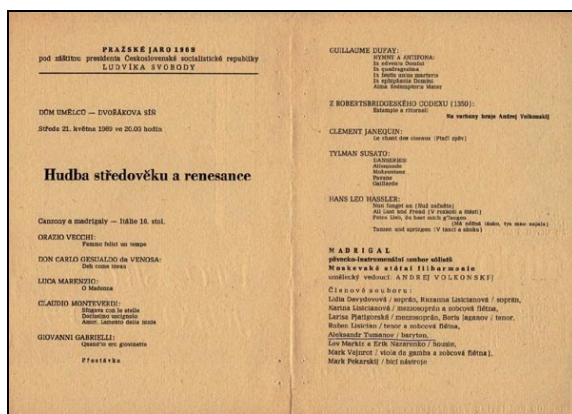
Сейчас в нем сохранилось 12 тысяч памятников. На кладбище царил атмосфера истории насилий, разрушения и скорби. В моем сердце все это откликалось глубокой грустью.

На другой день Прага блистала для нас красотой своей торжественной архитектуры. Пражская крепость, Карлов мост в Градчанах, Пражские Куранты, резиденция Президента,

Национальный театр (Narodní divadlo), Опера и потрясающее красивое неоклассическое здание Рудольфинума, в котором находится Пражская филармония и Зал Дворжака.

Здесь проходили сольные и камерные концерты Пражской весны 1969 г. (Загребские солисты, Марта Аргерич, Давид Ойстрах, Руджиеро Ричи, Жерар Сузе и др.), в том числе, и концерт Мадригала, который был объявлен, как *Madrigalovy soubor z Moskvy*.

Концерт состоялся на другой день, в среду, 21 мая. Программа называлась *Hudba středoveku a renesance* (Музыка средневековья и ренессанса), первое отделение было посвящено канцонам и мадригалам Италии восемнадцатого века: Орацио Векки, Джезуальдо ди Веноза, Лука Мренцио, Клаудио Монтеверди, Джованни Габриели; второе — французская, английская и немецкая музыка: гимны и антифоны Гийома Дюфаи, эстампы и ритурнели для клавесина из Кодекса Робертсбриджа (1350) в исполнении Волконского, танцы Тильмана Сусато и завершали программу Четыре танца Ганса Лео Хасслера.



Как видим концерт, как всегда, мастерски составленный Андреем, был насыщен глубокой, интересной и разнообразной музыкой с веселым окончанием.

Мы не знаем, какая была публика в зале. Очень может быть, что это были люди, отобранные из-за своей лояльности к новому просветскому правительству Чехословакии, а может, просто публика, пришедшая посмотреть и послушать хорошую музыку, но или немного равнодушная, или антирусски настроенная. Во всяком случае, вначале прием был, я бы сказал, холодноватым или равнодушным. Постепенно зал разогревался и

концерт кончился с большим успехом: то ли мы их завоевали, то ли они простили нам, что мы представляли Россию.

22 мая в газете *Вечерняя Прага (Vecerní Praha)* появилась рецензия на концерт Мадригала. Автор, Йирса Снимек, писал о том, что несмотря на короткий срок своего существования, ансамбль завоевал международную известность (*mezinárodní rozoznost*), а авангардные произведения старинной музыки, например, мадригалы Джезуальдо ди Веноза, исполнялись с чувством стиля. Голоса московских певцов, писал автор, обладают способностью петь и ансамблевую и оперную музыку. Был отмечен *Плач нимфы* Монтеверди и солирующая в нем Лариса Пятигорская. Высочайшую оценку получил Андрей Волконский: и как руководитель ансамбля, и как клавесинист, исполнитель Кодекса Робертсбриджа.

Следующий день, 23 мая, был днем отъезда. Мы уезжали из сказки. Но ведь в сказках бывают приключения. Вот одно из них. Наше родное социалистическое государство, без человеческого облика, бесстыдно грабило своих лучших артистов за границей, т.е. не платило им ни копейки за работу там. Мы получали 10 долларов в день на пропитание и, конечно большую часть этих денег экономили, чтобы купить себе и близким что-нибудь из одежды или обуви, не доступной дома. Но есть-то надо было, и все везли с собой консервы, копченную колбасу, бульонные кубики и кипятильники. Помню, как рассказывали, что у исполнительницы народных песен Людмилы Зыкиной был затерян аэрокомпанией чемодан, набитый едой, и когда ее попросили описать его содержимое, она, покраснев, закричала: "Не ищите, там чепуха, совершенно не нужна мне!"

Так вот, перед отъездом, когда мы собирали наши вещи, из номера Лиды Давыдовой, послышались призывы о помощи. Оказалось, что, пытаясь вскипятить воду для бульона, она прожгла довольно большую дыру в роскошном бело-голубом ковре. Что делать? Пойти в администрацию и признаться в совершенном – невозможно: нет денег, чтобы платить за убыток. И мы... постыдно бежали, не сказав ни слова и оставив по себе память русских свиней, от которых именно этого можно было ожидать.

В день отъезда, к нашему восторгу и ужасному сожалению, был объявлен *Lieder Abend* Элизабет Шварцкопф. Так хотелось ее посмотреть и послушать! И произошло невероятное: нам удалось уговорить главу делегации Московской филармонии Бауэра, секретаря партийной организации, читай: офицера КГБ. По этому договору автобус, везший нас на вокзал, должен был доставить ансамбль до концерта в Рудольфинум, чемоданы

оставались в автобусе, а мы могли слушать концерт и, по первому знаку Бауэра покинуть зал.

Наши места были на сцене: зал был забит до отказа, и поэтому даже на эстраде, сзади и с обеих сторон, поставили приставные стулья. Шварцкопф в это время была уже на закате, но пела еще великолепно. Она влетела на эстраду, как молодая девушка, вся в розовой пене, в расцвете юности. По ходу программы юность стала слегка блекнуть, но мастер оставался мастером, и мы получали неопишное удовольствие. Она пела Шуберта, Шумана, Брамса и Рихарда Штрауса. Страшно интересно было наблюдать за контактом между певицей и пианистом, Джеффри Парсонсом, его напряженным, сосредоточенным музыкантским вниманием к каждому ее движению и нюансу, которое выглядело, как акт любви. А когда они кланялись в ответ на громоподобные аплодисменты, то перед нами были два любовника, она – царственная, благосклонная, он – поклоняющийся ей. Зал неистовствовал.

По знаку предводителя (мы уже прослушали несколько бисов), пришлось уехать. Наш поезд уходил в полночь, но Бауэр велел ехать раньше, чем нужно, из чувства осторожности, мало ли что случится по дороге. Андрея на концерте не было — как всегда, в гостях, все время в Праге Волконский был нарасхват, — но он должен был приехать прямо на вокзал.

Поезд был уже подан, и мы прогуливались по пустой платформе. Время шло, и на сердце было неспокойно. На улицах Праги тянулись огромные очереди в посольства разных стран: еще можно было получить визу беженца в Америку, Англию, Канаду и т.п. Что, если? Мелькали противоречивые чувства – у Бауэра жуткий страх за свою карьеру, у нас, эгоистическое чувство, что на этом кончится существование Мадригала, с одной стороны, и понимание с другой, что для Андрея, это может быть, единственный шанс в жизни.

11... 11-30... 11-45... 11-50... Бауэр мечется по платформе с синими губами. Наконец в тишине раздается отдаленный топот, кто-то бежит. Андрей, запыхавшись, вбегает и объясняет, что на дороге был затор, и машина не могла успеть вовремя. Все спокойно выдыхают. В последнюю минуту садимся в поезд. Андрей, как всегда, на верхней полке. Я подхожу к нему. "Саша, – говорит он, – я сегодня ел суп, ради которого стоит жить". Позже я думал, что наша поездка в Прагу сыграла огромную роль в решении Андрея эмигрировать. В Праге он был окружен людьми, понимавшими, что такое Волконский, чувствовал их любовь и ощущал дух европейской культуры.

Поезд трогается, и мы едем домой, в этот раз – через Польшу. Перед самой польской границей в чистом, цивилизованном чешском поезде начинают происходить странные перемены: появляются пьяные, которых мы никогда не видели в полной пивом Праге, какие-то инвалиды на костылях просят милостыню, мы слышим польскую речь и понимаем, что въезжаем в Польшу. В Варшаве, через которую идет поезд, трамваи с гроздьями людей, висящих на подножках, проходят по окраинам. Вокруг бедность и запустение. Мы — на пути домой.

Москва в конце мая великолепна. Мы без конца рассказываем о впечатлениях, о Праге, о Шварцкопф, о нашем концерте и о том, что Пражская весна 1969 г. навсегда останется в нашей памяти.

Концертная жизнь вне Мадригала

Моя концертная деятельность началась очень неопределенно – с редких и нерегулярных разовых концертов, организованных московской филармонией для учащихся средних школ Москвы. Такой концерт-лекция на определенную тему (чаще всего творчество одного композитора) включал, кроме лектора, нескольких музыкантов, инструменталистов и певцов. Репертуар был достаточно простым, чтобы быть понятным ученикам. Удовлетворения это не приносило, а оплата грошовая. Что-то давали частные уроки фортепиано, но главным была работа над голосом и поиски своего востребования как певца.

На этом пути я нашел группу Владимира Дельмана — Вокально-инструментальный ансамбль союза композиторов (см. предыдущие главы), который просуществовал меньше одного сезона, но был началом выздоровления моего голоса после нескольких лет болезни голосовых связок и пения с усилиями преодолеть их плохое смыкание. Я потерял свой чистый тембр и забыл, как пел раньше, до болезни. Теперь, у Дельмана, где требовалось не форсировать звук, и главной частью репертуара были сорок номеров из *Страстей по Иоанну Баха*, я начал нащупывать сою прежнюю вокальную манеру.

После этого было много открытий: знакомство с американским коллективом *Pro Musica*, творческая встреча с певцами труппы *Ковент Гарден*, кода я впервые услышал живое звучание мадригала как жанра и стиля, концерты *Румынского камерного хора*, певшего музыку возрождения. Так события непонятным, мистическим образом привели меня к моей судьбе. Мадригал Андрея Волконского стал для меня домом исцеления

голоса и местом, где я нашел мою музыку и развился как певец и музыкант.

Работа в Мадригале не оставляла места для активной концертной деятельности. Но все-таки за эти несколько лет кое-что мне удалось сделать.

Еще работая в *Оперной студии* московской консерватории и участвуя в спектакле *Дон Жуан* Моцарта в Гнесинском институте, и опыта в ансамбле Дельмана, я понял, что самым удовлетворяющим меня жанром является не опера, а камерная музыка и кантаты и оратории. Такая возможность возникла, когда в ансамбле Дельмана мне довелось работать над *Страстями по Иоанну* и кантатой Юрия Левитина *Веселые нищие* на стихи Роберта Бёрнса. В ней я исполнил *Песню Солдата*, с трубой и оркестром, а в страстях – скромную партию Пилата.

Работая в Мадригале, я несколько раз выступил в *Крестьянской кантате* Баха с оркестром п/у Льва Маркиза. Эта светская кантата (1742 г., либретто Пикандера) для баса, сопрано и оркестра посвящена дню рождения курфюрста саксонского фон Дискау. Фермер (бас-баритон) и его жена обсуждают праздник и восхваляют мастера Дискау. В заключение кантаты фермер предлагает жене отправиться в кабачок, где звучит веселая волынка (Dudelsack) и все пляшут.

С моим первым исполнением этой кантаты произошла забавная история. Я попросил Лиду Давыдову спеть ее со мной, и из-за этого начался некий раздор, т.к. Рузанна тоже хотела участвовать. История грозила ссорой, и мы решили, что будем петь втроем. Это было, наверное, единственное исполнение Крестьянской кантаты *три* певцами в многолетней истории этого произведения. Впоследствии она была спета уже только с Лидой, а после этого с Гертрудой Трояновой.

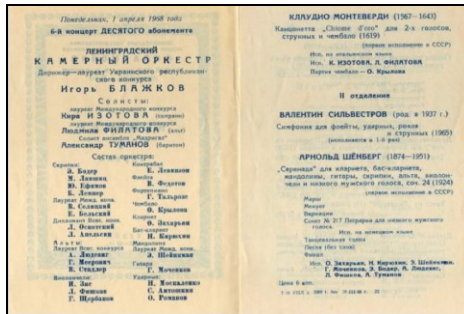


Другой памятной работой были обработки народных песен Бетховена и Гайдна для голоса и фортепианного трио. Бетховен написал 188 таких произведений по заказу английского издателя Джорджа Томсона. Здесь были шотландские, ирландские валлийские песни и песни других народов, в том числе, немецкие, испанские, итальянские, португальские, русские и украинские. Я исполнил некоторые из них с фортепианным трио в составе: Борис Берман (ф-п), Александр Мельников (скрипка) и Иван Монигетти в нескольких концертах в Малом зале и зале Капелла Ленинградской филармонии. Впоследствии многие из этих песен были записаны мной для программ канадского радио.

1 апреля 1968 г. в Малом зале Ленинградской филармонии состоялся концерт камерного ансамбля под управлением Игоря Блажкова. Программа состояла из произведений Перселла, Шютца и Монтеверди в первом отделении, во втором было: первое исполнение *Симфонии* Валентина Сильвестрова (1965) и *Серенады* Шенберга, 1924 (первое исполнение в СССР). Все, понимавшие музыкальный и политический климат Советского Союза, ясно отдавали себе отчет, что второе отделение это скандал. Так оно и случилось.



Сильвестров был одним из ведущих композиторов советского авангарда, в то время уже официально запрещенного. Арнольд Шёнберг — крупнейший представитель музыкального экспрессионизма, основоположник новой венской школы (первая треть XX века), автор таких техник, как додекафония (12-тоновая) и серийная техника. Оба представляли собой смертельную опасность для советской партийной идеологии.



По рекомендации Волконского, Блажков пригласил меня на партию солиста-баритона в четвертой части *Серенады* Шёнберга, написанной на текст 217 Сонета Петрарки из цикла “На жизнь мадонны Лауры” в переводе на немецкий. Это было очень лестное предложение, я сразу его принял, не очень представляя трудности такого проекта. Встреча с текстом музыки Шёнберга была отрезвляющей. Как я буду находить свои вступления?! Я снова и снова слушал “мелодические” построения в тактах, предшествовавших моим вступлениям, и все это как бы запечатлевалось в моем сознании до тех пор, пока я смог вступать, не думая. Так что ко времени оркестровой репетиции было ощущение готовности.



После *Серенады*.

2-й слева: Александр Туманов, 1-й справа: Игорь Блажков

Концерт прошел с огромным успехом. Публика была отборная: люди, глубоко заинтересованные всей программой концерта и, конечно, больше всего, музыкой XX века. После нескончаемых аплодисментов мы все вернулись в артистическую. Там было полно музыкантов и почитателей. Мы разговаривали, обмениваясь впечатлениями, как вдруг одна старая пианистка громко сказала: "покажите мне этого героя! Молодой человек, как вы могли вычислять свои вступления?" В общем, было у всех ощущение полного удовлетворения.

Но на этом успехе история концерта не заканчивается. Вскоре после исполнения Симфонии Сильвестрова и Серенады Шенберга случилась беда с Игорем Блажковым — он был уволен из ленинградского оркестра, изгнан из Ленинграда и уехал на свою родину, в Киев, где, впрочем, очень скоро стал дирижировать там и создал Украинский камерный оркестр. Однако травма всего происшедшего осталась у Игоря Ивановича на всю жизнь, несмотря на то, что в начале семидесятых его, если не вернули в Ленинград, то, по крайней мере, допустили его выступления там, в том числе, с оркестром Мравинского. Травма была связана с событиями, последовавшими после этого, теперь уже явно скандального концерта.

А случилось это "нечто" очень скоро, точнее, меньше, чем через неделю спустя. В воскресной программе-обзоре культурной жизни на ленинградском радио журналист Анатолий Коннов представил наш концерт радиослушателям. Не очень упомянув о том, что первое отделение состояло из музыки Перселла, Шютца и Монтеверди, он заявил, что музыка в

программе - "не для нас с вами, а для снобов и музыкальных стилиг". Имелись в виду, конечно, Сильвестров и Шёнберг. Иллюстрацией этого заявления стал отрывок из Сильвестрова, тайком записанный на магнитофоне (концерт не транслировался), а после этого Коннов извинился перед слушателями: он "по ошибке" пустил запись не сначала, а с конца, "но это не беда, давайте послушаем с начала". И вслед за таким сравнением сделал вывод: "видите, никакой разницы, набор звуков, бессмыслица"...

Что случилось дальше — ясно. Но сам факт такой передачи был не случаен. Блажков давно был подозрительным музыкантом, протаскивавшим чуждую советскому слушателю музыку. И заместитель министра культуры Кухарский получил указание Фурцевой, самого Министра, разобраться во всем этом деле. И на Игоря Блажкова было уже большое досье, полное его грехов. Отсюда и передача Коннова, послушно выполнившего задание партии и правительства. Подробно обо всей этой истории, с послесловием о судьбах каждого действующего лица см.

<http://www.berkovich-zametki.com/2009/Zametki/Nomer19/Frumkin1.php>

Серенада Шёнберга и все, что случилось после ее исполнения, оставили глубокий след в моем сознании и памяти. Тут было удовлетворение от сделанного и колоссальная травма от последовавших событий. И эту травму, среди многих прочих, иногда даже более сильных, я увез с собой, когда Алла, Владик и я навсегда покинули Советский Союз.

Это был 1974 год, мне было 44 года, и я не знал, что прожил уже, по крайней мере, полжизни в этой стране. После отъезда началась вторая ее половина, и о ней будет рассказано во II части *Шагов времени*, если позволит время и судьба.

Полная версия статьи находится на сайте журнала:

<http://7iskusstv.com/2014/Nomer1/Tumanov1.php>



Ася Липидус Лето 1968, Коктебель



од 1968-й – лето – Коктебель, писательский дом творчества. Август месяц – бархатный сезон. На фоне неправдоподобной лазури сонной Киммерии - козырное столпотворение знаменитостей. Солнцем полна голова - легкий воздух, теплая волна, и по-над бухтами-барахтами густеющий синевой Кара-Даг. Красота – не надышаться.



Е.Евтушенко



Галя

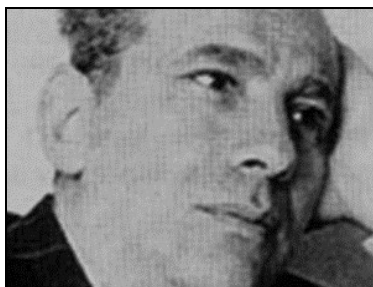
И тут - откуда ни возьмись, громом с ясного неба тревожные чешские события – советские танки в Праге. Гвоздь

сезона Евтушенко – худущий, в чем душа держится – грудь – доска стиральная, хрустальные глаза под свисающим чубом сияют боевой готовностью – он уже успел послать протест по поводу вторжения войск.

Его красавица-жена Галя каждый день в новых цветных – радужных шелковых брюках, слегка полнеющая, взгляд широко расставленных синих глаз насмешливый и печальный.

Умная улыбка Бориса Балтера (была такая очень грустная повесть, может, кто и помнит - «До свиданья, мальчики» – скорее, полуулыбка – ироничная и напряженная. Я тогда мало чего знала-понимала - у него большие неприятности, грозящие катастрофой – подписал письмо в защиту Гинзбурга-Галанскова, и его не просто мытарили, его уничтожали – свои же коллеги.

На почте – она же телефонно-телеграфная станция и единственная и очень ненадежная связь с большой землей – мы не раз встречаемся втроем – вездесущий Евтушенко в знак протеста, измученный Балтер в отчаянии, и я незаметной тенью – в беспокойстве – звонить в Москву. Почта работает спотыкаясь, кое-как, до Москвы не прозвониться, а мои родители наверняка волнуются.



Б.Балтер

Звуком прибора шебаршение писательской толпы на набережной – неслышный шорох неслышных разговоров, амплитудные всплески транзисторных радиоголосов. Моя полная непричастность и чужеродность этой толпе. Самоуверенная борода Будкера, и взгляд его – веселый, сияющий умом. И заметно обеспокоенный.

Валяжность – я бы сказала – загорелая сочность Сева Володарского – он что-то вроде ученого секретаря Третьяковки. У него добрые и круглые карие глаза. Мы с ним играем в бадминтон. За игрой следит m-me Евтушенко – безжалостно комментируя мою бестолковую игру. Мне не обидно – не до того – наши в Праге. И еще – мне просто очень хочется выиграть. Но никак.

Милый Сева совершеннейшим образом счастлив – писательским окружением – знакомствами – красотой этого мира и собственной причастностью, похоже, у него роман, на мой зловредно-молодой взгляд, с увядающей женщиной – слегка дылда, у нее неярко-крашенный рот в складочку – почему-то запомнилось. А он молодой – совсем даже и не возрастом, а наивной, как бы слегка глуповатой, радостностью. Мне кажется, что ему очень, очень хочется войти в круг элиты – гуманитарной элиты 60-х – дерзновенно интеллигентствующей – чуть-чуть – самую капельку – фрондирующей и почти неощутимо номенклатурной. Он заметно влюблен в Евтушенко, ходит за ним хвостом. Поэт ни чуточки не польщен – привык, но поклонение принимает, позволяет сопровождать себя на Кара-Даг и не брезгует собутыльником. Время тревожное, но веселое – днем пляжное – солнце восточного Крыма на исходе лета. Евтушенко впечатывается в песок ящерным телом, Сева тут как тут, готов в разговоры, я тоже тут как тут, но просто присутствую. А что вечером – не знаю, меня не зовут, да я и не набиваюсь. Место встречи писательская столовая, где мне больше всех заметен Балтер – безысходной неприкаянностью.

В Праге танки, на Лобном месте семеро протестантов (не считая грудного младенца) – по сути камикадзе. Мы об этом ничего толком не знаем – слышно, как транзисторы что-то невразумительно верещат-вещают, а спросить некого, в газетах не то, чтобы туман – кто им верит – газетам? Транзисторам тоже нельзя верить, информатор тот же – нужен принимающий приемник – инженеры человеческих душ ни в чем не нуждаются – но друг друга боятся, как огня – жизненный и генетический опыт. Публика шуршит, но безмолвствует – ни слова. Неуютно от неизвестности.

Искрящаяся – яркой улыбкой, солнечным сиянием глаз – всею светоносностью облика, Лена Горлина ведет на купание выводок – неунывающий триумвират малышей, рассыпающихся куда попало. Среди них ее собственный сын Сережа, глазастая девочка Анка и мальчик Дима – сын Наташи Светловой (будущей Натальи Дмитриевны Солженицыной) – университетской подруги Лены. Ребенок тут, а мама его там – у нее самая завязь романа с автором Ивана Денисовича. Во главе детской группы, в качестве старшего – брат Лены – худенький светловолосый подросток Андруша. Низким незабываемым голосом с хрипотцой Лена сзывает детей – они почти что слушаются, но не очень – в разные стороны врассыпную разбегаются-расплываются по воде. Море нежное – ласкающее – коктебельское. На душе неспокойно.

Несколько дней назад дождь стоял стеной, было не до купанья, а вчера конец дождям – и тут же Каспарсон возьми и утопи обручальное кольцо – из тех, что подарила бабушка совсем недавно ему и Ире на свадьбу в хмуром московском ЗАГСе – изнутри выгравировано ХВ – Христос воскрес значит. Все, кто мог – ныряли, искали – бесполезно. До их развода еще далеко, но все говорят – дурная примета. Оказалось в руку – пражское вторжение.

Мой однокурсни́к сын поэта – темноволосый и детски-румяный, но почти не загорелый – с озабоченными родителями – встреча эпизодическая. Мальчик Митя – его приятель – нежный избалованный блондин – по-моему, начинающий медик, а больше всего тоже какой-то детский – playboy. Полно девочек-красоток на любой вкус и на одно лицо.

Старушка Фрада Григорьевна Беспалова – в свое время хлебнувшая радостей жизни, а потом и горя выше головы – вдова канувшего в ГУЛАГе редактора Красной Нови Ивана Беспалова – наши с ней комнаты выходят на общую терраску-верандочку. Она вспоминает, мелькают имена – Маяковского-Пастернака-Лили Брик-Ежова-Александры Коллонтай-Асеева-Кирсанова. После лагеря ей в награду выдаются ежегодно коктебельские путевки – в бархатный сезон.

Фрада Григорьевна знает все и всех и щедро знакомит меня со всеми. К ней – к нам на верандочку заходит Мара Микаэлян – красиво крашенная блондинка с неправдоподобными глазами, у нее начальник Плучек – театр Сатиры, но своего блистательного Голого Короля она поставила в Современнике, тогда еще театре-студии – уже давно в 60-м году. Сама Мара ведет происхождение по праву рождения из старины глубокой – литературного кружка друзей-подруг Фрады Григорьевны.

Всех не перечить. Совсем даже не древний Кулешов – седая щеточка усов, и с ним Хохлова – из лиги красноголовых – странного морковного цвета волосы ее невозможно назвать рыжими – они оба кинодеятели из сказочных доисторических времен. Милая с глазами-незабудками детская писательница Елена Благинина – рассказывает – Мне, бывало, батюшка говорил – ты у нас, Леночка, умильная – лучше про нее и не скажешь. Впрочем, у меня ощущение – что ей от природы дан стержень – не чета многим.

Похороны Габричевского – очень православные, традиционные – в первый и, похоже, в последний раз в жизни принимаю участие в подобном. Вспоминается – безмолвная процессия вверх, все выше – незабываемо-живописно – действие – по-другому не назовешь – на суровых полотенцах плывет гроб –

простой некрашенный деревянный крест, вид необъятный, из-за прошедших дождей зеленым-зелено.

Экскурсия в Керчь – Пантикапей, кружевные руины Пританея, мрачная красота Царского кургана – обреченность клаустрофобии. Мне и без того страшно – в Праге людей давят танками – вот тебе, бабушка и Юрьев день! Тяжко, очень тяжело, а я еще и неизвестно где, вдали от родительского гнезда. Отчетливо тоскую по маме-папе. Опять и опять бегаю на телефонную станцию звонить им – связь с Москвой эфемерна.

Вся в быстрых неожиданных движениях, рыжевато-кудрявая, с нежным светлым лицом – Ритка Галина – милая моя одноклассница и вдобавок однокурсница Иры – жены Каспарсона. Ее, по редкой для писательских детей скромности, коммунально селят в комнату поварихи – ушлой и шустрой молодой сочной бабы. Перед Риткиным отъездом – на посошок – повариха поит нас самогоном – «чистым, как слеза» – мы – Лена Горлина, Ритка и я мгновенно пьянем, а кухмистерша – ни в одном глазу. Каспарсоны – те уехали еще раньше, радостно сбежав в Москву. Остались мы с Леной, но она занята детьми. Мне одиноко – скорей бы домой.

Дни бегут-убегают. До свиданья, города и села. Москва опрокидывается с размаху – чешскими событиями – оттепель канула в Лету.

Между тем, как известно, броня крепка, и танки наши быстры. В пограничном Ужгороде – где меня тогда не было, наша славная тяжелая артиллерия разворотила старинную, уложенную, казалось, на века, твердокаменную брусчатку – колдобины-рытвины-ухабы красноречиво о том свидетельствуют. Позже, но еще по свежим следам, ужгородский физик – мой друг и коллега Саша Лендел рассказывал мне – когда, аккурат в означенное время в древнем, вполне западном городе Ужгороде проходила конференция по физике высоких энергий, с утра пораньше аудитория заполнилась народом и одновременно тяжелым гулом с металлическим скрежетом. Докладчик – наш общий с Ленделом научный руководитель – Карен Аветович Тер-Мартirosян (ИТЭФ) с досадой и хрустом затворил окно. За окном упрямо и угрюмо шли танки – еще с ночи шли.

Пробежало несколько лет. Я получаю странную открытку, датированную началом августа 68-го. «Не приезжай. Никакой погоды – дожди, хмурый Кара-Даг и слишком много писателей на душу населения – Ира и Каспарсон». Не сразу сообразила – открытка пришла с многолетним опозданием – еще бы – вместо

адреса стояло – Москва, около Белорусского вокзала, но – странности судьбы и почты – все-таки дошла – эхом.



Да уж как ни кинь – никто не забыт и ничто не забыто. Театр на Таганке. 72-й год – два года готовили спектакль. Под кожей статуи Свободы – задорная антиамериканская агитка на американские стихи-поэму Евтушенко. Билеты в первый ряд не продавали – в первый ряд усадили полицейских с дубинками, и если кто на сцене распоясывается – дубинкой по голове и выкидывают в фойе, и зрителям дубинками помахивают, чтобы знали порядок. Блестящий спектакль. За нашу и вашу свободу. Аминь.

И снова – годы, годы, годы - несколько десятков лет. В Нью-Йорке в ресторане Самовар творческий вечер Анатолия Наймана. Наверху на втором этаже большой дубовый стол – полезно-ископаемый антиквариат. Собище народное, но и писательское.

Найман маленький, очень живой, меня с ним знакомит моя старинная знакомая критикесса Лиля Пан – и я покупаю его книгу – он приятно вежлив – спрашивает, как зовут – чтобы надписать – Ася – Я обожаю это имя, так звали мою маму – а я пугаюсь – как поэт может сказать – обожаю – но стараюсь не заметить – он природно дружелюбен, и несмотря на рост и возраст, по-мужски – обаятелен.

Тут же вдруг разливают водку и раздают черные сухарики – народ набрасывается. Это щедротами ресторатора Романа Каплана – он магически весь в черном, у него странно скошенный затылок и напряженный взгляд – в облике что-то неуловимо актерски-гангстерское, впрочем, канувшее в лету – из американских фильмов 30-х.

Позади стульев – неожиданным-негаданным отзвуком всех тех лет - появляется Евтушенко – сильно хромающий и не гнущийся, в больших, каких-то ярко-выраженных белоснежных

сникерсах, почему-то напоминающих любовно зачищенные зубным порошком тапки пост-военного периода. Он очень постаревший, похожий на ветерана бравых физкультурных парадов – одетый – как бы это поаккуратней выразиться – не канонически – даже по Нью-Йоркским понятиям.

Я долго колеблюсь – подойти-не подойти. Ностальгия побеждает – подхожу. Он, конечно, меня не помнит, и я неуверенно-вопросительно, как бы наугад – Коктебель августа 68-го? – Он смотрит мимо меня – не глядя – пустым снулым рыбьим глазом, неузнавающим округло-голубым, чуть на выкате – невзглядом – он вообще странно-отсутствующий. Мне неловко и жутковато. Отступаю – незамеченной.

И уже сейчас как бы в назидание – суета вокруг дивана – фильмы Соломона Волкова – кошмарным сном – Евтушенко – безжалостно траченный годами и честолюбием. И никуда не деться – сон в руку, обжигающе-неправдоподобным совпадением. В привычном ночном бдении, сомнамбулически шаря по телевизионным каналам, совершенно незначай я набредаю на шведский фильм 67-го года – *I Am Curious: Yellow*, о котором не знала ничего, никогда и не слышала. Джон знал, но фильма не видел, как и любознательный Валя Рокотян в Москве, который тоже знал и тоже не видел, но слышал и мгновенно откликнулся буквальным русским переводом названия, которое помнил еще со времен закрытых просмотров, ему недоступных: *Я любопытно-желтая*.

Кадры черно-белые, фотографические. Простоватая, совсем юная, неулыбчивая шведская девушка с круглыми щеками внимательно всматривается в кинокамеру – и вдруг – чертовщина какая-то – наплывом и вполне отчетливо – восхитительно молодой Евтушенко – тонкий лицом и гибкий телом – размеренно-ритмически по-над микрофоном читает: Над Бабьим Яром...

Далекий и теплый, все с той же хрипотцей, голос Лены Горлиной из солнечной Калифорнии – Имен много – а содержания маловато – мне бы рассердиться – но она права...



Наталья Рапопорт Семья от Бога нам дана

Глава из новой книги «Личное дело»¹
(продолжение. Начало в "Заметках" №1/2014)

*Отойдите! Дайте спокойно сделать выбор
между единством и борьбой противоположностей!*
Михаил Туровский



аже самые близкие люди одни и те же события воспринимают и оценивают по-разному. Возможно, о своей семейной жизни Вайсберг написал бы иначе. Он был чрезвычайно осторожен в выборе и женился сильно за тридцать. Со сдержанным, немногословным и уклончивым Вайсбергом его избранница, рыжая и необузданная Наталья составляет разительный контраст. От Вайсберга много не узнаешь, поэтому всё, что описано ниже, основано на Натальиной оценке людей и событий, по природе своей исключительно субъективной.

Проницательный читатель насторожился: позвольте, разве автор и Наталья - не одно и то же лицо? Не одно, дорогой читатель. Со времени описываемых событий прошло полвека; той Натальи, о которой пишет автор, больше нет. Сегодняшний автор на Наталью смотрит со стороны – иногда с улыбкой, иногда с недоумением, но себя с ней не отождествляет.

Первая встреча Натальи с Вайсбергом. День грехопадения

Какое, право, наслажденье
Отметить день грехопадения,
Когда за рыжую косу
Он полюбил меня в лесу
И в страсти бурной, как в ознобе,
Готов был тотчас пасть в сугробе.
Но, в нём прочтя свою судьбу,
Я увела его в избу,
Где он меня - скажу без лести -

¹ Изд-во M-Graphics Publ., 2013 год www.mgraphics-publishing.com All rights reserved.

Весьма лишил девичьей чести,
Которой, если вспомнить строго,
И оставалось-то немного...

С тех пор до гробовой доски
Попала я в его тиски.
Но так прекрасна эта клетка,
Что я о том жалею – редко.

События описаны здесь довольно точно, и только ради хорошей рифмы слегка искажён факт избу, в которую привёл Вайсберг Наталью, а не она его. Произошло это восьмого марта, в день их второй встречи. Первая состоялась за неделю до этого на краю высокой крутой горы, куда Наталья вышла на лыжах совершенно случайно. Она отдыхала тогда в Доме творчества архитекторов в Суханово, куда папа достал ей путёвку по благу. Наталья утверждает, что ломать себе шею никакого намерения не имела - просто стояла на краю горы и смотрела с восторгом и завистью, как с неё летят другие. Внезапно рядом с ней возник, по её определению, прекрасный принц: высокий, красивый, в больших очках на интеллигентном лице – такого не каждый день встретишь не только в сухановском лесу. Принц поинтересовался, смазаны ли у Натальи лыжи. Лыжи были не смазаны. «Тогда вам ни в коем случае нельзя ехать вниз. На горе подледенело и раскатывает, а внизу снег под солнцем размок и тормозит». В том году наступила ранняя солнечная весна. Дав Наталье полезный совет, Вайсберг (в те минуты ещё аноним) постоял рядом, глядя на неё молча с явным одобрением. Казалось, он не прочь продолжить беседу, но основные соображения уже высказал и теперь не знает, чем ещё можно заинтересовать эту рыжекудрую лыжницу. Наталья испугалась, что такая интеллектуальная нагрузка ему не под силу, и он вот-вот унесётся от неё навсегда на своих смазанных лыжах. Такой вариант ей не подходил. И пока он стоял в раздумье, Наталья закрыла от ужаса глаза и сиганула вниз. Всё было, как он предсказал: где положено, разнесло, где предсказано – затормозило. Она воткнулась головой в обледеневший жёсткий наст. Когда пришла в себя, Вайсберг откапывал её из снега и приговаривал нараспев: «Я же вас предупреждал!». Этот драматический эпизод дал впоследствии Наталье в руки сильный козырь: вайсберговские упреки в безрассудстве и авантюризме она неизменно парирует сентенцией: «Ты всё знал с первой минуты».

Наталья основательно расшиблась и идти без посторонней помощи не могла без всякого притворства. Пришлось Вайсбергу проводить покалеченную до дому и таким образом походя

уточнить, где она обитает. По дороге представился: Володя. То, что он назвался по имени, случай исключительно редкий. Позже он объяснил, что не был уверен, как она отнесётся к фамилии Вайсберг, и не хотел спугнуть: видно, и впрямь был подслеповат. Фамилию его она услышала через неделю, уже в постели.

Они распрощались на пороге сухановского Дворца, и он пообещал забежать в свой следующий выходной день, восьмого марта. Всю неделю Наталья стремительно зализывала раны, чтобы к восьмому марта быть в форме. Их мимолётная встреча оставила в ней глубокий след, и если бы он не пришёл, ей бы было очень больно. Но он пришёл и кружил с ней по лесу часов шесть или семь, до полного её изнеможения. Наконец в пределах видимости обнаружился какой-то посёлок, и он воскликнул: «Смотрите-ка, какая неожиданность - моя хата!». Надо сказать, что эта его стратегия была совершенно излишней. Во-первых, Наталья славится исключительным топографическим кретинизмом, и чтобы сбить её с пути, достаточно сделать один небольшой поворот. Во-вторых, этот «Володя» ей страшно понравился ещё при первой встрече, а когда через неделю она услышала его фамилию – обрадовалась вдвойне. Дело в том, что у Натальи за плечами уже была одна матримониальная попытка, не удавшаяся отчасти из-за контраста фамилий. Её первый муж, человек русско-татарского происхождения, вовсе не был антисемитом, но одна история её сильно насторожила. Вскоре после окончания университета Наталья, её новоиспечённый муж и их приятели записались на соблазнительную кругосветку на научном корабле. Мужа и приятелей постоянно таскали на какие-то комиссии, а Наталью почему-то не трогали. В конце концов выяснилось, что муж написал в своей анкете, что жена у него русская, а Натальину анкету просто не подал на рассмотрение. Наталья рассудила, что раз уж её национальность помешала мужу в такой, в сущности, малости, как заграничная поездка, то чего ожидать, случись в жизни что-нибудь посерьёзнее. Недавние события «дела врачей» крепко держали её за горло и решили судьбу её первого брака.

Но вернёмся в сухановские окрестности. Прокружив много часов по лесу, Вайсберг привёл Наталью в свою избу, и стало очевидно, что хозяин к встрече готовился: на столе стоял маленький гранёный стакан с весенними цветочками, рядом – бутылка вина со странным, от руки через чёрточку написанным названием: Хер-ес. В чём она вскоре и убедилась. Так всё началось и длится почти полвека.

Любовная лодка и быт

Наталья стала наезжать к Вайсбергу в Расторгуево на выходные дни - сначала гостьей, потом приобщилась к нехитрому хозяйству. Мудрые подруги учили её, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок, и она урок знала. Наталья привозила с собой антрекоты из настоящего мяса. Сегодня, когда прилавки магазинов ломаются от разнообразных яств – были бы деньги – мало кто помнит те дни, когда хозяйки мгновенно расхватывали мясо в раскалённых очередях, и на прилавках оставались только вонючие кости, которые Вайсберг даже псу своему не варил. Пёс Вайсберга Руслан («Собака Вайсбергили», по меткому определению Володи Мкртычана) был немецкой овчаркой отличных кровей, умный и добрый. Наталью признал и полюбил сразу. В гастрономе недалеко от своей работы Вайсберг доставал для него по блату хорошие чистые кости - перед вайсберговким обаянием и красотой пасовали даже продавщицы мясного отдела. Но обаяния и красоты хватало лишь на кости для Руслана - хорошее мясо для себя Вайсберг добывал редко. Вот тут-то и вступала в дело Наталья: у неё, как сотрудницы института Академии Наук, был доступ к буфету ВЦСПС (Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов, кто не помнит). Профсоюзных деятелей кормили вкусно и обильно, и после них ещё кое-что оставалось для учёных окрестных институтов Академии наук. Учёных по договорённости пускали в ВЦСПС пообедать, когда отобедают хозяева. Порой там удавалось ещё и прикупить в буфете деликатесы для дома – к примеру, хорошие антрекоты. Наталья привозила их Вайсбергу. Но в выходные дни, бегая на лыжах часов по пять-шесть по великолепному сухановскому лесу, они оба нагуливали зверский аппетит. И поджарив мясо, Наталья вступала с Вайсбергом в поединок на равных, без уступок и форы.

Однажды приезжает, а на пороге избы лежит грудная клетка в хорошем состоянии, чистая, белая, с полным набором рёбер. Наталья её осторожно отодвинула и вошла в избу:

- Что это у тебя там на пороге?

- А что там на пороге? – переспрашивает Вайсберг каким-то слишком уж индифферентным тоном – дескать, человек занят делом, а к нему лезут со всякими глупостями.

- Грудная клетка чья-то.

- А-а, не обращай внимания. Это моя предыдущая баба.

- Предыдущая баба?! Что с ней стряслось?

- Жрала много.

Этот недвусмысленный намёк впрок Наталье, однако, не пошёл, и она упорно продолжала играть на поле противника. В конце концов Вайсберг всё-таки на ней женился – надо было только терпеливо подождать ещё несколько лет.

Если Вайсберга беспокоило Натальино обжорство, то Наталью тоже кое-что тревожило. Ей казалось, что у Вайсберга совсем нет друзей - она никогда никого у него не встречала. Позже оказалось, что друзья у него, конечно, были, но из каких-то своих соображений – Наталья так и не узнала, каких именно - Вайсберг её очень долго от друзей скрывал. Как-то раз это поставило его в весьма неловкое положение. Телефона у Вайсберга в избе не было. О мобильных тогда вообще не слышали – до их века оставалось ещё лет сорок. Наталья являлась в Расторгуево без звонка. Приезжает как-то раз субботним утром и слышит в избе голоса. Один - высокий тенор, почти дискант, другой – глубокое контральто, чтобы не сказать бас. Чудеса! Впервые за их многомесячный роман в избе к Натальиному приезду оказался кто-то чужой. Секунду поколебавшись, она вошла. Вайсберг лежал в постели, горло было обмотано тёплым шарфом, глаза совершенно больные. Кроме него в избе находились двое: худощавый парень (ему принадлежал высокий тенор) и крупная темноволосая дама с усиками (ей принадлежало низкое контральто). Натальиным вторжением была спровоцирована немая сцена, достойная пера Гоголя. Вайсберг был в жутком замешательстве. Худощавый парень, оказавшийся впоследствии его близким другом Мишкой Зубковым по прозвищу Зуб, разглядывал Наталью с живым интересом. Дама с усиками была явно не в восторге от её появления. Наталья мысленно раскрутила эту ситуацию так: видимо, Зуб узнал о болезни друга и примчался его навестить, захватив с собой вайсберговскую бывшую подругу, существование которой, в отличие от Натальино, было среди друзей легализовано. Надо было как-то выходить из положения. Не найдя ничего лучшего, Наталья сказала:

- Здравствуйте. Я привезла вам антрекоты. Сейчас я их поджарю.

- Сковородки там, - с готовностью отозвалась дама, обозначая тем самым знакомство с инфраструктурой избы.

- Сковородки раньше были там, теперь они здесь, - парировала Наталья, обозначая в свою очередь, что знакомая даме инфраструктура в далёком прошлом, а теперь здесь всё по-иному.

Какое-то время они продолжали этот нагруженный глубоким подтекстом, запредельный по идиотизму диалог, к великому наслаждению Зуба. Антрекоты тем временем подоспели,

больной поднялся к столу, и обед прошёл в обстановке вооружённого нейтралитета ввиду того, что все заинтересованные стороны проявляли чудеса дипломатии. Вайсберг, однако, не мог скрыть тревоги. Накормив публику, Наталья вымыла посуду (полотенце раньше было там, теперь оно здесь) и сообщила, что роль свою считает выполненной, за жизнь больного больше не тревожится и покидает общество для выполнения других, тоже абсолютно неотложных дел. С этим вышла из избы в морозную солнечную субботу. Больной Вайсберг выскочил за ней вдогонку босиком. Злобным окриком Наталья отправила его обратно и поползла в сторону станции, по дороге укрывшись в небольшом переулке. Сумочку свою она, натурально, забыла в избе. Догадливый Зуб смекнул, что дальнейшее их с подружкой присутствие больному не на пользу, и вскоре Наталья увидела из своего укрытия, как они проследовали в сторону станции. В отличие от Натальи, бывшая подруга несла свою сумочку.

Наталья смотрела им вслед с ощущением важной победы. В ту пору их с Вайсбергом отношения были ещё неопределёнными и зыбкими, и ей очень хотелось иметь подтверждение их серьёзности сверх доказательств, предъявляемых им по ночам. То, что больной Вайсберг бросился вслед за ней босиком на мороз на глазах у бывшей подруги, Наталья расценила как весомое очко в свою пользу.

Свидетельство о браке

Наталья осторожно намекала, что хорошо бы всё стабилизировать и узаконить. Воспользовавшись удобным случаем, из горного лагеря Дома Учёных в Архызе послала Вайсбергу ко дню рождения поздравительную телеграмму: «Чсть завтрашнего праздника совершу четырёхдневное восхождение Пик Вайсберга тчк Будь здоров *женат* счастлив тчк». Вайсберг, однако, был крепкий орешек. Вернувшись из похода, Наталья нашла в лагере ответную телеграмму: «Чсть вчерашнего праздника совершил четырёхчасовое восхождение пивной бар «Плзень» тчк Немедленно приступаю исполнению пожеланий».

Но отношения постепенно крепили, и когда Наталья убедилась, что под ними твёрдая платформа, её совершенно перестало волновать отсутствие штампа в паспорте. В результате они с Вайсбергом довольно много лет «жили во грехе». Это обстоятельство, однако, имело большие неудобства, когда они собирались куда-нибудь вместе поехать: ни остановиться в одном номере в гостинице, ни получить общую каюту на корабле они не могли. Только туристские палатки да снятые где-нибудь в Крыму

или на Кавказе комнаты были им по статусу. Даже присутствие дочери, в свидетельстве о рождении которой были ясно обозначены отец и мать, не давало им права на общий номер в гостинице.

В этой связи вспоминается история, происшедшая на глазах у Натальи в шестидесятые годы в центральной гостинице города Алма-Ата. Она приехала с коллегами на международный симпозиум. Одиночных номеров, если кто не помнит, в гостиницах тогда не было (разве что люксы для специальных гостей). Обычных приезжих селили в номера на двоих, а то и на троих-четверых, с совершенно чужими людьми. Наталья подруга Зойка приехала со своим родным братом Мусиком, оба - сотрудники Академии наук, Зоя – кандидат наук, Мусик уже доктор. Фамилия у них была общая, и они попросили администраторшу, чтобы их поселили вместе. Та отказала: «У вас нет штампа в паспорте». – «Конечно, нет, - согласился Мусик, - мы же брат и сестра, а не муж и жена». - «Без штампа в паспорте вместе не селим, - отрезала администраторша, твёрдо охранявшая редут коммунистической морали. – Вы поселитесь с мужчиной, а она с женщиной» - «А вам не кажется, - поинтересовался Мусик, - что грех кровосмешения гораздо реже, чем однополая любовь?!». Наталью сразил блестящий Мусиков аргумент, но администраторша против него устояла, и Зое с Мусиком пришлось жить в разных номерах с чужими людьми.

Ситуация Натальи и Вайсберга была ещё хуже: у них были разные фамилии и разные прописки. По советским нормам эта пара, претендующая на общую каюту на пароходе или номер в гостинице, демонстрировала вопиющий разврат. Камнем преткновения для ликвидации разврата служил пёс Руслан - для немецких овчарок он был долгожителем. Переселить старого пса в Москву не представлялось возможным. Руслан страдал от слепоты и артрита, его нужно было кормить и лечить, и Вайсберг продолжал жить в Расторгуеве, а в Москве бывал наездами. Регистрировать брак, живя врозь, казалось нелепым.

Однажды Наталья с Вайсбергом собрались в путешествие на корабле по Волго-Балту. Жить в одной каюте им не светило, но тут в ситуацию включился Натальин папа: он выдал им Свидетельство о Браке, написанное от руки на именном бланке профессора-патологоанатома. Вот его текст:

Профессор

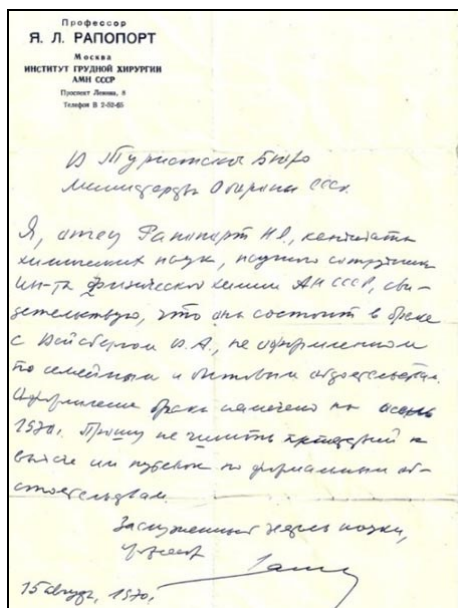
Я.Л. Рапопорт

Институт Грудной Хирургии АМН СССР

Москва, Проспект Ленина, 8; Телефон В 2-52-65

В Туристическое Бюро Министерства Обороны СССР
Я, отец Рапопорт Н.Я., кандидата химических наук,
научного сотрудника Института Химической Физики АН СССР,
свидетельствую, что она состоит в браке с Вайсбергом В.А., не
оформленном по семейным и бытовым обстоятельствам.
Оформление брака намечено на осень 1970 года. Прошу не чинить
препятствий к выдаче им путёвок по формальным
обстоятельствам.

Заслуженный деятель науки,
Профессор Рапопорт 15 августа 1970 года



Поразительно, но этот, мягко говоря, нестандартный документ сработал! В конце концов, как и было обещано Министерству обороны, морозным декабрьским днём 1970 года Наталья с Вайсбергом оформили отношения через ЗАГС и сыграли весёлую свадьбу, но годовщины брака отмечают всё-таки не в декабре, а по факту - восьмого марта, в день грехопадения.

У Губермана где-то описано, как во время церемонии бракосочетания Давида Самойлова его пятилетняя дочь выскользнула из толпы гостей и с криком «мамочка, папочка!» бросилась к родителям. Дама с красной лентой через плечо, державшая в этот момент речь об обязанностях, налагаемых созданием новой ячейки советского общества, от удивления

ляпнула: «Кто это?», на что кто-то из гостей ответил: «А это их будущий ребёнок». Дабы избежать подобной ситуации, пятилетнюю Вику Наталья с Вайсбергом на свою церемонию не взяли.

Вступив в официальный брак, Вайсберг раздал всем членам семьи высокие должностные посты. Наталья получила статус Главного Искусоведа, дочь Вика (вв) – Главного Художника и Министра Беспорядка, кот Афанасий - Главного Кота, себе (ВВ) Вайсберг отвёл скромную, но ключевую роль Начальника Отдела Снабжения и Директора Продовольственной Программы, по совместительству исполняющего обязанности ЗамНачСексИнформо.

Среди прочих несомненных достоинств, Вайсберг покорила Наталью замечательным чувством юмора. В те годы он много и удачно шутил.

У Губермана есть замечательные строчки:

«Из нас любой, пока не умер он/себя слагает по частям/из интеллекта, секса, юмора/и отношения к властям».

Из этих же компонентов слагал себя и Вайсберг.

...В каком-то далёком теперь году православная Пасха пришлось на двадцать второе апреля – день рождения Владимира Ильича Ленина, кто не помнит. «Редкий случай в православном календаре, - заметил Вайсберг – Пасха совпала с Рождеством!». Эта его шутка очень понравилась Юлию Даниэлю, и он её широко цитировал.

С Юлием Даниэлем и его женой, художником и искусствоведом Ириной Уваровой, Наталья тесно дружила и проводила у них гораздо больше времени, чем Вайсбергу бы хотелось. Чтобы порадовать Вайсберга, Ирина посылала ему в баночках мелкие гостинцы, которые искусно пекла. Субботним утром Вайсберг спрашивает Наталью:

- Хочешь, я дам тебе задание на целый день и большую часть вечера?

- Что надо сделать?

- Отнеси Ирине её баночки.

...Как-то Наталье пришлось служить переводчицей для приехавшей в институт группы иностранцев. Это случилось впервые, и она дико уставала. Пожаловалась:

- Казалось бы, языковая практика, с каждым днём должно становиться всё легче, а мне с каждым днём говорить всё труднее.

- Что ж тут удивительного, - откликнулся Вайсберг. – Ты каждый день необратимо расходует свой словарный запас.

...Друг семьи Вульф Слободкин – большой меломан. Однажды он целый месяц безуспешно пытался купить проигрыватель с устраивавшим его звуком: в одну субботу покупал, в другую возвращал обратно и покупал следующий. Наталья - единственный в их кругу человек с машиной - была обречена каждую субботу возить Вульфа менять проигрыватели. В конце концов Вайсберг взбунтовался: «Слушай, если Вульфу так не везёт с проигрывателями, может, он для разнообразия купит себе выигрыватель?»

Наталья с Викой пытались держать заданную Вайсбергом планку. Тут надо объяснить, что обозначенный в вайсберговских документах возраст был во время войны уменьшен на год с целью продления действия полагавшейся ему детской продовольственной карточки – по детским выдавали чуть больше продуктов, чем по взрослым. Сама идея и её исполнение принадлежали вайсберговской маме. Они с сестрой, ничтоже сумняшеся, взяли вайсберговское свидетельство о рождении, чернильницу с фиолетовыми чернилами и школьную ручку, и в числе 1931 переправили единицу на двойку. Получилось хорошо. В те годы свидетельство о рождении печатали на невыразительных бумажонках меньше половины теперешнего бумажного листа, а вайсберговский документ вообще видал виды, пройдя через тяготы бегства и оккупации. Подлог сработал, и Вайсберг целый год ел чуть больше, чем ему полагалось по советскому закону, но всё равно был страшно бледен и тощ. Подложный год рождения перешёл потом из свидетельства о рождении в паспорт. Вайсберг не вспоминал о потерянном годе, пока не подошло время оформления пенсии. Спустя полвека он попытался его вернуть. И, представьте, попытка увенчалась неожиданным успехом: в селе Стрелица чудом сохранилась книга рождений за 1931 год! Оттуда прислали официальную выписку в московский районный ЗАГС, и в вайсберговских документах появился истинный год рождения.

В ответ на эти события к своему пятидесятилетнему юбилею Вайсберг получил письмо следующего содержания.

Уважаемый тов. Вайсберг!

В отделении ЗАГС Ленинградского р-на с 1.III с.г. работает комиссия по борьбе с приписками. Комиссия установила, что в 1981 году вам был приписан лишний год.

Просим вас явиться 1.IV. 1983 в Нарсуд для выяснения вашего вопроса. При себе иметь следующие документы:

1. Справку о моменте зачатия.

2. Три фотографии в профиль и фас во внутриутробном периоде.

3. Свежеудалённый орган, по изотопному составу которого можно было бы точно установить ваш истинный возраст.

4. Справку от супруги с печатью Первого Отдела Вашей организации, удостоверяющую Ваш фактический (биологический) возраст по различным видам активности.

Секретарь комиссии по борьбе с приписками А.А. Недописов

Одним словом, они жили весело, несмотря даже на хроническую нехватку денег, по поводу которой был Вайсбергом составлен следующий протокол.

ВЫПИСКА

Из Протокола рассмотрения бедственного материального положения (б.м.п.) старшего научного сотрудника (ст.н.с.) доктора химических наук (д.х.н.) Рапопорт Н.Я.

1. Рассмотрен вопрос о б.м.п. ст.н.с. д.х.н. Рапопорт Н.Я.

2. Установлено следующее:

а) Доход (D_{ox}) находящейся в б.м.п. ст.н.с. д.х.н. Рапопорт Н.Я. составляет не более 300 (трёхсот) рублей в месяц.

б) Б.м.п. ст.н.с. д.х.н. Рапопорт Н.Я. является следствием закона, имеющего следующее математическое выражение: $D_{ox}/P_{acx} \ll 1$ так как при $D_{ox} = Const$, $P_{acx} \rightarrow \infty$ (поясню: согласно этой формуле доход, поделённый на расход, много меньше единицы, потому что доход постоянен, а расход стремится к бесконечности).

в) Виновным в б.м.п. ст.н.с. д.х.н. Рапопорт Н.Я. является её муж Вайсберг В.А. (по определению).

3. Решение

а) Чтобы впредь было неповадно, взыскать с поименованного Вайсберга в пользу находящейся в б.м.п. ст.н.с. д.х.н. Рапопорт Н.Я. единовременные алименты в размере его (Вайсберга) должностного оклада – 200 р.

б) Если в дальнейшем не прекратит, выгнать вон с конфискацией имущества в пользу находящейся в б.м.п. ст.н.с. д.х.н. Рапопорт Н.Я.

в) Обжалованию не подлежит.

Кстати, о Натальиной докторской степени. Вайсберг в самом прямом смысле приложил к ней руку, поскольку вписывал красивым чертёжным почерком семизатяжные химические и математические формулы в каждый из пяти экземпляров

диссертации. Тут уместно сообщить молодому читателю, что в 1985 году, работая в Институте химической физики Академии наук СССР, Наталья ещё ни одного компьютера в глаза не видела. Черновик диссертации она печатала на машинке «Эрика», а начисто диссертацию перепечатывала профессиональная машинистка, оставляя места для формул. Вайсберг вписывал их от руки, макая рейсфедер в чёрную тушь. Если ошибался, осторожно срезал написанное бритвой и вписывал заново. Работа была ювелирная, а точнее – адская!

На банкете по поводу Натальиной защиты народ резвился вовсю. Вайсберговский нечеловеческий труд по оформлению Натальиной диссертации был отмечен весьма уважаемыми организациями: Президиумом Академии наук СССР и Академией художеств.

Глубокоуважаемый тов. Вайсберг!

*Решением Общего Собрания Академии Наук СССР Вы признаны лучшим специалистом по химической физике среди инженеров печного профиля. Ваша неустанная творческая деятельность по стимулированию развития этой области науки даёт основания для выдвижения Вашей кандидатуры на пьедестал **Великого Мученика Науки**. Восхождение на пьедестал состоится 1-го апреля 1986 года по адресу: Москва, ул. Вальтера Ульбрихта, дом 3, кв. 103. Явка обязательна.*

Президент Академии Наук СССР Александров

От Академии художеств Вайсберг получил специальный Диплом, отмечающий его победу в международном конкурсе на лучшее оформление докторских диссертаций по кинетике окисления напряжённых полимеров. За заслуги в этой области дипломант приобретал дополнительные права по своему усмотрению...

Надо признать, что пока Наталья работала над диссертацией, она мало бывала на работе, предпочитая Даниэлевскую кухню или – зимой – дачу, которую Даниэли снимали в Перхушково. Официально это называлось «писать дома докторскую». Натальино служебное грехопадение было друзьями отмечено, и диссертанту, как лицу, ведущему паразитический образ жизни, было сделано строгое «Предупреждение о недопустимости паразитического существования и необходимости в месячный срок трудоустроиться *Врачом Химических Наук*».

Друзья вручили Наталье диплом о присвоении ей докторской степени. Диплом начинался словами: «Решением Ленинского поселкового совета от 36-го марта 1912 года гр-ке Раппорт присваивается алчимаая ею учёная степень Главного

Врача Химических Наук с выплатой нового жалования в размере старого оклада»...

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

лицу, ведущему паразитический образ жизни

Мне, гражданину (ке) РАПППОПОРТ НАТАЛЬЕ ЯКОВЛЕВНЕ, 1958 г.р.,
~~беспартийной, не еврейке, из города-героя Черновцы~~

рождения

< 20 > марта — 19 86г сделано предупреждение о недопустимости паразитического существования в необходимый в месячный срок трудоустроиться. **врачем химических наук.**

Одновременно разъяснено, что необходимая помощь в трудоустройстве по специальности мне может быть оказана исполкомом местного Совета депутатов трудящихся не позднее 15-дневного срока со дня обращения за содействием.

< 4 > апреля — 1986 г.

Подпись с

Предупреждение объявил гвардии ефрейтор МВД МАЛКИН Я7 Н.

должность, фамилия, подпись

Красный день календаря

Случай Вайсберга был довольно редким в советской практике: достаточно крупным сектором руководил человек беспартийный. Но партийный или беспартийный, а к советской власти Вайсбергу приходилось применяться и соответствовать. К примеру, выводить сектор на праздничную демонстрацию. Один такой эпизод, связанный с ноябрьской демонстрацией позднебрежневских времён, остался у всех в памяти. К демонстрации в вайсберговском секторе относились серьёзно, начинали готовиться за неделю, распределяли, кто купит водку, кто пиво, кто нехитрую закуску. Вайсбергу как начальнику и правофланговому доверяли нести знамя. В тот ноябрьский день погода была ужасная: промозгло, серо, мрачно, то дождь, то колючий снег. Путь к Красной площади в толпе таких же мучеников всенародного энтузиазма начинался от Таганки. Продвигались медленно, то и дело забегая в какую-нибудь подворотню или подъезд «погреться». В очередной раз выходят из подъезда, а демонстрации нет – улица пуста, одинокие прохожие снуют туда-сюда по своим личным делам, как молекулы в беспорядочном броуновском движении. Где демонстрация?! Разогнали?! В критической ситуации Вайсберг как начальник принял единственно возможное решение: мчаться на рысях с развёрнутым знаменем к Красной площади. Там на входе их остановила милиция. Оказалось, что демонстрацию действительно свернули, потому что Брежнев замёрз, стоя на Мавзоле. Расходитесь по домам, посоветовали милиционеры Вайсбергу и его подчинённым - от них благоухало за версту, и не подумайте, что «Шанелью».

Случайно выглянув в кухонное окно, Наталья с Викой увидели такую картину: по двору нетвёрдой походкой шествовал их муж и отец с развёрнутым знаменем красного шёлка в поднятой руке, как раненый комиссар с картины Петрова-Водкина. В таком виде, не опуская развёрнутого знамени, ввалился в дом. «Что ты такое принёс?!» - возопили дуэтом Наталья с Викторией. «Очень нужная вещь, - объяснил пьяный Вайсберг, - будут погромы, будем вывешивать из окна». Вайсберга уложили спать, знамя аккуратно свернули, и в таком виде оно осталось жить в московской квартире вплоть до вайсберговского отъезда в Америку. Натальины подруги приходили, шупали шёлк, цокали языками, просили отрез на кофточку, но Наталья блюла честь мундира и знамя в обиду не давала.

Неожиданное применение этому предмету нашла дочь Виктория – ей было тогда лет пять-шесть. На следующий день после описанных событий, вернувшись с работы домой, Наталья с Вайсбергом застала Виду стоящей столбиком около холодильника в коридоре, со свёрнутым знаменем в руке. Когда они вошли, Вика даже не пошевелилась. «Что происходит? - забеспокоилась Наталья – Что ты делаешь?» Не отрывая взгляда от противоположной стены, Вика тихо прошептала, почти не разжимая губ: «Я не могу с тобой разговаривать. Я часовой у Мавзолея». И тут Наталья с Вайсбергом увидели, что на двери холодильника крупными пластилиновыми буквами выложено: «ЛЕНИН».

Вика ходила тогда в расположенный напротив их дома детский сад Московского комитета партии. Получала там адекватное учреждению воспитание. В этот сад её устроил дедушка как заслуженный орденосец и ветеран Великой Отечественной войны, награждённый Орденом Ленина. Прежде Вика посещала районный ясли-сад, куда ходила с чёткой периодичностью: два-три дня в саду – две-три недели в постели с высокой температурой и тяжелыми осложнениями. В районном саду в каждой группе было тридцать детей, а отдельной комнаты для дневного сна не было. Нянечке приходилось каждый день снимать с антресолей и водружать обратно тридцать раскладушек. Нянечка решала эту проблему незатейливо: укладывая зимой детей спать, раскрывала настежь окно – кто выживет, тот выживет. Выживала примерно половина, но Вика в эту половину не входила. Положение было отчаянное: Вика на глазах чахла, Наталья больше сидела с ней дома, чем работала. Тут некто осведомлённый посоветовал натальиному папе Якову Львовичу обратиться в детский сад Московского комитета партии, расположенный, как

оказалось, в двух шагах от их дома. Вика начала ходить туда лютой зимой. Семья ждала в тревоге. Проходит три дня; пять; десять, месяц и два - Вика здорова! Низкий поклон за это МК КПСС!

Но жизнь вяжет свои кружева из любого материала. Вернувшись после первого дня в новом саду, Вика спросила Вайсберга:

- Ты в какой цекЕ работаешь?

- Я? Ни в какой. Я инженер, инженеры не работают в цекЕ.

Вика ужасно расстроилась:

- Как же так? У всех детей папы работают в цекЕ, а ты - инженер?

- Зато у тебя дедушка - ветеран Великой Отечественной войны и награждён орденом Ленина и ещё многими орденами.

- Это не считается, - запричитала Вика.

- Кто тебе такое сказал? - удивился Вайсберг.

- Нянечка Светлана Александровна.

Нянечка Светлана Александровна делила детей по ранжиру, соответствовавшему положению родителей в партийной иерархии. С беспартийным отцом-инженером Вика была на самой низкой ступени этой лестницы, ниже падать было некуда. Но, как известно, спасение утопающих есть дело рук самих утопающих, и Вика взяла инициативу в свои руки. Чтобы сгладить неприятное впечатление от социальной непригодности отца, она отнесла в подарок нянечке Светлане Александровне беззаботно оставленное Натальей на тумбочке старинное золотое кольцо, подарок родителей. Самое поразительное, что нянечка этот подарок приняла. Потребовалась большая изобретательность, чтобы вернуть кольцо и при этом не нанести ущерб ребёнку, отданному на несколько лет нянечке в рабство. Пришлось купить другое кольцо, тоже золотое, и уговорить нянечку поменяться - дескать, ребёнок перепутал предназначенное в подарок кольцо. Инцидент был таким образом исчерпан, отец-инженер ребёнку прощён, и мосты успешно наведены.

По объявлению

Рассказывая о семье, нельзя не упомянуть о её членах, игравших в семейной жизни весьма существенную роль: Викиных нянях и Коте Афанасии. Проницательный читатель, вероятно, заметил, что, начиная с какого-то момента, в повествовании стал там и сям мелькать ребёнок. О событиях, с этим связанных, рассказывает Наталья.

Декретный отпуск мой кончился, и мы начали искать няню.

- Я звоню по объявлению. Как к вам доехать?
- А где ты находишься?
- Я-то? В будке около парикмахерской.
- На какой улице?
- Не знаю.
- Как ты туда попала?
- От вокзала пришла.
- От какого вокзала?
- На какой приехала.
- Откуда ты приехала?
- Я-то? Из деревни.
- Город какой-нибудь рядом есть?
- Не.
- А где на поезд села?
- В Ярославле.
- Тогда иди назад к вокзалу, садись на метро...

Так в нашем доме появилась Дуська. После проведенного с ней короткого инструктажа я вышла на работу, а Дуська с годовой Викой вышли гулять на улицу.

Это было настоящей катастрофой для обороноспособности державы. Краснощёкая, полногрудая, цветущая шестнадцатилетняя Дуська мигом дезорганизовала работу Московского Военного Округа. Казалось, что в нашем дворе расквартирована военная часть, часовые которой несут неусыпную службу у нас в подъезде и под дверью. Телефон раскалялся от звонков:

- Еву позовите.
- Позовите Еву.

Отупев от родов, жизненных проблем и недосыпа, я не сразу сообразила, что Ева - это от Евдокии, элегантная аббревиатура нашей Дуськи.

- Еву можно?

Еву было можно. Очень даже можно. Быстро овладев тайнами профессии, Дуська умело гуляла с ребёнком и с солдатами одновременно, с толком используя дневное время, когда дома, кроме них с Викторией, никого не было.

Кроме красоты и вкуса к жизни, у Дуськи была ещё вывезенная из деревни своеобразная лексика. Значащие слова тонули в море, мягко говоря, вводных.

- Бери свою б-дь и пойдём гулять, - вдохновенно рифмовала Дуська, указывая на Викину любимую куклу, и Вика долго была уверена, что кукла именно так и называется.

- А ребёнок, между прочим, уже начинал говорить.

Однажды к нам в гости пришел мальчик из очень интеллигентной семьи. Кудрявый, аккуратно причесанный, в белоснежной кружевной рубашечке с чёрным бантиком. Виктория из кожи вон лезла, чтобы понравиться этому принцу. Показывала свои сокровища:

- Смотри, мама мне вчера подарила новую б-дь, говорящую!

Мама схватила принца и больше мы их не видели...

Потом Дуська забеременела.

Надо сказать, что родители мои через такие испытания уже однажды проходили. Было это много лет назад, когда родилась моя старшая сестра Ляля. Ту девушку звали Нюра. Нюра гуляла с красноармейцем, в отличие от нашей Евы - с одним, но ведь и время тогда было другое, пуританское.

- Нюр, ты с ним поосторожнее, - посоветовал папа.

- Да что Вы, Яков Львович, мы с ним уже два месяца встречаемся и только недавно познакомились! – успокоила Нюра.

Нюра, конечно, забеременела, а солдат сбежал. Нюра знала, где стоит его часть, и написала письмо начальнику.

Вскоре пришел ответ, но не от начальника, а от самого солдата: «Дорогая Нюра, - писал солдат, - Вы написали товарищу начальнику, что я являюсь отцом Вашего зачатия...». Как «отец нюриного зачатия» солдат себя не оправдал и «знакомство» с Нюрой категорически отрицал. С абортами тогда было сложно, и Нюра уехала рожать в деревню, а сестру мою Лялю отдали в ясли.

Вооружённые этим опытом, родители мои предсказывали близкий конец нашей с Евой эпопеи, и он не заставил себя ждать.

На семейном совете, состоявшемся при деятельном участии самой пострадавшей, решено было устроить Дуську на аборт, а потом немедленно отправить домой к маме, чтобы присматривала за дочерью. Эта последняя часть протокола совершенно не входила в Дуськины планы и вызвала яростное сопротивление, но папа проявил твёрдость духа и, когда Дуська поправилась, сам отвёз её на вокзал и посадил в поезд.

Сколько раз потом я проклинала себя за наше чистоплюйство! Потому что на смену Дуське пришла по объявлению настоящая ведьма. Высокая женщина лет шестидесяти, с довольно правильными чертами лица, которое почему-то казалось мне безобразным. Вскоре я разгадала тайну её уродства: лицо обезобразили свирепые глаза. Вика стала вздрагивать и плакать по ночам. Какое-то время мы терпели. Первым не выдержал дед:

- Эльвира Петровна, ребёнок никогда не перестанет плакать, если на него так злобно кричать!

Реакция была совершенно неожиданной.

- Ага, я так и знала, что вы уже побывали в райкоме, сыщики! - оскалилась наша няня. Увидев полное недоумение на папином лице, осеклась, но было поздно. Папа-таки съездил в райком партии по месту её прописки. Оказалось, что на склоне лет Эльвира Петровна круто поменяла профессию: в няни она пришла из надзирательниц женских лагерей, откуда была изгнана с выговором по партийной линии за жестокое обращение с заключёнными...

Малютку Еву Моисеевну привёз в наше отсутствие ее сын.

С Викой в это время сидела наша соседка, она-то их и пустила. Сын поставил в коридоре сундучок и исчез, не оставив никаких координат.

Вернувшись с работы, мы с Вайсбергом застали в нашей постели сладко спавшую крохотную седую старушку.

- Это - мне? - спросил восхищённый зрелищем Вайсберг.

Старушку аккуратно разбудили.

- Ева Моисеевна, сколько Вам лет?- поинтересовалась я.

- Семьдесят пять, - сказала Ева Моисеевна.

- Она забыла, - прокомментировал мой папа. - Спроси, не помнит ли она Декабрьское восстание на Сенатской площади и не при ней ли отменили крепостное право?

Трогательно свернувшись калачиком, Ева Моисеевна целыми днями спала на двух составленных около телефона стульях, временами отвечая на звонки, о которых, впрочем, мгновенно забывала. Мы пустились на розыски её сына. Каким-то чудом нам в конце концов удалось его найти - деталей не помню, но цепочка была длинная. Практичный сын потребовал выкуп - иначе забрать мать никак не соглашался. Мы были в восторге от простоты и изящества всей операции: на месяц избавившись от матери, он ещё и заработал на этом деле, и, как видно по отточенности деталей, не впервые...

Нина Дмитриевна приглянулась нам сразу.

- Вешу ровно сто килограмм! – с гордостью сообщила она о своём выдающемся достоинстве.

- Толстая, значит, добрая, - с надеждой шепнул мне Вайсберг, - давай возьмём!

К сожалению, очень скоро выяснилось, что Нина Дмитриевна совсем не умеет готовить и что ребёнок лежит

совершенно вне сферы её интересов: основное внимание она сосредоточила на моем овдовевшем отце. Нина Дмитриевна всё живописала ему ужасы холостого и преимущества женатого существования.

- А физиология не нужна, можно и без физиологии, - объясняла папе Нина Дмитриевна, видимо, не очень уверенная в его возможностях.

- То есть как это можно без физиологии! - возмутился папа, - без физиологии никак нельзя!

- Нет, если нельзя без физиологии, можно и с физиологией, - быстро согласилась Нина Дмитриевна.

- Такое весомое счастье само в руки плывёт! - смеялся папа. - Жаль, что она не умеет варить кашу и жарить яичницу.

Потерпев матримониальное фиаско, Нина Дмитриевна ушла сама. Она была симпатичная тётка, и хочется верить, что в конце концов она нашла любителя заниматься физиологией на голодный желудок...

Тётя Шура была гренадёрского роста и говорила басом. Вечером первого дня, проведённого с тётёй Шурой, Вика с нетерпением ожидала в коридоре у входной двери моего возвращения с работы:

- Мама, ты в какого Бога веришь?

Огорошенная вопросом, я с ходу ответила:

- Ни в какого.

- Как же так? - удивилась Вика.- Тётя Шура верит в русского Бога, я верю в еврейского, а ты в какого?

Спустя пару дней мы ужинали вечером на кухне, и тётя Шура все смотрела на Вайсберга, а потом сказала мне своим густым басом:

- Наташк! А твой муж, наверно, не яврей!

- Почему Вы, Тётя Шура, так думаете?

- А лицо такое приятное!

Не вполне уверенные, что трёхлетнему ребенку полезны такие этнические экскурсии, мы расстались с тётёй Шурой, но история имела продолжение. Напротив нашей дачи стоял, да и сейчас стоит, дом Федосьи Парфёновны (Парфённы); Парфённа жила там круглый год. В пору моего детства Парфённа носила прозвище «Это Самое», потому что испытывала трудности с выражением мыслей и объяснялась примерно так:

- Вчера, это самое, на Фабричной, это самое, клубника, это самое, крупная, это самое...

На лето Парфённа сдавала свой дом, а сама перебиралась в сарайчик. В то лето у неё жила семья с мальчиком Вовкой Викиного возраста; Вика с ним играла. Однажды, вернувшись с работы, я застала Вику в очень дурном расположении духа.

- Что случилось?

- Я с бабушкой Парфённой больше не вожусь!

- Почему?

- Она пессимистка!

- Парфённа?! Пессимистка?!

- Да, пессимистка! Подумаешь тоже, евреев не любит! Может, она сама еврейка, а может даже, еще хуже!

Выяснилось, что утром сосед Вовка забежал сказать Вике, что больше играть с ней не будет, потому что бабушка Парфённа сказала ему, что Вика еврейка, а с евреями водиться не след.

Меня поразил тогда не сам факт - меня сразила каша в трёхлетней Викулиной голове. Надо сказать, что такую же кашу я наблюдала потом и у Викиного однокашника Мишки Александрова, чистейших русских кровей, из старой русской аристократии, и, может быть поэтому, слегка грассировавшего. Зайдя за Викой в школу, я застала жестокую драку первоклассника Мишки Александрова с первоклассником Ромкой Бухаровым. Ромка, задыхаясь, колотил Мишку:

- Еврей! Запинаешься! Эг не выговагиваешь! - выплювывал Ромка и попутно ругал Мишку матерно.

Мишка, не оставаясь в долгу, колотил Ромку, и при этом парировал с достоинством:

- Ну и что, что еврей! Что, что еврей! Евреи умные! А захочу, в Израиль уеду!

К концу школы - да нет, конечно, гораздо раньше - все они уже прекрасно разбирались, кто есть кто...

Вот на какое длинное отступление подвигла меня наша короткая встреча с тётей Шурой...

Елизавета Алексеевна была когда-то инженером-химиком. Узнав, где я работаю, сказала:

- У меня есть кое-какие вопросы к академику Гольданскому, по поводу Менделеевской системы. Вы бы не могли устроить мне с ним свидание?

- По-моему, будет больше толку, если она будет ходить вместо тебя в Химфизику, а ты сидеть с Викой, - посоветовал папа. Он оказался прав. Потому что уже на следующий день вечером, вернувшись с работы, я застала Володю и папу очень обеспокоенными. Елизавета Алексеевна спала.

- Когда мы пришли домой, она была какая-то очень странная, возбуждённая, щёки горят, говорит нечленораздельно, всё время повторяет одни и те же слова, - доложил Володя. - Может, шиз?

- Вам не показалось? Вчера ведь была совершенно нормальная, даже с Гольданским хотела беседовать!

Утром всё было в порядке, но вечером повторилось по вчерашнему сценарию. Мы терялись в догадках. Ах, нам бы поднять глаза на кухонный шкаф, где уже несколько месяцев зрела в пятилитровой бутылки чернорябиновая настойка! Володя над ней колдовал и никому не давал пробовать, дожидаясь одному ему ведомого срока. Но мы не подняли туда глаз. А через пару дней на кухню пришел очень рассерженный и расстроенный папа:

- Наташа, ты пила мой коньяк?

У папы была заповедная бутылка армянского коньяка из Шустовских погребов, чуть ли не столетней выдержки, преподнесенная ему Ереванским доктором, чью диссертацию он оппонировал. Папа этот коньяк даже не пил, а только нюхал и умилялся. И вот папа спрашивает:

- Наташа, ты пила мой коньяк?

Я возмутилась. Папа прекрасно знал, что я уже много лет ничего не беру без спроса, а уж то, чем он так дорожит - тем более.

- Но у меня была полная бутылка, а теперь половина, - недоумевал папа. И тут дал удивительную промашку, простительную, пожалуй, только учёному-естествоиспытателю его ранга. Он принёс карандаш по стеклу и сказал с угрозой:

- Хорошо, ставлю риску!

И с тем провёл чёрточку по уровню коньяка в бутылке.

Надо ли говорить, что риска не понадобилась! На следующий день бутылка была пуста, как барабан, а Елизавета Алексеевна спала мёртвым сном в своей комнате, лёжа частично на полу, частично на кровати, и благоухая чесноком. Папа не мог успокоиться:

- *Такой* коньяк закусывать чесноком! Нет, вы только подумайте, *такой* коньяк закусывать чесноком!

Папа не спал всю ночь - всё дожидался, когда проснётся Елизавета Алексеевна, и едва услышав шевеление в её комнате, сказал:

- Елизавета Алексеевна, как Вы могли *такой* коньяк закусывать чесноком?!

- Какое Вам дело, чем я закусываю свой коньяк, - недружелюбно отозвалась Елизавета Алексеевна.

- Нет, мне совершенно безразлично, чем Вы закусываете *свой*, - отвечал, едва сдерживаясь, папа, - но мне не всё равно, чем Вы закусываете *мой*!

Я поняла, что надо вмешаться.

- Елизавета Алексеевна, мне кажется, наша встреча была ошибкой.

- Да, - согласилась Елизавета Алексеевна, - вы мне несимпатичны.

Мы расстались. За проведенную в нашем доме неделю Елизавета Алексеевна осушила пятилитровую бутылку Володиной настойки и бутылку чудесного армянского коньяка.

- Подумать только, и мы ей не симпатичны! – обижался папа.

И тут, наконец, нам улыбнулось Счастье. У Счастья было лицо бабы Маши - маленькой, суетливой, доброй, заботливой и ворчливой. Словом, настоящей Няни.

- Викуля, принеси, пожалуйста, мячик, - просила я.

- За ним далеко идти. Я его туды положила, - отвечала Викуля, и показывала в книжке: это жАроф, это бигамот, а это кенгура. И все мы были счастливы.

Баба Маша прожила у нас несколько лет, пока у неё в Ярославле не родился внук. Мы ещё долго дружили. А Вика пошла, наконец, в детский сад.

Афанасий: страницы жизни (Из записок Натальи)



Вике было десять лет, когда в семье появился ещё один член, которому все верно служили. Нельзя сказать, что Афанасий был из хорошей семьи: мы купили его за три рубля у какого-то

пропойцы на Птичьем рынке. Пропойца вертел его за хвост и хрипел:

- Купите кота, а то удушю!

Был день хоккейного матча, пропойце позарез нужны были три рубля. Он торопился и нервничал, и было очевидно, что он уже созрел и вот-вот приведёт угрозу в исполнение.

Котёнок был крохотный, полосатый, с мутными глазками. Как-то сразу стало ясно, что он - Афанасий, для родственников и друзей - Афоня. Он вовсе не обещал вырасти таким красавцем, каким стал в отрочестве.

В понедельник на работе я сообщила, что совершила акт беспредельного гуманизма, купив за три рубля на Птичьем рынке помоечного кота. Мы кормили его из соски и учили пользоваться туалетом.

Месяца через три ко мне по каким-то делам забежал мой коллега Володька Дубинский, мельком взглянул на мое приобретение, сказал:

- Тебя обманули! Это не помоечный кот, это - сибирский!

Афанасий действительно на глазах превращался из гадкого утёнка в прекрасного лебедя. У него была густая шерсть разнообразных пастельных оттенков, пышные галифе на ляжках и величественная походка; сосед Лёня Бриль из уважения звал его Иннокентием и обращался к нему не иначе как «Товарищ генерал».

Котёнок оказался на редкость смышлёным, и я даже подумывала, не сменить ли ему имя, скажем, на Эйнштейн, но Вайсберг воспротивился: во-первых, внешностью он был чистый Афанасий, а во-вторых, говорил Вайсберг, нечего портить коту прекрасное пролетарское происхождение еврейской фамилией. Наш предыдущий котёнок Мозя Кожушнер кончил трагически: прихватил от кого-то на даче стригущий лишай, я повезла его на консультацию в ветлечебницу, его забрали в кабинет и, ничего мне не сказав и ни о чём не спросив, вынесли через несколько минут маленький взъерошенный трупик. На мой истошный вопль хладнокровно отрезали:

- Мы стригущих лишаяев не лечим. Мы их уничтожаем.

Легко догадаться, что заразившуюся от Мози Вику я в поликлинику не повела.

Вайсберг считал, что Мозю сгубило еврейское имя, которое, как известно, в Советском Союзе никому впрок не шло.

Травмированные трагической судьбой котёнка Мози, мы лишили Афанасия радости общения с подругами, за что я до конца его долгой жизни испытывала острый комплекс вины. Всю свою невостробованную любовь Афанасий перенёс на нас с Викой. Он

любил нас нежно, хотя в грош не ставил, зато глубоко, я бы даже сказала панически уважал Вайсберга. Каждое утро у нас в доме повторялся некий ритуал. Вайсберг уходил на работу раньше всех; хлопала за ним входная дверь, и тут же раздавался тяжёлый галоп Кота. Он с разбега вышибал дверь спальни, гигантским прыжком взлетал на кровать, ложился мне на грудь, обнимал лапами за шею, лизал подбородок и пел от нежности и счастья. Однажды Вайсберг что-то забыл, вернулся и застал эту картину.

- Афанасий! - возмутился Вайсберг, - это моё место!

Кота как ветром сдуло. Но справедливо рассудив, что Вайсберг не столь стар, чтобы каждый раз что-нибудь забывать и возвращаться, Афанасий уже на следующее утро исправно пел у меня на груди.

Между собой Вайсберг и Кот общались с помощью тонко разработанной знаковой системы. Однажды я заболела тяжёлым гриппом, и, чтобы никого не заразить, отправилась спать в столовую. Сообразительный Кот мгновенно просёк, что я сплю одна, и перенес свой утренний трюк на ночное время. Часа в три ночи он вышибал дверь столовой, прыгал мне на грудь и приставал с нежностями. Мне и без того было плохо, а тут ещё этот негодяй пугал меня до полусмерти и не давал спать. Тогда Вайсберг поставил перед закрытой дверью столовой свой кед. Кот понял намек и больше меня не беспокоил.

Афанасий и Вайсберг любили смотреть вместе хоккей. Они садились рядышком на диване, уставившись в телевизор. Афанасий водил глазами за шайбой, а порой бросался к экрану и пытался поддеть ее лапой.

К остальным телепередачам, включая Новости, Кот относился равнодушно. Сидя рядом с Вайсбергом на диване, он уходил в себя и думал о чем-то своём, глядя в пространство. Иногда мысли эти были тревожные и неприятные, и он нервно подёргивал хвостом.

- Я думаю словами, - заметила как-то Вика. - А чем думает Афанасий? Мяуканьем?

В том, что Кот *думает*, ни у кого из нас сомнений не было.

У Афанасия была очень богатая артикуляция. Вечерами, когда я возвращалась с работы, он держал длинную и эмоциональную речь, рассказывая о событиях за день. Его московская жизнь протекала в замкнутом пространстве нашей квартиры и не была богата приключениями. А душа просила простора. Нам приходилось внимательно следить, чтобы Кот не удрал на лестничную клетку. Дело в том, что он облюбовал себе место в подвале, под дверью архитектора, спроектировавшего

сантехнику нашего дома, и справлял там большую нужду. Этим он, по-видимому, выражал своё отношение к дизайну нашего сортира. Архитектор энергично протестовал против такой формы критики и даже подал в товарищеский суд. «Признайте свою вину и попросите суд сохранить Вам жизнь», - напутствовал меня Юлий Даниэль. Я извинялась, била себя кулаком в грудь и носилась вслед за Котом с совком и ведёрком, но я не всегда бывала дома, и Кот искусно ловил подходящий момент, удирал на лестничную клетку и вихрем мчался гадить под архитектурскую дверь.

Если это не удавалось, Коту приходилось пользоваться нашей квартирной уборной. Российская цивилизация тогда ещё не дошла до горшков со специальным благоухающим песком, принятых на Западе, и Кот справлял нужду в покрытую вчерашней газетой фотографическую кювету. Он был очень чистоплотен. Когда мы возвращались с работы, он первым делом требовал, чтобы ему постелили свежую газету, даже если в данный момент не планировал ею пользоваться; он выразительно смотрел мне в глаза, коротко мяукал и вёл к уборной. При этом ему было не всё равно, что ему подстелили. В отличие от циничных сограждан, Кот не какал на портреты в чёрной рамке на первой полосе газеты. Сначала мы думали, что это случайность, и повторяли эксперимент, благо жизнь предоставляла для этого достаточно возможностей. Оказалось, что Кот не делал этого принципиально: он в равной степени отказывался какать на портреты Брежнева, Андропова и Черненко и орал до тех пор, пока портреты не переворачивали лицом вниз. «Какой уважительный кот!» - удивлялась наша домработница Нина Ивановна.

Поменяв Коту газету, мы шли на кухню ужинать.

Афанасий в еде был разборчив и на что попало не зарился; другим деликатесам предпочитал мороженого минтая, пока однажды случай не послал мне маленькую четырехрублевую коробочку мороженой осетрины. По дороге домой осетрина слегка оттаяла и благоухала из моей сумки. Когда я вошла в квартиру, с котом случилась истерика. Истошно вопя, он стал делать вокруг меня какие-то невысказанные кульбиты, дёргал за юбку, рвал из рук сумку и пытался разодрать её когтями, чего раньше никогда себе не позволял, будучи воспитан в интеллигентной семье; весь наносной лоск с него разом спал. Коту достались осетровые хрящики. С той поры, встречая меня у двери, он каждый раз с вопросом и надеждой смотрел на мою сумку, но такая удача ни в его, ни в моей жизни больше не повторилась...

Хека Кот не любил. Помните, была реклама:

Каждый русский человек
Должен кушать рыбы хек.
Кто за хеком не бежит,
Тот татарин или жид.

Кот на такую дешёвку не поддавался и хека ел только в исключительных случаях, когда ничего другого под рукой не было.

А сосисок Кот не ел совсем: он на них охотился. Дашь ему сосиску, он начнёт её подбрасывать, ловить, гонять по полу - видимо, принимал за мышь. Это наводило меня на грустные размышления - я подозревала, что Коту виднее. Однажды Кот загнал сосиску под буфет и сутки её караулил, распластавшись перед буфетом в напряжённой охотничьей позе и нервно подёргивая хвостом в ожидании, когда она выскочит. Потом потерял интерес и о сосиске забыл.

...Из поездки в Израиль в восемьдесят девятом году я привезла Афанасию банку заморских кошачьих консервов. Вайсберг угощать Кота не стал - сказал, что консервы надо оставить на чёрный день, который вот-вот непременно наступит. Чёрный день наступил года два спустя, когда мороженный минтай куда-то уплыл, за ним последовал хек, и в нашем рыбном магазине стали продавать чудовищного вида женские трусики, которых Кот не ел. Тогда Вайсберг открыл заветную банку. И представьте - Кот страшно заорал, стал трясти над ней лапой, отшвырнул в сторону, выскочил из кухни и сутки туда не заходил, ожидая, чтобы выветрился запах заморского деликатеса.

Ничто человеческое было Коту не чуждо. Воспитание и внешний лоск скрыли, но не подавили черты, обусловленные происхождением и наследственностью. Кот был вороват и имел тенденцию к пьянству. Запах валерьянки приводил его почти в такое же неистовство, как запах осетрины, но встречался чаще. Пузырьки с валерьянкой Кот доставал из самых заповедных мест, и, зажав в лапах, зубами откручивал пробку – так откручивает ханыга белую головку в углу продовольственного магазина. Напившись или даже просто нанюхавшись, Кот принимался валяться с боку на бок, после чего вскакивал и кружился в бешеном танце, пытаясь поймать свой хвост. От собственных ему солидности и самоуважения не оставалось и следа...

Однажды, зайдя в папин кабинет, я застала абсолютно булгаковскую картину. Кот сидел в папином кресле в поразительно развязной позе, облокотившись на спинку и раскинув по креслу задние лапы. В передних лапах он держал хрустальную рюмку, из которой папа ночью пил валерианку, и,

закинув голову, пытался извлечь со дна вождеденные капли... Судьбу рюмки описывать не буду.

...Склонностью к воровству Афанасий создал однажды совершенно критическую ситуацию. Был папин юбилей, семьдесят пять лет.



Ждали кучу гостей. Где-то, по большой протекции, папа достал индейку - это был гвоздь программы. Мы с Вайсбергом целый день над ней трудились, чем-то начиняли, мазали, испекли с яблоками и оставили в тёплой духовке. Войдя в очередной раз на кухню, я заметила, что дверь духовки слегка приоткрыта. Почуввав недоброе, я открыла дверцу и похолодела от ужаса. Кот лежал сверху на индейке, обнимая её лапами, словно совершал с птицей акт любви. Он был распластан между индейкой и потолком духовки; в этой позе он застрял и удрать не мог. К тому моменту, когда я его обнаружила, он отъел уже приличный кусок от индейкиной шеи - к счастью, будучи распластан, он был ограничен в передвижениях и ел только то, что было под рукой. Я застонала от ужаса. Вот-вот должны были придти гости, надо было что-то срочно предпринимать. Отложив воспитательный процесс до лучших времён, мы с Вайсбергом осторожно извлекли Кота из духовки. Он мгновенно слинял на шкаф в передней, оставив нам изуродованную птицу. Проанализировав размеры бедствия, мы сделали небольшую пластическую операцию, счистили, как могли, котовую шерсть и, рискуя индейку засушить, тщательно её пережарили. Гости потом ели и хвалили, а я до конца

вечера так и не оправилась от пережитого стресса. Кота мы тогда воспитывать не стали: к моменту, когда гости разошлись, он уже забыл о совершенном преступлении, спрыгнул со шкафа и тёрся у наших ног. Он бы просто не понял, за что наказан, а в таком случае наказание теряет смысл.

...У наших соседей по лестничной клетке был бело-рыжий фокстерьер по имени Молли. Как-то мы ехали в лифте с его хозяевами. Вике было годика три.

- Викуля, - сказали соседи, - что ж ты к нам никогда не заходишь? Заходи в гости.

- А вы кто? - спросила Вика. - Вы у Молли живёте?

Мы всей семьей жили у Афанасия, это было прекрасное время.

Афанасий прожил долгую и, в целом, счастливую жизнь. Окружённый всеобщей любовью, он умер в девяносто пятом году в возрасте двадцати лет.



Дмитрий Бобышев
Я в нетях.
Человекотекст, книга 3
(продолжение. Начало в №12/2013)
Техасские размеры



Америка оказалась заселённой не только американцами, но и моими знакомыми, добрыми и не очень. Объявилась Кира, подруга по Техноложке, когда-то мучившая меня игрой в кошки-мышки в течение нескольких семестров. Хотя поселилась она в Квинсе, встретились мы в центре Манхэттена – кажется, на авеню оф Америкас. Пересекли Таймс-Сквер, залитую агрессивными рекламами, где Бродвей пересекает под косым углом Седьмое авеню. Прошлись по архитектурным ущельям, посидели в кафе. Чары её давно на меня не действовали, я переглядывался с двумя хорошенькими и очень светленькими чернышками, пока она рассказывала о своей здешней растерянности, доходящей до головокружения, до отчаяния, до тошноты.

– Это культурный шок. Это нормально. Пройдёт.

Причудливо, как в «Докторе Живаго», мы ещё несколько раз с ней пересечёмся в разных временах, пространствах и обстоятельствах.

Ещё одна былая чаровница по имени Людмила служила торговым агентом в русской галерее Нахамкина на Мэдисон авеню, куда мы с Ольгой пришли на вернисаж. Мэдисон, Нахамкин, Людмила – всё это казалось кричаще-пёстрыми разнородными элементами, насильно сведёнными вместе, чтобы удивлять и удивляться самим. А ведь ещё там были Игорь Тюльпанов (собственной персоной), Олег Целков (картинами на стене), Наташа Шарымова в качестве театрально-художественного критика и Роман Каплан, служивший, как и Людмила, там же. Вся эта команда собралась, как будто специально для распития белого вина, похлопывания по плечам друг друга и повторения расхожей максимы относительно тесноты этого мира.

Рома подхватил нас и увлѣк оттуда «в одно отличное местечко». Там кормили морепродуктами, и мы заказали по тарелке моллюсков.

– Как тебе в Америке, старик? – спросил Рома.

– В общем, «свежо и остро». Только одно беспокоит – работа...

– Ты сколько уже здесь?

– Пятый день.

– Ну, так не беспокойся. Как говорится, энджой ё баба энд энджой ёселф. Ещё наработаешься.

Вот его брат-близнец, у кого мы вскоре побывали в одном из отрогов нью-йоркского мегаполиса, тот, действительно, прекрасно трудоустроился. Встречу с ним я в легкомысленных тонах описал Гале Руби, с которой поздней наладилась регулярная переписка:

«Были у Толи Каплана (помнишь ли ты такого? – он брат Ромы) в часе езды от нас, посидели у камина (а их у него – 5), погуляли по громадному дому, который он задёшево снял. Пили мексиканскую водку текилу, которую полагается зализывать солью – гадость ужасная, но хмель от неё – отменный (и похмелье – тоже)».

Нет, не только достоинства (и недостатки) кактусовой водки обсуждали мы, но и саму Америку с точки зрения новоприезжих, а если точнее сказать, так инопланетян, – что больше нравится, что более всего поразило, помимо её богатств и изобилия:

– Архитектура, конечно. И не только небоскрѣбы, а и вот эта двухэтажная Америка. Со времён Ильфа и Петрова она выросла вдвое.

– Природа. Дикая, свежая, молодая.

– Лица со всего света, всех рас и национальностей.

– Забота о калеках. Эти вот съезды с тротуаров для их колясок, подъѣмы на лестницах. Даже автобусы, которые перед ними «коленипреклоняются»...

– И вот ещё – добрые собаки...

Ну, насчѣт собак, это я перегнул. Собак здесь кастрируют, потому и добрые. И котов холостят тоже. А кошек стерилизуют и хирургически удаляют когти передних лап. А на задних оставляют для самообороны. У Ольги была такая престарелая чета: Васька и Робин, брат и сестричка. Он – по-генеральски важный, любивший восседать у меня на коленях, и она – завистница и интриганка. Ели они питательные лявлики из пакетов, гадили в коробку с другими, ароматическими лявликами.

Но мы, кажется, говорили о трудоустройстве?

Толя оказался большим профессионалом в очень высоко ценимой специальности – нефтяной геологии. Вот что он рассказал довлатовскому еженедельнику, где появилось интервью на целую страницу с его симпатичным портретом. Рубрика была соответствующая: «Как вы устроились, новый американец?» Толя отвечал:

«Моя тема – месторождения нефти в полярных широтах. В России подобные исследования обычно проводятся целым институтом, здесь я справляюсь один. Мне помогают книги, вывезенные из Союза, а я привёз около двух тысяч книг. Помогали друзья, оставшиеся там: они присылали новые, совсем свежие книги по специальности – в Штатах их можно достать только через год-полтора, присылали необходимые мне карты... Дело в том, что ключ к раскрытию темы находится в нефтегазоносных районах советской Арктики...»

Вскоре Толя был приглашён работать в корпорацию Экссон, – одну из крупнейших в Техасе (а, следовательно, и во всём мире), где он был встречен коллегой, давшим ему рекомендацию. Это был Яков Виньковецкий, художник, натурфилософ и тоже, между прочим, выдающийся нефтяник. Но ещё раньше я сам съездил в Хьюстон повидаться с Яковом.

Я уже рассказывал о нашей поздней дружбе, которая не прервалась с отъездом всего его семейства на Запад. Мы обильно переписывались, он и его Дина соперничали мне, узнав о нашем осложнённом романе с Ольгой, радовались его счастливому завершению. Знаком-то я с Яковом был очень давно, ещё помня, как он у Эры Коробовой, прислонясь к печке, пел «Сероглазую». Вот он её и нашёл в Дине во время казахстанской экспедиции. На первый взгляд я принял её за простушку, но это оказалось не так. Уже то, что она была женой Якова, заставляло взглянуть ещё раз. Вместе они составляли весьма разительный контраст. Он – довольно высокий брюнет с лицом интеллектуала и несколько неподвижным взглядом, она – коротышка, блондинка и хохотунья с голубыми глазками, вся в эмоциональном жанре. Но глазки оказались приметливы, а контраст был, скорей всего, дополнением друг друга. В нашей переписке занятой Яков нередко уступал перо Дине, и её письма бывали не менее интересны.

Незадолго до моего глобального переселения они купили дом в Хьюстоне, – под банковский заём (моргидж), разумеется. Но моргидж этот можно было получить, лишь делая первоначальный вклад, и немалый, а сбережений у них не было. Молодчина Ольга ссудила им эту сумму, не очень-то близко их зная. Субъективно

она рисковала, поскольку тут такое не принято, но в данном случае всё, конечно же, оказалось в порядке, долг был аккуратнейшим образом выплачен.

Виньковецкие телефонно меня поприветствовали и пригласили нас в гости – ну, хотя бы на новоселье, предложив даже оплатить нам билеты. Такую щедрость Ольга, как говорится, любезно отклонила, но меня всё же «отпустила» на недельку. И вот я опять в полёте, – уже не над океаном, а над благословенной, ухоженной, освоенной и упорядоченной землёю Штатов. Впервые по собственному поводу вспомнились строчки молодого Тихонова из «Орды»:

Вёрст за тысячу ездят в гости,
только свист летит из-под снега.
И в каждом осколок кости,
прободавшей стены ковчег.

Всё тут сошлось исключительно кстати: и ольгины мамонты, и тысячевёрстные гостевания, приложимые уже не к сибирскимномадам, а к нам самим. Решаю, что этими строчками я встречу Якова в аэропорту. Но вот самолёт подгоняют к рукаву, я выхожу из него в огромный многолюдный зал, сверкающий никелем, пестреющий красками, и – где же Яков? Несколько секунд я испытываю паническую атаку, затем беру себя в руки и отыскиваю, где тут у них телефоны. Они сильно отличаются от наших автоматов, оснащены толстенными справочниками, сияют надписями, инструкциями по пользованию, но глаза разбегаются, а словарь мой, конечно, остался дома, и я начинаю действовать «методом тыка»... И что ж – изрядно повозившись и потратив кучу мелочи, я дозваниваюсь до Дины. Она в недоумении – Яков давно уехал меня встречать, он должен быть уже здесь. А вот и он – бегаёт по залу, всматривается в лица...

– Яша! Куда ж ты запропастился?

– Опозда-а-ал...

Он сильно продвинулся в непростой науке быть американцем и демонстрирует это, доставляя удовольствие и себе, и мне. Уверенно правит машиной, у него – белый кадиллак с гладкими кожаными сиденьями, с кнопочными удобствами. Когда мы подъезжаем к дому, дверь гаража автоматически поднимается и убирается внутрь. Одноэтажное просторное ранчо, кусты с глянцевитыми листьями и, как на фотографии, перед домом стоит блондинка с двумя пацанами. Это – Дина, а с ней умненький Илюша и обаятельный Данилка. Чем не американская мечта?

Яков восхищён своей компанией «Экссон», настоящей «акулой капитализма», оценившей его талант, он в восторге от корпоративного доверия к нему. Дину, например, тоже взяли туда на работу, несмотря на то, что семейственность запрещена. Ну, так придумали ход: она числится в другой компании, а её как бы нанимают со стороны. Даже мелочи радуют – можешь сам пойти в кладовую, и бери себе сколько хочешь авторучек, блокнотиков, карандашей, всякую канцелярщину... Это и я понимаю.

Вот мы все сидим в ресторане на самом верху небоскрёба. Столики расположены кольцом по периметру вокруг бара. И кольцо это медленно вращается, разворачивая панораму молодого города. То здесь, то там видны строящиеся небоскрёбы: у них новые формы, новые материалы, – голубые, розовые, бирюзовые грани преломляют свет, небо и самих себя, отражаясь в подобных же гранях. Даунтаун окольцовывается сложной многоуровневой дорогой с петлистыми развязками, с непрерывным движением автомобилей. Плавное парение нашего столика воспринимается в ритмическом заединстве с этой сверхчеловеческой машиной, вырабатывающей жизнь, энергию, деньги... По мере нашего кружения Яков комментирует наплывающие достопримечательности:

– Это – Шеврон, Это – Шелл, такие же нефтяные гиганты, как наш Экссон. А это – университет. А там – Центр по управлению космическими полётами. Вот – международный колосс Бритиш Петролеум. А тут возводится Энрон, ещё один финансовый великан.

Как раз к концу обеда столики завершают полный оборот, и я наблюдаю, даже люблюсь, глядя, как Яков уверенно выписывает чек официанту.

– Позволь, я оставлю ему на чай.

– Нет, нет, чаевые уже включены в эту сумму.

Правильно говорят, что Нью-Йорк – это ещё не Америка. А здесь она самая, да ещё с техасским размахом. С утра Яков на работе, сыновья – в школе, а мы с Диной прокатились в супермаркет, и это для двух ленинградцев, помнящих очереди за мукой и сахаром, было как Эрмитаж, помноженный на пещеру Аладдина, – в смысле еды, разумеется... Снеди, снеди до горизонта, колбасы, мяса, копчёные куры, свежие тропические фрукты, арбузы, разнообразные овощи, зелень, и это – в декабре! Ну, не стыдно ли этим всем пользоваться, когда у наших там в магазинах – шаром покати? И долго ещё было стыдно вато...

Назавтра Яков освободился от работы, и мы отправились в магазин для художников. И не без повода.

– Могу я, наконец, позволить себе завести настоящий мольберт? – задал риторический вопрос мой друг, которого не могли в своё время отвадить от абстракционизма даже хрущёвские беснования.

Этот магазин был в своём роде, но тоже техасского размера, и чего там только не продавалось... Я вспомнил интервью Марка Шагала в Москве. На вопрос, почему он эмигрировал, Шагал ответил: «Мне нужна была одна красочка, которой тут никак не достать. Вот за ней я и уехал...»

– Как ты думаешь, Яша, что это за краска?

– Наверное, кобальт или берлинская лазурь. Он использовал много синего...

– А может и просто свобода...

Яков успел наработать порядочно, несмотря на загруженность геологией, а может быть и благодаря этому, – я вскоре узнал по себе, как все эти эмигрантские стрессы вдруг омолаживают натуру, заставляют вскипать в тебе тайные энергии, о которых раньше и не догадывался.

«В прежней жизни» он начинал с абстрактов в духе американца Джексона Поллока, а затем, видимо, не без влияния Михаила Шварцмана, московского иерата, стал работать в духе абстрактной иконописи, изображая внутри смутно означенных силуэтов не сами лики, но свет от этих ликов. Одну из таких работ Яков захотел мне подарить на память перед своим отъездом. Я был смущён. Мне сильно хотелось получить другую, как раз поллоковского направления, и я умудрился как-то безмолвно, бессловесно внушить это Якову, – настолько точно, что он именно ту мне и подарил. Она называлась «Зимний сад моего детства», была выполнена на проклеенном картоне нитроэмалью, но не в агрессивных, а в спокойных, прохладных тонах.

Я украсил ею стену моего петроградского жилища, понадеявшись на долгие и доверительные отношения с произведением моего друга. Увы, этого не получилось. То ли у художника (строго говоря – любителя) не хватило чисто ремесленных умений, то ли краска эта, вообще-то блестящая и нарядная, требовала иной поверхности, но оказалось, что она местами отслаивается хрупкими корками и кое-где пузырится. Но это ещё не всё. Под корками и пузырями обнаружили полчища клопов! Видимо, потревоженные отъездом хозяев, передвижкой мебели или даже вызванные на этот случай прямо из Ада, они забились в картину, в её изъяны... Эта позорная напасть своим существованием лично меня оскорбляла, и я в свою очередь набросился на кровососов, вооружась ядовитыми распылителями.

И – извёл-таки их, но картина для меня как-то «погасла», перестала передавать спокойствие и свежесть.

Злоключения, однако, на том не кончились. Именно этот абстракт забракован был шереметьевской таможней, когда я вывозил мою небольшую, но дорогую сердцу коллекцию: он был неправильно оформлен, не хватало какой-то ещё одной подписи. Не бросать же его в аэропорту! Пришлось глубокой ночью мчаться обратно в Москву, в родственную квартиру на Соколе, где я и оставил неудачный шедевр вместе с сухими трупиками клопов, тайно хранящимися там в трещинах и отслоениях краски.

Зажмурившись, я тряхнул головой и оказался в лучшем времени и в гораздо лучшем пространстве. Виньковецкий показывал мне свои новые работы в мастерской, примыкающей к гаражу. Манера, в которой они были выполнены, колорит, излюбленные мотивы и даже техника изменились, стали гораздо мастеровитей. Яков пользовался теперь акриловыми, более яркими красками, нанося их на прессованную бумагу или сухую штукатурку, и они схватывались намертво вместе. Даже с изнанки картина выглядела ремесленно безупречно. А с лица то, что сначала было поллоковской цветовой безграничностью, то, что поздней наметилось смутными антропоморфными абрисами, превратилось теперь в кружение, петляние линий, путаницу путей, за которыми в глубине виднелись всё более и более высвечивающиеся блуждания, направленные к нежному и благому источнику.

Если использовать его собственное выражение из трактата о живописи, это были, в сущности, «окна света», – несомненные духовные поиски и молитвенные медитации. И был замечен ещё один визуальный и даже эмблематический образ, роднящий красочные видения с реальностью: тот, что выражал себя явно в ритмических кружениях и разворотах, накануне виденных нами с верхней точки, – в растущем биомашинном городе, объединяющем каждого из нас с иным, совсем новым и мощным миром будущего.

Один из этих «малых абстрактов» Виньковецкий тогда (22 декабря 1979 года) надписал мне в подарок. Бережно обернул его бумагой, завязал упаковочным шпагатом, купленным там же, где мольберт. Подёргал верёвочку, похвалил её качество – крепкая...

Прежде чем распрощаться, мы побывали в его излюбленном месте – капелле Ротко. Вот это был ещё один подарок и к тому же полный сюрприз: я ничего прежде не видел из работ этого художника и едва ли слышал о нём самом. Марк Ротко, еврейский эмигрант из Даугавпилса, рискнул шагнуть дальше

Малевича, за его знаменитый «Квадрат», сделал шаг ещё и стал известен в мире своими настенными абстракциями. Чета местных богачей по фамилии Де Менил предложили ему средства, чтобы возвести здесь экуменическую капеллу полностью по его усмотрению.

Мы вступили с Яковом в восьмигранное строение, не столь высокое, сколь монументальное, вошли в пустой зал, вымощенный по полу гладким камнем, с массивными дубовыми скамьями простой и совершенной формы... К этому остаётся лишь добавить шатровый потолок и (самое главное) тёмные абстрактные панели по граням зала. И – никаких религиозных символов или изображений, только эти панно, едва отличающиеся одно от другого оттенками чёрного... Тишина, спокойствие, сосредоточенность на главном.

– Идеальное место для медитаций. Только почему чёрный цвет? Это ж – тупик, ничто...

– Нет, здесь он не глухой. В нём что-то просвечивает...

– Да, теперь вижу, согласен.

– Здесь бывают службы разных конфессий, совместно или поочередно. Вносится либо крест, либо менора... Может появиться и далай-лама, и танцующие дервиши. Что ты думаешь о таком экуменизме?

– Прекрасная надежда, которая вряд ли осуществится. Само это понятие в России – едва ли не бранное.

И я рассказал Якову о совсем недавней встрече с бывшим Мишей Ардовым в Москве. Прослышав о моём скором отъезде, он пригласил заехать к нему попрощаться. В память не то, чтобы дружбы, а взаимного внимания и с мыслью об общей для нас Ахматовой я прибыл в Черёмушки, – с Ордынки они к тому времени расселились. Мы стояли на балкончике над вершинами невысоких тополей, и уже воцерковлённый и рукоположенный отец Михаил внушал мне:

– Вы, конечно, пойдёте там к синодалам, у них самая крепкая вера. Правда, есть ещё и автокефалы, но они чуть ли не экуменисты, – молятся, представьте себе, об объединении церквей...

– Так ведь и Вы, отче, и мы, православные, все возглашаем: «Верую... во Единую, Святую, Соборную и Апостольскую церковь». Единую! В чём же Ваш упрёк?

– Ну конечно, мы тоже за единение... Но не раньше, чем они все признают нашу веру истинной!

Яков заметил, выходя из часовни:

– Вот отец Александр Мень – помнишь? – ведь он не чужд экуменизму. Во всяком случае, клерикалы его упрекают в этом. А мы с ним говорили даже о возможности иудеохристианства...

– Как не помнить отца Александра? Снежное поле, и я читаю ему «Медитации»... И он, так чётко развязав мне интеллигентские узелки в голове, идёт и освящает хлев деревенской бабульки. Вот это мощь! Вот это, можно сказать, экуменизм внутри одной веры.

Я покидал предрождественский Хьюстон, чтобы само Рождество встретить в моей американской семье. Пример Виньковецких меня убеждал: в этой стране есть ещё возможности для энергичных и одарённых людей, – тех, кто открыт ей, как, например, Ротко, как Яков, как, может быть, я...

Если бы знать! Не гадая на кофейной гуще, я мог бы уже тогда поинтересоваться фактами и обнаружить, например, что за год до триумфального открытия капеллы Марк Ротко покончил с собой, вскрыв вены в умывальную раковину... А если гадать, глядя в хрустальный шар, но наоборот – назад из будущего, как я делаю это сейчас, то можно увидеть не менее страшные сбои, которые ещё произойдут в волшебной био-строительной машине Хьюстона.

Центр космических полётов до того доуправляется, что по его нерадению корабль «Челленджер» превратится в огненный шар через минуту после взлёта. Семь человек заживо сгорят в нём на глазах всего мира.

И «Колумбия», тоже управляемая на авось из Центра, и тоже с семью астронавтами, развалится при входе в атмосферу, раскидав огарки корабля и человеческих тел по всему Техасу.

И экссоновский супертанкер, ведомый пьяным капитаном, сядет на камни и запакустит сырой нефтью пол-Аляски.

И тот многомиллиардный Энрон, строительство которого я наблюдал, сидя в поднебесном ресторане, вдруг жульнически лопнет, его президент застрелится, сидя в автомобиле, а финансовый директор попытается сбежать, прихватив пенсионный фонд обездоленных вкладчиков.

И «международный колосс» Бритиш Петролеум совсем уже недавно загадит Мексиканский залив настолько, что нефть выплеснется в Атлантику и Гольфштримом её донесёт до берегов родной Великобритании.

И ещё одна чёрная весть придет оттуда, но пусть она помедлит, пока её час не настал. Я весь устремлён в будущее, полон надежд и неведения.

Вакансия поэта

Помимо всех своих ренессансных качеств, Яков Виньковецкий обладал ещё одним талантом – умением дружить с самыми разными людьми, которых иначе свести было совершенно невозможно. В каких-то делах несомненный практик и прагматик, во многих других отношениях он был совершенным идеалистом и терпел пребольные удары «мордой об стол», – по энергичному выражению его Дины. То, что еврею по национальности и христианину по вероисповеданию, не скрывавшему своей веры, его русской жене и крещёным детям отказал в помощи ХИАС, отменило их планы «мягкой посадки» в Америке и вызвало моё сочувственное восхищение. Вот это принципиальность, сравнимая с раннехристианской, – причём, на фоне множественных примеров мимикрии наших соотечественников! В конце концов Провидение сжалилось над буквально беспомощным семейством, их выручил Толстовский фонд уже слабеющими руками Александры Львовны... Жизнь потекла другим руслом и, в общем-то, к лучшему.

Когда Яков стал хорошо зарабатывать, он занялся ко всему прочему ещё и благотворительностью. Это очень американское занятие как раз и требовало сочетания идеализма с практичностью. Он объяснил мне, что «акула капитализма», на которую он работает, такую деятельность поощряет и даже сама в этом заинтересована, списывая немалые суммы с налогов:

– Причём, она действует как равный партнёр. Ты вложил тысячу, и она кладёт туда же и столько же. Таким образом, твой вклад удваивается.

– И что ж – ты жертвуешь на каких-нибудь «бездомных сироток»?

– Совсем не обязательно. Можно вкладывать во всё, что не приносит дохода, – предположим, в культуру, в религию... Я, например, профинансировал книгу Анри Волохонского. Анри написал роман и жаловался, что не на что издать. Вот она. Кстати, возьми её, считаешь в самолёте.

Эта книжка под названием «Роман-покойничек» стоит у меня на полке. Её тема – похороны романа как жанра, таков был одно время расхожий предмет литературных дискуссий...

Яков порывался помочь и мне, – хотя бы и не деньгами, а налаживанием контактов. Для того – думал, с кем-то советовался, обращался в издательство «Ардис», говорил с Лёшей Лифшицем, который работал тогда у Профферов, – напрасный труд, я даже не сразу узнал об этих его попытках, иначе бы попросил его прекратить их. Тогда он отрекомендовал меня Роберту Белнапу,

профессору Колумбийки. Я позвонил, и мы договорились о встрече.

Помпезные многоколонные фасады университета не сулили особенного радушного приёма. Да я и направлялся к более скромным помещениям, где располагалось Славянское отделение. Небольшой кабинет его главы, заваленный книгами. Обитатель – мосластый худошавый янки с пресным незаинтересованным взглядом. Пытаюсь объясниться по-английски, не зная даже толком, что мне от него надо... Он отвечает по-русски с заметным акцентом, но без ошибок:

– Русский поэт – не очень популярная профессия в Америке, как вы, может быть, догадываетесь...

– Популярностью нельзя измерять поэзию, только – личным восприятием. Я хочу оставить вам для ознакомления свою книгу, она вышла в этом году в Париже...

– Не надо, стихов я не читаю. Да и современной прозы тоже. Я специалист по Достоевскому...

– Ах, всё равно, я уже надписал. Пусть останется в вашей библиотеке.

Ждать от него больше нечего. Но он «честно и трезво», как, видимо, пообещал Якову, взвешивает мои здешние шансы:

– Года три возьмут курсы на степень магистра, что необходимо для поступления в аспирантуру. Хорошо, если два года займёт сама аспирантура. И диссертация не меньше двух лет, и то – в лучшем случае. Итак, когда вы станете доктором наук, вам будет под пятьдесят. В этом возрасте найти место преподавателя, по крайней мере – в Соединённых Штатах, практически невозможно.

Я молчал и думал: «Что ж ты мне очки вкручиваешь? А – Бродский?» Он остановился и, чуть подумав, добавил:

– Вы можете возразить мне: а – Бродский? Но это – исключение. И к тому же он, как выяснилось, замечательный преподаватель!

Всё, всё это оказалось в конце концов дребеденью, обескураживанием новичка или своего рода «мордой об стол», только в иной степени, чем у Яши. Пошли у меня выступления, гонорары, лекции, через некоторое время я уже вёл (причём, по-английски!) курс Русской литературы в Милуокском отделении университета Висконсина, а спустя два года получил постоянное место в Иллинойском университете, где меня и обнаружил безмерно удивившийся Белнап, приехавший в составе комиссии по проверке нашей Славянской кафедры.

А тогда, прощаясь с «униженным и оскорблённым» новичком, Белнап пригласил меня остаться на лекцию и дискуссию в их Русском институте. Сам же удалился по своим американским делам.

Здесь на минутку вынужден я впустить в повествование одного inferнального господинчика, ибо как без такого обойтись? Собственно говоря, появился он на жизненной сцене, как ему и полагается – внезапно, в разгар некоей вакханалии, которая происходила ещё в ленинградские годы в одном достопримечательном месте, – а именно, на квартире известного человека по прозвищу Цех. Несмотря на такую индустриальную кличку, он был человек артистических интересов: спроектировал и построил кафе в космическом стиле, поддерживал художественный авангард и даже отснял киноленту под названием «Ночь». По-моему, этот последний факт тогда и отмечался у него дома в цокольном этаже одного из тяжеловесных зданий, заслоняющих Адмиралтейство со стороны Невы.

Просмотр уже прошёл законспирировано в Промке, небезызвестном дворце культуры на Петроградской стороне, дававшем приют многим сомнительным с точки зрения начальства мероприятиям: от оперы Гершвина до вечера Франции, оформленного Олегом Целковым. Но в фильме Цехновицера нелегально было всё: плёнка, аппаратура, сценарий, закадровый текст, даже транспорт для съёмочной группы, не говоря уж об отсутствии «завизированности» и «залитованности». Группа «своих», редая в коридорах Промки, всё-таки нашла закрытый просмотровый зал, где киномеханик смилостивился и стал крутить эту тёмно-дрожащую и сбивчивую ленту.

Что-то в ней было: какой-то порыв, когда вдохновение перешагивает через непрофессионализм и передаёт даже скептическому зрителю некую свежую вибрацию вместе с идеей, как это должно было выглядеть, снимай эту ленту свободный профессионал и смелый талант, – Рене Клэр, например. Правда, Клэр уже и отснял подобный фильм, назвав его «Антракт», – лет эдак с полсотни назад, а я его посмотрел много, много позже, чем «Ночь» Цехновицера.

Но что-то в ней было своё: то ли неожиданно прозвучавший смутный голос Евгения Рейна, прочитавший его тогдашние стихи (угадать слова мог лишь тот, кто раньше сам читал эти тексты), то ли классная фигура манекенщицы, принимавшей вычурные позы на невской набережной, а может быть и редкое безрасудство этого киношного самиздата, – во

всяком случае, зрелище было воспринято как праздник потаённой свободы.

Стол в квартире с открыточным видом в окне был заставлен бутылками, из магнитофонных недр звучала сама божественная Элла, – всё, всё было классно! Моя эйфория выразилась в том, что я мгновенно влюбился в звезду фильма, к которой никто из присутствующих почему-то не решался подойти. Но мы танцевали, и я настойчиво убеждал её согласиться быть похищенной мною. Цехновицер, глядя на это с дивана, явно выказывал своё неудовольствие. Ну конечно, кинозвезда – это непререкаемая собственность режиссёра! Ничего, как-нибудь обойдётся, – вот тут же находится его законная, нарочито не замечающая мужниной ревности, а как при том ещё хороша! Или мне за ней приударить?

Мужчина с грубым лицом, наклонясь в сторону Цеха, произнёс:

– Ну хочешь, я из него жмурика слеплю?

То был скульптор Эрнст Неизвестный, скандаливший аж с самим Хрущёвым, и уж он-то вполне мог слепить из меня что угодно. Но выручил Найман:

– Он – поэт, его нельзя...

Существовал тогда этот охранный миф. И полетел орёл домой, – правда, без добычи, если не считать метафорического комплимента, сочинённого и выданного красавице, которая походила одновременно на Эсмеральду и на её козу.

Ну, а при чём же здесь inferнальный господин? А при том, что он тут-то и появился, сидя на диване в аккурат между Цехновицером и Неизвестным, ввинчиваясь взглядом в происходившую сценку. Это был знаменитый критик, возникший тогда из ничего, потому что его суждений никто точно пересказать не мог. Слышали все, однако, что печатался он там и сям. Он возник сразу в готовом виде, сделанный как бы из подручного материала, но непременно по литературным меркам: носом и усами походя на Леонова и Шолохова, очками на Шкловского, а общим обликом был неотличим от групповой фотографии Серапионовых братьев. Даже имячко себе позаимствовал знатное – у автора «Добротолубия», том которого почётно пылился у меня дома на полке.

И вот этот самый господин, перелетев через годы и расстояния, оказался докладчиком в Русском институте, куда меня проводил профессор Белнап.

Теперь уже я видел не слегка фрондирующего литератора, печатавшегося по московским газетам, а матёрого диссидента и

непримиримо крутого оппозиционера кремлёвскому режиму. Более того, именно кремленологом он и стал в эмиграции, и вот теперь прозревал подковёрную борьбу в Кремле, а также тайны его коридоров и эшелонов власти.

Он говорил на английском языке, – на мой слух довольно бойко. А страшная тайна, раскрываемая перед слушателями, заключалась в том, что в правительстве и даже в ЦК орудовала вовсе не Коммунистическая, а Русская партия, захватившая посты наверху, пухнувшая на местах и контролирующая окраинных «чуреков».

Слушатели, в количестве вполне приличном для семинара, согласно поддакивали. Вообще перевести проблему с идеологии на национальность казалось для собравшихся облегчающе просто. Кто же в том зале был? Если мои соотечественники, ехавшие на историческую родину, но по ошибке попавшие в Америку, то эта трактовка их как нельзя лучше устраивала. Русский национализм означал для них лишь одну, а, может быть, и две или даже три вещи: антисемитизм, антисемитизм и ещё раз антисемитизм. Это, конечно, плохо, но также и хорошо, потому что полностью оправдывает отъезд и подтверждает для них статус беженца, пострадавшего от политических, национальных и религиозных преследований, что выражалось в конкретных привилегиях и поддержке. Если же часть из собравшихся были тайные или явные розовые интеллектуалы (коих здесь по университетам пруд пруди), то их это утешало тоже. Им было обидно, конечно, что осуществить социальную справедливость в изложении Маркса и Троцкого не удалось при дурацких Советах, но, значит, в этом виновата не сама идея, а дикие нравы и варварство русских.

Только у одного слушателя напрашивался вопрос: почему же сами русские от такой национальной партии никаких выгод не получили? Докладчик с некоторой озабоченностью посматривал в мою сторону... Но если б мне выступить с возражениями тогда, я бы в споре с ним проиграл.

Так почему же я назвал inferнальным того господина с философским именем? Конечно, не потому только, что мне не нравилась лёгкость его превращения из советского в антисоветские критики или не нравилась вообще излагаемая им наука как таковая. Просто подсказал инстинкт, а будущее подтвердило: кремленолог этот впоследствии саморазоблачился как агент постыдно известной службы, называемой КГБ.

Запаниковав в Перестройку, завалил и других стукачей, которые потом пошли оправдываться...

Дискуссия о «Метрополе»

Задним числом неплохо расчисляются тогдашние прозрения о том, как возникали вдруг влиятельные критики и с чего они, уехав, так безвкусно перемётывались в диссиденты и советологи. Да и прочие эмигранты, если перенести на них опыт, когда меня «для галочки» пытался вербовать районный гэбэшник, были с большой вероятностью подвержены той же рутинной процедуре. И – кто знает? – не увяз ли у кого коготок при этом...

Впрочем, какое мне дело до политики? Я шёл на литературную дискуссию по поводу выхода альманаха «Метрополь» на Западе. Правда, это было связано с громким – и на весь белый свет – скандалом, разразившимся в Москве, так что подискутировать было о чём. Да и место было подходящее – так называемый «Фридом Хаус» на 41-й улице, рядом с ООН. Вот где варились разнообразные политические бульоны для остального мира, вот где формировались будущие оппозиции и теневые кабинеты!

Я огибал угол Публичной библиотеки, вход в которую охраняли грозные каменные львы. Но совсем не страшась ни этих львов, ни городских властей, на широких ступенях шла бойкая, даже агрессивная торговля всяческой дурью. Читатель, направлявшийся туда, или просто мимоидущий прохожий, как я, должен был просквозить через рассыпавшихся сетью чернокожих подростков.

– Грасс, грасс... Крэк...

– Спасибо, нет.

– Онли файв бакс!

Порция тогда стоила пять долларов. Высокие вытянутые фигуры, чёрные глаза с эмалевым блеском белков, спокойное выражение африканских лиц... Здоровенный амбал в золотых цепях и браслетах, контрастно сверкавших на тёмной коже, приглядывал за ними по-хозяйски; внизу его ждал лимузин.

В немалом, но и не большом, человеческого размера зале Дома Свободы со старомодной, как бы «дореволюционной» отделкой собралось достаточно публики. К моему удивлению, литературную дискуссию вели сразу два священника: уже знакомый о. Кирилл Фотиев и о. Александр Шмеман, которого я знал лишь понаслышке. Он выступал с религиозными беседами по «Голосу», и давным-давно сквозь вой заглушек я услышал его простые и веские слова, открывшие мне глаза на Ахматову, – на то, что я читать-то читал, да не совсем понял в её стихах, а именно – их духовность.

И вот теперь с сильной проседью, красивый, одетый в чёрное с пасторским воротничком, он, говоря о «Метрополе», искал в нём ту же субстанцию и, увы, её не находил. Но – лишь грубость и физиологизм.

Надо было выступить и мне.

– Конечно, я сочувствую авторам запрещённого альманаха. Но они, наверное, и сами понимали, что их начинание вряд ли будет официально принято в Москве. Значит, многие сознательно пошли на скандал, и у каждого, вероятно, были свои мотивы. Среди участников есть громкие имена советских литературных баловней, которым, вообще-то говоря, разрешается то, чего другим нельзя. Их, видимо, не удовлетворяло слияние с официозом, захотелось признания по самиздатскому счёту. Власти их за это пожурили. Хуже досталось малоизвестным членам СП – двоих исключили, а ещё двое – переводчики Семён Липкин и Инна Лиснянская – сами вышли из Союза в виде протеста. Для них это реальная потеря. Остальные – совсем неизвестные литераторы, которым нечего терять; они пошли на скандал с отчаяния. Кроме того, участие литзвёзд давало какую-то иллюзию безопасности, – мол, сажать по крайней мере не будут. Но в целом получилась очевидная победа самиздата над официальной печатью.

Отец Кирилл дал слово одному из авторов альманаха. Кто же это? – напрягся я. Им оказался только что прибывший в эмиграцию Юз Алешковский, лысый задорный крепыш. Указав о. Александру на незнание жизни, он объявил участников альманаха героями и мучениками.

– Тут какой-то Бабёнышев говорил о литературных баловнях...

– Моя фамилия Бобышев! – крикнул я с места.

– Так вот я скажу этому Бабёнышеву, что Аксёнова лишили гражданства, а это не хухры-мухры.

– Моя фамилия Бобышев!

– Пожалуйста, не искажайте фамилию выступавшего, – вмешался отец Александр.

– Да я уже всё сказал.

А я как раз всего-то и не сказал из того, что думал. Да и так было очевидно, – если Аксёнов планировал эмигрировать, лучшего начала для карьеры на Западе было не придумать. А как же остальные, оставшиеся? Ну, самим нужно было соображать... По пути обратно ко мне присоединился Игорь Синявин, художник. Я видел его прежде лишь однажды, когда он «создавал» абстрактную картину, подходя с фломастером к посетителям

выставки и собирая их автографы на подготовленный картон. Это была первая выставка запрещённых художников в д/к имени Газа. Посетители были напуганы тогда собственной смелостью, тем уже, что пришли, и затея Синявина казалась им не лучше милицейской проверки! Я тоже своей подписи не оставил. И вот опять он идёт на сближение:

– Мы же земляки. Надо бы встретиться. Приходите в гости...

– А вы давно здесь? Устроились? Работаете?

– Я работаю всегда. А так – мы живём на пособие.

Ах да, это же художник... Выглядел он рослым молодым мужиком хорошей новгородской породы, – прямые постные волосы, перетянутые ремешком, как у средневековых умельцев... Более русского вида и не представить. А уезжал, видимо, по израильской визе, да и здесь ведь пришлось выдавать себя за жертву антисемитизма, чтобы сесть на пособие. Вспомнился анекдотический диалог эмигрантов:

– Вы уже устроились?

– Нет, я ещё работаю.

Вот он уже устроился. Но как можно прожить на ничтожную сумму в таком расточительном месте, как Нью-Йорк?

– Ничего, можно. Жена у меня сама печёт хлеб.

Приходите попробовать – вкусно!

– А как у вас с английским? Учите?

– Зачем? И не собираюсь!

Впоследствии он вернулся в Союз, «домой». Но куда именно? Я, например, при отъезде должен был сдать свою комнату городу. Выходит, он не сдал. Или получил обратно? Затем напечатал воспоминания о движении неофициальных художников, – главным образом, о раздорах, которые он же и возбуждал. Потом стал вовсе русопятым, отверг христианство как еврейскую выдумку и впал в национал-язычество. Написал книгу поучений «Стезя Жизни», в которой призывал поклоняться Святой Руси, врагов уничтожать, а женщин оплодотворять расово чистым семенем. И, как водится в этом мире, жил, жил, да и помер.

Мне с ним по пути было только четыре квартала – до станции синей ветки метро на Кью-Гарденс.

Но критика «Метрополя» была услышана составителем альманаха Василием Аксёновым, выехавшим к тому времени на Запад, и с ним завязалась у меня вялая некоординированная дискуссия: ему попадались в газетах мои высказывания, а мне – так же случайно – его ответы. Я всерьёз опасался за оставшегося в Союзе Юрия Кублановского, которому могло очень не

поздоровиться от властей за участие в «Метрополе». Вдобавок, у него вышла книга в издательстве Профферов «Ардис», составленная, как я слышал, самим Бродским, и при этом – плохо, даже провокационно плохо. Я написал рецензию и дал её черноглазому баптисту Михаилу Моргулису, бывшему киевлянину, в то время издававшему в Нью-Йорке газету «Литературный курьер». Два-три номера этой газеты были тогда очень даже хороши.

Название статьи передавало мою тревогу за поэта.

«Юрочка, Юрочка мой...»

На безопасном Западе, где стихотворцы приняли на себя роль чудаков-интеллектуалов (блаженных или несколько дерзких), невнимание читателей является естественным фоном для творчества. Особо упорствующим авторам может угрожать лишь бедность, а это несчастье протекает обычно весьма комфортно, – во всяком случае, в Соединённых Штатах.

Не то, совсем не то в современной России, где поэты не забывают о драгоценном Адамовом даре – способности, вложенной Создателем в перво-человека: называть явления дня, оценивать события в новизне, давать им их собственные имена. Иначе говоря, слово Правды без кавычек произносится в этой стране поэтом, или по крайней мере ожидается от него читателем. Выделяет ли это русскую поэзию из мировых литератур, не решусь сказать. Но то обстоятельство, что писатель становится острым конкурентом Правды в кавычках, делает его творчество значительным в глазах сочувствующей публики, сознание – изоциранным, а его судьбу – полной опасностей.

Юрий Кублановский, помимо опубликованного «Русской мыслью» обращения «Ко всем нам» (к двухлетию высылки Солженицына), которое отрезало у него не только возможность печатать стихи в Советском Союзе, но и получить там сколько-нибудь сносную работу, ещё не раз выступал в зарубежной русской периодике. Но особенно его имя стало известно, когда самиздатский альманах «Метрополь» открыл свой выпуск, словно эпитафией, подборкой стихов Кублановского.

Любопытна судьба «Метрополя». Целый ряд советских литературных баловней, которым можно то, чего нельзя другим, дали этому рукописному изданию свои громкие имена. Видимо, официальный успех перестал их удовлетворять, потому что читатели стали утрачивать веру в своих любимцев. Все участники этого своевольного начинания в той или иной мере пострадали от неудовольствия властей, ведь альманах оказался

слишком заметным явлением, чтобы его игнорировать, – особенно после того, как он вышел в американском издательстве «Ардис». Интересно заметить, что «баловни и любимцы», хотя и получили устные взыскания, в результате остались при своих привилегиях. Их защитила броня известности. Крепче всего досталось не столь знаменитым авторам.

А Кублановского защищало лишь то, что он находился на самом низу социальной лестницы. Казалось, дальше уже некуда: при его университетском образовании он к тому времени служил сторожем одной из подмосковных церквей. Но лишился и этого. Началось скитание по стране, нищенское существование в поисках случайного заработка...

О готовящемся сборнике Кублановского я знал заранее и поспособствовал его выпуску тем, что передал «Ардису» более 300 стихотворений моего друга. Конечно, такой объём явно превышал возможности издательства, отбор предполагался, но по какому принципу? Ожидая книгу, я предполагал два подхода. По первому – чтобы не подводить поэта, не обострять его ссору с властями – могли быть выбраны лишь те произведения, которые показывают художественную, политически нейтральную сторону его творчества. Например, описания чувств, картины природы, осенние похолодания... Либо – анекдотический Пушкин, пожимающий ручку княгине... В этом случае Кублановский предстал бы публике любителем переливающихся эпитетов, глагольных рифм и поклонником сентиментальной поэтики Николая Рубцова.

Но была возможность и другого подхода, – того, где поэт предстоит сильнейшими сторонами, где пуще всего проявляется его главный нерв: первочеловеческое, Адамово право называть действительность теми именами, какие она заслуживает. Тогда бы заговорило следующее:

*Россия, это ты на папертях кричала,
когда из алтарей сынов везли в «Кресты».
В края, куда звезда лучом не доставала,
они ушли с мечтой о том, какая ты.*

Или – вот это, в память о замученном Николае Клюеве:

*Надо б этих комиссариков,
шедших с грамотой к крыльцу,
растереть бы, как комариков,
по усталому лицу.*

В этом случае издательство взяло бы на себя не только честь открытия крупного русского поэта, но и в какой-то степени ответственность за его безопасность.

Читая «Избранное» Кублановского, я убедился, что издатели выбрали компромиссный вариант, включив туда, наряду с острыми и подлинно глубокими стихотворениями, целый ряд ранних и в целом «общекультурных» стихов, лишь разбавляющих собой главное ядро книги. Но я должен признать, что и среди ранних попадаются истинные шедевры. Например, короткая поэма «Братья» об ослеплении князя Василька Святополком и Давидом (впрочем, не братьями его, а двоюродными дядьями), написанная свежо и сильно с эффектами большой выразительности, включая даже пресловутую глагольную рифму на слово «сгрѣб»... Отмечу, что я не поклонник матерного слова ни в быту, ни в литературе, и более того, вслед за о. Сергием Булгаковым, считаю его печатью дьявола на нашем языке. Тем не менее, поэма «Братья» подтвердила для меня тот закон, что в литературе никакие обобщения не верны. Она всегда исключение, иначе это – не литература.

Однако, сборник в целом стоит гораздо выше издательских промахов, благодаря несомненно крупному дарованию автора, его незаурядному мастерству (проявленному, на мой вкус, более всего в подборе эпитетов), а также драматизму положения поэта–христианина в богоборческой стране. И вот что удивительно: как свежо, оказывается, может звучать в стихах благая весть Христианства, – и это после двух столетий литературы насмешливого атеизма:

*Мы будем с тобой перед Богом чисты,
как осени огнепаляющей листы,
где спутан узор червоточин
с ледком травянистых обочин.
И глядя из мрака в Успенскую сень,
мы милости ждём, а не миценья.
И, может быть, ты только бледная тень
той будущей – после прощенья!
А я уж не кокон, вмещающий ложь,
зимующий в чёрном стропиле,
а тот, чью ладонь ты с охотой возьмёшь
в раскрытой для чуда могиле.*

Если выделить наиболее характерный жанр в поэзии Кублановского, то это будет, несомненно, любовная сцена где-то в самой середине России на фоне разрушенного или осквернённого

храма. Это может быть в Лявле, Куевой Губе, Груздеве или Дюдькове, либо в ином месте с уютным для русского слуха названием, даже в Москве, со смачной русской выпивкой или без неё, но с неизменным перемежением любви и страха, – метафизического страха перед ежеминутно совершающимся христонядругательством в современной России и любви к подруге, любви как попытке сотворить малый личный храм, спасение и опору в жизни. И во многие, очень многие стихотворения вкраплены жгуче острые приметы духовного одичания, такие жгучие и такие острые, что при чтении вызывают вскрики восторга перед писательской зоркостью и страха за судьбу дерзкого автора.

Однажды Геннадий Шмаков, один из горячих поклонников и знатоков поэзии Михаила Кузмина, сделал ряд добавлений в моём экземпляре «Форели, разбивающей лёд», вписав несколько строф, вычеркнутых в своё время советской цензурой. И книга поэм, оснащённая недостающими приметами времени, зажила для меня отнюдь не комнатной жизнью:

*Затопили баржи в Кронштадте,
расстрелян каждый десятый.
Юрочка, Юрочка мой,
дай вам Бог, чтоб вы были восьмой!*

Это строки я часто повторял Кублановскому с добавлением, что первому порой бывает менее опасно, чем восьмому или девятому.... Его поэзия не только нуждается в самой широкой известности, которая защитила бы его от очень вероятных бед, но и заслуживает её, как ничья иная.

(продолжение следует)



Борис Кушнер

Дорога в два стихотворения

(Из новых стихов, сентябрь-декабрь 2013 г.)



очи отзвучали

Реквиемом в ре,
Сентября печали,
Осень на дворе.

1 сентября 2013 г., Pittsburgh

Не печалься понапрасну,
Всё давно предрешено. –
Светит в небе месяц ясный,
Звёзд рассыпано пшено.
Жизнь не прожита позорно,
Пламень Музы не потух,
И клюёт созвездий зёрна
Солнца огненный петух.

2 сентября 2013 г., Pittsburgh

Он истекает – год еврейский,
Что был так непреклонно строг.
Востока золотая фреска
Посланьем – милосерден Б-г.
Так не ропщи, лелея хмурость,
Цени свой суетливый быт. –
Вот ты летишь, от солнца жмурясь,
А мог бы в марте быть зарыт...

3 сентября 2013 г., Route 22, East

ВАРИАЦИЯ 10-90

Ещё сентябрь, но снится снег,
И роща в ледяном тумане,
И Ною впору не ковчег,
Он с лега приготовил сани.
И сходу, раздавив стакан, –
Где чаша, там всегда другая,

Засуетился старикан,
Кобыл впрягая.
И Хам, опасно многолиц,
Отцу подмога.
Он погоняет кобылиц –
Во льдах дорога.
Меж пьяниц самым первым Ной,
Хлопочет и хохочет.

.....
А ворон кружит надо мной
И прочь – не хочет.
4 сентября 2013 г., Route 22, West

5773 – 5774

Над земною твердью,
Над пучиной вод,
Над судьбой и смертью
Б-жье милосердие –
Добрый Новый Год.
Пусть свирепы нравы,
Пусть разрыв-трава –
Звёзды и дубравы
Высшим знаньем правы –
Пой – Шана Това!

Элул 29, 5773 – 4 сентября 2013 г., Route 22, West

Как будто дел невпроворот,
А день бездарно пуст.
И не сорвётся – вечность вброд –
Шальная рифма с уст.
А жизнь не жизнь без колдовства,
Без игрищ тайных строк, –
Шумит осенняя листва,
Оплакивая рок.
И наш уход неотвратим,
И погребальна медь. –
Так что ж мы плачем и летим
И жаждем всё успеть.

6 сентября 2013 г., Route 22, West

ВАРИАЦИЯ 10-94

День промчался в ритме танго –
Страсть безумно хороша!

Как мятежная Катанга
Ты гори, моя душа!
Пусть я туп, как бык на крыше, –
Дивно царствие моё!
Не хочу быть тише мыши,
Танго грянь вовсю, Мийо!
Я мощней орангутанга –
Кожи бронзовый загар –
А тону в изысках танго,
Что ты скажешь, По Эдгар?
Поутру, хлебнув рассола,
Прохриплю во весь кадык:
«Шёл бы ты к чертям, Пьяцола,
Дрянь гармонь, и сам ты дик».

11 сентября 2013 г., Route 22, West

Небо грозовело
Чугунами туч,
Из краин мела
Вспыхнул луч, летуч.
Он пронзил сетчатку,
Первозданно груб,
Он швырнул перчатку
Рыцарям Гекуб.
Мир моих фантазий
Тьмой заволокло –
Ни Европ, ни Азий –
Только дождь в стекло...

11 сентября 2013 г., Route 22, West

Листья по мостовой,
На углу постовой –
Жезл в капюшоне.
День – лимоном в крошоне,
Тучи чёрная льдина,
Сентября середина...

12 сентября 2013 г., Pittsburgh

В надежде, в страхе Имя славь:
«В любви и в укоризне
Прости нам тайное и явь,
Оставь нас в Книге Жизни».

13 сентября 2013 г., 9 Тишрей 5774, Route 22, East

Летят в глаза болиды-фары,
Восток в оранжевой золе,
И эстафетою шофары –
По всей Земле.

13 сентября 2013 г., 9 Тишрей 5774, Route 22, East

Бессильны игры *contra, pro*,
И колдуны, и маги. –
Выводит Вечное Перо
Вердикт не на бумаге.
Да будь я вор-рецидивист,
Или честней Иова, –
Уже скреплён печатью лист, –
Не изменить ни слова.
Младенец или старожил,
В почёте ли, в загоне, –
Получишь то, что заслужил, –
Ты весь, как на ладони.

13 сентября 2013 г., 9 Тишрей 5774, Route 22, West

В стекле рассвета Колизей,
По рощам скоро вспыхнет иней,
Душа в слезах – уход друзей... –
Так мир становится пустыней...

16 сентября 2013 г., Route 22, East

Небо бело-голубое,
Роща в шёпотах прибоя,
Всё – без цели, на авось...
Через заросли насквозь
Луч стрелою Аполлона,
Паутины серебра...
Океаны небосклона
В тихий полдень сентября.

18 сентября 2013 г., Johnstown

ВАРИАЦИЯ 10-95

Две бездны – неба и воды,
Не задохнуться б от свободы!
Пусть облака и я седы –
Мычу «Кармен» – в мои-то годы...
Озёрная мерцает сталь,
Как нож тупого Эскамильо. –
Мне по плечу *la femme fatale*,

Драгунский полк и вся Севилья!
Хосе терзает терапевст, –
Ну, просто умереть со смеха. –
А я в любви, как в *forte* Лист –
Сама рапсодия успеха.
Лечу и сочиняю вслух
Под неумолчный шелест шинный.–
Я разорался, как петух,
Таков уж ум мой петушиный.

19 сентября 2013 г., Route 56, East

На озере гладь, да тишь... –
Идёшь или летишь?
Летишь или плывёшь? –
Сам не поймёшь, так что ж –
Такие пришли времена,
Уже не нужны стремена,
Зато на душе покой –
И небо – достать рукой...

19 сентября 2013 г., Shawnee lake, PA

Над рощей сколы скалы,
Пьяный запах смолы,
Мёртвым ящером ствол,
Спят Борей и Эол,
Смола соснова и ельна,
Тишина беспредельна...

19 сентября 2013 г., Shawnee lake, PA

Старость за мной по следам –
«Рад Вас видеть, мадам,
Гласят мудрецов умы –
Могли разминуться мы.
Жизнь! Кипи, круговерть. –
Старость ещё не смерть».

19 сентября 2013 г., Shawnee lake, PA

Жизнь отпела, отзвучала,
Не Петрарки, но Сонет.
«Ты хотел бы всё сначала? –
Помолчав, отвечу – нет.
Предложение это броско,
И велик соблазн уму. –
Только повторенье плоско, –

Всё иначе? – Ни к чему.
Жизнь играется однажды,
Драматург суров и смел. –
Проживает её каждый
Безвозвратно, как сумел».
19 сентября 2013 г., Shawnee lake, PA

ВАРИАЦИЯ 10-96

Еду не от жизни сладкой
В неприветливую высь,
Электрической подкладкой
Шубы туч обзавелись.
Перевала горб осилив
Мощью стали и резин,
Утону в туманном иле,
В беспросветных снах низин.
Но, идеей протаранен,
Пробужусь от *déjà vu*:
Я же Игорь Северянин,
Вдруг воскресший наяву.
Грозовые танцы солнца,
Но вселенски хороша
Мирового беззаконца
Ошалевшая душа.
Суеты юдоль болотна,
Но пока не срыт Парнас,
Жизнь остра и крылолётна,
Как в шампанском ананас.
Не от сладкой жизни еду, –
Волка кормит шин квартет.
Игорь, заводи беседу –
Паритет, так паритет
20 сентября 2013 г., Route 22, West

Затишье осени непоздней,
Когда, послушны волшебству,
Уже умолкли птичьи розни,
Но лес ещё хранит листву.
И синева необозрима,
И роща не звенит грехом,
И не горит пожаром Рима
Уже в прожилках медных холм.
И тишина стоит такая,
Что неуместен даже вздох –

Самим молчаньем изрекая
Пророчества седых эпох.
24 сентября 2013 г., Johnstown

Намалевать не круг, квадрат, –
И вот – тщеславия парад, –
Гудят о форме и о прочем. –
Художник с другом пьёт и ест:
«Ослам учёным, вот-те крест,
Мы славно головы морочим». –

Мораль уразумей любой –
Не вторь ослам, будь сам собой.
27 сентября 2013 г., Route 22, West

ВАРИАЦИЯ 10-97

В сознание вертится строка,
Как глобус голубой,
И тяжело дышат облака, –
Живут своей судьбой.
Судьба у каждого своя, –
Дыши и жуй жень-шень. –
Для этих туч шоссе-змея
Лишь молниям мишень.
А для тебя седой бетон
Опорою опор. –
Чти гравитации закон
И не вступай с ним в спор.
Мысль изреченная есть ложь –
Так стань немее рыб. –
И тучи ты переживёшь,
Шоссе любой изгиб.
27 сентября 2013 г., Route 22, West

Мотор ревет про сивку-бурку,
Неутолим, настырен, лих,
А мне б сообразить мазурку
С месье Шопеном на двоих.
В такой фактуре не слукавишь,
Здесь только сердце на посту.
И не прикроешь взрывом клавиш
Сияющую пустоту.
Исчезла верная Жар-птица
В чашотке будничных минут. –

Мне б хоть на миг остановиться. –
Куда там, гонит жизни кнут.
4 октября 2013 г., Route 22, West

Асфальт зеркалами – огней акварель,
Ударные ливня – не флейта-свирель.
А дождь нескончаем,
И медлит рассвет –
Мы свет замечаем,
Когда его нет...

7 октября 2013 г., Route 22, East

Запах тления пьянит,
Синей бездною зенит,
Слёз смола из-под коры,
Листьев пёстрые ковры,
Лес, не знавший топора,
Тишь, октябрьская пора...

8 октября 2013 г., Johnstown

Отмахнуться от дождя зонтом,
От грозы, что не за горизонтом. –
Пусть себе злословит Хризостом,
Закипает взрывчатым азотом.
Захлебнись же желчью, Златоуст!
Ненависть и святость? – Пляшут черти.
Но горит и не сгорает Куст,
Так Народу суждено бессмертье.
Нам огонь и вечный непокой,
И пути ведут не райской кущей.
Но простёртой Мышцей и Рукой
Б-г хранит Народ Свой вездесущий.

10 октября 2013 г., Johnstown

О чём мне ветер прошептал
Октябрьским листопадом? –
Про леса бронзовый металл,
Про смерть, что бродит рядом?
Про межсезонья горький срок
С часов застывшим бегом?
Про увядания урок
Меж осенью и снегом...

10 октября 2013 г., Johnstown

ВАРИАЦИЯ 10-100

Я славлю гамму до-мажор.
В ней ловелас и ухаждёр,
В ней мальчик резвый веселится,
Ему жеманная Жар-птица
Не жаждет выдавать аванс.
Ковры, оружие, фаянс,
Да вот доходит суть до графа,
Как анекдоты до жирафа.
Граф тонет в омуте интриг –
Стрела-вопрос, ответ настиг.
Садовник, пьяная дубина, –
Куда там, скрылся Керубино!
Ищи-свищи, уж след простыл. –
У графа ненадёжный тыл,
Всё возвращается на круги –
Розина, Фигаро услуги.
И паж – лукавый дириждёр,
Его *bon jour* всегда в ажуре. –
А граф мятежный жаждал бури... –

.....
Всё это – гамма до-мажор...

14 октября 2013 г., Pittsburgh

ВАРИАЦИЯ 11-1

С утра кружило вороньё, –
Хрипело-каркало: «Враньё»!
Все врут – святые, лиходеи,
Тьмы нищеты в высоких лбах, –
Врут Гегель, Маркс и Фейербах –

.....
Вот сущность Мировой Идеи.

16 октября 2013 г., Johnstown

СОНЕТ

Лесов октябрьские печали,
На хорах смолк весёлый гам... –
Уже часы обозначали
Движеньё к роковым снегам.
Уже чуть слышные приметы
Звучали громче канонад,
И укрывал зерцала Леты
Ковром кровавым листопад.
Уже и нам едва дышалось

Под ветра танец костяной,
И юности любая шалость
Дышала страшною виной.
Моя вина... Ей меры нет.
Искупит ли её сонет?

17 октября 2013 г., Route 56, East

Элегантный гусь канадский, –
Шея – чистый интеграл...
А вода дробила маски,
Ветер с озером играл.
И такие это прятки,
Хоть беги на всех парах. –
От листвы одни заплатки,
И тропа – шуршащий прах.
Ветры книги крон листали,
И дождя хлестала плеть...
И с воды взрывались стаи –
Хоть куда-то, но лететь.

17 октября 2013 г., Shawnee Lake, PA

СОНЕТ

Монументальность бронзовых деревьев,
Для них холмы всего лишь постаменты.
И буйный диск, уже полусгорев,
Им дарит чистой осени моменты.
И в синеве оранжевые ленты,
Переплетаясь, образуют знак,
В котором наших дней ингредиенты –
Летающий свет и недвижимый мрак.
И, значит, этот день не просто так –
Неразличимость в череде уныний –
О, Муза октября, о, нежность новых линий! –
А ты грустил об августе, чудак.

Сегодня петь и к месту, и к лицу,
Любой певец – родная кровь Творцу.

18 октября 2013 г., Route 22, West

Дождь осенний мелок,
Ни ворон, ни белок –
Тучи-облака.
Где-то солнца око? –
Далеко-далёко,

За горой высокой

Синяя река...

22 октября 2013 г., Johnstown

ВАРИАЦИЯ 11-3

Бетховен. Мутный гул в тракторе.

Стук кружек. Вздохи и гульба.

И было нот всего четыре –

Но вся судьба.

Она клюкою в дверь стучала,

Клюкой чугунного литья. –

Жизнь не играет с начала,

И от последнего причала

Уже отчалила ладья.

А далеко она иль близко,

Об этом разное судит всяк. –

Шупанцигу канон-записка:

«Бутылку разопьем, толстяк»?

И радость распрямляет плечи,

Душа светлеет и лицо:

«Канон, Шупанциг, бесконечен,

Как обручальное кольцо.

Пусть пальцы разлетятся в *Presto*,

Пусть барабанит пульс из вен,

Ты, Муза, страстная невеста,

Смертелен был колец обмен».

Конец вину. Жаркое стынет.

И равно лавру – суп, венки...

Трактира гул. Толпы пустыня.

Висков *staccato*: «Одинок»...

25 октября 2013 г., Route 22, West

ОКТАБРЬ КОНЧИЛСЯ

Весною пахло почему-то

В последнем дне октябрьском том,

И пела каждая минута,

Бродил по горизонту гром.

Любить грозу в начале мая

Немудрено, но в октябре! –

Так что же трепещу, внимая

Природы озорной игре? –

.....

С грозой октябрьской в унисон

Мотив, печален, чист, –

Старинный вальс «Осенний сон»

Играет гармонист.
Басы вздыхают в-лад-не-в-лад,
Кленовая зола...
Вот так, как этот листопад,
И жизнь моя прошла.
31 октября 2013 г., Johnstown

Вот и пришли мы. Последний перрон.
Четыре тоски – с четырёх сторон.
С каждой в упор – паровоз лобовой,
Свежая стружка доски гробовой...
2 ноября 2013 г., Pittsburgh

Рассвета бронзовые шали,
Пасть горизонта широка. –
Рассвету облака мешали,
А мне – забытая строка.
Она дразнила миражами, –
Вот-вот ухватишь, – но никак!
Заря – распутница в пижаме –
Лениво щекотала мрак.
И память, что была основой,
Вдруг изменила – в сердце нож! –
Строке не сочиниться новой,
Пока забытой не вернёшь.
4 ноября 2013 г., Route 22, East

И вдруг повеяло весной
Из влажного оврага.
В осенней тишине лесной
Весны бродила брага.
И пробуждённая строка
Бурлила юной кровью,
И уплывали облака
К небесному гнездовью.
Овраг был сладостно тенист, –
Весна – её искусство.
А взвились птицы – звон монист,
Зовущий в безрассудство.
6 ноября 2013 г., Johnstown

ВАРИАЦИЯ 11-6

Не одной ковриги ради,
Благотворнее дождя –

«Философские тетради»
Пролетарского вождя.
Не какой-то там бульжник –
В пасть банкиру «Капитал!» –
И без разговоров лишних
Подвести под трибунал.
Содрогается Европа
И Америки народ –
Никаких тебе *non troppo* –
Сразу к стенке и в расход!
А пока бузят привычно
Со сноровкой повитух –
Что первично, что вторично –
Шашка-маузер иль дух.

6 ноября 2013 г., Route 22, West

Холмы с осенними лесами,
Дорога шумною рекой –
Куда спешим, не знаем сами,
Ведь так торжественен покой.
Прекрасна песня без нажима,
Благословенна тишина –
Так совершенство недвижимо,
Так красота завершена.

6 ноября 2013 г., Route 22, West

Брести, скользя, по жёлтой прели,
Но, коли жив, не плачь, иди... –
Как было хорошо в апреле –
Всё впереди.

7 ноября 2013 г., Pittsburgh

ПЕРВЫЙ СНЕГ

Скользко. Смотришь в оба.
Дрогнешь – и, ага! –
Первого сугроба
Вспыхнут жемчуга.
На поля, на чащи
Лёг – теперь навек –
Первый настоящий,
По колено снег.

12 ноября 2013 г., Johnstown

Гитары дребезг, охрипли трубы. –

Какое дело им до Гекубы?
Какое дело им до Приама? –
Уже не пропасть, а просто яма.
И нет им дела – что в этой яме... –
Там глина-жижа, да тьма с дождями...
Мы в окруженье – анфас и с тыла,
Душа умолкла, любовь остыла...
12 ноября 2013 г., Johnstown

ВАРИАЦИЯ 11-7

Пароксизм мучительства –
Приступ сочинительства.
Как чума и как холера,
Как холера и чума –
Каторжна сия галера,
Горе здесь не от ума.
Как разврат и жрица Весты,
Ум и рифма – несовместны.
14 ноября 2013 г., Johnstown

К чему бухгалтерский учёт –
Всё преходяще, всё течёт.
Как между пальцами вода,
Всё утекает – но куда?
Река всё шире, меркнет свет, –
Ещё немного – и ответ.
14 ноября 2013 г., Johnstown

ВАРИАЦИЯ 11-11

Очнулась томная Аврора, –
Востока пышные меха,
И я ответил взрывом вздора,
Потопом вольного стиха.
Вставай, не спи, Аврора-Эос,
Твой лик, как парус одинок,
Тебе одной бессонный мелос,
Тебе моя строфа в веноч.
Шоссе в огне – разливом Нила,
Металла грохот, вой сирен. –
Я мчусь в гефестово горнило,
Розовоперстая Кармен!
18 ноября 2013 г., Route 22, East

ВАРИАЦИЯ 11-12

Солнце ледяное,
Дрожь озноба, но –
Опьяненьем Ноя
Воздуха вино.
Птица молча кружит,
Волю дав крылам... –
Лютой смерти хуже
Верить зеркалам...
20 ноября 2013 г., Johnstown

И мы расстались. За порогом
Ни ссор, ни мелочной возни.
И Ты шепнуть успела «С Б-гом...
Себя, любимый, не казни»...
Я подожду. Осталась малость.
Всё гуще тени по углам.
Шагнул – и вечность нам досталась,
Теперь уж точно пополам.

20 ноября 2013 г., Johnstown

Дожди судьбу обозначали,
Её суровые веса –
Под памяти ночной печали,
Остановившие часы.
И что ни капля, то примета,
И, тщетно отвечая «Пусть!»,
Ждешь наступления рассвета,
Считая пульс.

21 ноября 2013 г., Johnstown

ВАРИАЦИЯ 11-13

К чему терзаться, в самом деле,
Ужель самим себе враги?
Мы в Курта Гёделя модели –
Вернётся время на круги.
Пою Карузо или Отсом,
От пения пьяней, чем Ной... –
И пусть нет нового под солнцем, –
Всё дивно ново под луной.

22 ноября 2013 г., Route 22, West

Конечно, вовсе не случайно
Туман на перевале густ.

И каждый метр тумана – тайна,
Послание безмолвных уст.
Молчанья тайные наречья –
Пророчеств занебесный трон... –
Есть в красноречье бессердечье, –
Молчи, циничный Цицерон!

22 ноября 2013 г., Route 22, West

Дымился тучи шоколад, –
Аврора в полном блеске.
И до чего ж ей были в лад
Шопена вздохи-всплески!
Ему чего-то было жаль –
Любви, минувшей славы? –
Но вдруг упругие, как сталь,
Как конница, октавы!
Не злоба, мелочная месть,
Не черни «Марсельеза»,
Но верность, благородство, честь,
Отвага полонеза.

25 ноября 2013 г., Route 22, East

Птицы не кричали
На глухой заре,
Крыши одичали
В этом декабре.
Ни нытья, ни дрожи,
Шёпот никакой.
Смерть уже в прихожей
И стучит клюкой.

1 декабря 2013 г., Pittsburgh

Ну, что ж... Теперь конец поста.
К чему лукавить, ворожить?
Сложней всего принять простое,
С ним так же сложно, как и жить...

1 декабря 2013 г., Pittsburgh

DÉJÀ VU

Снилась Кассандра-пророчица,
Дню начинаться не хочется,
Тьма на душе. –

.....

Было уже...

3 декабря 2013 г., Johnstown

Сестрою бездне – простота,
Укрыта сложным пустота,
Дружище, пораскинь мозгами –
Всего двенадцать звуков в гамме,
Лишь пять добавлено к семи,
Всего двенадцать, чёрт возьми! –
Но целый мир – любовь и горечь
Всех человеческих колен,
Здесь Бах, Бетховен, Шостакович,
Чайковский, Моцарт и Шопен.

3 декабря 2013 г., Johnstown

РЕТРО

Туча над лесом плыла субмариной,
Вальс доносился неспешный, старинный,
В отдыха доме, хоть зной был и лют,
Пил, развлекался трудящийся люд.
Пиво на станции в бочке кипело,
Радио хрипло вещало и пело,
Поезд визжал, как весенний кабан,
Пыль и крапива – не до икебан.
Время ещё не грозило закатом,
Всё это было в столетье двадцатом...

4 декабря 2013 г., Johnstown

Не осени день, но раннего лета,
Под солнцем облако, как эполета, –
Золотом вспыхнет, зажмуришь глаза. –
Ах, небеса вы, мои, небеса!
Песней дразню свою старость-тетерю
И в непогоду, что рядом, не верю.

5 декабря 2013 г., Johnstown

Дожди по стеклу гвоздили,
По ветровому.
На перевале в иле
Молнии были
Послушны Ому.
Молнии – поперечны,
Струна от скалы к скале. –
Автомобилей скворечни
Вспыхивали во мгле.
Цели давно не лелею,

Просто еду домой. –
Уцелею-не уцелею
Этой зимой?

6 декабря 2013 г., Route 22, West

ФОРЕЛЬ

Декабрь. Позабудь об апреле,
О дереве в бусах грачей... –
А Шуберту снятся форели,
Холодный хрустальный ручей.
Я с Шубертом сросся душою,
Маэстро, мечту приголубь! –
А рыбка, сверкнув чешуёю,
Умчалась в прозрачную глубь.
Её мы проводим улыбкой –
В ручей, что загадочно чист.
И эхо откликнется скрипкой,
И с ней загрустит пианист.
Мне музыка слаще, чем слово,
Гармонии мой пиетет! –
А что на душе рыболова, –
Об этом расскажет квинтет.

6 декабря 2013 г., Route 22, West

Белый бархат снегопада,
Будто палочкой Аббадо
Темп метели указал.
И пошло крутить *Allegro*,
Как восстанье в Монтенегро,
Жаль, что пуст огромный зал.
В неурочьи воскресенья
От метели нет спасенья.

8 декабря 2013 г., Route 22, East

Прогноз, что непреклонно строг,
И ель в крахмале оперенья,
И мне назначенный урок –
Дорога в два стихотворенья.

8 декабря 2013 г., Route 22, East

Любезен сердцу свежий снег,
По щиколотку в снеге
Бреду, как снежный человек,
Как ненцы, туареги.
Цивилизации конец,

Назад к первоначалью!
И крыши ледяной венец
Звенит мне в такт печалью.

8 декабря 2013 г., Johnstown

Смеркалось. Меркли зеркала.
Сгущался мрак в портъерах.
Мне лекции читала мгла –
В теории, в примерах.
Я слушал. Университет
Был царством многоумья –
Бывает, ослепляет свет, –
Во тьме прямой раздумье.
А в окнах дочь календаря, –
Метели лик нетленный.
Лишь вспышка – эхо фонаря –
Весь свет моей вселенной.

8 декабря 2013 г., Johnstown

Холода ожоги,
Иней на лице –
В ледяном остроге,
В солнечном дворце.
Лёд сверкает остро,
Блеск – сойти с ума.
Хлеще коза ностра
Мстительна зима.

11 декабря 2013 г., Johnstown

И снова сказка про корыто,
Которым увенчалась прыть... –
Та песня прежняя забыта,
А новой мне не сочинить.

13 декабря 2013 г., Route 22, West

Зима страшней, чем гнев Ареса, –
В сознание поселился бес. –
Мне небеса без интереса,
Неинтересен тощий лес.
Неинтересен отзыв в прессе,
Поток хулы и пьедестал, –
Я сам себе не интересен,
От самого себя устал.

13 декабря 2013 г., Route 22, West

Пейзаж суров, пейзаж горист,
Им переполнен нотный лист,
Посмотришь, – Б-же правый!
Молниеносней, пианист,
Пусть зарыдает хор мефист –
Шопен, этюд, октавы!

16 декабря 2013 г., Pittsburgh

ВАРИАЦИЯ 11-14

Сандал его сандали,
Такой им выпал рок,
И оглашает дали
Судьбы весёлый рог.
Такие сандалеты,
Такой пирог-замес. –
Над серой гладью Леты
Летит-свистит Гермес.
Не князи, не халифы,
Простор со всех боков, –
Как славны эти мифы
Про греческих богов.
Пусть закипает лимфа,
Пусть остр стрелы конец, –
Посланец мил Олимпа,
Богов-богинь гонец.
Сгушалась туча бестья,
И плод возмездья спел,
А в чём богов известье
Узнать я не успел.
Бессмертие синклита? –
Ухмылкой пасть ощерь! –
Кружи, пылай, Лолита,
Греха святая дочь.
Ликуй и пой, пространство,
От шума строф-дубрав, –
Мне в рифму хулиганство
Милее всех забав.

17 декабря 2013 г., Pittsburgh

Холод сегодня лютый,
Мачты расчалки – лютни –
Заполняют пространство
Музыкой снежного царства.

И от музыки сфер
Подобрил Люцифер.
Такая вышла раскладка, –
Зима, а на сердце сладко.

18 декабря 2013 г., Pittsburgh

Ряды, как говорится, редеют,
Щёки уже не рдеют,
Кожи призречен воск. –
Круг с каждым мигом уже,
А что всего хуже –
Буксует мозг.

19 декабря 2013 г., Pittsburgh

Верлибр самую сутью прост,
Не с рифмой лёгкий флирт в беседке.
Иль всё же прав суровый Фрост –
Верлибр – род тенниса...без сетки?

20 декабря 2013 г., Pittsburgh

Составлено 21 декабря 2013 г., Pittsburgh



Генрих Тумаринсон «Квакающие стихи»

Носорог



емь сорок

Сидят на ветке.
На сорок
Смотрит с завистью
Из клетки
Носорог.

Наблюдает он
Воочью
Жизнь свободную
Сорочью
И клянет свою тюрьму,
Потому что каждой ночью
Снится Африка
Ему.

Игрушка

Наш Мурзик
Доволен
Своею судьбой:
Игрушку любимую
Носит с собой.

Она и пушиста,
Она и длинна,
И часто
Не очень послушна
Она.

Считаю до трех,
А могу и до ста:
- Кто знает
Название
Игрушки кота?

А вот и ответ,
Он понятен и прост.
Игрушка кота –
Его собственный хвост.

Хорь простудился

Хмурый хорь
Весь день в норе –
С ночи хворь
Сидит в хоре.

Он с простудой
Храбро борется,
Он кряхтит,
Но хорохорится.

День-другой пройдет
И хорь
Одолеть сумеет
Хворь.

Абракадабра

Как-то услышал я
Странное слово,
Слово опасное –
Абракадабра,
Я повторял его
Снова и снова,
Слово ужасное –
Абракадабра.

Абракадабра
Не может быть доброй,
Справится с ней
Только сильный и храбрый,
Лучше, наверное,
Встретиться с коброй,
Чем с этой страшною
Абракадаброй.
Мама сказала мне:
- Так не годится.
Что тут пугаться?..
Спросил бы сперва.
Абракадабра –

Не зверь и не птица,
Это –
Бессмысленные слова.

Как я доволен,
Что абракадабра
Стала теперь
Не страшнее.
Чем швабра.

Лимон

Возле каши и бульона,
Рядом с ягодным желе
Светит солнышко лимона
На обеденном столе.

Чай скучает без лимона,
Без него грустит салат,
Невозможно без лимона
Приготовить лимонад.

В окна осень смотрит хмуро,
В самый раз лимоны есть...
И всегда температура
Будет
Тридцать шесть и шесть.

Дятел

Лечил прилежно
Дятел дерево,
Его выстукивал умело.
И вот
Весну встречает
Дерево,
И просто не узнать
Теперь его –
Оно листвою зашумело.

Ты, дятел,
Время зря не тратил.
Ты - молодец.
Спасибо, дятел!
Воздушный шарик
Голубой воздушный шарик
Рвался ввысь на ветерке -

И не думал оставаться
Он в Сережкиной руке.

В небо шарик хотелось,
Он метался и грустил,
И, в конце концов, Сережка
Шарик в небо отпустил.

Он летит под облаками,
Снизу маленький такой...
И заплаканный Сережка
Машет вслед ему рукой.

Бабушкин подарок

У бабушки спицы
Стремительней птиц.
Поди, уследи
За полетами спиц.

Она – мастерица,
Какой не сыскать,
А спицам не спится,
Их дело – летать.

Закончились быстро
Цветные клубки.
Связались для внука
Цветные носки.

Запели метели,
Пришли холода,
А ноги
Не мерзнут теперь
Никогда.

Одеколон

Я с полки взял одеколон,
Понюхал - папой пахнет он!
Хоть мажься им, хоть капай,
Он пахнет только папой.

Конечно, папа очень строг,
Но я уже решил
И тут же с головы до ног
Для папы надушился.

Меня обнюхал пес Дружок
И, сделав радостный прыжок.
Не устоял на лапах...
Вот что такое запах!

Когда же вечером домой
Придет с работы папа мой,
Он восхищенно ахнет:
- Мой сын прекрасно пахнет!

Варежки

На лице у Варечки
Две сосульки слёз...
Потеряла варежки,
А вокруг – мороз.

Но, внезапно,
Пёс Артёмка
Начал лаять
Громко-громко,

А потом
Смышлёный пёс
Варе варежки
Принёс.

Отыскались
Сразу обе –
Вместе прятались
В сугробе.

Есть вопрос
У Варечки –
Отвечайте,
Варежки!

Почему же
Вы сбежали,
Если вас
Не обижали?!

Лягушка и дождь

С июльской жарою
Лягушка устала бороться...
Уже не поплавать –

Совсем пересохло болотце.

Уже не попрыгать –
Жара истомила беднягу.
Сказала Лягушка:
- Ну, раз я ЛЯГУшка,
То лягу.

И тут же уснула.
Ей так замечательно спится,
И дождик,
Желанный,
Спасительный дождик
Ей снится.

А дождь, в самом деле,
Пошёл по лугам и дорогам,
Лягушкину спинку
В траве отыскал
И потрогал.

Лягушка проснулась
И начала лапками дрыгать,
Ей снова хотелось
И квакать, и плавать,
И прыгать.

Разошлись
Я ушел воСвояси,
Ты ушла воТвояси,
Он ушел воЕгоси –
Нету здесь Никогоси

Вкусно
Обнюхав лужицу какао,
Потом попробовав какао,
Узнав, какао каково,
Какао Мурка не лакала –
Она в какао
Хвост макала,
Чтобы облизывать его...

Грустно
Я – маленький,
И очень грустно мне:

Ни разу
Я не ездил на слоне.

А где-то слон,
Который ждать устал,
Грустит, что он
Меня не покатал.

Кот и мёд

Однажды кот
Забрался в улей
И вылетел оттуда
Пулей.

Он мчался,
Жалобно мяуча,
И пчёл за ним
Летела туча.

И очень любопытный
Кот
С тех пор
Терпеть не может
Мёд.

А если вдруг
Увидит пчёлку,
Готов залезть
В любую щёлку.

Что несёт Василий

Его несёт Василий
Без видимых усилий,
А что несёт Василий –
О том и разговор.
Совсем не отдыхая,
Румянцем полыхая,
Руками в такт махая
Несёт Василий
Вздор.

Ручей

Напившись водою
Из горных ключей,
Несётся по склону

Певучий ручей.

С рожденья ручей
Не умеет молчать,
Зато он умеет
Звенеть и журчать.

Мечтает ручей,
Говорливый такой,
О том, что когда-нибудь
Станет рекой.

Стихи о пальцах

Спасибо,
Большой,
Указательный.
Средний,
Спасибо, мизинчик,
По росту последний.

Не злись безымянный,
А просто прости.
Что имя тебе
Не сумели найти.

Спасибо
Я пальцам своим
Говорю.
Всех вместе
И каждого
Благодарю.

Умелые пальцы,
Вы знаете как
Нажать на звонок
И собраться в кулак.

Без вас
Мне не справиться,
Честно скажу.
Вы сможете все,
Если я прикажу.

И даже такое бывает,
Что сами

Вы робко погладите
Волосы маме.

Договорились

День был зноен,
День был душен.
Туче стать хотелось
Душем.

Мы сказали ей:
- Нельзя ли
Дождь немного задержать?
Мы же зонтики не взяли,
Нам домой не добежать.

Туча
Сверху посмотрела,
Захотела нам помочь,
С южным ветром пошепталась
И уплыть решила прочь.

И, представьте, эта туча
В самом деле уплыла,
Потому что эта туча
Доброй тучею была.

Книжкино горе

В книжке мается закладка –
Ей приходится несладко.

Целый год она томится
На двенадцатой странице,
Потому что у мальчишки
Нету времени для книжки.

Книжка тихо причитает,
Долю тяжкую кляня:
- Ну, когда ж он дочитает,
Ну, когда ж он дочитает
Интересную меня?!

Скоровородка

Я непрерывно
Твержу на ходу
Скороговорку

Про сковороду.

Страшно шипит
Сковорода.
В ней закипит
Скоро вода.

Глупость какая:
Никто и нигде
Воду не греет
В сковороде.

Мелет и мелет
Язык ерунду –
Сворогородку
Про сковороду.

Страшно шипит
Сковорода.
В ней закипит
Скоро вода.
Всюду со мною,
Куда не пойду,
Скоровородка
Про сковороду.

Страшно шипит
Сковорода.
В ней, наконец,
Закипела вода...

Квакающие стихи

Квакать умеют
Не только лягушки,
Так что не очень
Гордитесь, квакушки.

Квакает клюКВА
На том же болоте,
Где вы, лягушки,
С ней рядом живете.

Радостно квакает
Каждая букКВА.
Квакает тыКВА

И квакает брюКВА.

Вспомните город,
В котором есть КВА.
Вы его знаете:
Это – МосКВА.

Громкое кваканье
Слышится в мире
В каждом КВАртале
И в каждой КВАртире.

Если вам очень
Захочется плакать,
Если за что-нибудь
Мама ругает.
Чтобы не плакать,
Попробуйте квакать.
Квакайте – это
Всегда помогает!

2013



Лариса Миллер
«СТИХИ ГУСЬКОМ»

Книга XVII: октябрь-ноябрь-декабрь 2013 г.

31 декабря 2013 г.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, С НОВЫМ ГОДОМ!!!



- оговорим о пустяках,
О том, что не живёт в веках,
О том, чего – подуй - и нету,
О том, что испарится к лету,
К рассвету, к осени, к весне...
- О чём ты? Говори ясней.
- Я о пустячном, мимолётном,
О состоянии дремотном,
О том, как просыпаться лень,
Как тянет в беспросветный день
Забыв себя, стать первым встречным...
Постой, но это же о вечном.

30 декабря 2013 г.

Откуда всхлип и слабый вздох?
Из жизни, пойманной врасплох,
И смех оттуда,
И вешних птиц переполох,
И звон посуды,
И чей-то окрик: “Эй, Колян!”,
И сам Колян, который пьян
Зимой и летом,
И море тьмы и океан
Дневного света.

28 декабря 2013 г.

Зимнему солнцевороту посвящается

Смотри же, утро, не проспй,
Запомни: на минуту раньше

Должно придти ты завтра. Встань же,
И всех нас светом затопи.

А хочешь, утро, разбужу
Тебя, чтоб ты не опоздало?
Ведь света нынче крайне мало,
А я им очень дорожу.

Декабрь 2013 г.

27 декабря 2013 г.

Поверь, возможны варианты,
Изменчивые дни - гаранты,
Того, что варианты есть,
Снежинки – крылышки, пуанты –
Парят и тают, их не счесть.
И мы из тающих, парящих,
Летающих, заживо горящих
В небесном и земном огне, -
Царящих и совсем пропащих
Невесть когда и где, зане
Мы не повязаны сюжетом,
Вольны мы и зимой и летом
Менять событий быстрый ход
И что-то добавлять при этом
И делать всё наоборот,
Менять ремарку “обречённо”
На “весело” и, облегчённо
Вздохнув, играть свой вариант,
Чтоб сам Всевышний увлечённо
Следил, шепча: “Какой талант!”

22 декабря 2013 г.

Всё вполне выносимо, но в общих чертах,
А в деталях... постылые эти детали!
Не от них ли мы так безнадёжно устали,
И особенно те, кто сегодня в летах.

Эти ритмы попсовые над головой,
Эта дрель за стеной, что проникла в печёнки,
Уголовного вида хозяин лавчонки,
Одинокой собаки полуночный вой,

Этот ключ, что, хоть тресни, не лезет в замок,

Полутёмный подъезд и орудие краны,
Тараканы и мыши, и вновь тараканы,
В жаркой схватке с которыми всяк изнемог.

Бог деталей, я всё же не смею роптать.
То ли Ты мне шепнул, то ли выскочка – дьявол,
Что на тех, кто в мирском этом хаосе плывал
И тонул, - лишь на них снизойдёт Благодать.

21 декабря 2013 г.

Мы с тобою играем в четыре руки.
Мы играем давно и прекрасно сыгрались.
Вот сегодня мы где-то в басах затерялись,
Ну а завтра, бог даст, зажурчат ручейки.
То сплошное ненастье, то просинь видна,
То немыслимо круто, то дивно покато,
То сумбур и синкопы, то снова legato...
Я всё это ни в жисть не сыграю одна.

2013

15 декабря 2013 г.

И все же уговор жестокий —
Не оглянуться на истоки,
На тропку, смятую пятою,
На прошлое, на прожитое,
На прежний сад, на прежний дом,
На преданный огню Содом
Не поглядеть в немой печали,
Чтоб ангелы не осерчали,
Когда все те, что в вечность канут,
Вослед глядят и руки тянут,
С тоской по имени зовут...
И можно ли найти приют,
Покой, уйдя к иным просторам
И не простившись даже взором?

14 декабря 2013 г.

Ах, Англия, стриги же свой газон,
Как можешь, окультуривай пространство.
Нам так необходимо постоянство
Хоть чьё-то в чём-то. Вот и весь резон.

Прогуливая собачку поутру,
Раскуривая, обед закончив, трубку.
Чтоб удалось забыть, что нас, как шлюпку,
Швыряет на безжалостном ветру.

А коль в конце размеренного дня
В камин подбросишь круглое поленце,
То я усну счастливым сном младенца
Под тихий треск уютного огня.

7 декабря 2013 г., Hampstead Heath

Но если помножить рассвет на закат,
На тени лучи, зверский холод на лето –
- Получим ответ для чего нам всё это –
- Селиться на склоне, который покат.
Зачем нам, по склону скользя, рисковать
И счастье из этих мгновений ковать.

2013

Как хорошо проснуться и не знать,
Что будет впредь и чем всё завершится,
Смотреть как в небе облако крошится,
Пытаясь землю нежно пеленать.

Как хорошо не знать куда ведут
Слова, что выются на листе на белом,
Когда я занимаюсь сладким делом,
Давно попав в «Артель напрасный труд».

2013

13 декабря 2013 г.

Я вхожу в это озеро, воды колыша,
И колышется в озере старая крыша,
И колышется дым, что над крышей струится,
И колышутся в памяти взоры и лица.
И плывут в моей памяти взоры и лики,
Как плывут в этом озере светлые блики.
Все покойно и мирно. И - вольному воля -
Разбредайтесь по свету. У всех своя доля.
Разбредайтесь по свету. Кочуйте. Живите.
Не нужны никакие обеты и нити.
Пусть уйдете, что канете. Глухо, без срока.

Все, что дорого, - в памяти. Прочно. Глубоко.

11 декабря 2013 г.

Перебрав столетий груды,
Ты в любом найдёшь Иуду,
Кровопийцу и творца,
И за истину борца.
И столетие иное
Станет близким, как родное:
Так же мало райских мест,
Те же гвозди, тот же крест.

25 ноября 2013 г.

Не вмещаю, Господи, не вмещаю.
Ты мне столько даришь. А я нищаю:
Не имею ёмкостей, нужной тары
Для даров твоих. Ожидаю кары
От тебя за то, что не стало мочи
Всё вместить. А дни мои всё короче
И летят стремительно, не давая
Разглядеть пленительный отблеск края
Небосвода дивного в час заката...
Виновата, Господи, виновата.

24 ноября 2013 г.

Люби без памяти о том,
Что годы движутся гуртом,
Что облака плывут и тают,
Что постепенно отцветают
Цветы на поле золотом.
Люби без памяти о том,
Что всё рассеется потом,
Уйдёт, разрушится и канет,
И отомрёт, и сил не станет
Подумать о пережитом.

23 ноября 2013 г.

Меня балуют без конца,
Сто лет живу, а всё балуют,
То дождик в щёчку поцелует,

То солнце воду пьёт с лица.
Лишь стоит мне с постели встать,
Как небесами окружают
И светом утренним снабжают,
А ведь могли и перестать.
2013

Да, сила времени убойна,
И всё же я почти спокойна
И даже иногда бодря,
Шустра, особенно с утра,
И против времени интриги
Плету. И даже вижу сдвиги,
Но в их детали не вдаюсь,
Поскольку сглазить их боюсь.
2013

22 ноября 2013 г.

Не больно тебе, неужели не больно
При мысли о том, что судьба своевольна?
Не мука, скажи, неужели не мука,
Что непредсказуема жизни излука,
Что память бездонна, мгновение кратко?..
Не сладко, скажи, неужели не сладко
Стоять над текучей осенней рекою,
К прохладной коре прижимаясь щекою.

16 ноября 2013 г.

Беду «заспать», тоску «заговорить»,
Снабдить крылами тяжкую обузу
И даже полюбить её, как музу,
И даже научиться с ней парить,
На темноту пролить хоть слабый свет,
В «да» превратить решительное «нет».
2013

15 ноября 2013 г.

**И проступает одно сквозь другое.
Злое и чуждое сквозь дорогое,
Гольная правда сквозь голый муляж,**

**Незащищенность сквозь грубый кураж;
Старый рисунок сквозь свежую краску,
Давняя горечь сквозь тихую ласку;
Сквозь безразличие жар и любовь,
Как сквозь повязку горячая кровь.**

12 ноября 2013 г.

Нельзя так серьёзно к себе относиться,
Себя изводить и с собою носить,
С собою вести нескончаемый бой,
И в оба глядеть за постылым собой,
Почти задохнувшись, как Рим при Нероне.
Забудь бы себя, как багаж на перроне.
Забудь, потерять на огромной земле
В сплошном многолюдье, в тумане, во мгле.
Легко, невзначай обронить, как монету:
Вот был и не стало. Маячил и нету.

11 ноября 2013 г.

Хоть бы памятку дали какую-то, что ли,
Научили бы как принимать
Эту горькую жизнь и как в случае боли
Эту боль побыстрее снимать.

Хоть бы дали инструкцию как обращаться
С этой жизнью, как справиться с ней –
Беспощадной и нежной – и как с ней прощаться
На исходе отпущенных дней.

9 ноября 2013 г.

Попробуй «через не могу»
Счастливой быть, любить попробуй
Сень золотую высшей пробы,
Тень от неё на берегу
И день, когда ни золотой
Листвы танцующей, ни света,
Когда и тени даже нету
От золотистой кроны той.

2013

8 ноября 2013 г.

Хоть кол на голове теши —
Все улыбаешься в тиши.
Тебе — жестокие уроки,
А ты — рифмованные строки.
А ты — из глубины души
Про то, как дивно хороши
Прогулки эти меж кустами
Ольхи. Твоими бы устами...

7 ноября 2013 г.

О, научи меня, Восток,
Жить, созерцая лепесток.
Спаси в тиши своей восточной
От беспощадной ставки очной
С минувшим, с будущим, с судьбой,
С другими и с самим собой.
Разброс и хаос. Смех и слёзы.
И не найду удобной позы,
Чтоб с лёгким сердцем замереть,
И никогда не ведать впредь
Ни жарких слов, ни мелких стычек,
Лишь наблюдать паренье птичек
В углу белейшего холста,
Где остальная часть пуста.

2 ноября 2013 г.

Ах, осень, я ТАК понимаю тебя,
Я так понимаю вас жухлые листья:
В моём пониманье ни капли корысти,
А просто я знаю, что значит, любя
И небо, и землю, и воздух, и свет,
Сходить и сходить постепенно на нет.

2013

Какую мне назначат цену
За то, что снова я смогла,
Когда ночная минет мгла,
Увидеть облачную пену?
Какую цену назовут —
- Надеюсь божескую всё же, -

За шанс увидеть как до дрожи
Продрог в осеннем парке пруд?
2013

Веселье здесь исключено.
Земному чуждо это свойство.
Но к небесам подключено
Моё зарядное устройство.
Снабжает летом и зимой
Оно меня таким свеченьем,
Что остаётся случай мой
Считать счастливым исключеньем.
2013

26 октября 2013 г.

Господь свою подпись нигде не поставил,
Он место для подписей наших оставил,
Чтоб мы ниже опуса иль на краю
Картины поставили подпись свою,
Покуда он дарит нас сладостной манной,
Всегда безымянной, всегда безымянной.
2013

Вечерняя Ницца

Вы забыли меня пригласить.
Ничего. Это всё поправимо.
Ведь пройти мимо праздника, мимо
Свеч зажжённых – как их погасить.
Я приду, хоть не звали меня,
Даже сяду на видное место,
Как на собственной свадьбе невеста
Или близкая очень родня.
2013

22 октября 2013 г.

Так хрупок день — сосуд скудельный.
И, бредя далью запредельной,
Летят по небу облака.
Хоть ощутима твердь пока,
Но ей опущен срок недельный.
И с талым льдом сойдет на нет

Все то, под чем таятся хляби,
И будет вешней водной ряби
Неуловим и зыбок цвет.
По шалым водам поплывут
Жилища, изгороди, щепки,
И облака невнятной лепки.
И распадется наш уют.
И сгинут кровля и порог.
Взамен устойчивой опоры
Придут текучие просторы
Без верной меты, без дорог.

19 октября 2013 г.

О, жизнь моя, тебя озолочу,
Коль обещаешь, что меня не бросишь,
Всё дам тебе, что только ни попросишь,
Поскольку очень сильно жить хочу.
Не золотом, так слова серебром
Тебе воздам. На зло твоё – добром.
2013

Вы мне не верите? А зря.
Живя давно, я убедилась,
Что, сколько б солнце не садилось,
Приходит новая заря.
Я вот к чему рассказ веду:
Как есть лазурь за облаками,
Так есть и радость, коль руками
Удастся развести беду.
2013

Мне Господь подаёт, потому что я рано встаю.
Мне Господь подаёт всевозможные знаки, сигналы.
У Него есть для этого разные чудо-каналы:
Птицы, небо, листва. Чтоб Ему благодарность свою
Показать, я бы стих, да такой, чтоб парил,
Подарила б Ему. Но Он сам мне его подарил.
2013

18 октября 2013 г.

Господи, не дай мне жить, взирая вчуже,
Как чужие листья чуждым ветром кружит;

Господи, оставь мне весны мои, зимы –
– Все, что мною с детства познано и зримо;
– Зори и закаты, звуки те, что слышу;
Не влечи меня ты под чужую крышу;
Не лиши возможности из родимых окон
Наблюдать за облаком на небе далеком.

1973

16 октября 2013 г.

Наступают сна неслышной
Снегопада времена
Невесомые Всевышний
Густо сеет семена.
И кружится нам на зависть,
Не страшась судьбы своей,
Белый снег, едва касаясь
Крыш, заборов и ветвей;
И зовет забыть усердье,
Пыл, отчаянье и страсть,
Между облаком и твердью
Тихо без вести пропасть.

15 октября 2013 г.

Диаспора. Рассеянье.
Чужого ветра веянье.
На чуждой тверди трещина.
Чьим богом нам завещано
Своими делать нуждами
Дела народа чуждого
И жить у человечества
В гостях, забыв отечество?
Мне речки эти сонные
Роднее, чем исконные.
И коль живу обидами,
То не земли Давидовой.
Ростовские. Тулонские.
Мы толпы Вавилонские,
Чужие, многоликие,
Давно разноязыкие.
И нет конца кружению.
И лишь уничтожение
Сводило нас в единую

Полоску дыма длинную.
Но вечно ветра веянье
И всех дымов рассеянье.
1976

14 октября 2013 г.

Почему не уходишь, когда отпускают на волю?
Почему не летишь, коли отперты все ворота?
Почему не идешь по холмам и по чистому полю,
И с горы, что полога, и на гору, ту, что крута?
Почему не летишь? Пахнет ветром и мятой свобода.
Позолочен лучами небесного купола край.
Время воли пришло, время вольности, время исхода.
И любую тропу из лежащих у ног выбирай.
Отчего же ты медлишь, дверною щеколдой играя,
Отчего же ты гладишь постылый настенный узор,
И совсем не глядишь на сиянье небесного края,
На привольные дали, на цепи неведомых гор?
1972

13 октября 2013 г.

Четыре стихотворения, Ницца, октябрь 2013 г.

Ренэ Герра

Всё оказалось очень просто:
Чтоб не пугала дней короста,
Чтоб жизнь вдруг стала молодой
И sprыснутой живой водой,
Чтоб жизнь вдруг стала беспредельной,
Азартной, юной, не смертельной,
Чтоб лился стих из-под пера,
Дыши, чем дышит сам Герра –
- Волшебным ароматом Ниццы,
Где исчезают все границы
Меж новизной и стариной,
Где попадаешь в век иной,
Войдя в старинное жилище
Герра, где тыща книг и тыща
Картин и писем. И они –
- Не брошены и не одни.
У них есть ангел и хранитель –
- Волшебных мест волшебный житель.

И если ты к Ренэ проник,
Дыши чудесной смесью книг,
Спасённых, заразись азартом
Того, кто вечно перед стартом.

Марку Шагалу

1.
Он окунает кисти в нежность.
Во что ещё их окунать?
Ведь рисовать, как заклинать
Бездонность эту и безбрежность,
Упрашивая подарить
Такую даль и высь такую,
Где могут смертные, ликуя,
Бок о бок с ангелом парить.

2.

Да вы приглядитесь: они всё летают,
В лазоревой ткани прорехи латают.
Вовек бы не кончились чёрные дни
И чёрные годы, когда б не они –
- Те двое влюблённых, чьё юное счастье
Давно уже стало и нашим отчасти.

Альпийское

Бедный воздух! Куда он залез!
Как высОко, чтоб выжить, забрался!
Он, спасаясь от смерти, добрался
До седьмых самых чистых небес.
На земле ему жить не дают,
Его гонят отсюда и гнали.
Слава Богу, небесные дали
Ему дали желанный приют.

Rue Saint Esprit, Villefranche-sur-mer
(Улица Святого Духа в г. Виллефранш-сур-мэр)

Святого Духа уголок,
Святого Духа,
Где ловит самый лёгкий слог
Любое ухо,
Где о житейском говорят

Воздушным слогом,
Где ходят с самых ранних лет
Под тихим Богом,
Под невесомым, как пыльца,
Аквамарином,
Где свет, не знающий конца,
Сошёлся клином.

12 октября 2013 г.

Ну как это – не быть? Ведь быть весьма приятно,
Хоть, честно говоря, порой хочу обратно,
В уютное ничто, в пространство никакое,
Где нету ничего вообще, oprичь покоя.
И всё-таки сюда недаром мы подались,
Мы с небом и землёй хотя бы повидались,
А, впрочем, я все “за” перечислять не буду,
Поскольку всё равно чего-нибудь забуду.

2013

Но даже ежели и впрямь
Всё было ни к чему,
И не подмога инь и янь
Ни сердцу, ни уму,
И ничего не объяснил
Хлопок одной руки,
То всё ж, спасибо, подсинил
Нам некто гладь реки,
То всё ж, спасибо, описал
Летящий лист дугу,
И день так дивно угасал,
Как вряд ли я смогу.

2013

6 октября 2013 г.

Для грусти нету оснований,
Кочуем в длинном караване
Всех поколений и веков,
Над нами стая облаков,
А перед нами дали, дали...
И если полюбить детали,
Окажется, что мы богаты

Восходом, красками заката
И звуками, и тишиной,
И свистом ветра за стеной,
И тем, как оживают листья
Весной. И если в бескорыстье
Земных поступков наших суть,
Не так уж тяжек этот путь.

5 октября 2013 г.

О, как не хочется вполсилы,
Вполголоса и вполсебя!
Какое благо, жизнь любя,
Её любить с лица и с тыла!
Любить и блажь её и дурь,
И рык её и голос ломкий,
Её опасные потёмки,
Её небесную лазурь.

2013



Галина Гампер

История заблудших

Фрагменты из новой книги



очему имя Мери Шелли осталось в истории? Потому, что она была женой известнейшего поэта-романтика первой половины XIX века Перси Биши Шелли. Но прежде всего причиной её известности стал оказавшийся бессмертным «Франкенштейн» – она написала этот роман в свои девятнадцать, и он навсегда занял место в литературе, в первую очередь в английской, но и мировой тоже, как первый научно-фантастический.

Мери Годвин-Шелли, Перси Биш Шелли, Франкенштейн – триединство в истории литературы, в самой истории, в жизни, переходящей в бытие.

Мери Годвин десять дней от роду. Внезапно овдовевший Уильям Годвин похоронил её мать Мери Уилстонкрафт, со смертью которой закончился первый романтический этап борьбы за права женщин. А для философа Годвина – закончились несколько лет неожиданно счастливой семейной жизни, узаконенной церковным браком.

Неколебимый противник брака, он тогда первый и последний раз изменил своим принципам, пожертвовав абстракцией ради живого чувства.

Итак, для Мери Годвин мать навсегда осталась незабвенной тенью, идеалом таланта, мужества и красоты. Через шестнадцать лет она приведёт к её священной могиле своего избранника – юного поэта Перси Биши Шелли.

Оба они навсегда запомнили 3 июня 1814 года. Поэт вместе со своим другом Хоггом проходил по Скиннер-стрит: «Мне надо кое-что уладить с мистером Годвином. Заглянем на минутку», – сказал он другу. Пройдя через книжный магазин Годвинов, они поднялись на второй этаж в комнату, всю тесно заставленную книжными полками. Хозяина не было дома. Друзья собирались уходить, как вдруг дверь приоткрылась, и девичий голос крикнул: «Шелли!» На пороге стояла светловолосая, высокая, худенькая девушка, на её бледном лице, казалось, не было ничего, кроме глаз, пронзительных зеленовато-карих, – это была Мери Годвин. Она

только что вернулась из Шотландии. Там, в семье друзей Годвина, в основном и проходило её отрочество.

Шелли вспомнил, что впервые встретил её здесь полтора года назад за обедом. Мери тоже припомнила ту их первую встречу, правда, единственное, что тогда привлекло её внимание – прекрасное голубое шелковое платье Харриет, жены Шелли. Его самого она как бы и не заметила. Теперь, когда глаза их внезапно встретились, произошло то, что случается нечасто – амок. Если бы не вмешался Хогг, они так и остались бы стоять, глядя друг на друга, и ни один из них не отвел бы взора.

Ученик полюбил дочь своего учителя, своего кумира.

Ещё недавно, в 1812 году, Шелли написал Уильяму Годвину, автору «Политической справедливости», первое письмо: «Имя Годвина всегда возбуждало во мне чувство благоговения и восторга. Я привык видеть в нём светило, яркость которого чрезмерно ослепительна для мрака, его окружающего. Я скорбел о том, что Вы перестали осенять землю славою Вашего бытия. Но это не так. Вы живы, и я твердо уверен, по-прежнему озабочены благочестием человечества». Это письмо стало началом знакомства, а вскоре и близкой дружбой Шелли и Годвина.

Какое-то время Шелли пытался скрывать от самого себя истинную природу своего чувства. Пытался скрыть его и от Мери. Но безуспешно. В охватившей его горячке он всё не мог постигнуть, где та граница, за которой самопожертвование (а никак по-другому нельзя было бы назвать продолжение семейной жизни с Харриет) становится сущим сумасшествием. Ведь брак заключается Любовью и расторгается её исчезновением. Ученик Годвина и не мог рассуждать иначе. Шелли надеялся на его поддержку: не станет же препятствовать соединению любящих человек, публично заявивший о том, что брак – «самый худший из видов собственности». Но к величайшему удивлению Шелли, когда дело коснулось родной дочери, «философ вдруг превратился в обывателя». Надо сказать, что ту прямолинейность и грубость, с которой Годвин отнёсся к случившемуся, слово «обыватель» определяло довольно мягко. Вот письмо Годвина к одному из своих друзей: «в воскресенье, 26 июня, Шелли сопровождал Мери к могиле матери, кладбище находится в миле от Лондона; и, кажется, именно там ему в голову пришла нечестивая мысль соблазнить мою дочь, предав при этом меня и бросив свою жену. Я увещевал его со всей энергией, на которую был способен, и это возымело действие. Потом я приложил все усилия, чтобы пробудить в Мери чувство чести и природных привязанностей, и

тоже, как мне казалось, добился успеха. Но они обманули, обманули меня...»

Отец и мачеха Мери, а также несчастная Харриет, уверенная в том, что «эта хитрая бестия знала, чем увлечь её «глупенького умницу» – «страдания, тирания, таинственные свидания на кладбище «...предприняли всё возможное и невозможное, чтобы разлучить влюблённых. Похудевшая, заплаканная Харриет явилась на Скиннет-стрит и умоляла Мери не напоминать о себе её мужу. Мери почувствовала свою вину и приняла твёрдое решение не писать Шелли, не отвечать на его записки, не выходить без особой надобности из дому, чтобы не встретиться и не потерять самообладание. Её готовность пожертвовать собой ради справедливости была естественна для дочери Мери Уолстон Крафт и Уильяма Годвина, для того воспитания, которое дал ей отец. В результате не только Годвин, но и сама Мери отказала Перси от дома. Но ничто не могло остановить обезумевшего поэта. Как вспомнил один из его друзей «ничто, доселе прочитанное мною, не могло дать представления о такой внезапной, неистовой, непреодолимой страсти, как та, что охватила Шелли. Его глаза были налиты кровью, волосы всклокочены, одежда в беспорядке. Разговаривая со мной, он указал на бутылку с опиумом – «...Я теперь никогда не расстанусь с ней». Однажды в полночь в двери к Годвину постучали, и посыльный сообщил, что Шелли отравился. Отец и мачеха Мери спешно явились на место происшествия. Там уже был врач. Супруги наняли сиделку. Харриет, беременная в это время, болела и лежала в доме своего отца. Узнав о несчастье, испуганная Мери отправила Шелли письмо, и с этого дня между ними возобновилась переписка. Шелли поправлялся быстро, быстрее, чем предполагали. Регулярная связь осуществлялась через служителя книжной лавки Годвина. С ним же Шелли отправил томик своей первой поэмы «Королева Мэб», которая была посвящена Харриет, но под напечатанным посвящением Перси подписал: «Граф Слобендорф был готов жениться на женщине, которую привлекло его богатство, но она оказалась так эгоистична, что покинула его в тюрьме». Аллегория была ясна – в воспалённом сознании Шелли чувство вины перед Харриет сменилось твёрдым убеждением в её вине перед ним: «Она уже давно влюблена в майора Райена, он отвечает взаимностью, их связь очевидна».

На полях этого томика рукой Мери написано: «эта книга священна для меня, и так как ни одно живое существо не заглянет в неё, я могу писать здесь всё с полной откровенностью. Но что я

напишу? Что я невыразимо люблю Автора, и что судьба разлучает меня с ним. Любовь обручила нас, но я не могу принадлежать ему, как не могу принадлежать никому другому».

Как только Пери окреп и смог выходить из дома, тайная переписка сменилась тайными свиданиями: где-нибудь в саду, в парке или на улице. Шелли уверял Мери, что Харриет не достойна жалости, она изменяет ему, «ей не надо от меня ничего, кроме денег. Я сделаю распоряжение, чтобы большая часть моего годового содержания поступала ей». Наконец Мери позволила себя убедить, почему, собственно, она должна верить этой чужой женщине, которая не смогла сделать счастливым такого человека, почему ей не поверить Ему – единственному, любимому?» Решение было принято – бежать, бежать как можно скорее. Куда? – Конечно, во Францию.

Карета была заказана на 4 часа утра 27 июля. Сопровождать их решила Джейн Клермонт, дочь мачехи Мери, которая с этого дня начала называть себя новым именем Клер. Она тоже решила освободиться от семейного гнета. Все трое волновались, опасаясь преследования миссис Годвин, и не напрасно... Наконец беглецы погрузились на пакетбот, который в 17 часов вечера отплыл из Дуврского порта. И белые береговые скалы родного Сассекса медленно исчезли из вида. Спустя час неожиданно разыгралась такая буря, что даже матросы начали волноваться. Шелли заботливо уложил Мери на скамейку и сам сел рядом. Его колени служили ей изголовьем. Мери с трудом переносила качку, Ла-Манш не утихал всю ночь. Но судёнышко благополучно добралось до Кале. «Мери, – воскликнул Перси, – смотри, солнце встаёт над Францией!»

В 1814 году путешествие по дорогам Франции было небезопасно. Всего 4 месяца назад Наполеон подписал акт об отречении, так что брошенные на произвол судьбы шайки солдат-мародеров грабили проезжавших. Мери, Перси и Клер предпочитали проводить ночи где-нибудь в трактире, возле дымящего очага, опасаясь лесных привалов. В одной из харчевен Мери услышала от местных жителей страшную историю об учёном из рода Франкенштейнов, который пытаясь отыскать ключ к бессмертию, разрывал свежие могилы и пытался оживить мертвецов. Этот рассказ накрепко засел в её памяти. Молодые продолжали ежедневно вести дневниковые записи. Обычно сведения были лаконичны: перечисления городов, деревень, долин, все достопримечательности их пути, а так же названия книг, на чтение которых они выкраивали время в любых условиях. Иногда они пользовались одной записной книжкой: сохранился

рукописный томик, где литературные наброски Мери соседствуют с черновыми строками неоконченных стихов Шелли. Через три недели путники пересекли границу Швейцарии.

Двухлетнюю годовщину бегства из Англии (28 июля), Шелли отпраздновали в Женеве. У Мери на руках был малютка Уильям, родившийся в начале года. И рядом, как неизбежное зло, Клер, которая пока скрывала свою беременность.

Устроились они в небольшом домике, который был отделён от озера только маленьким садом, из которого открывался вид на “мрачную величественную Юру”. Байрон жил неподалеку от них на вилле Диодати. В XVII веке вилла принадлежала женевскому профессору теологии, дом носил его имя. С тех пор как в 1639 году в гостях у профессора побывал сам Мильтон, дом стал местом паломничества англичан.

Шелли и Байрон сразу подружились, причём несходство темпераментов способствовало этому ничуть не меньше, чем поразительная живость ума.

Но Мери ощущала скованность в присутствии Байрона. Он как бы ослеплял и подавлял кипучими порывами своей натуры, которая – если определить её двумя-тремя словами – была сплошной любовью к жесту. К тому же Мери не могла не чувствовать, что он не слишком ценит её общество. Она была весела и шаловлива, что проявлялось в её романе с Шелли и в отношениях с Хоггом. Но понятиям Байрона, какова должна быть женщина, она не соответствовала. Байрон полагал, что женщины бывают двух типов – либо деклассированные, остроумные *emancipées*, либо уступчивые, милые, цепляющиеся за мужчину кошечки. Мери не укладывалась ни в одну из этих схем. Она восхищалась Байроном, но не испытывала к нему тёплых чувств.

Почти всё время оба поэта проводили на озере, порой отсутствовали по нескольку дней. Но в плохую погоду, когда нельзя было ходить под парусом (а это лето в Женеве выдалось на редкость дождливым и ветреным) всё общество, в которое входил и личный врач Байрона, итальянец Полидори, собиралось на вилле Диодати. Развлекались, читая вслух истории о привидениях. “Эти истории, – вспоминала Мери, – возбуждали в нас желания подражать им”. Однажды было решено, что каждый напишет рассказ о сверхъестественном. Полидори придумал жуткую историю о даме с черепом вместо головы – в наказание за то, что она подглядывала в замочные скважины. Что делать дальше с героиней он не знал. И вынужден был отправить её в семейный склеп Капулетти.

Поэтам очень скоро наскучила проза, и они отказались от темы, явно им чуждой.

Мери решила сочинить повесть и потягаться с теми историями, которые подсказали эту затею. Она искала сюжет, который обращался бы к тайным человеческим страхам и вызывал бы нервную дрожь. Таковую, чтобы читатель боялся оглянуться назад, чтобы у него стыла кровь, и громко стучало сердце. «Если мне это не удастся, то мой рассказ не будет отвечать общему замыслу. Я старалась что-то придумать, но тщетно. Меня охватило то полнейшее бессилие, когда усердно призываешь музу, а в ответ не слышишь ни звука. Да, это худшая мука для сочинителя». Шелли спрашивал каждое утро: «Ну как, придумала? и каждое утро, как это ни было обидно, приходилось отвечать «нет»...»

Поэты часто и подолгу беседовали, Мери была их прилежным, но почти безмолвным слушателем. Однажды они обсуждали различные философские вопросы, в том числе секрет зарождения жизни и возможность когда-нибудь открыть его и воспроизвести. Они говорили об опытах доктора Дарвина (дедушки отца дарвинизма). Он будто бы хранил в пробирке кусок вермишели, пока тот каким-то необъяснимым образом не обрёл способность двигаться. Решили, что оживление материи пойдёт иным путём. Быть может, удастся оживить труп. Явление гальванизма, казалось, позволяло на это надеяться, может быть, учёные научатся создавать отдельные органы, соединять их и вдыхать в них жизнь. Беседа затянулась до полуночи, когда все разбрелись по своим спальням. Едва Мери опустила голову на подушку, ещё не заснула, но как-то глубоко задумалась, и в этом странном состоянии ей начали являться картины с яркостью, какой не обладают обычные сны.

Внутренним взором она необычайно ясно увидела бледного юношу, склонившегося над созданным им существом, и само это отвратительное существо, обтянутое мертвенно-зеленоватой кожей. Сначала оно лежало неподвижно, но вдруг, как бы повинувшись некоей силе, неуклюже задвигалось. Зрелище было страшным, ибо, что может быть ужаснее человеческих попыток подражать несравненным творениям создателя? Молодого учёного приводит в ужас собственное создание, и он в страхе бежит от него. Он надеется, что зароненная слабая искра жизни угаснет, если её не поддерживать, и ожившее существо само собой станет опять мертвой материей. Юноша засыпает в предчувствии того, что небытие снова поглотит этого Монстра. Его сон прерывает какой-то звук – это чудовище раздвигает возле

его изголовья оконные занавески и глядит на своего создателя желтыми водянистыми, но осмысленными глазами.

Мери, очнувшись, пыталась отделаться от этого жуткого видения. Но прогнать его удалось не сразу. Она мысленно обратилась к своему замыслу, так долго не дававшемуся ей. «О, если б я могла сочинить рассказ так, чтобы читателя заставить пережить тот страх, который я пережила в эту ночь!». «Придумала! – вот оно начало повествования. Пока достаточно описать призрак, явившийся к моей постели». Тут же невольно припомнилась услышанная в харчевне байка о некоем Франкенштейне.

Наконец она объявила Шелли, что рассказ почти сочинён, и утром, схватив чистый лист, написала первое предложение: «Это было ненастной ноябрьской ночью». И затем Мери воспроизвела во всех подробностях свой ужасный сон наяву. Сначала она думала уместить рассказ на нескольких страницах, но обрадованный Шелли убедил её развивать дальше найденную идею. С помощью Шелли она навела справки о Франкенштейнах. Род немецких баронов восходил к X веку. Был славным и имел достойную историю. Но правду говорят, что дурная слава опережает добрую – недаром самым знаменитым из их рода стал Йоханн Конрад Диппель фон Франкенштейн. Он окончил Страсбургский университет. Ещё будучи студентом, увлёкся идеей раскрыть тайну бессмертия. Но в средневековье, мягко говоря, с большим подозрением относились к людям, выкапывающим на кладбище трупы, чтобы производить над ними опыты. Йоханну пришлось бежать из Страсбурга в родную Германию, где он стал практиковать как врач. Вскоре он приобрел известность, разбогател и построил в своем родовом замке прекрасно оборудованную лабораторию. За свои изыскания он часто подвергался гонениям. Его смерть покрыта тайной так же, как и его жизнь. По одним источникам он однажды просто исчез, по другим – был найден мёртвым в своей лаборатории. Предположили, что он умер от отравления, производя очередной опыт. Произошло это в начале XVIII века. Итак, герой был найден, оставалось перенести его в современные условия, в век XIX.

«Я обязана мужу этим изысканиям и настойчивым уговорам продолжить работу. Если бы не Перси, этот роман не увидел бы света в своей окончательной форме».

События романа описываются несколькими рассказчиками. Начинается он с писем некоего Роберта Уолтона своей сестре Маргарет. Уолтон пишет ей из России, где набирает команду, чтобы отправиться к полярному кругу, дабы

облагодетельствовать человечество новыми открытиями. На этом рискованном пути его ждут две необыкновенные встречи – вначале мимо них в саях проносится загадочное чудовище, а потом они поднимают на борт тяжело больного человека. Это был Виктор Франкенштейн, который и рассказывает свою трагическую историю. Франкенштейн – талантливый химик и естествоиспытатель. Ещё в школьные годы в Женеве он занимался поисками философского камня и эликсира жизни. Виктор штудировал труды средневековых ученых, а после окончания школы уехал в знаменитый университетский городок Ингольштадт и успешно поступил на первый курс биологического отделения. Ему удалось открыть величайшую тайну природы – он создаёт существо, наделённое необычайным размером и силой. Однако оно оказывается настолько безобразным, что Франкенштейн в ужасе отшатывается от него, надеясь, что едва затеплившаяся жизнь угаснет сама собой. Тяжело пережив первый шок, Виктор выздоравливает, и на время возвращается в свой родовой замок подле Женевы.

Какое-то время жизнь Виктора течёт безмятежно, но вдруг во время веселой воскресной прогулки в окрестностях замка случается ужасное – находят его младшего шестилетнего брата Уильяма задушенным. В этот же день Виктор увидел созданное им чудовище, убегаящее с места преступления. Он никому не может рассказать правду – ему бы никто не поверил, сочтя его попросту безумцем. Чудовище двигалось с такой быстротой по отвесным скалам, что любая погоня не увенчалась бы успехом. В убийстве обвиняют юную служанку Франкенштейнов и казнят её по этому ложному обвинению. Монстр, выследив Франкенштейна, умоляет своего создателя выслушать горькую историю его злоключений – как он остался совершенно одиноким, с какой жестокостью его отталкивали все, кого он жаждал любить. И как жажда любви сменилась в его сердце жаждой ненависти и мести. И теперь это чудовище требовало от Франкенштейна, чтобы он создал ему подругу. Они вместе удалятся от людей, и он не совершит больше никаких злодеяний.

Итак, Мери послала в мир своё жуткое детище. Она питает к нему своеобразную нежность, ибо оно родилось в счастливые дни, когда всю полноту горя ей ещё только предстояло испытать.

Труп оживал на жестяном столе,
Подёргиваясь великаньим телом,
И в плавающем взгляде тускло-белом
Зрочки тонули точками в желе.

В отчаяньи на детище своё
Студент-профессор поглядев, отпрянул,
В бега пустился, в бессозанье канул,
Нить порвалась, ушёл в небытие.
Очнулась Мери, будто наяву
Пронизана готическим сюжетом,
Заполненным мертвящим лунным светом.
Так двинулся роман, он наплаву
Почти два века. Монстр готов душить,
Он жертву настигает в тьме кромешной
Не ради гибели души безгрешной,
Он Франкенштейну мстит и будет мстить
За всю свою отверженность: урод,
Нелепость, выродок, эксперимент науки...
Инакость. Нет невыносимей муки,
Её не одолеть ни вплавь, ни вброд¹.

Все эти дни обстановка на вилле Маньи была до крайности наэлектризована. Даже у флегматичной Джейн появились галлюцинации: она видела Шелли, идущего по террасе, в то время, когда его не было в доме. В дневнике Эдварда Уильямса осталась запись, в которой говорилось, что они с Шелли всё на той же веранде, освещённой луной, долго разговаривали, и вдруг Шелли «вцепился мне в руку и устался на белый гребень волны, разбившейся о берег. Видя, что он сильно взволнован, я спросил, не плохо ли ему, но он только сказал: «Вот она, вот опять». Немного погодя он пришел в себя и признался, что видел так же явственно – как теперь меня – обнаженное дитя. Это была только что умершая Аллегра, которая поднялась из моря, улыбнулась ему и захлопала, будто от радости, в ладоши».

В самые последние дни июля пришло известие о том, что Хенты отплывают из Генуи в Ливорно и просят встретить их. Шелли и Уильямс сразу же начали сборы, и 1-го июля всё было готово. Мери умоляла взять её с собой, но мужчины не могли на это решиться – она была слаба, едва держалась на ногах. Мери как никогда боялась расставания с Шелли, даже самого короткого. Она никому не говорила о том, что её внутреннему взору дважды являлся Монстр. Когда Шелли и Уильямс вышли из дома и потащили ялик к «Ариэлю», она почти истерическим прерывающимся от спазма голосом звала Шелли.

¹ Стихи Г. Гампер.

Яхта все-таки отчалила, оставив на попечение Джейн рыдающую Мери. Хентов встретили, и Байрон поселил их на первом этаже своего палатца Лафранчи, но никакого разговора об издании журнала уже не шло – тосканская полиция только и смотрела, к чему бы придраться, чтобы изгнать из своего герцогства семью Гамба, к которой принадлежала Гвиччиоли, так что Байрон в любой момент готов был последовать за ней.

4 июля Шелли отсылает из Пизы короткое письмо Мери: «...Всё мое время занято делами Хента. Я задерживаюсь здесь против своего желания, и, видимо, Уильямс прибудет к вам на шхуне раньше меня. Дела Хента из рук вон плохи. Он возлагал все свои надежды на издание журнала, всё для этого сделал и сейчас от его 400 фунтов остался только долг в 60 крон».

Шелли пришлось, отбросив всякую щепетильность, вступить за Хента. После долгих переговоров, Байрон обещал поддержать журнал, дав для первого номера свое «Видение Суда». Уильямс, несмотря на настоятельные просьбы Шелли отправиться в Леричи с первым попутным ветром, ожидал друга в Ливорно, там же были Трелони и капитан Робертс. Они уже закупили большую часть продовольствия – молоко для детей, плетёную корзину с десятком бутылок вина в подарок их другу – хозяину гавани в Леричи и прочие припасы.

Утром 8 июля Шелли вышел из Ливорнского банка с полотняным мешком, полным тосканских крон, и направился в порт. В его кармане лежало только вчера полученное отчаянное послание Мери: бедняжку мучило предчувствие какого-то несчастья, и она умоляла мужа поспешить домой. Утаённое от всех явление Монстра не оставляло надежды на то, что всё обойдётся. Погода в тот июльский день была жаркой и неустойчивой. Трелони и капитан Робертс требовали повременить с отплытием. Но Шелли и Уильямс хотели как можно скорее вернуться. Трелони не доверял яхте и тем более её команде и решил сопровождать её на своем «Боливаре», но оказалось, что яхта Байрона не прошла еще карантинного досмотра, так что её не выпустили из порта.

Примерно в два часа дня «Ариэль» и еще две местные фелюги отошли от ливорнского причала. Капитан Робертс стоял на краю мола до тех пор, пока «Ариэль» не скрылся из вида. Тем временем на «Боливаре» сворачивали паруса, и один из опытных генуэзских матросов, сидя на рее главной мачты, говорил: «Ариэль» держится слишком близко к берегу и идет под всеми парусами. Это опасно. Надвигается шторм».

В 3 часа пополудни белёная стена ливня вплотную придвинулась к порту. Ураганные порывы ветра загнали всё живое за какие-нибудь укрытия. Трелони, чувствуя свою беспомощность, ушёл в каюту «Боливара», а капитан Робертс добился разрешения подняться на наблюдательную вышку. Долго шаря окулярами, он, наконец, увидел в подзорную трубу знакомый силуэт «Ариэля». Яхта находилась уже в милях десяти от Ливорно. Но вскоре она уже окончательно исчезла.

Шторм длился не более получаса. Горизонт очистился, море улеглось, но на его всё ещё холодной свинцовой поверхности не было ничего похожего на судно или хотя бы его обломки. Две фелюги, вышедшие в море одновременно с «Ариэлем», успели до шквала вернуться в гавань. Обе команды, с пристрастием допрашиваемые Трелони и Робертсом, утверждали, что никакой яхты не видели. Правда, тот же генуэзский моряк, который предупреждал о надвигающейся буре, сказал, что на одной из вернувшихся фелюг он разглядел весло английского производства, по его мнению, оно могло принадлежать только «Ариэлю». Весь порт был поставлен на ноги. Вечером того же дня оказалось, что два других судна, возвращавшихся в Ливорно как раз в то время, когда шквал набирал силу, видели швыряемую волнами яхту. Капитан одного из судов утверждал, что он предложил взять команду яхты к себе на борт: «Ваша яхта не выдержит бури», – крикнул он в рупор. В ответ донеслось: «У нас всё в порядке». Но тут огромная волна накрыла яхту. «Вы погибнете, ради бога, спустите паруса», – снова закричал капитан. Ответа не последовало. Он увидел сквозь дождевую пелену, как один мужчина начал опускать паруса, а другой, неестественно большой, как показалось, схватил его за руки и удержал. Ветер становился ураганным, и он потерял из вида злополучную яхту.

Все море в неистовстве – бешенство, пена
И парус в тисках океанного плена –
Он в клочья изодран, и мачта – обломок,
И хлещет дождем из крошечных потемок.
Но гром пробежал по невидимым тропам,
И молнии с неба низверглись потоком.
И сделалось видно, как падают влево
Смерчей оголенные черные древа,
Как будто их корни лишились опоры.
О, как задрожали прибрежные горы!
И землю скорезило вдруг и трянуло
От громоподобного адского гула,
С которым в пучину валились колоссы.

И рухнула небо, ревя стоголосо, –
Ведь тяжкое небо в нахлынувшем шквале
Лишь эти колоссы собой подпирали.
Ветров и воды ураганная сила
Сквозь низкие тучи корабль пронесила.
И волны, скалу раздробившие в щебень,
Вздымали его на расщепленный гребень,
Вздымали и в пропасть швыряли с размаха,
В глубины, в слои неподвижного страха,
На самое дно водяного провала.
Туда не доходит дыхание шквала.

Едва колыхнулись отвесные стены,
Весь ужас вбирая в себя постепенно,
Как будто они зеркала преисподней.
И снова па взлете дышалось свободней.
И черный корабль пролетал оголтело,
И морс под ним ликовало, горело,
В смертельном разгуле и в звездном хаосе
Расплавленной медью цвело и лилося.
И серый огонь, как дыхание в стужу,
Из бледных глубин вырывался наружу.
О палубу бились фонтанные струи.
А море себе возводило, ликуя,
Воды пирамиды, воды минареты –
То мраком, то ризами молний одеты,
То пена на них, то туманные блики.
И небо пронзают их острые пики².

Команда второго судна, видевшая «Ариэль», не могла, а, может быть, не захотела ничего рассказать.

Следующий день 9 июля прошел в волнениях и не принёс никаких новых известий. 10 июля Трелони поскакал в Пизу сообщить Байрону о случившемся, а может быть – хоть он отлично понимал, что этого быть не может – узнать в Пизе, нет ли там каких-нибудь сведений. Байрон, конечно, ничего не знал и был явно взволнован. Трелони послал распоряжение на «Боливар» плыть вдоль берега до Леричи, и сам отправился в том же направлении верхом, предварительно разослав нарочных по всему побережью. Кроме того, он дал объявление в нескольких газетах, обещая значительное денежное вознаграждение за помощь в

² Орывок из поэмы П.Б. Шелли «Видение моря» в переводе Г. Гампер.

поисках «Ариэля» и его команды, но за целых десять дней (с 8 по 18 июля) не поступило ни единого извещения.

Что же в эти дни происходило на вилле Маньи? Восьмого июля, в понедельник, женщины получили письмо от Уильямса, где он обещал вернуться не позже вторника, то есть 9 июля и возможно вместе с Шелли. В день получения письма штормило. Издали доносились раскаты грома. Мери и Джейн решили, что их мужья переждут в Ливорно плохую погоду и поэтому во вторник не ожидали прибытия Ариэля. Но в среду и в четверг было тихо и ясно, и женщины взволновались. В пятницу Джейн собралась в Ливорно, чтобы не томиться и на месте всё разузнать. Но погода опять испортилась, и суда оказались запертыми в Леричи на целые сутки. В этот день на виллу пришло письмо от Кента, адресованное Шелли. Мери, распечатывая конверт, так волновалась, что письмо выпало у нее из рук. Джейн подхватила с пола небольшую записку и прочла вслух: «Пожалуйста, сообщите нам, как вы добрались домой. Говорят, что была плохая погода, после того как вы отплыли. Мы беспокоимся». Лишь теперь женщины заподозрили страшную правду, но всё ещё цеплялись за надежду, думая, что, может быть, яхта вернулась в Ливорно.

Дни проходили – новостей не было. Только девятнадцатого Трелони вернулся со страшной вестью. Он опознал выброшенные морем тела. Вода и рыбы пощадили Шелли, сохранилась даже одежда, а в карманах жакета книги: в одном – томик Софокла, в другом – открытая и перегнутая пополам книжка Китса. Видимо, он читал её совсем незадолго до гибели. Второе тело было страшно искалечено, но по чёрному шёлковому платку, оставшемуся на шее, Трелони узнал Уильямса.

По строгим правилам итальянского карантина, тело утонувшего должно быть сожжено на месте, где его обнаружили. Все заботы по устройству кремации взял на себя Трелони. Уильямса сожгли первым. Шелли – на следующий день. При кремации присутствовал лорд Байрон, он приехал в одной карете вместе с Ли Хентом. Байрон невысоко ценил Шелли-поэта. Но смерть меняет многое. Вот что он написал своему другу, поэту Томасу Муру: «Ушёл ещё один человек, относительно которого общество в своей злобе и невежестве грубо заблуждалось. Теперь, когда уже ничего не поделаешь, оно, быть может, воздаст ему должное». И в этом письме несколько выше: «Вы не можете себе представить необычайное впечатление, производимое погребальным костром на пустынном берегу на фоне гор и моря, и странный вид, который приобрело пламя костра от соли и ладана.

Сердце Шелли каким-то чудом уцелело, и Трелони, обжигая руки, выхватил его из горсти еще горячего пепла и передал вдове поэта».

Трелони уговорил женщин немедленно отправиться в Пизу. Захоронение праха поэта в Риме взяли на себя земляки-почитатели, однако выполнить волю Мери им не удалось. Протестантское кладбище, где покоился маленький Уильям, оказалось закрытым для новых захоронений.хлопоты по этому поводу велись в течение года, но были напрасны, так что прах Шелли предали земле 21 января 1823 года. Трелони нанял каменщиков и установил две черных могильных плиты, одну из которых он оставил для себя (кстати, там он и был захоронен много лет спустя).

Вокруг могилы Трелони насадил молодые тополя. Текст надписи для надгробия был предложен Ли Хентом и одобрен всеми: «Corcordium» (сердце сердец). С согласия Мери под этой надписью выбили ещё три строки из «Шекспировской Бури», которые Шелли любил повторять:

Ничто в нём не померкло,
Но изменился он под гнётом волн морских,
И как-то странен стал: похоршел, затих.

Правда, такое скромное надгробие с самого начала казалось Мери недостойно памяти Перси Биши Шелли. Она хотела запечатлеть образ мужа в мраморной скульптуре, выполненной хорошим мастером. Когда же памятник был наконец сделан, решили переправить его в Англию и даровать Университетскому колледжу в Оксфорде, где он сохранился по сей день, поддерживая не совсем верное, но ставшее уже традиционным представление о поэте, как о хрупком ангелоподобном юноше, именно Ариэле. Первым его так назвал Ли Хент, а к концу века это сравнение закрепилось за ним.

Через неделю после кремации была найдена затонувшая яхта, правда, поднять ее оказалось делом очень трудным, но с помощью капитана Робертса и его друзей яхту всё-таки вытащили на берег. При первом осмотре обнаружилось серьезные и труднообъяснимые повреждения. Мачта была как бы выдрана из палубы с частью досок. Все сходились на том, что для Шелли, отчаянно смелого, не научившегося не только плавать, но даже держаться на воде – конец наступил мгновенно. Капитан Робертс запомнил его слова «Если «Ариэль» будет тонуть, я пойду на дно вместе с ним, как часть его груза».

Состояние Мери едва ли может поддаться описанию: «Под моей жизнью подведена черта», – записала она. Но ни

словом не обмолвилась о том, что видение Монстра, явившееся сразу после того, как погас погребальный костер, произнесло роковое предупреждение: «Я сохраню жизнь Перси Флоренса, если Вы перепишите финал «Франкенштейна». Но эта угроза коснулась только краешка её сознания, засев как осколок, грозящий в будущем превратиться в неизбежную реальность.

Мери не решалась возвращаться домой. Поселилась она вместе с беспокойным семейством Кентов в Генуе. Единственное, что соединяло её с прошлым – это хлопоты по основанию нового журнала «Либерал», тем более что рукописи Шелли были в её распоряжении.

Живя под чужим кровом, она не могла найти возможности для занятия литературой и чтением – именно тем, что единственно способно было бы хоть как-то отвлечь её от неотступных мыслей.

Как ни странно, Ли Хент выказывал сухость по отношению к ней, ему вспоминались последние недели жизни Шелли, которые по собственному признанию поэта, были омрачены тяжёлым нервным состоянием Мери. Её уныние сменялось паническими страхами. Поняв, чем вызвана холодность Хента, Мери впала в ещё более глубокую депрессию, терзая себя воспоминаниями недолгих трудных дней перед последним расставанием с мужем. «Холодное сердце! Верно ли, что у меня холодное сердце? Бог весть! Но никому не пожелаю ледяной пустыни, которой оно окружено. Что ж, зато слёзы горячи...» (Дневник 17 ноября 1822 года)

Несколько освободилась Мери от гнетущего чувства вины. Не решаясь делиться с окружающими, она при каждом удобном случае продолжала делать записи в дневнике: «2 октября. На протяжении восьми лет я знала ничем не ограниченное счастье общения с человеком, чей гений будил и направлял мой разум. Я говорила с ним, освобождаясь от ошибок, обогащаясь новыми способностями – мой ум был утолён. Ныне я одна, и до чего я одинока! Пусть звёзды созерцают мои слёзы и ветры унесут мои вздохи, но мысли мои за семью печатями и мне их некому поведать... Да и способна ли я выразить всё то, что чувствую? Имею ли я дар к тому, чтоб облекать словами мысли и душевные порывы, которые терзают меня словно буря. Подобны ли они песку, где вечное волнение моря оттискивает неизменный след? Увы! Я одинока. Никто не посылает мне ответный взгляд, я не могу сказать ни слова от души природным своим голосом – актёрствую для всех, за исключением тени. Какая перемена участи! Сейчас передо мной лишь бумага, которую я наводняю

смутными картинами... Литературный труд, распространение моих идей – вот всё, что мне осталось, чтобы рассеять летаргию...

Казалось всё, как сговорившись, звало меня сюда: все гончие судьбы вели меня к единственной могиле, и все оставили меня; отец, мать, друг, муж, дети, образовавши цепь, вели меня сюда, а нынче все они, кроме тебя, мой бедный мальчик (который послан мне, чтобы я продолжала жить), покинули меня, а я живу, ибо должна исполнить то, что мне назначено. И так тому и быть».

Да. Так тому и быть. Мысленно она уже возвращалась к последним главам «Франкенштейна». Сохранить подругу Монстра – изменить своей идее, выраженной в поступке Виктора Франкенштейна, решившегося уничтожить почти сотворённое. Ибо кто мог поручиться, что племя человекообразных монстров, не начнет заселять Землю? Готов ли автор к этому? Или...

Додумать эту чудовищную мысль было выше её сил. И как защита от угрозы, депрессия охватывала всё её существо, заслоняла, оберегала...

Смерть Шелли оставила её без средств к существованию. Лорд Байрон, всегда великодушный в своих намерениях, но не в поступках, взял на себя обязанность вести переговоры с сэром Тимоти, однако из этого ничего не вышло. Отец Шелли отказался войти в положение Мери, лишь назначил небольшое денежное содержание внуку при условии, что мальчика отправят в Англию, и отдадут на воспитание человеку, которого он сам сочтёт достойным. Но она не могла прожить в разлуке с сыном ни дня. Потеряв троих детей, Мери до сих пор испытывала жесточайшие душевные муки.

Байрон заявил: «Я буду вашим банкиром до тех пор, пока все обстоятельства не разяснятся». Вскоре лорд несколько остыл. Летом 1823 года он стал собираться в Грецию, чтобы примкнуть к повстанцам, и Мери поняла, что ей тоже пора покинуть Италию.

Всё это время Мери переписывала поэмы Байрона, поэтому они часто виделись. Из всех друзей только Байрон обладал особым даром будить в душе Мери живейшее воспоминание: стоило ей услышать голос их знаменитого друга, как мгновенно опять ощущала себя в Женеве с восторженным вниманием следившей за разговором двух поэтов. Переговоры о денежной поддержке Байроном семьи Шелли ещё велись, но как-то уже вяло и неохотно, так что Мери сама отказалась от денег.

Зато Трелони, которого она считала настоящим другом, уделил ей небольшую сумму из своих скромных сбережений перед тем, как они с Байроном отплыли в Грецию. Мери в разговоре с Хентом не

удержалась от сарказма: «Лорд Байрон отплыл с 50 тысячами фунтов, а Трелони – пятьюдесятью».

25 июля 1823 года Мери с сыном покинула Геную и отправилась в Лондон. Надо отметить, что впоследствии Ли Хент с лихвой искупил свою холодность к Мери – он понял как глубоко, безмолвно она скорбит о муже. Они стали лучшими друзьями.

С дороги Мери посылала Хенту бодрые письма и, наконец, добравшись до отца, предупредила их: «Умоляю, не забывайте в каждом письме ставить У.Г., эсквайру, ибо он очень щепетилен по части этикета. Я помню, как несказанно удивился Шелли, когда автор «Политической справедливости» с легким укором осведомился у него, отчего зять адресовал свое письмо мистеру Г.»

Некоторое время Мери с сыном жила у отца, где она никогда не чувствовала себя дома. И как только начала поступать небольшая помощь внуку от сэра Тимоти, она смогла нанять «тихое, опрятное жилище, со славной служанкой», как сообщила она в письме Хентам.

Вскоре по приезде в Лондон, Мери узнала, что «Франкенштейн» идёт в театре (в те годы, чтобы переделать книгу в пьесу не нужно было разрешение автора и соблюдения соответствующих юридических формальностей).

Теплая волна прокатилась по сердцу – это была её первая бессознательная реакция. Но тут же несколько отступивший, было, ужас вновь охватил её. Сесть за стол и переписать. Немедленно. Сразу же. С чего начать? Мери склонилась над столом...

«Однажды вечером я сидел в своей лаборатории... Я содрогнулся при мысли, что будущие поколения будут клясть меня, как их губителя, как себялюбца, который не поколебался купить собственное благополучие, быть может, ценой гибели всего человеческого рода.

Я задрожал охваченный смертельной тоской. И тут, подняв глаза, я увидел Монстра, заглядывающего в окно...

...Я вышел из комнаты и, заперев дверь, дал себе торжественную клятву никогда не возобновлять эту работу...

...Я услышал шаги в коридоре, и Демон, которого я так боялся, появился на пороге: «Ты уничтожил уже почти живую мою подругу... Но запомни, я буду с тобой в твою первую брачную ночь».

Мысли Мери вернулись к тому видению полусна-полуяви, когда Виктор Франкенштейн бежал в ужасе от своего творения. Её снова охватило чувство материнской жалости к беспомощному, но грозному созданию... Из соседней комнаты доносился весёлый

голос играющего Перси Флоренса. Во что бы то ни стало защитить свою последнюю драгоценность, которая куда как дороже собственной жизни. Да, она исполнит требование, услышанное в самый трагический час её жизни, когда несгоревшее сердце Шелли, ещё тёплое, легло на её ладонь. Перо заскользило в нужном направлении, но... бумага оставалась чистой, ни одной буквы. «Этого не может быть. Да ведь и того, что произошло – угроза существа, созданного лишь моим воображением – красные пятна на шее мертвого Уильяма, «с мясом» вырванная мачта яхты, голос, услышанный только мной – быть не может». Откуда-то возникло слово «симпатические чернила». Стоит воздействовать на бумагу теплом или каким-то химическим веществом... Мери продолжала писать по инерции. Стопка листов белой бумаги неуклонно росла.

Со временем она преодолела свой страх, т.е. страх Франкенштейна; свою, т.е. его, ответственность за род человеческий, который мог быть истреблен, создай он, Франкенштейн, подругу Монстру. Вместе они смогли бы населить землю подобными себе чудовищными существами, угрожающими людям. Мери решила перешагнуть через этот страх и эту ответственность. Она вернула Франкенштейна к прерванной им работе, к его колбам, пробиркам, к его верстаку – операционному столу, на котором с быстротой воображения возникло отвратительное существо, размерами подобное Монстру, его очертания напоминали женскую особь.

Ужас перед неизвестностью охватывал Мери, хотя с тех самых пор, когда голос Монстра произнёс роковые слова, ей уже не являлись никакие знаки или распоряжения Дьявола. Лишь с регулярной настойчивостью она вспоминала то полную невыносимых страданий исповедь Монстра, то исповедь самого Франкенштейна.

«Зачем я не умер, – стонал Виктор, – почему я, самый несчастный, чем кто-либо, не впал в забвение и не обрел покой? Смерть уносит цветущих детей – единственную надежду любящих родителей; сколько невест и юных возлюбленных, находящихся в расцвете сил и надежд, становятся добычей червей и разлагаются в могиле. Из какого же материала я сделан, что смог выдержать столько ударов, от которых моя пытка не прекращалась».

Затем следовало мучительное оправдание Монстра, которому удалось добиться встречи со своим создателем: «Ты несправедлив, я не стану угрожать, я готов убеждать тебя. Ты затаил злобу, потому что несчастен. Разве не бегут от меня, разве не ненавидят меня все люди? Ты сам, мой создатель, с радостью

растерзал бы меня. Я хотел убедить тебя. Злобой я могу только навредить себе в твоих глазах, ибо ты не хочешь понять, что именно ты её причина. Если бы кто-то отнёсся ко мне с ласкою, я бы отплатил бы ему стократно; ради одного этого создания я помирился бы со всем человеческим родом. А то, что я прошу у тебя, – разумно и скромно. Мне нужно существо другого пола, но такое же отвратительное, как я. Я удовольствуюсь этим. Если ты согласен, то ни ты, никто другой никогда нас больше не увидит».

Постепенно Мери осознала, что единственный выход из создавшегося положения – убить самого Франкенштейна, и тогда Дьявол совершит то, что он и совершил в самом конце романа. Мысленно она вернулась к той ужасной сцене, когда Виктор, окончательно решив уничтожить почти уже созданную подругу Монстра, отбрасывает полотнище с её чудовищного тела и поспешно начинает его расчленять.

Спустя несколько часов (работа была ещё не закончена), Виктор, вдруг побледнев, качнулся и замертво упал возле огромного верстака. Обдумывая, что могло бы стать причиной внезапной гибели молодого учёного, Мери решила, что это может быть повышенное содержание паров ртути в его лаборатории. Виктор торопился, его лихорадочные движения не были рассчитаны с необходимой точностью. Единственная мысль, владевшая им – покончить с бредовой идеей дать Монстру подругу и тем самым обречь человечество на гибель.

На месте трагедии как из-под земли вырос Монстр. Он склонился над телом покойного. Слёзы текли из его глаз. Осторожно подняв Виктора на руки, он выпрыгнул из окна. Мери слышала его последние слова «Я сожгу тело моего создателя и сам сгорю в этом пламени».

Мери уронила голову на стол. Её сознание медленно обретало уверенность, что она сделала всё необходимое для спокойной и здоровой жизни сына.

Постоянный, подспудный страх отпустил Мери. Но в истории роман остался жить в своём первоизданном варианте. Мери никогда не могла бы представить себе, что спустя почти два века всё ещё будут продолжаться театральные постановки, а с появлением кинематографа (кто знал до чего дойдёт прогресс) возникнут десятки киноверсий «Франкенштейна».

Между тем, жизнь Мери была полна неотложных дел, встреч, забот. Стихи Шелли, собранные ею в последний сборник, вышли в свет и начали продаваться. Шелли становился известен, даже популярен. Но сэр Тимоти пригрозил отнять у внука те небольшие средства, которые положил ему. Условие

продолжить помощь – Мери не должна издавать ни сочинений Шелли, ни его биографии. Ей пришлось расторгнуть договор с издательством. Разойтись успели 309 экземпляров.

Мери не прекращала своей литературной работы, но, как пишет она в дневнике, «моя фантазия мертва, мой дар иссяк, энергия уснула».

Из душевной спячки её вывело неожиданное сообщение из Греции. 19 апреля 1824 года умер Байрон. Под наплывом чувств она на время забыла всё, что их разделяло. Возвращаясь в прошлое, она пишет: «Альбе, дорогой, своенравный, пленительный Альбе...». Станным образом, случившееся пробудило её ум и возвратило живость её перу.

В результате в 1826 году появился роман в трёх томах «Последний человек». Действие романа происходит в 2100 году. Человечество уничтожено чумой, и некто Лайонел оказывается последним человеком в мире. Он рассказывает о борьбе с чумой и о смерти своих знакомых. Критики считали, что здесь нашли отражение её переживания – гибель мужа, последовавшая вскоре за ней смерть Байрона (один из персонажей романа умирает во время войны в Греции). Эти потери опустошили её, как чума опустошила Землю в романе. «Последний человек» был воспринят отрицательно. Обозреватели высмеивали идею автора о возможности такого стремительного конца цивилизации – человечество было уничтожено чумой в течение нескольких лет. Роман не переиздавался до 1965 года, когда он привлёк новое внимание критиков, возможно потому, что во второй половине XX века идея о такой быстрой гибели человечества уже не выглядела нереальной.

Дневник 26 июня 1827. «Я свела знакомство с Томасом Муром, он чудесно напоминает мне о прошлом и очень пришёлся мне по душе». Дар общения, которым обладал Мур, привлекал к нему сердца многих выдающихся людей эпохи. Мур говорил ей о Байроне, она ему – о Шелли. «Как ни эфемерна эта радость, я буду предаваться ей, пока возможно» – очень типичное для Мери высказывание.

Эта новая дружба пришлась на тяжелое для неё время. Утрата общения с Джейн была ещё одним непосильным испытанием. «Моя подруга оказалась предательницей. Так вознаградили меня за четыре года преданности».

Пока подруги жили вместе, Мери не замечала, что Джейн, несмотря на доброту и приветливость, тяготилась её обществом. Со временем ушей Мери коснулись сплетни, которые усердно распускала Джейн, похваляясь своей властью над Шелли в

последние месяцы его жизни. Она очень пренебрежительно отзывалась о жене поэта. Почти пятилетнее ухаживание Хогга придавало Джейн чувство защищенности. На самом деле отношения между ними были гораздо ближе, чем поначалу представлялось Мери.

Джейн ждала ребенка от Хогга и летом переселилась к нему. Мери, несмотря на обиду, нанесенную подругой, тем не менее, была рада за неё.

«Что за торжище этот мир! – записала она в дневнике позднее. – Сердечные порывы – чувства более драгоценные, чем серебро и золото – всего только расхожая монета. А что приобретается взамен? Наиболее презренно то существование, которое не требует ни ваших чувств, ни жара сердца».

Мери Шелли хранила молчание о своей работе, говорила о ней неохотно. В своих письмах и дневниках она редко упоминает свои романы, а если и упоминает, то в скупых словах, одни лишь факты. И чтоб дополнить эту «несовершенную картину» и отыскать страну её воображения, нужно читать её романы. Она была не только дочерью Уильяма Годвина и Мери Уолстонкрафт, не только женой Перси Биши Шелли и матерью сэра Перси Флонеренса Шелли, она была писательницей непреходящей славы.



Валерий Черешня

Переводы

Луиза Глик, Джеймс Мерила, Роберт Фрост,
Дилан Томас



Луиза Глик

Луиза Глик (или Глюк, Louise Glück) родилась в Нью-Йорке в 1943 году.

Окончив колледж Сары Лоуренс и Колумбийский университет, Луиза Глик преподавала поэзию во многих учебных заведениях Америки. Её первый сборник стихов "Первенец" (1968), написанный в форме монологов, отличался злостью и агрессивностью. С годами её поэтическое мастерство становится все более и более изобретательным. В 1985 году Луиза Глик получает национальную премию критиков за сборник "Триумф Ахилла", в котором она обращается к архетипическим образам из классических мифов, волшебных сказок и Библии. За книгу "Дикий ирис" (1992) Луиза Глик была награждена Пулитцеровской премией.

Сегодня она признанный поэт, автор многих поэтических сборников и книги эссе "Доказательства и теории".

Дикий ирис

И вот, после всех мучений,
открылся выход.

Эй, вы, снаружи: то, что зовётся смертью, –
помню, –

шум, опахало сосны надо мной.
И всё. Тусклое солнце
блеснуло в просвет.

Ужас сознания,
оказавшегося во тьме
земли.

И вдруг, всё прошло: этот страх, –
стать бессловесной душой, –
исчез, земля

слегка просела. А я приняла их за птиц,
мелькнувших в ветвях.

Вам, позабывшим
свой возврат из иного мира,
я говорю вновь обрётённой речью: всё
возвращается из забытья,
чтоб обрести голос.

Из моего средоточия
вырвался огромный фонтан, тёмно-голубые тени
на лазурной морской глади.

Заутреня

Непостижимый отец, когда мы впервые
лишились рая, Ты сотворил
его подобие: слегка другое,
чтоб преподать урок, но и похожее:
и там есть красота, и здесь –
вот только
мы так и не усвоили урок. Покинутые,
устали друг от друга. Потом
настали годы тьмы: посменно
работали в саду, впервые слёзы
омыли нам глаза, когда земля
в соцветье лепестков предстала
то тёмно-красных, то телесных –
мы думать позабыли о Тебе,
которому научены молиться.
Мы знали: человеку не дано
любить лишь то, что воздаёт любовью.

Затихающий ветер

Я любил вас, когда сотворил,
теперь – презираю.

Я дал вам всё необходимое:
подстелил землю, укрыл голубым небом –

но чем дальше я уходил от вас,
тем отчётливей видел:

ваши души, которые могли стать необъятными,
усохли,
стали мизерными и болтливыми.

Я одарил вас всех
голубишной весеннего утра,
временем, которым вы не сумели воспользоваться, –
вы захотели большего, – дара,
предназначенного не вам.

Но чего бы вы ни жаждали,
вы не найдёте этого в саду
среди цветущих растений.
Ваша жизнь – не обмирание и воскресение, как у них:

ваша жизнь – полёт птицы
от начала к концу,
от начала к концу, подобно этой радуге,
перекинутой от берёзы
к яблоне.

Ранние сумерки

Откуда вы знаете
в чём моё счастье? Всё рождённое –
мой крест; ни один из вас
не получился.

Но вы настаиваете,
вы убеждаете:
вот этот – лучше,
вот этот – тебе ближе.
И носитесь со своими ценностями –
чистой жизнью, бесстрашьем –
к ним вы стремитесь.

Что вы можете знать обо мне,
не зная себя?
Вашей памяти не осилить
и прошлого дня –

но не забудьте, что вы – мои дети.
И муки ваши не от других,

а оттого, что вы рождены,
оттого, что вам понадобилась
своя жизнь.

Колыбельная

Отдохни; у тебя было
довольно волнений нынче.

Сумерки, рано темнеет. Светлячки
вспыхивают то тут, то там по углам комнаты,
и в раскрытое окно веет сладость лета.

Не думай ни о чём.
Просто вслушайся в моё дыханье, в своё,
оно, как светлячки, каждый вдох –
искорка, озаряющая мир.

Я так давно убаюкиваю тебя летними ночами,
и я добьюсь своего; миру не под силу
дать тебе столько покоя.

Тебе стоит научиться любить меня. Людям стоит
научиться любить
молчание и темноту.

Притча о короле

Великий король, глядя вперёд,
видит не судьбу, а лишь сияние
над безымянным островом: как король
он мыслит повеленьями – лучше всего
продолжать наступление, лучше всего
мчаться вперёд по блистающим водам.
Что есть судьба, как не решимость
идти в обход истории,
как не уменье в настоящем
заметить неминуемую связь
меж прошлым (образ короля
как принца юного) и славным будущим
(образ рабынь прекрасных). Но что бы это ни было
там, впереди – откуда
весь этот блеск? И кто мог знать,
что это не обычная заря,
а пламя, пожирающее мир.

Ноша Телемаха

Всё

не так уж скверно.

Возникшая привычка возмещает
отсутствие и недомолвки. Моя мать
из тех, кто ни за что на свете
не выкажет страданий, их считая
уделом рабским. Когда я
пытался поддержать её, она
отвергла состраданье. Быть честней
ей стоило бы и примкнуть открыто
к порядкам Стои. К несчастью
она царица и желала,
чтоб ясно было всем: вот
женщина, что выбрала Судьбу. Безумье
такую выбирать Судьбу. Бог в помощь
отцу, он глуп, коль ожидает
прервать её уединение своим
прибытием. Возможно,
он потому и возвращается домой.

Одеяние

Моя душа иссохла.

Как будто побывала в огне, но не сгорела,
не исчезла. Обугленная,
всё ещё существует. Хрупкая.
Дело не в одиночестве, а в недоверии.
Так всегда после насилия.

Дух, выманенный из тела
и выставленный напоказ,
трепещет, как перед Господом, –
дух, выманенный из одиночества
обещанием благодати,
как ты сможешь вновь поверить
в чью-то любовь?

Моя душа увяла и сжалась.

Тело стало ей велико, не по размеру.

И когда надежда вернулась ко мне,
это была совсем другая надежда.

Вечерние молитвы

Уверена, мой грех –
вполне обыден:
прошу о помощи,
а по сути – ищу защиты,
мольба о сострадании –
скрытая жалоба.

Так тревожно этим весенним вечером.
Я молю дать мне силу и указать путь,
и ещё прошу
избавить от болезни
(сейчас, сейчас) – и неважно
что там ждёт впереди.
Я настаиваю
на этой свободе от будущего,
на храбрости, с которой
я в одиночку встречу испытанья
и выстою.

Этой ночью, в унынье,
я гадаю, каков Он,
Тот, Кто слышит меня.
И пока ветер перебирает
листья молодой берёзки,
я представляю существо
полное сомнений, полное нежности,
в общем, ничего сверхъестественного.

Уверена, мой грех – обыден, и потому
необорим; трепет листьев
могу словами выразить, могу
без слов почувствовать, как если б
сочувствие в припадке полноты
разрешилось иронией.

Пора уснуть, – шелестят они, –
пора начинать лгать.

Оплакивание

О, горе — моя любовь
умирает вновь, моя уже ушедшая любовь,
ушедшая и оплаканная. А музыка тянется,

музыка расставания: деревья
становятся лютнями.

Как жестока земля! Мерцают ивы,
березы, склоняясь, вздыхают.
Как жестоко, как невысказанно нежно!

Моя любовь умирает,
не просто человек, а образ, жизнь сама.

Как жить я буду дальше?
Где находить его,
как не в печали, не в лесу,
прародителе лютни.

Сколько можно: однажды уже пришлось
сказать прощай земле,
страдать,
прощаться навсегда.

Мерцают ивы у каменного фонтана,
к нему сбегаются дорожки из цветов.

О, сколько можно: вот он снова жив,
но так недолго, лишь во сне.

Моя любовь умирает, вновь разлука.
И сквозь завесу ив
восходит солнце, пламеня,
но свет уже не тот.
И птицы вновь поют, и причитает голубь.

Ах, я допела песню. У фонтана
поют вновь ивы
с невыразимой нежностью, ветвями
следа себя в сияющей воде.

Они так ясно видят. Он умирает вновь,
и мир с ним вместе. Это будет вечно,
по крайней мере, до моей кончины.

Эрос

В отеле, придвинув стул к окну, смотрю на дождь.

Это был то ли сон, то ли транс —
я любила, и все же
ничего не хотела.

Не хотелось ни коснуться, ни увидеть тебя.
Хотелось одного:
комната, стул, напев дождя,
часами, в тепле весенней ночи.

И все; сидеть — и только.
Душа съежилась: такая малость наполняла ее.
Я смотрела на стену ливня, закрывшую темный город
—

ничто не связывало нас; я отпустила тебя:
живи, как хочешь.

С рассветом дождь прекратился. Я занялась
вседневной суетой, я была свободна,
но двигалась, как лунатик.

Тебя больше не было во мне.
Пару дней в чужом городе.
Разговор, прикосновение руки.
И вот, я сняла обручальное кольцо.

Это все, чего мне хотелось: стать голой.

Время

Сперва чересчур, потом слишком мало.
Детство: болезни.
У постели маленький колокольчик —
волны его звона приносят маму.

Болезнь, серый день. В ногах постели
спят собаки, наверное, они всё знают
про детство: лучше не иметь сознания.

Дождь оставлял грязные потёки на окнах.

Я сидела с книжкой, рядом колокольчик.
Не слыша голоса, я вырабатывала свой голос.
Не видя знамений, я выбрала жизнь в духе.

Дождь то припускал, то затихал.
Месяц за месяцем, в бесконечном пространстве дня.
Сны путались с реальностью.

Потом я выздоровела; колокольчик убрали в шкаф.
Дождь перестал. Собаки стояли у двери,
просясь на прогулку.

Я выздоровела, стала взрослой.
И время хлынуло – подобно дождю,
его было много, такая громада – не сдвинуть.

Ребёнком я жила в полусне.
Болела; была под защитой.
И всё же – в мире духа,
в мире серого дождя,
утраченного, воскрешённого.

И вот, засияло солнце.
И время пошло, даже, когда его почти не осталось.
И прожитое стало воспоминанием,
воскрешённым, пережитым.

Джеймс Мерилл

Джеймс Меррилл родился в 1926 году, вырос в богатой семье, воспитывался гувернанткой прусско-английского происхождения, обучавшей его французскому и немецкому языку. Когда Джеймсу было тринадцать лет, родители развелись. Учился в престижной школе в Лоренсвилле. Рано начал писать стихи и прозу, первую книгу опубликовал на деньги отца. В 1943 поступил в Амхерст-колледж. Служил в армии в 1944-45 годах, после войны вернулся в колледж и закончил его в 1947, защитил диплом по творчеству Пруста. К этому времени второй сборник стихов Меррилла «Черный лебедь» был выпущен на средства его возлюбленного и напечатан в Афинах. В 1951 в издательстве Альфреда Кнопфа вышла книга его избранного *Ранние стихотворения*.

С 1953 Меррилл на протяжении нескольких десятилетий делил жизнь с писателем Дэвидом Джексоном. Преподавал на отделении английского языка в Амхерст-колледже. С 1959 поэт со своим спутником каждый год несколько месяцев проводил в Греции, испытал глубокое влияние Кавафиса.

Меррилл основал благотворительный фонд в поддержку литературы и искусства, дружил с Элизабет Бишоп. Был канцлером Академии американских поэтов в 1976-1995 г.

Скончался в 1995 году.

Ангел

Над моим столом, трепеща крыльями, сама важность
(хотя и не больше колибри),
в тонко вытканной тунике школы Ван Эйка,
парит вполне ангельский посетитель.

Один его перст указывает в окно,
в самое сердце зимы,
с её хрустальной пустотой, с дымкой,
окутавшей дома и людей, бегущих прочь
от холодного солнца, присевшего в море;
другим —

он указывает на фортепьяно,
где раскрыты ноты Сарабанды №1 на пассаже,
которым мне никогда не овладеть,
хотя он без труда овладел мной.

Ангел открывает уста, словно хочет сказать или
пропеть:

«Творя мир, Господь, между прочим,
сотворил и эту музыку Сати,
все вы — неясный промельк, только целое,
сияющее и вожденное,
достойно хвалы, достойно преклонения,
что ты сидишь здесь со своей тетрадкой,
что возомнил ты о своих деяниях?»,
но не произносит ни звука — мудро: я мог бы
отметить

промахи в Божьем творении, как и в твореньи Сати; и
кстати,

с чего это, походя, он полюбил Сати?

Поддразнивая его, я погружаюсь в свою писанину,
всё запутано там, всё странно бессвязно!

Крошечный ангел сурово трясёт головой.

Сколь безулыбчив его нежный, округлый лик.

Он не хочет простить мне и нескольких путаных
строк.

Чарльз в огне

Уютным вечером у нас велась беседа
о внешности. Мы согласились,

что красота по-прежнему в цене
(поверхность побеждает в нашей жизни
среди водоворотов и камней),
как вдруг, один из нас, ворчливо вставил:
«Без интеллекта и души, дружище,
мы сгинем напрочь». Ничего не оставалось,
как согласиться с этим постулатом.
Трудяга Чарльз принес свои закуски,
затем в миниатюрные бокалы
налил янтарный пунш и всем раздал.
«Послушайте, — сказал всё тот же парень, —
в Париже это делают вот так!»,
и он поджѣг бокал в руке у Чарльза.
Прекрасным голубым свеченьем
пунш занялся. В глубокой тишине
раздался хруст стекла. Стекало пламя,
как принц, ступающий с хрустальной колесницы.
Рабыня духов, чарльзова рука
обволокнулась вмиг перчаткой жути.
Понадобился легкий взмах, пока
всё снова стало плотью. «А, по сути,
всё чушь», — воскликнул потрясѣнный Чарльз,
вглядевшись в зеркало. Там был всё тот же Чарльз.
Он выпил вмиг и сгинул среди нас.

Роберт Фрост

Роберт Фрост (1874-1963) классик американской поэзии. Окончил Дартмутский колледж, посещал Гарвардский университет. Был школьным учителем и фермером. Известность его росла с начала 20-ых годов, по мере выхода сборников. Четырежды лауреат Пулитцеровской премии. Последние годы был приглашенным лектором различных американских университетов, его поэзия оказала влияние на многих современников и последующие поколения поэтов.

Другая дорога

Скрещенье тропинок в осеннем лесу,
Когда б раздвоился, я выбрал бы обе,
А так – словно держишь судьбу на весу,
Стоишь и глядишь сквозь сухую листву
На ту, что теряется в тѣмной чашобе.

Я выбрал другую, – она посветлей,

И мне показалась ещё нелюдимей,
Приятней на вид и трава зеленей;
Хотя для того, кто проходит по ней,
Отличия вряд ли уже различимы, –

Их, если и были, укрыл листопад,
Ещё не примял его грубый ботинок.
О, если бы снова вернуться назад!
Но вряд ли решусь на сердечный разлад,
На зов и соблазны бегущих тропинок.

Со вздохом припомню, годы спустя,
Как чаша весов в равновесье застыла:
Тропинки скрестились в лесу, и я –
Пошёл по заброшенной. Может быть, зря...
Но это всё прочее определило.

В роще

И вновь, и вновь листва, до смерти падка,
улавливает нам тень и ветром петь,
летит плашмя, чтоб землю, как перчаткой,
коричневою шелухой одеть.

И прежде, чем над нами вновь нависнет
благая тень, весенних листьев лак,
она должна сойти в подполье жизни,
она должна пройти распада мрак,

она должна побегам пронзиться
и стать подстилкой пляшущим цветам...
Быть может, всё иначе где-то там,
но здесь – не уклониться.

Октябрь

Октябрьского утра тишь;
созревшим листьям, чтобы всласть
упиться жизнью, нужно лишь
опась.
Вороний грай стоит в лесу,
им завтра отправляться в путь.
октябрьского утра тишь,

молю, помедленнее будь,
подольше время своё дли,
сердца, не падких на обман,
как ты умеешь, обмани.
В начале дня лист оброни,
к полудню сбрось другой,
один — поближе, тот — вдали,
туманом солнце осени,
а дол усыпь листвою.
И медли, медли!

Ради лоз,
чьи гроздья смертны и смуглы,
листы обожжены...
Хоть ради лоз, хоть ради лоз,
распятых вдоль стены.

Дилан Томас

Дилан Томас (1914-1953) – один из самых известных англоязычных поэтов XX века. Родился в Уэльсе в семье школьного учителя. Окончил Грамматическую школу Суонси. Стихи начал писать рано, ещё в школе. Слава тоже пришла рано, после первых газетных публикаций, и к моменту выхода первого сборника («18 стихотворений»), он уже был одним из самых известных молодых поэтов Англии. Несмотря на богемную жизнь, был женат и имел троих детей. Работал на Би-би-си. В последние годы жизни были организованы очень успешные чтения в Нью-Йорке, на которые собиралось много публики.

Стихотворение «Do not go into that good night» («Не уходи покорно в эту ночь») написано в 1951 году и считается одной из вершин творчества Дилана Томаса.

DO NOT GO GENTLE INTO THAT GOOD NIGHT

Не уходи, не уходи покорно в эту ночь,
всей старостью своей восстань на угасанье дня,
всей яростью круши и рви, смиренного не корчь.

Мудрец, ты знаешь, тьма права, словами не помочь,
тусклее их бывалый блеск и молний острия,
но ты дерись, не уходи покорно в эту ночь.

Святоша, все твои дела цунами смерти включь
сметает – вот они плывут, играя и блестя,
круши и рви, пока ты жив, смиренного не корчь.

Дикарь, ты духом одержим, ты славил солнца очь,
но горечь смертного постиг, и вот, поник, грустя, –
не уходи, не уходи покорно в эту ночь.

Ты в смерть идёшь и видишь то, что нам ещё невмочь,
(глаза слепца, как метеор, полны *того* огня),
круши и рви, мой Командор, смиренного не корчь.

И ты, отец небесный, там, в унылой вышине,
казни, спаси меня сейчас, плачь горько обо мне.
Не уходи, не уходи покорно в эту ночь,
всей яростью круши и рви, смиренного не корчь.



Изабелла Мизрахи

Переводы

Шемас Хини, Луиза Глик, Марк Стрэнд, Роберт Лоуэлл,
Дерек Уолкотт, Мария Чурсина



Шемас Хини

Шеймас Хини родился в 1939 году в Северной Ирландии. Изучал английский язык и литературу в университете Квинс в Белфасте, преподавал в педагогическом колледже Сент-Джозеф. Позже, уже став знаменитым поэтом, читал лекции в Гарварде и Оксфорде. В 2003 году в университете Квинс открылся центр по изучению поэзии имени Шеймаса Хини.

Первый поэтический сборник Хини был опубликован в 1965 году. С тех пор вышло множество его книг — поэзия, проза, драматургия, переводы, в том числе «Беовульф» и стихи Пушкина. В книжных магазинах Великобритании его произведения составляли две трети всех книг, написанных ныне живущими поэтами. В 2011 году Хини подарил все свои рукописи Национальной библиотеке Ирландии.

Шеймас Хини был лауреатом многих литературных наград, в 1995 году был удостоен Нобелевской премии. «Только поэзия способна установить такой порядок вещей, который одинаково подчиняется и воздействию внешнего мира, и внутренним законам поэтического естества», — сказал он в своей нобелевской речи.

Шеймас Хини умер 30 августа 2013 года в Дублине.

Докер

Вон там, в углу, уставился в стакан.
Карнизом кепки спрятан крепкий лоб,
и челюсть, словно передок саней,
замкнула речь в тисках поджатых губ.

Кулак проломит череп молотком
католику – начнись оно опять.
Над пинтой пива пены воротник
ему милее Римского стократ.

Стук молотка – сухая дробь команд,
и Бог – прораб, который знает как
устроить жизнь в две смены – труд, досуг.

А к Воскрешенью подадут гудок.

Сидит он, туп и строг, как Кельтский крест,
к молчанию и креслу он привык:
притихнут ночью дети и жена,
услышав кашель и в парадной стук.

Солнечный свет

Солнце освещает двор,
пустоту его,
насоса раскалённое железо,
из которого, как мёд,

капли медленно стекают
в мятое ведро с верёвкой,
и, как сковородка, солнце
отбывает длинный полдень,

охлаждаясь у стены.
Вот её, в порезах, руки
над доскою месят тесто.
Раскалившаяся печь

шлёт проклятие угара
в угол, где стоит она,
фартук весь в муке, и боком
подоконника касаясь.

Вот она муку сметает
со стола крылом гусиным,
вот сидит, расставив ноги –
ногти белые и в пятнах

полукружъя полных икр.
Пауза. И ждёт покорно
двух часов, пока ватрушки
подойдут – пробьют часы.

Вот она, любовь: похожа
на совок из жести,
потопивший блеск свой
в банке с гречкой.

Из Глэнморских сонетов

Распаханные гласные: сырая
земля, и разогревшийся февраль,
тесьмой тумана в борозды спадая,
подставил гулу тракторному даль.
Дыханье акров не уловишь ухом.
Счастливец, кто бы их пройти посмел
и суть земли, открывшейся под плугом,
смог воплотить. Возделан мой надел!
Видавший виды лемех ест подзол
любого слова. Куст, что не зацвёл –
от запаха полей я оживаю.
Что ж, подожди... Проросшие виденья
уже шагают к станциям весенним
и кружит память снегопадом в мае.

Луиза Глик

Луиза Глик (или Глюк, Louise Glük) родилась в Нью-Йорке в 1943 году.

Окончив колледж Сары Лоуренс и Колумбийский университет, Луиза Глик преподавала поэзию во многих учебных заведениях Америки. Её первый сборник стихов "Первенец" (1968), написанный в форме монологов, отличался злостью и агрессивностью. С годами её поэтическое мастерство становится все более и более изобретательным. В 1985 году Луиза Глик получает национальную премию критиков за сборник "Триумф Ахилла", в котором она обращается к архетипическим образам из классических мифов, волшебных сказок и Библии. За книгу "Дикий ирис" (1992) Луиза Глик была награждена Пулитцеровской премией.

Сегодня она признанный поэт, автор многих поэтических сборников и книги эссе "Доказательства и теории".

Из цикла «Вечерние молитвы»

I know what you planned...

Я знаю, что Ты задумал, что Ты имел в виду,
заставив меня полюбить этот мир так,
что невозможно от него отвернуться, отказаться
навсегда –
он ведь здесь, вокруг, когда я закрываю глаза:
птичье пение, запах сирени весной, роз – летом.
Ты собираешься всё это отнять, каждый цветок,
всякую связь с землёй.

Зачем Ты ранишь меня, зачем хочешь оставить
напоследок опустошённой, если не для того,
чтобы, истосковавшись по надежде,
неспособная увидеть,
что ничего мне уже не остаётся,
я, в конце концов, выбрала Тебя.

Once I believed in you...

Когда-то я верила в Тебя. И посадила смоковницу.
Здесь, в Вермонте,
где почти нет лета. И загадала: если приживётся,
значит, Ты есть.

Получилось, что Тебя нет. Или Ты обитаешь
только в тёплых странах:
Сицилии, Мексике, Калифорнии,
где растут неправдоподобные абрикосы
и нестойкие персики. Наверное,
в Сицилии можно увидеть Твоё лицо, а здесь
мы едва различаем подбой Твоего покрывала.
А я так и не научилась
делить урожай помидоров с Иоанном и Ноем.

Если есть справедливость в том, другом мире,
обделённые природой здесь, такие, как я,
получат львиную долю всего
по чему они так изголодались –
их жадность будет лишь хвалой Тебе.
И никто не восславит Тебя больше, чем я
(ведь я так долго сдерживала это желанье),
и не заслуживает больше, чем я,
сесть по правую руку от Тебя, – если она существует,
–
вкушая скоропортящуюся вечную смокву.
Ей не выдержать транспортировки.

Your voice is gone now...

Твой голос затих, я едва слышу тебя.
Твой звёздный голос теперь только память,
и земля опять потемнела,
когда Ты нахмурился.

Трава вечером темнее там,
где падает тень от клёна.
И всё молчит, так что я поняла –
мне нет к Тебе доступа,
я для Тебя не существую,
Ты вычеркнул моё имя.

Как же Ты презираешь нас,
если веришь, что только утраты
могут доказать нам Твою силу:

первый дождь, осыпающий белые лилии.

Когда Ты уходишь, то насовсем,
вычитая видимую жизнь из вещей.
Но не всякую жизнь,
не то мы от Тебя отвернёмся.

Марк Стрэнд

Родился в 1934 году в Саммерсайде на Острове Принца Эдварда. Юность провел в США, а также в Южной и Центральной Америке. В 1957 году получил степень бакалавра в Антиох Колледже. Обучался живописи и получил степень бакалавра искусств в 1959 году. В 1960—1961 годах был лауреатом стипендии Фулбрайта, в рамках этой программы изучая итальянскую поэзию 19-го века.

В следующем году посещал курс литературного творчества в группе для молодых писателей штата Айова и получил степень магистра искусств в том же году. В 1965 году читал лекции в Бразилии. Впоследствии преподавал во многих американских университетах и колледжах. С 1997 по 2005 год был профессором социологии в университете города Чикаго. С 2006 года — профессор английского языка и литературы в Колумбийском университете штата Нью-Йорк.

В 1981 году был избран членом Американской Академии Словесности. В 1990 году стал поэтом-лауреатом США, в этой должности его в 1991 году сменил его друг Иосиф Бродский, впоследствии написавший эссе о творчестве Стрэнда, где он назвал его и Чарльза Симика «поэтами безмолвия». В 1999 году Стрэнд стал также лауреатом Пулитцеровской премии.

Иосиф Бродский о Марке Стрэнде:

«Не говоря о приемах, Марк Стрэнд в основном поэт бесконечности, а не сходства, сердцевины и сути вещей – а не их применения. Никто не умеет "вызывать" молчание, отсутствие, пустоту лучше, чем этот поэт, в чьих строках вы слышите не сожаление, а скорее уважение к тому неосознанному, что окружает и поглощает нас. Перефразируя Роберта Фроста, обычное стихотворение Стрэнда начинается с узнавания и превращается в грёзу – грёзу

бесконечности, подсказанную серой подсветкой неба, кривизной дальней волны, упущенной возможностью, моментом сомнения».

Что же всё-таки было?

*Лучше бы не пришлось объясняться:
«Пожар! Но мы ведь не можем ничем
помочь, потому что мы в поезде. Правда?»*

Я не знаю
как это так получается:
ты сидишь рядом,
думая о своём,
когда вдруг я вижу из окна – пожар.

Я торможу тебя и кричу:
«Пожар! Но мы ведь
не можем ничем помочь,
потому что мы в поезде. Правда?»
Ты смотришь на меня странным взглядом,
как будто я сказал что-то лишнее.

Откуда тебе знать:
может быть, у меня тайная страсть к пожарам,
и я путешествую поездом,
чтобы не нужно было их тушить?
А может быть – поезда
разжигают любовь к огню?

Или: мне кажется,
что ты – переодетый пожарный.
Наверное, я опять ошибся,
и ты, как раз, любишь
хороший пожар,
как знать?

Скорее всего, ты думаешь о чём-то другом.
Например: если некуда пойти,
не стоит садиться в поезд.
Да и я,
глядя на своё отражение в окне,
мог и придумать про пожар.

Конечная станция

Мы добились, чего хотели.
Похоронили мечты, предпочтя им взаимные обвинения.
Узаконили горе, и объявили страсть к разрушению привычкой.
И вот, мы здесь.
Обед готов, но кусок не лезет в горло.
Мясо стынет в белом озере тарелки.
Вино не пригублено.

В нашей жизни есть свои плюсы:
ничего не обещано, ничего не отнято,
не нужно быть добрым или тактичным,
некуда идти и незачем оставаться.

Брак

Ветер поднимается с разных сторон
и медленно набирает силу.

Она кружится в густом воздухе.
Он шагает сквозь облака.

Она готовится,
встряхивает волосами,

подводит глаза,
улыбается.

Солнце сушит ей губы,
кончик языка их увлажняет,

он стряхивает пылинки с костюма,
поправляет галстук

и закуривает.
Скоро они встретятся.

Ветер несёт их друг к другу.
Они машут.

Ближе, ближе.
Обнимаются.

Она разбирает постель.
Он стягивает брюки.
Они женятся,
и рождается ребёнок.

Ветер разносит их
в разные стороны.

– Какой сильный ветер! – думает он,
поправляя галстук.

– Как я люблю ветер! – восклицает она,
надевая платье.

Ветер дует во всю мощь.
Всё дело в ветре.

Слова для зимы

Скажи себе,
когда станет холодно
и мир затянется серой плёнкой,
что ты будешь продолжать идти,
прислушиваясь к той же мелодии, –
не важно где:
под куполом темноты
или среди снежной равнины
под немигающим лунным взглядом.
Сегодня ночью, как только потянет холодом,
скажи себе,
что это лишь мелодия,
которую наигрывают твои кости.
И скоро ты сможешь, наконец,
прилечь под костром зимних звёзд.
А если случится так,
что ты не сможешь идти вперёд
или вернуться,
и конец застанет тебя
там, где ты окажешься,
скажи себе
в эту последнюю пронизывающую стужу,
что не хотел бы ничего изменить.

Из книги «Тёмная гавань»

II

Я пишу из мест, которых ты никогда не видела,
где не ходят поезда и не садятся самолёты,
там, на западе,

где тяжёлые изгороди сугробов у каждого дома,
где ветер рычит в пустое лицо луны,
где люди неприхотливы,

и моды, если доходят, то с опозданием,
и принимаются с досадой, как тяжкое бремя.
В семь часов вечера там загорается горстка огней

и к десяти потухает.
на кладбище звёзд каждому снится – он ангел,
парящий над сладко-пахнущим городом.

По воскресеньям нет служб в местной церкви,
и любая причуда доступна.
Дни, как страницы в семейном альбоме:

свадьбы и длинные встречи с родными,
ангельский хор у горящей жаровни,
и все смотрят в сторону – не в силах поверить.

Роберт Лоуэлл

Роберт Лоуэлл родился в 1917 году в Бостоне, получил филологическое образование в Гарварде и в Кэньон-колледж в Огайо, после чего занялся преподаванием. Пацифист по убеждениям, он отказался служить в армии в годы Второй мировой войны, за что был на короткое время заключен в тюрьму. Впоследствии, в 1960-х годах, он протестовал против войны во Вьетнаме.

Уже в двадцать лет Лоуэлл был автором стихотворений, которые через несколько лет вошли в его первую книгу «Страна непохожести», 1944. Следующая книга Лоуэлла — «Замок лорда Уири», 1947 — принесла ему широкую известность, за неё автору была присуждена Пулитцеровская премия. Постепенно его стихи становились всё менее формальными, он отказался от традиционных размеров и ритмов. Самым главным для Лоуэлла в те годы было выработать его неповторимый поэтический «голос». Его тексты тех лет стали образцом так называемого «исповедального направления», в них поэт ведет прямой разговор с читателем.

Следующая книга поэта, которая называлась «Дельфин», стала второй книгой Лоуэлла, удостоенной Пулитцеровской премии. В 1976 году вышел в свет большой том его избранных стихотворений.

Поэт скончался от сердечного приступа в нью-йоркском такси в 1977 году.

Последнее лето в Милгейте

Воздух опоздания продувает обновлённую спальню.
Солнце поджигает навощенные полы.
Возраст примиряет нас со скукой,
и смерть уже не кажется неотвратимой.
Я всё еще помню больше, чем пережил:
когда-то это было мерилом вечности –
оставаться верным любимому существу,
в упавших яблоках, казалось, таились духи.
Блестел необитаемый гранит Мэйна,
каждая скала – наше общее надгробие...
Рядом со мной смотрящая вдаль жена, дети,
суровое небо Кента, облака как огромные грибы.
В нехолодные годы трава остается зелёной
до самого Нового Года. Я, жена, дети.

Рождество

Слишком часто теперь твой голос радостен,
я всегда слышу: здравый смысл, осторожность...
Ты открываешь мне самого себя – правду, только
правду –
до тех пор, пока всё так честно, как никогда.
У нас есть сюрприз для тебя к Рождеству.
Я написал своим, чтобы нам не звонили сегодня.
И пришлось убрать твои фотографии.
Пришлось. Выбора не было.
Наша ёлка, выпав из природы,
сбрасывает иголки на голую шишку выключателя.
Это худшее время не кажется несчастливым.
Зелёный сок всё ещё капает на сухую кору,
торчащие иглы, подрагивая, ловят сквозняки, как
живые.
Я тоже вздрогнул. И потому причислен к живым.

Платье из кружев

Листья – незатейливый узор.
Примеряешь нечто эфемерное:
кусочки блестящего серебра на вьющемся кружеве,
если упадешь, то с металлическим звоном.
Трудно понять, отчего так хорошо:
настроение, навеянное игрушками, –
ощущаешь себя лучшей женщиной в мире.
Охладите зелёные тени, разгладьте редкое солнце.
Сбор урожая превратил разбухшую от грязи рубашку
в лохмотья.
Агония твердит, что мы не можем жить под одной
крышей,
под одним именем. Это приговор –
я потерял всё, но чувствую прилив сил,
прошёл пять миль и всё ещё хочу идти,
всё ещё хочу засыпать с тобой рядом... быть
молодым.

Дерек Уолкотт

Дерек Уолкотт, тринидадский поэт и драматург, родился 23 января 1930 года в Кастри на острове Сент-Люсия в семье учителей. В 1953 г. семья поэта переезжает на Тринидад, где Уолкотт учится сначала в колледже Санта Марии, а потом – в университете Вест-Индии в Кингстоне на Ямайке (1953), студентом начинает печататься. Получив литературную стипендию Рокфеллеровского фонда, работал в Нью-Йорке. Позднее стажировался и работал в Англии, впоследствии стал профессором Бостонского университета, где преподавал литературу и писательское мастерство.

Первые стихи Уолкотт напечатал собственноручно в 1948 и продавал на улицах Кастри. Первая книга «Посреди зеленой ночи: Стихотворения 1948...1960» (In a Green Night: Poems 1948...1960) вышла в 1962. Она засвидетельствовала, что житель архипелага стал вровень с наилучшими поэтами бывшей метрополии. Поэт пишет преимущественно на английском языке, а иногда прибегает к диалекту креолов.

Затем появились сборник «Отверженный» (The Castaway, 1965), автобиографическая поэма «Другая жизнь» (Another Life, 1973), книги стихов «Звёздно-яблочное царство» (The Star-Apple Kingdom, 1979), «Удачливый путник» (The Fortunate Traveller, 1981), «Середина лета» (Midsummer, 1984), Собрание стихотворений (Collected Poems, 1986), «Арканзасское завещание» (The Arkansas Testament, 1987).

В 1981 г. Д. Уолкотт получил грант «для гениев» (\$250 000) от Фонда Джона Д. и Кетрин Макартур.

В 1992 г. Дерек Уолкотту была присуждена Нобелевская премия «за блестящий образец карибского эпоса в 64 разделах». «Новый

Омир» – величественное стихотворное произведение, путешествие по временам и пространствам, своего рода лирическое обозрение истории Вост-Индии в течение нескольких веков.

Иосиф Бродский о Дереве Уолкотте:

«Метрическое и жанровое его разнообразие у меня просто вызывает зависть... Его стихотворения – это сплав речи и океана».

Из поэмы «Иная жизнь»

Почему?
Хочешь знать почему?
Так спускайся к воде,
там, где хижинки – в ряд,
сшиты проволокой старой –
из колотых досок, стоят,
когда кровь вытекает
у солнца из кисти
в лазоревый ковш,
и тогда ты поймёшь;

или следуй тропой
худых поросят
мимо кучи навоза в деревню,
где от мерного грохота волн
колыхается глина
с предсмертным шипеньем,
и краб
перепуганной буквой
скользит в свою щель,
понимаешь теперь?

Или въевшийся запах вдохни
затхлых, словно вода
тихой заводи, тряпок
и углов просоленной лавочки,
где бочки с треской
пахнут юбкой старухи,
и тогда ты узнаешь, как глухо

тиски горизонта
на горле сомкнутся, когда
заблеставшая первой
из спичечной серы звезда

ловит гул насекомых,
кружащих вокруг
фонаря,
как над язвою – мухи.
Надоело? Тогда загляни
в кинотеатрик, пока там огни

не зажглись, до сеанса иллюзий,
и ты вздрогнешь от хлопа
воды под рассохшимся днищем
осевшей в песок старой шхуны.
А ещё тишина
среди грозно построенных
в марши отрядов
банановых рощ,

сладкий запах подмышек
кокосовых пальм,
вонь из мёртвых разинутых ртов
отлетевших орехов,
оскаленных ртов
на полоске длиной в бесконечность.

Поправка к завещанию

В шизофреника превратил меня стиль
этой прозы внаём. Что же, я заслужил
свою ссылку. По песку, вслед за лунным серпом,
столько миль
исходил,
до кости обгорев,
чтобы с кожей сошла к океану любовь.

Поменять язык, как родиться вновь.

Старой правды не оправдать.
Утомив горизонт, волны пробуют вспять,
им навстречу чаек проржавленный крик –

как тогда, в Шарлотсвилле, зловеще парят
над телами прогнивших пирог.

Как я верил тогда, что люблю свой народ
бескорыстно!

Передумывать поздно – нет мест у корыта.

Наблюдаю теперь победителей, рвущих, как псы,
друг у друга объедки удачи.

Я полжизни прожил,

и с обугленных рук
кожа сходит, слюится, как лук
из загадки Пер-Гюнта.

В сердце пусто, нет страха конца.
Слишком многих я знал мертвецов.
Всё похоже у них,

даже смерть. И в огне
плоть уже не страшит
ни горнило печное,

ни зольник земли,
ни плывущий из облака в облако призрак луны,
отбеливший берег опять в чистый лист.

Безразличие – та же ярость. Только молчит.

Мария Чурсина

Мария Чурсина родилась в Москве, в 1969 году. В 12-летнем возрасте с матерью эмигрировала в США, где с отличием окончила Нью-Йоркский университет, после чего недолго проучилась в аспирантуре Иерусалимского университета по специальности «востоковедение». В 1991 году возвращается в Москву, где сотрудничает в английской редакции газеты «Moscow News».

В 2000 году она трагически погибла.

Английские стихи Мария Чурсина писала в возрасте 16-17 лет. В эту подборку вошли переводы стихов из единственного издания, вышедшего в 2001 году «Ink-Link» («Путём письма»).

Табунки слов
изящно выгибают спинки,
переступая копытцами,
и вымирают,
как мох на холмах.
Что же мне теперь

жевать кончики прядей,
дрожа над каждой гласной,
по капле упавшей в строку?
Приклеить пальцы к вискам,
чтобы читать, как слепые,
то отдалённое бульканье,
что может выплеснуться
на бумагу – слизкое,
как только что пойманная рыба,
выгибаясь и шлёпая.

А потом эти рыбы глаза
закатятся в мёртвые полости.

* * *

Просту дыра,
дыра в небе,
плюющая носовыми платками,
словно вишнёвыми косточками,
распускающимися белыми цветами
по пути на землю.
Падая сюда, на землю,
где туман кутает мысли.

Где мы сидим над тетрадками
на этой отметке местности.
Мы владеем героями,
выбираем материал для чтения,
и уютно занимаемся любовью.
Составляем списки содеянного.
Приди, приди цветение вишни!
Сюда, предмет эфирных устремлений!
Дай окунуться в твоё озеро,
аккуратно сложенное в кармане.
Более, чем что-либо другое,
мы заслужили свою глупость.

* * *

Истинный ритм
бесстрашная схватка
борение с небом
гул в голове
и глубокий покой –

тогда это она, поэзия.
Это её поступь.
Изнуряющая пирамида слов.
Магия твоей речи
правит мной,
ранит меня.
Магия твоей речи
таинственно колеблется,
как трепещущая бабочка.
Не как птица –
как мошка.

* * *

Дом – это где
я хочу сидеть.
Ты – это тот,
кого обнимать
под нашей
важной лампой.
Ты – это тот.

* * *

Зелень этой травы – рама
для коричневой скамейки.
Трава и скамейка. Ветер.
Беззаботный перезвон колокольчиков.
Я смотрю искоса
и, пробегая взглядом по стволу,
делаю свинцовые выводы.



Владимир Гандельсман

Переводы

Имон Греннан, Энтони Хект



Имон Греннан

(Eamon Grennan) (род. 1941) – ирландский поэт, родился в Дублине. Живёт в Соединенных Штатах, за исключением кратких периодов, с 1964 года. Был профессором английского языка в Вассар-колледже вплоть до своей отставки в 2004 году.

Ирландия для Греннана не только географическая родина, но страна замечательных литературных традиций и великого языка, и потому его ежегодные наезды в Дублин — своего рода «переливание поэтической крови». Эта «двойная» жизнь обогатила Греннана, словно бы наделив его двойным видением. И в Америке, и в Ирландии он чувствует себя как дома. Вероятно, кочевая жизнь сказалась на том, что он буквально «помешан на птицах» (как отмечает один из критиков), особенно это заметно в ранних вещах.

Греннан работает и в традиционной старинной манере, печально и спокойно глядя на мир, и в импульсивно-современной, пытаясь во что бы то ни стало ухватить мгновение. «Мои стихи,— говорит поэт, — попытка возвращения к жизни. Если вы к тому же неправедный католик, то вы всегда в поисках примирения, утешения, всего, что так дорого и зыбко. Для меня поэзия — это песня печали, торжествующей печали. Стихи подобны морским раковинам. Что-то безвозвратно уходит, и поэтому вы пишете».

Билли Коллинз, поэт-лауреат Америки 2000 года, о Греннана:

«Как-то Шеймус Хини сказал, что стихи бывают подобны цветному стеклу: красочные и переливчатые, а бывают как прозрачное стекло, позволяющие смотреть на мир без прикрас».

У Греннана есть и то, и другое. Стихотворная ткань высшего качества, богатство деталей, напряжённая музыка, напоминающая Кита, каждая строка смачна. В то же время реальность сфокусирована и прояснена, каждая вещь дана в своей интимной сути, и от встречи с ней вы словно бы чувствуете прилив сил. Греннан изучает предметы и мимику повседневности с таким пристальным вниманием, что они обретают новую жизнь, к ним возвращается непосредственность и свежесть.

Он домашний поэт (но не одомашненный), - поэт, видящий малейшие нюансы и всю сложность семейной жизни. И одновременно он естествоиспытатель, путешественник, хроникёр облаков, дождей, водопадов. Названия цветов, и даже сорняков, он знает поимённо.

Совершенно по-францискански он в родстве с живыми существами: с оленем, лебедем, лошадю, летучей мышью, светлячком...

Немногие поэты возрождают жизнь так мощно. Я думаю, для Греннана человеческий опыт освещён, по выражению бенгальца Тагора, «светом смерти». Его стихи празднуют бытие и в то же время расстаются с ним. Печальное торжество в его прощальной точке. При всем разнообразии тем и фонетическом богатстве, я всегда слышу одну и ту же песню: знакомую песню бренности жизни».

Шесть часов

Испарина грибной земли. Под соснами
припахивает пылью, скипидаром.
Поодаль кто-то там шажками сонными.

На кладбище свирель поёт о старом
и дорогом, и в удивлённом воздухе
звучит мотив, и саженцы кивают

друг другу: да, да-да, - минута роздыха -
и вновь своей приязни не скрывают.
Вбираю дух древесный, свежеспиленный,

сверкнувший срез, скворцы себя взрывают,
взлетев на воздух, никнут, в обессиленный
сбиваясь круг, - то шире он, то уже, -

пульсирует, как сердце. В каждом атоме
есть внятный отзыв. Кот, настроив уши,
внимает ветерку, пока разъятыми

на имена явлениями: сонный
прохожий, окна с солнцами распятыми, -
я называю час, в них растворённый.

Фамильная драгоценность

Средь прочего я прихватил из дома
родительского грузную солонку,
литую, в ширину ладони, - мать
к ней тянется, к её стеклянным граням,
или в конец стола передаёт
отцу, он у окна, спиной к окну.

Апофеоз: отец жуёт, уставясь
в газету, мать накладывает нам
еду в тарелки - как им удаётся
не пересечься взглядами? - он первый
встаёт, уходит в кресло - ну-ка, что
сегодня едят, - мать сидит, пока -

короткий разговор иссяк - мы, дети,
всё не подчистим, не сгребём посуду
и не поставим в шкаф солонку, там
она вбирает воздух по слезинке,
покуда не понадобится вновь
её добавка горькая. Сегодня

на кухонном столе стоит, в Покипси.
Дешёвая стекляшка зажилась, -
прочней, чем плоть и кровь, как подобает
фамильной драгоценности, она
передо мной, - я соль хочу
пригубить, но, случайно

её просыпав, - белый иероглиф
изящный на столе, - беру щепоть
и с материнским суеверьем быстро
бросаю через левое плечо,
чтоб отогнать родительские тени
и от исчезновенья уберечь.

Оставаясь в постели

Всё воскресное утро лежим, разговаривая. Окно,
из ноябрьской серости воскресая в звоне колоколов,
осеняется острой, как лезвие, голубизной.
Воздух вспыхивает, мерцает, как сеть. Улов -
капли ласточек, сбитых голодом на лету
с толку, тени скворцов. С прикосновеньем ко льду
холодов, приручаешь истину: мы должны
их принять всем телом. И принимаем, обнажены.

Голоса слоняются, как лунатики, между нами.
Два уступчивых тела сливаются. Полуснами
пробредает любовь, праздно, ленно, летнее дуновение
затопляет зеленью ранней пшеницы мгновенье.

В этом тихом согласии мы, вопреки холодам и зимам,
в прошлых жизнях друг друга смиряемся с
невыносимым.

Тонкое искусство

Матери

Спустя тридцатилетье вновь учиться
в камине разводить огонь. Начни
(сказала бы она) с газет - с известий
вчерашних о смертях, рожденьях, свадьбах
и катастрофах, - чёрно-белый день
Истории пусть выгорает первым.
Затем - крест-накрест - ветки, в чьих мозгах
сухих есть память о взрывном цветенье
и о листве, и разложи средь веток
недогоревший накануне уголь,
и новым углем увенчай свой труд,
как должно обращаясь с древней тьмой,
которой предназначен свет. Взгляни,
как холоден, но как пригляден вид -
всё, как показывала мать, и даже
камин был выметен перед растопкой.
Когда зажжёшь огонь, прикрой его,
пусть прикровенно разрастётся пламя,
прикинись, что ты занят посторонним,
но и малейший вздох не упусти,
ни пауз, ни глотков, ни задыханий,
ни удовлетворённых шепотков,
пока не убедишься, что занялся
(сказала бы она) огонь. Тогда
оставь его в покое, в его тайной,
голодной жизни, как дитя, растущим,
собою становящимся, чужим.

Станция

Мы прощаемся на платформе,
в тишине
цепенеющая громада поезда
насыщает станцию несвершившимся и желанным,
и не сказанным никогда друг другу.

Он забрасывает на плечо чёрный рюкзак
и переминается с ноги на ногу - скорей бы, его взгляд
блуждает за подцвеченным окном,
из-за которого он вот-вот
установится на слепяще-платиновый Гудзон.

Я хочу сказать, что перед ним открывается мир,
но что путь к нему долог, вроде туннеля,
потому что он покидает дом
и уезжает к матери, и мы оба
до мозга костей пронизаны чувством
непоправимости. О чём этот воздух,
густеющий между нами,
потом истончающийся до дыр?
Или сланцево-серые птицы,
которые бормочут что-то своё
под железными стропилами,
затем взлетают,
вычерчивая с лёгкой грацией петли
между тёмной станцией и озарённой рекой?

На мгновение я прижимаюсь к нему щекой, -
моя, с грубой щетиной, и его,
почти девичья, но пожёстче, со слабым пушком,
что-то шёлковое, едва пробивающееся,
заметное лишь в отблесках света,
его предстоящая жизнь, вся - из первых
прикосновений.
Откуда сердечная боль? Моя -
от бессилия вымолвить: хорошо бы вместе;
его -
от страха и трепета,
что я найду те слова, те оперённые слоги,
которые застревают у него в горле.

Во внезапной спешке и толчее,
когда объявляют посадку, он говорит:
пора, - и, едва коснувшись меня,
исчезает. Через минуту
поезд - призрачные лица в дымчатых окнах -
скрежеща колёсами и сцепленьями, медленно
отчаливает,
я иду рядом и машу тому,

кто уже не виден. Позже,
в городе, по пути к материнскому дому,
он войдёт в подземку и пересечёт реку.
Я представляю
его бледно-летающее в тёмном стекле
лицо, светящееся
среди теней, припадающих
и пропадающих прежде,
чем успеваешь их опознать.

Дома зимой

1

Мы в комнате вдвоём. В камине
потрескивают и шипят поленья.
На улице собачий холод: ветви
акации, как хрупкие кристаллы
растут. Латынь и греческий в уме
прокручивая, ты кроишь,
зажав во рту булавки, и с опаской,
чтоб их, избави Бог, не проглотить,
пытаешься мне улыбнуться, я
увяз в журнальном чтиве и в печали,
оплакивающей мою
жизнь, уходящую в песок, и всё же
я несказанно счастлив в этот миг,
объявший нас, как пламя обнимает
сосновые поленья и своим
дыханием их обдаёт и гложет,
невольно претворяя весь свой жар
в уют. Вот так и надо: ничего
напрасно не растрачено, в избытке
тепла и аромата, в этот миг,
склонённая над выкройкой,
ты словно открываешься во мне, -
секунду или две я пуст тобою, -
и это всё.
Затем мы возвращаемся к домашней
и неизменной жизни: ты
с терпением, мне недоступным,
с ней управляешься,
всё так же в гексаметры вслушиваясь и помня

обычаи древних;
я в чтение журнала погружён
и в тишину, как если бы сию
секунду не обжёгся о
горячий миг, не вздрогнул от провала
в другую жизнь и не вдохнул её
смолистый воздух кровообращения,
единого на два сосуда тел.

2

Из полуденно-белого холода
в дом нырнуть, как в стог аромата,
в запах супа, проникший во все
щели, в шторы, в одежду;
дух куриного варева, чеснока,
лука, свёклы, тимьяна, -
он вплетён в твои волосы;
точно нимфа земного
изобилия - в овощной
мякоти руки над курганом костей, -
ты стоишь
перед натюрмортом - блестят
лука шёлковая шелуха
и белейшие чесночины,
рядом ярко накромсанная морковь,
нежная зелень петрушки
и эта горстка костей, -
я вдыхаю
полдень дома,
занесённого снегом, пропахшего
куриным варевом, овощами;
мгновенье -
и ты поворачиваешься к плите -
деревянная ложка ещё дымится -
и говоришь: "За стол!"

ВСТРЕЧА

Лёд с озера сошёл, волна под ветром
доказывает с пеною у рта,
что так и есть. Но ниже полуметром -
лишь руку погрузи - твердыня льда.

А подо льдом - пятнистая форель
с хвостом своих забот. Охотник встречный.
(Ты не вальдшнеп на воле, не беспечный
бекас, но если всё-таки ты цель, -
пока тебя не чует спаниель,
вникая в мокрый вереск, - вроде камня
замри!) Он говорит: "Вот, взять, фазан! -
Закуриваем. - Чуден! Несказанн!
Как тут пальнёшь! - Разлом ружья. - Пора мне".

Патроны. Винноцветные, с торца
блестят, как обручальных два кольца.

Подробность

Глядя, как мчится малиновка вслед за другой,
меньшею птахой, которая вся - трепыханье,
глядя, как длится она в легкокрылой погоне,
молча, с сиятельной грудкой, - а перепелятник,
из небыванья соткавшись над зыбью деревьев,
с неба срывается, светло-коричнев, как плод
зрелый, срывается, воздух собой прожигая,
с тем, чтобы впиться в неё, даровав своей жертве
несколько вскриков над улицей пустынной,
несколько кратких в сплошной тишине изумлений, -
я понимаю, как пишется стихотворенье:
следуя неуловимой мелодии, прерванной грубой
правдой и сердца похищенным криком...

Энтони Хект

Энтони Хект (Hecht, Anthony) (1923-2004) – американский поэт и критик. Особое предпочтение отдаёт медитативной лирике и драматическому монологу. У Хекта постоянно распознаются отзвуки поэтического языка былых эпох (Ветхий Завет, греческие поэты, Данте, Шекспир, У.Б. Йейтс, У. Стивенс) и хроники нашего времени. Одна из наиболее устойчивых черт его поэзии — способность доносить «визуальный» образ вещи, ту особую значительность явлений и психологических состояний, которую в них выявляет свет, представленный в различных оттенках, градациях и символических значениях.

Родился 16 января 1923 в Нью-Йорке. Степень бакалавра искусств получил по окончании Бард-колледжа в 1944, магистра – по завершении учёбы в Колумбийском университете в 1950. Затем преподавал во многих престижных учебных заведениях, включая Кенион-

колледж, Бард-колледж, Гарвардский и Рочестерский университеты. Первая его книга стихов *Созывая камни* (*A Summoning of Stones*, 1954) была благожелательно встречена критикой, но репутацию одного из ведущих американских поэтов принёс второй сборник, получивший Пулитцеровскую премию, – *Трудные часы* (*The Hard Hours*, 1968). Сильное впечатление оставляют стихи из поздних книг Хекта *Миллионы неизвестных теней* (*Millions of Strange Shadows*, 1977), *Венецианские вечера* (*Venetian Vespers*, 1979), *Просвечивающий человек* (*The Transparent Man*, 1990). *Obbligati* (1986) – книга критических эссе и рецензий.

Умер 21 октября 2004 в Вашингтоне.

Перед закатом: приступ любви

В это время дня
конопатят борта на верфи.
В перестуке гулком, между деревьев
поднимается запах смолы,
и расплывы нефти поблескивают на воде, -
в переливах волнистых,
в солнечном свете, -
флорентийской бронзе подобно.

В это время дня
звук проходит чисто
сквозь горячую тишину и слабый
свет. Пустыри тонут в одури
креозота и соли.
Нефть, роскошней тафты двуцветной,
покрывает собою гавань,
мягко-радужная. И видишь
золотистое тело Давида,
Донателловы блики.

Было чудно. Она любила.
В крытой лодке они махнули
к островку, где не слышен город:
ни толпы, ни грохота вагонеток,
ни собачьего лая на баржах.

В это время дня
солнца свет обагрывает землю.
Тополя темнеют рядами,
как имперские слуги.
И лепечут волны и шепчут

о своём нутряном и тихом.
Запах пакли в воздухе, жареной
корюшки, и травы, и вишни.
Этот вечер был совершенней
всей твоей итальянской бронзы.
Нефть разлившаяся как чудо цвета.

*Но и тьма не затмит от Тебя,
и ночь светла, как день:
как тьма, так и свет.*
Псалом 139.12

Как шёлк, струится свет
в оливах, между тем
дня бледное вино
стекает тихо в тень,
в растущее темно,
и сходит день на нет.

По краю дня горят,
как торф горит, огни
и плюшевую тьму
ещё живут они.
К заутрене кайму
рассветом изнурят.

Не так ли и старик
превозмогает ночь -
молчь губ и тела хлад,-
когда рассвет точь-в-точь
и есть его закат,
растущий что ни миг.

Сарабанда по достижению 77-летия

*Вестники пришли. По всем приметам, это они;
белый - их цвет, они взирают на мою голову.*

Словно перца, слегка подгоревшего, запах листвы
донесётся из детства, роскошество тлеющей жертвы,
что ни год приносимой, багряной, опавшей, следы,

или лучше - наколка мороза на тусклой и мёртвой.

За тобой череда январей, прихвативших виски,
и невзгоды погод, и колец годовых отложение
(отражение кругов по воде), и теснение тоски,
и под скрежет зубовный зубов коренное крушение.

Список действующих лиц поистратился и усох.
Недалёкого отрочества постыдные дали.
Только горечь во благо, горчайший спасительный
вдох
и забывчивость, столь примирившая жизнь и печали,

что до странности просто, до странности просто
теперь
всех простить, в том числе и себя, и себя с
помутнённым,
и себя с помутнённым рассудком, и пепел потерь,
едким дымом пропахший, осел и покоится в оном.

Поворот, и скольжение, и вновь поворот, и поклон,
удаляется танец, и снова его наплывание,
и опять, и опять. До костей пробирающий, он
как в игре - с беготнёю вокруг стульев - на выбывание.

Холм

В Италии, где эти вещи в моде,
виденье было мне. Хотя, понятно,
не из разряда Дантовых или сакральных.
Возможно, вовсе не виденье. Я с друзьями
шёл через залитую солнцем площадь
уютным утром. Тень резной работы
громадным зонтиком на тротуар ложилась,
за ней другая, третья... - солнечное мелководье
и флот лотков: монеты, книги, карты
старинные, пейзажики, религиозный сор
на распродаже. Шум и краски
были подобны жестам торжества,
и даже торжище
как будто наполнилось благочестивой речью.
Но неожиданно пресёкся шум
и потемнело; люди и лотки исчезли,

и сам Дворец Фарнезе растворился,
великолепно-мраморный. На месте
Дворца темнел холодный голый холм.
Вот-вот, казалось, снег пойдёт. Деревья
торчали, как металлолом фабричный.
Ни ветерка. И только треск подмёрзших
и тронутых ледком луж под ногами.
На изгороди трепыхалась лента
единственной приметой жизни. Где-то,
похоже, клацнуло ружье. «По крайней мере, -
пробормоталось мне, - я не один».
И сразу после этого раздался
бумажный треск обрушившейся ветки,
неведомой, невидимой. И всё.

И всё. Лишь тишина и холод длились
и вечностью, как этот холм, дышали.

Затем вернулись выкрики торговцев,
и жесты их, и солнце, и друзья.
С неделю чистой горечью виденья
я был напуган. Но прошло лет десять -
и я забыл свой страх, и вот сегодня
я вспомнил этот холм, лежащий слева
от автострады, северней Покипси.
Я мальчик, и на зимний холм смотрю часами.

После дождя

for W. D. Snodgrass

Колючей проволоки ржа
и кедра крепкие подпорки
в себя впитали чернь дождей.
Невинной жадностью дыша,
вдыхаю аромат цветов.
Листвы колеблемые створки.
Колодец в чугуне оков,
поросший мхом. Шаг из дверей -

и я в сыром пространстве дня
прислушиваюсь к влажной речи.
Ручей, казалось, пересох,

но стелется и вьётся нитью
среди камушков, и тайный вздох
его тоскует по событию
реки, - он всё же ей родня, -
и весь - поползновение встречи.

Вот пепельного неба снимки,
монетки привкус, прямизна
деревьев в сырости и дымке,
флотилия стволов, - фитиль
отдельного ствола так тих
и древесен, - и вокруг, бледна,
струится световая пыль,
и плесень облепляет их.

Как чист и ровен этот свет!
Самостоянье вещи значит,
что вещь равна себе, она
из бледности и безразличья
выходит всё-таки на след
восторга, сердце камня прячет
лягушку, и в листве волна
растёт светящаяся, птичья.

И точно: вспархивает птица
и тельца блик среди стволов
мелькает, в правоте быстра
жизнь, восхитительны пространство,
и света строгая игра
среди вязов, и трава, и лица
тех валунов, и этих слов
бескомпромиссное спартанство.

Возможно, всё это подсказки
к тому, что предстоит решить
(уж если равен этот игрек
чему-то или этот икс).
Возможно, это тайный выкрик,
монетки привкус, вьётся нить,
реки событьё, путь к развязке,
вспухающий, унылый Стикс.

Странней всего - жизнеприязнь

и всякой нечисти моя
отъявленная небоязнь,
ещё странней, что первый вдох,
невинной жадностью дыша,
одушевил сии края -
о безрассудочный сполох! -
бесплодные - тобой, душа.

Смерть прогуливается

Толпа валит валом на ипподром, у ворот,
как флаги держав, развеваются вымпелы, свод
небесный кипит,
гарцуют чистопородные, круп и наездника торс,
и следом - ещё и ещё, это фарс, это форс
и топот копыт.

В коралловом дамы, лиловом и красном - цветник,
который по прихоти дикой природы возник, -
и взглядом они измеряют
друг друга, и мимо плывут, и мужчины вокруг
о шансах толкуют при помощи глоток и рук,
и тени уже замирают.

И вот, пока длится предпраздничная толчея -
немая, никем не замеченная и равнодушная я, -
совсем не судья
(при том, что сраженье грядёт не на жизнь, а на
смерть!)
их потным победам, - всего лишь зашла посмотреть
на взмыленных я.

Конец уикенда

Каминным светом бронзовый ковбой
чуть освещён. С арапником в руке
стоит среди книг. Лассо кружится, тьма
за окнами. Подружка. Налегке.
В обтяжку джинсы, блузки бахромы
шерстит вблизи. О, наглость и разбой.

Идём наверх. За озером, как зверь,

рычит голодный ветер средь могил,
иль воет, вспомнив праведных и тех,
кто, Господи, напротив, - согрешил.
Подружка с ноготочками утех.
Хоть мы одни, я запираю дверь.

Молящиеся тени, этот мрак,
воображенья дикие цветы,
и озеро, и ветра вой, - всё ждёт
её освобожденной наготы.
Вдруг шум паденья - не было забот! -
над потолком. Взираюсь на чердак.

Полоской лунно-магниевого лёг
свет на скелетик мышки, и вразлёт
два глаза в слуховом окне горят,
и в гневе чёрный миг крылами бьёт, -
о, над костями золотистый взгляд
и серой шёрстки выхваченный клочок...

Предсказание ребёнка

Ребёнок на плечах
у матери, во взгляде
серьёзность, чем-то он,
похоже, озадачен.
Дагерротип в тетради
черновиков зачах,
едва посеребрён
октябрьским светом, мрачен.

Ребёнок прав. За ним
растянутая сеть
ветвей и скудный свет.
И, стужи на краю,
мгновением храним,
он, хоть ему и нет
двух лет, как бы прозреть
посмел судьбу свою.

Мать - улыбнулась. Так
у взрослых повелось,
когда сулят им птичку.

Двуличье? Благородство
в крови? Какой пустяк -
тщеславье? глупость? Сквозь
улыбку-невеличку -
что? - радость первородства

или надменность зла?
Медея? Созерцатель,
мой мальчик безголос,
предугадать не в силах
нечистые дела.
Ни радости, ни слёз.
Но льду в октябрьских жилах
не нужен прорицатель.

Адам

*Есть ли у дождя отец?
или кто рождает капли росы?*
Иов, глава 38.28

«Адам, дитя моё,
вот этим словом я
созвездия творю,
твой освещая сон.
Когда проснёшься, свет
очей моих, они
зажгут свои огни,
затеплив бытиё».

Адам, дитя моё, -
так первенцу Господь,
созданию своему
прекраснейшему, рёк.
И вторю я Ему,
как вторят испокон
веков. Ты мной рождён,
Адам, дитя моё.

И болью и судьбой
озвучишь пустоту
округи вновь и вновь.
В твоих краях другой

язык, моя любовь.
Ни детской кутерьмы,
ни «прятки». Скоро ль мы
увидимся с тобой?

Адам, моё дитя,
как сказано в стихах
старинных, времена
горчайшие придут.
Я не могу от них
тебя избавить, сын.
Лишь забреду в твой сон,
по улицам бродя.

Когда ты затаишь
дыхание впотьмах,
укрывшись где-то от
ищеек взрослых игр,
да не коснется страх
тебя, я буду там
вовек, где ты, Адам.
Сквозь темноту и тишь.

О летнем ли дожде,
о перламутре утр
и бисере росы, -
о чём бы ты, мой сын,
ни грезил, я с тобой.
О, будь благословен,
одолевая тлен.
Отец с тобой везде.

Затишье

Над озером бродяжит в полусне,
как призрак, пар.
Тишайший теннисоновский рассвет.
Деревья ищут абрис свой на дне.
Мерцанье мглы. Серебряный удар
среди листвы текучей. Миг - и нет.

В алмазных каплях паутины ткань
провисла на

кривых кустах, как цирковой батут
от тяжести гимнастов, эта рань
роскошная, и блеск, и тишина,
как пресс-папье, чернилами минут

пропитанная. Нет ни птиц, форель
вновь не взорвёт
полётом гладь воды. Всё впереди.
Не шелохнётся мир, недвижна ель, -
вроде китайской вазы предстаёт
старинной, истончившейся в пути.

Чем так меня тревожит мир, какой
такой намёк
он, словно бы прозрев меня, таит?
Я тоже узнаю его прибой,
грозящий, как пружины сжатый вздрог.
Как мощно тишина кругом стоит!

Над водной гладью ловит нежный восход
лучей мой взгляд,
той первой персиковую порой,
Бог знает где, в Германии, вот-вот
рассвет, стою, сжимая автомат
холодный, отвратительный, сырой.



Марина Мануйлова
Пророчество или предание,
или Небывалые комбинации
бывалых впечатлений

О книге М.Юдсона "Лестница на шкаф"¹

Как ты это узнал?

- Я размышлял и понял.

- Феноменально...

Братья Стругацкие, «Малыш»



Вышла, родненькая! И побежала, приплясывая, плечиками покачивая, отбивая немислимую чечетку, руки нараспашку, в саркофаге своем расписном... Вышла книжка Михаила Юдсона "Лестница на шкаф". "Была ж такая!" – скажете вы и будете правы. Это новое издание, дополненное второй и третьей частями и закольцованное замыслом.

Все в этой книжке с двойным дном. И выходит второй раз, и описывает череду влечений по весям, а на самом деле бег на месте, и пред вами текст, положенный прочтению, но трудночитаемый... И поскольку почитают лишь то, что читают – незавидна участь новорожденной красавицы. Дочь еврейской души, зачатой от еврейского сына... Уникальное исследование русского языка, исхляторство над русским языком в изгнании, срез двадцать первого века, под стать усилиям НИИ. Ведь что делают ученые? А препарируют, что можно, и потом каждую частичку по отдельности подвергают в азарте познания всяким испытаниям, иногда просто черт знает чему подвергают. Вспомните еще мои слова, когда книгу читать будете.

Почему это вы будете ее читать? Потому что Дмитрий Быков сказал, что это, возможно, главная книга современности. А он слов на ветер давно уже не бросает. Он аргументирует, совмещая рваные края действительности с нашим угловатым, несовершенным ожиданием. И это вызывает приступ веры в его слова. Премного вами благодарны, Дима. За вашей

¹ Москва: Зебра Е, 2013. – 560 с.

энциклопедически широкой спиной угадываются контуры Учителя.

Но позвольте робкими стопами приступить к заметкам о книге.

Никто, никогда не писал так сложно. Борис Натанович, светлая ему память, знал тексты и привечал Юдсона. И начали: "Писать надо понятно..." Юдсон выслушивал навтыжку нарекание и шел писать сложно пуще прежнего. Зато внешнее смысловое кольцо незамысловато: счастье возвращения домой. Наш ответ Гомеру: Одиссей не мог вернуться домой, потому что изменился сам; не прошло и пяти тыщ лет, Юдсон изящно решил эту проблему с другой стороны. И нашел дом для любого путешественника, да что там – для всех, даром. Путешествует наш герой из России через Германию в Израиль и на Небеса. Пантиане так и не узнают, что их переселили, как вы полагаете?

Мы упрямые пантиане, мы хотим не только слушать себя и слышать о себе, мы хотим и читать – о себе... Даже немолодой, нездоровый мужчина с брюшком, представляет себя то Таис Афинской, то Наташей Ростовской... Нам не надо напоминать, что каждый из нас создан как Будда, в котором есть все, мы и так это знаем. И все вокруг: от шелеста дождя до шороха кустов, через которые больно продирается, должно отзываться настроением, воспоминанием, чтобы удостоиться нашего внимания. Так и создаются тексты, пронизанные преданием или пророчеством, а самые любимые из них те, которые о нас и за нас, те, что нам льстят, даже делая нам больно. Тексты, погружающие в тело и в душу героев, вдруг каким-то поворотом, какой-то гранью отражают меня, любимого, но так мило, с ретушью... Мне приятно, а главное, никто не узнает, что и Карамазов-старший это я, и Грушенька... Ох, и Смердяков – тоже я (чуть-чуть). Но конвенциональные (те, за которые платят) тексты не зеркало. Как игровое кино: как бы ни был залит кровью тарантиновый экран, со съемкой обычных, рутинных пыток – не сравнить. Народ, помнится, в обморок падал на заре интернетовской вседозволенности.

Книга Юдсона – зеркало. За нее не заплатят, а вот поколотить могут. Откликов не будет, потому что народ или читать не станет, или будет в обмороке. Есть вариант – не поймут. Будут кричать, багровея, "антисемит" (например). Но вот беда: человечество сможет понять, что оно такое, лишь увидев само себя. Конечно, увидеть убогого пантианина в зеркале – испытание. Это вместо Наташи Ростовской. Бр-р...

Увидеть себя со стороны сейчас, сегодняшним. Не в воспоминаниях – стройным, умным, не заглядывая в далекое будущее – дряхлым, глупым, а увидеть себя таким, как сейчас – с морщинами и жировыми отложениями нерешенных вопросов. Никто, никогда не будет благодарен благодетелю за то, что тот называет нас по имени и показывает нам наш лик. Но можно и не копаться в тексте, а бежать по нему, выбирая те дорожки, по которым душа скользит радостно, как на коньках. Книжка написана не на одном смысловом уровне, а на многих. Причем, иногда оплетка текста утолщается, а иногда это тоненький кабель, и явственно слышно пощелкивание при передаче данных.

Ворота цивилизации, двоичная система, передача данных. Неизбежность и неизбывность нуля и единицы. Заглянул в ноль – Эйнштейн, колупнул единицу – сукин сын, "22" – перебор!

Двоичная система явилась нам яркими игрушками: добро-зло, свет-тьма... Наглядные пособия, оснащенные розгами по заднице и линейкой по рукам, а по мере взросления вплоть до газовых камер. Дрессировка худо-бедно продвигается, а вот с осмыслением плохо. Ведь что любопытно: жонглировать "добро-зло", "верх-низ" – это запросто. Сначала придумали колесо, и сразу стало ясно: чем быстрее меняются местами верх-низ, тем разнообразней роскошь, а чем громче орать про добро и зло, тем больше возможностей эту роскошь приобрести. Через несколько тыщ лет человечество пристроило куда надо приводные ремни, освоило двигатель прогресса. А вот смысл... М-да... Так и тянется шаловливая рука к рубильнику, а ведь как работает и что это вообще – не знаем, да и в электричество не верим. А передача данных, тук-тук, идет своим чередом: ноль-один, ноль-один, один-ноль... (Никаких "един в трех лицах" или "четвертое измерение" – только единица и ноль.)

Это очень интересно, но *нас занимают не численные выражения*, а напряженность поля. Энергия, созданная Юдсоном между его нулем и его единицей, колоссальна. Здесь нет *времени*. В этом поле белковое вещество любого текста – "время" – испаряется, гибнет, а смыслы сжимаются, трамбуются. Происходит *то уничтожение времени*, которое мы не замечаем, но подозреваем подвох. Подозреваем текст в хранении неконвенционального оружия, заключенного *в тайне взаимозаменяемости предания и пророчества*. Подозреваем, что существует, работает в обе стороны канал между пророчеством и преданием. В романе нет слова "некогда". У фантаста Юдсона нет нужды в обращении к тому или иному временному отрезку, *которое придает слову "некогда" смысл*. Работа двоичной

системы не сообщает автоматически происходящему *двойное значение прошлого и будущего*, а просто, отвлекаясь от временных рамок, выставляет свои непростые границы – единицу и ноль.

Между нулем и единицей Юдсона поместилось настоящее. Вот именно то "настоящее", которое мы так не хотим. От которого бежим отдохнуть в желтой пене прессы (называя сей акт кокетливо "актуалия", хотя абсолютно ничего актуального в новостях не бывает; ведь за важное, за насущное не заплатят гонорар), а если плохо пахнет, можно припасть к сериалу: телик умеет много гитик, но еще пока не передает запахов. Если же кто-то бежит от своего настоящего в книжку – рекомендуется на сон грядущий все, что хотите, только не "Лестница на шкаф".

Юдсон дает срез колоссального количества культурологических ассоциативных уровней, существующих сейчас. Пройденное и предстоящее в его романе непрерывно подпитываются друг другом, крепнет связь между нулем и единицей. Напряженность поля растет, питая слово автора невиданной доселе энергией и *тем самым заряжает это слово потенциалом настоящего*. Не выделенная в пробирку чистая правда Толстого, не чеховский филигранный разбор душедвижений, не пытошное дотошное расчленение живого пантианина, как у Достоевского. Юдсон – это из области синтеза.

И как-то к синтезу еще не лежит душа... Сколько сотен лет прошло, а Спиноза до сих пор "мудрец" и не в школьной программе. На досуге не перечитывают "Приглашение на казнь". Не читают, а изучают, чтобы сдать экзамен, "Улисса". Гоголя до сих пор (позор!) ревизуем визуально, а ведь им предьявлена глубина "нуля", да еще и "единицу" нам показал, там, в луже, на доньшке. Только плохо видно в темноте, это отражение, или... ("Нос").

Юдсон не Гоголь, скажете вы? Ну, конечно, Юдсона не будут ни изучать, ни просто – читать. Зато будут (надеется Д.Быков) раздраженно ругать. У меня своя надежда, что кто-то любит игру словосочетаний, мыслесплетений, ассоциативного эквипроба, смысловой звукописи. Может, кому-то захочется саркофаг колупнуть, разбить, найти трещинку, подглядеть. Может быть, кто-то почует под яркой лубочной раскраской слои других полотен. У меня теплится надежда, что те, кто как я, зачитываются Томасом Манном, прочтут и Юдсона.

Чтобы продемонстрировать последнее смелое заявление, позвольте раскрыть сыгранную с вами шутку: собрать в одно целое разобранную цитату из романа "Иосиф и его братья",

которую вы проглотили, читая эти заметки, не заметив (вы же не Дима Быков):

"Нас занимают не численные выражения времени, а то уничтожение времени в тайне взаимозаменяемости предания и пророчества, которое придает слову "некогда" двойное значение прошлого и будущего, и тем самым заряжает это слово потенцией настоящего".



Ян Пробштейн «Пространством и временем ПОЛНЫЙ...»

История, реальность, время и пространство в творчестве Мандельштама



творчестве Осипа Мандельштама в не меньшей мере, нежели в поэзии Хлебникова, хотя и по-иному, чувствуется стремление выйти за границы времени и пространства, запечатлеваемой в языке. Примечательно, однако, не различие взглядов и творческих манер гениальных поэтов-современников – творчество каждого истинного поэта отличается и неповторимым видением и самобытной манерой, – обращает на себя внимание родственное Хлебникову отношение Мандельштама ко времени, пространству, неразрывно связанное с языком, словотворчеством. Таковы «Восьмистишия»:

1.

Люблю появление ткани,
Когда после двух или трех,
А то четырех задыханий
Придет выпрямительный вздох.

И дугами парусных гонок
Зеленые формы чертя,
Играет пространство спросонок –
Не знавшее формы дитя.

2.

Люблю появление ткани,
Когда после двух или трех,
А то четырех задыханий
Придет выпрямительный вздох.

И так хорошо мне и тяжело,
Когда приближается миг,

И вдруг дуговая растяжка
Звучит в бормотаньях моих.
(М I:200-201)

Творчество по Мандельштаму – не только духовный, но и материальный процесс: стихотворение в буквальном смысле материализуется, появляется ткань. Для Мандельштама, работавшего, как он сам говорил, «с голоса», поэзия, словотворчество – артикуляционный процесс: мысль и образ сливаются в речи, выговариваются, обретают форму. Слово, звук, дыхание, материя настолько неразрывно связаны, что отделить их друг от друга невозможно. Как только приходит «выпрямительный вздох» и звучит «дуговая растяжка», открывается – раскрывается пространство¹. Хотя Мандельштам и говорил: «Я смысловик и поэтому не люблю зауми», его чисто языковые поиски, стремление выйти к новым смыслам – за границы нормативного языка родственны Хлебникову:

О бабочка, о мусульманка,
В разрезанном саване вся, –
Жизняночка и умираючка,
Такая большая – сия,

С большими усами кусава,
Ушла с головою в бурнус,
О флагом развернутый саван,
Сложи свои крылья – боюсь,
(М I:201)

Слова «жизняночка и умираючка» хотя и новы, но вполне понятны и зримы: они вмещают в себя и ослепительный живой полет, и короткий век бабочки, не случайно поэтому и уподобление савану, а вот вкусное слово «кусава»² – уж и вовсе «Хлебниковское»: из мира, где «крылышкует кузнечик».

Стремление выйти к новым смыслам и стремление узнать и понять тайны природы и бытия – явления одного порядка:

¹ Что полностью соответствует мысли, высказанной В.Н. Топоровым. См. Топоров В.Н. Об «этропическом» пространстве поэзии (поэт и текст в их единстве) / От мифа к литературе. Сборник в честь 75-летия Е.М. Мелетинского. - М., 1993. - С.25-42.

² Ср. также «муха-кусака» А.Белого в романе «Москва». Белый А. Москва. - М., 1989. - С.19.

4.

Шестого чувства крошечный придаток
Иль ящерицы теменной глазок,
Монастыри улиток и створчаток,
Мерцающих ресничек говорок.

Недостижимое, как это близко –
Ни развязать нельзя, ни посмотреть, –
Как будто в руку вложена записка
И на нее немедленно ответь...

5.

Преодолев затверженность природы,
Голуботвердый глаз проник в ее закон.
В земной коре юродствуют породы,
И как руда из груди рвется стон.

И тянется глухой недоразвиток
Как бы дорогой, согнутою в рог,
Понять пространства внутренний избыток
И лепестка и купола залог.
(М I:201-202)

«Глухой недоразвиток» – это, конечно, «шестого чувства крошечный придаток» и, быть может, в то же время метафорический образ улитки, выползающей на свет из монастыря ракушки, «как бы дорогой, согнутою в рог»: Мандельштам, посвятивший стихи французскому натуралисту Жану-Батисту Ламарку, относился и к меньшим нашим братьям, и к таинственной жизни земных недр не менее трепетно, чем к человеку. Великолепный знаток русской поэзии, Осип Мандельштам с не меньшим вниманием и почтением относится и к естественным наукам, и к самой природе. И в этом – он продолжатель традиций Ломоносова (вспомним, что вторая редакция «Стихов о неизвестном солдате» была посвящена Ломоносову), не только великого ученого, но и выдающегося поэта, стихотворное послание которого генералу Шувалову «О пользе стекла» – столь характерный для восемнадцатого века замечательный синтез подхода ученого-естественника и поэта, серьезного и шутливого, возвышенного и земного:

Неправо о вещах те думают, Шувалов,
Которые Стекло чтут ниже Минералов,

Приманчивым лучем блистающих в глаза:
Не меньше польза в нем, не меньше в нем краса.
Нередко я для той с Парнасских гор спускаюсь.
И ныне от нее на верх их возвращаюсь,
Пою перед тобой в восторге похвалу
Не камням дорогим, не злату, но стеклу.

В поисках ответов на загадки бытия, Мандельштам ищет скорее тождества, чем сходства, отрицает линейную причинно-следственную связь явлений, плоский житейский опыт:

Быть может, прежде губ уже родился шепот
И в бездревесности кружились листья,
И те, кому мы посвящаем опыт,
До опыта приобрели черты.

Как писал В.Н. Топоров, «в поэтическом мире Мандельштама, не принимающем ига дурного времени и дурной причинности <...> следствие и причина могут меняться местами... губам предшествует шепот, древесности – листья, <...> можно вернуться в спасительное лоно, слову в музыку, Афродите в пену, <...> уста могут обрести первоначальную немоту»³. Истинный опыт рождается из гениальных догадок, из творчества, и тогда опыт может стать живительной влагой:

Он опыт из лепета лепит
И лепет из опыта пьет...

Одна из таких гениальных догадок самого поэта – сравнение человечества с ожившим, одушевленным собором «с бесчисленным множеством глаз»:

Быть может, мы Айя-София
С бесчисленным множеством глаз.

Это взгляд на человечество из космоса, из вечности, в люльке у которой спит «большая вселенная». И образ (ср. у Хлебникова «...Надо сеять очи»), и стремление к объединению человечества («Единая книга») выявляют общий поэтический мотив Хлебникова и Мандельштама. Мечта о соборности: лелеемая такими выдающимися мыслителями как Владимир

3 Топоров В.Н. О психофизиологическом компоненте Мандельштама / Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. Исследования в области мифопоэтического. - М., 1995. - С.434.

Соловьев, Николай Федоров, Павел Флоренский, Николай Бердяев и другими, зримо и необычно преломилась в этом стихотворении, в котором поэт (сродни Хлебникову и Маяковскому) доводит реализацию метафоры до предела. Надежда Яковлевна Мандельштам в «Комментарии к стихам 1930-1937 гг.» утверждает, что все «Восьмистишия» - «стихи о познании... о формах откровения» (318) и прослеживает связь между «Бабочкой» и «Айя-Софией», заметив, что оба стихотворения о связи всего живого с познанием.⁴

В поэзии Мандельштама – непрестанная борьба между аполлоническим и дионисийским началами, между хаосом и упорядоченностью, скорбь по утрате цельности времени и гармонии бытия, которому сопутствует чувство богооставленности:

Заблудился я в небе... Что делать;
Тот, кому оно близко, ответь.
Легче было вам, дантовых девять
Атлетических дисков, звенеть...

По наблюдению М.Л. Гаспарова, Мандельштам в какой-то мере отождествлял себя с Данте и с другим изгнанником, Овидием. Для него изгнание (ссылка, запрет на проживание в столицах, «украденные города») мучительно не только потому, что он лишен «морей, разбега и разлета» и южное средиземноморское небо теперь будет только сниться, но в первую очередь, он изгнан из «настоящего», отторгнут от «совместного держания времени». Он не гордится своим изгойством, как Цветаева, напротив, — он, разночинец, как заметил М. Гаспаров, не может считать, что он один прав, а все неправы. В поздней лирике Мандельштама намечены, условно говоря, три пути преодоления изгойства: Первый – это покаяние: «Ода» 1937 г., «Стансы» («Необходимо сердцу биться...»), и все стихи этого круга. Примечательно, что в большинстве из них, как в «Оде», господствует сослагательное или повелительное наклонение как призыв, и будущее время – как надежда, которой, однако, не суждено было сбыться: подвел стиль, отнюдь не пролетарский и не разночинский, а «шестипалая неправда» аукнулась «шестиклятволенным простором».

Второй путь, это все-таки «тоска по мировой культуре» - единение со Средиземноморьем, а следовательно, и с Элладой, и с Византией, и с Италией, плаванье «по дуге / Неначинающихся путешествий», это оба стихотворения

4 Мандельштам, Н. Я. Третья книга. Москва, Аграф, 2006. 318.

«Заблудился я в небе», «Кувшин» («Длинной жажды должник виноватый»), «Гончарами велик остров синий», «Нереиды мои, нереиды», «Флейты греческой тэта и йота», к этой же группе можно отнести «Я молю, как жалости и милости, / Франция, твоей земли и жимолости», и стихи о Вийоне «Чтоб, приятель и ветра и капель...». К этой же группе примыкают стихотворения, в которых выражено то, что «есть многодонная жизнь вне закона», что никто и ничто не в силах отнять «шевелиющихся губ», что «сладкогласый труд безгрешен», что «опальный стих, не знающий отца...// Не может быть другим, никто его не судит». Данную группу стихов объединяет, на наш взгляд, не только мотив творчества как преодоления «изгойства» и «тоски по мировой культуре», но и поэтический мотив странствия как изгнания. Этот мотив звучал уже в ранних стихах Мандельштама («О временах простых и грубых...», «Обиженно уходит на холмы...», «С веселым ржанием пасутся табуны...», «У моря ропот старческой кифары...» и, в особенности, в «Tristia», навеянных «Epistulae ex Ponto» («Письмами с берегов Понта») и «Tristia» Овидия⁵, а по наблюдению О. Лекманова, и с книгой «Любовь» Поля Верлена⁶. но в этих стихах мотив изгнания и отождествление себя с Овидием, а через Овидия – с Пушкиным, который в южной ссылке также обращался к римскому поэту («К Овидию», 1821), как заметил Пшыбыльский⁷, звучит еще как предчувствие и размышление о судьбе поэта. Овидий - уже не названный – незримо присутствует и в «Оде» 1937 г., и в других стихах, условно отнесенной нами к 1-й группе, когда воронежская ссылка виделась Мандельштаму как трагедия, также, как и древнеримскому поэту изгнание из Рима (мира). Изгнание переживалось Мандельштамом как забвение и смерть при жизни («Я должен жить, хотя я дважды умер...», «Как светотени мученик, Рембрандт, / Я глубоко ушел в немеющее время...», «Я в львиный ров и в крепость погружен...») и поэтому он, подобно Овидию, молившему Августу о прощении, обращался с «Одой» и другими стихами 1937 г. к Сталину, проводя параллель между собой и Овидием с одной стороны, и между Августом и Сталиным с другой, однако есть в стихах воронежского периода и гордое, пушкинское отношение к изгнанию:

5 Ср. Террас В.И. Классические мотивы в поэзии Осипа Мандельштама / Мандельштам и античность. – М., 1995. – С.18-19.

6 Лекманов О.А. «То, что верно об одном поэте, верно обо всех» (вокруг античных стихотворений Мандельштама) / Мандельштам и античность. – М., 1995. – С.142-149.

7 Пшыбыльский Р. Рим Осипа Мандельштама / Мандельштам и античность. – М., 1995. – С.44.

Римских ночей полновесные слитки,
Юношу Гете манившее лоно, -
Пусть я в ответе, но не в убытке:
Есть многодонная жизнь вне закона.

В этом четверостишии вместо Овидия упомянут Гете, написавший в первой римской элегии: “Eine Welt zwar bist du, o Rom...” – то есть Рим – это мир⁸ (а Москва не только – третий Рим, но и столица новой империи). Таким образом, отдавая себе отчет в том, что он вне закона, поэт тем не менее обретает благодаря творчеству гордость и силу духа. Подобное отождествление себя с Овидием и Данте, а в контексте культуры (и в подтексте) – и с Мандельштамом, звучит и в творчестве И. Бродского, в котором мотив странствия как изгнания приобретает мощное звучание.

К третьей группе можно условно отнести стихотворения, в которых поэт пытается связать два начала, обрести единство со всем живым, считая, что

Не у меня, не у тебя – у них
Вся сила окончаний родовых:
И с воздухом поющ тростник и скважист,
И с благодарностью улитки губ морских
Потянут на себя их дышащую тяжесть.
Нет имени у них. Войди в их хрящ,
И будешь ты наследником их княжеств, –
И для людей, для их сердец живых,
Блуждая в их развалинах, извивах,
Изобразишь и наслажденья их,
И то, что мучит их, – в приливах и отливах.

Здесь движение времени, сама эволюция идет в обратном направлении. Утрата имени – это также и благодать, и «сила окончаний родовых», и неосознанные мучения малых сих. У Мандельштама есть неосознанное стремление слиться с природой («На подвижной лестнице Ламарка/ Я займу последнюю ступень...»), раствориться в ней, как в более поздних стихах – слиться с народом. Кроме того, Надежда Яковлевна Мандельштам в «Комментарии к стихам 1930-1937 гг.» пишет о том, что в «Ламарке» и №№ 8 и 9 «Восьмистиший» «страшное падение живых существ, которые забыли Моцарта и отказались от всего

8 Ср. Пшыбыльский Р. Рим Осипа Мандельштама / Мандельштам и античность. – М., 1995. – С. 35.

(мозг, зрение, слух) в этом царстве паучьей глухоты. Всё страшно, как обратный биологический процесс»⁹ Несомненно, «Ламарк» — закодированное, «эзоповое» стихотворение о действительности, полное сомнения и отчаяния:

Если все живое лишь помарка
За короткий выморочный день,
На подвижной лестнице Ламарка
Я займу последнюю ступень.

Весьма важно придаточное предложение уступки: «Если все живое лишь помарка»: в таком случае следует отказаться и от зрения, и от слуха, и от культурной памяти». Если выживают лишь самые низшие, примитивные типы, нет нужды ни в искусстве, ни в поэзии, ни в музыке:

Он сказал: "Природа вся в разломах,
Зренья нет, - ты зришь в последний раз!"

Он сказал: "Довольно полнозвучья,
Ты напрасно Моцарта любил,
Наступает глухота паучья,
Здесь провал сильнее наших сил".

Разумеется, не Ламарк, а Мандельштам сам себе твердит: «Зренья нет, —ты зришь в последний раз!» Сам Мандельштам писал, что «в обратном, нисходящем движении с Ламарком по лестнице живых существ есть величие Данта. Низшие формы органического бытия – ад для человека». (СС, III, 201). Однако поэт призван преодолеть провалы, пустоту и отчаяние настоящего. Поэтому на наш взгляд, «Восьмистишия» 4 и 5 и 8 и 9, написанные после «Ламарка» свидетельствуют о мужестве поэта, о стремлении преодолеть «паучью» глухоту и забвение. Поэт призван, «войдя в их хрящ», слившись с безымянным, стихийным и хаотичным, с природой, с первоосновой, изобразить «и наслажденья их, и то, что мучит их, – в приливах и отливах», то есть дать имя, наречь безымянное. Как верно заметил В.Н. Топоров, «поэт... одаривает читателя тем, что сохраняется в его прапамяти, в редчайших случаях связывающей связывающей ребенка с тем, что было до культуры, до речи и даже до рождения, с той «первоосновой жизни» (*С первоосновой жизни слито*), которая и составляет содержание и смысл «припоминаний»,

⁹ Мандельштам, Н. Я. Третья книга. Москва, Аграф, 2006. 283.

эксплицируемых из хаоса...».10 По Мандельштаму долг поэта – соединя провалы, преодолеть метафизический страх одиночества и разобщенности человечества в истории и культуре, показать время-пространство, историю, культуру и бытие в их неразрывном единстве, выйти за «Геркулесовы Столпы» не только пространства, но и времени. Таковы заключительные стихотворения из цикла «Восьмистишия»:

10.

В игольчатых чумных бокалах
Мы пьем наважденье причин,
Касаемся крючьями малых,
Как легкая смерть величин.
И там, где сцепились бирюльки,
Ребенок молчанье хранит,
Большая вселенная в люльке
У маленькой вечности спит.

11.

И я выхожу из пространства
В запущенный сад величин
И мнимое рву постоянство
И самосогласье причин.

И твой, бесконечность, учебник
Читаю один, без людей, –
Безлиственный, дикий лечебник,
Задачник огромных корней.

Среди огромного количества описанных и процитированных стихотворений, написанных 3-стопным амфибрахийем, и выделенных в них тем-ореолов, у Гаспарова¹¹ почему-то не указаны “Восьмистишия” О. Мандельштама (1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11 написаны 3-стопным амфибрахийем), которые сами — ореол: овеществленное в образах, почти физиологическое изображение процесса творчества, позволяющее поэту выйти из пространства “в запущенный сад величин” и обрести поистине космическое видение. “Определение поэзии” Пастернака (хотя и написанное другим

10 Топоров В.Н. О психофизиологическом компоненте Мандельштама / Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. Исследования в области мифопоэтического. - М., 1995. - С.435.

11 Ср. Гаспаров, М.Л. Метр и Смысл. Об одном из механизмов культурной памяти. Москва: РГГУ, 1999. 120-151.

размером) и О. Мандельштама, начинающиеся одинаково — с физиологической передачи процесса говорения-пения, ведь оба работали с голоса, в конце диаметрально расходятся: для Пастернака “вселенная — место глухое”, Мандельштам видит, как “Большая вселенная в люльке / У Маленькой вечности спит”. Это — метафизическая поэзия.

М.Л. Гаспаров тонко заметил, что Мандельштам – «поэт, остро чувствующий пространство и враждебно сопротивляющийся времени»¹². В таких стихах, как «Кто время целовал в измученное темя», «Век мой, зверь мой...» отношение ко времени и веку – сыновнее; в начале тридцатых, во времена «отщепенства» и противостояния настоящему, отношение у Мандельштама ко времени амбивалентно, поэт может быть даже фамильярен и грубоват, но однозначно враждебным его отношение ко времени назвать нельзя:

Я подтяну бутылочную гирьку
Кухонных крупно скачущих часов.
Уж до чего шероховато время,
А все-таки люблю за хвост его ловить,
Ведь в беге собственном оно не виновато
Да, кажется, чуть-чуть жуликовато...

Действительно, сам Мандельштам полагал, как уже было отмечено выше, что в «полном отрыве от будущего и прошлого настоящее сопрягается как чистый страх, как опасность»¹³. Поэтому Мандельштам стремился найти «точку пересечения времени с вечностью», если воспользоваться емкой формулой американского поэта Томаса Стернза Элиота. Тяга к истории, античности для Мандельштама – не просто «тоска по мировой культуре», а жажда всепричастности и тоска по неделимому времени-пространству, которое Бахтин назвал *хронотопом*¹⁴. Единство хронотопов истории, культуры и собственно хронотопа, то есть времени-пространства для Мандельштама является аксиомой. Это не лейтмотив, а поэтический мотив его творчества.

12 Гаспаров М.Л. О.Мандельштам. Гражданская лирика 1937 года. - М., 1996. - С.93.

13 Мандельштам О. Разговор о Данте / Слово и культура. - М., 1987. - С.115.

14 Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической поэтике / Вопросы литературы и эстетики. - М., 1975. - С.235.

Уже в раннем стихотворении «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...» цепь назывных предложений, «фазыгрывающих», по выражению Мандельштама, поток сознания, является в то же время цепью метонимий пространства, истории, культуры. Список кораблей – «сей выводок, сей поезд журавлиный» соединяет эпохи; «и море, и Гомер – все движется любовью», – та метаморфоза, которая «сопрягает далековатые идеи» (Ломоносов), делая их зримыми, это своего рода ответ на вопрос: «Что он Гекубе, что ему Гекуба?»:

Бессонница. Гомер. Тугие паруса.
Я список кораблей прочел до середины:
Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный,
Что над Элладю когда-то поднялся.

Как журавлиный клин в чужие рубежи, –
На головах царей божественная пена, –
Куда плывете вы? Когда бы не Елена,
Что Троя вам одна, ахейские мужи?

И море, и Гомер – все движется любовью.
Кого же слушать мне? И вот Гомер молчит,
И море Черное, витийствуя, шумит
И с тяжким грохотом подходит к изголовью.
(1915, М I:104-105)

Последние два стиха окончательно размывают границу между бессонной ночью в Коктебеле и осадой Трои, два мира объединились, этот стык знаменует собой сдвиг во времени-пространстве, неделимость которых, равно как и истории, становится явной, ощутимой. Море является не только метафорой любви, как заметил Нильсон 15, но прежде всего *метонимией* времени, истории. Кроме того, как заметила американская исследовательница Клэр Каванах, Гомер у Мандельштама включает в себе слово “море” — они анаграмматически взаимосвязаны. 16 В другом известном стихотворении Мандельштам писал:

Золотое руно, где же ты, золотое руно?

15 Ср. Нильсон Н.А. «Бессонница» // Мандельштам и античность. – М., 1995. – С.65-76.

16 Ср. Cavanagh, Clare. Osip Mandelstam and the Modernist Creation of Tradition. Princeton, NJ: Princeton UP, 1995. p. 25.

Всю дорогу шумели морские тяжелые волны,
И, покинув корабль, натрудивший в морях полотно,
Одиссей возвратился, пространством и временем полный.

Поэтический мотив странствия, воплощенный в мифе, у Мандельштама, связан с плаванием, с водной стихией, являющейся для него метафорой времени. Плавание символизирует не столько преодоление пространства, сколько времени¹⁷. Для Мандельштама мотив странствия связан с предвкушением, с тягой к дороге, с будущим, реализация которого являет пространственную, пластическую, звуковую картину настоящего, когда все пять чувств, прежде всего зрение и слух, неумно вбирают оглушающее и ослепительное настоящее, как в цикле «Армения». Мотив же возвращения у Мандельштама обычно выражается прошедшим: «Одиссей *возвратился*, пространством и временем *полный*», «Я *вернулся* в мой город, *знакомый* до слез», «В год тридцать первый от рожденья века // Я *возвратился*, нет – читай: *насильно*// *был возвращен* в буддийскую Москву». (Выделено мной. – Я.П.). Будущее же в поэзии Мандельштама нередко выражает тревогу, предчувствие испытаний: «Я *буду метаться* по табору улицы темной...», «*Не искушай* чужих наречий, но *постарайся* их *забыть*:// Ведь все равно ты *не сумеешь* стекло зубами укусить...», ибо «И в наказание за гордыню, неисправимый звуколюб, // *Получишь* укусную губку ты для изменнических губ». (Выделено мной – Я.П.). В этом пророческом стихотворении 1933 г. будущее усилено повелительным наклоном, однако из подтекста стихотворения ясно, что все запреты здравого смысла бессильны помешать этой, ставшей в тоталитарном государстве «преступной» тяге к мировой культуре, и «За незаконные восторги лихая плата стережет». Именно эта идея, как нам представляется, объединяет столь разные на первый взгляд гражданские стихи 1933, как «Квартира», «Мы живем под собою не чуя страны» и «Ариост». Не случайно, во обоих вариантах «Ариоста» повторяются строки:

В Европе холодно. В Италии темно.
Власть отвратительна, как руки брадобрея.

Эта связь, прослеживается на образном уровне: «Его толстые пальцы как черви жирны» и «руки брадобрея» связаны и образно и семантически. Несомненно, что в «Ариосте», так же, как в «К немецкой речи» и «Не искушай чужих наречий» есть

17 Ср. Топоров В.Н. Эней — человек судьбы.// М., 1993. - С.1.

«чувство измены собственной языковой стихии из-за ухода в иноязычный мир», как о том пишет Н. Я. Мандельштам, 18 но в более ранних стихах и даже в стихотворении 1923 г. «Париж» эта мысль не прослеживается, а в стихах 1937 г. «Я молю, как жалости и милости» «Реймс-Лаон» и в стихах о Вийоне «Чтоб приятель и ветра капель» — мысль, на мой взгляд, диаметрально противоположная: единственное спасение, если не физическое, то духовное — поэзия, песенка, «тоска по мировой культуре»: «Но фиалка и в тюрьме: с ума сойти в безбрежности».

Средством преодоления разорванности времени и разобщенности человечества для Мандельштама является «соединение несоединимого», «синхронизм разорванных веками событий, имен и преданий», как заметил, цитируя Мандельштама, В. Микушевич в статье «Принцип синхронии в позднем творчестве Мандельштама». Особо выделив другую «формулу» из «Разговора о Данте»: «Время для Данта есть содержание истории, понимаемой как единый синхронистический акт, и обратно: содержание есть совместное держание времени – сотоварищами, соискателями, сооткрывателями его», Микушевич заключает: «Совместным держанием времени утоляется тоска по мировой культуре»¹⁹. В свете этого стихи Мандельштама 1920 г.: «У меня остается одна забота на свете: // Золотая забота, как времени бремя избыть» наполняются особым смыслом: избыть – значит быть, осуществиться, одолев смертность не физически, а духовно – «совместным держанием времени», тем самым наполняя время содержанием и преодолевая раздробленность времени, прийти к целительной цельности времени и бытия. Поэтому у Мандельштама мотивы преодоления разорванности бытия, времени-пространства, разобщенности человечества и разъединенности культуры неразрывно связаны с творчеством:

Чтобы вырвать век из плена,
Чтобы новый мир начать,
Узловатых дней колена
Нужно флейтою связать.

18 Мандельштам, Н. Я. Третья книга. Москва, Аграф, 2006. 308.

19 Микушевич Вл.Б. Принцип синхронии в позднем творчестве Мандельштама / Жизнь и творчество Мандельштама. - Воронеж: Изд-во Воронежского университета, 1990. - С.436.

Флейта, как заметил Е.Г. Эткинд, - метонимия искусства, поэзии²⁰. (К этому образу Мандельштам вернется в Воронеже, где изолированный, «невольный отщепенец», будет вынужден заговаривать пустоту, растворяясь в безотзывности: «И невольно на убыль, на убыль / Равнодействие флейты клоню». Связать «узловатых дней колена» – значит, сродни Гамлету, восстановить «вывихнутое», распавшееся время. Эта связь и вязь наиболее зрима в стихотворениях 1923 года «Нашедший подкову» и «Грифельная ода». «Нашедший подкову» являет собой исключительный пример свободного, открытого стиха в творчестве Мандельштама не только в смысле ритмическом, но и в смысле связанности, открытости метафор и аллюзий, мостиков-ассоциаций, обычно разрушаемых Мандельштамом (что наиболее ярко выражено в «Грифельной оде» и в «Стихах о Неизвестном Солдате»). Связь времени-пространства в этом стихотворении нерасторжима, связь явлений воплощена в образе сосен, «до самой верхушки свободных от мохнатой ноши», «слаженных в переборки», а до того «стоявших на земле, // неудобной, как хребет осла». Стремление за «Геркулесовы вехи» (ср. с «Разговором о Данте») также размывает границу времени-пространства:

И мореплаватель,
В необузданной жажде пространства,
Влача через влажные рытвины
Хрупкий прибор геометра,
Сличит с притяженьем земного лона
Шероховатую поверхность морей.

Как указали ряд исследователей, и ритмика, и образность стихотворения восходят к Пиндару, в частности к IV Пифийской оде, но Бройд также предполагает влияние «Любовных элегий» Овидия (Amores, II, II, 1-4)²¹, а И.Ковалева - начало LXIV стихотворения Катулла²². «Шероховатая поверхность морей», «влажные рытвины» моря, «влажный чернозем Нееры, каждую ночь распаханной заново» (Ср. «пахотная земля», дар бога Тритона аргонавтам, которую они уронили во «влажную соль

²⁰ Эткинд Е.Г. Осип Мандельштам – трилогия о веке / Осип Мандельштам. Слово и судьба. – М., 1991. – С.260.

²¹ Broyde S.J. Osip Mandel'stam's "Nasedsij Podkovu" / Slavic Poetics. Essays in Honor of Kiril Taranovsky. – The Hague, 1973. – P. 49-66.

²² Ковалева И.И., Нестеров А.В. Пиндар и Мандельштам (к постановке проблемы) / Мандельштам и античность. – М., 1995. – С. 166-168.

моря» в IV Пифийской оде Пиндара²³, а у Гомера море вспахано мечом), «воздух замешен так же густо, как земля...» – метафоры, стирающие грань между пахотным полем (созвучные также сравнениям Хлебникова, приводящимся ниже), и выявляющие условность границ земли, воздуха и воды. Стирание границ между водой, землей, и временем и образ моря-времени, вспаханного плугом – повторяющийся мотив поэзии и прозы Мандельштама 1920-х гг.:

Словно темную воду, я пью помутившийся воздух.
Время вспахано плугом, и роза землею была.
В медленном водовороте тяжелые нежные розы,
Розы тяжесть и нежность в двойные венки заплела!

Эти же стихи сам поэт приводит в статье “Слово и культура”, в которой Мандельштам открыто говорит о связи между творчеством, временем, историей и культурой: «Поэзия плуг, взрывающий время так, что глубинные слои времени, его чернозем, оказываются сверху. Но бывают такие эпохи, когда человечество, не довольствуясь сегодняшним днем, тоскуя по глубинным слоям времени, как пахарь, жаждет целины времен”. Далее Мандельштам пишет о приобщении к мировой поэзии как о чтении-переводе, как об открытии заново Пушкина, Гомера, Овидия. Несомненно, что в этой пахоте, взрывающей пласты культуры и поэзии, аллюзия на “Труды и дни” Гесиода. Таким же отношением к бытию, как к пахотному полю, и употребление метафоры — плуг, взрывающий поле времени, — проникнута 47 Песнь Паунда:

Пахать начни,
Когда Плеяды опочить сойдут,
Пахать начни,
Они пребудут 40 дней под толщей моря,
Вдоль берега поля вспаши,
Затем в долинах, что сбегают к морю.
Когда взвоятся в небо журавли,
О пахоте подумай.
Измерен этими вратами ты
От врат одних и до других - твой день
И два быка готовы к вспашке под ярмом
Иль шесть на том холме
Груз громоздится белый под маслиной –

23 См. там же. С. 167.

пора с горы тащить в долину камень,
Мулов немилосердно гонят вниз.
И так свершилось вовремя сне.

В этой песни Паунд говорит “о плавании за знанием” — собственно вся песнь является развернутой метафорой плавания и труда как обретения знания.

Мореплаватель Мандельштама может быть Одиссеем, так как он назван “отцом путешествий, другом морехода”, но Бройд и Каванах не исключают также Петра I, который, как известно, также был “отцом путешествий, другом морехода”, но “не вифлеемским мирным плотником”. Более того, указывая на более раннее стихотворение Мандельштама “Сумерки свободы”, Каванах делает даже маловероятное предположение, что мореплавателем является сам Ленин (Каванах, 168). Связывая это стихотворение с VI и IX Олимпийскими, V Немийской и XI Пифийской одами, Каванах приходит к выводу, что темой стихотворения является “неудача, как личная, так и художественная” (Каванах, 158). Хотя Мандельштам и противопоставляет себя удачливому во всех отношениях Пиндару, с этим утверждением американской исследовательницы можно поспорить, так как в 1923 г., когда был написан этот “пиндарический отрывок”, как указал Мандельштам в подзаголовке, поэт еще активно печатался и неплохо зарабатывал переводами, а уж в собственном гении не сомневался никогда. Так что ни о какой поэтической неудаче речи быть не может. Верно, что Мандельштам начинает отчуждаться от времени (“Нет, никогда, ничей я не был современник”), от советской действительности, ощущая себя изгоем, но оставаясь верным “четвертому сословью”:

Ужели я предам позорному злословью –
Вновь пахнет яблоком мороз –
Присягу чудную четвертому сословью
И клятвы крупные до слез?
(1 Января 1924)

Ронен почему-то связывает эти строки со смертью Ленина, хотя это является анахронизмом, и клятвой верностью революционным идеям, приводя цитату из «Воспоминаний» Н. Я. Мандельштам о разговора поэта с Бухариным 1928 г., когда она пишет том, что (в 1928 г.) “О.М. еще верил, что ‘присяга чудная четвертому сословью’ обязывает примирению с советской действительностью” (Ронен 1983, 315, 317). Помимо того, что эта

фраза Н.Я. Мандельштам вырвана из контекста и также является анахронизмом, весьма тонкий и эрудированный Ронен “проглядел” клятву Герцена и Огарева, которую они, как известно, дали друг другу на Воробьевых горах, а Мандельштам своим стихотворением говорит о верности идеям разночинной интеллигенции и *сознательно* выбранном пути, быть может, грозящем ему житейской – не творческой – неудачей (выделено мной).

Гораздо плодотворнее идея Каванах о том, что и в стихотворении “Нашедший подкову” и в статье “Гуманизм и современность”, датированных одним и тем же, 1923 годом, Мандельштам говорит о девальвации ценностей прошлого в советскую эпоху (Каванах 155-57, 179-189). Разумеется, Мандельштам имеет в виду прежде всего культурные ценности и отзывается о XIX веке, как о том пишет Надежда Яковлевна, как о золотом веке, осознанным им таковым с опозданием (1970: 271). Потому-то «дети играют в бабки позвонками умерших животных», «эра звенела, как шар золотой», однако “звук еще звенит, но причина звука исчезла./ Конь лежит в пыли и храпит в мыле, /Но крутой поворот его шеи/ Еще сохраняет воспоминание о беге с разбросанными ногами– / Когда их было не четыре, / А по числу камней дороги, / Обновляемых в четыре смены, / По числу отталкиваний от земли /Пышущего жаром иноходца» — то есть речь идет о закате золотого века и гибели культуры. Последний образ перекликается с живописью итальянского художника-футуриста Джакомо Балла, в частности, с его «Динамизмом собаки на поводке» (1912), но в стихотворении Мандельштама, в отличие от картины Дж. Балла, хронотоп целен и многообразен: все четыре измерения неразрывно связаны. Не случайно, Мандельштам связывает мотив странствия не только со временем-пространством, но и с творчеством:

Трижды блажен, кто введет в песнь имя,
 Украшенная названьем песнь
 Дольше живет среди других –
 Она отмечена среди подруг повязкой на лбу,
 Исцеляющей от беспамятства, слишком сильного
 одуряющего запаха –
 Будь то близость мужчины,
 Или запах шерсти сильного зверя,
 Или просто дух чобра, растертого между ладоней.

Знаменательно, что отрицание «нетленных творений интеллекта» или, приводя подстрочный перевод, «чувственная

Истмийской, III Немейской одами Пиндара и упоминает также парфений Алкмана²⁷. Кроме того, вспомним, что в начале своей литературной деятельности акмеисты называли себя «адамистами»²⁸, утверждая, что поэт, подобно древнему Адаму, нарекает все, что его окружает и тем дарит ему жизнь и спасает от забвения. Обретая имя, вещь овеществляется – проявляется в бытии как вещь и сберегается в памяти, как уже было отмечено во введении к данной работе. Стало быть, язык – инструмент постижения времени и бытия, а *именование* как одна из функций поэзии связано с постижением времени, пространства и бытия. Однако в «Нашедшем подкову» вводится и трагическая тема забвения и – пока еще косвенно – державинской «Реки времен»:

Человеческие губы,
 которым больше нечего сказать,
 Сохраняют форму последнего сказанного слова,
 И в руке остается ощущение тяжести,
 Хотя кувшин
 наполовину расплескался,
 пока его несли домой.

То, что я сейчас говорю, говорю не я,
 А вырыто из земли, подобно зернам окаменелой пшеницы.

Таким образом, и «пиндарический отрывок» становится глубоко современным произведением, поэтическим мотивом которого является мотив странствия как «тяги к мировой культуре», и преодоления разорванности во времени при помощи творчества, как средства борьбы с забвением.

В.П. Григорьев выдвигает несколько полемическое предположение, что и форма (свободный стих) и поэтика «Нашедшего подкову» указывают на связь с незадолго до этого умершим Хлебниковым, беседы с которым в 1922 г. до отъезда Хлебникова в Санталово несомненно оказали большое впечатление на Мандельштама. Поэтому стих «То, что я сейчас говорю, говорю не я, /А вырыто из земли, подобно зернам окаменелой пшеницы», по мнению Григорьева, указывает на могилу Хлебникова и на продолжением Мандельштамом мыслей и поэтики будетлянина. Более того, «друг морехода» и «отец

²⁷ Ковалева И.И., Нестеров А.В. Пиндар и Мандельштам (к постановке проблемы) / Мандельштам и античность. – М., 1995. – С. 168.

²⁸ Ср. Чуковский К.И. Футуристы / Чуковский К.И. Собрание сочинений в 6-ти томах. - Т.6. Статьи 1906-1968. - М., 1969. - С.206-210.

путешествий», «пышущий жаром иноходец», как полагает Григорьев, указывают на «Еще раз, еще раз» и «Доски судьбы»²⁹. Однако гораздо основательнее предположить, что Мандельштам говорит плавании аргонавтов, о соснах Пелиона, а «друг морехода» и «отец путешествий», это, как верно заметила И. Ковалева, Арг, строитель корабля «Арго»³⁰.

Поэтический мотив странствия (и как странничества, и как творчества, то есть превращения хаоса в космос) и все связанные с ним темы нашли дальнейшее развитие в «Грифельной оде». Поэтический мотив «Грифельной оды», как справедливо утверждает Ронен, ³¹ восходит к последнему стихотворению Державина «Река времен», написанному, как известно, на грифельной доске свинцовым мелком или «палочкой молочной», как выразился Мандельштам. Поэтический мотив державинского стихотворения – поток времени, «река времен», в которой вода является метафорой вечности, а время – уподоблено водной стихии. В последних строках этого стихотворения, как писал Мандельштам в статье «Девятнадцатый век», «на ржавом языке одряхлевшего столетия со всею мощью и проницательностью высказана потаенная мысль грядущего – извлечен из него высший урок, дана его основа. Этот урок – релятивизм, относительность»³²:

Река времен в своем стремленьи
Уносит все дела людей
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей.

А если что и остается
Чрез звуки лиры и трубы,
То вечности жерлом пожрется
И общей не уйдет судьбы.

Этот мотив скрыт в аллюзиях и ассоциациях в то время, как «Грифельная ода» начинается с высокой, лермонтовской ноты:

29 Григорьев В.П. Хлебников и Мандельштам / Будетлянин. - М., 2000. - С.653

30 Ковалева И.И., Нестеров А.В. Пиндар и Мандельштам (к постановке проблемы) / Мандельштам и античность. – М., 1995. – С. 168.

31 Ronen Omri. An Approach to Mandelstam. - Jerusalem: The Magnet Press. The Hebrew University, 1983.

32 Мандельштам О. Девятнадцатый век / Слово и культура. - М., 1987. - С. 80.

Звезда с звездой – могучий стык,
Кремнистый путь из старой песни,
Кремня и воздуха язык,
Кремень с водой, с подковой перстень...

Ронен полагает, что две последние строки объединяют мотив лермонтовского «кремнистого пути» с пониманием минералогии как «астрологии, вывернутой наизнанку» (Новалис), и «Разговором о Данте», где Мандельштам, связывая роман Новалиса «Генрих фон Офтердинген», Данте и свои собственные наблюдения, пишет: «Камень – импрессионистский дневник погоды, накопленный миллионами лихолетий. Но он не только прошлое, он и будущее: в нем есть периодичность. Он алладинова лампа, проникающая геологический сумрак будущих времен»³³. Как заметил Микушевич, «кремень вряд ли может блестеть да еще сквозь туман. ‘Блестит’ от анаграммы ‘кремень’ — ‘не мерк’. В самом же слове “кремень”, по мнению Микушевича, присутствует отзвук слова “время” (‘рем’), и, таким образом, выстраивается ряд “река времен—кремень с водой — река”, что дает возможность Микушевичу заключить: “Кремнистый путь — аналог реки времен. Время этимологически восходит к санскритскому *vartaman* (путь, колея, вертеть, вращать). От такого вращения — возвращения “обратно в крепь родник журчит”, это река времен, возвращающаяся к своему истоку» (Микушевич 2000, 58).

Григорьев вспоминает, что «перстень» восходит либо к эпизоду шутовского харьковского посвящения Хлебникова в Председатели Земного шара Есениным и Мириенгофом или к строчке «Мой перстень несслыханных чар», вошедшей в свержпоэму «Война в мышеловке»³⁴. Однако в другой своей работе Ронен разбирает сложный подтекст “Стихов о русской поэзии” 1932 г.:

Дайте Тютчеву стрекозу –
Догадайтесь, почему –
Веневитинову – розу,
Ну, а перстень? Никому!

Ронен пишет о двух эпизодах, связанных с историей перстня из Геркуланума, принадлежавшего Веневитинову, и

33 Мандельштам О. Разговор о Данте / Слово и культура. - М., 1987. - С. 148.

34 Григорьев В.П. Хлебников и Мандельштам / Будетлянин. - М., 2000. - С. 640.

аллюзией на стихотворение последнего «К моему перстню», а кроме того, о двух перстнях Пушкина — одном с древнееврейской надписью, по поводу которого было написано стихотворение «Талисман». Этот перстень был подарен Пушкиным на смертном одре Жуковскому, позже перешел к Тургеневу, а после смерти последнего был передан в Пушкинский музей. Второй перстень был подарен В.И. Далю, и таким образом, при скрещении двух тем-подтекстов Веневитинов-Пушкин перстень в стихотворении 1932 г. символизирует «не только преемственность, но и избранничество, а “сверх-человеческое целомудрие”, с которым, по словам А. Ахматовой, Мандельштам относился к Пушкину, не позволило ему упомянуть это имя в полушутливых стихах».³⁵

Жажда Мандельштама объединить время, тем самым преодолевая угрозу забвения, выражается в следующих стихах:

Обратно в крепь родник журчит
Цепочкой, пеночкой и речью.

И «цепочка», и «пеночка», как заметил Ронен, являются своего рода метафорами поэзии, творчества. И Тарановский³⁶, и Ронен полагают, что это – явно державинские ассоциации. К этим стихам мы еще вернемся несколько ниже.

Так же, как в «Ламарке» и более поздних стихотворениях, время в «Оде» движется в двух направлениях – прямом и обратном (что напоминает и «Мирсконца» Хлебникова). Родник мысли и поэзии (разительное совпадение со стихотворением «Монблан» Шелли) также движется в обратном направлении – к истокам. Круговое движение, столь характерное для Мандельштама, скептически относившегося к линейной причинно-следственной связи явлений, объединяют тему вдохновения и творчества с темой страха:

Здесь пишет страх, здесь пишет сдвиг
Свинцовой палочкой молочной,
Здесь созревает черновик
Учеников воды проточной.

35 Ронен О. «Лексический повтор, подтекст и смысл в поэтике Осипа Мандельштама» // Slavic Poetics. Essays in Honor of K. Taranovsky. Edited by Roman Jakobson, C.H. van Schooneveld, Dean S. Worth. — The Hague-Paris, 1973, pp. 367-389. Цит. по: «Сохрани мою речь» № 3/1. Москва: РГГУ- Записки Мандельштамовского общества, 2000, сс. 254-255.

36 Тарановский К. Очерки о поэзии Мандельштама / Тарановский К. О поэзии и поэтике. - М.: 2000. - С. 146.

Ронен связывает эти строки с воспоминаниями Надежды Мандельштам и с «Разговором о Данте», истолковывая страх не в физическом, а в метафизическом смысле: это страх перед таинством бытия с его геологическими сдвигами времени, равно, как и страх и неуверенность в творчестве, знакомый каждому художнику. Мандельштам сам говорил о таком страхе в «Разговоре о Данте»: «Ужас настоящего, какой-то *terror praesentis*. Здесь беспримесное настоящее взято как чурание. В полном отрыве от будущего и прошлого настоящее сопрягается как чистый страх, как опасность» 37 . Таким образом, лишь восстановление связи времен, истории и культуры в единении с прошлым и будущим способно избавить от страха настоящего.

Противопоставление «пестрого дня» «ночи-коршуннице», которая «несет/ Горящий мел и грифель кормит» продолжает тему сопряжения двух миров – физического и метафизического, – связанную с темой творчества: «горящий мел» 38 , «иконоборческая доска», «кремня и воздуха язык/ С прослойкой тьмы, с прослойкой света» объединяют державинскую тему, «реку времен», с лермонтовским «кремнистым путем» и его же стихом «Из пламя и света рожденное слово»³⁹. Вся вторая часть оды является развитием и завершением этой темы, кругообразно (или по спирали) возвращающейся к истокам, вбирающей в себя тему «сдвига» и «стыка» пространственно-временных реалий. Микушевич верно подметил, что «ночь-коршунница» восходит к Блоку: «Чертя за кругом плавный круг,/ Над сонным миром коршун кружит» (Микушевич 2000, 58), тем самым вводя гражданский подтекст и тему тьмы как страдания.

Идут века, шумит война,
Встает мятеж, горят деревни,
А ты все та ж, моя страна,
В красе заплаканной и древней. –
Доколе матери тужить?
Доколе коршуну кружить?

37 Мандельштам, О. Разговор о Данте / Слово и культура. - М., 1987. - С.115.

38 Григорьев сравнивает «горящий мел» с хлебниковским «Черти не мелом, а любовью / Того, что будет, чертежи» (Будетлянин: 675).

39 Такой же точки зрения придерживается и Д.М.Сегал. (О некоторых аспектах сысловой структуры «Грифельной оды» Мандельштама) и К.Тарановский (Очерки о поэзии Мандельштама / Тарановский К. О поэзии и поэтике. - М., 2000. - С. 27.

Блок задает риторический вопрос, и сам, как прикованный Прометей, возвращается на круги свои, круги ночи, разделяя с родиной ее горе. «Созревает черновик» – это метафора, сближающая творчество с естеством природы: «зрел виноград». «Созревает черновик», «зрел виноград» – это метафоры, сближающие миры. «Им проповедует отвес, / Вода их учит, точит время», «в бабки нежная игра» перекликается с «Нашедшим подкову», выявляют отпечатки прошлого на настоящем, уничтожая пространственно-временные границы. Мандельштам связывает воедино тему творчества и тему памяти:

На изумленной крутизне
Я слышу грифельные визги.
Ломаю ночь, горящий мел,
Для твердой записи мгновенной.
Меняю шум на пенье стрел,
Меняю строй на стрепет гневный.

Во всех черновых редакциях вместо последнего четверостишия были стихи:

Твои ли, память, голоса
Учительствуют, ночь ломая,
Бросая грифели лесам,
Из птичьих клювов вырывая?

Мы только с голоса пойдем,
Что там царапалось, боролось,
И черствый грифель поведем
Туда, куда укажет голос.

Исключенные из окончательной редакции стихи, свидетельствуют, по верному замечанию Гаспарова, о том, что «ключевые образы, связывавшие «оду» с лежащим в ее основе восьмистишием Державина, шаг за шагом все более вытравляются из текста»⁴⁰; помимо этого, быть может, в них слишком однозначно утверждалась мысль о том, что поэтический дар сродни пророческому – скорее в духе романтиков или

40 Гаспаров М.Л. «Соломинка» Мандельштама. Поэтика черновика / Гаспаров М.Л. Избранные статьи. - М., 1995. - С.188. (Аналогичную мысль высказывает М.Гаспаров и в статье “За то, что я руки твои...” Стихотворение с отброшенным ключом. Там же, с. 220.) Ср. Семенко И. Поэтика позднего Мандельштама: от черновых редакций к окончательному тексту. - Roma: 1986. - С. 9-35.

символистов, что было неприемлемо для позднего Мандельштама. Кроме того, так как все стихи воронежского цикла по наблюдению М.Л. Гаспарова ⁴¹ изменялись еще и в сторону усиления активности лирического «я», мы предполагаем, что «Грифельная ода» знаменует собой переход от полутонов и недоговоренностей книг «Камень» и «Tristia» к более активной жизненной позиции: не пассивное размышление, но сродни самому Державину, поэт «ломает ночь», которая и есть тот «горящий мел», который по праву наследования перешел к нему от Державина, и поэтому он меняет «шум» («Шум времени?») «на пенье стрел», а «строй» — мелодию, музыку, столь завораживающую в раннем Мандельштаме, на мужественный «гневный стрепет» (скорнение по принципу Хлебникова изменило трепет на его полную смысловую противоположность, причем произошло это случайно, так как машинистка просто сделала опечатку, поставив лишнее “с” по инерции в ряду: “стрел, строй— стрепет”, а Мандельштам принял новое слово).

Учиться у памяти – значит уметь слушать и слышать, тема творчества, поэта и поэзии, насыщенная темой истории, сливается с утверждением неразрывности пространства-времени: потому-то во второй части оды постоянные переходы от «я» к «мы». Для Мандельштама поэзия неразрывно связана с видением, зрением и прозрением, превращением «призрачного» в «прозрачные видения» (что, в свою очередь, перекликается с метафорой «воздуха прозрачный лес»):

И, как птенца, стряхнуть с руки
Уже прозрачные виденья!

Стихи:

Кто я? Не каменщик прямой,
Не кровельщик, не корабельщик, –
Двурушник я, с двойной душой,
Я ночи друг, я дня застрельщик...⁴²

Ронен связывает и со стихотворением «Моя родословная» Пушкина, и с разговором могильщиков из «Гамлета», приводя

41 Гаспаров М.Л. О. Мандельштам. Гражданская лирика 1937. - М., 1996. – С. 14-15, 109.

42 «Не каменщик... // не корабельщик» Григорьев истолковывает как уже не акмеист, но еще не будетлянин, потому и «двурушник»; подобная интерпретация, на наш взгляд, более чем спорная. (Григорьев: 675).

цитату из перевода Кронеберга: «Кто строит прочнее каменщика, корабельщика, плотника?» (Акт 5, сцена 1; у Пастернака: «корабельного мастера»), но опуская парадоксальный ироничный ответ: «Строитель виселиц» (перевод Пастернака), что, мягко говоря, созвучно Мандельштаму лишь на вербальном, внешнем уровне⁴³. Гораздо большее значение, как мне кажется, имеют связи, прослеженные Роненом в самом творчестве Мандельштама (стихотворение «Актёр и рабочий», 1920 и эссе «Кровавая мистерия 9 января», 1922), а также развитие «орфической темы», связанной по мнению Ронена, с эссе Вяч. Иванова «Орфей», где «Орфей – движущее мир, творческое Слово, и Бога-Слово знаменует он в христианской символике первых веков. Орфей – начало строя в хаосе; заклинатель хаоса и освободитель строя»⁴⁴. Ронен, однако, опустил значение слова «застрельщик» как «зачинатель», которое было на слуху у нескольких поколений советских людей, воспитанных на «новоязе» (Оруэлл): «застрельщик соревнования, начинания» и т.д., – открывающее и другой, страшный в сталинские годы смысл. Мандельштам, чутко улавливавший все изменения в языке, включил оба смысла, разрушив тем самым образную и семантическую однозначность. Кроме того, “двурушник” выражает не только буквальную раздвоенность поэта между пророчески-творческой ночью и обыденной дневной жизнью советской действительности, но и его раздвоенность между тягой к колыбели культуры — “Блаженным островам” Эллады и к Средиземноморью. Микушевич заметил, что “в эпоху, провозгласившую “кто не с нами, тот против нас”, Мандельштам ощущал свой дар синтеза (“христианско-эллинского”, по формулировке Микушевича) как некую трагическую вину... “Двурушник” — мандельштамовское обозначение трагической вины, которая не что иное, как праведность”.⁴⁵ Интерпретация стихов

Блажен, кто называл кремень
Учеником воды проточной.
Блажен, кто завязал ремень
Подошве гор на твердой почве –

43 Ronen, Omri. An Approach to Mandelstam. - Jerusalem: The Magnet Press. The Hebrew University, 1983. - С.191-192.

44 Иванов В.И. Орфей // Труды и дни. – СПб., 1912.- №1. - С.164.

45 Микушевич Вл. Б. «Двойная душа поэта в “Трифельной оде” Мандельштама. // «Сохрани мою речь» № 3/1. — Москва: РГГУ- Записки Мандельштамовского общества, 2000, с. 60.

породила немало противоречий: так, Ронен находит их источник как в Нагорной проповеди, указывая на “Нагорный колокольный сад” из черного варианта, и в Псалме 64, указывая стихи 4 и 5 (“Блажен, кого Ты избрал и приблизил, чтоб он жил во дворах Твоих. Насытимся благами дома Твоего, святого храма Твоего”), 7 (“Поставивший горы силою Своею, препоясанный могуществом”) и 13 (“Источают на пустынные пажити, и холмы препоясываются радостью”), а также Исаяю 5:27 (“не будет у него ни усталого, ни изнемогающего; ни один не задремлет и не заснет, и не снимется пояс с чресл его, и не разорвется ремень обуви его.”) и 28 (“...копыта его коней подобны кремню, и колеса его как вихрь”), выделив из многочисленных стихотворений “Блажен, кто понял голос строгой / необходимости земной” из уничтоженной главы «Евгения Онегина» и “Цицерон” Тютчева (“Блажен, кто посетил сей мир/ В его минуты роковые”), указав на сходство размера и синтаксиса, а к этому почему-то добавил “Счастливый домик” Ходасевича (“Блажен, кто средь разбитых урн, / На невозделанной куртине, // Прославил твой полет, Сатурн, / Сквозь многолетные пустыни”), а затем перешел к стихам и прозе самого Мандельштама, разбирая случаи употребления “блажен” и “кто” и упоминания 10 добродетелей из Нагорной проповеди, а затем перешел к Новому Завету (“...блажен ты, Симон, сын Ионин... ты Петр, и на сем камне Я создам церковь Мою, и врата адавы не одолеют ее. И дам тебе ключи царства небесного; и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах», а также из 1 Пет. 2:4-6: “Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, живые камни, устройте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы... Ибо сказано в Писании: вот, Я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный в Него не постыдится», связывая эти стихи с комментариями Вяч. Иванова, с “источником воды, текущей в жизнь вечную” из Иоанна 4:14, с масонской темой в “Грифельной Оде” и с эссе Мандельштама о Чаадаеве (Ронен 1983, 200-205; выделено Роненом). Микушевич же делает упор лишь на Новом Завете, цитируя по-церковнославянски Евангелие от Марка 1:7 (“Идет за мною Сильнейший меня, у Которого я не достоин наклонившись развязать ремень обуви Его») и 11:23-24, особо выделяя стихи «Имейте веру Божию. Ибо истинно говорю вам: если кто скажет горе сей: “поднимись и свергнись в море”, и не усумнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, — будет ему, — будет ему, что ни скажет”, из чего Микушевич заключает: “Горы двинутся против течения времен, не

обратно в крепь, а прямо в синтезирующую, синхронизирующую воскрешающую вечность” (Микушевич 2000, 62-63).

Несомненно, что речь идет о духовной преемственности и ученичестве, и что одной из тем является нравственная добродетель и 10 заповедей, а также тема кремня и воды, то есть лермонтовской и державинской тем. Поэтому гораздо резоннее было бы не искать переключку стихов «Блажен, кто...» у Пушкина, Тютчева и Ходасевича, но обратиться непосредственно к стихотворению Державина:

Блажен тот муж, кто ни в совет,
Ни в сонм губителей не сядет,
Ни грешников на путь не станет,
Ни пойдет нечестивым вслед.

Но будет ношию и днем
В законе Божьем поучаться
И всею волею стараться,
Чтоб только поступать по нем.

Как при потоке чистых вод
В долине древо насажденно,
Цветами всюду окруженно,
Дающее во время плод,
Которого зеленый лист
Не падает и не желтеет:
Подобно он во всем успеет,
Когда и что ни сотворит.
(“Истинное счастье”)

Как известно, это стихотворение, в котором есть и *потоки чистых вод* (выделено мной — Я.П.), является переложением 1 Псалма, то есть помимо Нагорной Проповеди, не лишне вспомнить и Ветхозаветную праведность: “Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых”. Тогда становятся ясными стихи “Обратно в крепь родник журчит”: поэт возвращается к Державину как к своему истоку, а речь возвращается к Слову, которое было в начале. Кроме того, поскольку речь идет о труде, не совсем бессмысленно будет предположить некую связь и со стихотворением «Похвала сельской жизни» (“Блажен, кто удалясь от дел,/ Подобно смертным первородным, /Орет отеческий удел/ Не откупным трудом — свободным,/На собственных своих волах...”, а также “Блажен, кто менее зависит от людей” из “Евгению. Жизнь Званская”. Эти стихи Мандельштама также

предваряют концовку, коду всего стихотворения, вновь возвращаясь к теме памяти, астрологии и минералогии и к шестой главе «Разговора о Данте»: «Поэзия, завидуй кристаллографии, кусай локти в горе и бессилии! Ведь признано же, что математические комбинации, необходимые для кристаллообразования, не выводимы из пространства трех измерений. Тебе же отказывают в элементарном уважении, которым пользуется любой кусок горного хрусталя!» 46 . В последней строфе «Грифельной оды» поэт говорит о себе как об ученике памяти:

И я теперь учу дневник
Царапин грифельного лета,
Кремня и воздуха язык,
С прослойкой тьмы, с прослойкой света.
И я хочу вложить персты
В кремнистый путь из старой песни,
Как в язву, заключая в стык –
Кремень с водой, с подковой перстень.

Круг замкнулся: последняя строфа, как сферическое зеркало, отражает, вобрав в себя, и все стихотворение в целом, и первую строфу в частности. Или, быть может, это – высший виток спирали, завершающий и разрешающий темы минералогии и астрологии, лермонтовскую и державинскую темы – это контрапункт оды. Ронен, а вслед за ним и Микушевич, справедливо замечает связь с Фомой Неверующим: “аште не.. вложу перста моего в язвы гвоздинные» (Иоанн 20:25), а кроме того, Ронен проследил связь и с прозой тех лет Мандельштама, в которой повторяется притягательно-отталкивающий жест Фомы, образ влагаемых перстов, и даже имя Фомы; слово же «язва», как заметил Ронен, говорит о «болезненном вдохновении», одной из основных тем русской поэзии, восходящей к пророчествам Исайи⁴⁷. Поэтический мотив «Грифельной оды» объединяет мотив державинской «реки времен», лермонтовских – «кремнистого пути» и «Из пламя и света рожденного слова», усиленные аллюзиями на “Фауста” Гете и Новалиса, Ветхий и Новый Завет, темы судьбы и долга поэта, – соединяя провалы, преодолеть метафизический страх одиночества человека и разобщенности

46 Мандельштам О. Разговор о Данте / Слово и культура. - М., 1987. - С. 132.

47 Ronen, Omri. An Approach to Mandelstam. - Jerusalem: The Magnet Press. The Hebrew University, 1983. - Сс. 218-219, 220-221.

истории. Это показ времени-пространства, истории, бытия в их неразрывном единстве. Таким образом, “Грифельная ода” посвящена духовному странничеству — не в пространстве, а — по вертикали — во времени: от лермонтовской звезды к Слову, которое было в начале.

В цикле «Армения» и органически связанным с ним «Путешествием в Армению» мотив странствия также понимается как странствие во времени и культуре. Армения оказывается приближена не только к Персии («Ты розу Гафиза кольнешь», «Ты рыжебородых сардаров / Терпела средь камней и глины», «...близорукое шахское небо»), но и к Вавилону, что проявляется и на образном, метафорическом уровне («Улиц твоих большеротых кривые люблю Вавилоны»). Мотив «вавилонских наречий», был еще более отчетлив и открыт в черновой редакции, который, как заметила И.М. Семенко, «генетически связан с мотивом обратного пути (обратные роды) прежней редакции. Сама эта метафора снята, но одно из ее значений сохраняется и получает дальнейшее развитие: обратный путь — дорога в древность»⁴⁸. Близость к древнему Востоку (в черновой редакции — «Арагат Арагат Урарту»⁴⁹), котлу ближневосточной культуры, и — одновременно — окраинность, отъединенность от культуры греко-римской, Средиземноморской («Вдали якорей и трезубцев, / Где жухлый почил материк, / Ты видела всех жизнелюбцев, / всех казnelюбивых владык») свидетельствует об особенном историческом положении Армении:

Закутав рот, как влажную розу,
Держа в руках осьмигранные соты,
Все утро дней на окраине мира
Ты простояла, глотая слезы.

И отвернулась со стыдом и скорбью
От городов бородатых востока;
И вот лежишь на москательном ложе
И с тебя снимают посмертную маску.

Таким образом, прошлое — не только богатство истории, но и трагедии, пережитые армянским народом, «оружий камней государством», в котором смерть и жизнь соседствуют в истории (потому-то и «молодые гроба», и «молодая старуха», и

48 Семенко И.М. Поэтика позднего Мандельштама. — М., 1997. — С. 35.

49 Там же. С. 47.

«посмертная маска», снимаемая, очевидно, археологами, ведущими раскопки⁵⁰).

Однако в цикле «Армения» звучит не только мотив отъединенности, но и причастности этой древней страны античной культуре. Седьмое стихотворение окончательной редакции цикла и по ритму, и по образности, и по ощущению истории и времени родственно «Нашедшему подкову»:

Не развалины – нет, - но порубки могучего циркульного леса,
Якорные пни поваленных дубов звериного и басенного
христианства,
Рулоны каменного сукна на капителях, как товар
из языческой разграбленной лавки,
Виноградины с голубиное яйцо, завитки бараньих рогов
И нахохленные орлы с совиными крыльями,
еще не оскверненные Византией.

Мотив странствия во времени уводит поэта в эпоху, противопоставленную и христианству, и, в особенности, враждебному ему мусульманскому миру. Н. Я. Мандельштам писала, что «древние связи Крыма и Закавказья, особенно Армении, казались ему (О.М.) залогом общности с мировой, вернее европейской культурой. Сам О.М., чуждый мусульманскому миру – «и отвернулась со стыдом и болью от городов бородатых востока» – искал лишь эллинской и христианской преемственности»⁵¹. В «Путешествии в Армению» также ощутимы эллинские метафоры и сравнения: «Весь остров по-гомеровски усеян желтыми костями – остатками богомольных пикников окрестного люда» (О Севане, СС, III, 180); «размером он (струг барки) был с доброго троянского коня» (СС, III, 183).

Поэзия прозы, не менее метафоричной и экспрессионистически необузданной, нежели стихотворный цикл, в значительной степени выявляет мотив странствия в творчестве Мандельштама, и проясняет его поэтику — «тропы» и метафорическое видение. «Путешествие в Армению» включает в себя и Москву, и Сухум, и странствия в культуре («Вильгельм Мейстер» Гете, французские импрессионисты), науке (Ламарк, проясняющий, кстати, и образность одноименного стихотворения,

50 Ср. Максудов С. Об интерпретации стихотворения «Армения» и теме смерти в армянских стихах Осипа Мандельштама / «Сохрани мою речь». - М., 1993. - № 2. С.91.

51 Мандельштам Н.Я. Воспоминания. Книга первая. – Париж, 1982. – С.268-269.

видимо, родившегося впоследствии из прозы, Линней, Бюфон, Паласс), в свою очередь связанные с музыкой («Кто не любит Гайдна, Глюка и Моцарта, тот ни черта не поймет в Палласе»; «Ламарк чувствует провалы между классами. Он слышит паузы и синкопы эволюционного ряда», СС, III, 201). Странствия – это, конечно, же книга, чтение, как открытие и запечатление бытия:

«Поговорим о физиологии чтения. Богатая, неисчерпаемая и, кажется, запретная тема. Из всего материального, из всех физических тел книга – предмет, внушающий человеку наибольшее доверие. Книга, утвержденная на читательском попугае, уподобляется холсту, натянутому на подрамник. <...> Я заключил перемирие с Дарвиным и поставил его на воображаемой этажерке рядом с Диккенсом. Если бы они обедали вместе, с ними сам-третий сидел бы мистер Пикквик». (СС, III, 201.)

Не случайно поэтому и уподобление земли книге, а книги земле в стихах об Армении:

Лазурь да глина, глина да лазурь,
Чего ж тебе еще? Скорей глаза сошурь,
Как близорукий шах над перстнем бирюзовым,
Над книгой звонких глин, над книжною землей,
Над гнойной книгою, над глиной дорогой,
Которой мучимся, как глиною и словом.

Метафора реализуется, история и бытие овеществляются, материализуются в книге, а книга – в глине, земле, которая сама является метафорой страны, ее истории и культуры⁵². Подобное смешение метафор, когда творчество неотделимо от бытия, а бытие от творчества, наблюдается и в «Путешествии в Армению»:

«А на столе роскошный синтаксис путаных, разноазбучных, грамматически неправильных полевых цветов, как будто все дошкольные формы растительного бытия сливаются в полногласном хрестоматийном стихотворении». (СС, III, 190.)

Так, в прозе и в стихах «армянского» цикла предвосхищается и мотив материализации стиха, который впоследствии станет темой «Восьмистиший», и «учебник бесконечности» – «Безлиственный дикий лечебник / задачник огромных корней», и дуговая растяжка (сравнение формы «зачаточного листа настурции» с алебардой или «двустворчатой удлинненной сумочкой, переходящей в язычок», но также и с «кремневой стрелой палеолита. Но силовое натяжение, бушующее вокруг листа, преобразует его сначала в фигуру о пяти сегментах.

52 Ср. Семенко И.М. Поэтика позднего Манделштама. – М., 1997. – С. 48.

Линии пещерного наконечника получают дуговую растяжку». (СС, III, 193).

Обладавший абсолютным слухом, Мандельштам услышал в «могучем языке, на котором мы недостойны говорить» (СС, III, 183) не только общеиндоевропейские корни и цветение языка, но и шум времени, историю:

Колочая речь араратской долины,
Дикая кошка – армянская речь,
Хищный язык городов глинобитных,
Речь голодающих кирпичей.

А близорукое шахское небо –
Слепорожденная бирюза –
Все не прочтет пустотелую книгу
Черной кровью запекшихся глин.

Метафорический эпитет «колочий», возможно, образованный по ассоциации с шипами розы, рождает другую ассоциацию: шипы – когти, необузданность языка – дикая кошка, «царапающая ухо». Собственный языковой голод поэта рождает «хищный язык» и «речь голодающих кирпичей». «Оружие камни» – крик истории. Мысль Хайдеггера о том, что «язык – это дом бытия» получает в метафорах Мандельштама зримое воплощение. Язык Армении неотделим ни от ее бытия, ни от ее природы, ни от ее трагической истории. Следовательно, мотив странствия в цикле «Армения» и «Путешествии в Армению» является своего рода синтезом: пространство, неразрывно связанное со временем, историей, становится своего рода формой времени, а время — формой культуры. И еще шире: сама поэзия для Мандельштама – непрекращающееся странствие, постижение мира и бытия, неутолимый голод, о котором поэт писал в «Разговоре о Данте» (СС, III, 218).

Путь поэта требует не меньшего мужества, чем плавание морехода. Странствия во времени таят не меньшие угрозы, чем рифы и бури. Человек своего времени и горожанин («Пора вам знать, я тоже современник – / Я человек эпохи Москвошвея.../Попробуйте меня от века оторвать, – /Ручаюсь вам, себе свернете шею...»), Мандельштам восставал против него:

Нет, никогда ничей я не был современник,
Мне не с руки почет такой.
О как противен мне какой-то соименник,
То был не я, то был другой.

Стихийное неприятие современности преодолено зрелым Манделъштамом в стихах удивительного видения и не менее удивительного мужества:

Нам союзно лишь то, что избыточно,
Впереди не провал, а промер,
И бороться за воздух прожиточный –
Эта слава другим не в пример.
(М I:245)

Григорьев утверждает, что «промер» — хлебниковское слово из «Досок судьбы»⁵³: День измерения русла Волги стал днем ее покорения, завоевания силой паруса и весла, сдача Волги человеку. Промеры судьбы и изучение ее опасных мест должно сделать судьбоплавание настолько же легким и безопасным делом <...> Подобные же промеры можно делать и для потока времени, строя законы завтрашнего дня, изучая русло будущих времен, исходя из уроков прошлых столетий и вооружая по способу судьбомерия разум новыми умственными очами в даль грядущих событий». ⁵⁴ Однако последнее двустипшие полностью переворачивает хлебниковский оптимизм.

Ю.И. Левин полагает, что «программа всего цикла» задана блоковой строчкой «Грядущих войн ужасный вид» и представляет «комплексный образ глобальной войны», «химической войны»⁵⁵ (а Вяч. Вс. Иванов, как отмечено ниже, говорит о видении ядерной войны). Ю. Левин выделяет основные темы: Космос или Природа, Война и Смерть. В качестве источников аллюзий и ассоциаций сама Н. Я. Манделъштам, Левин, Ронен, Вяч. Вс. Иванов, М. Л. Гаспаров и другие указывают Иезекииля, «Гамлет» Шекспира, Ломоносова, Державина, Фламариона, «Демон» Лермонтова, «Ночной смотр» Жуковского-Цедлица, и теорию относительности Эйнштейна. Гаспаров указывает также «На Западном фронте без перемен» Ремарка и «Огонь» Барбюса, а также вышедший в 1932 г. роман «Могила неизвестного солдата» Вл. Лидина и экспрессионистско-гротескное стихотворение Арк. А. Штейнберга с тем же названием, опубликованное в 1933 г., в котором уже звучит тема прошлой и будущих войн, лермонтовского Наполеона, «Ночного смотра», и

53 Григорьев В.П. Будетлянин. // М.: 2000. — С. 646.

54 Там же. С. 646.

55 Левин Ю.И. Заметки о поэзии Манделъштама тридцатых годов. II. «Стихи о неизвестном солдате // Slavica Hierosolyminata. – Jerusalem, 1979. - Vol.IV. - С.185-213.

сияние солнц грядущего света, чистилище и воскресение из мертвых⁵⁶. (Кстати сказать, Липкин вспоминает, что и стихотворение Штейнберга 1928 г. «Волчья облава», опубликованное в Литературной газете 24 марта 1930, было известно Мандельштаму и отозвалось не только «волком-волкодавом», но и самим ритмом стихотворения «За гремучую доблесть грядущих веков»⁵⁷.) К этому можно добавить стихи немецкого поэта Макса Бартеля «Неизвестному солдату» и «Верден», которые переводил сам Мандельштам в середине двадцатых годов [СС, III, 173, 180].

О. Ронен замечает в «Солдате» аллюзии к Хлебникову: «пифагорейская тема из «Зангези», для символа череп, помимо Йорика, ассоциация из «Взлома Вселенной» Хлебникова, а Вяч. Вс. Иванов связывает тот же образ с мотивом «черепа-головы» из сверхпоэмы «Война в мышеловке» Хлебникова. Вяч. Вс. Иванов указывает, что «явная футуристичность поэтики «Стихов о неизвестном солдате» значительно более близка к поставангардному письму Хлебникова, чем к акмеизму⁵⁸. Действительно, и раскованность позднего Мандельштама, как бы незавершенность некоторых стихотворений, прежде всего «Стихов о неизвестном солдате», и словотворчество, как «стрепет» в «Грифельной оде», «боль и моль нулей» (огромная величина скорости света дана и в фонетической игре, и в зрительной – длинный ряд нолей, как бы выгрызенных молью, что, возможно, включает и длинных ряд «нолей» в шинелях) и «Бабочка» из «Восьмистиший», о которых несколько ниже, на наш взгляд, говорят об изменении поэтики позднего Мандельштама и приближении ее к поэтике Хлебникова. Как было замечено Ю. И. Левиным, у позднего Мандельштама нет установки на книгу, а циклы складываются стихийно, по воле порыва, «стремление к формальной законченности отсутствует».⁵⁹ Родственное Хлебникову отношение позднего Мандельштама к поэзии как к процессу, неконвенциональность ее, резкое увеличение

56 Гаспаров М.Л. О.Мандельштам. Гражданская лирика 1937 года. - М., 1996. - С. 22-24.

57 Липкин С.И. «Вторая дорога» // Новый Журнал. – Нью-Йорк, 1986. - №162. - С.38.

58 Иванов Вяч. Вс. Стихи о неизвестном солдате в контексте мировой поэзии / Жизнь и творчество Мандельштама. – Воронеж: Изд-во Воронежского университета, 1990. - С. 363-365.

59 Левин Ю.И. О некоторых особенностях поэтики позднего Мандельштама / Жизнь и творчество Мандельштама. - Воронеж: Изд-во Воронежского университета, 1990. - С.407-408.

диссонансов («обновоу-новое», «окопное-целокупное»), ассонансо-диссонансных рифм («ягодами-ябедами», «крошево-подошвами-задешево»), разноударных рифм «журавлем-Ватерлоо-светло», составных и при этом разноударных («дразнит себя – яснится-снится»), изменение строфики (увеличение нечетнострочных, замечено Ю.Левиным) говорит о разомкнутости времени-пространства, выход в космос, который так же, как и землю, может захлестнуть хаос. Образы меняют свою полярность: «Амбары воздуха и света/ Зернохранилища вселенского добра» [СС, I, 154] или «Воздух пасмурный влажен и гулок...» [СС, I, 66] из еще более раннего стихотворения в «Солдате» несет смерть - «Этот воздух пусть будет свидетелем / Дальнобойное сердце его (Как заметил М. Л. Гаспаров, эти строки так же, как стихотворение «Реймс-Лаон» ассоциируются с эпизодом Первой Мировой войны, когда немцы из-под Лаона (Лана) обстреливали Париж из Большой Берты ⁶⁰); «шевелиющимися виноградинами / Угрожают нам эти миры» (ср. «Виноградное мясо стихов); «Неподкупное небо окопное / Небо крупных оптовых смертей» – «О небо, небо, ты мне будешь снится...» [СС, I, 70].

«Океан без окна, вещество» – не столько воздушный, лермонтовский, как полагает Ю.И. Левин ⁶¹, или безличный неосвоенный космос, всеядно пожирающий людей и превращающий их в «вещество», но скорее человечество, как верно считает И. М. Семенко, которая показала, как произошло смещение метафоры от «Яд Вердена, всеядный и деятельный, / Океан без окна, вещество» варианта 1 марта 1937 г. к самому последнему из известных вариантов⁶². Существует определенная связь «Солдата» со стихотворением Аполлинера о Первой мировой войне «Земной океан», посвященном художнику де Кирико,⁶³ в котором есть и земной бескрайний океан, и землянка, и окопы, превращающиеся в могилы, и образ человечества, согнанного «гурьбой и гуртом», копать себе могилу, и бессмысленность движения, а в целом — абсурд войны.

Думается, что «океан без окна, вещество» не просто образ человечества, лишённого видения, света («ибо если свет, который

60 Гаспаров М.Л. О.Мандельштам. Гражданская лирика 1937 года. - М., 1996. - С.55-56.

61 Левин Ю.И. Заметки о поэзии Мандельштама 30-х годов. II: «Стихи о неизвестном солдате» // Slavica Hierolymitana. - Jerusalem, 1979. - Vol.4. - P.185-212.

62 Семенко И.М. Поэтика позднего Мандельштама. - М., 1997. - С.103.

63 Впервые замечено Семенко. Которая приводит только начальные две строки в переводе М.Кудинова. (Семенко И.М. Там же. С. 101.)

в тебе, тьма, то какова же тьма?») и в силу этого совершенно открытого и незащищенного перед бытием и новейшими открытиями науки, несущими смерть и разрушение:

Для того ль должен череп развиться
Во весь лоб – от виска до виска,
Чтоб в его дорогие глазницы
Не могли не вливаться войска?

Развивается череп от жизни
Во весь лоб – от виска до виска,
Чистотой свои швов он дразнит себя,
Понимающим куполом яснится,
Мыслью пенится, сам себе снится –
Чаша чаш и отчизна отчизне –
Звездным рубчиком шитый чепец –
Чепчик счастья – Шекспира отец...
[СС, III, 125]

В противопоставление «океану без окна» дан череп как «чаша чаш и отчизна отчизне» – вместилище мысли; не случайно в подтексте, как заметили И.М.Семенко⁶⁴, М.Л.Гаспаров⁶⁵, и многие другие – Шекспир как символ вершины человеческого интеллекта и творчества. Быть может, в подтексте, и «Череп» Баратынского, и теория эволюции: вспомним, что в 1932 г. Мандельштам написал статью к «Проблеме научного стиля Дарвина», где уже высказано то, что легло в основу стихотворений «Ламарк», «Не у меня, не у тебя – у них...», 4-го и 5-го и 10-го «Восьмистиший», где есть образы, либо прямо перекликающиеся со статьей о Дарвине, «озабоченно листающем книгу природы» («И твой, бесконечность, учебник...»), либо развивающие идеи, высказанные в статье («Монастыри улиток и створчаток...», «Преодолев затверженность природы/ Голубоглазый глаз проник в ее закон»). Более того, в «Дарвине» есть прямая лексическая и смысловая перекличка со «Стихами о неизвестном солдате»: «Дарвин счастливо избегает «затоваривания» природы, тесноты, нагроможденности. Он на всех парах уходит от плоскостного каталога к объему, к пространству, к воздуху»⁶⁶. «Чаша чаш», по наблюдению Кациса, ассоциируется с евхаристией и Святым

64 Семенко И.М. Поэтика позднего Мандельштама. - М., 1997. - С.102.

65 Гаспаров М.Л. Гражданская лирика 1937 года. - М., 1996. - С.74.

66 Мандельштам О. Собрание сочинений. - М., 1994. - Т.3. - С.214.

Граалем⁶⁷. Гибель и разрушение грозит не только земле и человечеству, но и космосу, обоим небесам: небу осязательному и небу духовному, как полагает Струве⁶⁸, небу войны и небу мира (Хазан⁶⁹); Ронен предполагает, что оба неба – две створки «черномраморной устрицы», космической раковины ночи⁷⁰, но быть может, оба неба – это рай и ад, поскольку «чаша чаш», череп, «который сам себе снится», – отец не только Шекспира, но и Данте, отца «Божественной комедии» и отчизна всей духовной деятельности человечества. «Тара /Обаянья в пространстве пустом» — возможно, космос, притягивающий взоры и мысли человека, небо и облака «обаянья борцы» (Семенко заметила, что во втором «Дантовом небе», употреблено то же слово и в той же соотнесенности⁷¹).

Ясность ясеневая, зоркость яворовая,
Чуть-чуть красная мчится в свой дом,
Словно обмороками затоваривая
Оба неба с их тусклым огнем.

.....
Для того ль заготовлена тара
Обаянья в пространстве пустом,
Чтобы белые звезды обратно
Чуть-чуть красные мчались в свой дом?
Слышишь, мачеха звездного табора,
Ночь, что будет сейчас и потом?

Не исключено, что в «Стихах о Неизвестном Солдате», как отмечают исследователи творчества Мандельштама, в частности, Вяч. Вс. Иванов, нашли отражение как старые научные теории (в частности, об эфире), так и новейшие – о величине скорости света ($c=300\ 000$ км/с), и, как пишет Иванов, «...еще большее значение имеет не только наличие в стихотворении

67 Кацис Л.Ф. И.В. Гете и Р. Штейнер в поэтическом диалоге А.Белый – О.Мандельштам // Литературное обозрение. – М., 1995. - №4/5. - С. 168-178.

68 Струве Н. Осип Мандельштам. - Томск, 1992.

69 Хазан В.И. «Это вроде оратории»: попытка комментария лирического цикла, посвященного памяти А.Белого, и «Стихов о неизвестном солдате» О.Мандельштама // Проблемы вечных ценностей в русской культуре и литературе ХХв. – Грозный, 1991. - С.268-313.

70 Ронен Омри. К сюжету «Стихов о неизвестном солдате» Мандельштама // Slavica Hierosolymina. - Jerusalem, 1979. - Vol.IV. - С.214-222.

71 Семенко И.М. Поэтика позднего Мандельштама. - М., 1997. - С.105.

эйнштейновских парадоксов, касающихся времени в связи со скоростью света, но и возможных следов размышлений Мандельштама о формуле $E=MC^2$, т.е. о связи энергии с квадратом скорости света. Напомним, что эта формула и легла в основу работ, приведших к появлению атомной бомбы – того страшного оружия, которое может грозить с неба, как в стихах Мандельштама»⁷².

Однако нам представляется гораздо более важным то, что Мандельштам пере-осмысливает самый миф о свете и тьме и показывает такую картину мира, где свет может стать тьмой, это переосмысление мифа об основном событии бытия – сотворении мира и человека и показ как бы обратного процесса – превращения космоса в хаос. Это соединение зрения и про-зрения, мифа и мысли в языке. «Луч стоит на сетчатке моей» – не просто образное видение, зримое пред-ставление теории о величине скорости света, но про-зрение, трагическое видение того, что будет «после», роднящее поэта XX века с откровениями пророков Исайи и Иеремии, с Откровением Иоанна. В конце Апокалипсиса Нового Завета кончается, как заметил М. Л. Гаспаров, светлой вестью, у Мандельштама эта светлая весть подвергается настолько кардинальной трансформации, что превращается в свою полную противоположность: «Я не Битва Народов, я новое, / От меня будет свету светло». Свет этот можно принять за ядерную вспышку, как полагает Вяч. Вс. Иванов, но вряд ли справедливо утверждение о том, что популярная в те годы доктрина молниеносной войны на чужой территории могла быть близка Мандельштаму.

В финале стихотворения Мандельштам говорит о своей готовности разделить судьбу своего поколения (выкошенного на полях Первой мировой войны, на которой погибло более 200 французских поэтов, среди которых и Аполлинер, раненый на фронте и умерший от гриппа-«испанки» вскоре после возвращения в Париж; целое поколение английских поэтов, среди которых замечательные поэты Уилфрид Оуэн и Руперт Брук, выдающийся немецкий поэт Георг Тракль и многие другие); народа, страны и всего человечества: «Я рожден.../ в девяносто одном / Ненадежном году, и столетья / Окружают меня огнем». Тютчевский образ: «И мы плывем, пылающею бездной /Со всех

72 Иванов Вяч. Вс. Стихи о неизвестном солдате в контексте мировой поэзии / Жизнь и творчество Мандельштама. – Воронеж: Изд-во Воронежского университета, 1990. - С. 360.

сторон окружены» трансформируется, реализуется, наполняясь не метафизическим, а реальным, физическим смыслом.

Все бывшие и будущие войны сливаются в один архетип войны, при этом в первой части особо изображена самая пока памятная, Первая мировая, и грядущая как Страшный Суд, Армагеддон, новая, от которой будет «миру светло». Н.Я. Мандельштам пишет во «Второй книге» о том, что в «Стихах о неизвестном солдате» говорится не про собственную гибель, а про целую эпоху «крупных оптовых смертей»; что Мандельштам предчувствовал не одну войну, а целую серию войн, что он предсказал даже союз с Гитлером.⁷³ Стало быть, «Солдат» — произведение пророческое, своего рода апокалипсис нового времени. Вместе с тем, следует отметить, что «Стихи о Неизвестном Солдате» — не просто апокалипсическое видение поэта (М. Гаспаров говорит еще и о том, что «агитка не получилась»), но мужественная попытка поэта про-видеть — проникнуть в будущее за пределы видимого, основываясь на достижениях современной ему науки и на собственном даре, это — одновременно и показ (именование) картины грядущей катастрофы, и стремление предупредить о ней человечество, и слиться «с гурьбой и гуртом», быть не свидетелем, а участником. Именно поэтому в финальной части стихотворения переход от космического видения и от 3 лица к личному, первому:

И в кулак зажимая истертый
Год рожденья — с гурьбой и гуртом
Я шепчу обескровленным ртом:
Я рожден в ночь с второго на третье
Января в девяносто одном
Ненадежном году — и столетья
Окружают меня огнем.

Финал стихотворения знаменует единение с человечеством не только в преддверии мировой катастрофы и Страшного суда, но и в предчувствии собственной страшной судьбы: зажавший в кулак номер, год рождения, поэт растворяется в толпе лишенных имени и шагающих по этапу. В этом смысле видение Мандельштама страшнее дантовского “Ада”, поскольку Данте сохраняет имя, а стало быть личность, даже и самым отъявленным преступником.

73 Мандельштам Н.Я. Вторая книга. - М., 1990. - С.393-396.

Приложение

Памяти О. М.

Когда б не Данте, что нам гвельфов
погибельная схватка с гибеллинами?
Преданье, сказка — словно эльфов
война со злыми исполинами.

У нас своих легенд с лихвою:
одна великая утопия
братоубийственной войною
оборотилась — щиплем корпию

с тех пор уже почти столетие,
чтобы накладывать на раны
истории в грядущем свете и
чтоб правнук написал романы:

он выстроит всю жизнь по ниточке
с Варшавы до Владивостока —
по шву, по ниточке, по выточке —
и доберется до истока,

но вряд ли выйдет из пространства он
в сад величин вслед за тобою —
там ни один школяр не странствовал,
где твердь становится судьбою.

В Верону изгнан иль в Воронеж,
умрёшь в Тавриде иль в Елабуге,
своё ты тело не догонишь:
душа давно плывёт по радуге

по небу слёзному, омытому
навзрыд, навзлёт, на удивление,
туда, в ту даль, к истоку скрытому,
где слилось с вечностью мгновение.

2005



Об авторах

Евгений Беркович – главный редактор журналов «Заметки по еврейской истории» и «Семь искусств», издатель альманаха «Еврейская Старина».

Зоя Черкасская – сотрудник Института систем информатики СО РАН

Ирина Крайнева – историк, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института систем информатики СО РАН.

Марина Аграновская – журналист и редактор

Лев Бердников – кандидат филологических наук. Член Русского ПЕН Центра и Союза писателей Москвы.

Мина Полянская – член немецкого Пушкинского общества и немецкого отделения международного ПЕН клуба.

Игорь Юдович – инженер-механик, экскурсовод, автор статей для русской прессы.

Борис Дынин – философ, публицист, переводчик.

Борис Тененбаум – автор исторических очерков и книг.

Александр Бадхен – один из основателей Института психотерапии и консультирования "Гармония", директор и преподаватель Международной школы психотерапии, консультирования и ведения групп, почетный член Гильдии психотерапии и тренинга (Санкт-Петербург).

Виктор Каган – доктор медицинских наук. Член Союза Писателей Санкт-Петербурга.

Семен Талейсник – врач, литератор.

Элина Васильева – доктор филологии, ассоциированный профессор Даугавпилского университета

Яков Каунатор - журналист.

Белла Езерская – журналист, театральный критик, эссеист.

Лев Харитон – журналист, переводчик, тренер по шахматам

Людмила Суркова - автор научно-популярных, философских и исторических книг, статей и рассказов, а также мемуаров.

Андрей Алексеев – социолог, кандидат философских наук, автор книги о «драматической социологии».

Семен Резник – писатель, историк, журналист.

Александр Туманов – певец, основатель и художественный руководитель вокального ансамбля *Кантилена*

Ася Лapidус – математик, литератор.

Наталья Рапорт – доктор химических наук автор книги «То ли быль, то ли небыль», живет в США

Дмитрий Бобышев – поэт, эссеист, переводчик, профессор Иллинойского университета в г. Шампейн-Урбана, США.

Борис Кушнер – профессор математики Питтсбургского университета, поэт, публицист.

Генрих Тумаринсон – поэт, автор нескольких книг для детей

Лариса Миллер – поэт, прозаик, эссеист, член Союза Российских писателей и Русского ПЕН-центра.

Галина Гампер – поэт, литературовед, переводчик. Член Союза писателей СПб и СПб ПЕН-клуба. Автор десяти книг.

Валерий Черешня – литератор.

Изабелла Мизрахи – переводчик.

Владимир Гандельсман – поэт и переводчик

Марина Мануйлова – переводчик.

Ян Пробштейн – поэт, переводчик, редактор.

Журнал «Семь искусств», январь 2014
Главный редактор Евгений Беркович

© Евгений Беркович (составление и редактирование)

Компьютерная верстка и техническое редактирование
Изабеллы Побединой
576 стр. 23,9 а. л.



Семь искусств
Ганновер 2014